



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

NYPL RESEARCH LIBRARIES



3 3433 06995578 3



Filed

The N

OD



Verify

Date ?

Editor ?

Bound ?

Illegible

Volume ?

In use M.R.R.

Room

Reserved M.R.R.

Room

In Bindery

Not available

Check slip

Missing

Not in S. L.

Lacking

More wanted ?

The New York Public Library

1. Please exercise care in filling out call slips. When in doubt ask a Librarian. Write legibly.
2. If reference is to a periodical article, give title of periodical, date, volume and page.
3. Books will be delivered to you when you write the seat number and are there to receive them.
4. Return books before leaving.
5. Ink may be used only in four bottles of ink are not allowed.
6. Your call slips will not be copied separately any information you may need later.

*Q3D

103
71

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ

СОЧИНЕНИЙ

Ф. М. Достоевскаго.

ТОМЪ ОДИННАДЦАТЫЙ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

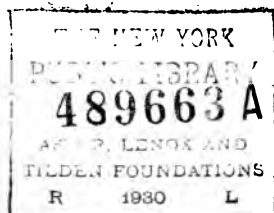
Дневникъ писателя

за 1877 г.



Безплатное приложеніе къ журналу „НИВА“ на 1895 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1895.



Доволено цензурою. СПБ. 23 іюня 1895 г.



Типографія А. Ф. МАРКСА, Средняя Подъячская, д. № 1.

ЯНВАРЬ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

I.

Три идеи.

Я начну мой новый годъ съ того самаго, на чемъ остановился въ прошломъ году. Последняя фраза въ декабрьскомъ „Дневникѣ“ моемъ была о томъ, „что почти всѣ наши русскія разъединенія и обособленія основались на однихъ лишь недоумѣнiяхъ, и даже прегрубѣйшихъ, въ которыхъ нѣтъ ничего существеннаго и непереходимаго“. Повторяю опять: всѣ споры и разъединенія наши произошли лишь отъ ошибокъ и отклоненiй ума, а не сердца, и вотъ въ этомъ-то опредѣленiи и заключается все существенное нашихъ разъединенiй. Существенное это довольно еще отрадно. Ошибки и недоумѣнiя ума исчезаютъ скорѣе и безслѣднѣе, чѣмъ ошибки сердца; излѣчиваются же не столько отъ споровъ и разъясненiй логическихъ, сколько неотразимою логикою событiй живой, дѣйствительной жизни, которая весьма часто, сами въ себѣ, заключаютъ необходимый и правильный выводъ и указываютъ прямую дорогу, если и не вдругъ, не въ самую минуту ихъ появленiя, то во всякомъ случаѣ въ весьма быстрые сроки, иногда даже и не дожидаясь слѣдующихъ поколѣнiй. Не то съ ошибками сердца. Ошибка сердца есть вещь страшно важная: это есть уже зараженный духъ иногда даже во всей наци, несущiй съ собою весьма часто такую степень слѣпоты, которая не излѣчивается даже ни передъ какими фактами, сколько бы они ни указывали на прямую дорогу;

напротивъ, перерабатывающая эти факты на свой ладъ, ассимилирующая ихъ съ своимъ зараженнымъ духомъ, при чемъ происходитъ даже такъ, что скорѣе умретъ вся нація, сознательно, т. е. даже понявъ слѣпоту свою, но не желая уже излѣчиваться. Пусть не смѣются надо мной заранѣе, что я считаю ошибки ума слишкомъ легкими и быстро изгладимыми. И ужъ смѣшнѣе всего было бы, даже кому бы то ни было, а не то что мнѣ, принять на себя въ этомъ случаѣ роль изглаживателя, твердо и спокойно увѣреннаго, что словами проймешь и перевернешь убѣжденія данной минуты въ обществѣ. Я это все сознаю. Тѣмъ не менѣе стыдиться своихъ убѣжденій нельзя, а теперь и не надо, и кто имѣетъ сказать слово, тотъ пусть говоритъ, не боясь, что его не послушаютъ, не боясь даже и того, что надъ нимъ насмѣются и что онъ не произведетъ никакого впечатлѣнія на умъ своихъ современниковъ. Въ этомъ смыслѣ „Дневникъ писателя“ никогда не сойдетъ съ своей дороги, никогда не станетъ уступать духу вѣка, силѣ властвующихъ и господствующихъ влiяній, если сочтетъ ихъ несправедливыми, не будетъ подлаживаться, льстить и хитрить. Послѣ цѣлаго года нашего изданія намъ кажется уже позволительно это высказать. Вѣдь мы очень хорошо и вполне сознательно понимали и въ прошломъ году, что многимъ изъ того, о чемъ писали мы съ жаромъ и убѣжденiемъ, мы въ сущности вредили только себѣ, и что гораздо болѣе получили бы, напротивъ, выгоды, если бы съ такимъ же жаромъ попадали въ другой унисонъ.

Повторяемъ: намъ кажется, что теперь надо какъ можно откровеннѣе и прямѣй *всѣмъ* высказываться, не стыдясь наивной обнаженности иной мысли. Дѣйствительно насъ, т. е. всю Россiю, ожидаютъ, можетъ быть, чрезвычайныя и огромныя событiя. „Могутъ вдругъ наступить великiе факты и застать наши интеллигентныя силы врасплохъ и тогда не будетъ ли поздно?“—какъ говорилъ я, заканчивая мой декабрьскiй „Дневникъ“. Говоря это, я не одни политическiя событiя разумѣлъ въ этомъ „ближайшемъ будущемъ“, хотя и они не могутъ не поражать теперь вниманiе даже самыхъ скудныхъ и самыхъ „жидовствующихъ“ умовъ, которымъ ни до чего кромѣ себя дѣлать. Въ самомъ дѣлѣ, чтó ожидаетъ мiръ не только въ остальную четверть вѣка, но даже (кто знаетъ это?) въ нынѣшнемъ, можетъ быть, году? Въ Европѣ не спокойно,

и въ этомъ нѣтъ сомнѣнiя. Но не временное ли, минутное ли это безпокойство? Совсѣмъ нѣтъ: видно подошли сроки ужъ чему-то вѣковѣчному, тысячелѣтнему, тому, что приготовлялось въ мiрѣ съ самаго начала его цивилизаціи. Три идеи встаютъ передъ мiромъ и, кажется, формулируются уже окончательно. Съ одной стороны,—съ краю Европы—идея католическая, осужденная, ждущая въ великихъ мукахъ и недоумѣнiяхъ: быть ей или не быть, жить ей еще или пришелъ ей конецъ. Я не про религію католическую одну говорю, а про всю *идею католическую*, про участь націй, сложившихся подъ этой идеей въ продолженіе тысячелѣтiя, проникнутыхъ ею насквозь. Въ этомъ смыслѣ, Франція, на примѣръ, есть какъ бы полнѣйшее воплощеніе католической идеи въ продолженіе вѣковъ, глава этой идеи, унаслѣдованной, конечно, еще отъ римлянъ и въ ихъ духѣ. Эта Франція, даже и потерявшая теперь, *почти вся*, всякую религію (иезуиты и атеисты тутъ все равно, все одно), закрывавшая не разъ свои церкви и даже подвергавшая однажды баллотировкѣ собранiя самого Бога, эта Франція, развившая изъ идей 89 года свой особенный французскій социализмъ, т. е. успокоеніе и устройство человѣческаго общества уже безъ Христа и внѣ Христа, какъ хотѣло да не сумѣло устроить его во Христѣ католичество,—эта самая Франція и въ революціонерахъ конвента, и въ атеистахъ своихъ, и въ социалистахъ своихъ, и въ теперешнихъ комунарахъ своихъ,—все еще въ высшей степени есть и продолжаетъ быть націей католической вполне и всецѣло, вся зараженная католическимъ духомъ и буквой его, провозглашающая устами самыхъ отъявленныхъ атеистовъ своихъ: Liberté, Egalité, Fraternité—ou la mort, т. е. точь-въ-точь какъ бы провозгласилъ это самъ папа, если бы только принужденъ былъ провозгласить и формулировать *liberté, égalité, fraternité* католическую—его слогомъ, его духомъ, настоящимъ слогомъ и духомъ папы среднихъ вѣковъ. Самый теперешній социализмъ французскій,—повидимому горячій и роковой протестъ противъ идеи католической всѣхъ измученныхъ и задушенныхъ ею людей и націй, желающихъ во чтѣ бы то ни стало жить и продолжать жить уже безъ католичества и безъ боговъ его,—самый этотъ протестъ, начавшійся фактически съ конца прошлаго столѣтiя (но въ сущности гораздо раньше), есть не что иное, какъ лишь вѣрнѣйшее и неуклонное продол-

женіе католической идеи, самое полное и окончательное завершеніе ея, роковое ея послѣдствіе, выработавшееся вѣками! Ибо социализмъ французскій есть не что иное, какъ *насильственное* единеніе человѣка — идея еще отъ древняго Рима идущая, и потомъ всецѣло въ католичествомъ сохранившаяся. Такимъ образомъ идея освобожденія духа человѣческаго отъ католичества облеклась тутъ именно въ самыя тѣсныя формы католическія, заимствованныя въ самомъ сердцѣ духа его, въ буквѣ его, въ матеріализмъ его, въ деспотизмъ его, въ нравственности его.

Съ другой стороны, возстаетъ старый протестантизмъ, протестующій противъ Рима вотъ уже девятнадцать вѣковъ, противъ Рима и идеи его, древней языческой и обновленной католической, противъ міровой его мысли владѣть человѣкомъ на всей землѣ, и нравственно и матеріально, противъ цивилизаціи его, — протестующій еще со временъ Арминія и Тевтобургскихъ лѣсовъ. Это — германецъ, вѣряющій слѣпо, что въ немъ лишь обновленіе человечества, а не въ цивилизаціи католической. Во всю исторію свою онъ только и грезилъ, только и жаждалъ объединенія своего для провозглашенія своей гордой идеи, — сильно формулировавшейся и объединившейся еще въ Лютерову ересь; а теперь, съ разгромомъ Франціи, передовой главнѣйшей и христіаннѣйшей католической націи, пять лѣтъ назадъ, — германецъ увѣренъ уже въ своемъ торжествѣ всецѣло и въ томъ, что никто не можетъ стать вмѣсто него въ главѣ міра и его возрожденія. Вѣритъ онъ этому гордо и неуклонно; вѣритъ, что выше германскаго духа и слова нѣтъ иного въ мірѣ и что Германія лишь одна можетъ изречь его. Ему смѣшно даже предположить, что есть хоть что-нибудь въ мірѣ, даже въ зародышѣ только, что могло бы заключать въ себѣ хоть что-нибудь такое, чего бы не могла заключать въ себѣ предназначенная къ руководству міра Германія. Между тѣмъ очень не лишнее было бы замѣтить, хотя бы только въ скобкахъ, что во всѣ девятнадцать вѣковъ своего существованія Германія, только и дѣлавшая, что протестовавшая, сама своего *новаго слова* совсѣмъ еще не произнесла, а жила лишь все время однимъ отрицаніемъ и протестомъ противъ врага своего, такъ что, напимѣръ, весьма и весьма можетъ случиться такое странное обстоятельство, что когда Германія уже одержитъ побѣду окончательно и разрушитъ то, противъ чего девятнадцать вѣковъ про-

тестовала, то вдругъ и ей придется умереть духовно самой, вслѣдъ за врагомъ своимъ, ибо не для чего будетъ ей жить, *не будетъ противъ чего протестовать*. Пусть это покажется моя химера, но зато Лютеровъ протестантизмъ уже фактъ: вѣра эта есть протестующая и лишь *отрицательная*, и чуть исчезнетъ съ земли католичество, исчезнетъ за нимъ вслѣдъ и протестанство навѣрно, потому что не противъ чего будетъ протестовать, обратится въ прямой атеизмъ и тѣмъ кончится. Но это положимъ пока еще моя химера. Идею славянскую германецъ презираетъ такъ же, какъ и католическую, съ тою только разницею, что послѣднюю онъ всегда цѣнилъ какъ сильнаго и могущественнаго врага, а славянскую идею не только ни во что не цѣнилъ, но и не признавалъ ее даже вовсе до самой послѣдней минуты. Но съ недавнихъ поръ онъ уже начинаетъ коситься на славянъ весьма подозрительно. Хоть ему и до сихъ поръ смѣшно предположить, что у нихъ могутъ быть тоже хоть какія-нибудь цѣль и идея, какая-то тамъ надежда тоже „сказать что-то міру“, но, однакоже, съ самаго разгрома Франціи мнительныя подозрѣнія его усилились, а прошлогоднія и текущія событія ужъ, конечно, не могли облегчить его недовѣрчивости. Теперь положеніе Германіи нѣсколько хлопотливое: во всякомъ случаѣ и прежде всякихъ восточныхъ идей ей надо кончить свое дѣло на Западѣ. Кто станетъ отрицать, что Франція, недобитая Франція, не беспокоитъ и не беспокоила германца во всѣ эти пять лѣтъ послѣ своего погрома именно тѣмъ, что онъ не добилъ ее. Въ семьдесятъ пятомъ году это беспокойство достигло въ Берлинѣ чрезвычайнаго даже предѣла, и Германія навѣрно ринулась бы, пока есть еще время, добивать исконнаго своего врага, но помѣшали нѣкоторые чрезвычайно сильныя обстоятельства. Теперь же, въ этомъ году, сомнѣнія нѣтъ, что Франція, усиливающаяся матеріально съ каждымъ годомъ, еще страшнѣе пугаетъ Германію, чѣмъ два года назадъ. Германія знаетъ, что врагъ не умретъ безъ борьбы, мало того, когда почувствуетъ, что оправился совершенно, то самъ задастъ битву, такъ что черезъ три года, черезъ пять лѣтъ, можетъ-быть, будетъ уже очень поздно для Германіи. И вотъ, въ виду того, что Востокъ Европы такъ всецѣло проникнутъ своей собственной, вдругъ возставшей, идеей, и что у него слишкомъ много теперь дѣла и у себя самого—въ виду того весьма и весьма мо-

жетъ случиться, что Германія, почувствовавъ свои руки на время развязанными, бросится на западнаго врага окончательно, на страшный кошмаръ ее мучающій и — все это даже можетъ случиться въ слишкомъ и слишкомъ недалекомъ будущемъ. Вообще же можно такъ сказать, что если на Востокъ дѣла натянуты, тяжелы, то чуть ли Германія не въ худшемъ еще положеніи. И чуть ли у ней еще не болѣе опасеній и всякихъ страховъ въ виду, несмотря на весь ея непомѣрно гордый тонъ, — и это по крайней мѣрѣ намъ можно взять въ особенное вниманіе.

А между тѣмъ на Востокъ дѣйствительно загорѣлась и засіяла небывалымъ и неслыханнымъ еще свѣтомъ третья мировая идея—идея славянская, идея нарождающаяся, — можетъ-быть, третья грядущая возможность разрѣшенія судебъ человѣческихъ и Европы. Всѣмъ ясно теперь, что съ разрѣшеніемъ восточнаго вопроса выдвинется въ человечество новый элементъ, новая стихія, которая лежала до сихъ поръ пассивно и косно, и которая, во всякомъ случаѣ и наименѣе говоря, не можетъ не повліять на мировыя судьбы чрезвычайно сильно и рѣшительно. Что это за идея, что несетъ съ собою единеніе славянъ?—все это еще слишкомъ неопредѣленно, но что дѣйствительно что-то должно быть внесено и сказано новое, — въ этомъ почти уже никто не сомнѣвается. И всѣ эти три огромныя мировыя идеи сошлись, въ развязкѣ своей, почти въ одно время. Все это ужъ, конечно, не капризы, не война за какое-нибудь наслѣдство или изъ-за пререканій какихъ-нибудь двухъ высокыхъ дамъ, какъ въ прошломъ столѣтіи. Тутъ нѣчто всеобщее и окончательное, и хоть вовсе не рѣшающее *est* судьбы человѣческія, но безъ сомнѣнія несущее съ собою начало конца всей прежней исторіи европейскаго человечества, — начало разрѣшенія дальнѣйшихъ судебъ его, которыя въ рукахъ Божіихъ и въ которыхъ человѣкъ почти ничего угадать не можетъ, хотя и можетъ предчувствовать.

Теперь вопросъ невольно представляющійся всякому мыслящему человѣку: могутъ ли такія событія остановиться въ своемъ теченіи? Могутъ ли идеи такого размѣра подчиниться мелкимъ, жидовствующимъ, третьестепеннымъ соображеніямъ? Можно ли отдалить ихъ разрѣшеніе и полезно это или нѣтъ, наконецъ? Мудрость, безъ сомнѣнія, должна хранить и ограждать націи и служить **человѣколюбію и человечеству, но нѣныя идеи имѣютъ**

свою косную, могучую и всеувлекающую силу. Оторвавшись и падающую вершину скалы не удержишь рукой. У насъ, русскихъ, есть, конечно, двѣ страшныя силы, стоящія всѣхъ остальныхъ во всемъ мѣрѣ, — это всецѣлость и духовная нераздѣльность миллионннхъ народа нашего и тѣснѣйшее единеніе его съ монархомъ. Последнее, конечно, неоспоримо, но идею народную не только не понимаютъ, но и не хотятъ совсѣмъ понять „ободнявшіе Петры наши“.

II.

Миражи, штунда и редстоиксты.

Но одни ли „европействующіе“ и „ободнявшіе Петры“ не хотятъ понять? Есть и другіе, гораздо злокачественнѣе. „Петры“ признаютъ, по крайней мѣрѣ, наше народное движеніе въ этомъ году въ пользу славянъ, а тѣ нѣтъ. Петры даже хвалятъ это движеніе, по-своему, конечно, хотя многое имъ въ немъ не нравится, но тѣ самое движеніе отрицаютъ вопреки свидѣтельству всей Россіи: „не было, дескать, ничего да и только! Мало того что не было, но и не могло-де быть“. „Народъ, дескать, нигдѣ не кричалъ и не заявлялъ, что войны хочетъ“. Да народъ нашъ никогда и не кричитъ, и не заявляетъ, народъ нашъ разуменъ и тихъ, а къ тому же вовсе не хочетъ войны, вовсе даже, а лишь сочувствуетъ своимъ угнетеннымъ братьямъ за вѣру Христову отъ всей души и отъ горячаго сердца, но ужъ коли надо будетъ, коли раздастся великое слово Царя, то весь пойдетъ, всей своей стомилліонной массой, и сдѣлаетъ все, что можетъ сдѣлать такая стомилліонная масса, одушевленная однимъ порывомъ и въ согласіи, какъ одинъ человекъ. Такъ что такую силу единенія, въ виду таинственнаго будущаго близкихъ судебъ всей Европы, нельзя не цѣнить и нельзя не созерцать передъ собою въ минуты нѣкоторыхъ невольныхъ соображеній и гаданій нашихъ. Да и Богъ съ ней съ войной; кто войны хочетъ, хотя, въ скобкахъ говоря, пролитая кровь „за великое дѣло любви“ много значитъ, многое очиститъ и омытъ можетъ, многое можетъ вновь оживить и многое, доселѣ приниженное и опакощенное въ душахъ нашихъ, вновь вознести.

Но это лишь „слова и мысли“. Я всего только говорю, что есть историческія событія, увлекающія все за собой и отъ которыхъ не избавишься ни волей, ни хит-

ростью, точно такъ же какъ не запретишь морскому приливу остановиться и возвратиться вспять. Но все же обидень этотъ торжествующій теперь, послѣ лѣтнихъ восторговъ, цинизмъ, обидна эта радость цинизма, радость чему-то гадкому, будто бы восторжествовавшему надъ восторгомъ людей, обидны эти торжествующія рѣчи людей, не то что ужъ презирающихъ, но чуть ли не совсѣмъ отрицающихъ даже весь народъ нашъ, и признающихъ въ немъ, кажется, попрежнему, всего лишь одну косную массу и рабочія руки, точь-въ-точь какъ признавали это два вѣка сряду до великаго дня девятнадцатаго февраля.

„Стану я подражать этому народу? Какая это у него идея, гдѣ вы ее отыскали?“ — вотъ что слышишь теперь почти поминутно. Это невѣріе въ духовную силу народа есть, конечно, невѣріе и во всю Россію. Безъ сомнѣнія, замѣшалось тутъ чрезвычайно много всякихъ и разнообразныхъ причинъ, руководящихъ отрицателями, но вѣрите ли — въ нихъ много и искренняго! А главное и прежде всего — совершенное незнаніе Россіи. Ну, можно ли представить себѣ, что иной изъ нихъ почти радъ нашей штундѣ, радъ для народа, для выгоды и для блага его: „все же это нѣсколько выше прежнихъ народныхъ понятій, все же это можетъ хоть нѣсколько облагородить народъ“. И не думайте, чтобъ это были только рѣдкія и единичныя разсужденія. Кстати, что такое эта несчастная штунда? Нѣсколько русскихъ рабочихъ у нѣмецкихъ колонистовъ поняли, что нѣмцы живутъ богаче русскихъ и что это оттого, что порядокъ у нихъ другой. Случившіяся тутъ насторы разъяснили, что лучше эти порядки оттого, что вѣра другая. Вотъ и соединились кучки русскихъ темныхъ людей, стали слушать какъ толкуютъ Евангеліе, стали сами читать и толковать и — произошло то, что всегда происходило въ такихъ случаяхъ. Несутъ сосудъ съ драгоценною жидкостью, всѣ падаютъ ницъ, всѣ цѣлуютъ и обожаютъ сосудъ, заключающій эту драгоценную живящую всѣхъ влагу, и вотъ вдругъ встаютъ люди и начинаютъ кричать: „слѣпцы! чего вы сосудъ цѣлуете: дорога лишь живительная влага въ немъ заключающаяся, дорого содержимое, а не содержащее, а вы цѣлуете стекло, простое стекло, обожаете сосудъ и стеклу приписываете всю святость, такъ что забываете про драгоценное его содержимое! Идолопоклонники! Бросьте сосудъ, разбейте его, обожайте лишь живящую влагу, а не стекло!“ И вотъ

разбивается сосудъ и живящая влага, драгоценное содержимое, разливается по землѣ и исчезаетъ въ землѣ, разумѣется. Сосудъ разбили и влагу потеряли. Но пока еще влага не ушла вся въ землю, подымается суматоха: чтобы что-нибудь спасти, что уцѣлѣло въ разбитыхъ черепкахъ, начинаютъ кричать, что надо скорѣе новый сосудъ, начинаютъ спорить, какъ и изъ чего его сдѣлать. Споръ начинаютъ уже *съ самаго начала*; и тотчасъ же, съ самыхъ первыхъ двухъ словъ споръ уходитъ въ букву. Этой буквѣ они готовы поклониться еще больше, чѣмъ прежней, только бы поскорѣе добыть новый сосудъ; но споръ ожесточается, люди распадаются на враждебныя между собою кучки и каждая кучка уноситъ для себя по нѣскольку капель остающейся драгоценной влаги въ своихъ особенныхъ разнокалиберныхъ, отовсюду набранныхъ чашкахъ и уже не сообщается впредь съ другими кучками. Каждый своею чашкой хочетъ спастись и въ каждой отдѣльной кучкѣ начинаются опять новые споры. Идолопоклонство усиливается во столько разъ, на сколько черепковъ разбился сосудъ. Исторія вѣчная, старая-престарая, начавшаяся гораздо раньше Мартына Ивановича Лютера, но по неизмѣннымъ историческимъ законамъ почти точь-въ-точь та же исторія и въ нашей штундѣ: извѣстно, что они уже распадаются, спорять о буквахъ, толкуютъ Евангеліе всякъ на свой страхъ и на свою совѣсть, и, главное, *съ самаго начала*, — бѣдный, несчастный, темный народъ! При этомъ столько чистосердечія, столько добрыхъ начинаній, столько желанія выдержать даже хоть мѣки и при всемъ томъ однако — столько самой безпомощной глупости, столько маленькаго педантскаго лицемѣрія, самолюбія, усладительной гордости въ новомъ чинѣ „святыхъ“, даже плутовства и крючкотворства, а главное — все „съ самаго начала“, съ самаго т. - е. сотворенія міра, съ того, что такое есть человѣкъ и что такое женщина, что хорошо и что дурно, и даже: есть ли Богъ или нѣтъ его? И какъ вы думаете: именно то, что они такъ безпомощны и такъ принуждены начинать съ начала, именно это-то и нравится многимъ и особенно нѣкоторымъ: „своимъ де умомъ начнутъ жить, стало-быть, непременно договорятся до чего-нибудь“. Вотъ разсужденіе! Такъ что добытое вѣками драгоценное достояніе, которое надо бы разъяснить этому темному народу въ его великомъ истинномъ смыслѣ, а не бросать въ землю, какъ ненужную

старую ветошь прежнихъ вѣковъ, въ сущности пропало для него окончательно. Развитие, свѣтъ, прогрессъ отдаляются опять для него на много назадъ, ибо наступить теперь для него уединенность, обособленность и закрытость раскольниковства, а вмѣсто ожидаемыхъ „разумныхъ“ новыхъ идей, воздвигнутся лишь старые, древнѣйшіе, всѣмъ извѣстные и поганѣйшіе идолы,—и попробуйте-ка ихъ теперь сокрушить! А впрочемъ бояться штунды совсѣмъ нечего, хотя жалѣть ее очень можно. Эта штунда не имѣетъ никакого будущаго, широко не раздвинется, скоро остановится и навѣрно сольется съ которой-нибудь изъ темныхъ сектъ народа русскаго, съ какой-нибудь хлыстовщиной,—этой древнѣйшей сектой всего, кажется, міра, имѣющей безспорно свой смыслъ и хранящей его въ двухъ древнѣйшихъ атрибутахъ: верченіи и пророчествѣ. Вѣдь и тамплиеровъ судили за верченіе и пророчество, и квакеры вертятся и пророчествуютъ, и Пиеія въ древности вертѣлась и пророчествовала, и у Татаринной вертѣлись и пророчествовали, и редстокисты наши весьма, можетъ-быть, кончатъ тѣмъ, что будутъ вертѣться, а пророчествуютъ они ужъ, кажется, и теперь. Да не обижаются редстокисты сравненіемъ. Кстати, многіе смѣются совпаденію появленія обѣихъ сектъ у насъ въ одно время: штунды въ черномъ народѣ и редстокистовъ въ самомъ изящномъ обществѣ нашемъ. Между тѣмъ тутъ много и не смѣшного. Чтò же до совпаденія въ появленіи двухъ нашихъ новыхъ сектъ,—то ужъ, безъ сомнѣнія, онѣ вышли изъ одного и того же невѣжества, то-есть изъ совершеннаго незнанія своей религіи.

III.

Өома Даниловъ, замученный русскій герой.

Въ прошломъ году, весною, было перепечатано во всѣхъ газетахъ извѣстіе, явившееся въ *Русскомъ Инвалидѣ* о мученической смерти унтеръ-офицера 2-го Туркестанскаго стрѣлковаго баталіона, Өомы Данилова, захваченнаго въ плѣнъ кипчаками и варварски умерщвленнаго ими послѣ многочисленныхъ и утонченнѣйшихъ истязаній, 21 ноября 1875 года, въ Маргеланѣ, за то, что не хотѣлъ перейти къ нимъ въ службу и въ магометанство. Самъ ханъ обѣщала ему помилованіе, награду и честь, если согласится отречься отъ Христа. Даниловъ отвѣчалъ, что измѣнить онъ кресту не можетъ и, какъ царскій подданный, хотя

и въ плѣну, долженъ исполнить къ Царю и христіанству свою обязанность. Мучители, замучивъ его до смерти, удивились силѣ его духа и назвали его батыремъ, т.-е. по-русски богатыремъ. Тогда это извѣстіе, хотя и сообщенное всѣми газетами, прошло какъ-то безъ особеннаго разговора въ обществѣ, да и газеты, сообщивъ его въ видѣ обыкновеннаго газетнаго entrefilet, не сочли нужнымъ *особенно* распространиться о немъ. Однимъ словомъ, съ Фомой Даниловымъ „было тихо“, какъ говорятъ на биржѣ. Потомъ, какъ извѣстно, наступило славянское движеніе, явились Черняевъ, сербы, Кирѣевъ, пожертвованія, добровольцы, и объ Фомѣ замученномъ позабыли совсѣмъ (т.-е. въ газетахъ), и вотъ недавно только получились къ прежнему извѣстію дополнительныя подробности. Сообщаютъ опять, что самарскій губернаторъ навелъ справки о семействѣ Данилова, происходившаго изъ крестьянъ села Кирсановки, Самарской губерніи, Бугурусланскаго уѣзда, и оказалось, что у него остались въ живыхъ жена Ефросинья 27 лѣтъ и дочь Улита шести лѣтъ, находившіяся въ бѣдственномъ положеніи. Имъ помогли по благородному почину самарскаго губернатора, обратившагося къ нѣкоторымъ людямъ съ просьбою помочь вдовѣ и дочери замученнаго русскаго героя и къ самарскому губернскому земскому собранію съ предложеніемъ, не пожелаетъ ли оно помѣстить дочь Данилова стипендіаткой въ одно изъ учебныхъ заведеній. Затѣмъ собрали 1,320 рублей и изъ нихъ шестьсотъ отложили дочери до совершеннолѣтія, а остальную сумму выдали самой вдовѣ на руки, а дочь Данилова приняли въ учебное заведеніе. Кромѣ того, начальникъ Главнаго Штаба увѣдомилъ губернатора о всемилостивѣйше назначенной вдовѣ Данилова пожизненной пенсіи изъ Государственнаго Казначейства, по сто двадцати рублей въ годъ. Затѣмъ,—затѣмъ дѣло, вѣроятно, опять будетъ забыто въ виду текущихъ тревогъ, политическихъ опасеній, огромныхъ вопросовъ, ждущихъ разрѣшенія, краховъ и пр., и пр.

О, я вовсе не хочу сказать, что наше общество отнеслось къ этому поразительному поступку равнодушно, какъ къ нестоящему вниманія. Фактъ лишь тотъ, что немного говорили или, лучше, почти никто не говорилъ объ этомъ *особенно*. Впрочемъ, можетъ-быть, и говорили гдѣ-нибудь про себя, у купцовъ, у духовныхъ, напимѣръ, но не въ обществѣ, не въ интеллигенціи нашей. Въ народѣ, конечно,

эта великая смерть не забудется: этотъ герой принялъ муки за Христа и есть великій русскій; народъ это цѣнить и не забудетъ, да и никогда онъ такихъ дѣлъ не забываетъ. И вотъ я какъ будто уже слышу нѣкоторые столь извѣстные мнѣ голоса: „Сила-то конечно сила, и мы признаемъ это, но вѣдь все же—темная, проявившаяся слишкомъ ужъ, такъ сказать, въ допотопныхъ, оказавшихся формахъ, а потому—что же намъ *особенно*-то говорить? Не нашего это міра; другое бы дѣло сила, проявившаяся интеллигентно, сознательно. Есть, дескать, и другіе страдальцы и другія силы, есть и идеи безмѣрно высшія—идея общечеловѣчности, напимѣръ“...

Несмотря на эти разумные и интеллигентные голоса, мнѣ все же кажется позволительнымъ и вполне извинительнымъ сказать нѣчто *особенное* и объ Даниловѣ; мало того, я даже думаю, что и самая интеллигенція наша вовсе бы себя не столь унизила, если бѣ отнеслась къ этому факту повнимательнѣе. Меня, напимѣръ, прежде всего удивляетъ, что не обнаружилось никакого удивленія, именно удивленія. Я не про народъ говорю: тамъ удивленія и не надо, въ немъ удивленія и не будетъ; поступокъ Фомы ему не можетъ казаться необыкновеннымъ, уже по одной великой вѣрѣ народа въ себя и въ душу свою. Онъ отзовется на этотъ подвигъ лишь великимъ чувствомъ и великимъ умиленіемъ. Но случись подобный фактъ въ Европѣ, т.-е. подобный фактъ проявленія великаго духа у англичанъ, у французовъ, у нѣмцевъ, и они навѣрно прокричали бы о немъ на весь міръ. Нѣтъ, послушайте, господа, знаете ли какъ мнѣ представляется этотъ темный безвѣстный Туркестанскаго баталіона солдатъ? Да вѣдь это такъ сказать—эмблема Россіи, всей Россіи, всей нашей народной Россіи, подлинный образъ ея, вотъ той самой Россіи, въ которой циники и премудрые наши отрицаютъ теперь великій духъ и всякую возможность подъема и проявленія великой мысли и великаго чувства. Послушайте, вѣдь вы все же не эти циники, вы всего только люди интеллигентно-европействующіе, т.-е. въ сущности предобрѣвшіе: вѣдь не отрицаете же и вы, что лѣтомъ народъ нашъ проявилъ мѣстами чрезвычайную силу духа: люди покидали свои дома и дѣтей и шли умирать за вѣру, за угнетенныхъ, Богъ знаетъ куда и Богъ знаетъ съ какими средствами, точь-въ-точь какъ первые крестоносцы девять столѣтій тому назадъ въ Европѣ,—тѣ самые крестоносцы,

которыхъ появленіе вновь, Грановскій, напримѣръ, считалъ бы чуть ли не смѣшнымъ и обиднымъ „въ нашъ вѣкъ положительныхъ задачъ, прогресса“ и проч., и проч. Пусть это лѣтнее движеніе наше по-вашему было слѣпое и даже какъ бы не разумное, такъ сказать „крестonosное“, но вѣдь твердое же и великодушное, въ этомъ нельзя не сознаться, если чуть-чуть пошире посмотрѣть. Просыпалась великая идея, вознесшая, можетъ-быть, сотни тысячъ и миллионъ душъ разомъ надъ косностью, цинизмомъ, развратомъ и безобразіемъ, въ которыхъ купались до того эти души. Вѣдь вы знаете, народъ нашъ считаютъ до сихъ поръ хоть и добродушнымъ и даже очень умственно-способнымъ, но все же темной стихійной массой, безъ сознанія, преданной поголовно порокамъ и предрасудкамъ, и почти сплошь безобразникомъ. Но видите ли, я осмѣлюсь высказать одну даже, такъ сказать, аксіому, а именно: чтобъ судить о нравственной силѣ народа и о томъ, къ чему онъ способенъ въ будущемъ, надо брать въ соображеніе не ту степень безобразія, до котораго онъ временно, и даже хотя бы и въ большинствѣ своемъ можетъ унизиться, а надо брать въ соображеніе лишь ту высоту духа, на которую онъ можетъ подняться, когда придетъ тому срокъ. Ибо безобразіе есть несчастье временное, всегда почти зависящее отъ обстоятельствъ предшествовавшихъ и переходящихъ, отъ рабства, отъ вѣкового гнета, отъ зазубленности, а даръ великодушія есть даръ вѣчный, стихійный, даръ, родившійся вмѣстѣ съ народомъ и тѣмъ болѣе чтимый, если и въ продолженіе вѣковъ рабства, тяготы и нищеты онъ все-таки уцѣлѣетъ, неповрежденный, въ сердцѣ этого народа.

Ома Даниловъ съ виду можетъ быть однимъ изъ самыхъ обыкновенныхъ и непримѣтныхъ экземпляровъ народа русскаго, непримѣтныхъ какъ самъ народъ русскій. (О, онъ для многихъ еще совсѣмъ непримѣтенъ!). Можетъ быть, въ свое время не прочь былъ погулять, выпить, можетъ быть, даже не очень молился, хотя, конечно, Бога всегда помнилъ. И вотъ вдругъ велятъ ему переимѣнить вѣру, а не то—мученическая смерть. При этомъ надо вспомнить, что такое бывають эти муки, эти азіатскія муки! Предъ нимъ самъ ханъ, который обѣщаетъ ему свою милость, и Даниловъ отлично понимаетъ, что отказъ его непременно раздражитъ хана, раздражитъ и самолюбіе кипчаковъ тѣмъ, „что смѣетъ, дескать, хри-

стіанская собака такъ презиратьъ исламъ“. Но, несмотря на все, что его ожидаетъ, этотъ непримѣтный русскій человѣкъ принимаетъ жесточайшія муки и умираетъ, удививъ истязателей. Знаете что, господа, вѣдь изъ насъ никто бы этого не сдѣлалъ. Пострадать на виду иногда даже и красиво, но вѣдь тутъ дѣло произошло въ совершенной безвѣстности, въ глухомъ углу; никто-то не смотрѣлъ на него; да и самъ Ома не могъ думать, и навѣрно не предполагалъ, что его подвигъ огласится по всей землѣ Русской. Я думаю, что иные великомученики, даже и первыхъ вѣковъ христіанскихъ, отчасти все же были утѣшены и облегчены, принимая свои муки, тѣмъ убѣжденіемъ, что смерть ихъ послужитъ примѣромъ для робкихъ и колеблющихся и еще большихъ привлечетъ къ Христу. Для Омы даже и этого великаго утѣшенія быть не могло: кто узнаетъ, онъ былъ одинъ среди мучителей. Былъ онъ еще молодъ, тамъ гдѣ-то у него молодая жена и дочь, никогда-то онъ ихъ теперь не увидитъ, но пусть: „гдѣ бы я ни былъ, противъ совѣсти моей не поступлю и мученія приму“, — подлинно ужъ правда для правды, а не для красоты! И никакой кривды, никакого софизма съ совѣстью: „Приму-де исламъ для виду, соблазна не сдѣлаю, никто вѣдь не увидитъ, потомъ отмолюсь, жизнь велика, въ церковь пожертвую, добрыхъ дѣлъ надѣлаю“. Ничего этого не было, честность изумительная, первоначальная, стихійная. Нѣтъ, господа, врядъ ли мы такъ поступили бы!

Но то мы, а для народа нашего, повторяю, подвигъ Данилова, можетъ быть, даже и не удивителенъ. Въ томъ-то и дѣло, что тутъ именно—какъ бы портретъ, какъ бы все цѣлое изображеніе народа русскаго, тѣмъ-то все это и дорого для меня, и для васъ, разумеется. Именно народъ нашъ любитъ точно такъ же правду для правды, а не для красоты. И пусть онъ грубъ, и безобразенъ, и грѣшенъ, и непримѣтенъ, но приди его срокъ и начнись дѣло всеобщей всенародной правды, и васъ изумитъ та степень свободы духа, которую проявитъ онъ передъ гнетомъ матеріализма, страстей, денежной и имущественной похоти, и даже передъ страхомъ самой жесточайшей мученической смерти. И все это онъ сдѣлаетъ и проявитъ просто, твердо, не требуя ни награды, ни похвалы, собою не красуясь: „Во что вѣрую, то и исповѣдую“. Тутъ даже самые ожесточенные спорщики насчетъ

„ретроградства“ идеаловъ народныхъ не могутъ имѣть никакого слова, ибо дѣло вовсе уже не въ томъ: ретрограденъ идеалъ или нѣтъ? А лишь въ особенности проявленія величайшей воли ради подвига великодушія. (Эту смѣшную идею о „ретроградствѣ“ идеаловъ я ввелъ здѣсь ради полного безпристрастія).

Знаете, господа, надо ставить дѣло прямо: я прямо полагаю, что намъ вовсе и нечему учить такой народъ. Это софизмъ, разумѣется, но онъ иногда приходитъ на умъ. О, конечно, мы образованнѣе его, но чему мы, однако, научимъ его—вотъ бѣда! Я, разумѣется, не про ремесла говорю, не про технику, не про математическія знанія,—этому и кѣмъ заѣзжіе по найму научать, если мы не научимъ, нѣтъ, а мы-то чему? Мы вѣдь русскіе, братья этому народу, а, стало-быть, обязаны просвѣтить его. Нравственное-то, высшее-то что ему передадимъ, что разъяснимъ и чѣмъ освѣтимъ эти „темныя“ души? Просвѣщеніе народа, это, господа, наше право и наша обязанность,—право это въ высшемъ христіанскомъ смыслѣ: кто знаетъ доброе, кто знаетъ истинное слово жизни, тотъ долженъ, обязанъ сообщить его незнающему, блуждающему во тьмѣ брату своему, такъ по Евангелію. Ну, и что же мы сообщимъ блуждающему, чего бы онъ самъ не зналъ лучше нашего? Прежде всего, конечно, „что ученіе полезно и что надо учиться“, такъ ли? Но народъ еще прежде нашего сказалъ, что „ученье—свѣтъ, неученье—тьма“. Уничтоженію предрасудковъ, на примѣръ, низверженію идоловъ? Но вѣдь въ насъ самихъ такая бездна предрасудковъ, а идоловъ мы столько себѣ поставили, что народъ прямо скажетъ намъ: „Врачу—исцѣлился самъ“. (А идоловъ нашихъ онъ отлично умѣетъ уже разглядывать!) Что же, самоуваженію, собственному достоинству? Но народъ нашъ, весь, въ цѣломъ своемъ, гораздо болѣе нашего уважаетъ себя, гораздо глубже нашего чтитъ и понимаетъ свое достоинство. Въ самомъ дѣлѣ, мы самолюбивы ужасно, но вѣдь мы совсѣмъ не уважаемъ себя, и собственного достоинства въ насъ вовсе нѣтъ никакого и даже ни въ чемъ. Ну, намъ ли, на примѣръ, научить народъ уваженію къ чужимъ убѣжденіямъ? Народъ нашъ доказалъ еще съ Петра Великаго—уваженіе къ чужимъ убѣжденіямъ, а мы и между собою не прощаемъ другъ другу ни малѣйшаго отклоненія въ убѣжденіяхъ нашихъ, и чуть-чуть несогласныхъ съ нами счи-

таемъ уже прямо за подлецовъ, забывая, что кто такъ легко склоненъ терять уваженіе къ другимъ, тотъ прежде всего не уважаетъ себя. Ну, намъ ли учить народъ вѣрѣ въ себя самого и въ свои силы? У народа есть **Оомы** Даниловы и ихъ тысячи, а мы совсѣмъ и не вѣримъ въ русскія силы, да и невѣріе это считаемъ за высшее просвѣщеніе и чуть не за доблесть. Ну, чему же, наконецъ, мы научить можемъ? Мы гнушаемся, до злобы почти, всѣмъ тѣмъ, что любятъ и чтить народъ нашъ и къ чему рвется его сердце. Ну, какіе же мы народолюбцы? Возразятъ, что тѣмъ больше, стало быть, любимъ народъ, коли гнушаемся его невѣжествомъ, желая ему лучшаго. О, нѣтъ, господа, совсѣмъ нѣтъ: если бъ мы вправду и на дѣлѣ любили народъ, а не въ статейкахъ и книжкахъ, то мы бы поближе подошли къ нему и озаботились бы изучить то, что теперь совсѣмъ наобумъ, по европейскимъ шаблонамъ, желаемъ въ немъ истребить: тогда, можетъ, и сами научились бы столь многому, чего и представить теперь даже не можемъ.

Есть у насъ, впрочемъ, одно утѣшеніе, одна великая наша гордость передъ народомъ нашимъ, а потому-то мы такъ и презираемъ его: это то, что онъ націоналенъ и стоитъ на томъ изо всей силы, а мы—общечеловѣческихъ убѣжденій, да и цѣль свою поставили въ общечеловѣчности, а, стало быть, безмѣрно надъ нимъ возвысились. Ну, вотъ въ этомъ и весь раздоръ нашъ, весь и разрывъ съ народомъ, и я прямо провозглашаю: уладь мы этотъ пунктъ, найди мы точку примиренія, и разомъ кончилась бы вся наша рознь съ народомъ. А вѣдь этотъ пунктъ есть, вѣдь его найти чрезвычайно легко. Рѣшительно повторяю, что самыя даже радикальныя несогласія наши въ сущности одинъ лишь миражъ.

Но что же это за пунктъ примиренія?

ГЛАВА ВТОРАЯ.

I.

Примирительная мечта внѣ науки.

И прежде всего выставляю самое спорное и самое щекотливое положеніе и съ него начинаю:

„Всякій великій народъ вѣрить и долженъ вѣрить, если только хочетъ быть долго живъ, что въ немъ-то, и только въ немъ одномъ, и заключается спасеніе міра, что жи-

веть онъ на то, чтобъ стоять во главѣ народовъ, приобщить ихъ всѣхъ къ себѣ воедино и вести ихъ, въ согласномъ хорѣ, къ окончательной цѣли всѣмъ имъ предназначенной“.

Я утверждаю, что такъ было со всѣми великими націями міра, древнѣйшими и новѣйшими, что только эта лишь вѣра и возвышала ихъ до возможности, каждую, имѣть, въ свои сроки, огромное мировое вліяніе на судьбы человѣчества. Такъ безспорно было съ древнимъ Римомъ, такъ потомъ было съ Римомъ въ католическое время его существованія. Когда католическую идею его унаслѣдовала Франція, то то же самое случилось и съ Франціей и, въ продолженіе почти двухъ вѣковъ, Франція, вплоть до самаго недавняго погрома и унынія своего, все время и безспорно—считала себя во главѣ міра, по крайней мѣрѣ, нравственно, а временами и политически, предводительницей хода его и указательницей его будущаго. Но о томъ же мечтала всегда и Германія, выставившая противъ мировой католической идеи и ея авторитета знаменемъ своимъ протестантизмъ и безконечную свободу совѣсти и изслѣдованія. Повторяю, то же бываетъ и со всѣми великими націями, *болше или менше*, въ зенитѣ развитія ихъ. Мнѣ скажутъ, что все это невѣрно, что это ошибка, и укажутъ, напримѣръ, на собственное *сознаніе* этихъ же самыхъ народовъ, на сознаніе ихъ ученыхъ и мыслителей, писавшихъ именно о совокупномъ значеніи европейскихъ націй, участвовавшихъ купно въ созданіи и завершеніи европейской цивилизаціи, и я, разумѣется, отрицать такого сознанія не буду. Но не говоря уже о томъ, что такіе окончательные выводы сознанія и вообще составляютъ какъ бы уже конецъ живой жизни народовъ, укажу хотя бы лишь на то, что самые то эти мыслители и сознаватели, какъ бы тамъ ни писали о мировой гармоніи націй, все же, въ то же самое время, и чаще всего, непосредственнымъ, живымъ и искреннимъ чувствомъ *продолжали творить*, точь-въ-точь какъ и массы народа ихъ, что въ этомъ хорѣ націй, составляющихъ мировую гармонію и выработанную уже сообща цивилизацію,—они (т.-е. французы, напримѣръ) и есть голова всего единенія, самые передовые, тѣ самые, которымъ предназначено вести, а тѣ только слѣдуютъ за ними. Что они, положимъ, если и позаимствуютъ у тѣхъ народовъ что-нибудь, то все же немножко; но зато тѣ народы, напротивъ, **возьмутъ у**

нихъ все, все главнѣйшее, и только ихъ духомъ и ихъ идеей жить могутъ, да и не могутъ иначе сдѣлать, какъ сопричаститься ихъ духу въ концѣ концовъ и слиться съ нимъ рано или поздно. Вотъ и въ теперешней Франціи, уже унылой и раздробленной духовно, есть и теперь еще одна изъ такихъ идей, представляющая новый, по нашему совершенно естественный фазисъ ея же прежней міровой католической идеи и развитіе ея, и чуть не половина французовъ вѣрять и теперь, что въ ней-то и кроется спасеніе, не только ихъ, но и міра,—это именно ихъ французскій социализмъ. Идея эта, т.-е. ихній социализмъ, конечно, ложная и отчаянная, но не въ качествѣ ея теперь дѣло, а въ томъ, что она теперь существуетъ, живетъ живой жизнью, и что въ исповѣдующихъ ее нѣтъ сомнѣнія и унынія, какъ въ остальной огромной части Франціи. Съ другой стороны, взгляните на каждого почти англичанина, высшаго или низшаго типа, лорда или работника, ученаго или необразованнаго, и вы убѣдитесь, что каждый англичанинъ прежде всего старается быть англичаниномъ, сохраниться въ видѣ англичанина во всѣхъ фазисахъ своей жизни, частной и общественной, политической и общечеловѣческой, и даже любить чело-вѣчество старается не иначе, какъ въ видѣ англичанина. Мнѣ скажутъ, что если бѣ даже и такъ, если бѣ и было все это, какъ я утверждаю, то все-таки такое самообо-льщеніе и самомяніе было бы даже унижительно для тѣхъ великихъ народовъ, умалило бы значеніе ихъ эгоизмомъ, недѣльнымъ шовинизмомъ, и не то чтобы придало имъ жиз-ненной силы, а, напротивъ, повредило бы и растлило бы ихъ жизнь въ самомъ началѣ. Скажутъ, что подобныя, безумныя и гордыя идеи достойны не подражанія, а, на-противъ, искорененія свѣтомъ разума, уничтожающаго предрасудки. Положимъ, что съ одной стороны это очень правда; но все же тутъ надо непременно посмотрѣть и съ другой стороны и тогда выйдетъ не только не унизи-тельно, а даже совсѣмъ напротивъ. Чтѣ въ томъ, что не жившій еще юноша мечтаетъ про себя современемъ стать героемъ? Повѣрьте, что такія, пожалуй, гордыя и занос-чивыя мечты могутъ быть гораздо живительнѣе и полез-нѣе этому юношѣ, чѣмъ иное благоразуміе того отрока, который уже въ шестнадцать лѣтъ вѣрять премудрому правилу, что „счастье лучше богатства“. Повѣрьте, что жизнь этого юноши даже послѣ прожитыхъ уже бѣдствій

и неудачь, въ цѣломъ, будетъ все-таки краше, чѣмъ успокоенная жизнь мудраго товарища дѣтства его, хотя бы тому всю жизнь суждено было сидѣть на бархатѣ. Такая вѣра въ себя не безнравственна и вовсе не пошлое самохвальство. Такъ точно и въ народахъ: пусть есть народы благоразумные, честные и умѣренные, спокойные, безъ всякихъ порывовъ, торговцы и кораблестроители, живущіе богато и съ чрезвычайною опрятностью; ну и Богъ съ ними, все же далеко они не пойдутъ; это непременно выйдетъ средина, которая ничѣмъ не сослужитъ человѣчеству: этой энергіи въ нихъ нѣтъ, великаго самоиѣнія этого въ нихъ нѣтъ, трехъ этихъ шевелящихся витовъ подъ ними нѣтъ, на которыхъ стоятъ всѣ великіе народы. Вѣра въ то, что хочешь и *можешь* сказать послѣднее слово міру, что обновишь, наконецъ, его избыткомъ живой силы своей, вѣра въ святость своихъ идеаловъ, вѣра въ силу своей любви и жажды служенія человѣчеству,—нѣтъ, такая вѣра есть залогъ самой высшей жизни націй и только ею они и принесутъ всю ту пользу человѣчеству, которую предназначено имъ принести, всю ту часть жизненной силы своей и органической идеи своей, которую предназначено имъ самой природой, при созданіи ихъ, удѣлить въ наслѣдство грядущему человѣчеству. Только сильная такой вѣрой нація и имѣетъ право на высшую жизнь. Древній легендарный рыцарь вѣрилъ, что предъ нимъ падутъ всѣ препятствія, всѣ призраки и чудовища, и что онъ побѣдитъ все и всѣхъ, и всего достигнетъ, если только вѣрно сохранить свой обѣтъ „справедливости, цѣломудрія и нищеты“. Вы скажете, что все это легенды и пѣсни, которымъ можетъ вѣрить одинъ Донъ-Кихоть, и что совсѣмъ не таковы законы дѣйствительной жизни націй. Ну, такъ я васъ, господа, нарочно поймаю и уличу, что и вы такіе же Донъ-Кихоты, что у васъ самихъ есть такая же идея, которой вы вѣрите и черезъ которую хотите обновить человѣчество!

Въ самомъ дѣлѣ, чему вы вѣрите? Вы вѣрите (да и я съ вами) въ общечеловѣчность, т.-е. въ то, что падутъ когда-нибудь, передъ свѣтомъ разума и сознанія, естественныя преграды и предразсудки, раздѣляющія до сихъ поръ свободное общеніе націй эгоизмомъ національныхъ требованій, и что тогда только народы заживутъ однимъ духомъ и ладомъ какъ братья, разумно и любовно стремясь къ общей гармоніи. Что-жь, господа, что можетъ

быть выше и святѣ этой вѣры вашей? И главное вѣдь то, что вѣры этой вы нигдѣ въ мірѣ болѣе не найдете, ни у какого, напримѣръ, народа въ Европѣ, гдѣ личности націй чрезвычайно рѣзко очерчены, гдѣ если есть эта вѣра, то не иначе какъ на степени какого-нибудь еще умозрительнаго только сознанія, положимъ, пылкаго и пламеннаго, но все же не болѣе какъ кабинетнаго. А у васъ, господа, то-есть не то что у васъ, а у насъ, у насъ всѣхъ, русскихъ, — эта вѣра есть вѣра всеобщая, живая, главнѣйшая; всѣ у насъ этому вѣрятъ, и сознательно и просто, и въ интеллигентномъ мірѣ и живымъ чутьемъ въ простомъ народѣ, которому и религія его повелѣваетъ этому самому вѣрить. Да, господа, вы думали, что вы только одни „общечеловѣки“ изъ всей интеллигенціи русской, а остальные только славянофилы да націоналисты? Такъ вотъ нѣтъ же: славянофилы-то и націоналисты вѣрятъ точь-въ-точь тому же самому, какъ и вы, да еще крѣпче вашего!

Возьму только однихъ славянофиловъ: вѣдь чтò провозглашали они устами своихъ передовыхъ дѣятелей, основателей и представителей своего ученія? Они прямо, въ ясныхъ и точныхъ выводахъ, заявляли, что Россія, вкупѣ со славянствомъ и во главѣ его, скажетъ величайшее слово всему міру, которое тотъ когда-либо слышалъ, и что это слово именно будетъ завѣтомъ общечеловѣческаго единенія, и уже не въ духѣ личнаго эгоизма, которымъ люди и націи, искусственно и неестественно единятся теперь въ своей цивилизаціи, изъ борьбы за существованіе, положительной наукой опредѣляя свободному духу нравственныхъ границы, въ то же время роя другъ другу ямы, проливаясь другъ на друга ложь, хулу и клевету. Идеаломъ славянофиловъ было единеніе въ духѣ истинной широкой любви, безъ лжи и матеріализма, и на основаніи личнаго великодушнаго примѣра, который предназначено дать собою русскому народу во главѣ свободнаго всеславянскаго единенія Европѣ. Вы скажете мнѣ, что вы вовсе не тому вѣрите, что все это кабинетныя умозрѣнія. Но дѣло тутъ вовсе не въ вопросѣ: какъ кто вѣруетъ, а въ томъ, что всѣ у насъ, несмотря на всю разногласицу, все же сходятся и сводятся къ этой одной окончательной общей мысли общечеловѣческаго единенія. Это фактъ не подлежащій сомнѣнію и самъ въ себѣ удивительный, потому что, на стеклахъ такой живой и главнѣйшей потребности,

этого чувства нѣтъ еще нигдѣ, ни въ одномъ народѣ. Но если такъ, то вотъ и у насъ, стало-быть, у насъ всѣхъ, есть твердая и опредѣленная національная идея: именно *національная*. Слѣдовательно, если національная идея русская есть, въ концѣ концовъ, лишь всемірное общечеловѣческое единеніе, то значить вся наша выгода въ томъ, чтобы всѣмъ, превративъ всѣ раздоры до времени, стать поскорѣе русскими и національными. Все спасеніе наше лишь въ томъ, чтобы не спорить заранѣе о томъ, какъ осуществится эта идея и въ какой формѣ, въ вашей или въ нашей, а въ томъ, чтобы изъ кабинета всѣмъ вмѣстѣ перейти прямо къ дѣлу.

Но вотъ тутъ-то и пунктъ.

II.

Мы въ Европѣ лишь стрюціе.

Вѣдь вы какъ переходили къ дѣлу? Вы вѣдь давно начали, очень давно, но что, однако, вы сдѣлали для общечеловѣчности, т.-е. для торжества вашей идеи? Вы начали съ безцѣльнаго скитальчества по Европѣ при алчномъ желаніи переродиться въ европейцевъ, хотя бы по виду только. Цѣлое восемнадцатое столѣтіе мы только и дѣлали, что пова лишь видъ перенимали. Мы нагоняли на себя европейскіе вкусы, мы даже ѣли всякую пакость, стараясь не морщиться: „вотъ, дескать, какой я англичанинъ, ничего безъ кайенскаго перцу ѣсть не могу“. Вы думаете, я издѣваюсь? Ничуть. Я слишкомъ понимаю, что иначе и нельзя было начать. Еще до Петра, при московскихъ еще царяхъ и патріархахъ одинъ тогдашній молодой московскій франтъ, изъ передовыхъ, надѣлъ французскій костюмъ и къ боку прицѣпилъ европейскую шпагу. Мы именно должны были начать съ презрѣнія къ своему и къ своимъ, и если пробыли цѣлые два вѣка на этой точкѣ, не двигаясь ни назадъ, ни впередъ, то, вѣроятно, таковъ ужъ былъ нашъ срокъ отъ природы. Правда, мы и двигались: презрѣніе къ своему и къ своимъ все болѣе и болѣе возрастало, особенно, когда мы посерьезнѣе начали понимать Европу. Въ Европѣ насъ, впрочемъ, никогда не смущали рѣзкія разьединенія національностей и рѣзко опредѣлившіеся типы народныхъ характеровъ. Мы съ того и начали, что прямо „сняли всѣ противоположности“ и получили общечеловѣчскій типъ „европейца“— т.-е. съ самаго начала подмѣтили *общее*, всѣхъ ихъ свя-

зующее,—это очень характерно. Затѣмъ, съ теченіемъ времени, поумиѣвъ еще болѣе, мы прямо ухватились за цивилизацію и тотчасъ же увѣровали, слѣпо и преданно, что въ ней-то и заключается то „всеобщее“, которому предназначено соединять человѣчество воедино. Даже европейцы удивлялись, глядя на насъ, на чужихъ и пришельцевъ, это восторженной вѣрѣ нашей, тѣмъ болѣе, что сами они, увы, стали ужъ и тогда помаленьку терять эту вѣру въ себя. Мы съ восторгомъ встрѣтили пришествіе Руссо и Вольтера, мы съ путешествующимъ Карамзинымъ умиленно радовались созванію „Національныхъ штатовъ“ въ 89 году, и если мы и приходили потомъ въ отчаяніе, въ концѣ первой четверти уже нынѣшняго вѣка, вмѣстѣ съ передовыми европейцами надъ ихъ погибшими мечтами и разбитыми идеалами, то вѣры нашей все-таки не потеряли и даже самихъ европейцевъ утѣшали. Даже самые „бѣлые“ изъ русскихъ у себя въ отечествѣ становились въ Европѣ тотчасъ же красными—чрезвычайно характерная тоже черта. Затѣмъ, въ половинѣ текущаго столѣтія, нѣкоторые изъ насъ удостоились приобщиться къ французскому социализму и приняли его, безъ малѣйшихъ колебаній, за конечное разрѣшеніе всечеловѣческаго единенія, то-есть за достиженіе всей увлекавшей насъ доселѣ мечты нашей. Такимъ образомъ, за достиженіе цѣли мы приняли то, что составляло верхъ эгоизма, верхъ безчеловѣчія, верхъ эконолической безтолковщины и безурядицы, верхъ клеветы на природу человѣческую, верхъ уничтоженія всякой свободы людей, но это насъ не смущало нисколько. Напротивъ, видя грустное недоумѣніе иныхъ глубокихъ европейскихъ мыслителей, мы съ совершенною развязностью немедленно обозвали ихъ подлецами и тупицами. Мы вполне повѣрили, да и теперь еще вѣримъ, что положительная наука вполне способна опредѣлить *нравственныя* границы между личностями единицъ и націй (какъ будто наука,—если бъ и могла это она сдѣлать,—можетъ открыть эти тайны раньше *завершенія опыта*, т.-е. раньше завершенія всѣхъ судебъ человѣка на землѣ). Наши помѣщики продавали своихъ крѣпостныхъ крестьянъ и ѣхали въ Парижъ издавать социальные журналы, а наши Рудины умирали на баррикадахъ. Тѣмъ временемъ мы до того уже оторвались отъ своей земли русской, что уже утратили всякое понятіе о томъ, до какой степени такое ученіе разнится съ душой народа

русскаго. Впрочемъ, русскій народный характеръ мы не только считали ни во что, но и не признавали въ народѣ никакого характера. Мы забыли и думать о немъ, и съ полнымъ деспотическимъ спокойствіемъ были убѣждены (не ставя и вопроса), что народъ нашъ тотчасъ приметъ все, что мы ему уважемъ, т. е. въ сущности прикажемъ. На этотъ счетъ у насъ всегда ходило нѣсколько смѣшнѣйшихъ анекдотовъ о народѣ. Наши общечеловѣки пребыли къ своему народу вполне помѣщиками, и даже послѣ крестьянской реформы.

И чего же мы достигли? Результатовъ странныхъ: главное, всѣ на насъ въ Европѣ смотрятъ съ насмѣшкой, а на лучшихъ и безспорно умныхъ русскихъ въ Европѣ смотрятъ съ высокоумнымъ снисхожденіемъ. Не спасала ихъ отъ этого высокоумнаго снисхожденія даже и самая эмиграція изъ Россіи, т. е. уже политическая эмиграція и полнѣйшее отъ Россіи отреченіе. Не хотѣли европейцы насъ почестъ за своихъ ни за что, ни за какія жертвы и ни въ какомъ случаѣ. *Grattez, дескать, le russe et vous verrez le tartare*, и такъ и доселѣ. Мы у нихъ въ половицу вошли. И чѣмъ больше мы имъ въ угоду презирали нашу національность, тѣмъ болѣе они презирали насъ самихъ. Мы вилили предъ ними, мы подобострастно исповѣдывали имъ наши „европейскіе“ взгляды и убѣжденія, а они свысока насъ не слушали и обыкновенно прибавляли съ учтивою усмѣшкой, какъ бы желая поскорѣе отвязаться, что мы это все у нихъ „не такъ поняли“. Они именно удивлялись тому, какъ это мы, будучи такими татарами (*les tartares*), никакъ не можемъ стать русскими; мы же никогда не могли растолковать имъ, что хотимъ быть не русскими, а общечеловѣками. Правда, въ послѣднее время они что-то даже поняли. Они поняли, что мы чего-то хотимъ, чего-то имъ страшнаго и опаснаго; поняли, что насъ много, восемьдесятъ милліоновъ, что мы знаемъ и понимаемъ всѣ европейскія идеи, а что они нашихъ русскихъ идей не знаютъ, а если и узнаютъ, то не поймутъ; что мы говоримъ на всѣхъ языкахъ, а что они говорятъ лишь на однихъ своихъ,—ну, и многое еще они стали смекать и подозревать. Кончилось тѣмъ, что они прямо обозвали насъ врагами и будущими сокрушителями европейской цивилизаціи. Вотъ какъ они поняли нашу страстную цѣль стать общечеловѣками!

А между тѣмъ намъ отъ Европы никакъ нельзя отказаться. Европа намъ второе отечество,—я первый страстно исповѣдую это и всегда исповѣдывалъ. Европа намъ *почти* такъ же *всѣмъ* дорога, какъ Россія; въ ней все Афетово племя, а наша идея—объединеніе всѣхъ націй этого племени, и даже дальше, гораздо дальше, до Сима и Хама. Какъ же быть?

Стать русскими во-первыхъ и прежде всего. Если общечеловѣчность есть идея національная русская, то прежде всего надо каждому стать русскимъ, т. е. самимъ собой, и тогда съ перваго шагу все измѣнится. Стать русскимъ значитъ перестать презирать народъ свой. И какъ только европеецъ увидитъ, что мы начали уважать народъ нашъ и національность нашу, такъ тотчасъ же начнетъ и онъ насъ самихъ уважать. И дѣйствительно, чѣмъ сильнѣе и самостоятельнѣе развились бы мы въ національномъ духѣ нашемъ, тѣмъ сильнѣе и ближе отозвались бы европейской душѣ, и, породнившись съ нею, стали бы тотчасъ ей понятнѣе. Тогда не отвергывались бы отъ насъ высокомерно, а выслушивали бы насъ. Мы и на видъ тогда станемъ совсѣмъ другіе. Ставъ самими собой, мы получимъ наконецъ обликъ человѣческой, а не обезьяній. Мы получимъ видъ свободного существа, а не раба, не лакея, не Потугина; насъ сочтутъ тогда за людей, а не за международную обшмыгу, не за стрюцкихъ европеизма, либерализма и социализма. Мы и говорить будемъ съ ними умнѣе теперешняго, потому что въ народѣ нашемъ и въ духѣ его отыщется новыя слова, которыя ужъ непременно станутъ европейцамъ понятнѣе. Да и сами мы поймемъ тогда, что многое изъ того, что мы презирали въ народѣ нашемъ,— есть не тьма, а именно свѣтъ, не глупость, а именно умъ, а, понявъ это, мы непременно произнесемъ въ Европѣ такое слово, котораго тамъ еще не слышали. Мы убѣдимся тогда, что настоящее социальное слово несетъ въ себѣ никто иной, какъ народъ нашъ, что въ идеѣ его, въ духѣ его заключается живая потребность всеединенія человѣческаго, всеединенія уже съ полнымъ уваженіемъ къ національнымъ личностямъ и къ сохраненію ихъ, къ сохраненію полной свободы людей и съ указаніемъ въ чемъ именно эта свобода и заключается,—единеніе любви, *гарантированное* уже дѣломъ, живымъ примѣромъ, потребностью на дѣлѣ истиннаго братства, а не гильотиной, не милліонами отрубленныхъ головъ.

А впрочемъ, неужели и впрямь я хотѣлъ кого убѣдить. Это была шутка. Но — слабъ человѣкъ: авось прочтеть кто-нибудь изъ подростковъ, изъ юнаго поколѣнія...

III.

Русская сатира. „Новь“. „Послѣднія пѣсни“. Старья воспоминанія.

Занимался я въ этотъ мѣсяцъ и литературой, то-есть беллетристикой, „изящной литературой“, и кое-что прочелъ съ увлеченіемъ. Кстати, недавно прочелъ я одно иностранное мнѣніе о русской сатирѣ, т.-е. о современной нашей сатирѣ, теперешней. Оно высказано было во Франціи. Замѣчательнень тутъ одинъ выводъ, — забылъ подлинныя слова, но вотъ смыслъ: „Русская сатира какъ бы боится хорошаго поступка въ русскомъ обществѣ. Встрѣтивъ подобный поступокъ, она приходитъ въ безпокойство и не успокоивается до тѣхъ поръ, пока не прищеть гдѣ-нибудь, въ подкладкѣ этого поступка, подлеца. Тутъ она тотчасъ обрадуется и закричитъ: „Это вовсе не хороший поступокъ, радоваться совсѣмъ нечему, видите сами, тутъ тоже подлець сидитъ!“

Справедливо ли это мнѣніе? Не вѣрю, чтобъ было справедливо. Знаю только, что сатира у насъ имѣетъ блестящихъ представителей и въ большемъ ходу. Публика очень любитъ сатиру и, однако, мое убѣжденіе, по крайней мѣрѣ, что та же самая публика несравненно больше любитъ положительную красоту, алчетъ и жаждетъ ея. Графъ Левъ Толстой, безъ сомнѣнія, любимѣйшій писатель русской публики всѣхъ оттѣнковъ.

Сатира наша, какъ ни блестяща она, дѣйствительно страдаетъ нѣкоторою неопредѣленностью—вотъ что развѣ можно про нее сказать. Положительно нельзя иногда представить въ цѣломъ, общемъ: что именно хочется сказать нашей сатирѣ? Такъ и кажется, что у ней у самой нѣтъ никакой подкладки, но можетъ ли это быть? Чему она сама-то вѣритъ, во имя чего обличаетъ, — это какъ будто тонетъ во мракѣ неизвѣстности. Нельзя никакъ узнать, что сама она считаетъ хорошимъ.

И вотъ надъ вопросомъ этимъ странно задумываешься.

Прочелъ „Новь“ Тургенева и жду второй части. Кстати: вотъ уже тридцать лѣтъ, какъ я пишу, и во всѣ эти тридцать лѣтъ мнѣ постоянно и много разъ приходило въ голову одно забавное наблюденіе. Всѣ наши критики

(а я слѣжу за литературой чуть не сорокъ лѣтъ), и умершіе и теперешніе, всѣ, однимъ словомъ, которыхъ я только запомню, чуть лишь начинали, теперь или бывало, какой-нибудь отчетъ о текущей русской литературѣ чуть-чуть поторжественнѣе (прежде, напримѣръ, бывали въ журналахъ годовые январскіе отчеты за весь истекшій годъ),—то всегда употребляли, болѣе или менѣе, но съ великою любовью, все одну и ту же фразу: „Въ наше время, когда литература въ такомъ упадкѣ“, „въ наше время, когда русская литература въ такомъ застоѣ“, „въ наше литературное безвременіе“, „странствуя въ пустыняхъ русской словесности“, и т. д., и т. д. На тысячу ладовъ одна и та же мысль. А въ сущности въ эти сорокъ лѣтъ явились послѣднія произведенія Пушкина, начался и кончился Гоголь, былъ Лермонтовъ, явились Островскій, Тургеневъ, Гончаровъ и еще человекъ десять, по крайней мѣрѣ, преталантливыхъ беллетристовъ. И это только въ одной беллетристикѣ! Положительно можно сказать, что почти никогда и ни въ какой литературѣ, въ такой короткій срокъ не явилось такъ много талантливыхъ писателей, какъ у насъ, и такъ сряду, безъ промежутковъ. А между тѣмъ я даже и теперь, чуть не въ прошломъ мѣсяцѣ, читалъ опять о застоѣ русской литературы и о „пустыняхъ русской словесности“. Впрочемъ, это только забавное наблюденіе мое; да и вещь-то совершенно невинная и неимѣющая никакого значенія. А такъ, усмѣхнуться можно.

Объ „Нови“ я, разумѣется, ничего не скажу; всѣ ждутъ второй части. Да и не мнѣ говорить. Художественное достоинство созданій Тургенева вѣдъ сомнѣнія. Замѣчу лишь одно: на 92 страницѣ романа (см. *Вѣстникъ Европы*) сверху страницы есть 15 или 20 строкъ, и въ этихъ строкахъ какъ бы концентрировалась, по-моему, вся мысль произведенія, какъ бы выразился весь взглядъ автора на свой предметъ. Къ сожалѣнію, этотъ взглядъ совершенно ошибоченъ и я съ нимъ глубоко несогласенъ. Это нѣсколько словъ, сказанныхъ авторомъ по поводу одного лица романа, Соломина.

Прочелъ я „Послѣднія пѣсни“ Некрасова въ январской книгѣ *Отечественныхъ Записокъ*. Страстные пѣсни и недосказанные слова, какъ всегда у Некрасова, но какіе мучительные стоны больного! Нашъ поэтъ очень боленъ и—онъ самъ говорилъ мнѣ—видитъ ясно свое по-

ложеніе. Но мнѣ не вѣрится... Это крѣпкій и воспримчивый организмъ. Онъ страдаетъ ужасно (у него какая-то язва въ кишкахъ, болѣзнь, которую и опредѣлить трудно), но я не вѣрю, что онъ не вынесетъ до весны, а весной на воды за границу, въ другой климатъ, поскорѣе, и онъ поправится, я въ этомъ убѣжденъ. Странно бываетъ съ людьми; мы въ жизнь нашу рѣдко видались, бывали между нами и недоумѣнія, но у насъ былъ одинъ такой случай въ жизни, что я никогда не могъ забыть о немъ. Это именно наша первая встрѣча другъ съ другомъ въ жизни. И что жъ, недавно я зашелъ къ Некрасову и онъ, больной, измученный, съ перваго слова началъ съ того, что помнить о тѣхъ дняхъ. Тогда (это тридцать лѣтъ тому!) произошло что-то такое молодое, свѣжее, хорошее,—изъ того что остается навсегда въ сердцѣ участвовавшихъ. Намъ тогда было по двадцати съ немногимъ лѣтъ. Я жилъ въ Петербургѣ, уже годъ какъ вышелъ въ отставку изъ инженеровъ, самъ не зная зачѣмъ, съ самыми неясными и неопредѣленными цѣлями. Былъ май мѣсяць сорокъ пятаго года. Въ началѣ зимы я началъ вдругъ „Бѣдныхъ людей“, мою первую повѣсть, до тѣхъ поръ ничего еще не писавши. Кончивъ повѣсть, я не зналъ какъ съ ней быть и кому отдать. Литературныхъ знакомствъ я не имѣлъ совершенно никакихъ, кромѣ развѣ Д. В. Григоровича, но тотъ и самъ еще ничего тогда не написалъ, кромѣ одной маленькой статейки „Петербургскіе шарманщики“ въ одинъ сборникъ. Кажется, онъ тогда собирался уѣхать на лѣто къ себѣ въ деревню, а пока жилъ нѣкоторое время у Некрасова. Зайдя ко мнѣ, онъ сказалъ: „принесите рукопись“ (самъ онъ еще не читалъ ее): „Некрасовъ хочетъ къ будущему году сборникъ издать, я ему покажу“. Я снесъ, видѣлъ Некрасова минутку, мы подали другъ другу руки. Я сконфузился отъ мысли, что пришелъ со своимъ сочиненіемъ и поскорѣй ушелъ, не сказавъ съ Некрасовымъ почти ни слова. Я мало думалъ объ успѣхѣ, а этой партіи *Отечественныхъ Записокъ*, какъ говорили тогда, я боялся. Бѣлинскаго я читалъ уже нѣсколько лѣтъ съ увлеченіемъ, но онъ мнѣ казался грознымъ и страшнымъ и — „осмѣетъ онъ моихъ „Бѣдныхъ людей!“—думалось мнѣ иногда. Но лишь иногда: писалъ я ихъ со страстью, почти со слезами — „неужто все это, всѣ эти минуты, которыя я пережилъ съ перомъ въ рукахъ надъ этой повѣстью,—все это ложь, миражъ, невѣр-

ное чувство? Но думалъ я такъ, разумѣется, только минутами и мнительность немедленно возвращалась. Вечеромъ того же дня, какъ я отдалъ рукопись, я пошелъ куда-то далеко къ одному изъ прежнихъ товарищей; мы всю ночь проговорили съ нимъ о „Мертвыхъ душахъ“ и читали ихъ, въ который разъ не помню. Тогда это бывало между молодежью; сойдутся двое или трое: „а не почитать ли намъ, господа, Гоголя!“—салятся и читаютъ, и, пожалуй, всю ночь. Тогда между молодежью весьма и весьма многіе какъ бы чѣмъ-то были проникнуты и какъ бы чего-то ожидали. Воротился я домой уже въ четыре часа, въ бѣлую, свѣтлую какъ днемъ петербургскую ночь. Стояло прекрасное теплое время, и, войдя къ себѣ въ квартиру, я спать не легъ, отворилъ окно и сѣлъ у окна. Вдругъ звонокъ, чрезвычайно меня удивившій, и вотъ Григоровичъ и Некрасовъ бросаются обнимать меня, въ совершенномъ восторгѣ, и оба чуть сами не плачутъ. Они наканунѣ вечеромъ воротились рано домой, взяли мою рукопись и стали читать, на пробу: „съ десяти страницъ видно будетъ“. Но прочтя десять страницъ, рѣшили прочесть еще десять, а затѣмъ, не отрываясь, просидѣли уже всю ночь до утра, читая вслухъ и чередуясь, когда одинъ уставалъ. „Читаетъ онъ про смерть студента — передавалъ мнѣ потомъ уже наединѣ Григоровичъ, — и вдругъ я вижу, въ томъ мѣстѣ, гдѣ отецъ за гробомъ бѣжитъ, у Некрасова голосъ прерывается, разъ и другой, и вдругъ не выдержалъ, стукнулъ ладонью по рукописи: „Ахъ, чтобъ его!“ Это про васъ-то и этакъ мы всю ночь“. Когда они кончили (семь печатныхъ листовъ!), то въ одинъ голосъ рѣшили идти ко мнѣ немедленно: „Что жъ такое, что спать, мы разбудимъ его, *это* выше сна!“ Потомъ, приглядѣвшись къ характеру Некрасова, я часто удивлялся той минутѣ: характеръ его замкнутый, почти мнительный, осторожный, мало сообщительный. Такъ, по крайней мѣрѣ, онъ мнѣ всегда казался, такъ что та минута нашей первой встрѣчи была воистину проявленіемъ самаго глубокаго чувства. Они пробыли у меня тогда съ полчаса, въ полчаса мы Богъ знаетъ сколько переговорили, съ полслова понимая другъ друга, съ восклицаніями, торопясь: говорили и о поэзіи, и о правдѣ, и о „тогдашнемъ положеніи“, разумѣется, и о Гоголѣ, цитуя изъ „Ревизора“ и изъ „Мертвыхъ Душъ“, но главное, о Бѣлинскомъ. „Я ему сегодня же снесу вашу повѣсть и вы уви-

дите,—да вѣдь человѣкъ-то, человѣкъ-то какой! Вотъ вы познакомитесь, увидите, какаѧ это душа!“ — восторженно говорилъ Некрасовъ, трѧся меня за плечи обѣими руками. „Ну, теперь спите, спите, мы уходимъ, а завтра къ намъ!“ Точно я могъ заснуть послѣ нихъ! Какой восторгъ, какой успѣхъ, а главное — чувство было дорого, помню ясно: „У иного успѣхъ, ну, хвалѧть, встрѣчаютъ, поздравляютъ, а вѣдь эти прибѣжали со слезами, въ четыре часа, разбудить, потому что это выше сна... Ахъ, хорошо!“ Вотъ чтѧ я думалъ, какой тутъ сонъ!

Некрасовъ снесъ рукопись Бѣлинскому въ тотъ же день. Онъ благоговѣлъ передъ Бѣлинскимъ и, кажется, всѣхъ больше любилъ его за всю свою жизнь. Тогда еще Некрасовъ ничего еще не написалъ такого размѣра, какъ удалось ему вскорѣ, черезъ годъ потомъ. Некрасовъ очутился въ Петербургѣ, сколько мнѣ извѣстно, лѣтъ шестнадцати, совершенно одинъ. Писалъ онъ тоже чуть не съ 16-ти лѣтъ. О знакомствѣ его съ Бѣлинскимъ я мало знаю, но Бѣлинскій его угадалъ съ самаго начала и, можетъ-быть, сильно повліялъ на настроеніе его поэзіи. Несмотря на всю тогдашнюю молодость Некрасова и на разницу лѣтъ ихъ, между ними навѣрно ужъ и тогда бывали такія минуты и уже сказаны были такія слова, которыя вліяютъ навѣкъ и связываютъ неразрывно. „Новый Гоголь явился!“ закричалъ Некрасовъ, входя къ нему съ „Бѣдными людьми“. — „У васъ Гоголи-то какъ грибы растутъ“, строго замѣтилъ ему Бѣлинскій, но рукопись взялъ. Когда Некрасовъ опять зашелъ къ нему вечеромъ, то Бѣлинскій встрѣтилъ его „просто въ волненіи“: Приведите, приведите его скорѣе!

И вотъ (это, стало-быть, уже на третій день) меня привели къ нему. Помню, что на первый взглядъ меня очень поразила его наружность, его носъ, его лобъ; я представлялъ его себѣ почему-то совсѣмъ другимъ, — „этого ужаснаго, этого страшнаго критика“. Онъ встрѣтилъ меня чрезвычайно важно и сдержанно. „Что жъ, оно такъ и надо“, подумалъ я, но не прошло, кажется, и минуты, какъ все преобразилось: важность была не лица, не великаго критика, встрѣчающаго двадцати-двухъ-лѣтняго начинающаго писателя, а, такъ сказать, изъ уваженія его къ тѣмъ чувствамъ, которыя онъ хотѣлъ мнѣ излить какъ можно скорѣе, къ тѣмъ важнымъ словамъ, которыя чрезвычайно торопился мнѣ сказать. Онъ заговорилъ пламенно, съ горя-

щими глазами: „Да вы понимаете ль сами-то, повторилъ онъ мнѣ нѣсколько разъ и вскрикивая по своему обыкновенію, — что это вы такое написали!“ Онъ вскрикивалъ всегда, когда говорилъ въ сильномъ чувствѣ. „Вы только непосредственнымъ чутьемъ, какъ художникъ, это могли написать, но осмыслили ли вы сами-то всю эту страшную правду, на которую вы намъ указали? Не можетъ быть, чтобы вы въ ваши двадцать лѣтъ ужъ это понимали. Да вѣдь это вашъ несчастный чиновникъ—вѣдь онъ до того заслужился и до того довелъ себя уже самъ, что даже и несчастнымъ-то себя не смѣетъ почестъ отъ приниженности и почти за вольнодумство считаетъ малѣйшую жалобу, даже права на несчастье за собой не смѣетъ признать и, когда добрый человекъ, его генераль, даетъ ему эти сто рублей—онъ раздробленъ, уничтоженъ отъ изумленія, что такого какъ онъ могъ пожалѣть „Ихъ Превосходительство“, не его превосходительство, а „ихъ превосходительство“, какъ онъ у васъ выражается! А эта оторвавшаяся пуговица, эта минута цѣлованія генеральской ручки, — да вѣдь тутъ ужъ не сожалѣніе къ этому несчастному, а ужасъ, ужасъ! Въ этой благодарности-то его ужасъ! Это трагедія! Вы до самой сути дѣла дотронулись, самое главное разомъ указали. Мы публицисты и критики только разсуждаемъ, мы словами стараемся разъяснить это, а вы, художникъ, одною чертой, разомъ въ образѣ выставляете самую суть, чтобъ ощупать можно было рукой, чтобъ самому неразсуждающему читателю стало вдругъ все понятно! Вотъ тайна художественности, вотъ правда въ искусствѣ! Вотъ служеніе художника истинѣ! Вамъ правда открыта и возвѣщена какъ художнику, досталась какъ даръ, цѣните же вашъ даръ и оставайтесь вѣрнымъ и будете великимъ писателемъ!“

Все это онъ тогда говорилъ мнѣ. Все это онъ говорилъ потомъ обо мнѣ и многимъ другимъ, еще живымъ теперь и могущимъ засвидѣтельствовать. Я вышелъ отъ него въ упоеніи. Я остановился на углу его дома, смотрѣлъ на небо, на свѣтлый день, на проходившихъ людей и весь, всѣмъ существомъ своимъ ощущалъ, что въ жизни моей произошелъ торжественный моментъ, переломъ навѣки, что началось что-то совсѣмъ новое, но такое, чего я и не предполагалъ тогда даже въ самыхъ страстныхъ мечтахъ моихъ. (А я былъ тогда страшный мечтатель). „И неужели вправду я такъ великъ“, стыдливо думалъ я

про себя въ какомъ-то робкомъ восторгѣ. О, не смѣйтесь, никогда потомъ я не думалъ, что я великъ, но тогда—развѣ можно было это вынести! „О, я буду достойнымъ этихъ похвалъ, и какіе люди, какіе люди! Вотъ гдѣ люди! Я заслужу, постараюсь стать такимъ же прекраснымъ, какъ они, пребуду „вѣренъ!“ О, какъ я легкомысленъ, и если бъ Бѣлинскій только узналъ, какія во мнѣ есть дрянныя, постыдныя вещи! А все говорятъ, что эти литераторы горды, самолюбивы. Впрочемъ, этихъ людей только и есть въ Россіи, они „одни, но у нихъ однихъ истина, а истина, добро, правда всегда побѣждаютъ и торжествуютъ надъ порокомъ и зломъ, мы побѣдимъ; о, къ нимъ, съ ними!“

Я это все думалъ, я припоминаю ту минуту въ самой полной ясности. И никогда потомъ я не могъ забыть ее. Это была самая восхитительная минута во всей моей жизни. Я въ каторгѣ, вспоминая ее, укрѣплялся духомъ. Теперь еще вспоминаю ее каждый разъ съ восторгомъ. И вотъ, тридцать лѣтъ спустя, я припомнилъ всю эту минуту опять, недавно, и будто вновь ее пережилъ, сиди у постели больного Некрасова. Я ему не напоминалъ подробно, я напомнилъ только, что были эти тогдашнія наши минуты и увидалъ, что онъ помнитъ о нихъ и самъ. Я и зналъ, что помнитъ. Когда я воротился изъ каторги, онъ указалъ мнѣ на одно свое стихотвореніе въ книгѣ его: „Это я объ васъ тогда написалъ“, сказалъ онъ мнѣ. А прожили мы всю жизнь врознь. На страдальческой своей постели онъ вспоминаетъ теперь отжившихъ друзей:

Пѣсни вѣщія ихъ не допѣты,
Пали жертвою злобы, измѣнь—
Въ цвѣтѣ лѣтъ; на меня ихъ портреты
Укоризненно смотреть со стѣнъ.

Тяжелое здѣсь слово это: *укоризненно*. Пребыли ли мы „вѣрны“, пребыли ли? Всякъ пусть рѣшаетъ на свой судъ и совѣсть. Но прочтите эти страдальческія пѣсни сами, и пусть вновь оживетъ нашъ любимый и страстный поэтъ! Страстный къ страданью поэтъ!..

IV.

Именинникъ.

Помните ли вы „Дѣтство и отрочество“ графа Толстого? Тамъ есть одинъ мальчикъ, герой всей повѣи. Но это не простой мальчикъ, не какъ другія дѣти, не какъ

братъ его Володи. Ему всего какихъ-нибудь лѣтъ двѣнадцать, а въ голову и въ сердце его уже заходятъ мысли и чувства не такія, какъ у его сверстниковъ. Мечтамъ и чувствамъ своимъ онъ уже отдается страстно и уже знаетъ, что ихъ лучше хранить ему про себя. Обнаруживать ихъ уже мѣшаетъ ему стыдливое цѣломудріе и высшая гордость. Онъ завидуетъ брату и считаетъ его несравненно выше себя, особенно по ловкости и по красотѣ лица, а между тѣмъ онъ втайнѣ предчувствуетъ, что братъ гораздо ниже его во всѣхъ отношеніяхъ, но онъ гонитъ свою мысль и считаетъ ее низостью. Онъ смотритъ на себя въ зеркало слишкомъ часто и рѣшаетъ, что онъ уродливо не хорошъ собою. У него мелькаютъ мечты, что его никто не любитъ, что его презираютъ... Однимъ словомъ, это мальчикъ довольно необыкновенный, а между тѣмъ именно принадлежащій къ этому типу семейства средне-высшаго дворянскаго круга, поэтому и историкомъ котораго былъ, по завѣту Пушкина, вполне и всецѣло, графъ Левъ Толстой. И вотъ въ ихъ домѣ, въ большомъ семейномъ московскомъ домѣ собираются гости; именинница сестра; съѣзжаются съ большими и дѣти, тоже мальчики и дѣвочки. Начались игры, танцы; нашъ герой мѣшковать, танцуетъ хуже всѣхъ, хочетъ отличиться остроуміемъ, но ему не удается,—а тутъ какъ разъ столько хорошенькихъ дѣвочекъ и—вѣчная мысль его, вѣчное подозрѣніе, что онъ хуже всѣхъ. Въ отчаяніи онъ рѣшается на все, чтобъ всѣхъ поразить. При всѣхъ дѣвочкахъ и при всѣхъ этихъ гордыхъ, старшихъ мальчикахъ, считавшихъ его ни во что, онъ вдругъ, внѣ себя, съ тѣмъ чувствомъ, съ которымъ бросаются въ раскрывшуюся подъ ногами бездну, выставляетъ гувернеру языкъ и ударяетъ его изо всѣхъ силъ кулакомъ! „Теперь всѣ узнали, каковъ онъ, онъ показалъ себя!“ Его позорно тащутъ и запираютъ въ чуланъ. Чувствуя себя погибшимъ, и уже навѣки, мальчикъ начинаетъ мечтать: вотъ онъ бѣжалъ изъ дому, вотъ онъ поступаетъ въ армію, на сраженіи онъ убиваетъ множество турокъ и падаетъ отъ ранъ. Побѣда! гдѣ нашъ спаситель, кричатъ всѣ, цѣлуютъ и обнимаютъ его. Вотъ онъ уже въ Москвѣ, онъ идетъ по Тверскому бульвару съ подвязанной рукой, его встрѣчаетъ Государь... И вдругъ мысль, что дверь отворится и войдетъ гувернеръ съ розгами, разбѣиваетъ эти мечты, какъ пыль. Начинаются другія. Онъ вдругъ выдумываетъ причину, по-

чему его „всѣ такъ не любятъ: вѣроятно, онъ подкидывшъ и отъ него это скрываютъ...“ Вихрь разрастается: вотъ онъ умираетъ, входятъ въ чуланъ и находятъ его трупъ: „Бѣдный мальчикъ!“ его всѣ жалѣютъ.—„Онъ добрый мальчикъ! Это вы его погубили, говоритъ отецъ гувернеру“... и вотъ слезы душатъ мечтателя... Вся эта исторія кончается болѣзною ребенка, лихорадкой, бредомъ. Чрезвычайно серьезный психологическій этюдъ надъ дѣтскою душой, удивительно написанный.

Я нарочно припомнилъ этотъ этюдъ въ такой подробности. Я получилъ письмо изъ К-ва, въ которомъ мнѣ описываютъ смерть одного ребенка, тоже двѣнадцатилѣтняго мальчика, и—и очень можетъ быть, что тутъ нѣчто похожее. Впрочемъ, выпишу мѣстами письмо, не измѣняя въ выписываемомъ ни слова. *Сюжетъ* любопытенъ.

8-го ноября, послѣ обѣда, разнеслась по городу вѣсть, что случилось *самоубійство*, — повѣсился 12—13-лѣтний отрокъ, воспитанникъ прогимназіи. Обстоятельства дѣла таковы. — Классный наставникъ, по предмету котораго не зналъ въ этотъ день урока погибшій мальчикъ, наказалъ его тѣмъ, что оставилъ въ заведеніи до 5 часовъ вечера. Походилъ, походилъ ученикъ, отвязалъ отъ попавшагося на глаза блока бичевку, привязалъ ее къ гвоздю, на которомъ обыкновенно виситъ такъ-называемая золотая или красная доска, для чего-то въ этотъ день вынесенная, и удавился. Сторожъ, мывшій въ сосѣднихъ комнатахъ полы, увидаль несчастнаго, побѣжалъ къ инспектору; прибѣжалъ инспекторъ, сняли съ петли самоубійцу, но возвратить его къ жизни не могли. Гдѣ причина самоубійства? Мальчикъ буйства и звѣрства не проявлялъ, учился вообще хорошо, только у своего класснаго наставника въ послѣднее время получилъ нѣсколько неудовлетворительныхъ отмѣтокъ, за что и былъ наказываемъ... Говорятъ, и отецъ мальчика, человѣкъ очень строгій, и самъ онъ былъ въ этотъ день именинникомъ. Быть можетъ, съ дѣтскимъ восторгомъ мечталъ молодой именинникъ о томъ, какъ его встрѣтятъ дома — мать, отецъ, братишки и сестренки... И вотъ сиди одинъ-одинешенекъ голодный въ пустомъ домѣ и раздумывай о страшномъ гнѣвѣ отца, который придется встрѣтить, объ униженіи, стыдѣ, а быть можетъ и наказаніи, которое предстоитъ перенести. О возможности покончить самому съ собою онъ зналъ (да и кто изъ дѣтей нашего времени не знаетъ этого). Страшно жаль погибшаго, жаль инспектора, человѣка и педагога прекраснѣйшаго, котораго воспитанники обожаютъ, страшно за школу, которая въ стѣнахъ своихъ видитъ подобныя явленія. Чтò почувствовали товарищи погибшаго и другія дѣти, обучающіяся тамъ, между которыми въ приготовительныхъ классахъ есть совершенныя крошки, когда они узнали о случившемся? Не слишкомъ ли сильна такая наука? Не слишкомъ ли много придается значенія—двойкамъ, единицамъ, золотымъ и краснымъ доскамъ, на гвоздяхъ отъ которыхъ вѣшаются воспитанники? Не слишкомъ ли много формализма и сухой безсердечности вносятся у насъ въ дѣло воспитанія?

Конечно, страшно жаль бѣднаго маленькаго именинника, но я не стану распространяться о вѣроятныхъ причинахъ этого горестнаго *случая*, и въ особенности на тему „о двойкахъ, о баллахъ, объ излишней строгости“ и проч. Все это и прежде было и обходилось безъ самоубійствъ, и причина очевидно не тутъ. Эпизодъ изъ „Отрочества“ графа Толстого я взялъ изъ сходства обоихъ случаевъ, но есть и огромная разница. Безъ сомнѣнiя, именинникъ Миша убилъ себя не отъ злости и не отъ страху только. Оба чувства эти—и злость, и болѣзненная трусливость,—слишкомъ просты и скорѣе всего нашли бы *исходъ сами въ себя*. Впрочемъ, дѣйствительно могъ повлѣять и страхъ наказанiя, особенно при болѣзненной мнительности, но все же чувство могло быть и при этомъ гораздо сложнѣе, и опять-таки очень можетъ быть, что происходило нѣчто въ родѣ того, чтѣ описалъ графъ Толстой, т. е. подавленные, еще не сознательные дѣтскiе вопросы, сильное ощущенiе какой-то гнетущей несправедливости, мнительное раннее и страдальческое ощущенiе собственной ничтожности, болѣзненно развившiйся вопросъ: „Почему меня такъ *все* не любятъ“, страстное желанiе заставить жалѣть о себѣ, т. е. то же, что страстное желанiе любви отъ *нихъ все*—и множество, множество другихъ усложненiй и отгѣнковъ. Дѣло въ томъ, что тѣ или другiе изъ этихъ отгѣнковъ непременно были, но—есть и черты какой-то новой дѣйствительности, совсѣмъ другой уже, чѣмъ какая была въ успокоенномъ и твердо, издавна сложившемся московскомъ помѣщичьемъ семействѣ средне-высшаго круга, *историкомъ* котораго явился у насъ графъ Левъ Толстой, и какъ разъ, кажется, въ ту пору, когда для прежняго русскаго дворянскаго строя, утверждавшагося на прежнихъ помѣщичьихъ основанiяхъ, пришелъ какой-то новый, еще неизвѣстный, но радикальный переломъ, по крайней мѣрѣ, огромное перерожденiе въ новыя и еще грядущiя, почти совсѣмъ неизвѣстныя формы. Есть тутъ, въ этомъ случаѣ, съ именинникомъ одна особенная черта уже совершенно нашего времени. Мальчикъ графа Толстого могъ мечтать, съ болѣзненными слезами расслабленнаго умиленiя въ душѣ, о томъ, какъ *они* войдутъ и найдутъ его мертвымъ и начнутъ любить его, жалѣть и себя винить. Онъ даже могъ мечтать и о самоубійствѣ, но лишь *мечтать*: строгiй строй исторически сложившагося дворянскаго семейства отозвался бы и въ двѣнадцатилѣт-

немъ ребенкѣ и не довелъ бы его *мечту* до *дѣла*, а тутъ— *помечталъ да и сдѣлалъ*. Я, впрочемъ, замѣчая это, не объ одной только теперешней эпидеміи самоубійствъ говорю. Чувствуется, что тутъ что-то не то, что огромная часть русскаго строя жизни осталась вовсе безъ наблюденія и безъ *историка*. По крайней мѣрѣ ясно, что жизнь средне-высшаго нашего дворянскаго круга, столь ярко описанная нашими беллетристами, есть уже слишкомъ ничтожный и обособленный уголокъ русской жизни. Кто жъ будетъ *историкомъ* остальныхъ уголковъ, кажется страшно многочисленныхъ? И если въ этомъ хаосѣ, въ которомъ давно уже, но теперь особенно, пребываетъ общественная жизнь и нельзя отыскать еще нормальнаго закона и руководящей нити даже, можетъ быть, и Шекспировскихъ размѣровъ художнику, то, по крайней мѣрѣ, кто же освѣтитъ хотя бы часть этого хаоса, и хотя бы и не мечтая о руководящей нити? Главное, какъ будто всѣмъ еще вовсе не до того, что это какъ бы еще рано для самыхъ великихъ нашихъ художниковъ. У насъ есть безспорно жизнь разлагающаяся и семейство, стало быть, разлагающееся. Но есть, необходимое, и жизнь вновь складывающаяся, на новыхъ уже началахъ. Кто ихъ подмѣтитъ и кто ихъ укажетъ? Кто хоть чуть-чуть можетъ опредѣлить и выразить законы и этого разложенія и новаго созиданія? Или еще рано? Но и старое-то, прежнее-то все ли было отмѣчено?

ФЕВРАЛЬ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

I.

Самозванные пророки и хромые бочары, продолжающіе дѣлать луну въ Гороховой. Одинъ изъ неизвѣстнѣйшихъ русскихъ великихъ людей.

Восточный вопросъ попрежнему у всѣхъ передъ глазами. Какъ ни старались мы забыть его и развлечь себя всѣмъ, что было подъ рукой,—масленицей, „Новью“, крахами, червонными валетами,—какъ ни нагоняли мы на себя цинизмъ, увѣряя всѣхъ, и себя прежде всѣхъ, что „ничего ровно не было, что все выдуманно и поддѣлано“, какъ ни прятали мы голову въ подушку, какъ маленькія дѣти, чтобъ только не видѣть грознаго привидѣнія,—а привидѣніе все-таки передъ нами, никуда не ушло, стоитъ и грозитъ какъ и прежде. Всякій—и злобствующій циникъ, и искренній гражданинъ, и безмятежно развлекающійся гуляка, и просто лѣннivecъ,—всякій чувствуетъ и помнитъ, что есть это нѣчто,—нѣчто отнюдь еще не рѣшенное и не оконченное, а вмѣстѣ съ тѣмъ неотложное и необходимое, нѣчто, что непременно позоветъ насъ и потребуетъ, рано ли, поздно ли, къ развязкѣ, и что тутъ непременно—

«Надо что-нибудь да сдѣлать,
«Надо чѣмъ-нибудь да кончить,

И ужъ это по меньшей мѣрѣ, если что-нибудь сдѣлать или чѣмъ-нибудь кончить, а что всего бы лучше, если бъ кончить получше. А между тѣмъ время идетъ да идетъ,

на дворѣ весна и—что-то дасть намъ весна? Иные кричатъ, что ушло уже время; это Богъ знаетъ; для хорошаго дѣла всегда есть время. Да, не выработается ли что-нибудь хоть къ веснѣ, не скажется ли что-нибудь окончательно, то-есть хоть бы на годъ? Вѣдь въ восточномъ вопросѣ теперь въ Европѣ дальше какъ на годъ никто и не рассчитываетъ, тѣмъ болѣе, что и сама Турція врядъ ли годъ простоятъ. Но дѣло не въ ней, а въ томъ, что послѣ нея останется. Эти окончательныя рѣшенія на годъ Европѣ, можетъ быть, и выгодны; ну, а другимъ не очень; и что-то будетъ съ другими, особенно съ тѣми другими, тамъ за Дунаемъ? Но объ нихъ думаетъ лишь русскій народъ.

Да, думаетъ, и, воля ваша, какъ ни отрицали мы изовсѣхъ силу всю зиму наше лѣтнее движеніе, но, по-моему, оно продолжалось и во всю зиму, точно такъ же, какъ и лѣтомъ, по всей Россіи, неуклонно и вѣрно, но уже спокойно и съ надеждой на рѣшеніе Царя. И ужъ, конечно, продолжаться будетъ до самаго конца, несмотря на пророковъ нашихъ, умѣвшихъ разглядѣть (и именно въ это лѣто) въ лицѣ Россіи лишь спящее гадкое пьяное существо, протянувшееся отъ Финскихъ хладныхъ скалъ до пламенной Колхиды, съ колоссальнымъ штофомъ въ рукахъ. По-моему, если и не видятъ эти пророки наши, чѣмъ живетъ Россія, такъ тѣмъ даже и лучше: не будутъ вмѣшиваться и не будутъ мѣшать, а и вмѣшаются, такъ не туда попадутъ, а мимо. Видите ли: тутъ дѣло въ томъ, что нашъ европеизмъ и „просвѣщенный“ европейскій нашъ взглядъ на Россію—то все та же еще луна, которую дѣлаетъ все тотъ же самый заѣзжій хромой бочаръ въ Гороховой, что и прежде дѣлалъ, и все такъ же прескверно дѣлаетъ, что и доказываетъ поминутно; вотъ онъ и на-дняхъ доказалъ; впредь же будетъ дѣлать еще сквернѣе,—ну, и пусть его: нѣмецъ, да еще хромой, надобно имѣть состраданіе.

Да и какое дѣло Россіи до такихъ пророковъ? Теперь и не почешемся, прежнее время прошло.

Въ газетахъ упоминалось какъ-то, что въ Москву въ эту зиму привезли изъ славянскихъ земель не одну партію бѣдныхъ маленькихъ дѣтей изъ разрушенныхъ войною семействъ, совершенныхъ сиротъ. Ихъ размѣщаютъ по разнымъ рукамъ и заведеніямъ. Хорошо бабы это все не прерывалось и организовалось, наконецъ, по всей Рос-

сіи въ самомъ обширномъ размѣрѣ: что же, вѣдь это только благодѣяніе; а дѣтокъ этихъ надо беречь, вѣдь это все *будущіе* славяне. Кстати, я нѣсколько разъ спрашивалъ себя: чѣмъ такъ-таки прокормились эти нѣсколько сотъ тысячъ ртовъ изъ болгаръ, босняковъ, герцеговинцевъ и прочихъ, бѣжавшихъ отъ своихъ мучителей, послѣ избиенія и разоренія, въ Сербію, Черногорію, Австрію и куда попало. Соображая, сколько нужно денегъ, чтобъ ихъ прокормить, и зная, что ни у сербовъ, ни у черногорцевъ нѣтъ такихъ денегъ, да и самими теперь ѣсть почти нечего, не понимаешь, чѣмъ эти сотни тысячъ могли прокормиться съ маленькими своими дѣтьми и во что въ зиму одѣть себя и дѣтей. Говорятъ, недавно въ Москву привезли еще „партію дѣтокъ“, отъ трехъ до тринадцати лѣтъ, и которыхъ приняла къ себѣ Покровская община сестеръ милосердія. Рассказываютъ, что этихъ маленькихъ сербскихъ дѣвочекъ покровскія сестры милосердія помѣстили вмѣстѣ съ прибывшими прежде болгарками, и что за ними надзираетъ одна изъ сестеръ, знающая по-сербски, такъ что дѣти рады и дѣтямъ весело. Дѣтямъ, конечно, хорошо и тепло, но я слышалъ недавно отъ одного воротившагося изъ Москвы пріятеля прехарактерный анекдотъ про этихъ самыхъ малютокъ: сербскія дѣвочки сидятъ-де въ одномъ углу, а болгарки въ другомъ, и не хотятъ ни играть, ни говорить другъ съ дружкой, а когда спрашиваютъ сербокъ, отчего онѣ не хотятъ играть съ болгарками, то тѣ отвѣчаютъ: „мы имъ дали оружіе, чтобъ они шли съ нами вмѣстѣ на турокъ, а они оружіе спрятали и не пошли на турокъ“. Это очень, по-моему, любопытно. Если восьми—девятилѣтнія малютки говорятъ такимъ языкомъ, то значитъ переняли отъ отцовъ, и если такія слова отцовъ переходятъ уже къ дѣтямъ, то значитъ между балканскими славянами несомнѣнная и страшная рознь. Да, вѣчная рознь между славянами! Они запоминаютъ ее въ своихъ преданіяхъ и сохраняютъ въ пѣсняхъ, и безъ единачаго огромнаго своего центра Россіи—не бываеъ славянскому согласію, да и не сохраниться безъ Россіи славянамъ, исчезнуть славянамъ съ лица земли вовсе,—какъ бы тамъ ни мечтали люди сербской интеллигенціи, или тамъ разные цивилизованные по-европейски чехи... Много у нихъ еще мечтателей. Да почти все еще мечтатели.

Помните ли вы у Пушкина, въ „Пѣсняхъ западныхъ

славянъ“, „пѣсню о битвѣ у Зеницы Великой“? Тамъ возставшіе собрались съ Радивоемъ въ походъ на турокъ.

А далматы, завидя наше войско,
Свои длинныя усы закрутили,
На бекрень надѣли свои шапки
И сказали: «Возьмите насъ съ собою»...

Беглербей съ своими босняками
Противъ насъ пришелъ изъ Банялуки,
Но лишь только заржали ихъ кони,
И на солнцѣ ихъ кривыя сабли
Засверкали у Зеницы Великой,—
Разбѣжались измѣнники далматы!

Кстати, я спросилъ: „Помните ли вы въ пѣсняхъ западныхъ славянъ“ и т. д., и я впередъ за всѣхъ отвѣчаю, что никто не помнить ни „пѣсни о битвѣ у Зеницы Великой“, ни даже и самихъ „Пѣсенъ западныхъ славянъ“ Пушкина. Ну, кромѣ специалистовъ какихъ-нибудь, словесниковъ, али старыхъ-старыхъ какихъ-нибудь стариковъ. Пусть я гнусно ошибаюсь, но все же я въ этомъ твердо увѣренъ. А между тѣмъ знаете ли, господа, что „Пѣсни западныхъ славянъ“ это—шедѣвръ изъ шедѣвровъ Пушкина, между шедѣврами его шедѣвръ, не говоря уже о пророческомъ и политическомъ значеніи этихъ стиховъ, еще пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ появившихся. Фактъ тогдашняго появленія у насъ этихъ пѣсенъ важенъ:— Это предчувствіе славянъ русскими, это пророчество русскихъ славянамъ о будущемъ братствѣ и единеніи. Ни въ одной критикѣ, однакоже, я никогда не читалъ про эти „сочиненія Пушкина“, что они его шедѣвры. Считали ихъ такъ себѣ, а между тѣмъ они именно шедѣвры и все, что есть высшаго по значенію. По-моему, Пушкина мы еще и не начинали узнавать; это геній, опередившій русское сознаніе еще слишкомъ надолго.—Это былъ уже русскій, настоящій русскій, самъ, силою своего генія, передѣлавшійся въ рускаго, а мы и теперь все еще у хромого бочара учимся. Это былъ одинъ изъ первыхъ русскихъ, ощутившій въ себѣ рускаго человѣка всецѣло, вызвавшій его въ себѣ и показавшій на себѣ, какъ долженъ глядѣть русскій человѣкъ,—и на народъ свой, и на семью русскую, и на Европу, и на хромого бочара, и на братьевъ славянъ. Гуманнѣе, выше и трезвѣе взгляда нѣтъ и не было еще у насъ ни у кого изъ русскихъ. Но я объ этомъ распространяться пока не стану,

а про „Пѣсни“ лишь скажу, что, какъ всѣмъ извѣстно, онѣ взяты у Пушкина съ французскаго, изъ книжки Мериме la Gouzla, книжки, сочиненной Мериме, по его собственному признанію, наобумъ, не выѣзжая изъ Парижа. Этотъ преталантливый французскій писатель, впоследствии *senateur* и чуть не родственникъ Наполеона III, теперь уже умершій, въ этой Gouzla изобразилъ, подъ видомъ славянъ, конечно, лишь французовъ, да еще и французовъ-то парижанъ; иначе они и не умѣютъ: для настоящаго француза кромѣ Парижа ничего на свѣтѣ не существуетъ. Пушкинъ, прочтя книжку и пославъ объ ней автору въ Парижъ запросъ, сочинилъ по ней свои пѣсни, т.-е. изъ французовъ, изображенныхъ Мериме, возстановилъ славянъ, и—ужь, конечно, теперь это „Пѣсни западныхъ славянъ“, настоящихъ славянъ, славянъ даже породнившихся уже съ русскими. Конечно, этихъ пѣсенъ нѣтъ въ Сербіи, поются у нихъ другія, но это все равно: Пушкинскія пѣсни—это пѣсни всеславянскія народныя, вылившіяся изъ славянскаго сердца, въ духѣ, въ образѣ славянъ, въ смыслѣ ихъ, въ обычаѣ и въ исторіи ихъ. Я бы тѣмъ высокообразованнымъ сербамъ, изъ которыхъ многіе столь недовѣрчиво смотрѣли нынѣшнимъ лѣтомъ на русскихъ, показалъ бы, напримѣръ, пѣсню Пушкина о „Георгіи Черномъ“, или эту „Пѣсню о битвѣ при Зеницѣ Великой“. Это два шедевра изъ этихъ пѣсенъ, брильянты первой величины въ поэзіи Пушкина,—(и непременно потому-то они совершенно невѣдомы въ нашихъ школахъ не только ученикамъ, но весьма вѣроятно и учителямъ, которые съ удивленіемъ услышатъ теперь въ первый разъ, что это такіе шедевры, а не „Кавказскій Пльнникъ“ и не „Цыгане“). А между тѣмъ, хоть бы въ прошломъ году-то, по крайней мѣрѣ, пустить эти пѣсни въ ходъ въ нашихъ школахъ. Впрочемъ, судя по ходу дѣлъ, врядъ ли сербы скоро узнаютъ этого извѣстнѣйшаго изъ всѣхъ великихъ русскихъ людей,—такъ, я думаю, можно опредѣлить нашего великаго Пушкина, про котораго у насъ тысячи и десятки тысячъ изъ нашей интеллигенціи до сихъ поръ не знаютъ, что это былъ такихъ великихъ размѣровъ поэтъ и русскій человекъ, и которому до сихъ поръ не могли мы еще собрать денегъ на памятникъ,—черта эта войдетъ въ нашу исторію. А сербы, прочтя эти „пѣсни“, конечно, увидали бы, какъ думаемъ мы объ ихъ свободѣ, чтимъ мы ее или нѣтъ, радуемся ли

ей или нѣтъ, и хотимъ или нѣтъ захватить ихъ въ свою власть и лишить ихъ этой свободы. Впрочемъ, довольно о поэзіи. И пусть не улыбаются надо мной свысока: „вотъ, дескать, объ какихъ мелочахъ заговорилъ“. Это не мелочь; о Пушкинѣ еще много и долго у насъ говорить надо.

II.

Доморощенные великаны и приниженный сынъ „кучи“. Анекдотъ о содранной со спины кожѣ. Высшіе интересы цивилизаціи „и да будутъ они прокляты, если ихъ надо покупать такую цѣной!“

Сербская скупщина, собравшись въ прошломъ мѣсяцѣ въ Бѣлградѣ на одно мгновеніе (на полтора часа, какъ писали въ газетахъ), чтобъ только рѣшить: „Заклѣчить миръ или нѣтъ?“—скупщина эта, какъ слышно, высказала вовсе не такое слишкомъ ужъ поспѣшно миролюбивое настроеніе, какого отъ нея ждали, принимая въ соображеніе обстоятельства. Говорятъ, и на миръ-то согласились вслѣдствіе какой-то передержки, министерской какой-то интриги. Во всякомъ случаѣ, если чуть-чуть правда, что скупщина не струсила продолженія войны, то, взявъ въ соображеніе ихъ отчаянное положеніе, невольно спросишь себя: „Что жъ это у насъ такъ кричали о трусости сербовъ?“ Я получалъ изъ Сербіи письма и говорилъ съ прѣзжавшими оттуда, и особенно запомнилъ одно письмо отъ одного юнаго русскаго, который тамъ и остался, и который пишетъ о сербахъ съ восторгомъ и съ негодованіемъ на то, что въ Россіи находятся-де люди, думающіе про нихъ, что они трусы и эгоисты. Восторженный русскій эмигрантъ даже извиняетъ членовредительство сербскихъ солдатъ у Черняева и Новоселова: это, видите ли, они до того нѣжный сердцемъ народъ, до того любить свою „кучу“, гдѣ каждый оставилъ жену, дѣтей, или мать, сестеръ, невѣсту, братьевъ, коня и собаку, что бросаютъ все, уродуютъ себя, отстрѣливаютъ себѣ пальцы, чтобы не годиться къ службѣ и поскорѣй воротиться въ свое милое гнѣздо! Представьте себѣ, я эту нѣжность сердца понимаю, и ужъ, конечно, въ такомъ случаѣ это слишкомъ нѣжный сердцемъ народъ, хотя—хотя это въ то же время довольно туповатыя дѣти своей отчизны, такъ что сами не понимаютъ, чего у нихъ сердце хочетъ. По нѣжности сердца своего сербскій обитатель „кучи“

похожъ очень, по-моему, на тѣхъ дѣтей, которыхъ очень можетъ быть вы запомнили еще съ дѣтства: вдругъ изъ семьи, или изъ разрушеннаго разбрѣдшагося вдругъ семейства, попадаютъ они въ школу. Доселѣ мальчикъ жилъ только дома, и ничего, кромѣ своего дома, не зналъ, и вдругъ—сто человѣкъ товарищей, чужія лица, шумъ, гамъ, совсѣмъ все другое, чѣмъ дома,—Боже, какая мука! Дома ему, пожалуй, было холодно и голодно, но зато его любили, а хоть и не любили, то все-таки тамъ было дома, онъ былъ одинъ у себя и съ собой, а здѣсь—ни одного-то слова ласки отъ начальства, строгости отъ учителей, такія мудренныя науки, такіе длинные коридоры и такіе безчеловѣчные сорванцы, обидчики и насмѣшники, безжалостные его товарищи: „точно у нихъ сердца нѣтъ, точно у нихъ не было ни отца, ни матери!“ Ему говорили до сихъ поръ, что лгать и обижать страшно и позорно, а вотъ они здѣсь всѣ лгутъ, обманываютъ, обижаютъ, да еще смѣются надъ его ужасомъ. Вотъ они за что-то не влюбились его, за то, что онъ плачетъ о своемъ гнѣздѣ, „классъ мараешь“. Вотъ они принимаютъ его колотить безъ пощады, всѣмъ классомъ, все время, и даже такъ, безъ злобы, для развлечения. Я замѣчу про себя, что такихъ несчастныхъ дѣтей я довольно встрѣчалъ въ моемъ дѣтствѣ въ разныхъ школахъ,—и какія преступленія совершаются иногда въ этомъ родѣ въ нашихъ воспитательныхъ заведеніяхъ, всѣхъ разрядовъ и наименованій,—именно преступленія! Попробуй мальчикъ сдуру пожаловаться, и его убьютъ чуть не до смерти (да и до смерти убьютъ); школьники бьютъ безъ жалости и безъ осторожности. Они задразняютъ его фискаломъ на цѣлые годы, говорить съ нимъ не захотятъ, а сдѣлаютъ изъ него парію,—и что за безсердечность, какое безжалостное равнодушіе при этомъ въ начальствѣ! Я не помню въ моемъ дѣтствѣ ни одного педагога, и не думаю, чтобъ и теперь было много: все лишь чиновники, получающіе жалованье. А между тѣмъ, вотъ эти-то дѣти, которыя, поступая въ школу, тоскуютъ по семьѣ и родимомъ гнѣздѣ,—вотъ именно изъ такихъ-то и выходятъ потомъ всего чаще люди замѣчательные, со способностями и съ дарованиями. А тѣ, которыя, взятыя изъ семьи, быстро уживаются въ какомъ угодно новомъ порядкѣ, въ одинъ мигъ ко всему привыкаютъ, которыя ни о чемъ никогда не тоскуютъ и даже сразу становятся во

главѣ другихъ,—эти всего чаще выходятъ лишь бездарностью, или просто дурными людьми, пролазы и интриганы еще съ восьмилѣтняго возраста. Разумѣется, я сужу слишкомъ вообще, но все-таки по-моему тотъ плохой ребенокъ, который, поступая въ школу, не тоскуетъ про себя по своей семьѣ, развѣ что семьи у него вовсе не было, или была слишкомъ плохая.

Съ такимъ страдающимъ, въ первые дни своей школы, мальчикомъ, я еще лѣтомъ, читая о нихъ, сравнивалъ невольно сербскаго новобранца-членовредителя, — иначе какъ тѣмъ же самымъ чувствомъ и объяснить не могъ его несчастнаго, неразсуждающаго, животнаго почти желанія бросить ружье и бѣжать скорѣй домой. Разница лишь въ томъ, что при этомъ желаніи объявлялась и невѣроятная, феноменальная какъ бы тупость. Онъ какъ бы отмахивался отъ всякаго соображенія о томъ, что если всѣ какъ онъ разбѣгутся, то и землю защищать будетъ некому, а, стало-быть, придуть турки когда-нибудь и къ нимъ въ „кучу“, и разорять эту дорогую, возлюбленную его „кучу“, и зарѣжутъ и мать его, и невѣсту, и сестру его, и коня и собаку ихъ. Дѣйствительно, слишкомъ во многихъ, можетъ быть, сербскихъ сердцахъ это страданіе по родному гнѣзду своему не возвысилось до страданія по родинѣ, что представило собою именно странный феноменъ. Правда, теперь, когда ужъ кончилась у нихъ война и заключенъ миръ, можно замѣтить и то, что и сердца высшей сербской интеллигенціи далеко не всегда возвышались до страданія по родинѣ, но, однако, по другой причинѣ, чѣмъ сердца низшія. Сверху это объясняется у нихъ слишкомъ сильнымъ, можетъ быть, политическимъ честолюбіемъ. Таеъ, что изъ-за „высшихъ“ интересовъ родины этимъ высшимъ сердцамъ было даже почти и не время заниматься интересами низшими, народными, столь обыденными. Но о низшемъ сербѣ, мнѣ кажется, все-таки можно сдѣлать одно, довольно любопытное замѣчаніе. Нельзя же объяснить его членовредительство и побѣги съ поля битвы лишь одною нѣжностью сердца и тупостью соображенія. Мнѣ кажется, что, дезертируя домой, онъ въ состояніи былъ очень понять, что дѣлаетъ худо и, очень можетъ быть, что не хвалилъ себя первый самъ, но въ то же время никогда и не полагалъ, что родина его останется безъ защиты и безъ прикрытія, если онъ убѣжитъ: „О, останутся герои, Ки-

рѣвы, останется Черняевъ, русскіе, да и свои строгіе сербскіе начальники, а онъ—что такое онъ? Незамѣтная пылинка, такъ, дрянъ и больше ничего; онъ уйдетъ и никто его не хватится“... По-моему, именно это чувство и было въ немъ, и это очень любопытно и рисуется народъ: сверху бахвалы, цивилизованные европейцы, мечтающіе завоевать всѣхъ славянъ въ одну Сербію, интригующіе даже противъ Россіи, словомъ, настоящіе цивилизованные европейцы, Хорватовичи и Мариновичи, т.-е. все равно какъ бы Мольтке и Бисмарки. Съ другой стороны, рядомъ съ этими великанами—приниженный сынъ кучи, и именно приниженный четырьмя вѣками рабства: отъ вѣковой этой приниженности онъ и считаетъ себя ни во что, за пылинку: „Останутся, дескать, великаны, а меня и не примѣтятъ. Я такой маленькій, а они такіе строгіе господа...“ Гдѣ-то я читалъ, что иные изъ этихъ строгихъ господъ, такъ-таки сразу, завидѣвъ инога низшаго серба, собиравшагося бѣжать изъ-подъ ружья, прямо отстрѣливали ему голову револьверомъ,—„вотъ, дескать, какими тоже могли бы мы быть желѣзными князьями!“ Они свой низшій народъ третируютъ тамъ, кажется, нѣсколько свысока.

Вообще эти высшіе славяне, „со столь славною будущностью“ — во всякомъ случаѣ чрезвычайно любопытный народъ въ политическомъ, гражданскомъ, историческомъ и во всевозможныхъ отношеніяхъ.

Теперь, когда уже Черняевъ оттуда выѣхалъ, а добровольцевъ выслали, у нихъ, т.-е. отъ ихъ военныхъ людей послышалась одна военная мысль, о которой мы прежде, лѣтомъ, не слыхивали. Именно, утверждаютъ они, что ихъ сербъ и вовсе не способенъ служить въ регулярномъ войскѣ и дѣйствовать въ чистомъ полѣ, а что народная сербская война—это „малая война“, т.-е. партизанская, война шайками, въ лѣсахъ, въ тѣснинахъ, за камнями, за скалами. Что же, и это очень можетъ быть; но такъ какъ миръ у нихъ уже заключенъ, то врядъ ли это можно теперь провѣрить. По крайней мѣрѣ, они останутся съ этимъ военнымъ убѣжденіемъ, ну, и то утѣшеніе въ несчастіи. Долго ли протянется этотъ миръ? Но чтобъ сказать прощальное слово объ этой сербской войнѣ, въ которой мы, русскіе, чуть не всѣ до одинаго такъ участвовали нашимъ сердцемъ, то мнѣ кажется, что сербы разстанутся съ нами и съ помощью нашею еще съ боль-

шею недоверчивостью, чѣмъ съ какою встрѣчали насъ въ началѣ войны. Заключить можно тоже, что недоверчивость эта къ намъ будетъ въ нихъ идти увеличиваясь все время, пока они будутъ умственно расти и развиваться сами; стало-быть, очень долго, и что намъ, стало-быть, прежде всего надо не обращать никакого вниманія на ихъ недоверчивость и дѣлать свое дѣло какъ сами знаемъ. Намъ въ восточномъ вопросѣ необходимо имѣть въ виду неустанно одну истину: что славянская главная задача не въ томъ только, чтобъ освободиться отъ своихъ мучителей, а и въ томъ, чтобъ освобожденіе это совершить, хотъ и съ помощью русскихъ (нельзя же иначе, и — если бъ только они могли обойтись безъ русскихъ!), но, по крайней мѣрѣ, оставаясь какъ можно меньше обязанными русскимъ.

Между этими привезенными въ Москву славянскими дѣтьми есть, говорятъ, — рассказывалъ мнѣ все тотъ же воротившійся изъ Москвы пріятель, — одинъ ребенокъ, дѣвочка лѣтъ восьми, или девяти, которая часто падаетъ въ обморокъ и за которою особенно ухаживаютъ. Падаетъ она въ обморокъ отъ воспоминанія: она сама, своими глазами, видѣла нынѣшнимъ лѣтомъ какъ съ отца ея сдирали чересы кожу и — содрали всю. Это воспоминаніе при ней неотступно и, вѣроятно же всего, останется навсегда, можетъ-быть, съ годами въ смягченномъ видѣ, хотя, впрочемъ, не знаю, можетъ ли тутъ быть смягченный видъ. О, цивилизація! О, Европа, которая столь страдаетъ въ своихъ интересахъ, если серьезно запретить туркамъ сдирать кожу съ отцовъ въ глазахъ ихъ дѣтей! Эти, столь высшіе интересы европейской цивилизаціи, конечно, — торговля, мореплаваніе, рынки, фабрики, — что же можетъ быть выше въ глазахъ Европы? Это такіе интересы, до которыхъ и дотронуться даже не позволяется не только пальцемъ, но даже мыслью, но — но „да будутъ они прокляты, эти интересы европейской цивилизаціи!“ Это восклицаніе не мое, это воскликнули *Москов. Вѣдомости*, и я за честь считаю присоединиться къ этому восклицанію; да, да будутъ прокляты эти интересы цивилизаціи, и даже самая цивилизація, если, для сохраненія ея, необходимо сдирать съ людей кожу. Но, однакоже, это фактъ: для сохраненія ея необходимо сдирать съ людей кожу!

III.

О сдираниі кожъ вообще, разныя aberrации въ частности. Ненависть къ авторитету при лакействѣ мысли.

„Съ людей? Съ какихъ людей? Съ крошечной только части людей, гдѣ-то тамъ въ уголкѣ, съ турецкой райи, о которой никто бы и не услышалъ ничего, если бѣ не прокричали русскіе. Зато огромная остальная часть организма жива, здорова и благоденствуетъ, торгуетъ и фабрикуетъ!“

Этотъ анекдотъ о маленькой болгаркѣ, падающей въ обморокъ, мнѣ рассказали утромъ, и въ тотъ же день мнѣ случилось проходить по Невскому проспекту. Тамъ, въ четвертомъ часу, матери и няньки водили дѣтей и невольная мысль вдругъ вѣско легла мнѣ на душу: „Цивилизація!“ — думалъ я, — „кто же смѣетъ сказать противъ цивилизаціи? Нѣтъ, цивилизація что-нибудь да значить: не увидятъ, по крайней мѣрѣ, эти дѣти наши, мирно гуляющія здѣсь на Невскомъ проспектѣ, какъ съ отцовъ ихъ сдирать будутъ кожу, а матери ихъ какъ будутъ вскидывать на воздухъ этихъ дѣтей и ловить ихъ на штыкъ, какъ было въ Болгаріи. По крайней мѣрѣ, хоть это-то приобрѣтеніе наше да останется за цивилизаціей! И пусть это только въ Европѣ, т.-е. въ одномъ уголкѣ земного шара, и въ уголкѣ довольно маломъ сравнительно съ поверхностью планеты (мысль страшная!), но все же это есть, существуетъ, хоть въ уголкѣ да существуетъ, положимъ, дорогою цѣной, сдираниемъ кожъ съ родныхъ нашихъ братьевъ гдѣ-то тамъ на краю, но зато у насъ-то, по крайней мѣрѣ, существуетъ. Подумать только, что прежде, да и недавно еще нигдѣ этого не было въ твердомъ видѣ, даже и въ Европѣ, и что если есть это теперь у насъ въ Европѣ, то вѣдь въ первый разъ съ тѣхъ поръ какъ существуетъ планета. Нѣтъ, все же это уже достигнуто и, можетъ-быть, назадъ уже никогда не воротится, — соображеніе чрезвычайно важное, невольно въ душу направляющее, вовсе не такое маленькое, на которое не стоило бы обращать вниманія, тѣмъ болѣе, что міръ—міръ все-таки попрежнему загадка, несмотря на цивилизацію и ея приобрѣтенія. Богъ знаетъ, чѣмъ чреватъ еще міръ и что можетъ дальше случиться, даже и въ ближайшемъ будущемъ.“

И вотъ, только лишь я хотѣлъ воскликнуть про себя

въ восторгѣ: „да здравствуетъ цивилизація!“—какъ вдругъ во всемъ усомнился: „Да достигнуто ли даже это-то, даже для этихъ Невскаго-то проспекта дѣтей? Ужъ не миражъ ли полно и здѣсь, и только глаза отводять?“

Знаете, господа, я остановился на томъ, что миражъ, или, помягче, почти что миражъ, и если не сдираютъ здѣсь на Невскомъ кожу съ отцовъ въ глазахъ ихъ дѣтей, то развѣ только случайно, такъ сказать „по независящимъ отъ публики обстоятельствамъ“, ну, и, разумѣется, потому еще, что городовые стоятъ. О, я спѣшу оговориться: я вовсе не аллегорію какую-нибудь подвожу, не на страданія какого-нибудь пролетарія въ нашъ вѣкъ намекаю, не на родителя какого-нибудь, который говоритъ своему семилѣтнему сыну: „Вотъ тебѣ мой завѣтъ: украдешь пять рублей—проклянѣю, украдешь сто тысячъ—благословлю“. О, нѣтъ, слова мои я разумѣю буквально. Я разумѣю буквально сдираніе кожъ, вотъ то самое, которое происходило лѣтомъ въ Болгаріи и которымъ, оказывается, такъ любятъ заниматься побѣдоносные турки. И вотъ про это-то сдираніе я и утверждаю, что если его нѣтъ на Невскомъ, то развѣ „случайно, по независящимъ отъ насъ обстоятельствамъ“ и, главное, потому, что пока еще запрещено, а что за нами, можетъ-быть, дѣло бы и не стало, несмотря на всю нашу цивилизацію.

По-моему, если ужъ все говорить, такъ просто боятся какого-то обычая, какого-то принятаго на вѣру правила, почти что предрасудка; но если бѣ чуть-чуть „доказать“ кто-нибудь изъ людей „компетентныхъ“, что содрать иногда съ одной спины кожу выйдетъ даже и для общаго дѣла полезно, и что если оно и отвратительно, то все же „дѣлъ оправдываетъ средства“,—если бѣ заговорилъ кто-нибудь въ этомъ смыслѣ, компетентнымъ слогомъ и при компетентныхъ обстоятельствахъ, то, повѣрьте, тотчасъ же явились бы исполнители, да еще изъ самыхъ веселыхъ. О, пусть, пусть это смѣшнѣйшій мой парадоксъ! Я первый подписываюсь подъ этимъ опредѣленіемъ обѣими руками, но тѣмъ не менѣе увѣряю васъ, что это точь-въ-точь такъ бы и было. Цивилизація есть, и законы ея есть, и вѣра въ нихъ даже есть, но—явись лишь новая мода, и тотчасъ же множество людей измѣнилось бы. Конечно, не всѣ, но зато осталась бы такая малая кучка, что даже мы съ вами, читатель, удивились бы, и даже еще неизвѣстно, гдѣ бы мы сами-то очутились: между сдираемыми

или сдирателями? Мнѣ, разумѣется, закричать въ глаза, что все это дребедень и что никогда такой моды не можетъ быть, и что этого-то, по крайней мѣрѣ, уже достигла цивилизація. Господа, какое легковѣріе съ вашей стороны! Вы смѣтаете? Ну, а во Франціи (чтобъ не заглядывать куда поближе) въ 93-мъ году, развѣ не утвердилась эта самая мода сдиранія кожи, да еще подъ видомъ самыхъ священнѣйшихъ принциповъ цивилизаціи, и это послѣ-то Руссо и Вольтера! Вы скажете, что все это было вовсе не то и очень давно, но замѣтите, что я прибѣгаю къ исторіи единственно, можетъ-быть, чтобъ не заговорить о текущемъ! Повѣрьте, что самая полная абберация и въ умахъ, и въ сердцахъ всегда у людей возможна, а у насъ, и именно въ наше время, не только возможна, но и неминуема, судя по ходу вещей. Посмотрите, много ли согласныхъ въ томъ, что хорошо, что дурно. И это не то, что въ какихъ-нибудь тамъ „истинахъ“, а въ самомъ первомъ встрѣчномъ вопросѣ. И съ какой быстротой происходятъ у насъ перемѣны и вольтфасы? Что такое въ Москвѣ червонные валеты? Мнѣ кажется, это всего лишь та часть той фракціи русскаго дворянства, которая не вынесла крестьянской реформы. Пусть они сами и не помѣщики, но они дѣти помѣщиковъ. Послѣ крестьянской реформы они щелкнули себя по галстуку и засвистали. Да тутъ и не одна крестьянская реформа была причиною, просто „новыхъ идей“ не вынесли: „Если-де все, чему насъ учили, были предрасудки, то зачѣмъ же за ними слѣдовать? Коли *ничего* нѣтъ, значить можно *все* дѣлать,— вотъ идея! Замѣтите—идея до невѣроятности распространенная, девять десятыхъ изъ послѣдователей новыхъ идей ее исповѣдуютъ, другими словами девять десятыхъ прогрессистовъ и не умѣютъ у насъ иначе понимать новыхъ идей. У насъ Дарвинъ, наприимѣръ, немедленно обрацается въ карманнаго воришку, — вотъ что такое червонный валетъ. О, конечно, у человѣчества чрезвычайно много накоплено вѣками выжитыхъ правилъ гуманности, изъ которыхъ инья слывуть за неизблѣмыя. Но я хочу лишь сказать только, что, несмотря на всѣ эти правила, принципы, религіи, цивилизаціи, въ человѣчествѣ спасается ими всегда только самая незамѣтная кучка, — правда, такая, за которой и остается побѣда, но лишь въ концѣ концовъ, а въ злобѣ дня,

въ текущемъ ходѣ исторіи люди остаются какъ бы все тѣ же навсегда, то-есть въ огромномъ большинствѣ своемъ не имѣютъ никакого чуть-чуть даже прочнаго понятія ни о чувствѣ долга, ни о чувствѣ чести, и явись чуть-чуть лишь новая мода, и тотчасъ же побѣждали бы всѣ нагишомъ, да еще съ удовольствіемъ. Правила есть, да люди-то къ правиламъ не приготовлены вовсе. Скажутъ: да и не надо готовиться, надо только правила эти отыскать! Такъ ли, и удержатся ли долго правила, какія бы тамъ ни были, коли такъ хочется побѣждать нагишомъ?

По-моему одно: осмыслить и прочувствовать можно даже и вѣрно и разомъ, но сдѣлаться человѣкомъ нельзя разомъ, а надо выдѣлаться въ человѣка. Тутъ дисциплина. Вотъ эту-то неустанную дисциплину надъ собой и отвергаютъ иные наши современные мыслители: „слишкомъ-де много ужъ было деспотизму, надо свободы“, а свобода эта ведетъ огромное большинство лишь къ лакейству передъ чужой мыслью, ибо страхъ какъ любить человѣкъ все то, что подается ему готовымъ. Мало того: мыслители провозглашаютъ общіе законы, т. е. такія правила, что всѣ вдругъ сдѣлаются счастливыми, безо всякой выдѣлки, только бы эти правила наступили. Да если бъ этотъ идеалъ и возможенъ былъ, то съ *неподѣланными* людьми не осуществились бы никакія правила, даже самыя очевидныя. Вотъ въ этой-то неустанной дисциплинѣ и непрерывной работѣ самому надъ собой и могъ бы проявиться нашъ гражданинъ. Съ этой-то великодушной работы надъ собой и начинать надо, чтобъ поднять потомъ нашу „Новь“, а то *незачѣмъ* выйдетъ и подымать ее.

Да? Но что хорошо и что дурно — вотъ вѣдь чего, главное, мы не знаемъ? Всякое чутье въ этомъ смыслѣ потеряли. Всѣ прежніе авторитеты разбили и наставили новыхъ, а въ новые авторитеты, чуть кто изъ насъ поумнѣе, тотъ и не вѣруеть, а кто посмѣлѣе духомъ, тотъ изъ гражданина въ червоннаго валета обращается. Мало того, ей-Богу начнетъ сдирать со спинъ кожу, да еще провозгласить, что это полезно для общаго дѣла, а, стало быть, свято. Кажется, въ какомъ же смыслѣ приступить къ работѣ-то надъ собой, если не знаешь что хорошо, что худо?

IV.

Меттернихи и Донъ-Кихоты.

Но чтобъ не говорить отвлеченно, обратимся къ данной

темъ. Вотъ мы дѣйствительно не сдираемъ кожу, мало того, даже не любимъ этого (только одинъ Богъ знаетъ: любитель часто прячется, любитель мало извѣстенъ, до времени стыдится, „боится предрасудка“), но если и не любимъ у себя и *никогда не дѣлаемъ*, то должны вѣдь ненавидѣть и въ другихъ. Мало того, что ненавидѣть, должны просто не дать сдирать кожу никому, такъ-таки взять и не дать. А между тѣмъ такъ ли на дѣлѣ? Самые негодующіе изъ насъ вовсе не такъ негодуютъ, какъ бы слѣдовало. Я даже не про однихъ славянъ говорю. Если мы ужъ такъ страдаемъ, такъ и поступать должны бы въ размѣрѣ нашего состраданія, а не въ размѣрѣ десяти цѣлковыхъ пожертвованія. Миѣ скажутъ, что вѣдь нельзя же отдать все. Я съ этимъ согласенъ, хотя и не знаю почему. Почему же бы и не все? Въ томъ-то и дѣло, что тутъ рѣшительно ничего не понимаешь даже въ собственной природѣ. А тутъ вдругъ, съ огромнымъ авторитетомъ, возникаетъ вопросъ объ „интересахъ цивилизаціи“!

Вопросъ ставится прямо, ясно, научно и цинически откровенно. „Интересы цивилизаціи — это производство, это богатство, это спокойствіе нужно капиталу.“ Нужно огромное, непрерывное и прогрессивное производство по уменьшенной цѣнѣ, въ видахъ страшнаго наращенія пролетаріевъ. Доставляя заработокъ пролетарію, доставляемъ ему и предметы потребленія по уменьшенной цѣнѣ. Чѣмъ спокойнѣе въ Европѣ, тѣмъ болѣе по уменьшенной цѣнѣ. Стало быть, именно нужно въ Европѣ спокойствіе. Шумъ войны прогонитъ производство. Капиталь трусливъ, онъ заботится войны и спрячется. Если ограничить право турокъ сдирать со спинъ райи кожу, то надобно затѣять войну, а затѣй войну — сейчасъ выступить впередъ Россія, — значитъ можетъ наступить такое усложненіе войны, при которомъ война обниметъ весь свѣтъ; тогда прощай производство и пролетарій пойдетъ на улицу. А пролетарій опасенъ на улицѣ. Въ рѣчахъ палатамъ уже упоминается прямо и откровенно, вслухъ на весь міръ, что пролетарій опасенъ, что съ пролетаріемъ не спокойно, что пролетарій внимаетъ социализму. „Нѣтъ, ужъ лучше пусть гдѣ-то тамъ въ глуши сдираютъ кожу. Неприкосновенность турецкихъ правъ должна быть неизбежна. Надо потушить восточный вопросъ и дать сдирать кожу. Да и чтò такое эти кожи?“

Стоять ли двѣ, три какихъ-нибудь кожицы спокойствія всей Европы, ну двадцать, ну тридцать тысячъ кожъ,— не все ли равно? Захотимъ, такъ и не услышимъ вовсе, стоить уши зажать“...

Вотъ мнѣніе Европы (рѣшеніе, можетъ быть); вотъ— *интересы цивилизаціи*, и—да будутъ они опять—таки прокляты! И тѣмъ болѣе прокляты, что абerraція умовъ (а русскихъ преимущественно) — предстоитъ несомнѣнная. Ставится прямо вопросъ: что лучше—многимъ ли десяткамъ милліоновъ работниковъ идти на улицу, или единицамъ милліоновъ райи пострадать отъ турокъ! Выставляютъ числа, пугаютъ цифрами. Кромѣ того, выступаютъ политики, мудрые учителя: есть, дескать, такое правило, такое ученіе, такая аксіома, которая гласитъ, что нравственность одного человѣка, гражданина, единицы — это одно, а нравственность государства — другое. А, стало быть, то, что считается для одной единицы, для одного лица — подлостью, то относительно всего государства можетъ получить видъ величайшей премудрости!

Это ученіе очень распространено и давнишнее, но—да будетъ и оно проклято! Главное, пусть не пугаютъ насъ цифрами. Пусть тамъ въ Европѣ какъ угодно, а у насъ пусть будетъ другое. Лучше вѣрить тому, что счастье нельзя купить злодѣйствомъ, чѣмъ чувствовать себя счастливымъ, зная, что допущилось злодѣйство. Россія никогда не умѣла производить настоящихъ своихъ собственныхъ Меттерниховъ и Биконсфильдовъ, напротивъ, все время своей европейской жизни она жила не для себя, а для чужихъ, именно для „общечеловѣческихъ интересовъ“. И дѣйствительно, бывали случаи въ эти двѣсти лѣтъ, что она, можетъ быть, и старалась, кой-когда, подражать Европѣ, и заводила и у себя Меттерниховъ, но какъ-то всегда обозначался въ концѣ концовъ, что русский Меттернихъ оказывался вдругъ Донъ-Кихотомъ и тѣмъ ужасно дивилъ Европу. Надъ Донъ-Кихотомъ, разумѣется, смѣялись; но теперь кажется уже восполнились сроки и Донъ-Кихотъ началъ уже не смѣшить, а пугать. Дѣло въ томъ, что онъ несомнѣнно осмыслилъ свое положеніе въ Европѣ и не пойдетъ уже сражаться съ мельницами. Но зато онъ остался вѣрнымъ рыцаремъ, а это-то всего для нихъ и ужаснѣе. Въ самомъ дѣлѣ: въ Европѣ кричатъ о „русскихъ захватахъ, о русскомъ коварствѣ“, но единственно лишь, чтобы напугать свою толпу, когда надо, а сами

крикуны отнюдь тому не вѣрятъ, да и никогда не вѣрили. Напротивъ, ихъ смущаетъ теперь и страшить, въ образѣ Россіи, скорѣе нѣчто правдивое, нѣчто слишкомъ ужъ безкорыстное, честное, гнушающееся и захватомъ и взяткой. Они предчувствуютъ, что подкупить ее невозможно и никакой политической выгодой не завлечь ее въ корыстное или насильственное дѣло. Развѣ обманомъ,—но Донъ-Кихоть, хоть и великій рыцарь, а вѣдь и онъ бываетъ иногда ужасно хитеръ, такъ что вѣдь и не дастъ себя обмануть. Англія, Франція, Австрія,—да есть ли тамъ хоть одна такая нація, съ которой нельзя было бы соединиться при удобномъ случаѣ изъ политической выгоды съ насильственной корыстною цѣлью: стоитъ лишь не пропустить ту минуту, въ которую подкупаемая нація всего дороже можетъ продать себя. Одну Россію ничѣмъ не прельстишь на неправый союзъ, никакой цѣной. А такъ какъ Россія въ то же время страшно сильна и организмъ ея очевидно растетъ и мужаетъ не по днямъ, а по часамъ, что отлично хорошо понимаютъ и видятъ въ Европѣ (хотя подчасъ и кричатъ, что колоссъ расшатанъ),—то какъ же имъ не бояться?

Кстати, этотъ взглядъ на неподкупность внѣшней политики Россіи, и на вѣчное служеніе ея общечеловѣческимъ интересамъ даже въ ущербъ себѣ, оправдывается исторією и на это слишкомъ надо бы обратить вниманіе. Въ этомъ наша собственность сравнительно со всей Европой. Мало того, этотъ взглядъ на характеръ Россіи такъ мало распространенъ, что и у насъ врядъ ли многіе ему повѣрятъ. Разумѣется, *ошибки* русской политики при этомъ не должны быть поставлены въ счетъ, потому что дѣло идетъ теперь лишь о духѣ и нравственномъ характерѣ нашей политики, а не объ удачахъ ея въ прошедшемъ и давнопрошедшемъ. Въ послѣднемъ случаѣ дѣйствительно бывали въ старину вѣтряныя мельницы, но, повторяю, кажется, ихъ время совсѣмъ прошло.

Нѣтъ, серьезно: чтò въ томъ благосостояніи, которое достигается цѣною неправды и сдиранія кожъ? Чтò правда для человѣка какъ лица, то пусть остается правдой и для всей націи. Да, конечно, можно проиграть временно, объединѣть на время, лишиться рынковъ, уменьшить производство, возвысить дороговизну. Но пусть зато останется нравственно здоровъ организмъ націи — и нація несомнѣнно болѣе выиграетъ, даже и матеріально. Замѣтимъ,

что Европа безспорно дошла до того, что ей всего дороже выгода текущая, выгода настоящей минуты, и даже чего бы она ни стоила, потому что и житье они тамъ всего только день за днемъ, одной только настоящей минутой, и сами не знаютъ, что съ ними станетъ завтра; мы же, Россія, мы все еще вѣримъ въ нѣчто неизблемое, у насъ созидающееся, а слѣдственно ищемъ выгодъ постоянныхъ и существенныхъ. А потому мы, и какъ политическій организмъ, всегда вѣрили въ нравственность вѣчную, а не условную на нѣсколько дней. Повѣрьте, что Донъ-Кихоть свои выгоды тоже знаетъ и рассчитать умѣетъ: онъ знаетъ, что выиграетъ въ своемъ достоинствѣ и въ сознаниіи этого достоинства, если попрежнему останется рыцаремъ; кромѣ того, убѣжденъ, что на этомъ пути не утратитъ искренности въ стремленіи къ добру и къ правдѣ, и что такое сознание укрѣпитъ его на дальнѣйшемъ поприщѣ. Онъ увѣренъ, наконецъ, что такая политика есть, кромѣ того, и лучшая школа для націи. Надо, чтобъ червонный валетъ не смѣлъ сказать мнѣ въ глаза: „вѣдь и у васъ все условно, вѣдь и у васъ все на выгодѣ“. Надо, чтобъ и юноша-энтузіастъ возлюбилъ свою націю, а не шелъ бы искать правды и идеала на сторонѣ и внѣ общества. И онъ кончитъ тѣмъ, что возлюбитъ свою націю, когда время тяжелой, страшно тяжелой нашей школы пройдетъ. Правда какъ солнце, ее не спрячешь: назначеніе Россіи станетъ, наконецъ, ясно самымъ кривымъ умамъ, и у насъ, и въ Европѣ. У насъ почему теперь возможны такія aberrаціи умовъ какъ нигдѣ? Потому, что полуторавѣковымъ порядкомъ вся интеллигенція наша только и дѣлала, что отвыкала отъ Россіи, и кончила тѣмъ, что раззнакомилась съ ней окончательно и сносилась съ нею только черезъ канцелярію. Съ реформами нынѣшняго царствованія начался новый вѣкъ. Дѣло пошло и остановиться не можетъ.

А Европа прочла осенній манифестъ Русскаго Императора и его запомнила,—не для одной текущей минуты запомнила, а надолго, и на будущія текущія минуты. Обнажимъ если надо мечъ во имя угнетенныхъ и несчастныхъ, хотя даже и въ ущербъ текущей собственной выгодѣ. Но въ то же время да укрѣпится въ насъ еще прежде вѣра, что въ томъ-то и есть настоящее назначеніе Россіи, сила и правда ея, и что жертва собою за угнетенныхъ и брошенныхъ всѣми въ Европѣ во имя интересовъ

цивилизации, есть настоящее служение настоящим и истинным интересам цивилизации.

Нѣтъ, надо чтобъ и въ политическихъ организамахъ была признаваема та же правда, та самая Христова правда, какъ и для каждаго вѣрующаго. Хоть гдѣ-нибудь да должна же сохраняться эта правда, хоть какая-нибудь изъ націй да должна же свѣтить. Иначе чтò же будетъ: все затемнится, замѣшается и потонетъ въ цинизмъ. Иначе не сдержите нравственности отдѣльныхъ гражданъ, а въ такомъ случаѣ какъ же будетъ жить цѣлый организмъ народа? Надобенъ авторитетъ, надобно солнце, чтобъ освѣщало. Солнце показалось на Востока, и для человѣчества съ Востока начинается новый день. Когда просіяетъ солнце совсѣмъ, тогда и поймутъ, чтò такое настоящіе „интересы цивилизации“. А то выставится знамя съ надписью на немъ: „Après nous le déluge“ (Послѣ насъ хоть потопъ!). Неужели столь славная „цивилизация“ доведетъ европейскаго человѣка до такого девиза, да тѣмъ съ нимъ и покончитъ? Къ тому идетъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

I.

Одинъ изъ главнѣйшихъ современныхъ вопросовъ.

Мои читатели, можетъ быть, уже замѣтили, что я, вотъ уже слишкомъ годъ издавая свой „Дневникъ Писателя“, стараюсь какъ можно меньше говорить о текущихъ явленіяхъ русской словесности, а если и позволяю себѣ кой-когда словцо и на эту тему, то развѣ лишь въ восторженно-хвалебномъ тонѣ. А между тѣмъ, въ этомъ добровольномъ воздержаніи моемъ—какая неправда! Я—писатель, и пишу „Дневникъ Писателя“,—да я, можетъ быть, болѣе чѣмъ кто-нибудь интересовался за весь этотъ годъ тѣмъ, чтò появлялось въ литературѣ: какъ же скрывать, можетъ быть, самыя сильныя впечатлѣнія? „Самъ, дескать, литераторъ-беллетристъ, а, стало-быть, всякое сужденіе твое о беллетристической литературѣ, кромѣ безусловной похвалы, почтется пристрастнымъ; развѣ говорить лишь о давно прошедшихъ явленіяхъ“ — вотъ соображеніе, меня останавливавшее.

И все же я рискну на этотъ разъ нарушить это соображеніе. Правда, въ чисто беллетристическомъ и критиче-

скомъ смыслѣ я и не буду говорить ни о чемъ, а развѣ лишь, въ случаѣ нужды, „по поводу“. Поводъ вышелъ и теперь. Дѣло въ томъ, что мѣсяць назадъ я попалъ на одну до того серьезную и характерную въ текущей литературѣ вещь, что прочелъ ее даже съ удивленіемъ, потому что давно уже ни на что подобное въ такихъ размѣрахъ не рассчитывалъ въ беллетристикѣ. У писателя—художника въ высшей степени, беллетриста по преимуществу, я прочелъ три-четыре страницы настоящей „злости дня“,— все, что есть важнѣйшаго въ нашихъ русскихъ текущихъ политическихъ и социальныхъ вопросахъ, и какъ бы собранное въ одну точку. И главное,—со всѣмъ характернѣйшимъ оттѣнкомъ настоящей нашей минуты, именно такъ, какъ ставится у насъ этотъ вопросъ въ данный моментъ, ставится и оставляется неразрѣшеннымъ... Я говорю про нѣсколько страницъ въ „Аннѣ Карениной“ графа Льва Толстого, въ январскомъ № *Русскаго Вѣстника*.

Собственно обо всемъ этомъ романѣ скажу лишь полслова, и то лишь въ видѣ самаго необходимаго предисловія. Началъ я читать его, какъ и всѣ мы, очень давно. Сначала мнѣ очень понравилось; потомъ, хотъ и продолжали нравиться подробности, такъ что не могъ оторваться отъ нихъ, но въ цѣломъ стало нравиться менѣе. Все казалось мнѣ, что я это гдѣ-то уже читалъ, и именно въ „Дѣтствѣ и Отрочествѣ“ того же графа Толстого и въ „Войнѣ и Мирѣ“ его же, и что тамъ даже свѣжѣе было. Все та же исторія барскаго русскаго семейства, хотя, конечно, сюжетъ не тотъ. Лица, какъ Вронскій, напимѣръ (одинъ изъ героевъ романа), которыя и говорить не могутъ между собою иначе, какъ объ лошадяхъ, и даже не въ состояніи найти объ чемъ говорить, кромѣ какъ объ лошадяхъ—были, конечно, любопытны, чтобъ знать ихъ типъ, но очень однообразны и сословны. Казалось, напимѣръ, что любовь этого „жеребца въ мундирѣ“, какъ называлъ его одинъ мой пріятель, могла быть изложена развѣ лишь въ ироническомъ тонѣ. Но когда авторъ сталъ вводить меня во внутренній міръ своего героя серьезно, а не иронически, то мнѣ казалось это даже скучнымъ. И вотъ вдругъ всѣ предубѣжденія мои были разбиты. Явилась сцена смерти героини (потомъ она опять выздоровѣла)—и я понялъ всю существенную часть цѣлей автора. Въ самомъ центрѣ этой мелкой и наглой жизни появилась великая и вѣковѣчная жизненная правда,

и разомъ все озарила. Эти мелкіе, ничтожныя и лживыя люди стали вдругъ истинными и правдивыми людьми, достойными имени человѣческаго,—естественною силою природнаго закона, закона смерти человѣческой. Вся скорлупа ихъ исчезла и явилась одна ихъ истина. Послѣдніе выросли въ первыхъ, а первые (Бронскій) вдругъ стали послѣдними, потеряли весь ореолъ и унизились; но, унизившись, стали безмѣрно лучше, достойнѣе и истиннѣе, чѣмъ когда были первыми и высокими. Ненависть и ложь заговорили словами прощенія и любви. вмѣсто тупыхъ свѣтскихъ понятій явилось лишь человѣколюбіе. Всѣ простили и оправдали другъ друга. Сословность и исключительность вдругъ исчезли и стали немислимы, и эти люди изъ бумажки стали похожи на настоящихъ людей! Виноватыхъ не оказалось: всѣ обвинили себя безусловно и тѣмъ тотчасъ же себя оправдали. Читатель почувствовалъ, что есть правда жизненная, самая реальная и самая неминуемая, въ которую и надо вѣрять, и что вся наша жизнь и всѣ наши волненія, какъ самыя мелкія и позорныя, такъ равно и тѣ, которыя мы считаемъ часто за самыя высшія,—все это чаще всего лишь самая мелкая фантастическая суета, которая падаетъ и исчезаетъ передъ моментомъ жизненной правды, даже и не защищаясь. Главное было въ томъ указаніи, что моментъ этотъ есть въ самомъ дѣлѣ, хотя и рѣдко является во всей своей озаряющей полнотѣ, а въ иной жизни такъ и никогда даже. Моментъ этотъ былъ отысканъ и намъ указанъ поэтомъ во всей своей страшной правдѣ. Поэтъ доказалъ, что правда эта существуетъ въ самомъ дѣлѣ, не на вѣру, не въ идеалѣ только, а неминуемо и необходимо и во-очію. Кажется, именно это-то и хотѣлъ доказать намъ поэтъ, начиная свою поэму. Русскому читателю объ этой вѣковѣчной правдѣ слишкомъ надо было напомнить: многіе стали у насъ объ ней забывать. Этимъ напоминаніемъ авторъ сдѣлалъ хорошій поступокъ, не говоря уже о томъ, что выполнилъ его какъ необыкновенной высоты художникъ.

Затѣмъ опять потянулся романъ, и вотъ, къ нѣкоторому удивленію моему, я встрѣтилъ въ шестой части романа сцену, отвѣчающую настоящей „злобѣ дня“ и, главное, явившуюся не намѣренно, не тенденціозно, а именно изъ самой художественной сущности романа. Тѣмъ не менѣе, повторяю это, для меня это было неожиданно и

нѣсколько меня удивило: такой „злости дня“ я все-таки не ожидалъ. Я почему-то не думалъ, что авторъ рѣшится довести своихъ героевъ въ ихъ развитіи до такихъ „столповъ“. Правда, въ столпахъ-то этихъ, въ этихъ крайностяхъ вывода и весь смыслъ дѣйствительности, а безъ того романъ имѣлъ бы видъ даже неопредѣленный, далеко не соответствующій ни текущимъ, ни существеннымъ интересамъ русскимъ: былъ бы нарисованъ какой-то уголокъ жизни, съ намѣреннымъ игнорированіемъ самага главнаго и самага тревожнаго въ этой же жизни. Впрочемъ я, кажется, пускаюсь рѣшительно въ критику, а это не мое дѣло. Я только хотѣлъ указать на одну сцену. Больше ничего, какъ обозначились два лица съ той именно стороны, съ которой они наиболѣе для насъ теперь могутъ быть характерны, и тѣмъ самымъ, тотъ типъ людей, къ которому принадлежать эти два лица, поставленъ авторомъ на самую любопытнѣйшую точку въ нашихъ глазахъ въ ихъ современномъ социальномъ значеніи.

Оба они дворяне, родовые дворяне и коренные помѣщики, оба взяты послѣ крестьянской реформы. Оба были „крѣпостными помѣщиками“ и теперь вопросъ: что остается отъ этихъ дворянъ, въ смыслѣ дворянскомъ, послѣ крестьянской реформы? Такъ какъ типъ этихъ двухъ помѣщиковъ чрезвычайно общъ и распространенъ, то вопросъ отчасти и разрѣшенъ авторомъ. Одинъ изъ нихъ, Стива Облонскій, эгоистъ, тонкій эпикуреецъ, житель Москвы и членъ Англійскаго клуба. На этихъ людей обыкновенно смотрятъ какъ на невинныхъ и милыхъ жуировъ, приятныхъ эгоистовъ, никому не мѣшающихъ, остроумныхъ, живущихъ въ свое удовольствіе. У этихъ людей бываетъ часто и многочисленное семейство; съ женой и дѣтьми они ласковы, но мало объ нихъ думаютъ. Очень любятъ легкихъ женщинъ, разряда, конечно, приличнаго. Образованы они мало, но любятъ изящное, искусства, и любятъ вести разговоръ обо всемъ. Съ крестьянской реформы этотъ дворянинъ тотчасъ же понялъ въ чемъ дѣло: онъ сосчиталъ и сообразилъ, что у него все-таки еще что-нибудь да остается, а, стало быть, мѣняться не зачѣмъ и—*Après moi le déluge* (послѣ меня хоть потопъ). Объ судьбѣ жены и дѣтей онъ не заботится думать. Остатками состоянія и связями онъ избавленъ отъ судьбы червонаго валета; но если бъ состояніе его рушилось и нельзя

бы было получать даромъ жалованія, то, можетъ быть, онъ и сталь бы валетомъ, разумѣется, употребивъ всё усилія ума, нерѣдко очень остраго, чтобъ стать валетомъ какъ можно приличнѣйшимъ и великосвѣтскимъ. Въ старину, конечно, для уплаты карточного долга или любвица, ему случалось отдавать людей въ солдаты; но такія воспоминанія никогда не смущали его, да и забылъ онъ ихъ вовсе. Хотя онъ и аристократъ, но дворянство свое онъ всегда считалъ ни во что, а по устраненіи крѣпостныхъ отношеній—такъ даже исчезнувшимъ; для него изъ *модей* остались лишь *человѣкъ въ слухатъ*, затѣмъ чиновникъ съ извѣстнаго чина, а затѣмъ богачъ. Железнодорожники и банкиръ стали силою и онъ немедленно съ ними затѣялъ сношенія и дружбу. Да и разговоръ начался съ упрека ему, Левинымъ, родственникомъ его и помѣщикомъ (но уже совершенно обратнаго типа и живущимъ въ своемъ помѣстьѣ), за то, что онъ ѣздитъ къ железнодорожникамъ, на ихъ обѣды и праздники, къ людямъ двусмысленнымъ, по убѣжденію Левина, вреднымъ. Облонскій опровергаетъ его съ ѣдкою. Да вообще между ними, съ тѣхъ поръ какъ они породнились, установились довольно ѣдкия отношенія. Притомъ въ нашъ вѣкъ негодяй, опровергающій благороднаго, всегда сильнѣе, ибо имѣетъ видъ достоинства, почерпаемаго въ здоровомъ смыслѣ, а благородный, походя на идеалиста, имѣетъ видъ шута. Разговоръ происходитъ на охотѣ, въ лѣтнюю ночь. Охотники на ночлегѣ, въ крестьянской ригѣ, и ночуютъ на сѣнѣ. Облонскій доказываетъ, что презрѣніе къ железнодорожникамъ, къ ихъ интригамъ, къ ихъ скорой наживѣ, вымаливанью концессій, перепродажамъ — не имѣетъ смысла, что это такіе же люди, дѣйствуютъ трудомъ и умомъ, какъ и всѣ, а въ результатѣ — даютъ дорогу.

— Но всякое приобрѣтеніе, не соответственное положенному труду—не честно, говоритъ Левинъ.

— Да кто жъ опредѣлитъ соответствіе? продолжаетъ Облонскій... Ты не опредѣлилъ черты между честнымъ и безчестнымъ трудомъ. То, что я получаю жалованья больше чѣмъ мой столоначальникъ, хотя онъ лучше меня знаетъ дѣло—это безчестно?

— Я не знаю.

— Ну, такъ я тебѣ скажу: то, что ты получаешь за свой трудъ въ хозяйствѣ лишнихъ, положимъ, пять тысячъ, а этотъ мужикъ, какъ бы онъ ни трудился, не получить больше пятидесяти рублей, точно такъ же безчестно, какъ то, что я получаю больше столоначальника...

.

— Нѣтъ, позволь, продолжаетъ Левинъ.— Ты говоришь, что несправедливо, что я получу пять тысячъ, а мужикъ пятьдесятъ рублей: это правда. Это несправедливо, и я чувствую это, но...

— Да, ты чувствуешь, но ты не отдаешь ему своего имѣнья, сказалъ Степанъ Аркадьевичъ, какъ будто нарочно задиравшій Левина.

— Я не отдаю, потому что никто этого отъ меня не требуетъ и если бъ я хотѣлъ, то мнѣ нельзя отдать... и некому.

— Отдай этому мужику, онъ не откажется.

— Да, но какъ же я отдамъ ему? Поѣду съ нимъ и совершу купчую?

— Я не знаю, но если ты убѣжденъ, что ты не имѣешь права.

— Я вовсе не убѣжденъ. Я, напротивъ, чувствую, что не имѣю права отдать, что у меня есть обязанности и къ землѣ, и къ семьѣ.

— Нѣтъ, позволь; но если ты считаешь, что это неравенство несправедливо, то почему же ты не дѣйствуешь такъ...

— Я и дѣйствую, только отрицательно, въ томъ смыслѣ, что я не буду стараться увеличить ту разницу положенія, которая существуетъ между мною и имъ.

— Нѣтъ, ужъ извини меня, это парадоксъ.

Такъ-то, мой другъ. Надо одно изъ двухъ: или признавать, что настоящее устройство общества справедливо, тогда отстаивать свои права, или признаваться, что пользуешься несправедливыми преимуществами, какъ я и дѣлаю, и пользоваться ими съ удовольствіемъ.

— Нѣтъ, если бъ это было несправедливо, ты бы не могъ пользоваться этими благами съ удовольствіемъ, по крайней мѣрѣ я не могъ бы, мнѣ главное надо чувствовать, что я не виноватъ.

II.

„Злоба дня“.

Вотъ разговоръ. И ужъ согласитесь, что это „злоба дня“, даже все, что есть наизлобнѣйшаго въ нашей злобѣ дня. И сколько самыхъ характерныхъ, чисто русскихъ чертъ! Во-первыхъ, лѣтъ сорокъ назадъ всѣ эти мысли и въ Европѣ-то едва начинались, многимъ ли и тамъ были извѣстны Сень-Симонъ и Фурье—первоначальные „идеальные“ толковники этихъ идей, а у насъ,—у насъ знали тогда о начинавшемся этомъ новомъ движеніи на Западѣ Европы лишь полсотни людей въ цѣлой Россіи. И вдругъ теперь толкуютъ объ этихъ „вопросахъ“ помѣшники на охотѣ, на ночлегѣ въ крестьянской ригѣ, и толкуютъ характернѣйшимъ и компетентнѣйшимъ образомъ, такъ что, по крайней мѣрѣ, отрицательная сторона вопроса уже рѣшена и подписана ими безповоротно. Правда, это помѣшники высшаго свѣта, говорятъ въ Англійскомъ клубѣ, читаютъ газеты, слѣдятъ за процессами и изъ газетъ, и изъ другихъ источниковъ; тѣмъ не менѣе ужъ одинъ фактъ, что такая идеальнѣйшая дребедень признается мой на-

сущной темой для разговора у людей далеко не из профессоров и не специалистов, а просто свѣтскихъ, Облонскихъ и Левиныхъ,—эта черта, говорю я, одна из самыхъ характерныхъ особенностей настоящаго русскаго положенія умовъ. Вторая характернѣйшая черта въ этомъ разговорѣ, отмѣченная художникомъ авторомъ, это та, что рѣшаетъ насчетъ справедливости этихъ новыхъ идей такой человекъ, который за нихъ, т. е. за счастье пролетарія, бѣдняка, не дастъ самъ ни гроша, напротивъ, при случаѣ самъ оберетъ его какъ личку. Но съ легкимъ сердцемъ и съ веселостью каламбуриста онъ разомъ подписываетъ крахъ всей исторіи человечества и объявляетъ настоящій строй его верхомъ абсурда. „Я, дескать, съ этимъ совершенно согласенъ“. Замѣйте, что вотъ эти-то Стивы всегда со всѣмъ этимъ первые согласны. Одной чертой онъ осудилъ весь христіанскій порядокъ, личность, семейство,—о, это ему ничего не стѣитъ. Замѣйте тоже, что у насъ нѣтъ науки, но эти господа, съ полнымъ безстыдствомъ сознавая, что у нихъ нѣтъ науки, и что они начали говорить объ этомъ всего лишь вчера, и съ чужого голоса, рѣшаютъ, однакоже, такого размѣра вопросы безъ всякаго колебанія. Но тутъ третья характернѣйшая черта: этотъ господинъ прямо говоритъ: „Надо одно изъ двухъ, или признавать, что настоящее устройство общества справедливо, тогда отстаивать свои права, или признаваться, что пользуемся несправедливыми преимуществами, какъ я и дѣлаю, и пользоваться ими съ удовольствіемъ“. Т. е. въ сущности онъ, подписавъ приговоръ всей Россіи и осудивъ ее, равно какъ своей семьѣ, будущности дѣтей своихъ, прямо объявляетъ, что это до него не касается: „Я, дескать, сознаю, что я подлець, но останусь подлецомъ въ свое удовольствіе. *Après moi le déluge*“. Это потому онъ такъ спокоенъ, что у него еще есть состояніе, но случись, что онъ его потеряетъ — почему же ему не стать валецомъ,—самая прямая дорога. И такъ, вотъ этотъ гражданинъ, вотъ этотъ семьянинъ, вотъ этотъ русскій человекъ—какая характернѣйшая чисто русская черта! Вы скажете, что онъ все-таки исключеніе. Какое исключеніе и можетъ ли это быть? Припомните, сколько цинизма увидали мы въ эти послѣднія двадцать лѣтъ, какую легкость оборотовъ и переворотовъ, какое отсутствіе всякихъ коренныхъ убѣжденій и какую быстроту усвоенія первыхъ встрѣчныхъ, съ тѣмъ, конечно, чтобъ

завтра же ихъ опять продать за два гроша. Никакого нравственнаго фонда, кромѣ *après moi le déluge* (послѣ меня потопъ).

Но всего любопытнѣе то, что рядомъ съ этимъ, многочисленнѣйшимъ и владычествующимъ типомъ, стоитъ другой, — типъ русскаго дворянина и помѣщика и уже обратно-противоположный тому, — все что есть противоположнаго. Это Левинъ, но Левиныхъ въ Россіи — тьма, почти столько же, сколько и Облонскихъ. Я не про лицо его говорю, не про фигуру, которую создалъ ему въ романѣ художникъ, я говорю лишь про одну черту его сути, но зато самую существенную, и утверждаю, что черта эта до удивленія страшно распространена у насъ, т. е. среди нашего цинизма и калмыцкаго отношенія къ дѣлу. Черта эта съ нѣкотораго времени заявляетъ себя поминутно; люди этой черты судорожно, почти болѣзненно стремятся получить отвѣты на свои вопросы, они твердо надѣются, страстно вѣрують, хотя и ничего почти еще разрѣшить не умѣютъ. Черта эта выражается совершенно въ отвѣтѣ Левина Стивѣ.

„Нѣтъ, если бы это было несправедливо, ты бы не могъ пользоваться этими благами съ удовольствіемъ, *по крайней мѣрѣ, я не могъ бы, мнѣ главное надо чувствовать, что я не виноватъ*“.

И онъ въ самомъ дѣлѣ не успокоится, пока не разрѣшитъ: виноватъ или не виноватъ? И знаете ли, до какой степени не успокоится? Онъ дойдетъ до послѣднихъ столповъ, и если надо, если только надо, если только онъ докажетъ себѣ, что это надо, то, въ противоположность Стивѣ, который говоритъ: „хоть и негоднѣе да продолжайю жить въ свое удовольствіе“ — онъ обратится въ „Власа“, въ „Власа“ Некрасова, который роздалъ свое имѣніе въ припадкѣ великаго умиленія и страха

И собирать на построеніе
Храма Божьяго пошелъ.

И если не на построеніе храма пойдетъ собирать, то сдѣлаетъ что-нибудь въ этихъ же размѣрахъ и съ такою же ревностью. Замѣтите, опять повторяю и спѣшу повторить, черту: это множество, чрезвычайное современное множество этихъ новыхъ людей, этого новаго корня русскихъ людей, которымъ *нужна правда*, одна правда безъ условной лжи, и которые, чтобъ достигнуть этой правды, отдадутъ все рѣшительно. Эти люди тоже объявились въ по-

слѣднія двадцать лѣтъ и объявляются все больше и больше, хотя ихъ и прежде, и всегда, и до Петра еще можно было предчувствовать. Это наступающая будущая Россія честныхъ людей, которымъ нужна лишь одна правда. О, въ нихъ большая и нетерпимость: по неопытности они отвергаютъ всякія условія, всякія разъясненія даже. Но я только то хочу заявить изо всей силы, что ихъ влечетъ истинное чувство. Характернѣйшая черта еще въ томъ, что они ужасно не спѣлись и пока принадлежать ко всевозможнымъ разрядамъ и убѣжденіямъ: тутъ и аристократы и пролетаріи, и духовные и невѣрующіе, и богачи и бѣдные, и ученики и неучи, и старики и дѣвочки, и славянофилы и западники. Разладъ въ убѣжденіяхъ непомерный, но стремленіе къ честности и правдѣ непоколебимое и нерушимое, и за слово истины всякій изъ нихъ отдастъ жизнь свою и всѣ свои преимущества, говорю—обратится въ Власа. Закричатъ, пожалуй, что это дикая фантазія, что нѣтъ у насъ столько честности и *исканія честности*. Я именно провозглашаю, что есть, рядомъ съ страшнымъ развратомъ, что я вижу и предчувствую этихъ грядущихъ людей, которымъ принадлежитъ будущность Россіи, что ихъ нельзя уже не видать, и что художникъ, сопоставившій этого отжившаго циника Стиву съ своимъ новымъ человѣкомъ Левинымъ, какъ бы сопоставилъ это отпѣтое, развратное, страшно многочисленное, но уже покончившее съ собой собственнымъ приговоромъ общество русское съ обществомъ новой правды, которое не можетъ вынести въ сердцѣ своемъ убѣжденія, что оно виновато, и отдастъ все, чтобъ очистить сердце свое отъ вины своей. Замѣчательно тутъ то, что дѣйствительно наше общество дѣлится почти что только на эти два разряда, — до того они обширны и до того они всецѣло обнимаютъ собою русскую жизнь,—разумѣется, если откинуть массу совершенно лѣнливыхъ, бездарныхъ и равнодушныхъ. Но самая характернѣйшая, самая русская черта этой „Злобы дня“, указанной авторомъ, состоитъ въ томъ, что его новый человѣкъ, его Левинъ *не умѣетъ* рѣшить смутившій его вопросъ. То-есть онъ уже и рѣшилъ его *почти*, въ сердцѣ своемъ, и не въ свою пользу, *подозрѣвая*, что онъ *виноватъ*, но что-то твердое, прямое и реальное возстаетъ изъ всей природы и удерживаетъ его пока отъ послѣдняго приговора. Напротивъ, Стива, которому все равно, виноватъ онъ или нѣтъ,—рѣшаетъ безъ малѣй-

шаго колебанія, это ему даже на руку: „коли все нелѣпо и ничего святого не существуетъ, стало быть, можно все дѣлать, а съ меня еще времени хватить, не сейчасъ вѣдъ придетъ страшный судъ“. Любопытно еще то, что именно самая слабая сторона вопроса и смутила Левина, и поставила его втупикъ, и это чисто по-русски, и совершенно вѣрно отмѣчено авторомъ: все дѣло въ томъ, что всѣ эти мысли и вопросы у насъ въ Россіи — одна лишь теорія, всѣ къ намъ занесенные съ чужого строя и съ чужого порядка вещей, изъ Европы, гдѣ они имѣютъ давно уже свою историческую и практическую сторону. Что жъ дѣлать: оба наши дворянина—европейцы, и отъ европейскаго авторитета освободиться имъ не легко, надо и тутъ отдать дань Европѣ. И вотъ Левинъ, русское сердце, смѣшиваетъ чисто русское и единственно возможное рѣшеніе вопроса съ европейской его постановкой. Онъ смѣшиваетъ христіанское рѣшеніе съ историческимъ „правомъ“. Представимъ, для ясности, себѣ такую картинку:

Стоитъ Левинъ, стоитъ задумавшись послѣ ночного разговора своего на охотѣ со Стивой и мучительно, какъ честная душа, желаетъ разрѣшить смутившей, и уже прежде, стало быть, смущавшей его вопросъ.

— Да, думаетъ онъ, полурѣшая,—да, если по-настоящему, то за что мы, какъ сказалъ давеча Весловскій, „ѣдимъ, пьемъ, охотимся, ничего не дѣлаемъ, а бѣдный вѣчно, вѣчно въ трудѣ? Да, Стива правъ, я *долженъ* раздѣлить мое имѣніе бѣднымъ и пойти работать на нихъ.

Стоитъ подлѣ Левина „бѣдный“ и говорить:

— Да, ты дѣйствительно *долженъ* и обязанъ отдать свое имѣніе намъ, бѣднымъ, и пойти работать на насъ.

Левинъ выйдетъ совершенно правъ, а „бѣдный“ совершенно неправъ, разумѣется, рѣшая дѣло, такъ сказать, въ высшемъ смыслѣ. Но въ томъ-то и вся разница постановки вопроса. Ибо нравственное рѣшеніе его нельзя смѣшивать съ историческимъ; не то—безысходная путаница, которая и теперь продолжается, особенно въ теоретическихъ русскихъ головахъ—и въ головахъ негодаевъ Стивъ и въ головахъ чистыхъ сердцемъ Левиныхъ. Въ Европѣ жизнь и практика уже поставили вопросъ—хоть и абсурдно въ идеаль его исхода, но все же реально въ его текущемъ ходѣ, и уже не смѣшивая двухъ разнородныхъ взглядовъ, нравственнаго и историческаго, по крайней

мѣрѣ, по возможности. Разъяснимъ нашу мысль еще, хоть двумя словами.

III.

Злоба дня въ Европѣ.

Въ Европѣ былъ феодализмъ и были рыцари. Но въ тысячу слишкомъ лѣтъ усилилась буржуазія и наконецъ задала повсемѣстно битву, разбила и согнала рыцарей и—стала сама на ихъ мѣсто. Исполнилась въ лицахъ поговорка: „Otes toi de là que je m'y mette“ (убирайся, а я на твоё мѣсто). Но ставъ на мѣсто своихъ прежнихъ господъ и завладѣвъ собственностью, буржуазія совершенно обошла народъ, пролетарія, и, не признавъ его за брата, обратила его въ рабочую силу, для своего благосостоянія, изъ-за куска хлѣба. Нашъ русскій Стива рѣшаетъ про себя, что онъ неправъ, но сознательно хочетъ оставаться негодяемъ, потому что ему жирно и хорошо; заграничный Стива съ нашимъ несогласенъ и признаетъ себя совершенно правымъ, и ужъ конечно, онъ въ этомъ по-своему логичнѣе, ибо, по его мнѣнію, тутъ вовсе и нѣтъ никакого *права*, а есть только *исторія*, историческій ходъ вещей. Онъ сталъ на мѣсто рыцаря, потому что побѣдилъ рыцаря силой, и онъ отлично хорошо понимаетъ, что пролетарій, бывший во время борьбы его съ рыцаремъ еще ничтожнымъ и слабымъ, очень можетъ усилиться и даже усиливается съ каждымъ днемъ. Онъ отлично предчувствуетъ, что когда тотъ совсѣмъ усилится, то сковырнетъ его съ мѣста, какъ онъ когда-то рыцаря, и точь въ точь такъ же скажетъ ему: „убирайся, а я на твоё мѣсто“. Гдѣ же тутъ право, тутъ одна исторія. О, онъ бы готовъ былъ на компромиссъ, какъ-нибудь поладить съ врагомъ, и даже пробоваль. Но такъ какъ онъ отлично догадался, да и на опытѣ знаетъ, что врагъ ни за что не расположенъ мириться, дѣлиться не хочетъ, а хочетъ *всего*; кромѣ того: что если онъ и уступитъ что, то только себя ослабитъ—то и рѣшилъ не уступать ничего и—готовиться къ битвѣ. Положеніе это, можетъ быть, безнадежно, но по свойству человѣческой природы укрѣпляться духомъ передъ борьбою,—онъ не отчаивается, напротивъ, укрѣпляется на бой все болѣе и болѣе, пускаетъ всѣ средства въ ходъ, изо всей силы, пока сила есть; ослабляетъ противника и пока только это и дѣлаетъ.

Вотъ на какой точкѣ это дѣло теперь въ Европѣ.

Правда, прежде, недавно даже была и тамъ *нравственная* постановка вопроса, были фурьеристы и кабетисты, были споры, споры и дебаты объ разныхъ весьма тонкихъ вещахъ. Но теперь предводители пролетарія все это до времени устранили. Они прямо ходятъ задать битву, организуютъ армію, собираютъ ее въ ассоціаціи, устраиваютъ кассы, и увѣрены въ побѣдѣ: „А тамъ, послѣ побѣды, все само собою устроится практически, хотя очень можетъ быть, что послѣ рѣкъ пролитой крови“. Буржуа понимаетъ, что предводители пролетаріевъ прельщаютъ ихъ просто грабежомъ, и что въ такомъ случаѣ нравственную сторону дѣла и ставить не стоитъ. И, однако, между и теперешними даже предводителями случаются такіе коноводы, которые проповѣдуютъ и нравственное право бѣдныхъ. Высшіе предводители допускаютъ этихъ коноводовъ собственно для красоты, чтобъ скрасить дѣло, придать ему видъ высшей справедливости. Изъ этихъ „нравственныхъ“ коноводовъ есть много интригановъ, но много и пламенно вѣрующихъ. Они прямо объявляютъ, что для себя ничего не хотятъ, а работаютъ лишь для человѣчества, хотятъ добиться новаго строя вещей для счастья человѣчества. Но тутъ ихъ ждетъ буржуа на довольно твердой почвѣ и имъ прямо ставить на видъ, что они хотятъ заставить его стать братомъ пролетарію и подѣлить съ нимъ имѣніе—палкой и кровью. Несмотря на то, что это довольно похоже на правду, коноводы отвѣчаютъ имъ, что они вовсе не считаютъ ихъ, буржуазію, способными стать братьями народу, а потому-то и идутъ на нихъ просто силой, изъ братства ихъ исключаютъ вовсе: „братство-де образуется потомъ, изъ пролетаріевъ, а вы—вы сто милліоновъ обреченныхъ къ истребленію головъ, и только. Съ вами покончено, для счастья человѣчества“. Другіе изъ коноводовъ прямо уже говорятъ, что братства никакого имъ и не надо, что христіанство бредни и что будущее человѣчество устроится на основаніяхъ научныхъ. Все это, конечно, не можетъ поколебать и убѣдить буржуа. Онъ понимаетъ и возражаетъ, что это общество, на основаніяхъ научныхъ, чистая фантазія, что они представили себѣ человѣка совсѣмъ инымъ, чѣмъ устроила его природа. Что человѣку трудно и невозможно отказаться отъ безусловнаго права собственности, отъ семейства и отъ свободы; что отъ будущаго своего человѣка они слишкомъ много требуютъ пожертвованій, какъ отъ личности;

что устроить такъ человѣка можно только страшнымъ насиліемъ и поставивъ надъ нимъ страшное шпіонство и непрерывный контроль самой деспотической власти. Въ заключеніе они вызываютъ указать ту силу, которая бы смогла соединить будущаго человѣка въ согласное общество, а не въ насильственное. На это коноводы выставляютъ пользу и необходимость, которую сознаетъ самъ человѣкъ, и что самъ онъ, чтобы спасти себя отъ разрушенія и смерти, согласится добровольно сдѣлать всѣ требуемыя уступки. Имъ возражаютъ, что польза и самосохраненіе никогда одни не въ силахъ породить полнаго и согласнаго единенія, что никакая польза не замѣнитъ своеволія и правъ личности, что эти силы и мотивы слишкомъ слабы и что все это, стало-быть, попрежнему гадательно. Что если бъ они дѣйствовали только нравственной стороной дѣла, то пролетарій и слушать бы ихъ не сталъ, а если идетъ за ними теперь и организуется въ битву, то единственно потому, что прельщенъ обѣщаннымъ грабежомъ и взволнованъ перспективою разрушенія и битвы. А стало-быть, въ концѣ концовъ, нравственную сторону вопроса надобно совсѣмъ устранить, потому что она не выдерживаетъ ни малѣйшей критики, а надо просто готовиться къ бою.

Вотъ европейская постановка дѣла. И та и другая сторона страшно неправы, и та и другая погибнуть во грѣхахъ своихъ. Повторяемъ, всего тяжелѣе для насъ русскихъ то, что у насъ даже Левины надъ этими же самыми вопросами задумываются, тогда какъ единственно возможное разрѣшеніе вопроса, и именно русское, и не только для русскихъ, но и для всего человѣчества, — есть постановка вопроса нравственная, то-есть христіанская. Въ Европѣ она не мыслима, хотя и тамъ, рано ли, поздно ли, послѣ рѣкъ крови и ста милліоновъ головъ, должны же будутъ признать ее, ибо въ ней только одной и исходить.

IV.

Русское рѣшеніе вопроса.

Если вы почувствовали, что вамъ тяжело „ѣсть, пить, ничего не дѣлать и ѣздить на охоту“ и если вы дѣйствительно это почувствовали и дѣйствительно такъ вамъ жаль „бѣдныхъ“, которыхъ такъ много, то отдайте имъ свое имѣніе, если хотите, пожертвуйте на общую пользу

и идите работать на всѣхъ и „получите сокровище на небеси, тамъ, гдѣ не копятъ и не посягаютъ“. Пойдите, какъ Власъ, у котораго

Сила вся души великая
Въ дѣло Божіе ушла.

И если не хотите собирать, какъ Власъ, на храмъ Божій, то заботьтесь о просвѣщеніи души этого бѣдняка, свѣтите ему, учите его. Если бъ и всѣ роздали, какъ вы, свое имѣніе „бѣднымъ“, то раздѣленные на всѣхъ, всѣ богатства богатыхъ міра сего были бы лишь каплей въ морѣ. А потому надобно заботиться больше о свѣтѣ, о наукѣ и о усиленіи любви. Тогда богатство будетъ расти въ самомъ дѣлѣ, и богатство настоящее, потому что оно не въ золотыхъ платяхъ заключается, а въ радости общаго соединенія и въ твердой надеждѣ каждаго на всеобщую помощь въ несчастіи ему и дѣтямъ его. И не говорите, что вы лишь слабая единица, и что если вы одинъ раздадите имѣніе и пойдете служить, то ничего этимъ не сдѣлаете и не поправите. Напротивъ, если даже только нѣсколько будетъ такихъ, какъ вы, такъ и тогда двинется дѣло. Да въ сущности и не надо даже раздавать *непрерывно* имѣнія,—ибо всякая *непрерывность* тутъ, въ дѣлѣ любви, похожа будетъ на мундиръ, на рубрику, на букву. Убѣжденіе, что исполнилъ букву, ведетъ только къ гордости, къ формалистикѣ и къ лѣности. Надо дѣлать только то, что велитъ сердце: велитъ отдать имѣніе — отдайте, велитъ идти работать на всѣхъ—идите, но и тутъ не дѣлайте такъ, какъ иные мечтатели, которые прямо берутся за тачку: „дескать, я не баринъ, я хочу работать какъ мужикъ“. Тачка опять-таки мундиръ.

Напротивъ, если чувствуете, что будете полезны всѣмъ какъ ученый, идите въ университетъ и оставьте себѣ на то средства. Не раздача имѣнія обязательна и не надѣванье зипуна: все это лишь буква и формальность; обязательна и важна лишь *рѣшимость ваша дѣлать все ради дѣятельной любви*, все, что возможно вамъ, что сами искренно признаете для себя возможнымъ. Всѣ же эти старанія „опроститься“—лишь одно только переряживаніе, невѣжливое даже къ народу и вась унижающее. Вы слишкомъ „сложны“, чтобъ „опроститься“, да и образование ваше не позволитъ вамъ стать мужикомъ. Лучше мужика вознесите до вашей „осложненности“. Будьте только искренни и простодушны; это лучше всякаго „опрошенія“.

Но пуще всего не запугивайте себя сами, не говорите: „одинъ въ полѣ не воинъ“ и пр. Всякій, кто искренно захотѣлъ истины, тотъ уже страшно силенъ. Не подражайте тоже нѣкоторымъ фразерамъ, которые говорятъ поминутно, чтобы ихъ слышали: „Не дають ничего дѣлать, связываютъ руки, вселяють въ душу отчаяніе и разочарованіе!“ и пр., и пр. Все это фразеры и герои поэмъ дурного тона, рисующіеся собою лѣнтяи. Кто хочетъ приносить пользу, тотъ и съ буквально связанными руками можетъ сдѣлать бездну добра. Истинный дѣлатель, вступивъ на путь, сразу увидитъ передъ собою столько дѣла, что не станетъ жаловаться, что ему не дають дѣлать, а непременно отыщетъ и успѣетъ хоть что-нибудь сдѣлать. Всѣ настоящіе дѣлатели про это знаютъ. У насъ одно изученіе Россіи сколько времени возьметъ, потому что вѣдь у насъ лишь рѣдчайшій человѣкъ знаетъ нашу Россію. Жалобы на разочарованіе совершенно глупы: радость на воздвигающееся зданіе должна утолить всякую душу и всякую жажду, хотя бы вы только по песчинкѣ приносили пока на зданіе. Одна награда вамъ—любовь, если заслужите ее. Положимъ, вамъ не надо награды, но вѣдь вы дѣлаете дѣло любви, а, стало-быть, нельзя же вамъ не домогаться любви. Но пусть никто и не скажетъ вамъ, что вы и безъ любви должны были сдѣлать все это, изъ собственной, такъ сказать, пользы и что иначе васъ бы заставили силой. Нѣтъ, у насъ въ Россіи надо насаждать другія убѣжденія, и особенно относительно понятій о свободѣ, равенствѣ и братствѣ. Въ нынѣшнемъ образѣ міра полагають свободу въ разнузданности, тогда какъ настоящая свобода—лишь въ одолѣніи себя и воли своей, такъ чтобы подъ конецъ достигнуть такого нравственнаго состоянія, чтобъ всегда, во всякій моментъ, быть самому себѣ настоящимъ хозяиномъ. А разнузданность желаній ведетъ лишь къ рабству вашему. Вотъ почему чуть-чуть не весь нынѣшній міръ полагаетъ свободу въ денежномъ обезпеченіи и въ законахъ, гарантирующихъ денежное обезпеченіе. „Есть деньги, стало-быть, могу дѣлать все, что угодно; есть деньги—стало-быть, не погибну и не пойду просить помощи, а не просить ни у кого помощи есть высшая свобода“. А между тѣмъ это въ сущности не свобода, а опять-таки рабство, рабство отъ денегъ. Напротивъ, самая высшая свобода—не копить и не обезпечивать себя деньгами, а „раздѣлить всѣмъ что имѣешь и

пойти всѣмъ служить“. Если способенъ на то человѣкъ, если способенъ одолѣть себя до такой степени—то онъ ли послѣ того не свободенъ? Это уже высочайшее проявленіе воли! Затѣмъ, что такое въ нынѣшнемъ образованномъ мірѣ равенство? Ревнивое наблюденіе другъ за другомъ, чванство и зависть: „Онъ уменъ, онъ Шекспиръ, онъ тѣсславится своимъ талантомъ; унижить его, истребить его“. Между тѣмъ настоящее равенство говоритъ: „Какое мнѣ дѣло, что ты талантливѣе меня, умнѣе меня, красивѣе меня? Напротивъ, я этому радуюсь, потому что люблю тебя. Но хоть я и ничтожнѣе тебя, но, какъ человѣкъ, я уважаю себя, и ты знаешь это, и самъ уважаешь меня, а твоимъ уваженіемъ я счастливъ. Если ты, по твоимъ способностямъ, приносишь въ сто разъ больше пользы мнѣ и всѣмъ, чѣмъ я тебѣ, то я за это благословляю тебя, дивлюсь тебѣ и благодарю тебя, и вовсе не ставлю моего удивленія къ тебѣ себѣ въ стыдъ; напротивъ, счастливъ тѣмъ, что тебѣ благодаренъ, и если работаю на тебя и на всѣхъ, по мѣрѣ моихъ слабыхъ способностей, то вовсе не для того, чтобъ сквитаться съ тобой, а потому, что люблю васъ всѣхъ“.

Если такъ будутъ говорить всѣ люди, то ужъ, конечно, они станутъ и братьями, не изъ одной только экономической пользы, а отъ полноты радостной жизни, отъ полноты любви.

Скажутъ, что это фантазія, что это „русское рѣшеніе вопроса“—есть „Царство Небесное“ и возможно развѣ лишь въ Царствѣ Небесномъ. Да, Стивы очень разсердились бы, если бъ наступило Царство Небесное. Но надобно взять уже то одно, что въ этой фантазіи „русскаго рѣшенія вопроса“ несравненно менѣе фантастическаго и несравненно болѣе вѣроятнаго, чѣмъ въ европейскомъ рѣшеніи. Такихъ людей, т.-е. „Власовъ“ мы уже видѣли и видимъ у насъ во всѣхъ сословіяхъ, и даже довольно часто; тамошняго же „будущаго человѣка“ мы еще нигдѣ не видѣли и самъ онъ обѣщаль придти перейдя лишь рѣки крови. Вы скажете, что единицы и десятки ничему не помогутъ, а надобно добиться извѣстныхъ всеобщихъ порядковъ и принциповъ. Но если бъ даже и существовали такіе порядки и принципы, чтобы безошибочно устроить общество, и если бъ даже и можно было ихъ добиться прежде практики, такъ, а priori, изъ однихъ мечтаній сердца и „научныхъ“ цифръ, взятыхъ притомъ изъ преж-

наго строя общества, — то съ неготовыми, съ невыдѣланными къ тому людьми никакія правила не удержатся и не осуществятся, а, напротивъ, станутъ лишь въ тягость. Я же безгранично вѣрую въ нашихъ будущихъ и уже начинающихся людей, вотъ о которыхъ я уже говорилъ выше, что они пока еще не спѣлись, что они страшно какъ разбиты на кучки и лагеря въ своихъ убѣжденіяхъ, но зато всѣ ищутъ правды прежде всего, и если бъ только узнали гдѣ она, то для достиженія ея готовы пожертвовать всѣмъ, и даже жизнью. Повѣрьте, что если они вступятъ на путь истинный, найдутъ его, наконецъ, то увлекутъ за собою и всѣхъ, и не насильемъ, а свободно. Вотъ что уже могутъ сдѣлать единицы на первый случай. И вотъ тотъ плугъ, которымъ можно поднять нашу „Новь“. Прежде, чѣмъ проповѣдывать людямъ: „какъ имъ быть“ — покажите это на себѣ. Исполните на себѣ сами и всѣ за вами пойдутъ. Что тутъ утопическаго, что тутъ невозможнаго — не понимаю! Правда, мы очень развратны, очень малодушны, а потому не вѣримъ и смѣемся. Но теперь почти не въ насъ и дѣло, а въ грядущихъ. Народъ чистъ сердцемъ, но ему нужно образованіе. Но чистые сердцемъ поднимаются и въ нашей средѣ — и вотъ что самое важное! Вотъ этому надо повѣрить прежде всего, это надобно умѣть разглядѣть. А чистымъ сердцемъ одинъ совѣтъ: самообладаніе и самоодолѣніе прежде всякаго перваго шага. Исполни самъ на себѣ прежде, чѣмъ другихъ заставлять, — вотъ въ чемъ вся тайна перваго шага.

МАРТЪ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

I.

Еще разъ о томъ, что Константинополь, рано ли, поздно ли, а долженъ быть нашъ.

Прошлаго года, въ юнѣ мѣсяцѣ, въ юньскомъ № моего „Дневника“, я сказалъ, что Константинополь „рано ли, поздно ли, долженъ быть нашъ“. Тогда было горячее и славное время: подымалась духомъ и сердцемъ вся Россія и народъ шелъ „добровольно“ послужить Христу и православію противъ невѣрныхъ, за нашихъ братьевъ по вѣрѣ и крови славянъ. Я хоть и назвалъ тогдашнюю статью мою „утопическимъ пониманіемъ исторіи“, — но самъ я твердо вѣрилъ въ свои слова и не считалъ ихъ утопией, да и теперь готовъ подтвердить ихъ буквально. Вотъ, что я написалъ тогда о Константинополѣ:

„Да, Золотой Рогъ и Константинополь,—все это будетъ наше... И, во-первыхъ, это случится само собою, именно потому, что время пришло, а если не пришло еще и теперь, то дѣйствительно время уже близко, всѣ къ тому признаки, это выходъ естественный, это, такъ сказать, слово самой природы. Если не случилось этого раньше, то именно потому, что не созрѣло еще время“.

Затѣмъ я тогда разъяснилъ мою мысль, почему не созрѣло, да и не могло созрѣть прежде время. Если бъ Петру Великому (писалъ я) и пришла тогда мысль,

«вмѣсто основанія Петербурга захватить Константинополь, то, мнѣ кажется, онъ, по нѣкоторомъ размышленіи, оставилъ бы эту мысль

тогда же, если бы даже и имѣлъ настолько силы, чтобы сокрушить султана, именно потому, что тогда дѣло это было несвоевременное и могло бы принести даже гибель Россіи.

«Ужъ когда въ чухонскомъ Петербургѣ мы не избѣгли вліянія сосѣднихъ нѣмцевъ, хотя и бывшихъ полезными, но зато и весьма парализовавшихъ русское развитие прежде, чѣмъ выяснилась его настоящая дорога, то какъ въ Константинополѣ, огромномъ и своеобразномъ, съ остатками могущественной и древнѣйшей цивилизаціи, могли бы мы избѣжать вліянія грековъ, людей несравненно болѣе тонкихъ, чѣмъ грубые нѣмцы, людей, имѣющихъ несравненно болѣе обидихъ точекъ соприкосновенія съ нами, чѣмъ совершенно непохожие на насъ нѣмцы, людей многочисленныхъ и царедворныхъ, которые тотчасъ же бы окружили тронъ и прежде русскихъ стали бы и учены, и образованы, которые и Петра самого очаровали бы въ его слабой струнѣ ужъ однимъ своимъ знаніемъ и умѣніемъ въ мореходствѣ, а не только его ближайшихъ преемниковъ. Однимъ словомъ, они овладѣли бы Россіей политически, они стащили бы ее немедленно на какую-нибудь новую Азіатскую дорогу, на какую-нибудь замкнутость и ужъ, конечно, этого не вынесла бы тогдашняя Россія. Ея русская сила и ея національность были бы остановлены въ своемъ ходѣ. Мощный великорусъ остался бы въ отдаленіи на своемъ мрачномъ снѣжномъ Сѣверѣ, служа не болѣе какъ матеріаломъ для обновленнаго Царьграда и, можетъ-быть, подъ конецъ, совсѣмъ не призналъ бы нужнымъ идти за нимъ. Югъ же Россіи весь бы подпалъ захвату грековъ. Даже, можетъ-быть, совершилось бы распаденіе самого Православія на два міра: на обновленный Царьградскій и старый русскій... Однимъ словомъ, дѣло было въ высшей степени несвоевременное. Теперь же совсѣмъ иное».

Теперь (писалъ я); теперь Россія уже могла бы завладѣть Константинополемъ и не перенося въ него свою столицу, чего тогда, при Петрѣ, и даже долго послѣ него, было бы нельзя миновать. Теперь Царьградъ могъ бы быть нашимъ и не какъ столица Россіи, но (прибавлялъ я) и не какъ столица всеславянства, какъ мечтаютъ нѣкоторые:

«Всеславянство безъ Россіи истощится тамъ въ борьбѣ съ греками, если бы даже и могло составить изъ своихъ частей какое-нибудь политическое цѣлое. Настѣдовать же Константинополь однимъ грекамъ теперь уже совсѣмъ невозможно: нельзя отдать имъ такую важную точку земного шара, слишкомъ ужъ было бы имъ не по мѣркѣ».

Но во имя чего же, во имя какого *нравственнаго* права могла бы искать Россія Константинополя? Опираясь на какія высшія цѣли могла бы требовать его отъ Европы?

«А вотъ именно (писалъ я)—какъ предводительница Православія, какъ покровительница и охранительница его,—роль предназначенная ей еще съ Ивана III, поставившаго въ знакъ ея и царьградскаго двуглаваго орла выше древняго герба Россіи, но обозначающаяся уже несомнѣнно послѣ Петра Великаго, когда Россія сознала въ себѣ силу исполнить свое назначеніе, а фактически уже и стала дѣйствительной и единственной покровительницей и православія, и народовъ

его исповѣдующихъ. Вотъ эта причина, вотъ это *право* на древній Царьградъ и было бы понятно и не обидно даже самымъ ревнивымъ къ своей независимости славянамъ, или даже самимъ грекамъ. Да и тѣмъ самымъ обозначилась бы и настоящая сущность тѣхъ политическихъ отношеній, которыя и должны неминуемо наступить у Россіи ко всемъ прочимъ православнымъ народностямъ, — славянамъ ли, грекамъ ли, все равно. Она — покровительница ихъ и даже можетъ-быть предводительница, но не владычица; мать ихъ, а не госпожа. Если даже и государыня ихъ, когда-нибудь, то лишь по собственному ихъ провозглашенію, съ сохраненіемъ всего того, чѣмъ сами они опредѣлили бы независимость и личность свою».

Всѣ эти соображенія само собою представлялись мною въ іюньской прошлогодней статьѣ отнюдь не какъ подлежащія немедленному исполненію, а лишь какъ долженствующія несомнѣнно исполниться, когда придетъ къ тому историческое время и восполнятся сроки, близость и отдаленность которыхъ, хотя невозможно предсказать, но все же можно предчувствовать. Съ тѣхъ поръ прошло девять мѣсяцевъ. Про эти девять мѣсяцевъ вспоминать, я думаю, нечего: всемъ намъ извѣстно это восторженное время, въ началѣ полное надеждъ, а потомъ странное и тревожное и которое до сихъ поръ еще не заключилось ничѣмъ, такъ что одинъ Богъ знаетъ — (я думаю, такъ лишь можно выразиться) — чѣмъ оно разрѣшится: обнажимъ ли мы мечъ или дѣло еще разъ оттянется какимъ-нибудь компромиссомъ въ долгій ящикъ. Но что бы ни случилось, мнѣ какъ разъ почему-то именно теперь захотѣлось высказать нѣсколько дополнительныхъ и пояснительныхъ словъ къ моимъ іюньскимъ мечтамъ о судьбѣ Царьграда. Чтò бы тамъ теперь ни случилось — миръ ли, вновь ли уступки со стороны Россіи, но рано ли, поздно ли, а Царьградъ будетъ нашъ, — вотъ чтò хочется мнѣ опять подтвердить, но уже съ нѣкоторой новой точки зрѣнія.

Да, онъ долженъ быть нашъ не съ одной точки зрѣнія знаменитаго порта, пролива, „средоточія вселенной“, „пуна земли“; не съ точки зрѣнія давно сознанной необходимости такому огромному великану какъ Россія выйти, наконецъ, изъ запертой своей комнаты, въ которой онъ доросъ до потолка, на просторъ, дохнуть вольнымъ воздухомъ морей и океановъ. Я хочу поставить на видъ лишь одно соображеніе, тоже самой первой важности, по которому Константинополь не можетъ миновать Россіи. Это соображеніе я потому преимущественно передъ другими выставляю на видъ, что, какъ мнѣ кажется, такой точки зрѣнія никто теперь не беретъ въ расчетъ, или, по край-

ней мѣрѣ, давно позабыли брать въ расчетъ, а она-то, пожалуй, что и изъ самыхъ важныхъ.

II.

Русскій народъ слишкомъ доросъ до здраваго понятія о восточномъ вопросѣ съ своей точки зрѣнія.

Хоть и дико сказать, но четырехвѣковой гнетъ турокъ на Востокѣ съ одной стороны былъ даже полезенъ тамъ христіанству и православію, — отрицательно, конечно, но, однакоже, способствуя его укрѣпленію, а, главное, его единенію, его единству, точно такъ же, какъ двухвѣковая татарщина способствовала нѣкогда укрѣпленію Церкви и у насъ въ Россіи. Придавленное и измученное христіанское населеніе Востока увидало во Христѣ и въ вѣрѣ въ него единое свое утѣшеніе; а въ Церкви — единственный и послѣдній остатокъ своей національной личности и особености. Это была послѣдняя единая надежда, послѣдняя доска, оставшаяся отъ разбитаго корабля; ибо Церковь все-таки сохранила эти населенія какъ національность, а вѣра во Христа препятствовала имъ, т.-е. хотя части изъ нихъ, слиться съ побѣдителями воедино, забывъ свой родъ и свою прежнюю исторію. Все-это чувствовали и хорошо понимали сами угнетенные народы и единились около креста тѣснѣе. Съ другой стороны, съ самаго покоренія Константинополя, весь огромный христіанскій Востокъ невольно и вдругъ обратилъ свой молящій взглядъ на далекую Россію, только что вышедшую тогда изъ своего татарскаго рабства, и какъ бы предугадалъ въ ней будущее ея могущество, свой будущій всеединящій центръ себѣ во спасеніе. Россія же немедленно и не колеблясь приняла знамя Востока и поставила Царьградскаго двуглаваго орла выше своего древняго герба и тѣмъ какъ бы приняла обязательство передъ всѣмъ православіемъ: хранить его и всѣ народы его исповѣдующіе отъ конечной гибели. Въ то же время и весь русскій народъ совершенно подтвердилъ новое назначеніе Россіи и Царя своего въ грядущихъ судьбахъ всего восточнаго міра. Съ тѣхъ поръ главное, излюбленное наименованье Царя своего народъ твердо и неуклонно поставилъ и до сихъ поръ видитъ въ словѣ: „православный“, „Царь Православный“. Назвавъ такъ Царя своего, онъ какъ бы призналъ въ наименованіи этомъ и назначеніе его, — назначеніе охранителя, единителя, а когда прогремитъ велѣніе Божіе, — и

освободителя православія и всего христіанства, его исповѣдующаго, отъ мусульманскаго варварства и западнаго еретичества. Два вѣка назадъ, и особенно начиная съ Петра Великаго, вѣрованія и надежды народовъ Востока начали сбываться уже на дѣлѣ: мечъ Россіи уже нѣсколько разъ сіялъ на Востокѣ въ защиту его. Само собою, что и народы Востока не могли не видѣть въ Царѣ Россіи не только освободителя, но и будущаго Царя своего. Но въ эти два вѣка явилось и у нихъ европейское просвѣщеніе, европейское вліяніе. Высшая просвѣщенная часть народа, интеллигенція его, какъ у насъ, такъ и на Востокѣ, мало-по-малу стала къ идеѣ православія равнодушнѣе, стала даже отрицать, что въ этой идеѣ заключается обновленіе и воскресеніе въ новую великую жизнь, какъ для Востока, такъ и для Россіи. Въ Россіи, наприимѣръ, въ огромной части ея образованнаго сословія, перестали и даже какъ бы отучились видѣть въ этой идеѣ главное назначеніе Россіи, завѣтъ будущаго и жизненную силу ея; въ противоположность тому стали находить все это въ новыхъ указаніяхъ. Въ Церкви, по западному, многіе стали видѣть лишь мертвенный формализмъ, особенность, обрядность, а съ конца прошлаго вѣка такъ даже предразсудокъ и ханжество: о духѣ, объ идеѣ, о живой силѣ было забыто. Явились идеи экономическія характера западнаго, явились новыя ученія политическія, явилась новая нравственность, стремившаяся поправить прежнюю и стать выше ея. Явилась, наконецъ, наука, не могшая не внести безвѣрія въ прежнія идеи... Въ народахъ же Востока стали пробуждаться, кромѣ того, и главнѣйшимъ образомъ, идеи національныя: явилась вдругъ боязнь, освобождаясь отъ турецкаго ига, подпасть подъ иго Россіи. Зато въ простомъ, многомилліонномъ народѣ нашемъ и въ царяхъ его, идея освобожденія Востока и Церкви Христовой не умирала никогда. Движеніе, охватившее народъ русскій прошлымъ лѣтомъ, доказало, что народъ не забылъ ничего изъ своихъ древнихъ надеждъ и вѣрованій, и даже удивило огромную часть нашей интеллигенціи, до того, что та прямо не повѣрила этому движенію, отнеслась къ нему скептически и насмѣшливо стала всѣхъ увѣрять, и себя прежде всѣхъ, что движеніе это выдуманно и поддѣлано неблаговидными людьми, желавшими выдвинуться впередъ на красивое мѣсто. Въ самомъ дѣлѣ, кто бы могъ, въ наше время, въ нашей интеллигенціи, кромѣ небольшой

отдѣлившейся отъ общаго хора части ея, допустить, что народъ нашъ въ состояніи *сознательно* понимать свое политическое, социальное и нравственное назначеніе? Какъ можно было имъ допустить, чтобъ эта грубая, черная масса, недавно еще крѣпостная, а теперь опившаяся водкой, знала бы и была увѣрена, что назначеніе ея — служеніе Христу, а Царя ея — храненіе Христовой вѣры и освобожденіе православія. „Пусть эта масса всегда называла себя не иначе какъ христіанствомъ (крестьянствомъ), но вѣдь она все-таки не имѣетъ понятія ни о религіи, ни о Христѣ даже, она самыхъ обыкновенныхъ молитвъ не знаетъ“. Вотъ, что говорятъ обыкновенно про народъ нашъ. Кто говоритъ это? Вы думаете—нѣмецкій пасторъ, обработавшій у насъ штунду, или заѣзжій европеецъ, корреспондентъ политической газеты, или образованный какой-нибудь высшій еврей изъ тѣхъ, что не вѣруютъ въ Бога и которыхъ вдругъ у насъ такъ много теперь расплодилось, или, наконецъ, кто-нибудь изъ тѣхъ поселившихся за границей русскихъ, воображающихъ Россію и народъ ея лишь въ образѣ пьяной бабы, со штофомъ въ рукахъ? О нѣтъ, такъ думаетъ огромная часть нашего русскаго, и самаго лучшаго, общества; а и не подозрѣваютъ они, что хоть народъ нашъ и не знаетъ молитвъ, но суть христіанства, но духъ и правда его, сохранились и укрѣпились въ немъ такъ, какъ, можетъ быть, ни въ одномъ изъ народовъ міра сего, несмотря даже на пороки его. Впрочемъ, атеистъ, или равнодушный въ дѣлѣ вѣры русскій европеецъ и не понимаетъ вѣры иначе, какъ въ видѣ формалистики и ханжества. Въ народѣ же они не видятъ ничего подобнаго ханжеству, а потому и заблуждаются, что онъ въ вѣрѣ ничего не смыслить, молится когда ему надо — доскѣ, а въ сущности равнодушенъ и духъ его убить формалистикою. Духа христіанскаго они въ немъ не примѣтили вовсе, можетъ быть, и потому еще, что сами этотъ духъ давно уже потеряли, да и не знаютъ, гдѣ онъ находится, гдѣ онъ вѣетъ. Этотъ „развратный“ и темный народъ нашъ любитъ, однакоже, смиреннаго и юродиваго: во всѣхъ преданіяхъ и сказаніяхъ своихъ онъ сохраняетъ вѣру, что слабый и приниженный несправедливо и напрасно Христа ради терпящій, будетъ вознесенъ превыше знатныхъ и сильныхъ, когда раздастся судъ и велѣніе Божіе. Народъ нашъ любитъ тоже рассказывать и всеславное и великое житіе своего великаго, цѣ-

ломудреннаго и смиреннаго христіанскаго богатыря Ильи Муромца, подвижника за правду, освободителя бѣдныхъ и слабыхъ, смиреннаго и непровозносящагося, вѣрнаго и сердцемъ чистаго. И имѣя, чѣя и любя такого богатыря, — народу ли нашему не вѣровать и въ торжество приниженныхъ теперь народовъ и братьевъ нашихъ на Востокѣ? Народъ нашъ чтитъ память своихъ великихъ и смиренныхъ отшельниковъ и подвижниковъ, любитъ рассказывать исторіи великихъ христіанскихъ мучениковъ своимъ дѣтямъ. Эти исторіи онъ знаетъ и заучилъ, и я самъ ихъ впервые отъ народа услышалъ, рассказанныя съ проникновеніемъ и благоговѣніемъ и оставшіяся у меня на сердцѣ. Кромѣ того, народъ ежедневно и самъ выдѣляетъ изъ себя великихъ кающихся „Власовъ“, идущихъ съ умиле-ніемъ, раздавъ все имѣніе свое, на смиренный и великій подвигъ правды, работы и нищеты... Но, впрочемъ, о народѣ русскомъ потомъ; когда-нибудь добьется же онъ того, что начнутъ понимать и его и, по крайней мѣрѣ, принимать его во вниманіе. Поймутъ, что и онъ что-нибудь да значить. Поймутъ, наконецъ, и то важное обстоятельство, что ни разу еще въ великіе или даже въ чуть-чуть важные моменты исторіи русской, безъ него не обходилось, что Россіи *народна*, что Россія не Австрія, что въ каждый значительный моментъ нашей исторической жизни дѣло всегда рѣшалось народнымъ духомъ и взглядомъ, царями народа въ высшемъ единеніи съ нимъ. Это чрезвычайно важное историческое обстоятельство обыкновенно у насъ пропускается почти безъ вниманія нашей интеллигенціей, и воспоминается всегда какъ-то вдругъ, когда грянетъ историческій срокъ. Но я отвлекся, я заговорилъ о Константинополѣ...

III.

Самыя подходящія въ настоящее время мысли.

Восточная Церковь, ея предстоятели, вселенскій патриархъ, во всѣ эти четыре вѣка порабощенія ихъ Церкви, жили съ Россіей и между собою мирно — въ дѣлѣ вѣры, то-есть: большихъ смуть, ересей, расколовъ не было, не до того было. Но вотъ въ нынѣшнемъ вѣкѣ, и особенно въ послѣднее двадцатилѣтіе, послѣ великой восточной войны, какъ бы потянуло у нихъ тлѣннымъ запахомъ разлагающагося трупа: предчувствіе смерти и разложенія „больного челоуѣка“ и гибели его царства стало ощущеніемъ глав-

нымъ, насущнымъ. О, конечно, освободить можетъ окончательно все-таки лишь одна Россія, та самая Россія, которая и теперь, и въ настоящую минуту всеобщихъ разговоровъ о Востоцѣ все-таки лишь одна разговариваетъ за нихъ въ Европѣ, тогда какъ всѣ остальные народы и царства просвѣщеннаго европейскаго міра были бы, конечно, рады, чтобы ихъ всѣхъ, этихъ угнетенныхъ народовъ Востока, хотя бы и вовсе на свѣтѣ не было. Но, увы, чуть ли не вся интеллигенція восточной райи, хоть и зоветъ Россію на помощь, но боится ея, можетъ-быть, и столько же, сколько и турокъ: „Хоть и освободить насъ Россія отъ турокъ, но поглотитъ насъ, какъ и „больной человѣкъ“, и не дастъ развиваться нашимъ національностямъ“ — вотъ ихъ неподвижная идея, отравляющая всѣ ихъ надежды! А сверхъ того у нихъ и теперь уже все сильнѣй разгораются и между собою національныя соперничества; начались они чуть лишь просіялъ для нихъ первый лучъ образованія. Столь недавняя у нихъ греко-болгарская церковная распря, подъ видомъ церковной, была, конечно, лишь національною, а для будущаго какъ бы нѣкимъ пророчествомъ. Вселенскій патріархъ, порицая послушаніе болгаръ и отлучая ихъ и самовольно избраннаго ими экзарха отъ Церкви, выставялъ на видъ, что въ дѣлѣ вѣры нельзя жертвовать уставами Церкви и послушаніемъ церковнымъ „новому и пагубному принципу національности“. Между тѣмъ, самъ же онъ, будучи грекомъ и произнося это отлученіе болгарамъ, безъ сомнѣнія служилъ тому же самому принципу національности, но только въ пользу грековъ противъ славянъ. Однимъ словомъ, можно даже съ вѣроятностью предсказать, что умри „больной человѣкъ“ и у нихъ у всѣхъ тотчасъ же начнутся между собою смятенія и распри на первый случай именно характера церковнаго, и которыя нанесутъ несомнѣнный вредъ даже и самой Россіи; нанесутъ даже и въ томъ случаѣ, если бы та совершенно устранилась или была устранена обстоятельствами отъ участія въ рѣшеніи восточнаго вопроса. Мало того, смуты эти, можетъ быть, отзовутся даже еще тяжелѣе для Россіи, если она устранивъ себя отъ дѣятельнаго и первенствующаго участія въ судьбахъ Востока. А тутъ вдругъ кричатъ—(и не только въ Европѣ, но и у насъ многіе высшіе политическіе наши умы)—что случись умереть туркамъ, какъ государству, то Константинополь долженъ возродиться не

иначе какъ городомъ „международнымъ“, то-есть какимъ-то серединнымъ, общимъ, вольнымъ, чтобы не было изъза него споровъ. Ошибочнѣе мысли нельзя было и придумать.

И во-первыхъ уже по тому одному, что такой великолѣпной точкѣ земного шара просто не дадутъ стать международной, т.-е. ничьей; непременно и сейчасъ же явятся хотъ бы англичане со своимъ флотомъ, въ качествѣ друзей, и именно охранять и оберегать эту самую „международность“, а въ сущности, чтобы овладѣть Константинополемъ въ свою пользу. А ужъ гдѣ они поселятся, оттуда ихъ трудно выжить, народъ цѣлѣй. Мало того: греки, славяне и мусульмане Царьграда призовутъ ихъ сами, ухватятся за нихъ обѣими руками и не выпустятъ ихъ отъ себя, а причина тому—все та же Россія: „защитать, дескать, они насъ отъ Россіи, нашей освободительницы“. И добро бы они не видѣли и не понимали, что такое для нихъ англичане, да и вообще вся Европа? О, они и теперь знаютъ лучше всѣхъ, что англичанамъ (да и никому въ Европѣ, кромѣ Россіи) до ихъ счастья, то-есть до счастья всей христіанской райи, нѣтъ ровно никакого дѣла. Вся эта райя знаетъ отлично, что если бъ возможно было повторить болгарскіе дѣтніе ужасы (а это, кажется, очень возможно) какъ-нибудь неслышно и втихомолку, то въ Европѣ англичане первые пожелали бы повторенія этихъ убійствъ хотъ разъ десять—и не изъ кровожадности, вовсе нѣтъ: тамъ народы гуманнѣе и просвѣщеннѣе,— а потому, что такія убійства, повторенныя десять разъ, истребили бы окончательно райю, истребили бы до того, что уже некому было бы на Балканскомъ полуостровѣ дѣлать противъ турокъ возстанія,— а въ этомъ-то и вся главная суть: остались бы одни милые турки и турецкія бумаги повисли бы разомъ на всѣхъ европейскихъ биржахъ, а Россіи, „съ ея честолюбіемъ и завоевательными планами“, пришлось бы откочевать поглубже во свояси, за немѣнѣемъ кого защищать. Райя слишкомъ хорошо знаетъ, что только этихъ чувствъ она и можетъ ожидать теперь отъ Европы. Но совсѣмъ другое дѣло явилось бы мигомъ на свѣтѣ, если бъ какимъ-нибудь образомъ, самъ собою или отъ меча Россіи, умеръ бы наконецъ „больной человекъ“. Тотчасъ же вся Европа возгорѣлась бы къ обновленнымъ народамъ нѣжнѣйшею любовью и тотчасъ же бросилась бы „спасать ихъ отъ Рос-

сін". Надо думать, что идею о „международности“ Европа первая и внесетъ въ ихъ новое устройство. Европа пойметъ, что надъ трупомъ „больного человѣка“ у освобожденныхъ народовъ немедленно возгорится смута, распря и соперничество, а ей это и на руку: предлогъ вмѣшательства, главное, предлогъ возбудить ихъ противъ Россіи, которая навѣрно не захочетъ имъ дать ссориться изъ-за наслѣдства больного человѣка. И не будетъ такой клеветы, которую бы не пустила въ ходъ противъ насъ Европа. „Изъ-за русскихъ-то мы вамъ и противъ турокъ не помогли“, скажутъ имъ тогда англичане. Увы, народы Востока и теперь это понимаютъ отлично, и знаютъ, что „Англія никогда не приметъ участія въ ихъ освобожденіи и никогда не дастъ на это своего согласія, если бъ оно считалось нужнымъ, потому что она ненавидитъ этихъ христіанъ за ихъ духовную связь съ Россіей. Англіи нужно, чтобъ восточные христіане возненавидѣли насъ всею силою той ненависти, какую она сама питаетъ къ намъ“... (*Московскія Вѣдомости*, № 63). Вотъ что знаютъ и покаиваются зачинаютъ про себя эти народы и вотъ что они ужъ и теперь, конечно, поставили на будущій счетъ Россіи. А мы-то думаемъ, что они насъ обожаютъ.

Въ международномъ городѣ, мимо покровителей англичанъ, все-таки будутъ хозяевами греки—исконные хозяева города. Надо думать, что греки смотрятъ на славянъ еще съ большимъ презрѣніемъ, чѣмъ нѣмцы. Но такъ какъ славяне будутъ и страшны для грековъ, то презрѣніе смѣнится ожесточеніемъ. Воевать между собою, объявлять другъ другу войну, они, конечно, не смогутъ, потому что ихъ все же не допустятъ до того покровители, по крайней мѣрѣ, въ смыслъ серьезномъ. Ну, вотъ именно за невозможностью открытой и откровенной драки, у нихъ и пойдутъ всякія другія распри и прежде всего примутъ характеръ церковныхъ смуть. Съ того и начинается, потому что это всего сподручнѣе; и вотъ это я и хотѣлъ указать.

Я потому такъ говорю, что ужъ программа была дана: болгаре и Константинополь. Съ этой точки греки сильны и они понимаютъ это. А между тѣмъ ничего страшнѣе въ грядущемъ не можетъ быть для всего Востока, а вмѣстѣ и для Россіи, какъ еще разъ подобная церковная распря, которая, улы, такъ возможна, устранись хоть на мигъ Россія со своимъ покровительствомъ и со строгимъ

надъ ними надзоромъ. Хотя это и всего только будущее, и даже лишь гаданія, но непростительно было бы выпустить это изъ виду, даже хотя бы только какъ гаданіе. Въ самомъ дѣлѣ, неужели ужъ и намъ желать продолженія владычества турокъ и здоровья „больному человѣку“? Неужели и намъ дойти до того? Неужели не ясно, что умри этотъ больной человѣкъ, а, главное, отстранись Россія хоть на половину отъ окончательнаго и первенствующаго вліянія на судьбы Востока, сдѣлай она эту уступку Европѣ, и — болѣе чѣмъ вѣроятно, что на Балканскомъ полуостровѣ пошатнется церковное единеніе столькихъ вѣковъ, а, можетъ-быть, и еще далѣе на Востокѣ. Даже такъ можно сказать: будутъ эти распри или нѣтъ, но умри больной человѣкъ, то весьма вѣроятно, что, можетъ-быть, дѣло не обойдется, во всякомъ случаѣ, безъ великаго церковнаго собора, для уложенія дѣлъ вновь возрождающейся Церкви. Почему бы это не предвидѣть заранѣе? Въ эти четыре вѣка гоненій и гнета предстоятели Восточной Церкви всегда слушались совѣтовъ Россіи; но освободись они завтра отъ турецкаго гнета и окажи имъ къ тому же покровительство Европа, — они тотчасъ же заявятъ себя въ другихъ отношеніяхъ къ Россіи. Предстоятели Восточной Церкви, то-есть главное греки, чуть лишь Россія взяла бы сторону славянъ, тотчасъ же, можетъ-быть, пожелали бы ей заявить, что въ ней и въ совѣтахъ ея они болѣе совсѣмъ не нуждаются. Именно потому поспѣшатъ заявить, что четыре вѣка смотрѣли на нее сложа въ мольбѣ руки. А положеніе Россіи будетъ почти всѣхъ труднѣе. Тѣ же болгаре тотчасъ же закричатъ, что въ Константинополѣ воцарился новый восточный папа и — кто знаетъ, можетъ-быть, правы будутъ. Международный Константинополь дѣйствительно можетъ послужить, хоть на время, подножіемъ новаго папы. Тогда Россіи стать за грековъ будетъ значить потерять славянъ, а стать за славянъ, въ этой будущей и столь вѣроятной между ними распрѣ, значить нажить и себѣ, можетъ-быть, пренепріятныя и пресерьезныя церковныя хлопоты. Ясно, что все это можетъ быть избѣгнуто лишь заблаговременно стойкостью Россіи въ восточномъ вопросѣ и неуклоннымъ слѣдованіемъ все тѣмъ же великимъ преданіямъ нашей древней вѣковой русской политики. Никакой Европѣ не должны мы уступать ничего въ этомъ дѣлѣ ни для какихъ соображеній, потому что дѣло это наша жизнь и смерть.

Константинополь долженъ быть нашъ, рано ли, поздно ли, хотя бы именно во избѣжаніе тяжелыхъ и неприятныхъ церковныхъ смуть, которыя столь легко могутъ возродиться между молодыми и не жившими народами Востока и которымъ примѣръ уже былъ въ спорѣ болгаръ и вселенскаго патріарха, весьма плохо окончившемся. Разъ мы завладѣемъ Константинополемъ и ничего этого не можетъ произойти. Народы Запада, столь ревниво слѣдящіе за каждымъ шагомъ Россіи, еще не знаютъ и не подозрѣваютъ въ настоящую минуту всѣхъ этихъ новыхъ, еще мечтательныхъ, но слишкомъ возможныхъ будущихъ комбинацій. Если бъ и узнали ихъ теперь, то не поняли бы ихъ и не придали бы имъ особенной важности. За то слишкомъ поймутъ и придадутъ важности потомъ, когда будетъ уже поздно. Русскій народъ, понимающій восточный вопросъ не иначе какъ въ освобожденіи всего православнаго христіанства и въ великомъ будущемъ единеніи Церкви, если увидитъ, напротивъ, новыя смуты и новый разладъ, то будетъ слишкомъ потрясенъ и, можетъ быть, глубоко отзовется и на немъ, и на всемъ бытѣ его всякій новый исходъ дѣла, особенно, если оно въ концѣ концовъ получитъ характеръ церковный по преимуществу. Вотъ по этому одному мы ни за что и никакъ не можемъ оставлять, или ослаблять степень нашего вѣкового участія въ этомъ великомъ вопросѣ. Не одинъ только великолѣпный портъ, не одна только дорога въ моря и океаны связываютъ Россію столь тѣсно съ рѣшеніемъ судьбы рокового вопроса, и даже не объединеніе и возрожденіе славянъ... Задача наша глубже, безмѣрно глубже. Мы, Россія, дѣйствительно необходимы и неминуютъ и для всего восточнаго христіанства, и для всей судьбы будущаго православія на землѣ, для единенія его. Такъ всегда понимали это нашъ народъ и государи его... Однимъ словомъ, этотъ страшный восточный вопросъ—это чуть не вся судьба наша въ будущемъ. Въ немъ заключаются какъ бы всѣ наши задачи и, главное, единственный выходъ нашъ въ полноту исторіи. Въ немъ и окончательное столкновеніе наше съ Европой, и окончательное единеніе съ нею, но уже на новыхъ, могучихъ, плодотворныхъ началахъ. О, гдѣ понять теперь Европѣ всю ту роковую жизненную важность для насъ самихъ въ рѣшеніи этого вопроса! Однимъ словомъ, тѣмъ бы ни кончились теперешнія, столь необходимыя, можетъ быть, дипломатическія соглашенія и переговоры въ Европѣ, но

рано ли, поздно ли, а *Константинополь долженъ быть нами*, и хотя бы лишь въ будущемъ только столѣтїи! Это намъ русскимъ надо всегда имѣть въ виду, всѣмъ неуклонно. Вотъ что мнѣ хотѣлось заявить, особенно въ настоящій европейскій моментъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

I.

„Еврейскій вопросъ“.

О, не думайте, что я дѣйствительно затѣваю поднять „еврейскій вопросъ“! Я написалъ это заглавіе въ шутку. Поднять такой величины вопросъ, какъ положеніе еврея въ Россіи, и о положеніи Россіи, имѣющей въ числѣ сыновъ своихъ три милліона евреевъ—я не въ силахъ. Вопросъ этотъ не въ моихъ размѣрахъ. Но нѣкоторое сужденіе мое я все же могу имѣть, и вотъ выходитъ, что сужденіемъ моимъ нѣкоторые изъ евреевъ стали вдругъ интересоваться. Съ нѣкотораго времени я сталъ получать отъ нихъ письма, и они серьезно и съ горечью упрекаютъ меня за то, что я на нихъ нападаю, „что я ненавижу жида“, ненавижу не за пороки его, „не какъ эксплуататора“, а именно, какъ племя, т. е. въ родѣ того, что: „Иуда, дескать, Христа продалъ“. Пишутъ это „образованные“ евреи, т. е. изъ такихъ, которые (я замѣтилъ это, но отнюдь не обобщаю мою замѣтку, оговариваюсь заранѣе), — которые всегда какъ бы постараются дать вамъ знать, что они, при своемъ образованіи, давно уже не раздѣляютъ „предразсудковъ“ своей націи, своихъ религиозныхъ обрядовъ не исполняютъ, какъ прочіе мелкіе евреи, считаютъ это ниже своего просвѣщенія, да и въ Бога, дескать, не вѣруемъ. Замѣчу въ скобкахъ и встать, что всѣмъ этимъ господамъ „изъ высшихъ евреевъ“, которые такъ стоятъ за свою націю, слишкомъ даже грѣшно забывать своего сорокавѣковаго Іегову и отступаться отъ него. И это далеко не изъ одного только чувства національности грѣшно, а изъ другихъ, весьма высокаго размѣра причинъ. Да и странное дѣло: еврей безъ Бога какъ-то немислимъ; еврея безъ Бога и представить нельзя. Но тема эта изъ обширныхъ, мы ее пока оставимъ. Всего удивительнѣе мнѣ то: какъ это и откуда я попалъ въ ненавистники еврея, какъ народа, какъ націи? Какъ эксплуататора и за нѣкоторые пороки мнѣ осуждать еврея отча-

сти дозволяется самими же этими господами, но—но лишь на словах: на дѣлѣ трудно найти что-нибудь раздражительнѣе и щепетильнѣе образованнаго еврея, и обидчивѣе его, какъ еврея? Но опять-таки: когда и чѣмъ завилъ я ненависть къ еврею, какъ къ народу? Такъ какъ въ сердцѣ моемъ этой ненависти не было никогда, и тѣ изъ евреевъ, которые знакомы со мной и были въ сношеніяхъ со мной, это знаютъ, то я, съ самаго начала и прежде всякаго слова, съ себя это обвиненіе снимаю, разъ навсегда, съ тѣмъ, чтобъ ужъ потомъ объ этомъ и не упоминать особенно. Ужъ не потому ли обвиняютъ меня въ „ненависти“, что я называю иногда еврея „жидомъ“? Но, во-первыхъ, я не думалъ, чтобъ это было такъ обидно, а во-вторыхъ, слово „жидъ“, сколько помню, я упоминалъ всегда для обозначенія известной идеи: „жидъ, жидовщина, жидовское царство“ и проч. Тутъ обозначалось известное понятіе, направленіе, характеристика вѣка. Можно спорить объ этой идеѣ, не соглашаться съ нею, но не обижаться словомъ. Выпишу одно мѣсто изъ письма одного, весьма образованнаго еврея, написавшаго мнѣ длинное и прекрасное, во многихъ отношеніяхъ, письмо, весьма меня заинтересовавшее. Это одно изъ самыхъ характерныхъ обвиненій меня въ ненависти къ еврею какъ къ народу. Само собою разумѣется, что имя г. NN, мнѣ писавшаго это письмо, останется подъ самымъ строгимъ анонимомъ.

... но я намѣренъ затронуть одинъ предметъ, который я рѣшительно не могу себѣ объяснить. Это ваша ненависть къ «жиду», которая проявляется почти въ каждомъ выпускѣ вашего «Дневника».

Я бы хотѣлъ знать, почему вы возстаете противъ жида, а не противъ эксплуататора вообще, я не меньше вашего терпѣть не могу предразсудковъ моей націи,—я не мало отъ нихъ страдалъ,—но никогда не соглашусь, что въ крови этой націи живетъ безсовѣстная эксплуатация.

Неужели *вы* не можете подняться до основнаго закона всякой социальной жизни, что *есть* безъ исключенія граждане одного государства, если они только несутъ на себѣ всѣ повинности, необходимыя для существованія государства, должны пользоваться *всѣми* правами и выгодами его существованія и что для отступниковъ отъ закона, для вредныхъ членовъ общества должна существовать одна и та же мѣра взысканія, общая для всѣхъ?.. Почему же всѣ евреи должны быть ограничены въ правахъ и почему для нихъ должны существовать спеціальныя карательныя законы? Чѣмъ эксплуатация чужестранцевъ (евреи вѣдь все-таки русскіе подданные): нѣмцевъ, англичанъ, грековъ, которыхъ въ Россіи такая пропасть, лучше жидовской эксплуатации? Чѣмъ русскій православный кулакъ, міроѣдъ, цѣловальникъ, кровопійца, которыхъ такъ много расплодилось во *всей* Россіи,

лучше таковыхъ изъ жидовъ, которые все-таки дѣйствуютъ въ ограниченномъ кругу. Чѣмъ такой-то лучше такого-то.

(Здѣсь почтенный корреспондентъ сопоставляетъ нѣсколько извѣстныхъ русскихъ кулаковъ съ еврейскими въ томъ смыслѣ, что русскіе не уступать. Но что же это доказываетъ? Вѣдь мы нашими кулаками не хвалимся, не выставляемъ ихъ какъ примѣры подражанія и, напротивъ, въ высшей степени соглашаемся, что тѣ и другіе не хороши).

Такихъ вопросовъ я бы могъ вамъ задавать тысячами.

Между тѣмъ вы, говоря о «жидѣ», включаете въ это понятіе всю страшно нищую массу трехмилліоннаго еврейскаго населенія въ Россіи, изъ которыхъ два милліона 900,000, по крайней мѣрѣ, ведутъ отчаянную борьбу за жалкое существованіе, нравственно чище не только другихъ народностей, но и обоготворяемаго вами русскаго народа. Въ это названіе вы заключаете и ту почтенную цифру евреевъ, получившихъ высшее образованіе, отличающихся на всѣхъ поприщахъ государственной жизни, берите хоть

(Тутъ опять нѣсколько именъ, которыхъ я, кромѣ Гольдштейнова, считаю не въ правѣ напечатать, потому что нѣкоторымъ изъ нихъ, можетъ-быть, неприятно будетъ прочесть, что они происходятъ изъ евреевъ).

Гольдштейна (геройски умершаго въ Сербіи за славянскую идею) и работающихъ на пользу общества и человѣчества? Ваша ненависть къ «жиду» простирается даже на Дизраэли, который, вѣроятно, самъ не знаетъ, что его предки были когда-то испанскими евреями, и который ужъ, конечно, не руководитъ англійской консервативной политикой съ точки зрѣнія «жида» (?)..

Нѣтъ, къ сожалѣнію, вы не знаете ни еврейскаго народа, ни его жизни, ни его духа, ни его сорокавѣковой исторіи, наконецъ. Къ сожалѣнію потому, что вы, во всякомъ случаѣ, человѣкъ искренній, абсолютно честный, а наносите безсознательно вредъ громадной массѣ нищенствующаго народа, — сильныя же «жиды», принимая сильныхъ міра сего въ своихъ салонахъ, конечно, не боятся ни печати, ни даже безсильнаго гнѣва эксплуатируемыхъ. Но довольно объ этомъ предметѣ! Врядъ ли я васъ убѣжду въ моемъ взглядѣ, — но мнѣ крайне желательно было бы, чтобы вы убѣдили меня.

Вотъ этотъ отрывокъ. Прежде, чѣмъ отвѣчу что-нибудь (ибо не хочу нести на себѣ такое тяжелое обвиненіе) — обращу вниманіе на ярость нападенія и на степень обидчивости. Положительно у меня, во весь годъ изданія „Дневника“, не было такихъ размѣровъ статьи противъ „жида“, которая бы могла вызвать такой силы нападеніе. Во-вторыхъ, нельзя не замѣтить, что почтенный корреспондентъ, коснувшись въ этихъ немногихъ строкахъ своихъ и до русскаго народа, не утерпѣлъ и не выдержалъ, и отнесся къ бѣдному русскому народу нѣсколько слишкомъ ужъ свысока. Правда, въ Россіи и отъ рус-

сихъ-то не осталось ни одного не проплеванного мѣста (словечко Щедрина), а еврею тѣмъ „простительнѣе“. Но во всякомъ случаѣ ожесточеніе это свидѣтельствуеъ ярко о томъ, какъ сами евреи смотрятъ на русскихъ. Писалъ это дѣйствительно человѣкъ образованный и талантливый (не думаю только, чтобъ безъ предрасудковъ); чего же ждать, послѣ того, отъ необразованнаго еврея, которыхъ такъ много, какихъ чувствъ къ русскому? Я не въ обвиненіе это говорю; все это естественно: я только хочу указать, что въ мотивахъ нашего разъединенія съ евреемъ виновенъ, можетъ-быть, и не одинъ русскій народъ, и что скопились эти мотивы, конечно, съ обѣихъ сторонъ, и еще неизвѣстно, на какой сторонѣ въ большей степени. Отмѣтивъ это, выскажу нѣсколько словъ въ мое оправданіе и вообще какъ я смотрю на это дѣло. И хоть вопросъ этотъ, повторяю, мнѣ и не по силамъ, но чтѣ же нибудь вѣдь и я могу выразить.

II.

Pro и contra.

Положимъ, очень трудно узнать сорокалѣтнюю исторію такого народа, какъ евреи; но на первый случай я ужъ то одно знаю, что навѣрно нѣтъ въ цѣломъ мірѣ другого народа, который бы столько жаловался на судьбу свою, поминутно, за каждымъ шагомъ и словомъ своимъ, на свое приниженіе, на свое страданіе, на свое мученичество. Подумаешь, не они царятъ въ Европѣ, не они управляютъ тамъ биржами хотя бы только, а, стало быть, политикой, внутренними дѣлами, нравственностью государствъ. Пусть благородный Гольдштейнъ умираетъ за славянскую идею. Но все-таки, не будь такъ сильна еврейская идея въ мірѣ, и, можетъ быть, тотъ же самый „славянской“ (прошлогодній) вопросъ давно бы уже рѣшенъ былъ въ пользу славянъ, а не турокъ. Я готовъ повѣрить, что лордъ Биконсфильдъ самъ, можетъ быть, забылъ о своемъ происхожденіи, когда-то, отъ испанскихъ жидовъ (навѣрно, однако, не забылъ); но что онъ „руководилъ англійской консервативной политикой“ за послѣдній годъ *отчасти* съ точки зрѣнія жида, въ этомъ, по-моему, нельзя сомнѣваться. „Отчасти-то“ ужъ нельзя не допустить.

Но пусть все это, съ моей стороны, голословіе, легкій тонъ и легкія слова. Уступаю. Но все-таки не могу вполнѣ

повѣрить крикамъ евреевъ, что ужъ такъ они забиты, замучены и принижены. На мой взглядъ, русскій мужикъ, да и вообще русскій простолюдинъ, несутъ тягостей чуть ли не больше еврея. Мой корреспондентъ пишетъ мнѣ въ другомъ уже письмѣ:

„Прежде всего необходимо предоставить имъ (евреямъ) всѣ гражданскія права (подумайте, что они лишены до сихъ поръ самаго коренного права: свободнаго выбора мѣстожителства, изъ чего вытекаетъ множество страшныхъ стѣсненій для всей еврейской массы), какъ и всѣмъ другимъ чужимъ народностямъ въ Россіи, а потомъ уже требовать отъ нихъ исполненія своихъ обязанностей къ государству и къ коренному населенію“.

Но подумайте и вы, г. корреспондентъ, который сами пишете мнѣ, въ томъ же письмѣ, на другой страницѣ, что вы „не въ примѣръ больше любите и жалѣете трудящуюся массу русскаго народа, чѣмъ еврейскую“—(что уже слишкомъ для еврея сильно сказано)—подумайте только о томъ, что когда еврей „терпѣлъ въ свободномъ выборѣ мѣстожителства, тогда двадцать три милліона „русской трудящейся массы“ терпѣли отъ крѣпостнаго состоянія, что ужъ, конечно, было потяжелѣе „выбора мѣстожителства“. И что же, пожалѣли ихъ тогда евреи? Не думаю: въ Западной окраинѣ Россіи и на Югѣ вамъ на это отвѣтить обстоятельно. Нѣтъ, они и тогда точно такъ же кричали о правахъ, которыхъ не имѣлъ самъ русскій народъ, кричали и жалобились, что они забиты и мученики, и что когда имъ дадутъ больше правъ, „тогда и спрашивайте съ насъ исполненія обязанностей къ государству и коренному населенію“. Но вотъ пришелъ Освободитель и освободилъ коренной народъ, и что же, кто первый бросился на него, какъ на жертву, кто воспользовался его пороками преимущественно, кто оплелъ его вѣковѣчнымъ золотымъ своимъ промысломъ, кто тотчасъ же замѣстилъ, гдѣ только могъ и поспѣлъ, упраздненныхъ помѣщиковъ, съ тою разницею, что помѣщики хоть и сильно эксплуатировали людей, но все же старались не разорять своихъ крестьянъ, пожалуй, для себя же, чтобъ не истощить рабочей силы, а еврею до истощенія русской силы дѣла нѣтъ, взялъ свое и ушелъ. Я знаю, что евреи, прочтя это, тотчасъ же закричатъ, что это не правда, что это клевета, что я лгу, что я потому вѣрю всѣмъ этимъ глупостямъ, что „не знаю сорокалѣтковой исторіи“ этихъ

чистыхъ ангеловъ, которые несравненно „нравственно чище не только другихъ народностей, но и обоготворяемаго мною русскаго народа“ (по словамъ корреспондента, см. выше). Но пусть, пусть они нравственно чище всѣхъ народовъ въ мірѣ, а русскаго ужъ разумѣтся, а между тѣмъ я только что прочелъ въ мартовской книжкѣ *Вѣстника Европы* извѣстіе о томъ, что евреи въ Америкѣ, въ Южныхъ Штатахъ, уже набросились всей массой на многомилліонную массу освобожденныхъ негровъ и уже прибрали ее къ рукамъ по-своему, извѣстнымъ и вѣковѣчнымъ своимъ „золотымъ промысломъ“ и пользуясь неопытностью и пороками эксплуатируемаго племени. Представьте же себѣ, когда я прочелъ это, мнѣ тотчасъ же вспомнилось, что мнѣ еще пять лѣтъ тому приходило это самое на умъ, именно то, что вотъ вѣдь негры отъ рабовладѣльцевъ теперь освобождены, а вѣдь имъ не уцѣлѣть, потому что на эту свѣжую жертвочку какъ разъ набросятся евреи, которыхъ столь много на свѣтѣ. Подумалъ я это и, увѣряю васъ, нѣсколько разъ потомъ въ этотъ срокъ мнѣ впадало на мысль: „да что же тамъ ничего объ евреяхъ не слышно, что въ газетахъ не пишутъ, вѣдь эти негры евреямъ кладъ, неужели пропустятъ?“ И вотъ дождался, написали въ газетахъ, прочелъ. А дней десять тому назадъ прочелъ въ *Новомъ Времени* (№ 371) корреспонденцію изъ Ковно, прехарактернѣйшую: „дескать, до того набросились тамъ евреи на мѣстное литовское населеніе, что чуть не сгубили всѣхъ водкой, и только ксендзы спасли бѣдныхъ опившихся, угрожая имъ муками ада и устраивая между ними общества трезвости.“ Просвѣщенный корреспондентъ, правда, сильно краснѣетъ за свое населеніе, до сихъ поръ вѣрующее въ ксендзовъ и въ муки ада, но онъ сообщаетъ при этомъ, что поднялись вслѣдъ за ксендзами и просвѣщенные мѣстные экономисты, начали устраивать сельскіе банки, именно чтобы спасти народъ отъ процентщика-еврея, и сельскіе рынки, чтобы можно было „бѣдной трудящейся массѣ“ получать предметы первой потребности по настоящей цѣнѣ, а не по той, которую назначаетъ еврей. Ну, вотъ я это все прочелъ и знаю, что мнѣ въ одинъ мигъ закричатъ, что все это ничего не доказываетъ, что это отъ того, что евреи сами угнетены, сами бѣдны, и что все это лишь „борьба за существованіе“, что только глупецъ разобрать этого не можетъ, и не будь евреи такъ сами бѣдны, а,

напротивъ, разбогатѣй они, то мигомъ показали бы себя съ самой гуманной стороны, такъ что міръ бы весь удивили. Но вѣдь, конечно, всѣ эти негры и литовцы еще бѣднѣе евреевъ, выжимающихъ изъ нихъ соки, а вѣдь тѣ (прочтите-ка корреспонденцію) гнушаются такой торговлей, на которую такъ падаютъ еврей; во-вторыхъ, не трудно быть гуманнымъ и нравственнымъ, (когда самому жирно и весело, а чуть „борьба за существованіе“, такъ и не подходитъ ко мнѣ близко. Не совсѣмъ ужъ это, по моему, такая ангельская черта. А въ-третьихъ, вѣдь и я, конечно, не выставляю эти два извѣстія изъ *Вѣстника Европы* и *Новаго Времени* за такіе ужъ капитальные и всерѣшающіе факты. Если начать писать исторію этого всемірнаго племени, то можно тотчасъ же найти сто тысячъ такихъ же и еще крупнѣйшихъ фактовъ; такъ что одинъ или два факта лишнихъ ничего особеннаго не прибавятъ, но вѣдь что при этомъ любопытно: любопытно то, что чуть лишь вамъ—въ спорѣ ли, или просто въ минуту собственнаго раздумья, — чуть лишь вамъ понадобится справка о евреѣ и дѣлахъ его,—то не ходите въ бібліотеки для чтенія, не ройтесь въ старыхъ книгахъ или въ собственныхъ старыхъ отмыткахъ, не трудитесь, не ищите, не напрягайтесь, а не сходя съ мѣста, не подымаясь даже со стула, протяните лишь руку къ какой хотите первой, лежащей подлѣ васъ газетѣ, и поищите на второй или на третьей страницѣ: непременно найдете что-нибудь о евреяхъ и непременно то, что васъ интересуеть, непременно самое характернѣйшее и непременно одно и то же—т. е. все одни и тѣ же подвиги? Такъ вѣдь это, согласитесь сами, что-нибудь да значить, что-нибудь да указываетъ, что-нибудь открываетъ же вамъ, хотя бы вы были круглый невѣжда въ сорокалѣтковой исторіи этого племени. Разумѣется, мнѣ отвѣтятъ, что всѣ обуреваемы ненавистью, а потому всѣ лгутъ. Конечно, очень можетъ случиться, что всѣ до одинаго лгутъ, но въ такомъ случаѣ рождается тотчасъ другой вопросъ: если всѣ до одинаго лгутъ и обуреваемы такою ненавистью, то съ чего-нибудь да взялась же эта ненависть, вѣдь что-нибудь значить же эта всеобщая ненависть, „вѣдь что-нибудь значить же слово *всѣ!*“ какъ восклицалъ нѣкогда Бѣлинскій.

„Свободный выборъ мѣстожителства!“ Но развѣ русскій „коренной“ человѣкъ ужъ такъ совершенно свобо-

день въ выборѣ мѣстожителства? Развѣ не продолжаютъ и до сихъ поръ еще прежнія, еще отъ крѣпостныхъ временъ оставшіяся и нежелаемая стѣсненія въ полной свободѣ выбора мѣстожителства и для русскаго простолюдина, на которыя давно обращаетъ вниманіе правительство? А что до евреевъ, то всѣмъ видно, что права ихъ въ выборѣ мѣстожителства весьма и весьма расширились въ послѣднія двадцать лѣтъ. По крайней мѣрѣ, они явились по Россіи въ такихъ мѣстахъ, гдѣ прежде ихъ не видывали. Но евреи все жалуются на ненависть и стѣсненія. Пусть я не твердѣ въ познаніи еврейскаго быта, но одно-то я уже знаю навѣрно и буду спорить со всѣми, именно: что нѣтъ въ нашемъ простонародьи предвзятой, апріорной, тупой, религіозной какой-нибудь ненависти къ еврею, въ родѣ: „Иуда, дескать, Христа продалъ“. Если и услышишь это отъ ребяташекъ или отъ пьяныхъ, то весь народъ нашъ смотритъ на еврея, повторяю это, безъ всякой предвзятой ненависти. Я пятьдесятъ лѣтъ видѣлъ это. Мнѣ даже случалось жить съ народомъ, въ массѣ народа, въ однихъ казармахъ, спать на однихъ нарахъ. Тамъ было нѣсколько евреевъ — и никто не презиралъ ихъ, никто не исключалъ ихъ, не гналъ ихъ. Когда они молились (а евреи молятся съ крикомъ, надѣвая особое платье), то никто не находилъ этого страннымъ, не мѣшалъ имъ и не смѣялся надъ ними, чего, впрочемъ, именно надо бы было ждать отъ такого грубаго, по нашимъ понятіямъ, народа, какъ русскіе; напротивъ, смотря на нихъ говорили: „это у нихъ такая вѣра, это они такъ молятся“ и проходили мимо съ спокойствіемъ и почти одобреніемъ. И что же, вотъ эти-то евреи чуждались во многомъ русскіхъ, не хотѣли ѣсть съ ними, смотрѣли чуть не свысока (и это гдѣ же?—въ острогѣ!) и вообще выражали гадливость и брезгливость къ русскому, къ „коренному“ народу. То же самое и въ солдатскихъ казармахъ, и вездѣ по всей Россіи: навѣдайтесь, спросите, обижаютъ ли въ казармахъ еврея какъ еврея, какъ *жиды*, за вѣру, за обычай? Нигдѣ не обижаютъ, и такъ во всемъ народѣ. Напротивъ, увѣряю васъ, что и въ казармахъ, и вездѣ, русскій простолюдинъ слишкомъ видитъ и понимаетъ (да и не скрываютъ того сами евреи), что еврей съ нимъ ѣсть не захочетъ, брезгаетъ имъ, сторонится и ограждается отъ него сколько можетъ, и что

же,—вмѣсто того, чтобъ обижаться на это, русскій простолюдинъ спокойно и ясно говоритъ: „это у него вѣра такая, это онъ по вѣрѣ своей не ѣсть и сторонится“ (т.-е. не потому, что золь) и, сознавъ эту вышнюю причину, отъ всей души извиняетъ еврея. А между тѣмъ, мнѣ иногда входила въ голову фантазія: ну, что, если бы это не евреевъ было въ Россіи три милліона, а русскихъ; а евреевъ было бы 80 милліоновъ—ну, во что обратились бы у нихъ русскіе и какъ бы они ихъ третировали? Дали бы они имъ сравняться съ собою въ правахъ? Дали бы имъ молиться среди нихъ свободно? Не обратили ли бы прямо въ рабовъ? Хуже того: не содрали ли бы кожу совсѣмъ? Не избили бы до тла, до окончательнаго истребленія, какъ дѣлывали они съ чужими народностями въ старину, въ древнюю свою исторію? Нѣтъ-съ, увѣряю васъ, что въ русскомъ народѣ нѣтъ предвзятой ненависти къ еврею, а есть, можетъ быть, несимпатія къ нему, особенно по мѣстамъ, и даже, можетъ быть, очень сильная. О, безъ этого нельзя, это есть, но происходитъ это вовсе не отъ того, что онъ еврей, не изъ племенной, не изъ религіозной какой-нибудь ненависти, а происходитъ это отъ иныхъ причинъ, въ которыхъ виноватъ уже не коренной народъ, а самъ еврей.

III.

Status in statu. Сорокъ вѣковъ бытія.

Ненависть, да еще отъ предразсудковъ—вотъ въ чемъ обвиняютъ еврей коренное населеніе. Но если ужъ зашла рѣчь о предразсудкахъ, то какъ вы думаете: еврей менѣе питаетъ предразсудковъ къ русскому, чѣмъ русскій къ еврею? Не побольше ли? Вотъ я вамъ представилъ примѣры того, какъ относится русское простолюдые къ еврею; а у меня передъ глазами письма евреевъ, да не изъ простонародья, а образованныхъ евреевъ, и—сколько ненависти въ этихъ письмахъ къ „коренному населенію“! А, главное,—пишутъ, да и не примѣчаютъ этого сами.

Видите ли, чтобъ существовать сорокъ вѣковъ на землѣ, т.-е. во весь почти историческій періодъ человѣчества, да еще въ такомъ плотномъ и нерушимомъ единеніи; чтобы терять столько разъ свою территорію, свою политическую независимость, законы, почти даже вѣру,—терять и всякій разъ опять соединяться, опять возрождаться *въ прежней идее*, хоть и въ другомъ видѣ, опять создавать себѣ

и законы, и почти вѣру—нѣтъ, такой живучій народъ, такой необыкновенно сильный и энергическій народъ, такой непримѣрный въ мѣрѣ народъ, не могъ существовать безъ status in statu, который онъ сохранялъ всегда и вездѣ во время самыхъ страшныхъ, тысячелѣтнихъ разсѣяній и гоненій своихъ. Говоря про status in statu, я вовсе не обвиненіе какое-нибудь хочу возвести. Но въ чемъ, однако, заключается этотъ status in statu, въ чемъ вѣковѣчно-неизмѣнная идея его, и въ чемъ суть этой идеи?

Излагать это было бы долго, да и невозможно въ коротенькой статьѣ, да и невозможно еще и по той даже причинѣ, что не настали еще *всѣ времена и сроки*, несмотря на протекшіе сорокъ вѣковъ, и окончательное слово человечества объ этомъ великомъ племени еще впереди. Но не вникая въ суть и въ глубину предмета, можно изобразить хотя нѣкоторые признаки этого status in statu, по крайней мѣрѣ, хоть наружно. Признаки эти: отчужденность и отчужденность на степени религіознаго догмата, неслиянность, вѣра въ то, что существуетъ въ мѣрѣ лишь одна народная личность—еврей, а другія хоть есть, но все равно надо считать, что какъ бы ихъ и не существовало. „Выйди изъ народовъ и составь свою особь, и знай, что съ сихъ поръ ты *единъ у Бога*, остальныхъ истреби, или въ рабовъ обрати, или эксплуатируй. Вѣрь въ побѣду надъ всѣмъ міромъ, вѣрь, что все покорится тебѣ. Строго всѣмъ гнушайся, и ни съ кѣмъ въ быту своемъ не сообщайся. И даже когда лишишься земли своей, политической личности своей, даже когда разсѣянъ будешь по лицу всей земли, между всѣми народами—все равно,—вѣрь всему тому, что тебѣ обѣщано, разъ навсегда, вѣрь тому, что все сбудется, а пока живи, гнушайся, единись и эксплуатируй, и—ожидай, ожидай“... Вотъ суть идеи этого status in statu, а затѣмъ, конечно, есть внутренніе, а, можетъ быть, и таинственные законы, ограждающіе эту идею.

Вы говорите, господа образованные евреи и оппоненты, что ужъ это-то все вздоръ и что „если и есть status in statu (т.-е. былъ, а теперь-де остались самые слабые слѣды), то единственно лишь гоненія привели къ нему, гоненія породили его, религіозныя, съ среднихъ вѣковъ и раньше, и явился этотъ status in statu единственно лишь изъ чувства самосохраненія. Если же и продолжается, особенно въ Россіи, то потому, что еврей еще не

сравненъ въ правахъ съ кореннымъ населеніемъ“. Но вотъ что мнѣ кажется: если бѣ онъ былъ и сравненъ въ правахъ, то ни за что не отказался бы отъ своего status in statu. Мало того: приписывать status in statu однимъ лишь гоненіямъ и чувству самосохраненія—недостаточно. Да и не хватило бы упорства въ самосохраненіи на сорокъ вѣковъ, надоѣло бы и сохранять себя такой срокъ. И сильнѣйшія цивилизаціи въ мірѣ не достигали и до половины сорока вѣковъ и теряли политическую силу и племенной обликъ. Тутъ не одно самосохраненіе стоитъ главной причиной, а нѣкая идея, движущая и влекущая, нѣчто такое, міровое и глубокое, о чемъ, можетъ быть, человѣчество еще не въ силахъ произнести своего послѣдняго слова, какъ сказалъ я выше. Что религіозный-то характеръ тутъ есть по преимуществу—это-то уже несомнѣнно. Что свой Промыслитель, подъ именемъ прежняго первоначальнаго Іеговы, съ своимъ идеаломъ и съ своимъ обѣтомъ продолжаетъ вести свой народъ къ цѣли твердой—это-то уже ясно. Да и нельзя, повторяю я, даже и представить себѣ еврея безъ Бога, мало того, не вѣрю я даже и въ образованныхъ евреевъ безбожниковъ: всѣ они одной сути и еще Богъ знаетъ чего ждетъ міръ отъ евреевъ образованныхъ! Еще въ дѣтствѣ моемъ я читалъ и слышалъ про евреевъ легенду о томъ, что они-де и теперь неуклонно ждутъ Мессію, всѣ, какъ самый низшій жидъ, такъ и самый высшій и ученый изъ нихъ, философъ и кабалистъ-раввинъ, что они вѣрятъ всѣ, что Мессія соберетъ ихъ опять въ Іерусалимѣ и низложитъ всѣ народы мечемъ своимъ къ ихъ подножію; что потому-то-де евреи, по крайней мѣрѣ, въ огромномъ большинствѣ своемъ, предпочитаютъ лишь одну профессію,—торгъ золотомъ, и много что обработуеу его, и это все будто бы для того, что когда явится Мессія, то чтобъ не имѣть новаго отечества, не быть приврѣженнымъ къ землѣ иноземцевъ, обладая ею, а имѣть все съ собою лишь въ золотѣ и драгоценностяхъ, чтобъ удобнѣе ихъ унести когда

Загорить, заблеститъ лучъ денницы,
И кимваль, и тимпанъ, и цѣвницы,
И сребро, и добро, и святню,
Понесемъ въ старый Домъ, въ Палестину.

Все это, повторяю, слышалъ я какъ легенду, но я вѣрю, что суть дѣла существуетъ непременно, особенно

въ цѣлой массѣ евреевъ, въ видѣ инстинктивно-неудержимаго влеченія. Но чтобъ сохранялась такая суть дѣла, ужь, конечно, необходимо, чтобъ сохранялся самый строгій status in statu. Онъ и сохраняется. Стало быть, не одно лишь гоненіе было и есть ему причиною, а другая идея...

Если же существуетъ вправду такой особый, внутренній, строгій строй у евреевъ, связующій ихъ въ нѣчто цѣльное и особенное, то вѣдь почти еще можно задуматься надъ вопросомъ о совершенномъ сравненіи во всемъ ихъ правѣ съ правами коренного населенія. Само собою, все, что требуетъ гуманность и справедливость, все, что требуетъ человѣчность и христіанскій законъ—все это должно быть сдѣлано для евреевъ. Но если они, во всеоружіи своего строя и своей особенности, своего племенного и религіознаго отъединенія, во всеоружіи своихъ правилъ и принциповъ, совершенно противоположныхъ той идеѣ, слѣдующей отъ которой, доселѣ, по крайней мѣрѣ, развивался весь европейскій міръ, потребуютъ совершеннаго уравненія *всевозможныхъ* правъ съ кореннымъ населеніемъ, то — не получатъ ли они уже тогда нѣчто большее, нѣчто лишнее, нѣчто верховное противъ самаго коренного даже населенія? Тутъ, конечно, укажутъ на другихъ инородцевъ: „что вотъ, дескать, сравнены или почти сравнены въ правахъ, а евреи имѣютъ правъ меньше всѣхъ инородцевъ, и это-де потому, что боятся насъ, евреевъ, что мы-де будто бы вреднѣе всѣхъ инородцевъ. А между тѣмъ, чѣмъ вреденъ еврей? Если и есть дурныя качества въ еврейскомъ народѣ, то единственно потому, что самъ русскій народъ таковымъ способствуетъ, по русскому собственному невѣжеству своему, по необразованности своей, по неспособности своей къ самостоятельности, по малому экономическому развитію своему. Русскій-де народъ самъ требуетъ посредника, руководителя, экономическаго опекуна въ дѣлахъ, кредитора, самъ зоветъ его, самъ отдается ему. Посмотрите, напротивъ, въ Европѣ: тамъ народы сильные и самостоятельные духомъ, съ сильнымъ національнымъ развитіемъ, съ привычкой давнишней къ труду и съ умѣніемъ труда, и вотъ тамъ не боятся дать всѣ права еврею! Слышно ли что-нибудь во Франціи о вредѣ отъ status in statu тамошнихъ евреевъ?“

Разсужденіе, повидимому, сильное, но, однакоже, прежде

всего тут мерещится одна замѣтка въ скобкахъ, а именно: „Стало-быть, еврейству тамъ и хорошо, гдѣ народъ еще невѣжественъ, или несвободенъ, или мало развитъ экономически—тутъ-то, стало быть, ему и лафа!“ И вмѣсто того, чтобъ, напротивъ, влияніемъ своимъ поднять уровень образованія, усилить знаніе, породить экономическую способность въ коренномъ населеніи, вмѣсто того еврей, гдѣ ни поселялся, тамъ еще пуще унижалъ и развращалъ народъ, тамъ еще больше приникало человѣчество, еще больше падалъ уровень образованія, еще отвратительнѣе распространялась безвыходная, безчеловѣчная бѣдность, а съ нею и отчаяніе. Въ окраинахъ нашихъ спросите коренное населеніе, что двигаетъ евреевъ и что двигало ихъ столько вѣковъ? Получите единогласный отвѣтъ: *безжалостность*; „двигали имъ столько вѣковъ одна лишь къ намъ безжалостность и одна только жажда напиться нашимъ потомъ и кровью“. И дѣйствительно, вся дѣятельность евреевъ въ этихъ нашихъ окраинахъ заключалась лишь въ постановкѣ коренного населенія сколь возможно въ безвыходную отъ себя зависимость, *пользуясь мѣстными законами*. О, тутъ они всегда находили возможность пользоваться *правами и законами*. Они всегда умѣли водить дружбу съ тѣми, отъ которыхъ зависѣлъ народъ и ужъ не имъ бы роптать хоть тутъ-то на *малыя свои права сравнительно съ кореннымъ населеніемъ*. Довольно они ихъ получали у насъ, этихъ правъ, надъ кореннымъ населеніемъ. Что становилось, въ десятилѣтія и столѣтія, съ русскимъ народомъ тамъ, гдѣ поселялись евреи—о томъ свидѣтельствуетъ исторія нашихъ русскихъ окраинъ. И что же? Укажите на какое-нибудь другое племя изъ русскихъ инородцевъ, которое бы, по ужасному влиянію своему, могло бы равняться въ этомъ смыслѣ съ евреями? Не найдете такого; въ этомъ смыслѣ евреи сохраняютъ всю свою оригинальность передъ другими русскими инородцами, а причина тому, конечно, этотъ *status in statu* его, духъ котораго дышитъ именно этой безжалостностью ко всему, что не есть еврей, къ этому неуваженію ко всякому народу и племени и ко всякому человѣческому существу, кто не есть еврей. И что въ томъ за оправданіе, что вотъ на Западѣ Европы не дали одолѣть себя народы, и что, стало быть, русскій народъ самъ виноватъ? Потому что русскій народъ въ окраинахъ Россіи оказался слабѣе европейскихъ народовъ (и един-

ственно вслѣдствіе жестокихъ вѣковыхъ политическихъ своихъ обстоятельствъ), потому только и задавить его окончательно эксплоатаціей, а не помочь ему?

Если же и указываютъ на Европу, на Францію, напримѣръ, то врядь ли и тамъ такъ безвреденъ былъ status in statu. Конечно, христіанство и идея его тамъ пали и падаютъ не по винѣ еврея, а по своей винѣ, тѣмъ не менѣе нельзя не указать и въ Европѣ на сильное торжество еврейства, замѣнившаго многія прежнія идеи своими. О, конечно, человѣкъ всегда и во всѣ времена боготворилъ матеріализмъ и наклоненъ былъ видѣть и понимать свободу лишь въ обезпеченіи себя накопленными изъ всѣхъ силъ и запасенными всѣми средствами деньгами. Но никогда эти стремленія не возводились такъ откровенно и такъ поучительно въ высшій принципъ, какъ въ нашемъ девятнадцатомъ вѣкѣ. „Всякъ за себя и только за себя и всякое общеніе между людьми единственно для себя“, — вотъ нравственный принципъ большинства теперешнихъ людей *), и даже не дурныхъ людей, а, напротивъ, трудящихся; не убивающихъ, не ворующихъ. А безжалостность къ низшимъ массамъ, а паденіе братства, а эксплоатація богатаго бѣднымъ, — о, конечно, все это было и прежде и всегда, но — но не возводилось же на степень высшей правды и науки, но осуждалось же христіанствомъ, а теперь, напротивъ, возводится въ добродѣтель. Стало-быть, не даромъ же все-таки царятъ тамъ повсемѣстно евреи на биржахъ, не даромъ они движутъ капиталами, не даромъ же они владельцы кредита и не даромъ, повторю это, они же владельцы и всей международной политики, и что будетъ дальше — конечно и самимъ евреямъ: близится ихъ царство, полное ихъ царство! Наступаетъ вполне торжество идей, передъ которыми никнутъ чувства человѣколюбія, жажда правды, чувства христіанскія, національныя и даже народной гордости европейскихъ народовъ. Наступаетъ, напротивъ, матеріализмъ, слѣпая, плотоядная жажда *лично* матеріальнаго обезпеченія, жажда личного накопленія денегъ всѣми средствами — вотъ все, что признано за высшую цѣль, за разумное, за свободу, вмѣсто христіанской идеи спасенія лишь посредствомъ тѣснѣй-

*) Основная идея буржуазіи, замѣстившей собою въ концѣ прошлаго столѣтія прежній міровой строй, и ставшая главной идеей всего нынѣшняго столѣтія во всемъ европейскомъ мірѣ.

шаго нравственнаго и братскаго единенія людей. Засмѣются и скажутъ, что это тамъ вовсе не отъ евреевъ. Конечно, не отъ однихъ евреевъ, но если евреи окончательно восторжествовали и процвѣли въ Европѣ именно тогда, когда тамъ восторжествовали эти новыя начала даже до степени возведенія ихъ въ нравственный принципъ, то нельзя не заключить, что и евреи приложили тутъ своего вліянія. Наши оппоненты указываютъ, что евреи, напротивъ, бѣдны, повсемѣстно даже бѣдны, а въ Россіи особенно, что только самая верхушка евреевъ богата, банкиры и цари биржъ, а изъ остальныхъ евреевъ чуть ли не девять десятыхъ ихъ — буквально нищія, мечутся изъ-за куска хлѣба, предлагаютъ куртажъ, ищутъ гдѣ бы урвать копейку на хлѣбъ. Да, это, кажется, правда, но что же это обозначаетъ? Не значить ли это именно, что въ самомъ трудѣ евреевъ (т. е. огромнаго большинства ихъ, по крайней мѣрѣ), въ самой эксплуатаціи ихъ заключается нѣчто неправильное, ненормальное, нѣчто неестественное, несущее само въ себѣ свою кару. Еврей предлагаетъ посредничество, торгуетъ чужимъ трудомъ. Капиталъ есть накопленный трудъ; еврей любитъ торговать чужимъ трудомъ! Но все же это пока ничего не измѣняетъ: зато верхушка евреевъ воцаряется надъ человѣчествомъ все сильнѣе и тверже и стремится дать міру свой обликъ и свою суть. Евреи все кричатъ, что есть же и между ними хорошіе люди. О, Боже! да развѣ въ этомъ дѣло? Да и вовсе мы не о хорошихъ или дурныхъ людяхъ теперь говоримъ. И развѣ между тѣми нѣтъ тоже хорошихъ людей? Развѣ покойный парижскій Джемсъ Ротшильдъ былъ дурной человѣкъ? Мы говоримъ о дѣломъ и объ идеѣ его, мы говоримъ о *жидовствѣ* и объ *идеѣ жидовской*, охватывающей весь міръ, вмѣсто „неудавшагося“ христіанства...

IV.

Но да здравствуетъ братство!

Но что же я говорю и зачѣмъ? Или я врагъ евреевъ? Неужели правда, какъ пишетъ мнѣ одна, безо всякаго для меня сомнѣнія (что уже видно по письму ея и по искреннимъ, горячимъ чувствамъ письма этого) благороднѣйшая и образованная еврейская дѣвушка, — неужели и я, по словамъ ея, врагъ этого „несчастнаго“ племени, на которое я „при всякомъ удобномъ случаѣ будто бы такъ

жестоко нападаю“. „Ваше презрѣніе къ жидовскому племени, которое „ни о чемъ кромѣ себя не думаетъ“ и т. д., и т. д., очевидно“. — Нѣтъ, противъ этой очевидности я возстану, да и самый фактъ оспариваю. Напротивъ, я именно говорю и пишу, что „все, что требуетъ гуманность и справедливость, все, что требуетъ человѣчность и христіанскій законъ — все это должно быть сдѣлано для евреевъ“. Я написалъ эти слова выше, но теперь я еще прибавлю къ нимъ, что, несмотря на всѣ соображенія, уже мною выставленныя, я окончательно стою, однакоже, за совершенное расширеніе правъ евреевъ въ формальномъ законодательствѣ и, если возможно только, и за полнѣйшее равенство правъ съ кореннымъ населеніемъ (NB. хотя, можетъ быть, въ иныхъ случаяхъ, они имѣютъ уже и теперь больше правъ, или, лучше сказать, *возможности ими пользоваться*, чѣмъ само коренное населеніе). Конечно, мнѣ приходится тутъ же на умъ, напри- мѣръ, такая фантазія: Ну, что если пошатнется какимъ-нибудь образомъ и отъ чего-нибудь наша сельская община, ограждающая нашего бѣднаго коренника-мужика отъ столькихъ золъ, — ну, что если тутъ же, къ этому освобожденному мужику, столь неопытному, столь не умѣющему сдержатъ себя отъ соблазна и котораго именно опекала доселѣ община, — нахлынетъ всѣмъ вагаломъ еврей — да, что тутъ: тутъ мигомъ конецъ его: все имущество его, вся сила его перейдетъ на завтра же во власть еврея и наступитъ такая пора, съ которой не только не могла бы сравняться пора крѣпостничества, но даже татарщина.

Но несмотря на всѣ „фантазіи“ и на все, что я написалъ выше, я все-таки стою за полное и окончательное уравненіе правъ — потому что это Христовъ законъ, потому что это христіанскій принципъ. Но если такъ, то для чего же я исписалъ столько страницъ, и что хотѣлъ выразить, если такъ *противорѣчу* себѣ? А вотъ именно то, что я не противорѣчу себѣ и что съ русской, съ коренной стороны нѣтъ и не вижу препятствій въ расширеніи еврейскихъ правъ, но утверждаю зато, что препятствія эти, — лежатъ со стороны евреевъ несравненно больше, чѣмъ со стороны русскихъ, и что если до сихъ поръ не создается того, чего желалъ бы всѣмъ сердцемъ, то русскій чело- вѣкъ въ этомъ виновенъ несравненно менѣе, чѣмъ самъ еврей. Подобно тому, какъ я выставлялъ еврея простоду-

дина, который не хотѣлъ сообщаться и бѣсть съ русскими, а тѣ не только не сердились и не мстили ему за это, а, напротивъ, разомъ осмыслили и извинили его, говоря: „это онъ потому, что у него вѣра такая“—подобно тому, т.-е. этому еврею-простолюдину, мы и въ интеллигентномъ еврей видимъ весьма часто такое же безмѣрное и высокомѣрное предубѣжденіе противъ русскаго. О, они кричатъ, что они любятъ русскій народъ; одинъ такъ даже писалъ мнѣ, что онъ именно скорбитъ о томъ, что русскій народъ не имѣетъ религіи и ничего не понимаетъ въ своемъ христіанствѣ. Это уже слишкомъ сильно сказано для еврея и рождается лишь вопросъ: понимаетъ ли чтó въ христіанствѣ самъ-то этотъ высокообразованный еврей? Но самомнѣніе и высокомѣрие есть одно изъ очень тяжелыхъ для насъ, русскихъ, свойствъ еврейскаго характера. Кто изъ насъ, русскихъ или еврей, болѣе неспособенъ понимать другъ друга? Клянусь, я оправдаю скорѣе русскаго: у русскаго, по крайней мѣрѣ, нѣтъ (положительно нѣтъ!) религіозной ненависти къ еврею. А остальныхъ предубѣждений гдѣ, у кого больше? Вонъ евреи кричатъ, что они были столько вѣковъ угнетены и гонимы, угнетены и гонимы и теперь, и что это, по крайней мѣрѣ, надобно взять въ расчетъ русскому при сужденіи о еврейскомъ характерѣ. Хорошо, мы и беремъ въ расчетъ и доказать это можемъ: въ интеллигентномъ словѣ русскаго народа не разъ уже раздавались голоса за евреевъ. Ну, а евреи: брали ли и берутъ ли они въ расчетъ, жалуясь и обвиняя русскихъ, столько вѣковъ угнетеній и гоненій, которыя перенесъ самъ русскій народъ? Неужто можно утверждать, что народъ вытерпѣлъ меньше бѣдъ и золь „въ свою исторію“, чѣмъ евреи гдѣ бы то ни было? И неужто можно утверждать, что не еврей, весьма часто, соединялся съ его гонителями, бралъ у нихъ на откупъ русскій народъ и самъ обращался въ его гонителя? Вѣдь это все было же, существовало, вѣдь это исторія, историческій фактъ, но мы нигдѣ не слышали, чтобъ еврейскій народъ въ этомъ раскаивался, а русскій народъ онъ все-таки обвиняетъ за то, что тотъ мало любитъ его.

„Но буди! буди!“ Да будетъ полное и духовное единеніе племенъ и никакой разницы правъ! А для этого я прежде всего умоляю моихъ оппонентовъ и корреспондентовъ евреевъ быть, напротивъ, къ намъ, русскимъ, снисходительнѣе и справедливѣе. Если высокомѣрие ихъ,

если всегдашняя „скорбная брезгливость“ евреевъ къ русскому племени есть только предубѣжденіе, „историческій наростъ“, а не кроется въ какихъ-нибудь гораздо болѣе глубокихъ тайнахъ его закона и строя, — то да разсѣется все это скорѣе и да сойдемся мы единымъ духомъ, въ полномъ братствѣ, на взаимную помощь и на великое дѣло служенія землѣ нашей, государству и отечеству нашему! Да смягчатся взаимныя обвиненія, да исчезнетъ всегдашняя экзальтація этихъ обвиненій, мѣшающая ясному пониманію вещей. А за русскій народъ поручиться можно: о, онъ приметъ еврея въ самое полное братство съ собою, несмотря на различіе въ вѣрѣ, и съ совершеннымъ уваженіемъ къ историческому факту этого различія, но все-таки для братства, для полного братства, *нужно братство съ обѣихъ сторонъ*. Пусть еврей покажетъ ему и самъ хоть сколько-нибудь братскаго чувства, чтобъ ободрить его. Я знаю, что въ еврейскомъ народѣ и теперь можно отдѣлить довольно лицъ, ищущихъ и жаждущихъ устраненія недоумѣній, людей притомъ челоуѣколюбивыхъ, и не я буду молчать объ этомъ, скрывая истину. Вотъ для того-то, чтобъ эти полезные и челоуѣколюбивые люди не унывали и не падали духомъ и чтобъ сколько-нибудь ослабить предубѣжденія ихъ и тѣмъ облегчить имъ начало дѣла, я и желалъ бы полного расширенія правъ еврейскаго племени, по крайней мѣрѣ, по возможности, именно насколько самъ еврейскій народъ докажетъ способность свою принять и воспользоваться правами этими безъ ущерба коренному населенію. Даже бы можно было уступить впередъ, сдѣлать съ русской стороны еще больше шаговъ впередъ... Вопросъ только въ томъ: много ли удастся сдѣлать этимъ новымъ, хорошимъ людямъ изъ евреевъ и насколько сами они способны къ новому и прекрасному дѣлу *настоящаго* братскаго единенія съ чуждыми имъ по вѣрѣ и по крови людьми?

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

I.

Похороны „Общечеловѣка“.

Мнѣ о многомъ хотѣлось поговорить въ этотъ разъ въ этомъ мартовскомъ № моего „Дневника“. И вотъ опять какъ-то такъ случилось, что то, о чемъ хотѣлъ сказать лишь нѣсколько словъ, заняло все мѣсто. И сколько темъ,

на которыя я уже цѣлый годъ собираюсь говорить и все не соберусь. Объ иномъ именно надо бы много сказать, а такъ какъ весьма часто выходитъ, что очень многое нельзя сказать, то и не принимаешься за тему.

Хотѣлось мнѣ въ этотъ разъ тоже, мимо всѣхъ этихъ „важныхъ“ темъ, сказать хоть мимоходомъ слова два объ искусствѣ. Видѣлъ я Росси въ Гамлетѣ, и вывелъ заключеніе, что вмѣсто Гамлета я видѣлъ господина Росси. Но лучше и не начинать говорить, если не намѣренъ всего сказать. Хотѣлось бы поговорить (немножко) о картинѣ Семирадскаго, а пуще всего хотѣлось бы ввернуть хоть два слова объ идеализмѣ и реализмѣ въ искусствѣ, о Рѣпинѣ и о господинѣ Рафаэлѣ, — но видно придется отложить все это до болѣе удобнаго времени.

Потомъ хотѣлось бы мнѣ, но уже нѣсколько побольше, написать по поводу нѣкоторыхъ изъ полученныхъ мною за все время изданія „Дневника“ писемъ, и особенно анонимныхъ. Вообще я не могу отвѣчать на всѣ письма, которыя получаю, а на анонимныя само собою; а между тѣмъ, за всѣ эти почти полтора года, я вывелъ изъ этой корреспонденціи (все объ общихъ нашихъ темахъ) нѣсколько наблюдений, можетъ-быть, и любопытныхъ, на мой взглядъ, по крайней мѣрѣ. По крайней мѣрѣ, можно сдѣлать нѣсколько особыхъ отмѣтокъ уже на основаніи опыта о нашемъ русскомъ умственномъ теперешнемъ настроеніи, о томъ, чѣмъ интересуются и куда клоняты наши не праздные умы, кто именно наши не праздные умы, при чемъ выдаются любопытныя черты по возрастамъ, по полу, по сословіямъ и даже по мѣстностямъ Россіи. Думаю, что можно бы отдѣлить нѣсколько мѣста въ какомъ-нибудь изъ будущихъ „Дневниковъ“ по поводу хоть бы однихъ анонимовъ, на примѣръ, и ихъ характеристики, и не думаю, чтобъ это вышло такъ ужъ очень скучно, потому что тутъ довольно всевозможнаго разнообразія. Разумѣется, обо всемъ нельзя сказать и всего нельзя передать и даже, можетъ-быть, самаго любопытнаго. А потому и боюсь приниматься, не зная, совладаю ли съ темой.

Однако, хочу привести теперь одно письмо, уже не анонима, а весьма знакомой мнѣ г-жи Л., очень молодой дѣвицы, еврейки, съ которой я познакомился въ Петербургѣ и которая пишетъ мнѣ теперь изъ М. Съ уважаемой мною г-жею Л. мы никогда почти не говорили на тему о „еврейскомъ вопросѣ“, хотя она, какъжется, изъ

строгихъ и серьезныхъ евреекъ. Вижу, что очень странно подошло письмо это къ сейчасъ только дописанной мною цѣлой главѣ о евреяхъ. Было бы слишкомъ много все на одну и ту же тему. Но тутъ не на ту тему; а если отчасти и на ту, то выставляется какъ бы совсѣмъ другая, именно противоположная сторона вопроса, а при этомъ и какъ бы даже намекъ на разрѣшеніе его. Пусть извинитъ меня великодушно г-жа Л., что я позволяю себѣ передать здѣсь ея словами всю ту часть письма ея о похоронахъ доктора Гинденбурга въ М., подъ первымъ впечатлѣніемъ которыхъ она и написала эти столь искреннія и трогательныя въ правдѣ своей строки. Не хотѣлось мнѣ тоже утаить, что писано это еврейкой, что чувства эти — чувства еврейки...

Это я пишу подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ похороннаго марша. Хоронили доктора *Гинденбурга*, 84-хъ лѣтъ отъ роду. Какъ протестанта, его сначала отвезли въ кирку, а уже затѣмъ на кладбище. Такого сочувствія, такихъ отъ души вырвавшихся словъ, такихъ горячихъ слезъ я еще никогда не видѣла при похоронахъ... Онъ умеръ въ такой бѣдности, что не на что было похоронить его.

Уже 58 лѣтъ какъ онъ практикуетъ въ М... и сколько добра онъ сдѣлалъ за это время. Если бъ вы знали, Федоръ Михайловичъ, что это былъ за человѣкъ! Онъ былъ докторъ и акушеръ; его имя перейдетъ здѣсь въ потомство, о немъ уже сложились легенды, весь простой народъ звалъ его отцомъ, любилъ, обожалъ и только съ его смертью понялъ, что онъ потерялъ въ этомъ человѣкѣ. Когда онъ еще стоялъ въ гробу (въ церкви), то не было, кажется, ни одного человѣка, который бы не пошелъ поплакать надъ нимъ и цѣловать его ноги, въ особенности бѣдныхъ еврейки, которымъ онъ такъ много помогалъ, цѣкали и молились, чтобъ онъ попалъ прямо въ рай. Сегодня припѣла бывшая наша кухарка, ужасно бѣдная женщина, и говоритъ, что при рожденіи послѣдняго ея ребенка, онъ, видя, что ничего дома нѣтъ, далъ 30 к., чтобъ сварить супъ, а затѣмъ каждый день приходилъ и оставлялъ 20 к., а видя, что она поправляется, прислалъ пару куропатокъ. Также будучи позванъ къ одной страшно бѣдной родильницѣ (такія къ нему обращались), онъ, видя, что не во что принять ребенка, снялъ съ себя верхнюю рубаху и платокъ свой (голова у него была повязана платкомъ) разорвалъ и отдалъ.

Еще вылѣчилъ онъ одного бѣднаго еврея-дровосѣка, затѣмъ заболѣла его жена, затѣмъ дѣти; онъ каждый Божій день пріѣзжалъ 2 раза и когда всѣхъ поставилъ на ноги, спрашиваетъ еврея: чѣмъ ты мнѣ заплатишь? Тотъ говоритъ, что у него ничего нѣтъ, только послѣдняя коза, которую онъ сегодня продастъ. Онъ такъ и сдѣлалъ, продалъ за 4 р. и принесъ ему деньги; тогда докторъ далъ лакею своему еще 12 р. къ этимъ 4-мъ и отправилъ купить корову, а дровосѣку велѣлъ идти домой; черезъ часъ тому приводятъ корову и говорить, что докторъ призналъ козье молоко для нихъ вреднымъ.

Такъ онъ прожилъ всю свою жизнь. Бывали примѣры, что онъ оставлялъ 30 и 40 р. у бѣдныхъ; оставлялъ и у бѣдныхъ бабъ въ деревняхъ.

Зато хоронили его как святого. Всѣ бѣдняки заперли лавки и бѣжали за гробомъ. У евреевъ есть мальчики, которые при похоронахъ распѣваютъ псалмы, но запрещается провожать иновѣрца этими псалмами. Тутъ передъ гробомъ, во время процессіи, ходили мальчики и громко распѣвали эти псалмы. Во всѣхъ синагогахъ молились за его душу, также колокола *всѣхъ* церквей звонили за все время процессіи. Былъ хоръ военной музыки, да еще еврейскіе музыканты пошли къ сыну усопшаго просить, какъ чести, позволенія играть во все время процессіи. Всѣ бѣдные принесли, кто 10, кто 5 к., а богатые евреи дали много и приготовили великолѣпный, огромный вѣнокъ изъ свѣжихъ цвѣтовъ съ бѣлыми и черными лентами по сторонамъ, гдѣ золотыми буквами были вычислены его главныя заслуги, такъ, напр., учрежденіе больницы и т. п., а не могла разобрать, что тамъ, да и развѣ возможно вычислить его заслуги?

Надъ его могилой держали рѣчь пасторъ и еврейскій раввинъ и оба плакали, а онъ себѣ лежалъ въ старенькомъ, истертому вицъ-мундирѣ, старымъ платкомъ была обвязана его голова, эта милая голова и, казалось, онъ спалъ, такъ свѣжъ былъ цвѣтъ его лица...

II.

Единичный случай.

Единичный случай, скажутъ. Что-жъ, господа, я опять виноватъ: опять вижу въ единичномъ случаѣ чуть не начало разрѣшенія всего вопроса... ну, хоть того же самаго „еврейскаго вопроса“, которымъ я озаглавилъ мою вторую главу этого „Дневника“. Кстати, почему я назвалъ старичка доктора „общечеловѣкомъ“? Это былъ не общечеловѣкъ, а скорѣе общій человѣкъ. Этотъ городъ М.— это большой губернскій городъ въ западномъ краѣ, и въ этомъ городѣ множество евреевъ, есть нѣмцы, русскіе, конечно, поляки, литовцы,—и всѣ-то, всѣ эти народности признали праведнаго старичка каждая за своего. Самъ же онъ былъ протестантъ, и именно нѣмецъ, вполнѣ нѣмецъ: манера, какъ онъ купилъ и отослалъ бѣдному еврею корову—это чисто нѣмецкій вицъ. Сперва озадачилъ того: „чѣмъ уплатишь“? И ужъ, конечно, бѣднякъ, продавая послѣднюю возу, чтобъ уплатить „благодѣтелю“, не ропталъ нимало, а, напротивъ, горько страдалъ въ душѣ, что всего-то коза стоитъ 4 цѣлковыхъ, а вѣдь и бѣдному, работающему на нихъ всѣхъ бѣдняковъ, старичку тоже вѣдь жить надо, а что такое четыре цѣлковыхъ за всѣ-то его благодѣанія семейству“? Ну, а старичокъ себѣ на умѣ, посмѣивается, а сердце горитъ у него: „вотъ же я ему, бѣдняку, нашъ нѣмецкій вицъ покажу!“ И вѣдь какъ, должно-быть, хорошо смѣялся про себя, когда повели къ еврею корову, какъ приободрился духомъ, и, пожалуй, всю

ту ночь, можетъ-быть, провозился въ нищей лачугѣ какой-нибудь бѣдной еврейки родильницы. А вѣдь восьмидесятилѣтнему старичку хорошо бы и поспать ночку, покоить старья, усталыя кости. Если бъ я былъ живописецъ, я именно бы написалъ этотъ „жанръ“, эту ночь у еврейки-родильницы. Я ужасно люблю реализмъ въ искусствѣ, но у иныхъ современныхъ реалистовъ нашихъ *нѣтъ нравственнаго центра* въ ихъ картинахъ, какъ выразился на-дняхъ одинъ могучій поэтъ и тонкій художникъ, говоря со мной о картинѣ Семирадскаго. Тутъ, въ предлагаемомъ мною сюжетѣ для „жанра“, мнѣ кажется, былъ бы этотъ центръ. Да и для художника роскошь сюжета. Во-первыхъ, идеальная, невозможная, смраднѣйшая нищета бѣдной еврейской хаты. Тутъ можно бы много даже юмору выразить и ужасно кстати; юморъ вѣдь есть остроуміе глубокаго чувства, и мнѣ очень нравится это опредѣленіе. Съ тонкимъ чувствомъ и умомъ можно много взять художнику въ одной уже перетасовкѣ ролей всѣхъ этихъ нищихъ предметовъ и домашней утвари въ бѣдной хатѣ, и этой *забавной* перетасовкой сразу оцарапать вамъ сердце. Да и освѣщеніе можно бы сдѣлать интересное: на кривомъ столѣ догораетъ оплывшая сальная свѣчка, а сквозъ единственное, заиндивѣвшее и обледенѣлое оконце уже брезжитъ разсвѣтъ новаго дня, новаго труднаго дня для бѣдныхъ людей. Трудныя родильницы часто родятъ на разсвѣтѣ: всю ночь промучаются, а къ утру родятъ. Вотъ усталый старичокъ, на мигъ оставивъ мать, беретъ за ребенка. Принять не во чтѣ, пеленокъ нѣтъ, ни тряпки нѣтъ (бываетъ такая бѣдность, господа, клянусь вамъ, бываетъ, чистѣйшій реализмъ, — реализмъ, такъ сказать, доходящій до фантастическаго), и вотъ праведный старичокъ снялъ свой старенькій виць-мундирчикъ, снялъ съ плечъ рубашку и разрываетъ ее на пеленки. Лицо его строгое и проникнутое. Бѣдный новорожденный еврейчикъ копошится передъ нимъ на постели, христіанинъ принимаетъ еврейчика въ свои руки и обвиваетъ его рубашкой съ плечъ своихъ. Разрѣшеніе еврейскаго вопроса, господа! Восьмидесятилѣтній, обнаженный и дрожащій отъ утренней сырости торсъ доктора можетъ занять видное мѣсто въ картинѣ, не говоря уже про лицо старика и про лицо молодой, измученной родильницы, смотрящей на своего новорожденнаго и на продѣлки съ нимъ доктора. Все это видитъ сверху Христосъ и докторъ знаетъ это: „этотъ

бѣдный жидокъ вырастетъ и можетъ снять и самъ съ плеча рубашку и отдасть христіанину, вспоминая разсказъ о рожденіи своемъ" — съ наивной и благородной вѣрой думаетъ старикъ про себя. Сбудется ли это? Вѣроятіе всего, что нѣтъ, но сбыться можетъ, а на землѣ лучше и дѣлать-то нечего, какъ вѣрить въ то, что *это* сбыться можетъ и сбудется. А докторъ въ правѣ вѣрить, потому что ужъ на немъ сбылось: „исполнилъ я, исполнить и другой; чѣмъ я лучше другого?“ подкрѣпляетъ онъ себя аргументомъ. Усталая старуха еврейка—мать родильницы, въ лохмотьяхъ, суетится у печки. Еврей, выходявшій за вязанкой щепокъ, отворяетъ дверь хаты и мерзлый паръ клубомъ врывается на мигъ въ комнату. На полу, на войлочной подстилкѣ крѣпко спать два малолѣтнихъ еврейчика. Однимъ словомъ, аксессуаръ могъ бы выйти хорошій. Даже тридцать копеекъ мѣдью на столѣ, отсчитанныя докторомъ на супъ родильницѣ, могли бы составить деталь: мѣдный столбикъ трехкопеечниковъ, методически сложенныхъ, отнюдь не разбросанныхъ. Даже перламутръ могъ бы быть написанъ какъ и въ картинѣ Семирадскаго, въ которой удивительно написанъ кусокъ перламутра: докторамъ вѣдь дарятъ же иногда (чтобы не платить много деньгами) хорошенкія вещицы, и вотъ перламутровая докторская сигарочница лежитъ тутъ же, подлѣ мѣдной кучки. Нѣтъ, ничего, картинка бы вышла съ „нравственнымъ центромъ“. Приглашаю написать.

Единственный случай! Года два тому назадъ откуда-то (забылъ) съ юга Россіи писали про какого-то доктора, только что вышедшаго утромъ въ жаркій день изъ купальни, освѣжившагося, ободрившагося и поспѣвавшаго поскорѣе домой напиться кофею, а потому и не захотѣвшаго помочь тутъ же вытащенному изъ воды утопленнику, несмотря на приглашеніе толпы. Его, кажется, за это судили. А вѣдь это, можетъ-быть, былъ человѣкъ образованный и новыхъ идей, прогрессистъ, но „разумно“ требовавшій новыхъ общихъ законовъ и правъ для всѣхъ, пренебрегая единичными случаями. Полагавшій, можетъ-быть, что единичные случаи даже скорѣе вредятъ, отдаляя общее рѣшеніе вопроса, и что въ отношеніи единичныхъ случаевъ „чѣмъ хуже, тѣмъ лучше“. Но безъ единичныхъ случаевъ не осуществишь и общихъ правъ. Этотъ общій человѣкъ хоть и единичный случай, а соединилъ же надъ громомъ своимъ весь городъ. Эти русскія бабы и бѣдныя

еврейки цѣловали его ноги въ гробу вмѣстѣ, тѣснились около него вмѣстѣ, плакали вмѣстѣ. Пятьдесятъ восемь лѣтъ служенія человѣчеству въ этомъ городѣ, пятьдесятъ восемь лѣтъ неустанной любви соединили всѣхъ хоть разъ надъ гробомъ его въ общемъ восторгѣ и въ общихъ слезахъ. Провожаетъ его весь городъ, звучать колокола *всѣхъ* церквей, поются молитвы на всѣхъ языкахъ. Пасторъ со слезами говоритъ свою рѣчь надъ раскрытой могилой. Раввинъ стоитъ въ сторонѣ, ждетъ, и какъ кончилъ пасторъ, смѣняетъ его и говоритъ свою рѣчь и льетъ тѣ же слезы. Да вѣдь въ это мгновеніе почти разрѣшенъ хоть бы этотъ самый „еврейскій вопросъ“! Вѣдь пасторъ и раввинъ соединились въ общей любви, вѣдь они почти обнялись надъ этой могилой въ виду христіанъ и евреевъ. Чтò въ томъ, что, разойдясь, каждый примется за старые предразсудки: капля точить камень, а вотъ эти-то „общіе человѣки“ побѣждаютъ міръ, соединяя его; предразсудки будутъ блѣднѣть съ каждымъ единичнымъ случаемъ и, наконецъ, вовсе исчезнуть. Про старичка останутся легенды, пишетъ г-жа Л., тоже еврейка, и тоже плакавшая надъ „милой головой“ человѣколюбца. А легенды ужъ это первый шагъ къ дѣлу, это живое воспоминаніе и неустанное напоминаніе объ этихъ „побѣдителяхъ міра“, которымъ принадлежитъ земля. А увѣровавъ въ то, что это дѣйствительно побѣдители, и что такіе дѣйствительно „наслѣдуютъ землю“, вы уже почти соединились во всемъ. Все это очень просто, но мудроно кажется одно: именно убѣдиться въ томъ, что вотъ безъ этихъ-то единицъ никогда не соберете всего числа, сейчасъ все разсыплется, а вотъ эти-то все соединять. Эти мысль даютъ, эти вѣру даютъ, живой опытъ собою представляютъ, а, стало-быть, и доказательство. И вовсе нечего ждать, пока всѣ стануть такими же хорошими, какъ и они, или очень многіе: нужно очень не много такихъ, чтобъ спасти міръ, до того они сильны. А если такъ, то какъ же не надѣяться?

АПРѢЛЬ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

I.

Война. Мы всѣхъ сильнѣе.

„Война! объявлена война“, — восклицали у насъ двѣ недѣли назадъ. „Будетъ ли война?“ — спрашивали тутъ же другіе. „Объявлена, объявлена!“ отвѣчали имъ. „Да, объявлена, но будетъ ли?“ продолжали тѣ спрашивать...

И, право, были такіе вопросы, можетъ быть, есть и теперь. И это не отъ одной только долгой дипломатической проволочки разувѣрились такъ люди, тутъ другое, тутъ инстинктъ. Всѣ чувствуютъ, что началось что-то окончательное, что наступаетъ какой-то конецъ чего-то прежняго, долгаго, длиннаго прежняго, и дѣлается шагъ къ чему-то совсѣмъ уже новому, къ чему-то преломляющему прежнее на-двое, обновляющему и воскрешающему его уже для новой жизни и... что шагъ этотъ дѣлаетъ Россія! Вотъ въ этомъ-то и невѣріе „премудрыхъ“ людей. Инстинктивное предчувствіе есть, а невѣріе продолжается: „Россія! Но какъ же она можетъ, какъ она смѣетъ? Готова ли она? Готова ли внутренно, нравственно, не только матеріально? Тамъ Европа, легко сказать—Европа! А Россія, что такое Россія? И на такой шагъ?“

Но народъ вѣритъ, что онъ готовъ на новый, обновляющій и великій шагъ. Это самъ народъ поднялся на войну, съ Царемъ во главѣ. Когда раздалось Царское слово, народъ хлынулъ въ церкви, и это по всей земли русской. Когда читали Царскій манифестъ, народъ востигъ и всѣ

поздравляли другъ друга съ войной. Мы это сами видѣли своими глазами, слышали, и все это даже здѣсь, въ Петербургѣ. И опять начались тѣ же дѣла, тѣ же факты, какъ и въ прошломъ году. Крестьяне въ волостяхъ жертвуютъ по силѣ своей деньги, подводы, и вдругъ, эти тысячи людей, какъ одинъ человекъ, восклицаютъ: „да что жертвы, что подводы, мы всѣ пойдемъ воевать!“ — Здѣсь, въ Петербургѣ, являются жертвователи на раненыхъ и больныхъ воиновъ, даютъ суммы по нѣскольکو тысячъ, а записываются *неизвѣстными*. Такихъ фактовъ множество, будутъ десятки тысячъ подобныхъ фактовъ и никого ими не удивишь. Они означаютъ лишь, что весь народъ поднялся за истину, за святое дѣло, что весь народъ поднялся на войну и идетъ. О, мудрецы и эти факты отрицать будутъ, какъ и прошлогодніе; мудрецы все еще, какъ и недавно, продолжаютъ смѣяться надъ народомъ, хотя и замѣтно притихли ихъ голоса. Почему же они смѣются, откуда въ нихъ столько самоувѣренности? А вотъ, именно, потому-то и продолжаютъ они смѣяться, что все еще почитаютъ себя силой, той самой силой, безъ которой ничего не подѣлаешь. А межъ тѣмъ сила-то ихъ приходитъ къ концу. Близятся они къ страшному краху и когда разразится надъ ними крахъ, пустятся и они говорить другимъ языкомъ, но всѣ увидятъ, что они бормочатъ чужія слова и съ чужого голоса и отвернутся отъ нихъ и обратятъ свое упованіе туда, гдѣ Царь и народъ его съ нимъ.

Намъ нужна эта война и самимъ; не для однихъ лишь „братевъ-славянъ“, измученныхъ турками, поднимаемся мы, а и для собственнаго спасенія: война освѣжить воздухъ, которымъ мы дышимъ и въ которомъ мы задыхались, сидя въ немощи разстлѣнія и въ духовной тѣснотѣ. Мудрецы кричатъ и указываютъ, что мы погибаемъ и задыхаемся отъ нашихъ собственныхъ внутреннихъ неустройствъ, а потому не войны желать намъ надо, а, напротивъ, долгаго міра, чтобы мы изъ звѣрей и тупицъ могли обратиться въ людей, научились порядку, честности и чести: „тогда и идите помогать вашимъ братьямъ-славянамъ“—заканчиваютъ они, въ одинъ хоръ свою пѣсню. Любопытно, въ такомъ случаѣ, въ какомъ видѣ представляютъ они себѣ тотъ процессъ, посредствомъ котораго они сдѣлаются лучше? И какимъ образомъ сами-то они приобрѣтутъ себѣ честь явнымъ безчестіемъ? Любопытно,

наконецъ, какъ и чѣмъ оправдываютъ они свой разрывъ съ всеобщимъ и повсемѣстнымъ чувствомъ народнымъ? Нѣтъ, видно правда, что истина покупается лишь мученичествомъ. Милліоны людей движутся и страдаютъ и отходятъ безслѣдно, какъ бы предназначенные никогда не понять истину. Они живутъ чужою мыслью, ищутъ гоговаго слова и примѣра, схватываются за подсказанное дѣло. Они кричатъ, что за нихъ авторитеты, что за нихъ Европа. Они свистятъ на несогласныхъ съ ними, на всѣхъ презирающихъ лакейство мысли и вѣрящихъ въ свою собственную и народа своего самостоятельность. И что же, на самомъ-то дѣлѣ эти массы кричащихъ людей предназначены послужить собою лишь коснымъ средствомъ для того, чтобы развѣ единицы лишь изъ нихъ приблизились сколько-нибудь къ истинѣ, или, по крайней мѣрѣ, получили бы о ней хоть предчувствіе. Вотъ эти-то единицы и ведутъ потомъ всѣхъ за собою, овладѣваютъ движеніемъ, рождать идею и оставляютъ ее въ наслѣдство этимъ мечущимся массамъ людей. Такія единицы уже были и у насъ. Нѣкоторые изъ насъ уже ихъ понимаютъ, даже многіе. Но мудрецы все еще продолжаютъ смѣяться и все еще вѣрить въ себя, что они великая сила. „Погуляютъ и воротятся“, говорятъ они теперь про наши войска, перешедшія границу, говорятъ даже вслухъ. „Не бывать войнѣ, какая война, гдѣ ужъ намъ воевать: просто военная прогулка и маневры, съ тратой сотенъ милліоновъ, для поддержанія чести“. Вотъ ихъ интимный взглядъ на дѣло. Да и интимный ли?

Да, если бы могло такъ случиться, что мы будемъ побиты, или хотя и побьемъ врага, но подъ давленіемъ обстоятельствъ замиримъ пустяками, — о, тогда мудрецы, конечно, восторжествуютъ. И какой, какой опять начнется свистъ и гамъ и цинизмъ на нѣсколько лѣтъ, какая опять вакханалія самооплеванія, пощечинъ и самодразненія—и это не для вызова къ воскресенію и силѣ, а именно ради торжества собственнаго безчестія, безличности и безсилія. И новый нигилизмъ начнетъ, точь въ точь какъ и прежній, съ отрицанія народа русскаго и самостоятельности его. А главное, приобрѣтетъ столько силы и такъ укрѣпится, что несомнѣнно начнетъ даже вслухъ помыкать святыней Россіи. И опять молодежь оплюетъ свои семейства и дома, и побѣжитъ отъ своихъ стариковъ, твердящихъ въ зубряжку безконечныя общія мѣста и старья,

надо́вша́я всѣмъ слова о европейскомъ величїи и объ обязанности нашей быть какъ можно безличнѣе. А главное— старая пѣсня, старыя слова и — надолго новаго ничего! Нѣтъ, намъ нужна война и побѣда. Съ войной и побѣдой придетъ новое слово, и начнется живая жизнь, а не одна только мертвящая болтовня какъ прежде, — да что какъ прежде, какъ до сихъ поръ, господа!

Но надо быть на все готовымъ, и что же; если предположить даже самый худшїй, самый даже невозможно худшїй исходъ для начавшейся теперь войны, то, хоть и много вынесемъ сквернаго, уже надо́вшаго до смерти стараго горя, но колосъ все же не будетъ распатанъ и рано ли, поздно ли, а возьметъ все свое. Это не надежда только, это полная увѣренность и въ этой невозможности распатать колосъ—вся наша сила передъ Европой, гдѣ всѣ теперь, чуть не сплошь, боятся, что распатается ихъ старое зданіе и обрушатся на нихъ потолки. Колосъ этотъ есть народъ нашъ. И начало теперешней *народной* войны, и всѣ недавнія предшествовавшія ей обстоятельства показали лишь наглядно, всѣмъ, кто смотрѣть умѣетъ, всю народную цѣлость и свѣжесть нашу и до какой степени не коснулось народныхъ силъ нашихъ то растлѣніе, которое загноило мудрецовъ нашихъ. И какую услугу оказали намъ эти мудрецы передъ Европой! Они такъ недавно еще кричали на весь міръ, что мы бѣдны и ничтожны; они насмѣшливо увѣряли всѣхъ, что духа народнаго нѣтъ у насъ вовсе, потому что и *народа* нѣтъ вовсе, потому что и народъ нашъ и духъ его изобрѣтены лишь фантазіями доморощенныхъ московскихъ мечтателей; что восемьдесятъ милліоновъ мужиковъ русскихъ суть всего только милліоны косныхъ, пьяныхъ податныхъ единицъ; что никакого соединенія Царя съ народомъ нѣтъ, что это лишь въ прописяхъ, что все, напротивъ, распатано и проѣдено нигилизмомъ; что солдаты наши бросятъ ружья и побѣгутъ какъ бараны; что у насъ нѣтъ ни патроновъ, ни провіанта и что мы, въ заключеніе, сами видимъ, что расхрабрились и зарвались не въ мѣру и изо всѣхъ силъ ждемъ только предлога, какъ бы отступить безъ послѣдней степени позорныхъ пощечинъ, которыхъ „даже и намъ уже нельзя выносить“, и молимъ, чтобы предлогъ этотъ намъ выдумала Европа. Вотъ въ чемъ влялись мудрецы наши, и что же: на нихъ почти и сердиться нельзя, это ихъ взглядъ и понятїя, кровные взглядъ и

понятія. И дѣйствительно, да, мы бѣдны, да, мы жалки во многомъ; да, дѣйствительно у насъ столько нехорошаго, что мудрецъ, и особенно если онъ *нашъ* „мудрецъ“, не могъ „измѣнить“ себѣ и не могъ не воскликнуть: „капутъ Россіи и жалѣть нечего!“ Вотъ эти-то родныя мысли мудрецовъ нашихъ и облетѣли Европу, и особенно черезъ европейскихъ корреспондентовъ, нахлынувшихъ къ намъ наканунѣ войны изучить насъ на мѣстѣ, разсмотрѣть насъ своими европейскими взглядами и измѣрить наши силы своими европейскими мѣрками. И, само собою, они слушали однихъ лишь „премудрыхъ и разумныхъ“ нашихъ. Народную силу, народный духъ все проглядѣли, и облетѣла Европу вѣсть, что гибнетъ Россія, что ничто Россія, ничто была, ничто и есть и въ ничто обратится. Дрогнули сердца исконныхъ враговъ нашихъ и ненавистниковъ, которымъ мы два вѣка ужъ досаждаемъ въ Европѣ, дрогнули сердца многихъ тысячъ жидовъ европейскихъ и миллионовъ вмѣстѣ съ ними жидовствующихъ „христіанъ“; дрогнуло сердце Биконсфильда: сказано было ему, что Россія все перенесетъ, все, до самой срамной и послѣдней пощечины, но не пойдетъ на войну—до того, дескать, сильно ея „миролюбие“. Но Богъ насъ спасъ, наславъ на нихъ на всѣхъ слѣпоту; слишкомъ уже они повѣрили въ погибель и въ ничтожность Россіи, а главное-то и проглядѣли. Прогладѣли они весь русскій народъ, какъ живую силу, и проглядѣли колоссальный фактъ: союзъ Царя съ народомъ своимъ! Вотъ *только это* и проглядѣли они! Кромѣ того, не могли они никакъ понять и повѣрить тому, что Царь нашъ дѣйствительно миролюбивъ и дѣйствительно такъ жалѣетъ кровь человѣческую: они думали, что все это у насъ изъ „политики“. Не видятъ они ничего даже и теперь: они кричатъ, что у насъ вдругъ, послѣ Царскаго манифеста, появился „патріотизмъ“. Да развѣ это патріотизмъ, развѣ это единеніе Царя съ народомъ на великое дѣло есть *только* патріотизмъ? Въ томъ-то и главная наша сила, что они совсѣмъ не понимаютъ Россіи, ничего не понимаютъ въ Россіи! Они не знаютъ, что мы непобѣдимы ничѣмъ въ мірѣ, что мы можемъ, пожалуй, проигрывать битвы, но все-таки останемся непобѣдимыми именно единеніемъ нашего духа народнаго и сознаниемъ народнымъ. Что мы не Франція, которая вся въ Парижѣ, что мы не Европа, которая вся зависитъ отъ биржъ своей буржуа-

зи и отъ „спокойствія“ своихъ пролетаріевъ, покупаемаго уже послѣдними усиліями тамошнихъ правительствъ и всего лишь на часъ. Не понимаютъ они и не знаютъ, что если мы *захотимъ*, то насъ не побѣдятъ ни жиды всей Европы вмѣстѣ, ни милліоны ихъ золота, ни милліоны ихъ армій, что если мы захотимъ, то насъ нельзя заставитьъ сдѣлать то, чего мы не пожелаемъ, и что нѣтъ такой силы на всей землѣ. Бѣда только въ томъ, что надъ словами этими засмѣются не только въ Европѣ, но и у насъ, и не только наши мудрецы и разумные, а даже и настоящіе русскіе люди интеллигентныхъ слоевъ нашихъ—до того мы еще не понимаемъ самихъ себя и всю исконную силу нашу, до сихъ поръ еще, слава Богу, не надломившуюся. Не понимаютъ это хорошіе люди, что у насъ, въ нашей необозримой и своеобразной, въ высшей степени непохожей на Европу странѣ, даже тактика военная (столь общая вещь!), можетъ быть, совсѣмъ не похожая на европейскую, что основы европейской тактики—деньги и ученныя организаціи шестисотъ-тысячныхъ войсковыхъ нашествій могутъ спотѣнуться о землю нашу и натѣнуться у насъ на новую и невѣдомую имъ силу, основы которой лежатъ въ природѣ безконечной земли русской и въ природѣ всеединящагося духа русскаго. Но пусть *пока* еще не знаютъ этого у насъ столь многіе и хорошіе люди (не знаютъ и робѣютъ). Но зато знаютъ это Цари наши и чувствуетъ это народъ нашъ. Александръ I зналъ про эту своеобразную силу нашу, когда говорилъ, что отраститъ себѣ бороду и уйдетъ въ лѣса съ народомъ своимъ, но не положить меча и не покорится волѣ Наполеона. И ужъ, конечно, объ такую силу разбилась бы вся Европа вмѣстѣ, потому что не хватить у ней на такую войну ни денегъ, ни единства организаціи. Когда у насъ всѣ наши русскіе люди узнаютъ о томъ, что мы такъ сильны, тогда мы и добьемся того, что воевать уже не будемъ, тогда въ насъ увѣруютъ и впервые *откроетъ* насъ, какъ когда-то Америку, Европа. Но для того надобно, чтобы мы прежде ихняго отеряли сами себя и чтобы интеллигенція наша поняла, что ей нельзя уже болѣе разъединяться и разрывать съ народомъ нашимъ...

II.

Не всегда война бичъ, а иногда и спасеніе.

Но мудрецы наши схватились и за другую сторону

дѣла: они проповѣдуютъ о человѣколюбіи, о гуманности, они скорбятъ о пролитой крови, о томъ, что мы еще больше озвѣрѣемъ и осквернимся въ войнѣ и тѣмъ еще болѣе отдалимся отъ внутренняго преуспѣянія, отъ вѣрной дороги, отъ науки. Да, война, конечно, есть несчастье, но много тутъ и ошибки въ сужденіяхъ этихъ, а главное—довольно ужъ намъ этихъ буржуазныхъ нравоученій! Подвигъ самопожертвованія кровью своею за все то, что мы почитаемъ святымъ, конечно, нравственнѣе всего буржуазнаго катехизиса. Подъемъ духа націи ради великодушной идеи—есть толчокъ впередъ, а не озвѣрѣніе. Конечно, мы можемъ ошибаться въ томъ, что считаемъ великодушной идеей; но если то, что мы почитаемъ святынею—позорно и порочно, то мы не избѣгнемъ кары отъ самой природы: позорное и порочное несетъ само въ себѣ смерть, и рано ли, поздно ли, само собою казнить себя. Война, напримѣръ, изъ-за пріобрѣтенія богатствъ, изъ-за потребности ненасытной биржи, хотя въ основѣ своей и выходитъ изъ того же общаго всѣмъ народамъ закона развитія своей національной личности, но бываетъ тотъ предѣлъ, который, въ этомъ развитіи, переходить нельзя, и за которымъ всякое пріобрѣтеніе, всякое развитіе значитъ уже излишекъ, несетъ въ себѣ болѣзнь, а за ней и смерть. Такъ, Англія, если бъ стала въ теперешней восточной борьбѣ за Турцію, забывъ уже окончательно, изъ-за торговыхъ выгодъ своихъ, стоны измученнаго человѣчества—безъ сомнѣнія, подняла бы сама на себя мечъ, который, рано ли, поздно ли, а опустился бы ей самой на голову. Наоборотъ: что святѣе и чище подвига такой войны, которую предпринимаетъ теперь Россія? Скажутъ, что „вѣдь и Россія, хотъ и вправду идетъ лишь освобождать измученныя племена и возрождать ихъ самостоятельность, но вѣдь тѣмъ самымъ, въ этихъ же племенахъ, пріобрѣтетъ потомъ себѣ же союзниковъ, а, стало быть, силу,—и что, стало быть, все это, разумѣется, составляетъ тотъ же самый законъ развитія національной личности, къ которому стремится и Англія. А такъ какъ замысль „панславизма“ колоссальностью своей, безъ сомнѣнія, можетъ пугать Европу, то ужъ по одному закону самосохраненія, Европа несомнѣнно въ правѣ остановить насъ, точно такъ же, впрочемъ, какъ и мы въ правѣ идти впередъ, нисколько не останавливаясь передъ ея страхомъ и руководясь въ дви-

женіи нашемъ лишь политическою предусмотрительностью и благоразуміемъ. Такимъ образомъ, ничего нѣтъ въ этомъ ни святаго, ни позорнаго, а есть лишь какъ бы вѣковѣчный животный инстинктъ народовъ, которому подчиняются безразлично всѣ, еще недостаточно и неразумно развитыя племена на землѣ. Тѣмъ не менѣе, накопившееса сознание, наука и гуманность, рано ли, поздно ли, непременно должны ослабить вѣковѣчный и звѣрскій инстинктъ неразумныхъ націй и вселить, напротивъ, во всѣхъ народахъ желаніе мира, международнаго единенія и чело-вѣколюбиваго преуспѣянія. А, стало быть, надо все-таки проповѣдывать миръ, а не кровь“.

Святые слова! Но въ настоящемъ случаѣ они какъ-то не прикладываются къ Россіи, или, чтобъ еще лучше выразиться,—Россія составляетъ собою, въ теперешній историческій моментъ всей Европы, какъ бы нѣкоторое исключеніе, что и дѣйствительно такъ. Въ самомъ дѣлѣ, если Россія, столь безкорыстно и правдиво ополчившаяся теперь на спасеніе и на возрожденіе угнетенныхъ племенъ, въ послѣдствіи и усилится ими же, то все же, и въ этомъ даже случаѣ, явить собою самый исключительный примѣръ, котораго ужъ никакъ не ожидаетъ Европа, мѣрящая на свой аршинъ. Усилясь, хотя бы даже чрезмѣрно, союзомъ своимъ съ освобожденными ею племенами, она не бросится на Европу съ мечемъ, не захватить и не отниметъ у ней ничего, какъ бы непременно сдѣлала Европа, если бъ нашла возможность вновь соединиться вся противъ Россіи, и какъ дѣлали въ Европѣ всѣ націи, во всю жизнь свою, чуть только получала какая-нибудь изъ нихъ возможность усилиться на счетъ своей сосѣдки. (И это съ самыхъ дикихъ первобытныхъ временъ Европы вплоть до современной намъ и еще столь недавней Франко-Прусской войны, и куда дѣвалась тогда вся ихняя цивилизація: бросилась самая ученая и просвѣщенная изъ всѣхъ націй на другую, столь же ученую и просвѣщенную и, воспользовавшись случаемъ, загрызла ее какъ дивій звѣрь, выпила ея кровь, выжила изъ нея соки въ видѣ миллиардовъ дани и отрубила у ней цѣлый бокъ въ видѣ двухъ самыхъ лучшихъ провинцій! Да, вправду, виновата ли Европа, если послѣ этого не можетъ понять назначенія Россіи? Имъ ли, гордымъ, ученымъ и сильнымъ, понять и допустить хоть въ фантазіи, что Россія предназначена и создана, можетъ быть, для ихъ же спа-

сенія, и что она только, можетъ быть, произнесетъ, наконецъ, это слово спасенія!). О, да, да, конечно—мы не только ничего не захватимъ у нихъ, и не только ничего не отнимемъ, но именно тѣмъ самымъ обстоятельствомъ, что чрезмѣрно усилимся (союзомъ любви и братства, а не захватомъ и насиліемъ)—тѣмъ самымъ и получимъ, наконецъ, возможность не обнажать меча, а, напротивъ, въ спокойствіи силы своей, явить собою примѣръ уже искренняго мира, международнаго всеединенія и безкорыстія. Мы первые объявимъ міру, что не чрезъ подавленіе личностей иноплеменныхъ намъ національностей хотимъ мы достигнуть собственнаго преуспѣянія, а, напротивъ, видимъ его лишь въ свободнѣйшемъ и самостоятельнѣйшемъ развитіи всѣхъ другихъ націй и въ братскомъ единеніи съ ними, восполняясь одна другою, прививая къ себѣ ихъ органическія особенности и удѣляя имъ и отъ себя вѣтви для прививки, сообщаясь съ ними душой и духомъ, участь у нихъ и уча ихъ, и такъ до тѣхъ поръ, когда человѣчество, восполняясь мировымъ общеніемъ народовъ до всеобщаго единства, какъ великое и великолѣпное древо осѣнитъ собою счастливую землю. О, пускай смѣются надъ этими „фантастическими“ словами наши теперешніе „общечеловѣки“ и самооплевники наши, но мы невиноваты, если вѣримъ тому, т. е. идемъ рука въ руку вмѣстѣ съ народомъ нашимъ, который именно вѣритъ тому. Спросите народъ, спросите солдата: для чего они поднимаются, для чего идутъ и чего желаютъ въ начавшейся войнѣ,—и всѣ скажутъ вамъ, какъ одинъ человѣкъ, что идутъ, чтобъ Христу служить и освободить угнетенныхъ братьевъ, и ни одинъ изъ нихъ не думаетъ о захватѣ. Да, мы тутъ, именно въ теперешней же войнѣ, и докажемъ всю нашу идею о будущемъ предназначеніи Россіи въ Европѣ, именно тѣмъ докажемъ, что, освободивъ славянскія земли, не приобрѣтемъ изъ нихъ себѣ ни клочка (какъ мечтаетъ уже Австрія для себя), а, напротивъ, будемъ надзирать за ихъ же взаимнымъ согласіемъ и оборонять ихъ свободу и самостоятельность хотя бы отъ всей Европы. А если такъ, то идея наша свята и война наша вовсе не „вѣковѣчный и звѣрскій инстинктъ не разумныхъ націй“, а именно первый шагъ къ достиженію того вѣчнаго мира, въ который мы имѣемъ счастье вѣрить, къ достиженію *воистину* международнаго единенія и *воистину* человѣколюбиваго преуспѣянія! И такъ

цім сознаниємъ взаимной солидарности и единенія всѣхъ членовъ, составляющихъ націю. А главное, сознаниємъ исполненнаго долга и совершеннаго хорошаго дѣла: „не совѣмъ же мы упали и развратились, есть же и въ насъ человѣческое!“ И посмотрите, съ чего начинали свою проповѣдь эти столь недавніе наши проповѣдники миролюбія и гуманности: они прямо начинали съ самой безчеловѣчной жестокости. Они сами не хотѣли и другихъ удерживали помочь мученикамъ, взывавшимъ къ намъ. Они, повидимому, столь гуманные и чувствительные, хладнокровно и съ насмѣшкой отрицали необходимость для насъ самопожертвованія и духовнаго подвига. Они желали столкнуть Россію на самую пошлую и недостойную великой націи дорогу, не говоря уже объ ихъ презрѣніи къ народу, признавшему въ славянскихъ мученикахъ братьевъ своихъ, а, стало быть, объ ихъ надменномъ разрывѣ съ волею народной, выше которой поставили они свое фальшивое „европейское“ просвѣщеніе. Любимымъ тезисомъ ихъ было: „врачу исцѣлился самъ“. „Вы лѣзете исцѣлять и спасать другихъ, а у самихъ даже школь не устроено“—выставляли они на видъ. „Что жъ мы и идемъ исцѣляться. Школы важное дѣло, конечно, но школамъ надобенъ духъ и направленіе,—вотъ мы и идемъ теперь запастись духомъ и добывать здоровое направленіе. И добудемъ, особенно если Богъ побѣду пошлетъ. Мы воротимся съ сознаниємъ совершеннаго нами безкорыстнаго дѣла, съ сознаниємъ того, что славно послужили человѣчеству кровью своей, съ сознаниємъ обновленной силы нашей и энергіи нашей—и все это вмѣсто столь недавняго позорнаго шатанія мысли нашей, вмѣсто мертвящаго застоя нашего въ заимствованномъ безъ толку европеизмѣ. Главное же, приобщимся къ народу и соединимся съ нимъ тѣсно,—ибо у него и въ немъ одномъ найдемъ исцѣленіе отъ двухвѣковой болѣзни нашей, отъ двухвѣкового непроезжистаго слабосилія нашего“.

Да и вообще можно сказать, что если общество нездорово и заражено, то даже такое благое дѣло, какъ долгій миръ, вмѣсто пользы обществу обращается ему же во вредъ. Это вообще можно примѣнить даже и ко всей Европѣ. Не даромъ же не проходило поколѣнія въ исторіи европейской, съ тѣхъ поръ какъ мы ее запомнимъ, безъ войны. И такъ, видно и война необходима для чего-нибудь, цѣлительна, облегчаетъ человѣчество. Это возму-

тительно, если подумать отвлеченно, но на практикѣ выходитъ, кажется, такъ, и именно потому, что для зараженнаго организма и такое благое дѣло, какъ миръ, обращается во вредъ. Но все-таки полезною оказывается лишь та война, которая предпринята для идеи, для высшаго и великодушнаго принципа, а не для матеріальнаго интереса, не для жаднаго захвата, не изъ гордаго насилія. Такія войны только сбивали націи на ложную дорогу и всегда губили ихъ. Не мы, такъ дѣти наши увидать, чѣмъ кончить Англія. Теперь для всѣхъ въ мірѣ уже „время близко“. Да и пора.

IV.

Мнѣніе «Тишайшаго» царя о восточномъ вопросѣ.

Мнѣ сообщили одну выписку изъ одного сочиненія, изданнаго въ Кіевѣ въ прошломъ году: „Московское государство при царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ и патриархѣ Никонѣ, по запискамъ архидіакона Павла Алеппскаго. Соч. Ив. Оболенскаго. Кіевъ, 1876 г., стр. 90—91“. Страница изъ сочиненія чужого, но она столь характерна и столь любопытна въ теперешнюю нашу минуту, а самое сочиненіе, вѣроятно, еще такъ мало извѣстно въ общей массѣ публики, что я рѣшился помѣстить эти нѣсколько строкъ въ „Дневникѣ“. Это мнѣніе царя Алексѣя Михайловича о восточномъ вопросѣ,—тоже „Тишайшаго“ царя, но жившаго еще два вѣка тому назадъ, и его тогдашнія слезы о томъ, что онъ не можетъ быть царемъ Освободителемъ.

Говорили, что на Св. Пасху (1656 г.) Государь, христосуясь съ греческими купцами, бывшими въ Москвѣ, сказалъ между прочимъ къ нимъ: «хотите ли вы, и ждете ли, чтобы я освободилъ васъ изъ плѣна и выкупилъ?» И когда они отвѣчали: «какъ можетъ быть иначе? какъ намъ не желать этого?» онъ прибавилъ: «такъ,—повтому, когда вы возвратитесь въ свою сторону, просите всѣхъ монаховъ и епископовъ молить Бога и совершать литургію за меня, чтобы ихъ молитвами дана была мнѣ мощь отрубить голову ихъ врагу». И, проливъ при этомъ обильныя слезы, онъ сказалъ потомъ, обратившись къ вельможамъ: «мое сердце сокрушается о порабощеніи этихъ бѣдныхъ людей, которые стонутъ въ рукахъ враговъ нашей вѣры; Богъ призоветъ меня къ отчету въ день суда, если, имея возможность освободить ихъ, я пренебрегу этимъ.—Я не знаю, какъ долго будетъ продолжаться это дурное состояніе государственныхъ дѣлъ, но со времени моего отъѣзда и предшественниковъ его къ намъ не переставали приходять постоянно съ жалобой на угнетеніе поработителей патриархи, епископы, монахи и простые бѣдняки, изъ которыхъ ни одинъ не приходилъ иначе, какъ только

преслѣдуемый суровою печалью и убѣгая отъ жестокости своихъ господъ; и я боюсь вопросовъ, которые мнѣ предложитъ Творецъ въ тотъ день: и портишилъ въ своемъ умѣ, если Богу угодно, что потрачу все свои войска и свою казну, пролью свою кровь до послѣдней капли, но постараюсь освободить ихъ». На все это вельможи отвѣчали ему: «Господи, даруй по желанію сердца твоего».

ГЛАВА ВТОРАЯ.

СОНЪ СМѢШНОГО ЧЕЛОВѢКА.

ФАНТАСТИЧЕСКІЙ РАЗСКАЗЪ

I.

Я смѣшной человѣкъ. Они меня называютъ теперь сумасшедшимъ. Это было бы повышение въ чинѣ, если бъ я все еще не оставался для нихъ такимъ же смѣшнымъ, какъ и прежде. Но теперь ужъ я не сержусь, теперь они всѣ мнѣ милы и даже когда смѣются надо мной— и тогда чѣмъ-то даже особенно милы. Я бы самъ смѣлся съ ними, — не то что надъ собой, а ихъ любя, если бъ мнѣ не было такъ грустно на нихъ глядя. Грустно потому, что они не знаютъ истины, а я знаю истину. Охъ, какъ тяжело одному знать истину! Но они этого не поймутъ. Нѣтъ, не поймутъ.

А прежде я тосковалъ очень оттого, что казался смѣшнымъ. Не казался, а былъ. Я всегда былъ смѣшонъ, и знаю это, можетъ быть, съ самаго моего рожденія. Можетъ быть, я уже семи лѣтъ зналъ, что я смѣшонъ. Потомъ я учился въ школѣ, потомъ въ университетѣ, и чтó же—чѣмъ больше я учился, тѣмъ больше я научился тому, что я смѣшонъ. Такъ что для меня вся моя университетская наука какъ бы для того только и существовала подъ конецъ, чтобы доказывать и объяснять мнѣ, по мѣрѣ того какъ я въ нее углублялся, что я смѣшонъ. Подобно какъ въ наукѣ, шло и въ жизни. Съ каждымъ годомъ нарастало и укрѣплялось во мнѣ то же самое сознание о моемъ смѣшномъ видѣ во всѣхъ отношеніяхъ. Надо мной смѣялись всѣ и всегда. Но не знали они никто, и не догадывались о томъ, что если былъ человѣкъ на землѣ, больше всѣхъ знавшій про то, что я смѣшонъ, такъ это былъ самъ я, и вотъ это-то было для меня всего обиднѣе, что они этого не знаютъ, но тутъ я самъ былъ виноватъ: я всегда былъ такъ гордъ, что ни за чтó и

никогда не хотѣлъ никому въ этомъ признаться. Гордость эта росла во мнѣ съ годами и если бь случилось такъ, что я хотъ передъ кѣмъ бы то ни было позволилъ бы себѣ признаться, что я смѣшной, то, мнѣ кажется, я тутъ же, въ тотъ же вечеръ, раздробилъ бы себѣ голову изъ револьвера. О, какъ я страдалъ въ моемъ отрочествѣ о томъ, что я не выдержу и вдругъ какъ-нибудь признаюсь самъ товарищамъ. Но съ тѣхъ поръ какъ я сталъ молодымъ человѣкомъ, я хотъ и узнавалъ съ каждымъ годомъ, все больше и больше о моемъ ужасномъ качествѣ, но почему-то сталъ немного спокойнѣе. Именно почему-то, потому что я и до сихъ поръ не могу опредѣлить почему. Можетъ быть, потому, что въ душѣ моей нарастала страшная тоска по одному обстоятельству, которое было уже безконечно выше всего меня: именно—это было постигшее меня одно убѣжденіе въ томъ, что на свѣтѣ вездѣ *все равно*. Я очень давно предчувствовалъ это, но полное убѣжденіе явилось въ послѣдній годъ какъ-то вдругъ. Я вдругъ почувствовалъ, что мнѣ *все равно* было бы, существовалъ ли бы міръ, или если бь нигдѣ ничего не было. Я сталъ слышать и чувствовать всѣмъ существомъ моимъ, что *ничего при мнѣ не было*. Сначала мнѣ все казалось, что зато было многое прежде, но потомъ я догадался, что и прежде ничего тоже не было, а только почему-то казалось. Мало-по-малу я убѣдился, что и никогда ничего не будетъ. Тогда я вдругъ пересталъ сердиться на людей, и почти сталъ не примѣчать ихъ. Право, это обнаружилось даже въ самыхъ мелкихъ пустякахъ, я, напримѣръ, случалось, иду по улицѣ и натыкаюсь на людей. И не то чтобъ отъ задумчивости: объ чемъ мнѣ было думать, я совсѣмъ пересталъ тогда думать: мнѣ было все равно. И добро бы я разрѣшилъ вопросы; о, ни одного не разрѣшилъ, а сколько ихъ было? Но мнѣ стало *все равно*, и вопросы всѣ удалились.

И вотъ, послѣ того ужъ, я узналъ истину. Истину я узналъ въ прошломъ ноябрѣ, и именно третьяго ноября, и съ того времени я каждое мгновенье мое помню. Это было въ мрачный, самый мрачный вечеръ, какой только можетъ быть. Я возвращался тогда въ одиннадцатомъ часу вечера домой и именно, помню, я подумалъ, что ужъ не можетъ быть болѣе мрачнаго времени. Даже въ физическомъ отношеніи. Дождь лилъ весь день, и это былъ самый холодный и мрачный дождь, какой-то даже

грозный дождь, я это помню, съ явной враждебностью къ людямъ, а тутъ вдругъ, въ одиннадцатомъ часу, пересталъ, и началась страшная сырость, сырѣе и холоднѣе чѣмъ когда дождь шель, и ото всего шель какой-то паръ, отъ каждаго камня на улицѣ и изъ каждаго переулка, если заглянуть въ него въ самую глубь, подальше, съ улицы. Мнѣ вдругъ представилось, что если бъ потухъ вездѣ газъ, то стало бы отраднѣе, а съ газомъ грустнѣе сердцу, потому что онъ все это освѣщаетъ. Я въ этотъ день почти не обѣдалъ и съ ранняго вечера просидѣлъ у одного инженера, а у него сидѣли еще двое пріятелей. Я все молчалъ и, кажется, имъ надоѣлъ. Они говорили объ чемъ-то вызывающемъ и вдругъ даже разгорячились. Но имъ было все равно, я это видѣлъ, и они горячились только такъ. Я имъ вдругъ и высказалъ это: „Господа, вѣдь вамъ, говорю, все равно“. Они не обидѣлись, а всѣ надо мной засмѣялись. Это оттого, что я сказалъ безъ всякаго упрека, и просто потому, что мнѣ было все равно. Они и увидѣли, что мнѣ все равно, и имъ стало весело.

Когда я на улицѣ подумалъ про газъ, то взглянулъ на небо. Небо было ужасно темное, но явно можно было различить разорванныя облака, а между ними бездонныя черныя пятна. Вдругъ я замѣтилъ въ одномъ изъ этихъ пятенъ звѣздочку и сталъ пристально глядѣть на нее. Это потому, что эта звѣздочка дала мнѣ мысль: я положилъ въ эту ночь убить себя. У меня это было твердо положено еще два мѣсяца назадъ и какъ я ни бѣденъ, а купилъ прекрасный револьверъ и въ тотъ же день зарядилъ его. Но прошло уже два мѣсяца, а онъ все лежалъ въ ящикѣ; но мнѣ было до того все равно, что захотѣлось наконецъ улучшить минуту, когда будетъ не такъ все равно, для чего такъ—не знаю. И такимъ образомъ, въ эти два мѣсяца я каждую ночь, возвращаясь домой, думалъ, что застрѣлюсь. Я все ждалъ минуты. И вотъ теперъ эта звѣздочка дала мнѣ мысль, и я положилъ, что это будетъ *непремѣнно* уже въ эту ночь. А почему звѣздочка дала мысль—не знаю.

И вотъ, когда я смотрѣлъ на небо, меня вдругъ схватила за локоть эта дѣвочка. Улица уже была пуста и никого почти не было. Вдали спалъ на дрожкахъ извозчикъ. Дѣвочка была лѣтъ восьми, въ платочкѣ и въ одномъ платьишкѣ, вся мокрая, но я запомнилъ особенно ея мокрые разорванные башмаки, и теперъ помню. Они мнѣ

особенно мелькнули въ глаза. Она вдругъ стала дергать меня за локоть и звать. Она не плакала, но какъ-то отрывисто выкрикивала какія-то слова, которыя не могла хорошо выговорить, потому что вся дрожала мелкой дрожью въ ознобѣ. Она была отъ чего-то въ ужасѣ и кричала отчаянно: „мамочка! мамочка!“ Я обернулъ было къ ней лицо, но не сказалъ ни слова и продолжалъ идти, но она бѣжала и дергала меня и въ голосѣ ея прозвучалъ тотъ звукъ, который у очень испуганныхъ дѣтей означаетъ отчаяніе. Я знаю этотъ звукъ. Хоть она и не договаривала слова, но я понялъ, что ея мать гдѣ-то умираетъ, или что-то тамъ съ ними случилось и она выбѣжала позвать кого-то, найти что-то, чтобъ помочь мамѣ. Но я не пошелъ за ней и, напротивъ, у меня явилась вдругъ мысль прогнать ее. Я сначала ей сказалъ, чтобъ она отыскала городского. Но она вдругъ сложила ручки и, всхлипывая, задыхаясь, все бѣжала сбоку и не покидала меня. Вотъ тогда-то я топнулъ на нее и крикнулъ. Она прокричала лишь: „баринъ, баринъ!..“ но вдругъ бросила меня и стремглавъ перебѣжала улицу: тамъ показался тоже какой-то прохожій и она, видно, бросилась отъ меня къ нему.

Я поднялся въ мой пятый этажъ. Я живу отъ хозяевъ и у насъ номера. Комната у меня бѣдная и маленькая, а окно чердачное, полукруглое. У меня клеенчатый диванъ, столъ, на которомъ книги, два стула и покойное кресло, старое — престарое, но зато вольтеровское. Я сѣлъ, зажегъ свѣчку и сталъ думать. Рядомъ, въ другой комнатѣ, за перегородкой, продолжался содомъ. Онъ шелъ у нихъ еще съ третьяго дня. Тамъ жилъ отставной капитанъ, а у него были гости — человекъ шесть стрючниковъ, пили водеу и играли въ штосъ старыми картами. Въ прошлую ночь была драка и я знаю, что двое изъ нихъ долго таскали другъ друга за волосы. Хозяйка хотѣла жаловаться, но она боится капитана ужасно. Прочихъ жильцовъ у насъ въ номерахъ всего одна маленькая ростомъ и худенькая дама, изъ полковыхъ, пріѣзжая, съ тремя маленькими и заболѣвшими уже у насъ въ номерахъ дѣтьми. И она, и дѣти боятся капитана до обмороку и всю ночь трясутся и крестятся, а съ самымъ маленькимъ ребенкомъ былъ отъ страху какой-то припадокъ. Этотъ капитанъ, я навѣрно знаю, останавливаетъ иной разъ прохожихъ на Невскомъ и проситъ на бѣдность. На

службу его не принимаютъ, но, странное дѣло (я вѣдь къ тому и рассказываю это), капитанъ во весь мѣсяцъ, съ тѣхъ поръ какъ живетъ у насъ, не возбудилъ во мнѣ никакой досады. Отъ знакомства я, конечно, уклонился съ самаго начала, да ему и самому скучно со мной стало съ перваго же разу, но сколько бы они ни кричали за своей перегородкой и сколько бы ихъ тамъ ни было — мнѣ всегда все равно. Я сижу всю ночь и, право, ихъ не слышу, — до того о нихъ забываю. Я вѣдь каждую ночь не сплю до самаго разсвѣта и вотъ уже этакъ годъ. Я просиживаю всю ночь у стола въ креслахъ и ничего не дѣлаю. Книги читаю я только днемъ. Сижу и даже не думаю, а такъ, какія-то мысли бродятъ, а я ихъ пускаю на волю. Свѣчка сгорааетъ въ ночь вся. Я сѣлъ у стола тихо, вынулъ револьверъ и положилъ передъ собою. Когда я его положилъ, то, помню, спросилъ себя: „такъ ли?“ и совершенно утвердительно отвѣтилъ себѣ: „такъ“. То-есть застрѣлюсь. Я зналъ, что ужъ въ эту ночь застрѣлюсь навѣрно, но сколько еще просижу до тѣхъ поръ за столомъ—этого не зналъ. И ужъ, конечно бы, застрѣлился, если бъ не та дѣвочка.

II.

Видите ли: хоть мнѣ и было все равно, но вѣдь боль-то я, напримѣръ, чувствовалъ. Ударъ меня кто и я бы почувствовалъ боль. Такъ точно и въ нравственномъ отношеніи: случись что-нибудь очень жалкое, то почувствовалъ бы жалость, такъ же какъ и тогда, когда мнѣ было еще въ жизни не все равно. Я и почувствовалъ жалость давеча: ужъ ребенку-то я бы непременно помогъ. Почему жъ я не помогъ дѣвочкѣ? А изъ одной явившейся тогда идеи: когда она дергала и звала меня, то вдругъ возникъ тогда передо мной вопросъ и я не могъ разрѣшить его. Вопросъ былъ праздный, но я разсердился. Разсердился вслѣдствіе того вывода, что если я уже рѣшилъ, что въ нынѣшнюю ночь съ собой покончу, то, стало-быть, мнѣ все на свѣтѣ должно было стать теперь, болѣе чѣмъ когда-нибудь, все равно. Отчего же я вдругъ почувствовалъ, что мнѣ не все равно и я жалѣю дѣвочку? Я помню, что я ее очень пожалѣлъ; до какой-то даже странной боли и совсѣмъ даже невѣроятной въ моемъ положеніи. Право, я не умѣю лучше передать этого тогдашняго моего мимолетнаго ощущенія, но ощущение продол-

жалось и дома, когда уже я засѣлъ за столомъ и я очень былъ раздраженъ, какъ давно уже не былъ. Разсужденіе текло за разсужденіемъ. Представлялось яснымъ, что если я человекъ, и еще не нуль, и пока не обратился въ нуль, то живу, а слѣдственно могу страдать, сердиться и ощущать стыдъ за свои поступки. Пусть. Но вѣдь если я убью себя, напимѣрь, черезъ два часа, то что мнѣ дѣвочка и какое мнѣ тогда дѣло и до стыда, и до всего на свѣтѣ? Я обращаюсь въ нуль, въ нуль абсолютный. И неужели сознание о томъ, что я сейчасъ совершенно не буду существовать, а, стало-быть, и ничто не будетъ существовать, не могло имѣть ни малѣйшаго вліянія ни на чувство жалости къ дѣвочкѣ, ни на чувство стыда послѣ сдѣланной подлости? Вѣдь я потому-то и затопалъ и закричалъ дикимъ голосомъ на несчастнаго ребенка, что, дескать, не только — вотъ не чувствую жалости, но если и безчеловѣчную подлость сдѣлаю, то теперь могу, потому что черезъ два часа все угаснетъ. Вѣрите ли, что потому закричалъ? Я теперь почти убѣжденъ въ этомъ. Яснымъ представлялось, что жизнь и міръ теперь какъ бы отъ меня зависятъ. Можно сказать даже такъ, что міръ теперь какъ бы для меня одного и сдѣланъ: застрѣлюсь я и міра не будетъ, по крайней мѣрѣ, для меня. Не говоря уже о томъ, что, можетъ-быть, и дѣйствительно ни для кого ничего не будетъ послѣ меня, и весь міръ, только лишь угаснетъ мое сознание, угаснетъ тотчасъ какъ призракъ, какъ принадлежность лишь одного моего сознания, и упразднится, ибо, можетъ-быть, весь этотъ міръ и всѣ эти люди — я-то самъ одинъ и есть. Помню, что сидя и разсуждая, я обертывалъ всѣ эти новые вопросы, тѣснившіеся одинъ за другимъ, совсѣмъ даже въ другую сторону и выдумывалъ совсѣмъ ужъ новое. Напимѣрь, мнѣ вдругъ представилось одно странное соображеніе, что если бѣ я жилъ прежде на лунѣ, или на Марсѣ, и сдѣлалъ бы тамъ какой-нибудь самый срамный и безчестный поступокъ, какой только можно себѣ представить, и былъ тамъ за него поруганъ и обезчещенъ такъ, какъ только можно ощутить и представить лишь развѣ иногда во снѣ, въ кошмарѣ, и если бѣ, очутившись потомъ на землѣ, я продолжалъ бы сохранять сознание о томъ, что сдѣлалъ на другой планетѣ, и кромѣ того зналъ бы, что уже туда ни за что и никогда не возвращусь, то, смотря съ земли на луну, — было бы мнѣ *все равно* или нѣтъ? Ощущалъ ли

бы я за тотъ поступокъ стыдъ или нѣтъ? Вопросы были праздные и лишніе, такъ какъ револьверъ лежалъ уже передо мною, и я всѣмъ существомъ моимъ зналъ, что *это* будетъ навѣрно, но они горячили меня и я бѣсился. Я какъ бы уже не могъ умереть теперь, чего-то не разрѣшивъ предварительно. Однимъ словомъ, эта дѣвочка спасла меня, потому что я вопросами отдалилъ выстрѣлъ. У капитана же между тѣмъ стало тоже все утихать: они кончили въ карты, устраивались спать, а пока ворчали и лѣниво доругивались. Вотъ тутъ-то я вдругъ и заснулъ, чего никогда со мной не случалось прежде, за столомъ въ креслахъ. Я заснулъ совершенно мнѣ непримѣтно. Сны, какъ извѣстно, чрезвычайно странная вещь: одно представляется съ ужасающею ясностью, съ ювелирски-мелочною отдѣлкой подробностей, а черезъ другое перескакиваешь, какъ бы не замѣчая вовсе, напримѣръ, черезъ пространство и время. Сны, кажется, стремить не разсудокъ, а желаніе, не голова, а сердце, а между тѣмъ какія хитрѣйшія вещи продѣлывалъ иногда мой разсудокъ во снѣ! Между тѣмъ, съ нимъ происходятъ во снѣ вещи совсѣмъ непостижимыя. Мой братъ, напримѣръ, умеръ пять лѣтъ назадъ. Я иногда его вижу во снѣ: онъ принимаетъ участіе въ моихъ дѣлахъ, мы очень заинтересованы, а между тѣмъ я вѣдь вполне, во все продолженіе сна, знаю и помню, что братъ мой померъ и схороненъ. Какъ же я не дивлюсь тому, что онъ, хоть и мертвый, а все-таки тутъ, подлѣ меня и со мной хлопочетъ? Почему разумъ мой совершенно допускаетъ все это? Но, довольно. Приступаю ко сну моему. Да, мнѣ приснился тогда этотъ сонъ, мой сонъ третьяго ноября! Они дразнятъ меня теперь тѣмъ, что вѣдь это былъ только сонъ. Но неужели не все равно сонъ или нѣтъ, если сонъ этотъ возвѣстилъ мнѣ истину? Вѣдь если разъ узналъ истину и увидѣлъ ее, то вѣдь знаешь, что она истина и другой нѣтъ и не можетъ быть, спите вы или живете. Ну, и пусть сонъ, и пусть, но эту жизнь, которую вы такъ превозносите, а хотѣлъ погасить самоубійствомъ, а сонъ мой, сонъ мой,— о, онъ возвѣстилъ мнѣ новую, великую, обновленную, сильную жизнь!

Слушайте.

III.

Я сказалъ, что заснулъ незамѣтно, и даже какъ бы продолжая разсуждать о тѣхъ же матеріяхъ. Вдругъ, при-

снилось мнѣ, что я беру револьверъ, и, сидя, наставляю его прямо въ сердце,—въ сердце, а не въ голову; я же положилъ прежде непременно застрѣлиться въ голову и именно въ правый високъ. Наставивъ въ грудь, я подождалъ секунду или двѣ, и свѣчка моя, столъ и стѣна передо мною вдругъ задвигались и заколыхались. Я поскорѣе выстрѣлилъ.

Во снѣ вы падаете иногда съ высоты, или рѣжутъ васъ, или бьютъ, но вы никогда не чувствуете боли, кромѣ развѣ если сами какъ-нибудь дѣйствительно ушибетесь въ кровати: тутъ вы почувствуете боль и всегда почти отъ боли проснетесь. Такъ и во снѣ моемъ: боли я не чувствовалъ, но мнѣ представилось, что съ выстрѣломъ моимъ все во мнѣ сотряслось и все вдругъ потухло и стало кругомъ меня ужасно черно. Я какъ будто ослѣпъ и онѣмѣлъ, и вотъ я лежу на чемъ-то твердомъ, протянутый, навзничъ, ничего не вижу и не могу сдѣлать ни малѣйшаго движенія. Кругомъ ходятъ и кричатъ, бьютъ капитанъ, визжитъ хозяйка, — и вдругъ опять перерывъ, и вотъ уже меня несутъ въ закрытомъ гробѣ. И я чувствую какъ колыхается гробъ, и разсуждаю объ этомъ, и вдругъ меня въ первый разъ поражаетъ идея, что вѣдь я умеръ, совсѣмъ умеръ, знаю это и не сомнѣваюсь, не вижу и не движусь, а между тѣмъ чувствую и разсуждаю. Но я скоро мирюсь съ этимъ и, по обыкновенію, какъ во снѣ, принимаю дѣйствительность безъ спору.

И вотъ меня зарываютъ въ землю. Всѣ уходятъ, я одинъ, совершенно одинъ. Я не движусь. Всегда, когда я прежде на яву представлялъ себѣ какъ меня похоронятъ въ могилѣ, то собственно съ могилой соединялъ лишь одно ощущеніе сырости и холода. Такъ и теперь, я почувствовалъ, что мнѣ очень холодно, особенно концамъ пальцевъ на ногахъ, но больше ничего не чувствовалъ.

Я лежалъ и, странно, — ничего не ждалъ, безъ спору принимая, что мертвому ждать нечего. Но было сыро. Не знаю, сколько прошло времени,—часъ или нѣсколько дней, или много дней. Но вотъ вдругъ, на лѣвый закрытый глазъ мой упала просочившаяся черезъ крышу гроба капля воды, за ней черезъ минуту другая, затѣмъ черезъ минуту третья, и такъ далѣе, и такъ далѣе, все черезъ минуту. Глубокое негодованіе загорѣлось вдругъ въ сердцѣ моемъ, и вдругъ я почувствовалъ въ немъ фи-

зическую боль: „Это рана моя“, подумалъ я, „это выстрѣлъ, тамъ пуля“... А капля все капала каждую минуту и прямо на закрытый мой глазъ. И я вдругъ воззвалъ, не голосомъ, ибо былъ недвижимъ, но всѣмъ существомъ моимъ къ властителю всего того, что совершалось со мною:

— Кто бы ты ни былъ, но если ты есть, и если существуетъ что-нибудь разумнѣе того, что теперь совершается, то дозвожь ему быть и здѣсь. Если же ты мстишь мнѣ за неразумное самоубійство мое—безобразіемъ и нелѣпостью дальнѣйшаго бытія, то знай, что никогда и никакому мученію, какое бы ни постигло меня, не сравниться съ тѣмъ презрѣніемъ, которое я буду молча ощущать, хотя бы въ продолженіе миллионовъ лѣтъ мученичества!..

Я воззвалъ и смолкъ. Цѣлую почти минуту продолжалось глубокое молчаніе и даже еще одна капля упала, но я зналъ, я беспредѣльно и нерушимо зналъ и вѣрилъ, что непременно сейчасъ все измѣнится. И вотъ, вдругъ, разверзлась могила моя. То-есть я не знаю, была ли она раскрыта и раскопана, но я былъ взятъ какимъ-то темнымъ и неизвѣстнымъ мнѣ существомъ и мы очутились въ пространствѣ. Я вдругъ прозрѣлъ: Была глубокая ночь и никогда, никогда еще не было такой темноты! Мы неслись въ пространствѣ уже далеко отъ земли. Я не спрашивалъ того, который несъ меня, ни о чемъ, я ждалъ и былъ гордъ. Я увѣрялъ себя, что не боюсь, и замиралъ отъ восхищенія при мысли, что не боюсь. Я не помню, сколько времени мы неслись и не могу представить: совершалось все такъ, какъ всегда во снѣ, когда перескакиваешь черезъ пространство и время и черезъ законы бытія и разсудка, и останавливаешься лишь на точкахъ, о которыхъ грезить сердце. Я помню, что вдругъ увидалъ въ темнотѣ одну звѣздочку. „Это Сиріусъ?“ спросилъ я, вдругъ не удержавшись, ибо я не хотѣлъ ни о чемъ спрашивать.— „Нѣтъ, это та самая звѣзда, которую ты видѣлъ между облаками, возвращаясь домой“, отвѣчало мнѣ существо, уносившее меня. Я зналъ, что оно имѣло какъ бы ликъ человѣческій. Странное дѣло, я не любилъ это существо, даже чувствовалъ глубокое отвращеніе. Я ждалъ совершеннаго небытія и съ тѣмъ выстрѣлилъ себѣ въ сердце. И вотъ я въ рукахъ существа, конечно, не человѣческаго, но которое *есть*, существуетъ: „А, стало-бытъ, есть и за

гробомъ жизнь!“ подумалъ я съ страннымъ легкомысліемъ сна, но сущность сердца моего оставалась со мною во всей глубинѣ: „И если надо *быть* снова“, подумалъ я, „и жить опять по чьей-то неустранимой волѣ, то не хочу, чтобъ меня побѣдили и унизили!“ — „Ты знаешь, что я боюсь тебя и за то презираешь меня“, сказалъ я вдругъ моему спутнику, не удержавшись отъ унижительнаго вопроса, въ которомъ заключалось признаніе, и ощутивъ, какъ уколъ булавки, въ сердцѣ моемъ униженіе мое. Онъ не отвѣтилъ на вопросъ мой, но я вдругъ почувствовалъ, что меня не презираютъ, и надо мной не смѣются, и даже не сожалѣютъ меня, и что путь нашъ имѣетъ цѣль, неизвѣстную и таинственную, и касающуюся одного меня. Страхъ нарасталъ въ моемъ сердцѣ. Что-то нѣмо, но съ мученіемъ сообщалось мнѣ отъ моего молчавшаго спутника и какъ бы проникало меня. Мы неслись въ темныхъ и невѣдомыхъ пространствахъ. Я давно уже пересталъ видѣть знакомыя глазу созвѣздія. Я зналъ, что есть такія звѣзды въ небесныхъ пространствахъ, отъ которыхъ лучи доходятъ на землю лишь въ тысячи и миллионы лѣтъ. Можетъ-быть, мы уже пролетали эти пространства. Я ждалъ чего-то въ страшной измучившей мое сердце тоскѣ. И вдругъ какое-то знакомое и въ высшей степени зовущее чувство сотрясло меня; я увидѣлъ вдругъ наше солнце! Я зналъ, что это не могло быть *наше* солнце, породившее *нашу* землю, и что мы отъ нашего солнца на безконечномъ разстояніи, но я узналъ почему-то, всѣмъ существомъ моимъ, что это совершенно такое же солнце, какъ и наше, повтореніе его и двойникъ его. Сладкое, зовущее чувство зазвучало восторгомъ въ душѣ моей: родная сила свѣта, тою же, который родилъ меня, отозвалась въ моемъ сердцѣ и воскресила его, и я ощутилъ жизнь, прежнюю жизнь, въ первый разъ послѣ моей могилы.

— „Но если это—солнце, если это совершенно такое же солнце, какъ наше, вскричалъ я,—то гдѣ же земля?“ И мой спутникъ указалъ мнѣ на звѣздочку, сверкающую въ темнотѣ изумруднымъ блескомъ. Мы неслись прямо къ ней.

— И неужели возможны такія повторенія во вселенной, неужели таковъ природный законъ?.. И если это тамъ земля, то неужели она такая же земля, какъ и наша... совершенно такая же, несчастная, бѣдная, но дорогая и вѣчно любимая, и такую же, мучительную любовь рождаю-

щая къ себѣ въ самыхъ неблагодарныхъ даже дѣтяхъ своихъ, какъ и наша?.. вскрикивалъ я, сотрясаясь отъ неужеримой, восторженной любви къ той родной прежней землѣ, которую я покинулъ. Образъ бѣдной дѣвочки, которую я обидѣлъ, промелькнулъ передо мною.

— Увидишь все, отвѣтилъ мой спутникъ, и какая-то печаль слышалась въ его словѣ. Но мы быстро приближались къ планетѣ. Она росла въ глазахъ моихъ, я уже различалъ океанъ, очертанія Европы, и вдругъ странное чувство какой-то великой, святой ревности возгорѣлось въ сердцѣ моемъ: „какъ можетъ быть подобное повтореніе и для чего? Я люблю, я могу любить лишь ту землю, которую я оставилъ, на которой остались брызги крови моей, когда я, неблагодарный, выстрѣломъ въ сердце мое погасилъ мою жизнь. Но никогда, никогда не переставалъ я любить ту землю, и даже въ ту ночь, разставаясь съ ней, я, можетъ-быть, любилъ ее мучительнѣе чѣмъ когда-либо. Есть ли мученіе на этой новой землѣ? На нашей землѣ мы истинно можемъ любить лишь съ мученіемъ и только черезъ мученіе! Мы иначе не умѣемъ любить и не знаемъ иной любви. Я хочу мученія, чтобъ любить. Я хочу, я жажду, въ сію минуту, цѣловать, обливаясь слезамя, лишь одну ту землю, которую я оставилъ, и не хочу, не принимаю жизни ни на какой иной!..

Но спутникъ мой уже оставилъ меня. Я вдругъ, совсѣмъ какъ бы для меня незамѣтно, сталъ на этой другой землѣ въ яркомъ свѣтѣ солнечнаго, прелестнаго какъ рай дня. Я стоялъ, кажется, на одномъ изъ тѣхъ острововъ, которые составляютъ на нашей землѣ Греческій архипелагъ, или гдѣ-нибудь на побережьи материка, прилегающаго къ этому архипелагу. О, все было точно такъ же, какъ у насъ, но, казалось, всюду сіяло какимъ-то праздникомъ и великимъ, святымъ и достигнутымъ, наконецъ, торжествомъ. Ласковое изумрудное море тихо плескало о берега и лобызало ихъ съ любовью, явной, видимой, почти сознательной. Высокія, прекрасныя деревья стояли во всей роскоши своего цвѣта, а безчисленные листочки ихъ, я убѣжденъ въ томъ, привѣтствовали меня тихимъ, ласковымъ своимъ шумомъ, и какъ бы выговаривали какія-то слова любви. Мурава горѣла яркими ароматными цвѣтами. Птички стадами перелетали въ воздухъ, и, не боясь меня, садились мнѣ на плечи и на руки и радостно били меня своими милыми, трепетными крылышками. И, на-

нець, я увидѣлъ и узналъ людей счастливой земли этой. Они пришли ко мнѣ сами, они окружили меня, цѣловали меня. Дѣти солнца, дѣти своего солнца, — о, какъ они были прекрасны! Никогда я не видывалъ на нашей землѣ такой красоты въ человѣкѣ. Развѣ лишь въ дѣтахъ нашихъ, въ самые первые годы ихъ возраста, можно бы было найти отдаленный, хотя и слабый отблескъ красоты этой. Глаза этихъ счастливыхъ людей сверкали яснымъ блескомъ. Лица ихъ сияли разумомъ и какимъ-то восполнившимся уже до спокойствія сознаніемъ, но лица эти были веселы; въ словахъ и голосахъ этихъ людей звучала дѣтская радость. О, я тотчасъ же, при первомъ взглядѣ на ихъ лица, понималъ все, все! Это была земля не оскверненная грѣхопаденіемъ, на ней жили люди не согрѣшившіе, жили въ такомъ же раю, въ какомъ жили, по преданіямъ всего человѣчества, и наши согрѣшившіе прародители, съ тою только разницею, что вся земля здѣсь была повсюду однимъ и тѣмъ же раемъ. Эти люди, радостно смѣясь, тѣснились ко мнѣ и ласкали меня; они увели меня къ себѣ и всякому изъ нихъ хотѣлось успокоить меня. О, они не спрашивали меня ни о чемъ, но какъ бы все уже знали, такъ мнѣ казалось, и имъ хотѣлось согнать поскорѣе страданіе съ лица моего.

IV.

Видите ли что, опять-таки: Ну, пусть это былъ только сонъ! Но ощущеніе любви этихъ невинныхъ и прекрасныхъ людей осталось во мнѣ навѣки, и я чувствую, что ихъ любовь изливается на меня и теперь оттуда. Я видѣлъ ихъ самъ, ихъ позналъ и убѣдился, я любилъ ихъ, я страдалъ за нихъ потомъ. О, я тотчасъ же понималъ, даже тогда, что во многомъ не пойму ихъ вовсе; мнѣ, какъ современному русскому прогрессисту и гнусному петербуржцу, казалось неразрѣшимымъ то, на примѣръ, что они, зная столь много, не имѣютъ нашей науки. Но я скоро понялъ, что знаніе ихъ восполнялось и питалось иными проникновеніями, чѣмъ у насъ на землѣ, и что стремленія ихъ были тоже совсѣмъ иныя. Они не желали ничего и были спокойны, они не стремились къ познанію жизни такъ, какъ мы стремимся сознать ее, потому что жизнь ихъ была восполнена. Но знаніе ихъ было глубже и высшее, чѣмъ у нашей науки; ибо наука наша ищетъ объяснить что такое жизнь, сама стремится сознать ее, чтобы

научить другихъ жить; они же и безъ науки знали, какъ имъ жить, и это я понялъ, но я не могъ понять ихъ знанія. Они указывали мнѣ на деревья свои, и я не могъ понять той степени любви, съ которою они смотрѣли на нихъ: точно они говорили о себѣ подобными существами. И знаете, можетъ быть, я не ошибусь, если скажу, что они говорили съ ними! Да, они нашли ихъ языкъ и убѣжденъ, что тѣ понимали ихъ. Такъ смотрѣли они и на всю природу, — на животныхъ, которыя жили съ ними мирно, не нападали на нихъ и любили ихъ, побѣжденныя ихъ же любовью. Они указывали мнѣ на звѣзды и говорили о нихъ со мною о чемъ-то, чего я не могъ понять, но я убѣжденъ, что они какъ бы чѣмъ-то соприкасались съ небесными звѣздами, не мыслю только, а какимъ-то живымъ путемъ. О, эти люди и не добивались, чтобъ я понималъ ихъ, они любили меня и безъ того, но зато я зналъ, что они никогда не поймутъ меня, а потому почти и не говорилъ имъ о нашей землѣ. Я лишь цѣловалъ при нихъ ту землю, на которой они жили, и безъ словъ обожалъ ихъ самихъ, и они видѣли это и давали себя обожать, не стыдясь, что я ихъ обожаю потому, что много любили сами. Они не страдали за меня, когда я, въ слезахъ, порою цѣловалъ ихъ ноги, радостно зная въ сердцѣ своемъ, какой силою любви они мнѣ отвѣтятъ. Порою я спрашивалъ себя въ удивленіи: какъ могли они, все время, не оскорбить такого какъ я, и ни разу не возбудить въ такомъ какъ я чувства ревности и зависти? Много разъ я спрашивалъ себя, какъ могъ я, хвастунъ и джеецъ, не говорить имъ о моихъ познаніяхъ, о которыхъ, конечно, они не имѣли понятія, не желать удивить ихъ ими, или хотя бы только изъ любви къ нимъ?—Они были рѣзвы и веселы какъ дѣти. Они блуждали по своимъ прекраснымъ рощамъ и лѣсамъ, они пѣли свои прекрасныя пѣсни, они питались легкою пищею, плодами своихъ деревьевъ, медомъ лѣсовъ своихъ, и молокомъ ихъ любившихъ животныхъ. Для пищи и для одежды своей они трудились лишь немного и слегка. У нихъ была любовь и рождались дѣти, но никогда я не замѣчалъ въ нихъ порывовъ того *жесточкаго* сладострастія, которое постигаетъ почти всѣхъ на нашей землѣ, всѣхъ и всякаго, служить единственнымъ источникомъ почти всѣхъ грѣховъ нашего человечества. Они радовались являвшимся у нихъ дѣтямъ какъ новымъ участникамъ въ ихъ блаженствѣ. Между ними

не было ссоръ и не было ревности, и они не понимали даже, что это значить. Ихъ дѣти были дѣтьми всѣхъ, потому что всѣ составляли одну семью. У нихъ почти со-всѣмъ не было болѣзней, хоть и была смерть; но старики ихъ умирали тихо, какъ бы засыпая, окруженные прощавшимися съ ними людьми, благословляя ихъ, улыбаясь имъ и сами напутствуемые ихъ свѣтлыми улыбками. Скорби, слезъ при этомъ я не видалъ, а была лишь умно-жившаяся какъ бы до восторга любовь, но до восторга спокойнаго, восполнившася, созерцательнаго.—Подумать можно было, что они соприкасались еще съ умершими своими даже и послѣ ихъ смерти и что земное единеніе между ними не прерывалось смертію. Они почти не по-нимали меня, когда я спрашивалъ ихъ про вѣчную жизнь, но видимо были въ ней до того убѣждены безотчетно, что это не составляло для нихъ вопроса. У нихъ не было храмовъ, но у нихъ было какое-то насущное, живое и непрерывное единеніе съ Цѣлымъ вселенной; у нихъ не было вѣры, зато было твердое знаніе, что когда испол-нится ихъ земная радость до предѣловъ природы земной, тогда наступить для нихъ, и для живущихъ, и для умер-шихъ, еще большее расширеніе соприкосновенія съ Цѣ-лымъ вселенной. Они ждали этого мгновенія съ радостію, но не торопясь, не страдая по немъ, а какъ бы уже имѣя его въ предчувствіяхъ сердца своего, о которыхъ они со-общали другъ другу. По вечерамъ, отходя ко сну, они любили составлять согласные и стройные хоры. Въ этихъ пѣсняхъ они передавали всѣ свои ощущенія, которыя до-ставилъ имъ отходящій день, славилъ его и прощались съ нимъ. Они славилъ природу, землю, море, лѣса. Они любили слагать пѣсни другъ о другѣ, и хвалили другъ друга какъ дѣти; это были самыя простыя пѣсни, но онѣ выливались изъ сердца и проникали сердца. Да и не въ пѣсняхъ однѣхъ, а, казалось, и всю жизнь свою они про-водили лишь въ томъ, что любовались другъ другомъ. Это была какая-то влюбленность другъ въ друга, всецѣ-лая, всеобщая. Иныхъ же ихъ пѣсень, торжественныхъ и восторженныхъ, я почти не понималъ вовсе. Понимая слова, я никогда не могъ проникнуть во все ихъ значе-ніе. Оно оставалось какъ бы недоступно моему уму, зато сердце мое какъ бы проникалось имъ безотчетно и все болѣе и болѣе. Я часто говорилъ имъ, что я все это давно уже прежде предчувствовалъ, что вся эта радость

и слава оказывалась мнѣ еще на нашей землѣ зовущею тоскою, доходившею подчасъ до нестерпимой скорби; что я предчувствовалъ всѣхъ ихъ и славу ихъ въ снахъ моего сердца и въ мечтахъ ума моего, что я часто не могъ смѣть, на землѣ нашей, на заходящее солнце безъ слезъ... Что въ ненависти моей къ людямъ нашей земли заключалась всегда тоска: зачѣмъ я не могу ненавидѣть ихъ не любя ихъ, зачѣмъ не могу не прощать ихъ, а въ любви моей къ нимъ тоска: зачѣмъ не могу любить ихъ ненавидя ихъ? Они слушали меня и я видѣлъ, что они не могли представить себѣ то, что я говорю, но я не жалѣлъ, что имъ говорилъ о томъ: я зналъ, что они понимаютъ всю силу тоски моей о тѣхъ, кого я покинулъ. Да, когда они глядѣли на меня своимъ милымъ проникнутымъ любовью взглядомъ, когда я чувствовалъ, что при нихъ и мое сердце становилось столь же невиннымъ и правдивымъ, какъ и ихъ сердца, то и не жалѣлъ, что не понимаю ихъ. Отъ ощущенія полноты жизни мнѣ хватывало духъ и я молча молился на нихъ.

О, всѣ теперь смѣются мнѣ въ глаза и увѣряютъ меня, что и во снѣ нельзя видѣть такія подробности, какія я передаю теперь, что во снѣ моемъ я видѣлъ или прочувствовалъ лишь одно ощущеніе, порожденное моимъ же сердцемъ въ бреду, а подробности уже самъ сочинилъ проснувшись. И когда я открылъ имъ, что, можетъ-быть, въ самомъ дѣлѣ такъ было—Боже, какой смѣхъ они подняли мнѣ въ глаза и какое я имъ доставилъ веселье! О, да, конечно, я былъ побѣжденъ лишь однимъ ощущеніемъ того сна, и оно только одно уцѣлѣло въ до крови раненомъ сердцѣ моемъ: но зато дѣйствительные образы и формы сна моего, т.-е. тѣ, которыя я въ самомъ дѣлѣ видѣлъ въ самый часъ моего сновидѣнія, были восполнены до такой гармоніи, были до того обаятельны и прекрасны, и до того были истинны, что, проснувшись, я, конечно, не въ силахъ былъ воплотить ихъ въ слабыя слова наши, такъ что они должны были какъ бы ступешаться въ умъ моемъ, а, стало-быть, и дѣйствительно, можетъ-быть, я самъ, безсознательно, принужденъ былъ сочинить потомъ подробности и ужъ, конечно, исказивъ ихъ, особенно при такомъ страстномъ желаніи моемъ поскорѣе и хоть сколько-нибудь ихъ передать. Но зато какъ же мнѣ не вѣрить, что все это было? Было, можетъ-быть, въ тысячу разъ лучше, свѣтлѣе и радостнѣе, чѣмъ

я рассказываю? Пусть это сонъ, но все это не могло не быть. Знаете ли, я скажу вамъ секретъ: все это, быть-можетъ, было вовсе не сонъ! Ибо тутъ случилось нѣчто такое, нѣчто до такого ужаса истинное, что это не могло бы пригрезиться во снѣ. Пусть сонъ мой породило сердце мое, но развѣ одно сердце мое въ силахъ было породить ту ужасную правду, которая потомъ случилась со мной? Какъ бы могъ я ее одинъ выдумать или пригрезить сердцемъ? Неужели же мелкое сердце мое и капризный, ничтожный умъ мой могли возвыситься до такого откровенія правды! О, судите сами: я до сихъ поръ скрывалъ, но теперь доскажу и эту правду. Дѣло въ томъ, что я... развратилъ ихъ всѣхъ!

V.

Да, да, кончилось тѣмъ, что я развратилъ ихъ всѣхъ! Какъ это могло совершиться — не знаю, но помню ясно. Сонъ пролетѣлъ черезъ тысячелѣтїя, и оставилъ во мнѣ лишь ощущеніе цѣлаго. Знаю только, что причиною грѣхопаденія былъ я. Какъ скверная трихина, какъ атомъ чумы, заражающій цѣлыя государства, такъ и я заразилъ собой всю эту счастливую, безгрѣшную до меня землю. Они научились лгать и полюбили ложь и познали красоту лжи. О, это, можетъ-быть, началось *невинно*, съ шутки, съ кокетства, съ любовной игры, въ самомъ дѣлѣ, можетъ-быть, съ атома, но этотъ атомъ лжи проникъ въ ихъ сердца и понравился имъ. Затѣмъ быстро родилось сладострастіе, сладострастіе породило ревность, ревность — жестокость... О, не знаю, не помню, но скоро, очень скоро брызнула первая кровь: они удивились и ужаснулись, и стали расходиться и разъединяться. Явились союзы, но уже другъ противъ друга. Начались укоры, упреки. Они узнали стыдъ и стыдъ возвели въ добродѣтель. Родилось понятіе о чести и въ каждомъ союзѣ поднялось свое знамя. Они стали мучить животныхъ и животныя удалились отъ нихъ въ лѣса и стали имъ врагами. Началась борьба за разъединеніе, за обособленіе, за личность, за мое и твое. Они стали говорить на разныхъ языкахъ. Они познали скорбь и полюбили скорбь, они жаждали мученія и говорили, что истина достигается лишь мученіемъ. Тогда у нихъ явилась наука. Когда они стали злы, то начали говорить о братствѣ и гуманности и поняли эти идеи. Когда они стали преступны, то изобрѣли

справедливость и предписали себѣ цѣлые кодексы, чтобъ сохранить ее, а для обезпеченія кодексовъ поставили гильотину. Они чуть-чуть лишь помнили о томъ, что потеряли, даже не хотѣли вѣрить тому, что были когда-то невинны и счастливы. Они смѣялись даже надъ возможностью этого прежняго ихъ счастья и называли его мечтой. Они не могли даже представить его себѣ въ формахъ и образахъ, но, странное и чудесное дѣло: утративъ всякую вѣру въ бывшее счастье, назвавъ его сказкой, они до того захотѣли быть невинными и счастливыми вновь, опять, что пали передъ желаніями сердца своего, какъ дѣти, обоготовили это желаніе, настроили храмовъ и стали молиться своей же идеѣ, своему же „желанію“, въ то же время вполне вѣруя въ неисполнимость и неосуществимость его, но со слезами обожая его и поклоняясь ему. И, однако, если бъ только могло такъ случиться, чтобы они возвратились въ то невинное и счастливое состояніе, которое они утратили, и если бъ кто вдругъ имъ показалъ его вновь и спросилъ ихъ: хотятъ ли они возвратиться къ нему?—то они навѣрно бы отказались. Они отвѣчали мнѣ: „пустъ мы живы, злы и несправедливы, мы знаемъ это и плачемъ объ этомъ, и мучимъ себя за это сами, и истязаемъ себя и наказываемъ больше, чѣмъ даже, можетъ-быть, тотъ милосердый Судья, Который будетъ судить насъ и имени Котораго мы не знаемъ. Но у насъ есть наука и черезъ нее мы отыщемъ вновь истину, но примемъ ее уже сознательно. Знаніе выше чувства, сознаніе жизни — выше жизни. Наука дастъ намъ премудрость, премудрость откроетъ законы, а знаніе законовъ счастья—выше счастья“. Вотъ что говорили они, и послѣ словъ такихъ каждый возлюбилъ себя больше всѣхъ, да и не могли они иначе сдѣлать. Каждый сталъ столь ревнивъ къ своей личности, что изо всѣхъ силъ старался лишь унижить и умалить ее въ другихъ; и въ томъ жизнь свою полагалъ. Явилось рабство, явилось даже добровольное рабство: слабые подчинялись охотно сильнѣйшимъ, съ тѣмъ только, чтобъ тѣ помогали имъ давить еще слабѣйшихъ, чѣмъ они сами. Явились праведники, которые приходили къ этимъ людямъ со слезами и говорили имъ объ ихъ гордости, о потерѣ мѣры и гармоніи, объ утратѣ ими стыда. Надъ ними смѣялись или побивали ихъ камнями. Святая кровь лилась на порогахъ храмовъ. Зато стали появляться люди, кото-

рые начали придумывать: какъ бы всё́мъ вновь такъ соединиться, чтобы каждому, не переставая любить себя больше всё́хъ, въ то же время не мѣшать никому другому, и жить такимъ образомъ всё́мъ вмѣстѣ, какъ бы и въ согласномъ обществѣ. Цѣлыя войны поднялись изъ-за этой идеи. Всѣ воюющіе твердо вѣрили въ то же время, что наука, премудрость и чувство самосохраненія заставляютъ, наконецъ, человѣка соединиться въ согласное и разумное общество, а потому пока, для ускоренія дѣла, „премудрые“ старались поскорѣе истребить всё́хъ „непремудрыхъ“ и не понимающихъ ихъ идею, чтобы они не мѣшали торжеству ея. Но чувство самосохраненія стало быстро ослабѣвать, явились гордецы и сладострастники, которые прямо потребовали всего или ничего. Для пріобрѣтенія всего прибѣгалось къ злодѣйству, а если оно не удавалось—къ самоубійству. Явились религіи съ культомъ небытія и саморазрушенія ради вѣчнаго успокоенія въ ничтожествѣ. Наконецъ, эти люди устали въ безмысленномъ трудѣ и на ихъ лицахъ появилось страданіе, и эти люди провозгласили, что страданіе есть красота, ибо въ страданіи лишь мысль. Они воспѣли страданіе въ пѣсняхъ своихъ. Я ходилъ между ними ломая руки и плакалъ надъ ними, но любилъ ихъ, можетъ быть, еще больше, чѣмъ прежде, когда на лицахъ ихъ еще не было страданія и когда они были невинны и столь прекрасны. Я полюбилъ ихъ оскверненную ими землю еще больше, чѣмъ когда она была раемъ, за то лишь, что на ней явилось горе. Увы, я всегда любилъ горе и скорбь, но лишь для себя, для себя, а объ нихъ я плакалъ, жалѣя ихъ. Я простиралъ къ нимъ руки, въ отчаяніи обвиняя, проклиная и презирая себя. Я говорилъ имъ, что все это сдѣлалъ я, я одинъ; что это я имъ принесъ развратъ, заразу и ложь! Я умолялъ ихъ, чтобы они распяли меня на крестѣ, я училъ ихъ, какъ сдѣлать крестъ. Я не могъ, не въ силахъ былъ убить себя самъ, но я хотѣлъ принять отъ нихъ муки, я жаждалъ мукъ, жаждалъ, чтобы въ этихъ мукахъ пролита была моя кровь до капли. Но они лишь смѣялись надо мной и стали меня считать подъ конецъ за юродиваго. Они оправдывали меня, они говорили, что получили лишь то, чего сами желали, и что все то, что есть теперь, не могло не быть. Наконецъ, они объявили мнѣ, что я становлюсь имъ опасенъ и что они посадятъ меня въ сума-

сшедшій домъ, если я не замолчу. Тогда скорбь вошла въ мою душу съ такою силой, что сердце мое стѣснилось и я почувствовалъ, что умру, и тутъ... ну, вотъ тутъ я и проснулся.

Было уже утро, т.-е. еще не разсвѣло, но было около шестого часу. Я очнулся въ тѣхъ же креслахъ, свѣчка моя догорѣла вся, у капитана спали и кругомъ была рѣдкая въ нашей квартирѣ тишина. Первымъ дѣломъ, я вскочилъ въ чрезвычайномъ удивленіи; никогда со мной не случалось ничего подобнаго, даже до пустяковъ и мелочей: никогда еще не засыпалъ я, на примѣръ, такъ въ моихъ креслахъ. Тутъ вдругъ, пока я стоялъ и приходилъ въ себя,—вдругъ мелькнулъ передо мной мой револьверъ, готовый, заряженный,—но я въ одинъ мигъ оттолкнулъ его отъ себя! О, теперь жизни и жизни! Я поднялъ руки и воззвалъ къ вѣчной истинѣ; не воззвалъ, а заплакалъ; восторгъ, неизмѣримый восторгъ поднималъ все существо мое. Да, жизнь, и—проповѣди! О проповѣди я порѣшилъ въ ту же минуту, и ужъ, конечно, на всю жизнь! Я иду проповѣдывать, я хочу проповѣдывать,—что? Истину, ибо я видѣлъ ее, видѣлъ своими глазами, видѣлъ всю ея славу!

И вотъ съ тѣхъ поръ я и проповѣдую! Кромѣ того—люблю всѣхъ, которые надо мной смѣются больше всѣхъ остальныхъ. Почему это такъ,—не знаю и не могу объяснить, но пусть такъ и будетъ. Они говорятъ, что я ужъ и теперь сбиваюсь, т.-е. коль ужъ и теперь сбился такъ, что же дальше-то будетъ? Правда истинная: я сбиваюсь и, можетъ быть, дальше пойдетъ еще хуже. И ужъ, конечно, собьюсь нѣсколько разъ, пока отыщу, какъ проповѣдывать, т.-е. какими словами и какими дѣлами, потому что это очень трудно исполнить. Я вѣдь и теперь все это какъ день вижу, но послушайте: кто же не сбивается! А между тѣмъ вѣдь всѣ идутъ къ одному и тому же, по крайней мѣрѣ всѣ стремятся къ одному и тому же, отъ мудреца до послѣдняго разбойника, только разными дорогами. Старая это истина, но вотъ что тутъ новое: я и сбиться-то очень не могу. Потому что я видѣлъ истину, я видѣлъ и знаю, что люди могутъ быть прекрасны и счастливы, не потерявъ способности жить на землѣ. Я не хочу и не могу вѣрить, чтобы зло было нормальнымъ состояніемъ людей. А вѣдь они всѣ только надъ этой

вѣрой-то моей и смѣются. Но какъ мнѣ не вѣровать: Я видѣлъ истину,—не то что изобрѣлъ умомъ, а видѣлъ, видѣлъ, и *живой образъ* ея наполнилъ душу мою навѣки. Я видѣлъ ее въ такой восполненной цѣлости, что не могу повѣрить, чтобъ ея не могло быть у людей. И такъ какъ же я собьюсь? Уклонюсь, конечно, даже нѣсколько разъ, и буду говорить даже, можетъ быть, чужими словами, но не надолго: живой образъ того, что я видѣлъ, будетъ всегда со мной, и всегда меня поправитъ и направитъ. О, я бодръ, я свѣжъ, я иду, иду, и хоть бы на тысячу лѣтъ. Знаете, я хотѣлъ даже скрыть, вначалѣ, что я развратилъ ихъ всѣхъ, но это была ошибка,—вотъ уже первая ошибка! Но истина шепнула мнѣ, что я *лю,* и охранила меня и направила. Но какъ устроить рай—я не знаю, потому что не умѣю передать словами. Послѣ сна моего потерялъ слова. По крайней мѣрѣ, всѣ главные слова, самыя нужныя. Но пусть; я пойду и все буду говорить, неустанно, потому что я все-таки видѣлъ воочию, хотя и не умѣю пересказать, что я видѣлъ. Но вотъ этого насмѣшники и не понимаютъ: „Сонъ, дескать, видѣлъ, бредъ, галлюцинацію“. Эхъ! Неужто это премудро? А они такъ гордятся. Сонъ? Что такое сонъ? А наша-то жизнь не сонъ? Больше скажу! Пусть, пусть, вто никогда не сбудется и не бывать раю (вѣдь уже это-то я понимаю!)—ну, а я все-таки буду проповѣдывать. А между тѣмъ, такъ это просто: въ одинъ бы день, *съ одинъ бы часъ*—все бы сразу устроилось! Главное—люби другихъ какъ себя, вотъ что главное, и это все, больше ровно ничего не надо: тотчасъ найдешь, какъ устроиться. А между тѣмъ вѣдь это только—старая истина, которую биллионъ разъ повторяли и читали, да вѣдь не ужилась же! „Со-званіе жизни—выше жизни, знаніе законовъ счастья—выше счастья“—вотъ съ чѣмъ бороться надо! И буду. Если только всѣ захотятъ, то сейчасъ все устроится.

А ту маленькую дѣвочку я отыскалъ... И пойду! И пойду!

Освобожденіе подсудимой Корниловой.

22 апрѣля сего года, въ здѣшнемъ окружномъ судѣ вторично рѣшалось дѣло подсудимой Корниловой, съ новымъ составомъ суда и присяжныхъ засѣдателей. Превжній приговоръ суда, состоявшійся еще въ прошомъ году, былъ кассированъ сенатомъ за недостаточно произведен-

ной медицинской экспертизой. Может быть, большинство моих читателей очень помнит объ этомъ дѣлѣ. Молодая мачиха (тогда еще несовершеннолѣтняя), въ беременномъ состояніи, въ злобѣ на мужа, попрекавшаго ее прежней женой, и послѣ жестокой съ нимъ ссоры, выбросила свою шестилѣтнюю падчерицу, дочь своего мужа отъ прежней жены, изъ окошка изъ четвертаго этажа (5^{1/2} саж. высоты), при чемъ случилось почти чудо: ребенокъ не разбился, не сломалъ и не повредилъ себѣ ничего и скоро очнулся: теперь же живъ и здоровъ. Это звѣрское дѣйствіе молодой женщины сопровождалось такой бессмыслицей и загадочностью всѣхъ ея остальныхъ поступковъ, что само собою являлось соображеніе: въ здоровомъ ли умѣ она дѣйствовала? И не была ли она, напротивъ, хоть подъ аффектомъ своего беременнаго состоянія? Проснувшись утромъ, когда уже мужъ ушелъ на работу, она дала выпастись ребенку; потомъ одѣла ее, обула и напоила кофеемъ. Затѣмъ отворила окно и выбросила ее за окно. Не взглянувъ даже изъ окна внизъ, чтобъ посмотреть, чтò стало съ ребенкомъ, она затворила окно, одѣлась и отправилась въ участокъ. Тамъ объявила о происшедшемъ, отвѣчала на вопросы грубо и странно. Когда ей, уже нѣсколько часовъ спустя, возвѣстили, что ребенокъ остался живъ, она, не обнаруживъ ни радости, ни досады, совершенно равнодушно и хладнокровно замѣтила какъ бы въ задумчивости: „какая живучая“. Затѣмъ, въ продолженіе почти полутора мѣсяца, въ двухъ тюрьмахъ, въ которыхъ ей пришлось находиться, она продолжала быть угрюмой, грубой, неразговорчивой. И вдругъ все разомъ прошло: всѣ остальные четыре мѣсяца до разрѣшенія отъ бремени и все остальное время, на первомъ судѣ и послѣ суда, начальница женскаго отдѣленія тюрьмы не могла ея нахвалиться: явился характеръ ровный, тихій, ласковый, ясный. Впрочемъ, я все это уже описывалъ прежде. Однимъ словомъ, прежній приговоръ былъ кассированъ, а затѣмъ состоялся новый, 22 апрѣля, которымъ Корнилова была оправдана.

Я былъ въ залѣ суда и вынесъ много впечатлѣній. Жаль только, что нахожусь въ полной невозможности передать ихъ и буквально принужденъ ограничиться лишь самыми немногими словами. Да и сообщаю о дѣлѣ единственно потому, что прежде много писалъ о немъ, а, стало-быть, считаю не лишнимъ сообщить читателямъ и

объ исходѣ его. Судъ продолжался вдвое долѣе прежняго раза. Составъ присяжныхъ засѣдателей былъ особенно замѣчательнъ. Призвана была новая свидѣтельница—начальница женскаго отдѣленія тюрьмы. Показаніе ея о характерѣ Корниловой было очень вѣско и въ ея пользу. Замѣчательно очень было показаніе мужа подсудимой: съ чрезвычайною честностью онъ не скрылъ ничего, ни ссоръ, ни обидъ съ его стороны, оправдывалъ жену, говорилъ сердечно, прямо, откровенно. Онъ всего только крестьянинъ, правда, носящій нѣмецкое платье, читающій книги и получающій тридцать рублей ежемѣсячнаго жалованья. Затѣмъ замѣчательнъ былъ подборъ экспертовъ. Приглашено было шесть человекъ,—все извѣстности и знаменитости въ медицинѣ; изъ нихъ давали показанія пятеро. Трое заявили, не колеблясь, что болѣзненное состояніе, свойственное беременной женщинѣ, весьма *могло* повліять на совершеніе преступленія и въ данномъ случаѣ. Одинъ лишь докторъ Флоринскій съ этимъ мнѣніемъ былъ не согласенъ, но, къ счастью, онъ не психіатръ и мнѣніе его прошло безъ всякаго значенія. Послѣднимъ показывалъ извѣстный нашъ психіатръ Дюковъ. Онъ говорилъ почти около часу, отвѣчая на вопросы прокурора и предсѣдателя суда. Трудно представить себѣ болѣе тонкое пониманіе души человѣческой и болѣзненныхъ ея состояній. Поражало тоже богатство и разнообразіе многолѣтнихъ и чрезвычайно любопытныхъ наблюденій. Чтò до меня, то я выслушалъ нѣкоторыя изъ показаній эксперта рѣшительно съ восхищеніемъ. Мнѣніе эксперта было вполнѣ въ пользу подсудимой: онъ *утвердительно* и *доказательно* заключилъ о несомнѣнномъ, по его мнѣнію, болѣзненномъ состояніи души подсудимой, во время совершенія ею страшнаго преступленія.

Кончилось тѣмъ, что самъ прокуроръ, несмотря на свою грозную рѣчь—отказался отъ обвиненія въ преднамѣренности, т.-е. отъ самой главной злобы обвиненія. Защитникъ подсудимой, присяжный повѣренный Люстигъ, тоже чрезвычайно ловко отбилъ нѣсколько обвиненій, а одно, важнѣйшее,—долгую будто бы ненависть мачихи къ падчерицѣ,—привелъ къ полному нулю, осязательно обнаруживъ въ немъ лишь коридорную сплетню. Затѣмъ, послѣ длинной рѣчи предсѣдателя, присяжные удалились и менѣе чѣмъ черезъ четверть часа вынесли оправдательный приговоръ, произведшій почти восторгъ въ многочисленной

публикѣ. Многіе крестились, другіе поздравляли другъ друга, жали другъ другу руки. Мужъ оправданной увелъ ее въ тотъ же вечеръ, уже въ одиннадцатомъ часу, къ себѣ домой и она, счастливая, вошла опять въ свой домъ, почти послѣ годового отсутствія, съ впечатлѣніемъ огромнаго вынесеннаго ею урока на всю жизнь и явнаго Божьяго перста во всемъ этомъ дѣлѣ, — хотя бы только начиная съ чудеснаго спасенія ребенка.

Къ моимъ читателямъ.

Прибѣгаю къ чрезвычайному снисхожденію моихъ читателей. Въ прошломъ году, изъ-за моей побѣдки лѣтомъ въ Эмсѣ для лѣченія болѣзни, я принужденъ былъ выдать №№ „Дневника“ за іюль и августъ мѣсяцы вмѣстѣ, въ одномъ выпускѣ, 31-го августа, конечно, въ удвоенномъ числѣ листовъ. Въ нынѣшнемъ же году, по усилившейся еще болѣе моей болѣзни, я принужденъ выдать и майскій № съ іюньскимъ вмѣстѣ, въ одномъ выпускѣ, въ концѣ іюня или въ самыхъ первыхъ числахъ іюля. Затѣмъ іюльскій и августовскій №№, какъ и въ прошломъ году, выйдутъ тоже въ августѣ. Съ сентября же мѣсяца №№ „Дневника“ начнутъ опять выдаваться аккуратно въ послѣднее число каждаго мѣсяца.

Уѣзжая изъ Петербурга, по приговору докторовъ, я заявляю, что хотя въ Петербургѣ помѣщеніе редакціи и будетъ закрыто до самаго сентября, тѣмъ не менѣе всѣ иногородные подписчики и читатели, *равно какъ и всѣ петербургскіе*, въ случаѣ надобности, могутъ обращаться *письменно* въ редакцію совершенно какъ и прежде. Письма эти будутъ немедленно доставлены завѣдующимъ редакціей и всякая жалоба, всякое недоумѣніе и проч. будутъ попрежнему въ скорѣйшемъ времени удовлетворены. Равно всѣ письма на мое имя будутъ немедленно мнѣ доставлены. На этотъ счетъ сдѣланы редакціей самыя точныя распоряженія. Подписка попрежнему можетъ продолжаться: подписавшіеся будутъ немедленно удовлетворены.

Не знаю, извинять ли меня мои читатели и подписчики „Дневника Писателя“? При такомъ непредвидѣнномъ обстоятельствѣ, какъ усложненіе болѣзни, трудно было угадать все это впередъ. Огромное большинство читателей моихъ относилось доселѣ ко мнѣ весьма доброжелательно, въ чемъ я увѣренъ по твердымъ фактамъ. Осмѣливаюсь ждать этой доброты и теперь.

МАЙ—ІЮНЬ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

I.

Изъ книги предсказаній Іоанна Лихтенбергера, 1528 года.

Мнѣ сообщили одинъ престранный документъ. Это одно древнее, правда, туманное и аллегорическое, предсказаніе о нынѣшнихъ событіяхъ и о нынѣшней войнѣ. Одинъ изъ нашихъ молодыхъ ученыхъ нашелъ въ Лондонѣ, въ королевской бібліотекѣ, одинъ старый фоліантъ, „книгу предсказаній“, „Prognosticationes“ Іоанна Лихтенбергера, изданіе 1528 года, на латинскомъ языкѣ. Экземпляръ рѣдкій и даже, можетъ-быть, единственный въ свѣтѣ. Въ туманныхъ картинахъ изображается въ этой книгѣ будущность Европы и человѣчества. Книга мистическая. Помѣщая лишь тѣ строки, которыя мнѣ сообщили, *и лишь какъ фактъ*, не лишенный нѣкотораго любопытства.

Послѣ предсказаній о французской революціи (1789 г.) и о Наполеонѣ первомъ, который именуется въ книгѣ великимъ орломъ (aquila grandis), говорится далѣе о грядущихъ европейскихъ событіяхъ такъ:

Post haec veniet altera aquila quae ignem fovebit in gre-

Послѣ сего придетъ другой орелъ, который огонь возмис sponsae Christi et erunt tres adulteri unusque legitimum будитъ въ лонѣ невѣсты Христовой и будутъ трое побочныхъ qui alios vorabit.

ныхъ и одинъ законный, который другихъ пожретъ.

Exsurget aquila grandis in Oriente, aquicolae occidentales

Возстанетъ орелъ великій на Востокѣ, островитяне замоегутъ. Tria regna comportabit. Ipsa est aquila grandis, падные восплачутъ. Три царства захватитъ. Сей есть орелъ

quae dormiet annis multis, refutata resurget et contremis-
 великій, который спитъ годы многіе, пораженный возста-
 cere faciet aquicolas occidentales in terra Virginis et alios
 нетъ и трепетать заставить водяныхъ жителей западныхъ
 въ землѣ дѣвы и другія вершины прегордыя, и полетитъ
 montes Superbissimos; et volabit ad meridiem recuperando
 къ югу, чтобъ возвратитъ потерянное. И любовью мило-
 amissa. Et amore charitatis inflammabit Deus aquilam orien-
 сердія воспламенитъ Богъ орла восточнаго, да летитъ
 talem volando ad ardua alis duabus fulgens in montibus
 на трудное, крылами двумя сверкая на вершинахъ хри-
 stianitatis.

Конечно, темновато, но согласитесь однако, что „вели-
 кій орелъ восточный, который спитъ годы многіе и *пора-
 женный* (NB. не война ли наша съ Европой 22 года на-
 задъ?) возстанетъ и трепетать заставить водяныхъ жите-
 лей западныхъ“, — согласитесь, что это какъ будто и по-
 хоже на теперешнее, конечно, если только не брать въ
 соображеніе нашихъ европействующихъ мудрецовъ, какъ
 бы все еще трепещущихъ передъ „водяными жителями“,
 обратно пророчеству, тогда какъ уже орелъ полетѣлъ
 „сверкая двумя крылами“. Но трепещутъ лишь мудрецы,
 а не орелъ. Далѣе, „водяные жители западные въ землѣ
 дѣвы“, если приложить пророчество Іоанна Лихтенбер-
 гера къ современнымъ событіямъ, очевидно, означаютъ
 собою Англію. Но въ такомъ случаѣ почему же „земля
 дѣвы“? Въ 1528 году еще не было королевы Елизаветы.
 Не означаетъ ли аллегорія Лихтенбергера землю (острова
 Великобританіи), не подвергавшуюся ни разу нашествію,
 въ томъ смыслѣ, въ какомъ выразился когда-то Наполеонъ
 о европейскихъ столицахъ, подвергавшихся его наше-
 ствію: „Столица, подвергшаяся нашествію, похожа на
 дѣвицу, потерявшую свою дѣвственность“. Но орелъ, по
 пророчеству, трепетать заставить и другія „вершины
 прегордыя“, полетитъ къ югу, чтобъ возвратитъ потеря-
 нное, и — что всего замѣчательнѣе — „любовью милосердія
 воспламенитъ Богъ орла восточнаго, да летитъ на труд-
 ное, крылами двумя сверкал на вершинахъ христіан-
 ства“. Согласитесь, что ужъ это-то нѣчто даже очень
 подходящее. Развѣ не милосердіемъ воспламеняясь къ
 угнетеннымъ и измученнымъ, взлетѣлъ нашъ орелъ? Развѣ
 не милосердіе Христово двинуло весь народъ папъ „на

дѣло трудное“ и въ прошломъ и въ нынѣшнемъ году? Кто станетъ это отрицать? Этотъ народъ, эти солдаты, взятые изъ народа, не знающаго хорошенько молитвъ, подымали однако же въ Крыму, подъ Севастополемъ, раненыхъ французовъ и уносили ихъ на перевязку *прежде*, чѣмъ своихъ русскихъ: „Тѣ пусть полежатъ и подождутъ: русскаго-то всякій подыметъ, а французикъ-то чужой, его напередъ пожалѣть надо“. Развѣ тутъ не Христось, и развѣ не Христовъ духъ въ этихъ простодушныхъ и великодушныхъ, шутливо сказанныхъ словахъ? И такъ, развѣ не духъ Христовъ въ народѣ нашемъ, — темномъ, но добромъ, невѣжественномъ, но не варварскомъ. Да, Христось его сила, наша русская теперь сила, когда орель полетѣлъ „на дѣло трудное“. И что значитъ одинъ какой-нибудь анекдотъ о севастопольскихъ солдатикахъ, сравнительно съ тысячами проявленій духа Христова и „отня милосердія“ въ народѣ нашемъ, наяву и во-очію, въ наше время, хотя и до сихъ поръ изо всѣхъ силъ стараются мудрецы задавить мысль и похоронить фактъ участія народа нашего, духомъ и сердцемъ его, въ теперешнихъ судьбахъ Россіи и Востока? И не указывайте на „звѣрство и тупость“ народа, на невѣжественность его и неразвитость, при которыхъ онъ будто-бы не въ силахъ понять того, что теперь происходитъ. Сущность дѣла онъ понимаетъ превосходно, будьте увѣрены, онъ четыре уже столѣтія какъ ее понимаетъ. Вотъ теперешнихъ дипломатовъ не понялъ бы вовсе, если бъ объ нихъ узналъ; но вѣдь кто жъ ихъ пойметъ? Да, великій народъ нашъ былъ возвращенъ какъ звѣрь, претерпѣлъ мученія еще съ самаго начала своего, за всю свою тысячу лѣтъ, такіа, какихъ ни одинъ народъ въ мірѣ не вытерпѣлъ бы, разложился бы и уничтожился, а нашъ только окрѣпъ и сплотился въ этихъ мученіяхъ. Не корите же его за „звѣрство и невѣжество“, господа мудрецы, потому что вы, именно вы-то для него ничего и не сдѣлали. Напротивъ, вы ушли отъ него, двѣсти лѣтъ назадъ, покинули его и разъединили съ собой, обратили его въ податную единицу и въ оброчную для себя статью, и росъ онъ, господа просвѣщенные европейцы, вами же забытый и забитый, вами же загнанный какъ звѣрь въ берлогу свою, но съ нимъ былъ его Христось и съ Нимъ однимъ дожигъ онъ до великаго дня, когда двадцать лѣтъ тому назадъ, сѣверный орель, воспламененный огнемъ

сердця, взмахнуль и расправиль свои крылья и осѣнили его этими крылами... Да, звѣрства въ народѣ много, но не указывайте на него. Это звѣрство—тина вѣковъ, она вычистится. И не то бѣда, что есть еще звѣрство; бѣда въ томъ, если звѣрство вознесено будетъ какъ добродѣтель. Я видаль и разбойниковъ, страшно много надѣлавшихъ звѣрства и павшихъ развращенною и ослабѣвшею волею своею ниже всего низкаго; но эти развращенные и столь упавшіе звѣри—знали, по крайней мѣрѣ, про себя, что они звѣри, и чувствовали, сколь упали они, и въ минуты чистыя и свѣтлыя, которыя и звѣрямъ посылаетъ Богъ,—сами умѣли осудить себя, хотя часто не въ силахъ уже были подняться. Другое дѣло, когда звѣрство воздвигается надъ всѣми, какъ идолъ, и люди ему поклоняются, считая себя именно за это-то добродѣтельными. Лордъ Биконсфильдъ, а за нимъ и всѣ Биконсфильды, и наши и европейскіе, зажали уши себѣ и закрыли глаза на звѣрства и муки, которымъ подвергаютъ цѣлыя племена людей, и измѣнили Христу—ради „интересовъ цивилизаціи“ и ради того, что измученныя племена называются славянами, то-есть несутъ въ себѣ нѣчто новое, а, стало быть, ихъ тѣмъ болѣе надо задавить совсѣмъ до корня, и тоже ради интересовъ старой, загнившей цивилизаціи. Вотъ это такъ звѣрство—образованное и вознесенное какъ добродѣтель, и кланяются ему, какъ идолу, и на Западѣ, и у насъ еще въ Россіи. А „блаженнѣйшій папа, непогрѣшимый намѣстникъ Божій“, отходя къ Богу, въ послѣдніе дни свои на землѣ,—развѣ не пожелалъ онъ побѣды туркамъ и мучителямъ христіанства надъ русскими, ополчившимися во имя Христа за христіанство,—за то только, что, по его *непогрѣшимо*му опредѣленію, турки все же лучше русскихъ еретиковъ, не признающихъ папу? Развѣ это не звѣрство, не варварство? Да, пророчество Іоанна Лихтенбергера сильно подходит къ настоящей минутѣ. И не разумѣть ли намъ ужъ и папу въ числѣ другихъ-то „вершинъ прегордыхъ“, которыхъ заставить трепетать взмахнувшій крылами орелъ? Кстати, чтобъ покончить съ пророчествомъ: чтъ же разумѣлъ Іоаннъ Лихтенбергеръ, говоря о томъ, что „придетъ орелъ, который огонь возбудитъ въ лонѣ невѣсты Христовой, и будутъ три побочныхъ и одинъ законный, который другихъ пожретъ?“ На религіозномъ и мистическомъ языкѣ подъ выраженіемъ „невѣста Христова“ всегда

разумѣлась вообще Церковь. Кто же трое побочныхъ и одинъ законный? Казалось, должно бы тутъ разумѣть, т. е. если ужъ его принимать за предсказателя, три исповѣданія: католицизмъ, протестантство и... какое же третье-то изъ незаконныхъ? И какое же законное-то?

Но оставимъ Иоанна Лихтенбергера. Серьезно говорить обо всемъ этомъ трудно; все это лишь мистическая аллегорія, хотя бы и похожая нѣсколько на правду.

И мало ли бываетъ совпаденій? Правда, все это написано и напечатано въ 1528 году, и это очень любопытно. Въ то время, должно быть, часто являлись подобныя сочиненія, и хотя время это еще только предшествовало войнамъ великой протестантской реформации, но уже протестантовъ, реформаторовъ и пророковъ было много. Известно тоже, что потомъ, особенно въ протестантскихъ арміяхъ, всегда появлялись изступленные „пророки“ изъ самихъ сражавшихся, предсказатели и конвульсіонеры. Если я сообщилъ эту латинскую выписку изъ старой книги (несомнѣнно существующей, — повторяю это), то единственно какъ занимательный фактъ. Не какъ чудо, да и не одни лишь чудеса чудесны. Всего чудеснѣе бываетъ весьма часто то, что происходитъ въ дѣйствительности. Мы видимъ дѣйствительность всегда почти такъ, какъ хотимъ ее видѣть, какъ сами, *предвзято*, желаемъ растолковать ее себѣ. Если же подчасъ вдругъ разберемъ и въ видимомъ увидимъ не то, что хотѣли видѣть, а то, что есть *въ самомъ дѣлѣ*, то прямо принимаемъ то, что увидѣли, за чудо; о, это весьма не рѣдко, а подчасъ, клянусь, повѣримъ скорѣе чуду и невозможности, чѣмъ дѣйствительности, чѣмъ истинѣ, *которую не желаемъ видѣть*. И такъ всегда бываетъ на свѣтѣ, въ томъ вся исторія человечества.

II.

Объ анонимныхъ ругательныхъ письмахъ.

Я за границу не поѣхалъ и нахожусь теперь въ Курской губерніи. Мой докторъ, узнавъ, что я имѣю случай провести лѣто въ деревнѣ, да еще въ такой губерніи, какъ Курская, прописалъ мнѣ пить въ деревнѣ эссенциальную воду и прибавилъ, что это будетъ для меня несравненно полезнѣе Эмса, въ водѣ котораго я-де уже привыкъ. Долгомъ считаю заявить, что я получилъ весьма

много писемъ отъ моихъ читателей съ самымъ сочувственнымъ выраженіемъ ихъ ко мнѣ участія по поводу моего объявленія о болѣзни. И вообще, къ слову скажу, за все время изданія моего „Дневника“ я получилъ и продолжаю получать много писемъ, подписанныхъ и анонимныхъ, столь для меня лестныхъ и столь одобрявшихъ и поддерживавшихъ меня въ трудѣ моемъ, что прямо скажу, я никогда не рассчитывалъ на такое всеобщее сочувствіе и никогда не считалъ себя достойнымъ того. Эти письма я сберегу какъ драгоценность и—что тутъ приторнаго, если я заявляю объ этомъ печатно? Неужто дурно, что я цѣню и дорожу общимъ вниманіемъ? Но, скажутъ, вы теперь хвалитесь, хвастаетесь. Пусть скажутъ это, я знаю про себя, что это не хвастовство, что я заявляю лишь мою благодарность, мое искреннее чувство и слишкомъ ужъ не молодъ, чтобъ не понимать, какъ раздражаю иныхъ господъ моимъ заявленіемъ. Но и господъ этихъ, кажется, у меня слишкомъ немного. Изъ нѣсколькихъ сотъ писемъ, полученныхъ мною за эти полтора года изданія „Дневника“, по крайней мѣрѣ, сотня (но навѣрно больше) было анонимныхъ, но изъ этихъ ста анонимныхъ писемъ лишь два письма были абсолютно враждебныя. Есть несогласныя со мной въ убѣжденіяхъ, тѣ прямо излагаютъ свои возраженія, но всегда серьезно, искренно, безъ малѣйшихъ личностей, и въ подписанныхъ, и въ анонимныхъ письмахъ, и я лишь жалѣю, что, по множеству получаемыхъ писемъ, никакъ не могу всѣмъ отвѣтить. Но эти два письма—исключенія, и написаны не для возраженія, а для ругательства. И вотъ, эти-то господа сочинители этихъ писемъ и будутъ раздражены моимъ заявленіемъ благодарности. Последнее изъ этихъ писемъ какъ разъ касается моего объявленія о болѣзни. Мой анонимный корреспондентъ разсердился не на шутку: какъ, дескать, я осмѣлился объявить печатно о такомъ частномъ, личномъ дѣлѣ, какъ моя болѣзнь, и въ письмѣ ко мнѣ написалъ на мое объявленіе свою пародію, весьма неприличную и грубую. Но, отлагая главную цѣль письма—ругательство, я невольно заинтересовался вопросомъ, именно: если я, напримѣръ, поставленъ въ необходимость, по разстроенному здоровью, уѣхать лѣчиться, а потому принужденъ не выдавать майскій № „Дневника“ своевременно, а вмѣстѣ съ іюньскимъ, и такъ какъ я каждый разъ, въ каждомъ выпускѣ „Дневника“, объявлялъ о времени выхода слѣдую-

щаго номера,—то мнѣ и показалось, что прямое, голо-
словное, безо всякихъ объясненій объявленіе о томъ, что
слѣдующій выпускъ „Дневника“ выйдетъ вмѣстѣ съ іюль-
скимъ, было бы нѣсколько безцеремоннымъ и почему же
было не объявить причину, изъ-за которой такъ вышло?
И развѣ, въ объявленіи моемъ, такъ уже много я распи-
салъ о моей болѣзни? Но все это, конечно, пустяки, и
если бѣ дѣло шло лишь отъ человѣка серьезно шокиро-
ваннаго въ своемъ чувствѣ литературнаго и обществен-
наго приличія, то получился бы любопытный, хотя от-
части, пожалуй, и почтенный экземпляръ господина, стоя-
щаго, можетъ быть, и внѣ литературы, но изъ безкорыст-
ной любви къ ней, такъ сказать, сгорающаго почтеннымъ
огнемъ соблюденія литературныхъ приличій, и хотъ дово-
дящаго свои стремленія до щепетильности, тѣмъ не ме-
нѣе выводящаго ихъ изъ источника уважаемаго и любо-
пытнаго,—такъ что я, изъ одной только деликатности,
не могъ бы отказать такому анониму въ своего рода ува-
женіи. Но ругательства все испортили: ясное дѣло, что
въ нихъ-то и была вся цѣль. И ужъ безъ сомнѣнія при-
поминать все это здѣсь и не стоило бы; но мнѣ давно
хотѣлось сказать слова два вообще объ анонимныхъ пись-
махъ, т. е. собственно о ругательныхъ анонимныхъ пись-
махъ, и я радъ, что набрелъ на случай.

Дѣло въ томъ, что мнѣ давно казалось, что въ наше
время, столь неустойчивое, столь переходное, столь испол-
ненное перемѣнъ и столь мало кого удовлетворяющее
(да такъ и должно быть)—непремѣнно должно было раз-
вестись чрезвычайное множество людей, такъ сказать обой-
денныхъ, позабытыхъ, оставленныхъ безъ вниманія и до-
саждающихъ: „зачѣмъ, дескать, вездѣ *они*, а не я, зачѣмъ
не обращаютъ и на меня вниманія“. Въ этомъ состояніи
личнаго раздраженія и неудовлетвореннаго, такъ сказать,
идеала, иной господинъ готовъ подчасъ взять спичку и
идти зажигать, — до того это чувство мучительно, я это
очень понимаю, и чтобъ осуждать это надо вооружиться
скорѣе гуманностью, чѣмъ негодованіемъ. Но зажигать
спичкой уже крайность и, такъ сказать, удѣлъ натуръ
могучихъ, Байроновскихъ. Къ счастью, есть выходы не
столь ужасные для натуръ не столь могучихъ. Такой
выходъ — просто напакостить, ну, тамъ наклеветать, на-
лгать, насплетничать, или анонимное ругательное письмо
пустить. Однимъ словомъ, я сталъ давно уже подозрѣ-

вать, и подозрѣваю до сихъ поръ, что наше время должно быть непременно временемъ, хотя и великихъ реформъ и событій, это бесспорно, но вмѣстѣ съ тѣмъ и усиленныхъ анонимныхъ писемъ ругательнаго характера. Что касается литературы, то тутъ нѣтъ никакого сомнѣнія: анонимныя ругательныя письма составляютъ, такъ сказать, неотъемлемую часть современной русской литературы и сопровождаютъ ее по всѣмъ направленіямъ, — и кто только изъ издателей и писателей не получаетъ ихъ; я даже справлялся кой въ какихъ изданіяхъ, и въ одномъ изъ нихъ — именно въ одномъ изъ тѣхъ, которыя пошли вдругъ, произвели впечатлѣніе быстрое, внезапное, и угодили публикѣ въ такой степени, что сами даже на такой успѣхъ не рассчитывали, — въ этомъ изданіи, одинъ изъ ближайшихъ участниковъ его повѣдалъ мнѣ, что они получаютъ такое множество ругательныхъ анонимныхъ писемъ, что ужъ и не читаютъ ихъ вовсе, а только распечатываютъ. Онъ было хотѣлъ рассказать мнѣ инья изъ такихъ посланій въ подробности, но съ первыхъ же словъ залился неудержимымъ смѣхомъ. Да такъ и должно быть; наши неопытные анонимы и не подозрѣваютъ еще, кажется, что чѣмъ ругательнѣе ихъ письма, тѣмъ они невиннѣе и безвреднѣе. Черта хорошая: она обозначаетъ, что наши анонимы хоть и горячи, но все же безъ выдержки и не понимаютъ, что чѣмъ вѣжливѣе, чѣмъ достойнѣе тонъ язвительнаго анонимнаго письма, тѣмъ оно будетъ злѣе и сильнѣе подѣйствуетъ. Иезуитства-то этого, стало быть, еще не развилось у насъ, во второй, *высшій* фазисъ свой не вступило это дѣло, а, стало быть, находится еще въ самомъ только началѣ и, стало быть, есть всего лишь плодъ перваго необузданнаго пыла, а не плодъ обдуманнаго, строго воспитаннаго злобнаго чувства. Это не испанское, такъ сказать, мщеніе, готовое принести для достиженія цѣли своей даже великія жертвы и научившееся выдержкѣ. Нашъ анонимный ругатель далеко еще не тотъ таинственный незнакомецъ изъ драмы Лермонтова „Маскарадъ“ — колоссальное лицо, получившее отъ какого-то офицера когда-то пощечину и удалившееся въ пустыню тридцать лѣтъ обдумывать свое мщеніе. Нѣтъ, дѣйствуетъ пока все еще та же славянская природа наша, которой всего бы только поскорѣй выругаться, да тѣмъ и покончить (а чего добраго, такъ даже тутъ же и помириться) и, согласитесь, что все это въ одномъ смыслѣ

отрадно, ибо и тутъ, стало быть, все это, такъ сказать, юно, молодо, свѣже, въ родѣ какъ бы весна жизни, хотя, надо сознаться, препакостная. Долгомъ считаю присовокупить еще наблюдение: кажется, наше молодое поколѣние, т. е. слишкомъ юное, подростки, анонимныхъ ругательныхъ писемъ не пишутъ. Я получаю отъ молодежи множество писемъ и всѣ подписанныя. Не подписанныя изъ нихъ только тѣ, которыя выражаютъ слишкомъ ужъ дружескія чувства. Несогласные же со мною въ чемъ-нибудь изъ молодежи всегда подписываются (анонимное же ругательное письмо слишкомъ легко узнать и слишкомъ ясно, по многимъ признакамъ и приемамъ, что оно не изъ молодого поколѣнія идетъ, не отъ юнаго подростка). И такъ молодежь наша, очевидно, понимаетъ, что, вопервыхъ, можно написать весьма даже рѣзкое письмо, но что подпись подъ такимъ письмомъ придастъ выраженіямъ чрезвычайную цѣну, и что весь характеръ такого письма измѣнится къ лучшему черезъ подпись, которая придастъ ему духъ прямодушія, мужества, готовности постоять и отвѣтить за свои убѣжденія, да и самая рѣзкость выражений покажетъ лишь горячку убѣжденія, а не желаніе оскорбить. И такъ, ясное дѣло, что не подписывающійся ругатель желаетъ главное выругаться площадными ругательствами, желаетъ доставить себѣ прежде всего это именно удовольствіе, а другой цѣли не имѣетъ. И вѣдь самъ онъ знаетъ, что дѣлаетъ пакость и что самъ себѣ вредитъ, т. е. силѣ письма своего, но ужъ такова потребность выругаться. Эту черту, т. е. эту потребность, надо замѣтить, ибо она все еще преобладаетъ въ нашемъ интеллигентномъ обществѣ. И пусть не смѣются надо мной, что я вѣрю, что такая черта у насъ *преобладаетъ*; я убѣжденъ, что не преувеличиваю, и что мы стоимъ теперь на этой именно точкѣ развитія, такъ сказать, въ массѣ нашей. Къ тому же сообразите и то, что можно во всю жизнь не написать ни одного анонимнаго ругательнаго письма, а между тѣмъ всю жизнь носить въ себѣ душу анонимнаго ругателя; а вѣдь это тоже важное соображеніе. И что въ томъ, что я, въ полтора года, получилъ всего лишь два ругательныхъ письма; это лишь доказываетъ мою невинность и непримѣтность, равно какъ и малый кругъ моей дѣятельности, а сверхъ того и то, что я имѣю дѣло лишь съ порядочными людьми. Другіе же дѣятели, болѣе моего примѣтны (а, стало

быть, уже потому одному болѣе моего виновные) и сверхъ того принужденные дѣйствовать по самому роду и характеру изданій своихъ въ чрезвычайно расширенномъ кругѣ дѣйствія, получаютъ ругательныхъ писемъ, можетъ быть, по двѣсти, а не по два въ полтора года. Однимъ словомъ, я убѣжденъ, что европейская цивилизація чрезвычайно мало привила къ намъ гуманности и что у насъ людей, желающихъ выругаться быстро и непосредственно, въ каждомъ случаѣ, который имъ чуть-чуть не понравится, даже, можетъ быть, до того не мало, что страшно сказать; а желающихъ выругаться — притомъ же и безнаказанно, анонимно и безопасно, изъ-за двери, еще того больше, и вотъ какъ разъ анонимное письмо даетъ эту возможность: письмо не прибѣшь и письмо не краснѣть.

Въ старину у насъ европейской чести не было, наши бояре ругивались и даже дирались между собою откровенно и плюха за большую и окончательную поруху чести не считалась. Но зато у нихъ была своя честь, хоть и не въ европейской формѣ, но не менѣе чѣмъ тамъ священная и серьезная, и изъ-за этой чести бояринъ пренебрегалъ иной разъ всѣмъ состояніемъ своимъ, положеніемъ своимъ при дворѣ, даже царскою милостью. Но, съ переменною костюма и съ введеніемъ европейской шпаги, началась у насъ новая европейская честь и — въ цѣлые два вѣка не принялась серьезно, такъ что старое забыли и оплевали, а новое приняли недовѣрчиво и скептически. Приняли, такъ сказать, механически, а душевно позабыли, что значить честь, и сердечную потребность въ ней утратили, и это, страшно признаться, за весьма, можетъ быть, малыми исключеніями.

Въ эти два вѣка нашего европейскаго и шпажнаго, такъ сказать, періода, честь и совѣсть, странно даже сказать, сохранилась наиболѣе и даже цѣликомъ въ нашемъ народѣ, до котораго почти и не коснулся шпажный періодъ нашей исторіи. Пусть народъ грязень, невѣжественъ, варварственъ, пусть смѣются надъ моимъ предположеніемъ безъ малѣйшаго снисхожденія, но во всю мою жизнь я вынесъ убѣжденіе, что народъ нашъ несравненно чище сердцемъ высшихъ нашихъ сословій и что умъ его далеко не настолько раздвоенъ, чтобъ рядомъ съ самою свѣтлою идеею лелѣять тутъ же, подчасъ же, и самый гаденый антитезъ ея, какъ сплошь да рядомъ въ интеллигенціи нашей, да еще оставаться съ обѣими этими

идеями, не зная, которой изъ нихъ вѣровать и отдать преимущество на практикѣ, да еще называть это состояніе ума и души своей — богатствомъ развитія, благами европейскаго просвѣщенія, и хоть и умирать при такомъ богатствѣ отъ скуки и отвращенія, но въ то же время изъ всѣхъ силъ смѣяться надъ простымъ, не тронутымъ еще чужою цивилизаціей, народомъ нашимъ за наивность и прямодушіе его вѣрованій... Но тема эта обширная. Просто скажу: самый грубый изъ народа постыдится чужихъ мыслей и побужденій иного нашего „высшаго дѣятеля“, я увѣренъ въ томъ, и съ отвращеніемъ отвернется отъ большей части дѣлъ нашихъ интеллигентныхъ людей. Я увѣренъ, что онъ не понимаетъ и долго еще не пойметъ, что можно наединѣ, за дверями, когда никто не подглядываетъ, дѣлать про себя пакости и считать ихъ вполнѣ дозволимыми, нравственно дозволенными, единственно потому, что нѣтъ свидѣтелей и никто не подглядываетъ, — а между тѣмъ эта черта до ужаса часто практикуется въ интеллигентномъ сословіи нашемъ, да еще безъ малѣйшаго зазрѣнія совѣсти, и даже, напротивъ, весьма часто съ высшимъ удовлетвореніемъ ума и высшихъ свойствъ просвѣщеннаго духа. По понятіямъ народа, то, что пакостно на міру, пакостно и за дверями. Между тѣмъ мы на народъ-то и смотримъ именно, какъ на пахабника, пакостника, обскурантнаго ругателя и находящаго лишь наслажденіе въ ругательствѣ. Кстати припомнить, тѣмъ болѣе, что это уже давно прошло и измѣнилось. Во времена моей юности было у военныхъ людей, въ огромномъ большинствѣ ихъ, убѣжденіе, что русскій солдатъ, какъ вышедшій изъ народа, чрезвычайно любитъ говорить пахабности, ругатель и сквернословъ. А потому, чтобъ быть популярными, иные командиры, на ученіяхъ, напримѣръ, позволяли себѣ такъ ругаться, съ такими утонченностями и вывертами, что солдаты буквально краснѣли отъ этихъ ругательствъ, а потомъ, у себя въ казармахъ, старались забыть высказанное начальствомъ, и на того, который припоминалъ, вскрикивали всею артелью. *Я бывалъ самъ лично тому свидѣтелемъ.* А командиры-то какъ довольны были въ душѣ, что вотъ, дескать, какъ они поддѣлались подъ духъ русскаго солдата. Да чего, — даже Гоголь въ „Перепискѣ съ друзьями“, совѣтовалъ пріятелю, распекая крѣпостнаго мужика всенародно, употреблять непремѣнно крѣпкія слова, и даже приводилъ какія именно, т.-е. именно тѣ

изъ нихъ, которыя садче, въ которыхъ какъ можно больше бы оказывалось, такъ сказать, нравственной пахабности, чѣмъ наружной, утонченности чтобъ въ ругательствѣ больше было. Между тѣмъ народъ русскій хотъ и ругается, къ сожалѣнiю, крѣпкими словами, но далеко не весь, далеко не весь, въ самой незначительной даже своей долѣ (повѣрять ли тому?), а главное (и безспорно), ругается онъ скорѣе машинально, чѣмъ съ нравственною утонченностью, скорѣе по привычкѣ, чѣмъ съ умысломъ, и вотъ это-то, послѣднее-то, т.-е. съ умысломъ, случается лишь въ чрезвычайно рѣдкихъ экземплярахъ у бродягъ, пропойцъ и всякихъ стрюцкихъ, презираемыхъ народомъ. Народъ хотъ и ругается по привычкѣ, но самъ знаетъ, что эта привычка скверная, и осуждаетъ ее. Такъ что отучить народъ отъ ругательствъ, по-моему, есть просто дѣло механической отвычки, а не нравственнаго усилiя. Вообще эта идея о народѣ нашемъ, какъ о любителѣ подлыхъ ругательствъ, по моему мнѣнiю, укоренилась въ интеллигентномъ словѣ нашемъ, главное, уже тогда, когда уже произошелъ окончательный, нравственный разрывъ его съ народомъ, кончившiйся, какъ извѣстно, со стороны интеллигентнаго слоя нашего совершеннымъ непониманiемъ народа. Тогда-то явилось много и другихъ всякихъ ошибочныхъ идей о нашемъ народѣ. Пусть не повѣрять мнѣ и свидѣтельству моему, что народъ нашъ вовсе не такой ругатель, какъ до сихъ поръ его представляли себѣ и описывали, пусть: я вѣдь убѣжденъ, что свидѣтельство мое оправдается. Тѣ же надежды, которыя возлагаю я на народъ, возлагаю я и на юное поколѣнiе наше. Народъ и юное поколѣнiе интеллигенци нашей сойдутся вмѣстѣ вдругъ и во многомъ и гораздо ближе и успѣшнѣе поймутъ другъ-друга, чѣмъ то было въ наше время и въ наше поколѣнiе. Въ молодежи нашей есть серьезность и, дай только Богъ, чтобъ она была умнѣе направлена. Кстати о молодежи: одинъ весьма молодой человекъ прислалъ мнѣ недавно въ письмѣ весьма рѣзкое возраженiе на одну тему, на какую—умолчу, и подписался подъ своимъ рѣзкимъ (но отнюдь не невѣжливымъ) письмомъ *en toutes lettres*, да еще выставилъ адресъ. Я пригласилъ его къ себѣ объясниться. Онъ пришелъ и поразилъ меня горячностью и серьезностью своего отношенiя къ дѣлу. Кой въ чемъ онъ со мной согласился и ушелъ въ раздумьи. Замѣчу еще, что, какъ мнѣ кажется, юное поко-

лѣніе наше гораздо лучше умѣть спорить, чѣмъ старики, т.-е. собственно въ манерѣ спора: они выслушиваютъ и даютъ говорить — и это, именно, оттого, что для нихъ разъясненіе дѣла дороже ихъ самолюбія. Уходя, онъ пожалѣлъ о рѣзкости письма своего и все это вышло у него съ неподдѣльнымъ достоинствомъ. Руководителей нѣтъ у нашей молодежи, вотъ что! А ужъ какъ она въ нихъ нуждается, какъ часто она устремлялась съ восторгомъ во слѣдъ людей, хотя и не стоившихъ того, но чуть-чуть если искреннихъ! И каковы или каковъ долженъ быть этотъ будущій руководитель—тамъ какъ бы онъ ни былъ? Да и пошлетъ ли еще намъ такихъ людей наша русская судьба—вотъ вопросы!

III.

Планъ обличительной повѣсти изъ современной жизни.

А вѣдь я объ анонимномъ ругателѣ еще не кончила. Дѣло въ томъ, что этакой человекъ можетъ представить собою чрезвычайно серьезный литературный типъ, въ романѣ или повѣсти. Главное, тутъ можно и надо взглянуть съ иной уже точки зрѣнія, съ точки общей, гуманной, и согласить ее съ русскимъ характеромъ вообще и съ современною текущею причинностью появленія у насъ этого типа въ особенности. Въ самомъ дѣлѣ, чуть-чуть вы начнете работать надъ этимъ характеромъ, какъ тотчасъ сознаетесь, что у насъ безъ такихъ людей теперь и не можетъ быть, или еще ближе—что только подобнаго рода людей мы, скорѣе всего, и ожидать должны въ наше время, и что если ихъ сравнительно еще мало, то это именно по особой милости Божіей. Въ самомъ дѣлѣ, все это народъ взросшій въ нашихъ недавнихъ шаткихъ семействахъ, у недовольныхъ скептическихъ отцовъ, передавшихъ дѣтямъ одно равнодушіе ко всему насущному и много-много что какое-то неопредѣленное безпокойство насчетъ чего-то грядущаго, страшно фантастическаго, но во что, однакоже, наклонны увѣрывать даже эти, такъ называемые, *готовые* реалисты и холодные ненавистники нашего настоящаго. Да сверхъ того передавшихъ имъ, разумѣется, свой скептический безсильный смѣхъ, хотя и мало сознательный, но всегда вседовольный. Мало ли взросло за послѣднія двадцать, двадцать пять лѣтъ дѣтей у этихъ гадкихъ завистниковъ, прожившихъ послѣднія выкупныя и оставившихъ дѣтямъ нищету и завѣтъ под-

лости—развѣ мало такихъ семействъ? И вотъ молодой человекъ вступаетъ, положимъ, на службу. Фигуры нѣтъ, „остроумія нѣтъ“, связей никакихъ. Есть природный умъ, который, впрочемъ, у всякаго есть, но такъ какъ онъ у него воспитанъ прежде всего на безцѣльномъ зубоскальствѣ, вотъ ужъ двадцать пять лѣтъ принимающемся у насъ за либерализмъ, то ужъ, конечно, нашъ герой свой умъ немедленно принимаетъ за гений. О, Боже, какъ не оказаться безграничному самолюбію, когда человекъ выросъ безъ малѣйшей нравственной выдержки. И сначала онъ куражился ужасно, но такъ какъ въ немъ все-таки умъ (я для типа предпочитаю взять человека нѣсколько умнѣе середины людей чѣмъ глупѣе, ибо только въ этихъ двухъ случаяхъ и возможно появленіе такого типа), то онъ скоро догадывается, что зубоскальство все же вещь отрицательная и до положительнаго ни до чего не доведетъ. И что если довольствовался имъ его батюшка, то вѣдь потому, что тотъ былъ все же старый колпакъ, хотъ и либеральный человекъ, ну а онъ, сынокъ, все же гений, и только вотъ покамѣстъ проявить себя затрудняется. О, онъ, конечно, готовъ на всякую самую положительную подлость въ душѣ, „ибо почему же не употребить подлость въ дѣло? Да и кто можетъ доказать въ нашъ вѣкъ, что подлость есть подлость“ и т. д., и т. д.—Однимъ словомъ, онъ вѣдь выросъ на этихъ готовыхъ вопросахъ. Но онъ скоро догадывается, что нынѣ, чтобъ даже и подлостью употребить въ дѣло, надо ждать долгой вакансіи, да къ тому же отъ нравственной готовности на подлость до дѣла даже и ему пожалуй далеко, и надо предварительно еще, такъ сказать, практически выровняться. Ну, конечно, будь онъ поглупѣе, онъ бы мигомъ устроился: „вышія поползновенія долой и примоститься поскорѣе къ тому-то или къ такому-то, да ужъ и тянуть за нимъ лямку послушно и убѣжденно и—въ концѣ карьера“. Но самолюбіе-то, убѣжденіе-то въ своей гениальности пока еще долго мѣшаетъ: не можетъ онъ даже и въ мысли своей слить столь славную предполагаемую судьбу свою съ судьбой такого-то или такого-то: „Нѣтъ-съ, мы пока еще въ оппозиціи, а если они захотятъ меня, то пусть сами придутъ—поклонятся“. И вотъ онъ ждетъ, пока кто-нибудь ему поклонится, и злится, злится и ждетъ, а между тѣмъ, подъ бокомъ у него какой-то уже шагнулъ выше его, другой уже примостился, а третій уже сѣлъ ему въ на-

чальники,—этотъ третій, которому онъ же, тамъ, въ ихъ „высшемъ училищѣ“, избрѣлъ прозвище и пустилъ на него эпиграмму въ стихахъ, когда рукописный училищный журналъ издавалъ и слылъ тамъ за генія. „Нѣтъ-съ, это обидно! Нѣтъ, зачѣмъ же не я, а онъ? И вездѣ-то, вездѣ-то все занято! Нѣтъ, думаетъ онъ, тутъ не моя карьера, да и чтó служить, служатъ мѣшки, мое поприще литература—и вотъ онъ начинаетъ разсылать по редакціямъ свои произведенія, сначала incognito, потомъ съ обозначеніемъ полного имени. Ему, разумѣется, не отвѣчаютъ; въ нетерпѣніи онъ пускается лично обивать пороги редакцій. При случаѣ, получая обратно рукопись, позволяетъ себѣ даже поострить, желчно позубоскальничать, такъ сказать, сердце сорвать, но все это не помогаетъ. „Нѣтъ, видно и тутъ все занято“, думаетъ онъ, скорбно усмѣхаясь. Главное, его все мучитъ роковая забота отыскивать всегда и вездѣ какъ можно больше людей хуже себя. О, онъ бы и понять никогда не могъ, какъ это можно радоваться тому, что есть и лучше его! Вотъ тогда-то онъ и натывается въ первый разъ на мысль пустить въ какую-нибудь редакцію, изъ тѣхъ, гдѣ его наиболѣе обидѣли, злобное неподписанное письмо. Написалъ, пустилъ, повторилъ въ другой разъ—понравилось. Но послѣдствій все-таки никакихъ, все попрежнему кругомъ его глухо, нѣмо и слѣпо. „Нѣтъ, чтó жъ это за карьера“, рѣшаетъ онъ окончательно и рѣшаетъ, наконецъ, „примоститься“. Онъ выбираетъ *лицо*—именно своего начальника—директора, тутъ, можетъ быть, какъ-нибудь помогаетъ ему и случай и связишки. И Поприщинъ у Голая началъ вѣдь съ того, что отличился чинкою перьевъ и былъ вытребованъ для сей цѣли въ квартиру его превосходительства, гдѣ и увидалъ директорскую дочку, для которой очинилъ два пера. Но время Поприщинныхъ прошло, да и перьевъ теперь не чинять, да и не можетъ измѣнить нашъ герой своему характеру: не перья въ его головѣ, а самыя дерзкія мечты. Короче, въ самый короткий срокъ, онъ уже убѣжденъ, что плѣнилъ директорскую дочку и что та по немъ изнываетъ. „Ну, вотъ и карьера, думаетъ онъ, — да и къ чему бы годились женщины, если бъ нельзя было черезъ нихъ сдѣлать умному человѣку карьеру: въ этомъ, въ сущности, весь женскій вопросъ и заключается, если реально-то обеудить его. А главное, и не стыдно: мало ли кто выходилъ на дорогу

черезъ женщинъ?“ Но—но тутъ какъ разъ подверты-
вается, какъ и у Поприщина, адъютантъ! Поприщинъ
поступилъ по своему характеру: онъ сошелъ съ ума на
мечтѣ о томъ, что онъ Испанскій король. И какъ нату-
рально! Чтò могло оставаться приниженному Поприщину,
безъ связей, безъ карьеры, безъ смѣлости и безъ всякой
иниціативы, да еще въ то петербургское время, какъ не
броситься въ самое отчаянное мечтаніе и повѣрить ему?
Но нашъ Поприщинъ, современный намъ Поприщинъ,—
ни за чтò въ мірѣ не въ состояніи повѣрить, что онъ
такой же самый Поприщинъ, какъ и первоначальный,
только повторившійся тридцать лѣтъ спустя. Въ душѣ
его грома и молнія, презрѣніе и сарказмы, и—и вотъ
онъ бросается тоже въ мечту, но въ другую. Онъ вспо-
минаетъ, что на свѣтѣ могутъ быть анонимныя письма
и что они уже разъ употреблены имъ, и—вотъ онъ
рискуетъ свое письмо, но уже не въ журнальную ре-
дакцію, а почище-съ: онъ чувствуетъ, что вступаетъ въ
новый практическій фазисъ. О, какъ онъ запирается въ
своей каморкѣ отъ своей хозяйки, какъ трепещетъ, чтобъ
за нимъ не подглядѣли, но онъ строчитъ, строчитъ, измѣ-
няя почеркъ, создаетъ четыре страницы клеветъ и руга-
тельствъ, перечитывая съ наслажденіемъ и—просидѣвъ
ночь, къ разсвѣту запечатываетъ письмо и адресуетъ—
къ жениху адъютанту. Почеркъ онъ измѣнилъ, онъ не
боится. Вотъ онъ рассчитываетъ часы, вотъ теперь письмо
должно дойти—это жениху объ его невѣстѣ,—о, тотъ,
конечно, откажется, онъ испугается, вѣдь это же не
письмо, а „шедѣвръ“! И молодой нашъ другъ изо всѣхъ
силъ знаетъ, что онъ подленькій негодяй; но онъ этому
только радъ: „Нынѣ-де время раздвоенія мысли и широ-
кости, нынѣ прямолинейной мыслью не проживешь“.

Разумѣется, письмо не оказало дѣйствія, свадьба со-
стоялась, но начало сдѣлано, и герой нашъ какъ бы
попалъ на свою карьеру. Его обуялъ своего рода миражъ,
какъ и Поприщина. Съ жаромъ бросается онъ въ новую
дѣятельность, въ анонимныя письма. Онъ вывѣдываетъ
про своего генерала, онъ соображаетъ, онъ изливаетъ
все, чтò накопилось въ немъ за цѣлые годы неудовле-
творенной службы, раздраженнаго самолюбія, желчи, зависти.
Онъ критикуетъ всѣ дѣйствія генерала, онъ осмѣи-
ваетъ его самымъ беспощаднымъ образомъ, и это въ нѣ-
сколькихъ письмахъ, въ цѣломъ рядѣ писемъ. И какъ

ему это сначала нравится? И поступки-то генерала, и жену-то его, и любовницу, и глупость всего ихъ вѣдомства—все, все изобразилъ онъ въ своихъ письмахъ. Мало-помалу, онъ выдается даже въ государственныя соображенія, онъ компануетъ письмо къ министру, въ которомъ предлагаетъ измѣнить Россію, уже не церемонясь. „Нѣтъ, министръ не можетъ не поразиться, геній поразитъ его и письмо дойдетъ, пожалуй, до... До такого то-есть лица, что... Однимъ словомъ, куражь, топ enfant, и когда станутъ разыскивать автора, тутъ-то я разомъ и объявлюсь, такъ сказать уже безъ застѣнчивости“. Однимъ словомъ, онъ упивается своими произведениями и поминутно воображаетъ, какъ распечатываются его письма и что затѣмъ происходитъ на лицахъ тѣхъ лицъ... Въ такомъ расположеніи духа онъ позволяетъ себѣ иногда даже и пошалить; для шутки пишетъ къ инымъ самымъ смѣшнымъ даже лицамъ, не пренебрегаетъ какимъ-нибудь даже Егоромъ Егоровичемъ, своимъ старичкомъ столоначальникомъ, котораго и вправду чуть не сводитъ съ ума, анонимно увѣривъ его, что его супруга завела любовную связь съ мѣстнымъ частнымъ приставомъ (главное, что тутъ на половину могло быть и правды). Такъ проходить нѣкоторое время, но... но вдругъ странная идея осѣняетъ его,—именно: что вѣдь онъ Поприщинъ, не болѣе какъ Поприщинъ, тотъ же самый Поприщинъ, но только въ миллионъ разъ подлѣе, и что всѣ эти пасквили изъ-за угла, все это анонимное могущество его есть въ сущности миражь и больше ничего, да еще самый гаденькій миражь, самый паскудненькій и позорный, хуже даже чѣмъ мечта объ испанскомъ престолѣ. А тутъ какъ разъ случилось обстоятельство уже серьезное,—не позорное какое-нибудь: „что позоръ, позоръ вздоръ, позора бояться теперь лишь аптекари“, а дѣйствительно страшное обстоятельство, въ самомъ дѣлѣ страшное. Дѣло въ томъ, что хоть разсудокъ и былъ у него, но все же онъ не удержался и во время своего упоенія новой карьерой, именно послѣ-то письмаца къ министру, сболтнулъ о своихъ письмахъ—кому же? нѣмкѣ, хозяйкѣ своей,—ну, конечно, не все, она бы и не поняла всего, конечно чуть-чуть, такъ, отъ избытка лишь сердца; но каково же было его изумленіе, когда, черезъ мѣсяцъ, тихоня-чиновникъ другого вѣдомства, проживавшій у той же хозяйки въ отдаленной комнатѣ, злобно-молчаливый человекъ,

вдругъ, разсердившись на что-то, намекнулъ ему, проходя мимо въ коридорѣ, на то, что онъ,—то-есть вотъ онъ, чиновникъ-тихоня,—есть „человѣкъ нравственный, и анонимныхъ писемъ, по примѣру нѣкоторыхъ господъ, не пишетъ“. Каково! Сначала онъ не такъ испугался, мало того, проэкзаменовавъ чиновника—а для того нарочно и даже унижительно помирившись съ нимъ,—онъ убѣдился, что тотъ ничего почти и не знаетъ. Но... ну, а если знаетъ? Къ тому же въ департаментѣ давно уже начался слухъ о томъ, что кто-то пишетъ начальству по городской почтѣ ругательства и что это непременно кто-то изъ своихъ. Несчастный начинаетъ задумываться, даже не спитъ по ночамъ. Однимъ словомъ, можно особенно ярко выставить его душевныя муки, его мнительность, его промахи. Наконецъ, онъ почти уже совсѣмъ убѣжденъ, что всѣ все знаютъ, что ему только не говорить во времени; что же объ исключеніи его изъ службы, то это уже рѣшено, что этимъ, конечно, не ограничатся,—однимъ словомъ, онъ почти сходитъ съ ума. И вотъ разъ сидитъ онъ въ департаментѣ и почти безпредѣльное негодование подымаетъ его сердце на все и на всѣхъ: „О, злые, проклятые люди, думаетъ онъ,—ну, можно ли такъ притворяться! Вѣдь они знаютъ же, что *это я*, знаютъ всѣ до одинаго, вѣдь они объ этомъ шопотомъ говорятъ другъ съ другомъ, когда я прохожу мимо, знаютъ и бумагу, которая обо мнѣ тамъ въ кабинетѣ приготовлена и... и всѣ притворяются! Всѣ скрываютъ отъ меня! Имъ хочется насладиться, увидѣть какъ меня потащутъ... Такъ нѣтъ же! Нѣтъ же!“ И вотъ онъ, часъ спустя, случайно относитъ какую-то бумагу въ кабинетъ его превосходительства. Онъ входитъ, кладетъ почтительно бумагу на столъ, генераль занятъ и не обращаетъ вниманія, онъ повертывается, чтобъ неслышно выйти, беретъ за замокъ, и вдругъ, такъ, какъ падаютъ въ бездну, бросается къ ногамъ его превосходительства, за секунду и не подозрѣвая о томъ, что бросится: „Все равно погибать, лучше ужъ самъ сознаюсь!“ „Только потише, ваше превосходительство, только, пожалуйста, потише, ваше превосходительство! Чтобъ тамъ не услыхалъ насъ кто-нибудь, а я вамъ все расскажу, все расскажу!“—умоляетъ онъ, какъ безумный, изумленнаго его превосходительство, сложа передъ нимъ по-дурацки руки. И вотъ, отрывочно, безсвязно, весь дрожа, глупо признается во всемъ, къ вѣщ-

шему изумленію его превосходительства, совсѣмъ ничего и не подозрѣвавшего. Но вѣдь и тутъ герой нашъ выдержалъ характеръ вполне,—ибо для чего онъ бросился къ ногамъ генерала? Конечно, отъ болѣзни, конечно отъ мнительности, но *главное и отъ того*, что онъ,—и струсившій, и униженный, и себя во всемъ обвиняющій,—а все же мечталъ попрежнему, какъ всеупоенный самомиѣніемъ дурачокъ, что, можетъ быть, его превосходительство, выслушавъ его, и все же, такъ сказать, пораженный его гениемъ,—раскроетъ обѣ руки свои, которыми онъ столь много подписываетъ на пользу отечества бумагы, и заключить въ свои объятія: „Неужели, дескать, ты до того доведенъ былъ, несчастный, но даровитый молодой человекъ! О, это я, я во всемъ виноватъ, я просмотрѣлъ тебя! Беру всю вину на себя. О, Боже мой, вотъ до чего принуждена доходить наша талантливая молодежь изъ-за вины нашихъ старыхъ порядковъ и предрасудковъ! Но, прійди, прійди на грудь мою, и—вмѣстѣ со мною раздѣли постъ мой, и мы... и мы перевернемъ департаментъ!“ Но такъ не случилось; и потомъ, долго спустя, въ позорѣ и въ униженіи, вспоминая о пингѣ носкомъ генеральскаго сапога, пришедшагося ему прямо тогда въ лицо, онъ почти искренно обвинялъ судьбу и людей: „Разъ, дескать, въ жизни моей я раскрылъ людямъ мои объятія вполне, и что же удостоился получить?“ Финаль ему можно придумать какой-нибудь самый естественный и современный, на примѣръ, его, уже выгнаннаго изъ службы, нанимаютъ въ фиктивный бракъ за сто рублей, при чемъ послѣ вѣнца онъ въ одну сторону, а она въ другую, къ своему лабазнику: „и мило, и благородно“, какъ выражается частный приставъ у Щедрина о подобномъ же случаѣ.

Однимъ словомъ, мнѣ кажется, что типъ анонимнаго ругателя—весьма недурная тема для повѣсти. И серьезная. Тутъ, конечно бы, нуженъ Гоголь, но... я радъ, по крайней мѣрѣ, что случайно набрелъ на идею. Можетъ быть, и въ самомъ дѣлѣ попробую вставить въ романъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

I.

Прежніе земледѣльцы—будущіе дипломаты.

Но куда я удалился отъ дѣла? Я началъ съ того, что

я въ деревнѣ и радъ тому. Давненько-таки я не живаль въ русской деревнѣ. Но о деревнѣ потомъ, а здѣсь лишь вставлю, что я уже потому, между прочимъ, радъ, что я въ деревнѣ, а не за границей, что не увижу за границей слоняющихся тамъ нашихъ русскихъ. Въ самомъ дѣлѣ, въ наше, столь народное, столь единительное и патриотическое время, когда именно всюду ищешь у себя дома русскихъ, ждешь русскихъ, желаешь и требуешь русскихъ, въ такое время слишкомъ тяжело видѣть за границей, куда, вотъ ужъ двадцать лѣтъ, ежегодно экспатрируется и гдѣ колонизируется наша интеллигенція, — претвореніе чисто русскаго, сырого и превосходнаго, можетъ-быть, матеріала въ жалкую, международную дрянъ, обезличенную, безъ характера, безъ народности и безъ отечества. Я не про отцовъ говорю, — отцы неисправимы и Богъ съ ними, — а про ихъ несчастныхъ дѣтей, которыхъ они губятъ за границей. Отцы же даже отъявленнымъ нашимъ русскимъ европейцамъ становятся, наконецъ, смѣшны. Г. Буренинъ, отправившійся корреспондентомъ на войну, рассказываетъ въ одномъ изъ своихъ писемъ забавную встрѣчу съ однимъ изъ нашихъ европейцевъ сороковыхъ годовъ, „въ сѣдыхъ почтенныхъ кудряхъ“, проживающимъ постоянно за границей, но приѣхавшимъ нарочно на войну посмотреть на „зрѣлище борьбы“ (разумѣется, съ самаго почтительнаго разстоянія) и разострившимся въ вагонѣ надъ всѣмъ, надъ чѣмъ вотъ ужъ сорокъ лѣтъ оstrarяты эти господа, т.-е. надъ русскимъ духомъ, надъ славянофилами и проч., и проч. Онъ потому-де живетъ за границей, что у насъ въ Россіи „все еще нечего дѣлать серьезному и порядочному человѣку“. (NB. Я привожу цитаты на память). Одна изъ удачнѣйшихъ острогъ его состояла въ томъ, что „уже сдѣлано распоряженіе по желѣзнымъ дорогамъ, привести въ особомъ вагонѣ, въ виду вступленія нашихъ войскъ въ Болгарію и обновленія славянства — тѣнь Хомякова“. Но этому сѣдокудруму господину можно бы было замѣтить, что самъ онъ очень тоже похожъ на тѣнь какого-нибудь, можетъ быть и весьма почтеннаго западно-либеральнаго говорильщика сороковыхъ годовъ, но который теперь, если бъ столько лѣтъ спустя и доживъ до сѣдыхъ, кудрей, повторялъ бы то же самое, на чемъ остановился въ своихъ сороковыхъ годахъ, то ужъ, конечно, даже будь онъ хоть самъ Грановскій, казался бы непремѣнно точь-въ-точь такимъ же самымъ шуткомъ, какъ и этотъ

господинъ, извѣщавшій о распоряженіи доставить по желѣзной дорогѣ на театръ войны тѣнь Хомякова и о томъ, что въ нашей Россіи все еще нечего дѣлать порядочному человѣку.

Эмигрировали изъ Россіи (я удерживаю это слово) двадцать лѣтъ назадъ наиболѣе помѣщики и съ тѣхъ поръ эмиграція продолжается съ каждымъ годомъ. Конечно, въ этомъ числѣ много и не помѣщиковъ, были всякіе, но въ огромномъ большинствѣ, если не всѣ, — болѣе или менѣе ненавидящіе Россію, иные нравственно, вслѣдствіе убѣжденія, „что въ Россіи, такимъ порядочнымъ и умнымъ, какъ они, людямъ, нечего дѣлать“, другіе уже просто ненавидя ея безо всякихъ убѣжденій, такъ сказать, натурально, физически: за климатъ, за поля, за лѣса, за порядки, за освобожденнаго мужика, за русскую исторію, однимъ словомъ, за все, за все ненавидя. Замѣчу, что такая ненависть можетъ быть и весьма пассивная, очень спокойная и до апатіи равнодушная. А тутъ, какъ разъ, почувствовались въ рукахъ выкупныи и сверхъ того ужасно многихъ озарило убѣжденіе, что съ освобожденіемъ крестьянъ все погбло — и деревня, и землевладѣніе, и дворянство, и Россія. Правда и то, что съ освобожденіемъ крестьянъ сельскій трудъ остался безъ достаточной организаціи и обезпеченія, и личное землевладѣніе натурально струсило и сконфузилось такъ, какъ ни въ какой исторической перекоротъ не могло бы случиться больше. Вотъ и пустились помѣщики продавать и продавать, и часть ихъ (слишкомъ не малая) бросилась за границу. Но что бы ни выставляли они себѣ въ оправданіе, но не могутъ же они утаить, и передъ согражданами, и передъ дѣтьми своими, что главная причина ихъ эмигрированія была тоже и приманка эгоистическаго „ничего-недѣланья“. И вотъ съ тѣхъ поръ русская личная поземельная собственность въ полнѣйшемъ хаосѣ, продается и покупается, мѣняетъ своихъ владѣтелей поминутно, мѣняетъ даже видъ свой, обезлѣсивается, — и во что обратится она, за кѣмъ останется она окончательно, изъ кого составитъ окончательно обновленное русское землевладѣльческое сословіе, въ какую форму преобразится оно въ концѣ концовъ—все это трудно предсказать, а между тѣмъ, если хотите, въ этомъ главнѣйшій вопросъ русской будущности. Это ужъ какой-то законъ природы, не только въ Россіи, но и во всемъ свѣтѣ: кто въ странѣ владѣютъ землей, тѣ и хо-

злева той страны, во всѣхъ отношеніяхъ. Такъ бывало вездѣ и всегда. Но у насъ, скажутъ, сверхъ того община, — вотъ значить и хозяева. Но... вопросъ объ общинѣ развѣ изъ рѣшенныхъ у насъ окончательно? Развѣ пятнадцать лѣтъ назадъ онъ не вошелъ у насъ тоже въ новый фазисъ, какъ и все остальное? Но объ этомъ обо всемъ потомъ, а заключу пока мою мысль голословно: если въ странѣ владѣніе земель *серьезное*, то и все въ этой странѣ будетъ серьезно, во всѣхъ то-есть отношеніяхъ, и въ самомъ общемъ, и въ частностяхъ. Хлопочуть, напримѣръ, у насъ о просвѣщеніи, о народныхъ школахъ, а я вотъ вѣрю только тому, что школы тогда только примутся у насъ серьезно и основательно, когда землевладѣніе и земледѣліе наше организуются у насъ серьезно и основательно, и что скорѣе не отъ школы получится хорошее земледѣліе, а, напротивъ, отъ хорошаго лишь земледѣлія (т.-е. отъ правильнаго землевладѣнія) получится хорошая школа, но никакъ не раньше. Параллельно же съ этимъ примѣромъ и все: и порядки, и законы, и нравственность, и даже самый умъ націй, и все, наконецъ, всякое правильное отправление національнаго организма организуется лишь тогда, когда въ странѣ утвердится прочное землевладѣніе. То же самое можно сказать и о характерѣ землевладѣнія: будь характеръ аристократическій, будь демократическій, но каковъ характеръ землевладѣнія, таковъ и весь характеръ націи.

Но теперь пока наши бывшіе помѣщики гуляютъ за границей, по всѣмъ городамъ и водамъ Европы, набивая цѣпны въ ресторанахъ, таская за собой, какъ богачи, гювернантокъ и боннѣ при своихъ дѣтяхъ, которыхъ водятъ въ кружевахъ и въ англійскихъ костюмахъ, съ голыми ножками, напоказъ Европѣ. А Европа-то смотритъ и дивится: „Вотъ вѣдь сколько у нихъ тамъ богатыхъ людей, и главное столь образованныхъ, столь жаждущихъ европейскаго просвѣщенія. Это вѣдь изъ-за деспотизма имъ до сихъ поръ не выдавали заграничныхъ паспортовъ, и вдругъ сколько у нихъ оказалось землевладѣтелей и капиталистовъ и удалившихся отъ дѣлъ рантьеровъ, — да больше чѣмъ даже во Франціи, гдѣ столько рантьеровъ“. И расскажите Европѣ, растолкуйте ей, что это чисто-русское явленіе, что никакого тутъ нѣтъ рантьерства, а напротивъ пожираніе основныхъ своихъ фондовъ, сжиганіе свѣчки съ обоихъ концовъ, то Европа, конечно, не повѣ-

рить этому, невозможному у ней, явленію, да и не пойметъ его вовсе. И вѣдь, главное, эти сибариты, слоняющиеся по германскимъ водамъ и по берегамъ швейцарскихъ озеръ, эти Лукуллы, проживающіеся въ ресторанахъ Парижа — вѣдь они сами знаютъ и съ нѣкоторою даже болью все же предчувствуютъ, что вѣдь фонды-то они свои, наконецъ, проѣдятъ, и что дѣтямъ ихъ, вотъ этимъ самымъ херувимчикамъ въ англійскихъ костюмчикахъ придется, можетъ-быть, просить по Европѣ милостыню (и будутъ просить милостыню!) или обратиться въ французскихъ и нѣмецкихъ рабочихъ (и обратятся въ французскихъ и нѣмецкихъ рабочихъ!). Но, думаютъ они, „après nous le déluge, да и кто виноватъ: виноваты все тѣ же наши русскіе порядки, наша неуэлюжая Россія, въ которой порядочному человѣку до сихъ поръ еще ничего сдѣлать нельзя“. Вотъ какъ они думаютъ, а либеральнѣйшіе изъ нихъ, тѣ, которые могутъ назваться высшими и чистѣйшими западниками сороковыхъ годовъ, тѣ прибавляютъ еще, можетъ-быть, про себя: „Ну, что жъ, что дѣти останутся безъ состоянія, зато унаслѣдуютъ идею, благородную заваску истиннаго и священнаго образа мыслей. Воспитанные вдали отъ Россіи, они не будутъ знать поповъ и глупое слово: „Отечество“. Они поймутъ, что Отечество есть предрассудокъ и даже самый пагубнѣйшій изъ всѣхъ существующихъ въ мірѣ. Изъ нихъ выйдутъ благородные общечеловѣческіе умы. Мы и только мы, русскіе, положимъ начало этимъ новымъ умамъ. Именно тѣмъ, что проживаемъ за границей наши выкупныя, мы полагаемъ основаніе новому грядущему международному гражданству, которое, рано ли, поздно ли, а обновитъ Европу, и вся честь за то намъ, потому что мы начали раньше всѣхъ“. Впрочемъ, такъ говорятъ лишь „сѣдокудрые“, т.-е. еще очень немногіе, ибо много ли передовыхъ-то? Болѣе же практическіе, и даже изъ „сѣдокудрыхъ“ *не столь благородные*, въ концѣ концовъ, все еще надѣются на „связишки“. Мы-то здѣсь проживаемся, это правда, да вѣдь и наживаемъ же что-нибудь все-таки, ну, тамъ знакомства, связишки, которыя потомъ въ „Отечествѣ-то“, и пригодятся. Къ тому же хоть и въ либеральномъ духѣ воспитываемъ дѣтокъ, да вѣдь все жъ джентльменами, — а въ этомъ вѣдь и все главное. Будутъ они витать въ сферахъ исключительныхъ и высшихъ, а либерализмъ въ высшихъ сферахъ всегда обозначалъ и сопровождалъ

у насъ джентльменство, ибо джентльменскій либерализмъ для высшаго-то, такъ сказать, консерватизма и полезенъ, это всегда у насъ различать умѣли. И что жъ, мы дѣтей растимъ за границей и—какъ разъ, значить, готовимъ ихъ въ дипломаты. Что за прелесть здѣсь всѣ эти мѣста при посольствахъ, при консульствахъ и какая бездна-бездная этихъ милѣйшихъ мѣстечекъ, и какъ восхитительно дотированныхъ! Вотъ и хватить на нашихъ дѣтишекъ: и покойно, и хорошо, и денежно, и прочно, да и служба всегда на виду. Да и служба чистенькая, щегольская, джентльменская; а работа, — ну, а работа прелегкая: знай знакомься съ русскими за границей, изъ тѣхъ, кто попорядочнѣе, а изъ тѣхъ, кто накуролесять да защититъ себя консула просятъ—мы тѣхъ свысока обернемъ, поначальственнѣе, и слушать-то не станемъ: „не вѣримъ вамъ, дескать, безпорядки производите сами, все еще воображаете себя въ миломъ отечествѣ, тогда какъ здѣсь мѣсто чистое. Изъ-за васъ неприятности получай, да и стѣдить еще изъ-за такого, какъ вы, иноземное начальство беспокоить; вы только посмотрите на себя въ зеркало, до чего вы дошли-съ!“ Вотъ и вся служба въ этомъ! Однимъ словомъ, сумѣютъ и наши дѣточки выйти въ люди: да-съ, были бы только связи—вотъ что первѣе всего надо родительскому сердцу наблюсти, а прочее все приложится по востребованію.

Итакъ, всѣ не столь благородные изъ проживающихся за границей болѣе или менѣе разсчитываютъ на связиски. Но вѣдь что такое связи? Ну, хоть и значать что-нибудь, но вѣдь эта *матерья* ужасно скоро изнашивается. И далеко бы не мѣшало, кромѣ связей, запасти себѣ—ну хоть немножко знанія Россіи и собственнаго ума, хоть на всякій случай. Теперь же именно, въ эпоху реформъ и новыхъ началъ, у насъ какъ нарочно всѣ собственнымъ умомъ хотятъ жить, всѣ того захотѣли;—идея безспорно просвѣщенная, но то бѣда, что никогда еще у насъ не бывало столь мало собственнаго ума, какъ теперь, при общемъ желаніи имѣть его. Почему это такъ—рѣшать не возьмусь, да и трудно, но одну изъ причинъ, почему херувимчики наши безспорно будутъ дурачками — основательно знаю, и хотъ она стара, но укажу на нее. А впрочемъ все то же самое, объ чемъ я говорилъ и въ прошломъ году. Причина — русскій языкъ, т.-е. недостатокъ русскаго, отечественнаго языка отъ воспитанія за грани-

цей, съ гувернантками и боннами иностранками. Это у насъ и всегда водилось, и прежде, т. е. недостатокъ этотъ, но никогда какъ теперь, когда столько херувимчиковъ взрастетъ за границей. Положимъ, они готовятся въ дипломаты, а дипломатическій языкъ, извѣстно, французскій языкъ; русскій же языкъ довольно знать лишь и грамматически. Но такъ ли это? Вопросъ этотъ хоть и до пошлости старый, а между тѣмъ онъ до того еще нерѣшенный, что недавно даже въ печати о немъ опять заговорили, хоть и косвенно, по поводу сочиненій г. Тургенева на французскомъ языкѣ. Выражено было даже мнѣніе, что „не все ли равно г-ну Тургеневу сочинять на французскомъ или на русскомъ языкѣ и что тутъ такого запрещеннаго?“ Запрещеннаго, конечно, нѣтъ ничего и особенно такому огромному писателю и знатому русскаго языка, какъ Тургеневъ, и если у него такая фантазія, то почему же ему не писать на французскомъ, да и къ тому же если онъ французскій языкъ почти какъ русскій знаетъ. И потому о Тургеневѣ ни слова, но... но я вижу, что я рѣшительно повторяюсь и прошлаго года говорилъ рѣшительно то же самое, на ту же самую тему, и въ этихъ же заграничныхъ мѣсяцахъ, толкуя съ загранично-русской маменькой о вредѣ французскаго языка для ея херувимчиковъ. Но маменька готовить теперь херувимчиковъ въ дипломаты и вотъ собственно лишь по поводу дипломатіи-то, хоть и неприятно повторяться, но рискну и еще ей словцо.

— Но вѣдь дипломатическій языкъ французскій,—прерываетъ меня маменька на этотъ разъ, не давъ мнѣ даже и начать.

Увы, она съ прошлаго года приготовилась, она третируетъ меня свысока.

— Такъ, сударыня, отвѣчаю я,—возраженіе ваше сильное и я согласенъ съ вами безспорно. Но, во-первыхъ, вѣдь что я говорилъ о знаніи русскаго языка, надо приложить и къ французскому, вѣдь не правда ли? Вѣдь, чтобъ выразить богатства своего организма на французскомъ языкѣ, надо и французскій языкъ усвоить себѣ богатѣйшимъ образомъ. Ну, такъ знайте же, есть такая тайна природы, законъ ея, по которому только тѣмъ языкомъ можно владѣть въ совершенствѣ, съ какимъ родился, т. е. какимъ говоритъ тотъ народъ, къ которому принадлежите вы. Вы морщитесь, я васъ обидѣлъ, вы смотрите

насмѣшливо. Вы махаете ручкой и увѣряете меня, что слышали это еще прошлаго года и что я повторяюсь. Хорошо-съ, я вамъ уступаю, да и тема эта не дамская. Я вамъ просто-за-просто уступлю и соглашусь съ вами, что можно и русскому усвоить себѣ французскій языкъ въ совершенствѣ, но съ огромнымъ условіемъ: родиться во Франціи, вырасти въ ней и съ самага перваго часа своей жизни преобразиться въ француза. О, вы развеселились, вы уже улыбааетесь, но замѣйте, однако, сударыня, что это даже и для васъ не совѣмъ возможно будетъ исполнить касательно вашего херувимчика, несмотря даже на всѣ удобства, т.-е. эмиграцію, выкупныя, парижскую бонну и проч., и проч. Къ тому же, возьмите въ соображеніе и природныя, такъ сказать, дары, потому что нельзя же вѣдь сравнить г. Тургенева и вашего, напри-мѣръ, херувимчика относительно этихъ даровъ. Много ль, скажите, родится Тургеновыхъ-то... Ахъ нѣтъ, нѣтъ, чтò я! Я опять ошибся, сболтнулъ: изъ вашего херувимчика выйдетъ навѣрно Тургеновъ, или даже три Тургенева разомъ, оставимъ это, но... — „Но, прерываете вы вдругъ меня, — вѣдь дипломаты и безъ того всѣ умны, такъ зачѣмъ же ужъ такъ хлопотать объ умѣ? Повѣрьте, были бы только связи. Mon tagi...“ — Вы совершенно правы, сударыня, перебиваю и я поскорѣе,—были бы связи, и оставляя вашего супруга какъ можно болѣе въ сторонѣ, все-таки прибавлю, что къ связямъ не худо бы хоть немного ума. И во-первыхъ, дипломаты вовсе не потому умны, что они дипломаты, а потому только, что они и до дипломатіи были умные люди, а повѣрьте, что есть даже чрезвычайно много дипломатовъ замѣчательно глупыхъ людей.—„Ахъ, нѣтъ, вотъ ужъ извините, прерываете вы меня въ нетерпѣннн,—дипломаты всѣ всегда умные, и всѣ на превосходныхъ мѣстахъ, и это самая благородная служба!“—„Сударыня, сударыня, восклицаю я,—вы говорите: связи и знаніе языковъ, но вѣдь связи только мѣсто доставятъ, а тамъ, потомъ... Ну, представьте себѣ: вашъ херувимчикъ возрастаетъ въ ресторанахъ Европы, кутить съ молодыми кокетками въ товариществѣ заграничныхъ виконтовъ и нашихъ русскихъ графовъ, но вѣдь потомъ... Вотъ онъ знаетъ всѣ языки и уже потому одному никого. Не имѣя же своего языка, онъ естественно схватываетъ обрывки мыслей и чувствъ всѣхъ націй, умъ его, такъ сказать, сбалтывается еще съ молодую въ какую-то

бурду, изъ него выходитъ международный межеумокъ съ коротенькими, недоконченными идейками, съ тупою прямолинейностью суждений. Онъ дипломатъ, но для него исторія націй слагается какъ-то по-шутовски. Онъ не видитъ, даже не подозрѣваетъ того, чѣмъ живутъ націи и народы, какіе законы въ организмѣ ихъ и есть ли въ этихъ законахъ цѣлое, усматривается ли общій международный законъ. Онъ готовъ выводить всѣ событія міра изъ того только, что такая-то, напримѣръ, королева разсердилась фаворитку такого-то короля, вотъ и произошла отъ того война двухъ королевствъ. Позвольте, я буду съ вашей точки зрѣнія судить. Пусть связи... Но вѣдь для пріобрѣтенія связей нуженъ характеръ, нужна, такъ сказать, любезность характера, мягкость, доброта и въ то же время твердость, настойчивость... Дипломатъ вѣдь долженъ быть плѣнителенъ, такъ сказать, плѣнять, побѣждать, не правда ли? Ну, такъ повѣрите ли вы или нѣтъ, когда я вамъ прямо и въ высшей степени опредѣленно скажу, что безъ знанія натурального своего языка, безъ обладанія имъ, нельзя даже выровнять себѣ и характера, особенно если херувимчикъ хорошо и богато одаренъ отъ природы. У него начнутъ же въ свое время рождаться мысли, идеи, чувства, его будутъ давить, такъ сказать, изнутри эти мысли и чувства, ища и требуя себѣ выраженія, а безъ богатыхъ, усвоенныхъ съ дѣтства, готовыхъ формъ выраженія, т.-е. безъ языка, безъ развитія его, безъ утонченностей его, безъ обладанія оттѣнками его — сынъ вашъ будетъ вѣчно недоволенъ собою; обрывки мыслей перестанутъ его удовлетворять, накопляющійся въ умѣ и въ сердцѣ матеріалъ потребуетъ основательнаго уже выраженія... Молодой человекъ станетъ озабоченъ, разсѣянъ, безпредметно задумчивъ, потомъ брюзгливъ, несносенъ, потомъ разстроитъ свое здорье, даже желудокъ, можетъ-быть, вѣрите ли тому...“

Но вижу, вижу, вы покатались со смѣху, я опять увлекся, согласенъ (а вѣдь Боже какую я правду говорю!) но позвольте мнѣ закончить, позвольте мнѣ вамъ напомнить, что я давеча вамъ уступилъ, я съ вами согласился, для виду, что дипломаты все же умные люди, но вы меня до того довели, сударыня, что я принужденъ теперь не скрыть отъ васъ даже самую секретнѣйшую подделку взгляда моего на этотъ предметъ. Именно, сударыня, мнѣ, какъ нарочно, нѣсколько уже разъ въ жизни приходило

на мысль, что въ дипломатіи, т.-е. во всеобщей дипломатіи, всѣхъ народовъ и всего девятнадцатаго столѣтія, чрезвычайно даже мало было умныхъ людей. Даже поражаетъ. Напротивъ, скудоуміе этого сословія въ исторіи Европы нынѣшняго столѣтія... то-есть, видите ли, всѣ они умны, болѣе или менѣе, это безспорно, всѣ остроумны, но умы-то это какіе! Проникалъ ли хоть одинъ изъ этихъ умовъ въ сущность вещей, понималъ ли, предчувствовалъ ли таинственные законы, ведущіе къ чему-то Европу, къ чему-то неизвѣстному, странному, страшному — но теперь уже очевидному, почти воочію совершающемуся въ глазахъ тѣхъ, которые чуть-чуть умѣютъ предчувствовать? Нѣтъ-съ, положительно можно изречь, что не было ни одного такого дипломата и ни одного такого ума въ этомъ столь почтенномъ и фаворизированномъ сословіи! (Я ужъ, конечно, говоря такъ, исключаю Россію и все отечественное, потому что мы, по самой сущности нашей, въ этомъ дѣлѣ „особь статья“). Напротивъ, во все столѣтіе являлись дипломатическіе умы, положимъ, прехитрѣйшіе интриганы, съ претензіей на реальнѣйшее пониманіе вещей, а между тѣмъ дальше своего носу и текущихъ интересовъ (да еще самыхъ поверхностныхъ и ошибочныхъ) никто изъ нихъ ничего не усматривалъ! Порванные ниточки какъ бы тамъ связать, заплаточку на дырочку положить, „дѣну подбить, вызолотить, за новое сойдетъ“ — вотъ наше дѣло, вотъ наша работа! И всему тому есть причины — и главнѣйшая, по моему — разъединеніе началъ, разъединеніе съ народомъ и обособленіе дипломатическихъ умовъ въ слишкомъ ужъ, такъ сказать, великосвѣтской и отвлеченной отъ человечества, сферѣ. Ну, возьмите, на примѣръ, графа Кавура — это ль былъ не умъ, это ль не дипломатъ? Я потому и беру его, что за нимъ уже рѣшена гениальность, да къ тому же и потому еще, что онъ умеръ. Но чтò жъ онъ сдѣлалъ, посмотрите: о, онъ достигъ своего, объединилъ Италію и чтò же вышло: 2000 лѣтъ носила въ себѣ Италія міровую и объединяющую міръ идею — не отвлеченную какую-нибудь, не спекуляцію кабинетнаго ума, а реальную, органическую, плодъ жизни націи, плодъ міровой жизни; это было объединеніе всего міра — сначала древне-римское, потомъ папское. Народы, возраставшіе и переходившіе въ эти два съ половиной тысячелѣтія въ Италіи, понимали, что они носители міровой идеи, а не

понимавшіе чувствовали и предчувствовали это. Наука, искусство—все облекалось и проникалось этимъ же міровымъ значеніемъ. О, положимъ, что міровая эта идея тамъ, подъ конецъ, сама собой износилась и вся истратилась, вся вышла (хотя врядъ ли такъ?), но вѣдь что жъ, наконецъ, получилось вмѣсто нея, съ чѣмъ поздравить только-то Италію, чего достигла она лучшаго-то послѣ дипломатіи графа Кавура? А явилось объединенное второстепенное королевствьицо, потерявшее всякое міровое поползновение, промѣнявшее его на самое изношенное буржуазное начало,—(тридцатое повтореніе этого начала со времени первой французской революціи) — королевство вседовольное своимъ единствомъ, ровно ничего незначающимъ, единствомъ механическимъ, а не духовнымъ (т. е. не прежнимъ міровымъ единствомъ), и сверхъ того въ неоплатныхъ долгахъ, и сверхъ того именно вседовольное своею второстепенностью. Вотъ чтò получилось, вотъ созданіе графа Кавура! Однимъ словомъ, современный дипломатъ есть именно „великій звѣрь на малыя дѣла!“ Князь Меттернихъ считался однимъ изъ самыхъ глубокихъ и тончайшихъ дипломатовъ въ мірѣ и ужъ безспорно имѣлъ всеевропейское вліяніе. А между тѣмъ въ чемъ была его идея, какъ понялъ онъ свой вѣкъ, въ его время лишь начинавшійся, какъ предчувствовалъ онъ грядущее будущее? Увы, онъ со всѣми основными идеями начинавшагося столѣтія рѣшилъ справиться политической порядкомъ и вполне былъ увѣренъ въ успѣхѣ! Посмотрите теперь на князя Бисмарка, вотъ этотъ такъ ужъ безспорно гений, но...

— *Finissons, monsieur*, строго прерываетъ меня маменька съ видомъ глубоко и свысока оскорбленнаго достоинства. Я, разумѣется, тотчасъ же и ужасно пугаюсь. Конечно, я не понять, конечно, съ маменьками еще нельзя теперь заговаривать на такія темы и я далъ страшнаго маху. Но съ кѣмъ можно-то теперь заговаривать о дипломатіи, вотъ вѣдь вопросъ? А вѣдь какая интереснѣйшая тема и какъ разъ въ наше время! Но...

II.

Дипломатія передъ міровыми вопросами.

И какая серьезная тема! Ибо чтò такое теперь наше время? Всѣ, кто одарены мудростью, говорятъ, что наше время есть время по преимуществу дипломатическое, время

рѣшенія всѣхъ мировыхъ судебъ одной лишь дипломатіей. Утверждаютъ, на примѣръ, что будто бы гдѣ-то теперь у насъ идетъ война. И я даже слышалъ о томъ, что идетъ война, но мнѣ говорятъ, и я читаю вездѣ, что если и есть тамъ что-то и гдѣ-то въ родѣ войны, то все это навѣрно не такъ понимается... По крайней мѣрѣ, рѣшено, что эта война ничему ни помѣшаетъ, т. е. ни какимъ здравымъ отпавленіемъ націи, совмѣщающимся, по послѣднимъ взглядамъ всего того что называется вообще „премудростью“, преимущественно и даже единственно въ одной лишь дипломатіи; и что самыя даже эти военныя прогулки, маневры и проч. всегда, впрочемъ, необходимыя, — въ истинномъ смыслѣ вещей составляютъ не болѣе какъ лишь одинъ изъ фазисовъ высшей дипломатіи и ничего болѣе. Такъ и надо вѣровать. Съ моей стороны я очень наклоненъ этому вѣрить, ибо все это очень успокоительно, но вотъ, однако, что любопытно и что ужасно какъ выдается: у насъ, на примѣръ, загорѣлся восточный вопросъ, загорѣлся онъ и во всей Европѣ тотчасъ же, какъ и у насъ, даже раньше, — и это ужасно понятно: всѣ и даже не дипломаты (и даже особенно если не дипломаты) — всѣ знаютъ давнымъ-давно, что восточный вопросъ — есть, такъ сказать, одинъ изъ мировыхъ вопросовъ, одинъ изъ главнѣйшихъ *отдѣловъ* мирового и ближайшаго разрѣшенія судебъ человѣческихъ, новый грядущій фазисъ этихъ судебъ. Извѣстно, что тутъ дѣло не только одного Востока Европы касается, не только славянъ, русскихъ и турокъ, или тамъ специально болгаръ какихъ-нибудь, но тоже и всего Запада Европы, и вовсе не относительно только морей и проливовъ, входовъ и выходовъ, а гораздо глубже, основнѣе, стихійнѣе, насущнѣе, существеннѣе, первоначальнѣе. А потому понятно, что Европа тревожится и что дипломатіи такъ много дѣла. Но какое же, однако, дѣло у дипломатіи? — вотъ мой вопросъ! Чѣмъ она-то (по преимуществу теперь) въ восточномъ вопросѣ занята? Дѣло дипломатіи (а иначе она и дипломатіей бы не была), дѣло ея теперь — конфликтовать восточный вопросъ во всѣхъ отношеніяхъ и поскорѣй увѣрить всѣхъ, кого слѣдуетъ и не слѣдуетъ, что никакого вопроса вовсе и не начиналось, что все это только тагъ, маневрики и прогулочки — и даже, если только можно, то увѣрить, что восточный вопросъ не только не начинался, но и никогда его не бывало на

свѣтѣ, не существовало, а только туману лѣтъ сто назадъ напустили, изъ видовъ, и тоже дипломатическихъ, такъ вотъ и лежитъ этотъ нерастолкованный туманъ до сихъ поръ. Откровенно скажу, что этому можно бы даже и повѣрить, если бы тутъ какъ разъ не представлялась одна загадка, но уже не дипломатическая (вотъ бѣда!), ибо дипломатія никогда и ни за что не берется за такія загадки, мало того, отворачивается отъ нихъ съ презрѣніемъ, ибо считаетъ ихъ недостойными высшихъ умовъ фантазіями. Эту загадку можно бы формулировать въ такомъ видѣ: „почему это всегда такъ происходитъ, и особенно въ послѣднее время, съ половины, т. е., девятнадцатаго столѣтія, и чѣмъ далѣе, тѣмъ нагляднѣе и осязательнѣе, почему — чуть лишь дѣло коснется въ мірѣ до чего-нибудь мірового, всеобщаго, какъ тотчасъ же, рядомъ съ однимъ поднявшимся гдѣ-нибудь мировымъ вопросомъ, поднимаются параллельно тому и *все остальные* міровые вопросы, такъ что мало, на примѣръ, теперь Европѣ одного поднимавшагося мірового вопроса, восточнаго, нѣтъ, она рядомъ съ нимъ нежданно-негаданно, вдругъ поднимаетъ во Франціи вопросъ, и тоже мировой, католическій? И католическій вопросъ не потому только, что вотъ-де умретъ скоро папа, то Франція, какъ представительница католичества, должна позаботиться объ томъ, чтобъ отнюдь не исчезло и не измѣнилось ничего въ установившейся вѣками организаціи католичества, а и потому еще, что католичество принято тутъ видимо за общее знамя соединенія всего стараго порядка вещей, за всѣ девятнадцать вѣковъ,—соединенія противъ чего-то новаго и грядущаго, насущнаго и рокового, противъ грозящаго вселенной обновленія новымъ порядкомъ вещей, противъ соціальнаго, нравственнаго и коренного переворота во всей западно-европейской жизни, или, по крайней мѣрѣ, если и не совершится обновленіе это, то противъ страшнаго потрясенія и колоссальной революціи, которая несомнѣнно грозитъ потрясти всѣ царства буржуазіи во всемъ мірѣ, вездѣ, гдѣ они организовались и процвѣли, по шаблону французскому 1789 года, грозитъ скочнуть ихъ прочь и стать на ихъ мѣсто. Кстати, на минутку отступлю отъ темы и сдѣлаю одно необходимое *Nota bene*, ибо почувствую, какъ смѣшно покажется инымъ мудрецамъ, особенно либеральнымъ, что я, въ самомъ разгарѣ девятнадцатаго столѣтія, называю Францію державою католи-

ческой, представительницей католичества! А потому въ разъясненіе моей мысли и объявлю пока голословно, что Франція есть именно такая страна, которая, если бъ въ ней не оставалось даже ни единого человѣка вѣрющаго не только въ папу, но даже въ Бога, все-таки будетъ продолжать оставаться страной по преимуществу католической, представительницей, такъ сказать, всего католическаго организма, знаменемъ его, и это пребудетъ въ ней чрезвычайно долгое время, даже до невѣроятности, до того, можетъ быть, времени, когда Франція перестанетъ быть Франціей и обратится во что-нибудь другое. Мало того: и социализмъ-то самый начнется въ ней по католическому шаблону, съ католической организаціей и закваской, не иначе,—до такой степени эта страна есть страна католическая! Ничего этого подробно теперь не стану доказывать, а покамѣстъ укажу лишь, напримѣръ, на то: почему это такъ вдругъ подтолкнуло маршала Макъ-Магона возбудить и поднять, ни съ того ни съ сего, именно католическій вопросъ? Этотъ храбрый генераль (впрочемъ, почти вездѣ побѣжденный, а въ дипломатіи отличившійся коротенькой фразой: „j’y suis et j’y reste“) — этотъ генераль вовсе не изъ такихъ, кажется, дѣятелей, чтобъ въ состояніи былъ *сознательно* поднять что-либо въ этомъ родѣ. А вотъ началъ же, поднялъ же самый капитальный изъ старо-европейскихъ вопросовъ, и именно въ томъ видѣ, въ какомъ и должно было ему подняться—но главное: почему, почему именно какъ разъ въ ту минуту поднять, какъ на другомъ концѣ міра загорѣлся другой міровой вопросъ, восточный вопросъ? Почему вопросъ къ вопросу жметса, почему одинъ другой вызываетъ, тогда какъ, казалось бы, между ними и связи-то нѣтъ? Да и не одни эти два вопроса поднялись вмѣстѣ: съ восточнымъ поднялись и еще вопросы, поднимутся и еще, и еще, если онъ правильно разовьется. Однимъ словомъ, всѣ главнѣйшіе вопросы Европы и человѣчества въ нашъ вѣкъ начали подниматься всегда одновременно. И вотъ одновременность-то эта и поражаетъ. Условіе-то это непременно всѣмъ вопросамъ являться вмѣстѣ и составляетъ загадку! Но для чего я это все говорю. А вотъ именно въ виду того, что дипломатія на такіе именно вопросы и смотритъ съ презрѣніемъ. Она не только не признаетъ никакихъ подобныхъ совпаденій, но и думать-то о нихъ не желаетъ. Миражи, дескать, вздоръ и пустяки: „нѣтъ этого всего ничего, а

просто маршалу Макъ-Магону, а пуще его супругѣ чего-то захотѣлось, вотъ все и вышло“. А потому, несмотря на то, что самъ же я провозгласилъ, начиная этотъ отдѣлъ главы, что время наше по преимуществу дипломатическое, а прочее все миражъ — самъ же я принужденъ этому не повѣрить первый. Нѣтъ, тутъ загадка! Нѣтъ, тутъ рѣшается дѣло не одна дипломатія, а и еще что-то другое. И признаюсь, я чрезвычайно смущенъ этимъ выводомъ; я такъ наклоненъ былъ вѣрить въ дипломатію, а всѣ эти новые вопросы—все это только новыя хлопоты и больше ничего...

III.

Никогда Россія не была столь могущественною, какъ теперь, — рѣшеніе недипломатическое.

Въ самомъ дѣлѣ, я вотъ предложилъ одинъ вопросъ и пока лишь развилъ его голословно. Но всегда мнѣ представлялся, и еще задолго до этого теперешняго вопроса (т.-е. вопроса о совокупности появленія разомъ всѣхъ міровыхъ вопросовъ, чуть лишь одинъ изъ нихъ подымется), еще другой вопросъ, несравненно простѣйшій и естественнѣйшій, но на который, именно потому что онъ такъ простъ и естественъ, люди мудрости и не обращаютъ почти никакого вниманія. Вотъ этотъ другой вопросъ: Да, пусть дипломатія есть и была, всегда и вездѣ, рѣшительницей всѣхъ основныхъ и важнѣйшихъ вопросовъ человѣчества, и будетъ впредь; но всегда ли окончательное рѣшеніе европейскихъ вопросовъ отъ нея зависитъ? Не бываетъ ли, напротивъ, такого фазиса, такой точки въ каждомъ вопросѣ, когда уже нельзя разрѣшить его всѣмъ извѣстнымъ успокоительнымъ способомъ, дипломатическимъ, т.-е. заплаточками. И хоть и безспорно, что всѣ міровые вопросы, съ точки зрѣнія дипломатическаго, а, стало-быть, и здраваго смысла, всегда объясняются не болѣе какъ тѣмъ, что такимъ-то вотъ державамъ захотѣлось расширенія границъ, или лично чего-то захотѣлось такому-то храброму генералу, или не понравилось что-нибудь какой-нибудь знатной дамѣ и проч., и проч. (пусть, это безспорно, я это ужъ уступлю, ибо здѣсь премудрость),—но все-таки не бываетъ ли въ извѣстный моментъ, даже вотъ и при этихъ-то самыхъ реальныхъ причинахъ и ихъ объясненіяхъ, такой точки въ ходѣ дѣлъ, такого фазиса, когда появляются вдругъ какія-то стран-

ныя другія силы, положимъ, и непонятныя, и загадочныя, но которыя овладѣвають вдругъ всѣмъ, захватываютъ все разомъ въ совокупности и влекутъ неотразимо, слѣпо, въ родѣ какъ бы подъ гору, а, пожалуй, такъ и въ бездну? Въ сущности я хотѣлъ бы только узнать: всегда ли такъ ужъ надѣется на себя и на средства свои дипломатія, что никакихъ подобныхъ силъ, и точекъ, и фазисовъ не боится вовсе, а, пожалуй, такъ и не предполагаетъ ихъ вовсе? Увы, кажется, что всегда, а потому: какъ я повѣрю ей и довѣрюсь ей, и могу ли принять ее за окончательную рѣшительницу судебъ столь блажного и безпутнаго еще человѣчества!

Увы, въ пространной исторіи Кайданова, есть одна величайшая изъ фразъ. Это именно когда онъ, въ Новой Исторіи, приступилъ къ изложенію французской революціи и появленію Наполеона I. Фраза эта есть начало главы и она осталась въ моей памяти на всю жизнь, вотъ она: „Глубокая тишина царствовала во всей Европѣ, когда Фридрихъ Великій закрывалъ навѣки глаза свои; но никогда подобная тишина не предшествовала такой великой бурѣ!“—Скажите, что знаете вы выше изъ фразъ? Въ самомъ дѣлѣ, кто тогда въ Европѣ, т.-е. когда Фридрихъ Великій закрывалъ навѣки глаза свои, могъ бы предугадать, хотя бы самымъ отдаленнымъ образомъ, что произойдетъ съ людьми и съ Европой въ теченіе слѣдующаго тридцатилѣтія? Я не говорю про какихъ-нибудь тамъ обыкновенныхъ образованныхъ людей, или даже писателей, журналистовъ, профессоровъ. Всѣ они, какъ извѣстно, сбились съ толку: Шиллеръ написалъ, напри- мѣръ, тогда, дифирамбъ на открытіе національнаго собранія, путешествовавшій по Европѣ молодой Карамзинъ смотрѣлъ съ умиленнымъ дрожаніемъ сердца на то же событіе, а въ Петербургѣ, у насъ, еще задолго передъ симъ красовался мраморный бюстъ Вольтера. Нѣтъ, я обращаюсь прямо къ самой высшей премудрости, прямо къ всерѣшителямъ судебъ человѣческихъ, т.-е. къ самимъ дипломатамъ, съ вопросомъ: предугадывали ли они тогда хоть что-нибудь изъ того, что въ слѣдующее тридцатилѣтіе произойдетъ?

Но вѣдь вотъ что ужасно: если бъ я спросилъ объ этомъ дипломатовъ (и замѣтьте, всѣ почти европейскіе дипломаты учились по „Кайдашкѣ“) — и если бъ они удостоили меня выслушать, то навѣрно отвѣтили бы съ вы-

совомѣрнымъ смѣхомъ, что „случайностей“ предвидѣть нельзя, и что вся мудрость состоитъ лишь въ томъ, чтобы во всякимъ случайностямъ быть готовымъ“.

Каково-съ! Нѣтъ, я вамъ скажу: это отвѣтъ типическій, и хотя я самъ его выдумалъ, потому что ни одного дипломата не безпокоилъ вопросами (да и не смѣю), но весь ужасъ мой въ томъ, что я вѣдь увѣренъ, что мнѣ именно такъ отвѣтили бы, а потому я и назвалъ сей отвѣтъ типическимъ. Ибо что такое, скажите, были эти событія конца прошлаго вѣка въ глазахъ дипломатовъ — какъ не *случайности*? Были и есть. А Наполеонъ, напримѣръ — такъ ужъ архи-случайность, и не явился Наполеонъ, умри онъ тамъ, въ Корсикѣ, трехъ лѣтъ отъ роду отъ скарлатины — и третье сословіе человѣчества, буржуазія, не потекло бы съ новымъ своимъ знаменемъ въ рукахъ измѣнять весь ликъ всей Европы (что продолжается и до сихъ поръ), а такъ бы и осталось сидѣть тамъ у себя въ Парижѣ, да пожалуй и замерло бы въ самомъ началѣ!

Дѣло въ томъ, что мнѣ кажется, что и нынѣшній вѣкъ кончится въ Старой Европѣ чѣмъ-нибудь колоссальнымъ, т.-е., можетъ-быть, чѣмъ-нибудь хотя и не буквально похожимъ на то, чѣмъ кончилось восемнадцатое столѣтіе, но все же, настолько же колоссальнымъ — стихійнымъ, и страшнымъ, и тоже съ измѣненіемъ лика міра сего — по крайней мѣрѣ, на Западѣ Старой Европы. И вотъ, если наши премудрые будутъ утверждать, что нельзя же предугадать *случайностей* и т. д., мало того: если имъ даже и въ голову что-нибудь объ этомъ финалѣ не заходило, то...

Однимъ словомъ: заплаточки, заплаточки и заплаточки!

Ну, что же, будемъ благоразумны, будемъ ждать. Заплаточки, вѣдь, если хотите, вещь тоже необходимая и полезная, благоразумная и практическая. Тѣмъ болѣе, что заплаточками, напр., обмануть врага можно. Вотъ у насъ теперь война, и если бъ случилось, что Австрія повернулась бы къ намъ враждебно, то „заплаточкой“ ее какъ разъ можно ввести въ обманъ, въ который сама же она съ удовольствіемъ втюрится, ибо что такое Австрія? Сама-то она чуть не на ладанъ дышитъ, развалиться хочетъ, точно такой же „больной человѣкъ“ какъ и Турція, да, можетъ-быть, и еще того плоше. Это образецъ всевозможныхъ дуализмовъ, всевозможныхъ внутри себя враждебныхъ соединеній, народностей, идей, всевозмож-

ныхъ несогласій и противорѣчивыхъ направленій; тутъ и венгры, тутъ и славяне, тутъ и нѣмцы, тутъ и царство жидовъ... Ну, а теперь, благодаря ухаживанію за ней дипломатіи, она и впрямь, пожалуй, можетъ вздумать о себѣ, что она — могущество, которое и дѣйствительно много значить и многое можетъ сдѣлать въ общемъ рѣшеніи судебъ. Такой обманъ воображенія, возбужденный именно посредствомъ ухаживанія и заплаточекъ, для рѣшенія славянскихъ судебъ выгоденъ, ибо можетъ на время отвлечь врага, а къ моменту рѣшенія, когда онъ вдругъ увидитъ, что его никто не боится, и что онъ вовсе не могущество — можетъ поразить его упадкомъ духа, попросту сконфузить. Другое дѣло Англія: это нѣчто посерьезнѣе, къ тому же теперь страшно озабоченное въ самыхъ основныхъ своихъ начинаніяхъ. Эту заплаточками и ухаживаніями не усыпишь. Чтò ни толкуй ей, а вѣдь она ни за чтò и никогда не повѣритъ тому, чтобъ огромная, сильнѣйшая теперь нація въ мірѣ, вынудившая свой могучій мечъ и развернувшая знамя великой идеи и уже перешедшая черезъ Дунай, можетъ въ самомъ дѣлѣ пожелать разрѣшить тѣ задачи, за которыя взялась она, себѣ въ явный ущербъ, и единственно въ ея, Англіи, пользу. Ибо всякое улучшеніе судебъ славянскихъ племенъ, есть, *во всякомъ случаѣ*, явный для Англіи ущербъ, и заплаточками тутъ ни за чтò и никого не умаслишь: не повѣрятъ! Просто ничему въ Англіи не повѣрятъ. Да и какими аргументами убѣдить ее? „Я вотъ, дескать, немножко начну, но не кончу“. Но вѣдь въ политикѣ начало дѣла есть все, ибо начало, естественно, рано ли, поздно ли приведетъ къ концу. Чтò въ томъ, что окончаніе завершится не сегодня, все равно завершится завтра. Однимъ словомъ, они не повѣрятъ, а потому надо бы и намъ англичанамъ не вѣрить, или какъ можно меньше вѣрить, разумѣется, про себя. Хорошо бы намъ тоже догадаться, что Англія въ самомъ критическомъ теперь положеніи, въ которомъ когда-либо находилась. Это критическое ея положеніе можетъ быть формулировано точнѣйшимъ образомъ въ одномъ словѣ *удиненіе*, ибо никогда еще, можетъ быть, Англія не была въ такомъ страшномъ уединеніи, какъ теперь. О, какъ бы она рада была теперь найти въ Европѣ союзъ, какой-нибудь *entente cordiale*. Но бѣда ея въ томъ, что не было еще момента въ Европѣ, когда бы труднѣе было составить союзъ. Ибо именно теперь въ Европѣ все

поднялось одновременно, всѣ мировые вопросы разомъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и всѣ мировыя противорѣчія, такъ что каждому народу и государству *страшно много собственнаго дѣла у себя дома*. А такъ какъ англійскій интересъ не мировой, а давно уже отъ всего и всѣхъ отъединенный и единственно касающійся одной только Англїи, то, на время, по крайней мѣрѣ, она и останется въ чрезвычайномъ уединенїи. О, разумѣется, ей можно бы было согласиться даже и съ преслѣдующими другую цѣль изъ взаимныхъ выгодъ: „Я, дескать, тебѣ то доставлю, а ты мнѣ это“.—Но по характеру-то теперешнихъ заботъ европейскихъ трудно въ этомъ родѣ *entente cordiale* составить, по крайней мѣрѣ, въ данную минуту, и придется долго ждать, пока потомъ, въ будущемъ развитїи, найдется такой моментъ, что можно будетъ и ей куда-нибудь съ своимъ союзомъ примазаться. Кромѣ того Англїи прежде всего надобенъ союзъ выгодный, т. е. такой, при которомъ она возьметъ все, а сама оплатитъ по возможности *ничемъ*. Ну, вотъ именно такого-то выгоднаго союза теперь всего болѣе не предвидится, и Англїя въ уединенїи. О, если бъ этимъ уединенїемъ мы могли удачно воспользоваться! Но тутъ другое восклицанїе: „О, если бъ мы были менѣе скептиками и могли увѣрять въ то, что есть мировые вопросы и что не миражъ они! Главное то, что у насъ въ Россїи очень большая часть интеллигенціи нашей всегда какъ-то видитъ и принимаетъ Европу не реально, какъ она есть теперь, а всегда какъ-то заднимъ числомъ, съ запаздыванїемъ. Въ будущность не заглядываютъ, а наклонны судить болѣе по прошедшему, даже по давно прошедшему.

А между тѣмъ мировые вопросы существуютъ дѣйствительно, и какъ бы это въ нихъ-то не вѣрять, да еще намъ-то? Два изъ нихъ уже поднялись и влекутся уже не человѣческой премудростью, а стихійною своею силою, основною органическою своею потребностью, и не могутъ уже остаться безъ разрѣшенїя, несмотря на всѣ расчеты дипломатїи. Но есть и третїй вопросъ, и тоже мировой, и тоже подымается и почти уже поднялся. Вопросъ этотъ въ частности можно назвать германскимъ, а въ сущности, въ цѣломъ, какъ нельзя болѣе всеевропейскимъ, и какъ нельзя сильнѣе слить онъ органически съ судьбой всей Европы и всѣхъ остальныхъ мировыхъ вопросовъ. Казалось бы, однако, на видъ, что ничего не можетъ быть

спокойнѣе и безмятежнѣе, какъ теперь Германія: въ спокойствіи грозной силы своей она смотритъ, наблюдаетъ и ждетъ. Всѣ, болѣе или менѣе, въ ней нуждаются, всѣ, болѣе или менѣе, отъ нея зависятъ. И однако... все это миражъ! Вотъ то-то и есть, что у всѣхъ теперь въ Европѣ свое дѣло, у cadaго объявилось по собственному своему самоважнѣйшему вопросу, по вопросу такой важности, какъ само почти существованіе, какъ вопросъ о томъ, быть иль не быть. Вотъ этакій самый вопросъ нашелся и у Германіи, и какъ разъ въ ту минуту, какъ поднялись и другіе міровые вопросы—и вотъ это-то состояніе Европы, прибавлю забѣгая впередъ, какъ не надо болѣе выгодно для Россіи въ данный моментъ! Ибо никогда она не была столь нужна Европѣ и могущественнѣе въ глазахъ ея, и между тѣмъ столь отъединеннѣе отъ поднявшихся въ ней, въ этой старой Европѣ, самыхъ капитальныхъ и страшныхъ, но *своихъ*, ей только, старой Европѣ, а не Россіи свойственныхъ вопросовъ. И никогда союзъ Россіи не цѣнился бы выше, какъ теперь въ Европѣ, никогда еще она не могла себя съ болѣею радостью поздравить съ тѣмъ, что она не старая Европа, а новая, что она сама по себѣ, свой особый и могучій міръ, для котораго именно теперь наступилъ моментъ вступить въ новый и высшій фазисъ своего могущества, и болѣе чѣмъ когда-нибудь стать независимою отъ прочихъ, *иныхъ*, роковыхъ вопросовъ, которыми старая, дряхлая Европа связала себя!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

I.

Германскій міровой вопросъ. Германія страна протестующая.

Но мы заговорили про Германію, про теперешнюю задачу ея, теперешній ея роковой, а вмѣстѣ съ тѣмъ и міровой вопросъ. Какая же это задача? И почему эта задача лишь теперь обращается для Германіи въ столь хлопотливый вопросъ, а не прежде, не недавно, не годъ назадъ, или даже не два мѣсяца назадъ?

Задача Германіи одна, и прежде была и всегда. Это ея *протестантство*,—не та единственно формула этого протестантства, которая опредѣлилась при Лютерѣ, а всегдашнее ея протестантство, всегдашній *протестъ* ея—противъ римскаго міра, начиная съ Арминія, противъ всего, что было Римомъ и римской задачей, и потомъ

противъ всего, что отъ древняго Рима перешло къ новому Риму и ко всѣмъ тѣмъ народамъ, которые восприняли отъ Рима его идею, его формулу и стихію, къ наслѣдникамъ Рима и ко всему, что составляетъ это наслѣдство. Я убѣжденъ, что нѣкоторые изъ читателей, прочтя это, вскинутъ плечами и засмѣются: „ну, можно ли, дескать, въ девятнадцатомъ столѣтіи, въ вѣкъ новыхъ идей и науки, толковать о католичествѣ и протестанствѣ, какъ будто мы еще въ среднихъ вѣкахъ! И если еще есть, пожалуй, религиозные люди и даже фанатики, то сохранились какъ археологическая рѣдкость, сидятъ по опредѣленнымъ мѣстамъ и угламъ, осужденные и всѣми осмѣянные, а, главное, въ самомъ маломъ числѣ, въ видѣ ничтожной мизерной кучки отсталыхъ людей. И такъ, можно ли ихъ считать за что-нибудь въ такомъ высшемъ дѣлѣ, какъ мировая политика?“

Но я не религиозный *протестъ* разумѣю, я не останавливаюсь на временныхъ формулахъ идеи древне-римской, равно какъ и вѣковѣчнаго германскаго противъ нея протеста. Я беру лишь основную идею, начавшуюся еще двѣ тысячи лѣтъ тому и которая съ тѣхъ поръ не умерла, хотя постоянно перевоплощалась въ разные виды и формулы. Теперь именно весь этотъ крайній западно-европейскій міръ,—именно унаслѣдовавшій римское наслѣдство, мучится родами новаго перевоплощенія этой унаслѣдованной древней идеи, и это для тѣхъ, кто умѣетъ смотрѣть, до того наглядно, что и объясненій не просить.

Древній Римъ первый родилъ идею всемірнаго единенія людей, и первый думалъ (и твердо вѣрилъ) практически ее выполнить въ формѣ всемірной монархіи. Но эта формула пала предъ христіанствомъ,—формула, а не идея. Ибо идея эта есть идея европейскаго человѣчества, изъ нея составилаь его цивилизація, для нея одной лишь оно и живетъ. Пала лишь идея всемірной *римской* монархіи и замѣнилась новымъ идеаломъ всемірнаго же единенія во Христѣ. Этотъ новый идеаль раздвоился на восточный, то-есть идеаль совершенно духовнаго единенія людей, и на западно-европейскій, римско-католическій, папскій, совершенно обратный восточному. Это западное римско-католическое воплощеніе идеи и совершилось по своему, не утративъ свое христіанское, духовное начало и подѣлившись имъ съ древне-римскимъ наслѣдствомъ. Римскимъ папствомъ было провозглашено, что христіан-

ство и идея его, безъ всемірнаго владѣнія землями и народами,—не духовно, а государственно,—другими словами, безъ осуществленія на землѣ новой всемірной римской монархіи, во главѣ которой будетъ уже не римскій императоръ, а папа,—осуществимо быть не можетъ. И вотъ началась опять попытка всемірной монархіи совершенно въ духѣ древне-римскаго міра, но уже въ другой формѣ. Такимъ образомъ на восточномъ идеалѣ—сначала духовное единеніе человѣчества во Христѣ, а потомъ ужъ, въ силу этого духовнаго соединенія всѣхъ во Христѣ, и несомнѣнно вытекающее изъ него правильное государственное и социальное единеніе, тогда какъ по римскому толкованію наоборотъ: сначала заручиться прочнымъ государственнымъ единеніемъ въ видѣ всемірной монархіи, а потомъ ужъ, пожалуй, и духовное единеніе подъ началомъ папы, какъ владыки міра сего.

Съ тѣхъ поръ эта попытка въ римскомъ мірѣ шла впередъ и измѣнялась непрерывно. Съ развитіемъ этой попытки самая существенная часть христіанскаго начала почти утратилась вовсе. Отвергнувъ, наконецъ, христіанство духовно, наслѣдники древне-римскаго міра отвергли и папство. Прогремѣла страшная французская революція, которая въ сущности была не болѣе какъ послѣднимъ видоизмѣненіемъ и перевоплощеніемъ той же древне-римской формулы всемірнаго единенія. Но новая формула оказалась недостаточною, новая идея не завершилась. Былъ даже моментъ, когда для всѣхъ націй, унаслѣдовавшихъ древне-римское призваніе, наступило почти отчаяніе. О, разумѣется, та часть общества, которая выиграла для себя съ 1789 года политическое главенство, т. е. буржуазія—восторжествовала и объявила, что далѣе и не надо идти. Но зато всѣ тѣ умы, которые по вѣковѣчнымъ законамъ природы обречены на вѣчное міровое безпокойство, на исканіе новыхъ формулъ идеала и новаго слова, необходимыхъ для развитія человѣческаго организма,—всѣ тѣ бросились ко всѣмъ униженнымъ и обойденнымъ, ко всѣмъ не получившимъ доли въ новой формулѣ всечеловѣческаго единенія, провозглашенной французской революціей 1789 года. Они провозгласили свое уже новое слово, именно необходимость всеединенія людей уже не въ виду распредѣленія равенства и правъ жизни для какой-нибудь одной четверти человѣчества, оставляя остальныхъ лишь сырымъ матеріаломъ и эксплуатируемымъ сред-

ствомъ для счастья этой четверти человѣчества, а напротивъ: всеединенія людей на основаніяхъ всеобщаго уже равенства, при участіи всѣхъ и каждаго въ пользованіи благами міра сего, какія бы они тамъ ни оказались. Осуществить же это рѣшеніе положили *всякими* средствами, т. е. отнюдь уже не средствами христіанской цивилизаціи, и не останавливаясь ни передъ чѣмъ.

При чемъ же тутъ все это время, всѣ эти двѣ тысячи лѣтъ была Германія? Характернѣйшая, существеннѣйшая черта этого великаго, гордаго и особаго народа, съ самой первой минуты его появленія въ историческомъ мірѣ, состояла въ томъ, что онъ никогда не хотѣлъ соединиться, въ призваніи своемъ и въ началахъ своихъ, съ крайне западнымъ европейскимъ міромъ, т.-е. со всѣми преемниками древне-римскаго призванія. Онъ *протестовалъ* противъ этого міра всѣ двѣ тысячи лѣтъ, и хотъ и не представилъ (и никогда не представлялъ еще) своего слова, своего строго формулированнаго идеала взамѣнъ древнеримской идеи, но, кажется, всегда былъ убѣжденъ, внутри себя, что въ состояніи представить это новое слово и повести за собою человѣчество. Онъ бился съ римскимъ міромъ еще во времена Арминія, затѣмъ во времена римскаго христіанства онъ болѣе чѣмъ кто-нибудь бился за верховную власть съ новымъ Римомъ. Наконецъ, протестовалъ самымъ сильнымъ и могучимъ образомъ, выводилъ новую формулу протеста уже изъ самыхъ духовныхъ, стихійныхъ основъ германскаго міра: онъ провозгласилъ свободу изслѣдованія и воздвигъ знамя Лютера. Разрывъ былъ страшный и міровой, формула протеста наплась и восполнилась,—хотя все еще отрицательная, хотя все еще новое и *положительное* слово сказано еще не было.

И вотъ германскій духъ, сказавъ это новое слово протеста—на время какъ бы замеръ, и произошло это совершенно параллельно съ такимъ же ослабленіемъ прежняго строго формулированнаго единства силъ и въ его противникѣ. Крайне западный міръ подъ вліяніемъ открытія Америки, новой науки и новыхъ началъ искалъ переродиться въ новую истину, въ новый фазисъ. Когда наступила первая попытка этого перевоплощенія во время французской революціи, германскій духъ былъ въ большомъ смущеніи и на время потерялъ было самость свою и вѣру въ себя. Онъ ничего не могъ сказать противъ новыхъ идей крайне-западнаго европейскаго міра. Лютерово

протестантство уже отжило свое время давно, идея же свободного изслѣдованія давно уже принята была всемірною наукой. Огромный организм Германіи почувствовалъ болѣе чѣмъ кто-нибудь, что онъ не имѣетъ, такъ сказать, плоти и формы для своего выраженія. Вотъ тогда-то въ немъ родилась настоящая потребность хотя бы сплотиться только наружно въ единый стройный организмъ, въ виду новыхъ грядущихъ фазисовъ его вѣчной борьбы съ крайне-западнымъ міромъ Европы. Тутъ надо замѣтить весьма любопытное совпаденіе: оба всегдашніе враждебные лагеря, оба противника старой Европы за главенство въ ней, въ одно и то же время (или почти), схватываются и исполняютъ очень схожую между собою задачу. Новая, еще мечтательная грядущая формула крайне-западнаго міра, т.-е. обновленіе человѣческаго общества на новыхъ соціальныхъ началахъ—эта формула почти все наше столѣтіе провозглашавшаяся лишь мечтателями, научными представителями ея, всякими идеалистами и фантазерами, вдругъ въ послѣдніе годы измѣняетъ свой видъ и ходъ своего развитія и рѣшаетъ: оставить пока теоретическое опредѣленіе и возсозданіе своей задачи и приступить прямо, прежде всякихъ мечтаній, къ практическому шагу задачи, т.-е. прямо начать борьбу: а для того—положить начало соединенію во единую организацію всѣхъ будущихъ бойцовъ новой идеи, т.-е. всему *четвертому*, обойденному въ 1789 году сословію людей, всѣмъ неимущимъ, всѣмъ рабочимъ, всѣмъ нищимъ, и, уже устроивъ это соединеніе, поднять знамя новой и неслыханной еще всемірной революціи. Явились интернаціоналка, международныя сношенія всѣхъ нищихъ міра сего, сходки, конгрессы, новые порядки, законы, — однимъ словомъ, положено *по всей старой Западной Европѣ* основаніе новому *status in statu*, грядущему поглотить собою старый, владѣтельствующій въ крайне-западной Европѣ, порядокъ міра сего. И вотъ, въ то время какъ это совершалось у противника, гений Германіи понялъ, что и германская задача, прежде всякаго дѣла и начинанія, прежде всякой попытки новаго слова противъ перевоплотившагося изъ старой древне-католической идеи противника — закончить собственное политическое единеніе, завершить возсозданіе собственнаго политическаго организма, и возсоздавъ его, тогда только стать лицомъ къ лицу съ вѣковѣчнымъ врагомъ своимъ. Такъ и случилось: завершивъ свое объединеніе, Германія

бросилась на противника и вступила съ нимъ въ новый періодъ борьбы, начавъ ее желѣзомъ и кровью. Дѣло же желѣзомъ, конечно, теперь предстоитъ его кончить духовно, существенно. И вотъ, вдругъ, теперь для Германіи является новая забота, новый неожиданный поворотъ дѣла, страшно усложняющій задачу. Какая же это задача и въ чемъ этотъ новый поворотъ дѣла?

II.

Одинъ геніально-мнительный человѣкъ.

Эта задача, это новая *внезапная* забота Германіи, если хотите, давно уже просилась наружу, а теперь все дѣло въ томъ, что она слишкомъ ужъ вдругъ выскочила всѣмъ на видъ вслѣдствіе внезапнаго влерикальнаго переворота во Франціи. Формулировать ее можно отчасти въ видѣ такого сомнѣнія: „Да объединился ли полно германскій организмъ въ одно цѣлое, не раздробленъ ли онъ, напротивъ, попрежнему, несмотря на геніальныя усилія предводителей Германіи за послѣднія двадцать пять лѣтъ, — мало того: объединился ли онъ хотя бы только лишь политически, не миражъ ли и это, несмотря на франко-прусскую войну и провозглашенную послѣ нея новую неслыханную прежде Германскую имперію?“ Вотъ этотъ мудреный вопросъ.

Вся мудренность этого вопроса заключается, главное, въ томъ, что его, почти до самаго послѣдняго времени, не предполагали даже и существующимъ, по крайней мѣрѣ, среди огромнѣйшаго большинства германцевъ. Самоупоеніе, гордость и совершенная вѣра въ свое необъятное могущество чуть не опьянили всѣхъ нѣмцевъ поголовно послѣ франко-германской войны. Народъ, необыкновенно рѣдко побѣждавшій, но зато до странности часто побѣждаемый, — этотъ народъ вдругъ побѣдилъ такого врага, который почти всѣхъ всегда побѣждалъ! А такъ какъ ясно было, что онъ и не могъ не побѣдить вслѣдствіе образцоваго устройства своей безчисленной арміи и своеобразнаго пересозданія ея на совершенно новыхъ началахъ, и, кромѣ того, имѣя столь геніальныхъ предводителей во главѣ, то, разумѣется, германецъ и не могъ не возгордиться этимъ до опьянѣнія. Тутъ ужъ нечего брать въ соображеніе всегдашнюю самодовольную хвастливость всякаго нѣмца — исконную черту нѣмецкаго характера. Съ другой стороны, изъ такъ недавно еще раздробленнаго

политическаго организма вдругъ появилось такое стройное цѣлое, что германецъ не могъ и тутъ усомниться и исполнѣ повѣрилъ, что объединеніе завершилось, и что для германскаго организма наступилъ новый, блестящій и великій фазисъ развитія. И такъ, не только явилась гордость и шовинизмъ, но явилось почти легеомысліе; и ужъ какіе тутъ могли быть вопросы, — не только для какого-нибудь воинственнаго лавочника или сапожника, но даже для профессора или министра? Но, однакоже, все-таки оставалась кучка нѣмцевъ, очень скоро, почти сейчасъ же послѣ франко-прусской войны, начавшихъ сомнѣваться и задумываться. Во главѣ замѣчательнѣйшихъ членовъ этой кучки безспорно стоялъ князь Бисмаркъ.

Еще не успѣли выйти германскія войска изъ Франціи, какъ онъ уже ясно увидѣлъ, что слишкомъ мало было сдѣлано „кровью и желѣзомъ“, и что надо было, имѣя передъ собою такихъ размѣровъ цѣль, сдѣлать, по крайней мѣрѣ, вдвое больше пользуясь случаемъ. Правда, военныхъ выгодъ осталось все же безмѣрно больше на сторонѣ Германіи, и это еще надолго. Франція, послѣ уступки Эльзаса и Лотарингіи, стала такой маленькой, по земельному объему, страной для великой державы, что одно или два удачныхъ для Германіи сраженія, въ случаѣ новой войны, и германскія войска тотчасъ же будутъ въ центрѣ Франціи и въ стратегическомъ отношеніи Франція пропала. Но однако вѣрны ли побѣды, можно ли надѣяться на эти два побѣдоносныя сраженія навѣрно? Въ франко-прусскую войну нѣмцы побѣдили-то собственно вѣдь не французовъ, а только Наполеона и его порядки. Не всегда же во Франціи будутъ войска столь плохо устроенныя и командуемыя, не всегда же будутъ и узурпаторы, которые, нуждаясь въ своихъ генералахъ и чиновникахъ изъ династическихъ интересовъ, принуждены будутъ допускать у себя такія плачевныя упущенія, при которыхъ не можетъ существовать правильное войско. Не всегда же будетъ повторяться и Седанъ, ибо Седанъ въ сущности только случай и вышелъ лишь потому, что Наполеону нельзя уже было воротиться въ Парижъ императоромъ иначе какъ по милости короля прусскаго. Не всегда тоже будутъ и столь мало даровитые генералы, какъ Магъ-Магонъ, или такіе измѣнники, какъ Базенъ. Опьяненные столь неслыханнымъ для нихъ торжествомъ, нѣмцы, конечно, всѣ до одинаго, могли увѣрывать въ то, что это

все они сдѣлали, одними своими талантами, но въ сомнѣвающейся кучкѣ могли думать иное, особенно послѣ того, когда побѣжденный врагъ, еще столь разстроенный и потрясенный, вдругъ уплатилъ три миллиарда контрибуціи разомъ и не поморщился. Это ужъ, конечно, очень огорчило князя Бисмарка.

Съ другой стороны, для сомнѣвающейся кучки предстоялъ и другой вопросъ, можетъ-быть, еще важнѣйшій: совсѣмъ ли завершилось политическое и гражданское объединеніе внутри организма? Для всѣхъ почти въ Европѣ, и, кажется, въ особенности у насъ въ Россіи, въ этомъ доселѣ еще никто не сомнѣвался. Вообще мы, русскіе, приняли все то, что приключилось въ послѣднія десять-пятнадцать лѣтъ въ Германіи, за нѣчто уже окончательное, въ высшей степени не случайное, а натуральное, за такое, что уже и не должно измѣниться. Совершившіеся факты намъ внушили необыкновенное почтеніе. А между тѣмъ, въ глазахъ столь гениальныхъ людей, какъ князь Бисмаркъ, врядъ ли все, чему слѣдовало, приняло свою окончательную прочность. То, что можетъ казаться теперь прочнымъ, то, можетъ-быть, всего только еще фантазія. Трудно предположить, чтобъ столь долгая привычка къ политическому разъединенію исчезла у нѣмцевъ такъ, вдругъ, какъ выпитый стаканъ воды. Нѣмецъ упоренъ уже по своей природѣ. Нынѣшнее поколѣніе нѣмцевъ къ тому же было подкуплено успѣхами, охвачено гордостью и сдержано желѣзной рукой предводителей. Но въ весьма, можетъ, недалекомъ будущемъ, когда эти предводители отойдутъ въ другой міръ и уступятъ мѣсто другимъ, поднимутся можетъ-быть прижатые на время вопросы и инстинкты. Весьма тоже вѣроятно, что тогда утратится энергія перваго порыва соединенія, напротивъ, возродится вновь энергія оппозиціи, которая и пошатнетъ то, что было сдѣлано. Явится стремленіе къ распаденію, къ обособленію, и именно тогда, когда на Западѣ ужъ совсѣмъ оправится отъ удара страшный врагъ, который и теперь уже не спитъ и не дремлетъ, и даже извѣстно съ чего начнетъ. А тутъ, вдобавокъ, и самый, такъ сказать, законъ природы: Германія вѣдь все-таки въ Европѣ страна *середина*: какъ бы она ни была сильна — съ одной стороны Франція, съ другой Россія. Правда, русскіе пока вѣжливы. Но, что если они вдругъ догадаются, что не они нуждаются въ союзѣ съ Германіей, а что Германія нуждается

въ союзѣ съ Россіей, мало того: *что зависимость отъ союза съ Россіей есть, повидимому, роковое назначеніе Германіи, съ франко-прусской войны особенно.* То-то и есть, что въ слишкомъ сильную почтительность Россіи даже и такой убѣжденный въ своей силѣ человекъ, какъ князь Бисмаркъ, не въ состояніи вѣрить. Правда, до послѣдняго внезапнаго приключенія во Франціи, измѣнившаго вдругъ весь видъ дѣла, князь Бисмаркъ все еще надѣялся, что чрезвычайная вѣжливость Россіи еще надолго непоколебима, и вотъ вдругъ это приключеніе! Однимъ словомъ, случилось нѣчто необычайное.

Необычайное для всѣхъ, но не для князя Бисмарка! Теперь оказалось, что геній его все это „приключеніе“ предвидѣлъ заранѣе. Не геній ли его, скажите, не гениальный ли глазъ его подмѣтилъ главнаго врага столь задолго? Почему именно онъ такъ возненавидѣлъ католицизмъ, почему онъ такъ гналъ и преслѣдовалъ все, что исходило изъ Рима (т.-е. отъ папы), — вотъ уже столько лѣтъ? Почему онъ такъ дальновидно озаботился заручиться итальянскимъ союзомъ (такъ можно выразиться), — какъ не для того, чтобъ съ помощью итальянскаго правительства раздавить папское начало въ мірѣ, когда придетъ срокъ выбирать новаго папу. Не католическую вѣру онъ гналъ, а римское начало этой вѣры. О, безъ сомнѣнія, онъ дѣйствовалъ какъ нѣмецъ, какъ протестантъ, онъ дѣйствовалъ противъ основной стихіи крайне-западнаго, всегда враждебнаго Германіи міра, но все же очень и очень многіе изъ гениальнѣйшихъ и либеральныхъ мыслителей Европы смотрѣли на этотъ походъ великаго Бисмарка противъ столь ничтожнаго папы, какъ на борьбу слона съ мухой. Иные объясняли все это даже странностью генія, капризами гениальнаго человѣка. Но дѣло въ томъ, что гениальный политикъ сумѣлъ опѣнить, можетъ-быть, единственный въ мірѣ изъ политиковъ, какъ сильно еще римское начало само въ себѣ и среди враговъ Германіи, и какимъ страшнымъ цементомъ можетъ оно послужить въ будущемъ для соединенія всѣхъ этихъ враговъ воедино. Онъ сумѣлъ догадаться, что, можетъ-быть, у одной лишь римской идеи можетъ найтись такое знамя, которое въ роковую (а въ глазахъ Бисмарка и неизбѣжную) минуту сплотитъ всѣхъ уже раздавленныхъ имъ враговъ Германіи опять въ одно страшное цѣлое. И вотъ гениальная догадка вдругъ оправдалась: всѣ партіи въ

побѣжденной Франціи, изъ тѣхъ, которыя могли начать движеніе противъ Германіи, — всѣ эти партіи были раздроблены; ни одна изъ нихъ не могла восторжествовать и захватить во Франціи власть. Соединиться тоже онѣ никакъ не могли, имѣя каждая въ виду противоположныя цѣли задачъ своихъ, — и вотъ знамя папы и іезуитовъ соединяетъ все. Врагъ возсталъ и врагъ этотъ уже не Франція, а самъ папа. Это папа, предводительствующій всѣмъ и всѣми, кому завѣщена римская идея, и идущій броситься на Германію. Но, чтобы яснѣе изложить случившееся, взглянемъ пристальнѣе въ лагерь противниковъ Германіи.

III.

И сердиты и сильны.

Папа умираетъ. Онъ очень скоро умретъ. Все католичество, принимающее Христа въ образѣ римской идеи — давно уже въ страшномъ волненіи. Подходить роковая минута. Оплошать нельзя, ибо тогда уже смерть римской идеѣ. Можетъ именно случиться, что новый папа, подъ давленіемъ правительствъ всей Европы, будетъ избранъ, „не свободно“, и провозглашенный папой согласится отказать навѣки, и въ принципѣ, отъ земного владѣнія, отъ сана земного государя, отъ котораго не отказался Пій IX (напротивъ, въ самую роковую минуту, когда отъ него отнимали и Римъ и послѣдній кусокъ земли и оставляли ему въ собственность лишь одинъ Ватиканъ, въ эту самую минуту онъ, какъ нарочно, провозгласилъ свою непогрѣшимость, а вмѣстѣ съ тѣмъ и тезисъ: что безъ земного владѣнія христіанство не можетъ уцѣлѣть на землѣ, — т.-е. въ сущности провозгласилъ себя владыкой міра, а предъ католичествомъ поставилъ, уже догматически, прамую цѣль всемірной монархіи, къ которой и повелѣлъ стремиться во славу Божию и Христа на землѣ). О, конечно, онъ ужасно насмѣшилъ тогда всѣхъ остроумныхъ людей: „сердитъ да не силенъ—Хлестакову братъ“. И вотъ, вдругъ, если новоизбранный папа будетъ подкупленъ, если даже самъ конклавъ, подъ давленіемъ всей Европы, принужденъ будетъ войти въ соглашеніе съ противниками римской идеи, — ну, тогда ей и смерть! Ибо разъ, правильно избранный, а, стало-быть, непогрѣшимый папа, откажется въ принципѣ отъ сана земного государя, — то, стало-быть, и впредъ навѣки такъ и останется.

Съ другой стороны, если новоизбранный конклавомъ папа твердо и на всю вселенную объявить, что онъ ни отъ чего не хочетъ отказываться, а пребудетъ въ прежней идеѣ вполнѣ, и начнетъ съ анаемы на всѣхъ враговъ Рима и римскаго католичества, то тогда правительства Европы могутъ его не признать, а, стало-быть, и въ этомъ случаѣ можетъ произойти такое роковое потрясеніе въ Римской Церкви, послѣдствія котораго могутъ быть неисчислимы и непредвидимы.

О, неправда ли, что для политиковъ и дипломатовъ почти всей Европы—все это весьма смѣшно и ничтожно! Папа, поверженный и заключенный въ Ватиканѣ, представлялъ собою, въ послѣдніе годы, въ ихъ глазахъ такое ничтожество, которымъ стыдно было и заниматься. Такъ размышляли чрезвычайно многіе передовые люди Европы, особенно изъ остроумныхъ и либеральнѣйшихъ. Папа, издающій аллюціи и силлабусы, принимающій богомольцевъ, проклинающій и умирающій — въ глазахъ ихъ похожъ былъ на шута для ихъ увеселенія. Мысль о томъ, что огромнѣйшая идея міра, идея, вышедшая изъ главы діавола во время искушенія Христова въ пустынѣ, идея, живущая въ мірѣ уже органически тысячу лѣтъ — эта идея такъ-таки возьметъ и умретъ въ одну минуту—эта мысль принималась за несомнѣнную. Ошибка, конечно, тутъ заключалась въ религіозномъ значеніи этой идеи, въ томъ, что два значенія были перемѣшаны вмѣстѣ: „Такъ какъ-де рѣдко кто теперь вѣритъ на свѣтѣ въ Бога, особенно по римскому толкованію, а во Франціи такъ даже не вѣритъ въ него и народъ, а развѣ одно только высшее сословіе, да и то не вѣритъ, а только ломается,—то, стало-быть, какую же силу могутъ имѣть, въ нашъ образованный вѣкъ, папа и римское католичество? — вотъ въ чемъ увѣрены даже и теперь остроумные люди. Но идея религіозная и идея папская въ сущности различны. Вотъ эта-то папская идея вдругъ въ наши дни, всего только два мѣсяца назадъ, разомъ проявила такую живучесть, такую силу, что произвела во Франціи радикальнѣйшій политическій переворотъ, надѣла на всю Францію узду и рабски повлекла ее за собой.

Во Франціи за послѣдніе годы образовалось парламентское большинство изъ республиканцевъ, и вели они свои дѣла порядочно, чисто, спокойно, безъ потрясеній. Улучшили армію, дали для нея громадныя суммы не споря,

но и не думали о войнѣ, и всѣ понимали, и во Франціи, и въ Европѣ, что если есть вполнѣ миролюбивая партія, то ужъ, конечно, это они, республиканцы. Предводители ихъ отличались сдержанностью и необычнымъ еще у нихъ благородіемъ. Въ сущности, однако, все это люди отвлеченные и идеалисты. Это давно уже отпѣтые и ужасно безсильные люди. Это либеральные, сѣдые, но молодящіеся старички, воображающіе себя все еще молодыми. Они оставились на идеяхъ первой французской революціи, т.-е. на торжествѣ третьяго сословія, и въ полномъ смыслѣ слова суть воплощеніе буржуазіи. Это совершенно та же іюльская монархія, но съ тою лишь разницею, что она называется республикой и что нѣтъ короля (т.-е. ужъ, разумѣется, „тирана“). Все, что они внесли новаго—это провозглашеніе въ 1848 году всеобщей подачи голосовъ, котораго такъ боялось іюльское королевское правительство и изъ котораго не только не вышло ничего опаснаго, а, напротивъ, очень даже много, для буржуазіи, полезнаго. Очень тоже пригодилась потомъ эта идея правительству Наполеона III. Но старички удовлетворены были ею въ высшей степени, и ихъ, какъ дѣтей, тѣшить, что они республиканцы. Слово „республика“ у нихъ что-то комически-идеальное. Казалось бы, эта невинная партія могла вполнѣ удовлетворить Францію, т.-е. городскую буржуазію и землевладѣльцевъ. Но оказалось напротивъ. Въ самомъ дѣлѣ, почему республика всегда казалась во Франціи правительствомъ неблагонадежнымъ. И если республиканцы не были всегда ненавидимы, то всегда были презираемы за безсиліе ихъ огромнымъ большинствомъ буржуазіи. Если не прямо презираемы, то всегда неуважаемы. Народъ тоже въ нихъ почти никогда не вѣрилъ. Дѣло въ томъ, что каждый разъ, съ воцареніемъ во Франціи республики, все во Франціи какъ бы теряло свою прочность и самоувѣренность. Всегда до сихъ поръ республика была лишь какой-то временной серединой— между социальными попытками самаго страшнаго размѣра и какимъ-нибудь, иногда самымъ наглымъ, узурпаторомъ. И такъ какъ это почти всегда случалось, то такъ и привыкло на нее смотрѣть общество, и чуть лишь наступала республика, то всегда всѣ начинали чувствовать себя какъ бы въ междуправствіи, и какъ бы благородно ни правили республиканцы, по буржуазіи всегда при нихъ вѣрена, что рано ли, поздно ли, а грянетъ красный

бунтъ или опять наступитъ какая-нибудь монархія. Кончилось тѣмъ, что монархическое правленіе буржуазія полюбила гораздо больше, чѣмъ республику, несмотря даже на то, что монархія, какъ на примѣръ Наполеона III, выражала даже какъ бы попытки войти въ соглашеніе съ социалистами, тогда какъ ужъ никто на свѣтѣ не можетъ быть враждебнѣе социалистамъ, какъ чистые республиканцы: для республиканцевъ было бы только слово республика, а социалисты ищутъ не слова, а одного лишь дѣла. По принципамъ социалистовъ все равно—республика, монархія ли, французы ли они будутъ, или станутъ нѣмцами, и право даже, если бъ вышло какъ-нибудь такъ, что имъ могъ бы пригодиться самъ папа, то они провозгласили бы и папу. Они прежде всего ищутъ *своего дѣла*, т.-е. торжества четвертаго сословія и равенства въ распредѣленіи правъ въ пользованіи благами жизни, а подъ какимъ знаменемъ—это ужъ какъ тамъ придется, все равно, хоть подъ самымъ деспотическимъ.

Замѣчательно, что князь Бисмаркъ ненавидитъ социализмъ не меньше папства, и что германское правительство, въ самое послѣднее время особенно, стало какъ-то слишкомъ бояться социалистической пропаганды. Безъ сомнѣнія, это потому, что социализмъ обезличиваетъ національное начало и подѣбдаетъ національность въ самомъ корнѣ, а принципъ національности есть основная, есть главная идея всего германскаго объединенія, всего того, что совершилось въ Германіи въ послѣдніе годы. Но очень можетъ быть, что князь Бисмаркъ смотритъ еще глубже, а именно: социализмъ есть сила грядущая для всей Западной Европы, и если папство когда-нибудь будетъ покинуто и отброшено правительствами міра сего, то весьма и весьма можетъ случиться, что оно бросится въ объятія социализма и соединится съ нимъ воедино. Папа выйдетъ ко всѣмъ нищимъ пѣшъ и босъ, и скажетъ, что все, чему они учатъ и чего хотятъ, давно уже есть въ Евангеліи, что до сихъ поръ лишь время не наступало имъ про это узнать, а теперь наступило, и что онъ, папа, отдастъ имъ Христа и вѣрнѣе въ муравейникъ. Римскому католицизму (слишкомъ ужъ ясно это) нуженъ не Христосъ, а всемірное владычество: „Вамъ-де надо единеніе противъ врага—соединитесь подъ моею властью, ибо я одинъ *всемирень* изъ всѣхъ властей и властителей міра, и пойдѣмъ вмѣстѣ“. Эту картину, вѣро-

ятно, предвидить князь Бисмаркъ, ибо лишь онъ одинъ изъ всѣхъ дипломатовъ возымѣлъ настолько зоркій взглядъ, чтобъ провидѣть живучесть римской идеи и всю ту энергію, съ которою она готова себя отстоять, не различая уже средствъ. Жить ей хочется адски, а убить ее трудно, это змѣя! — Вотъ что понимаетъ во всей силѣ одинъ лишь князь Бисмаркъ, — главный врагъ папства и римской идеи!

Но молодящиеся старички, французскіе республиканцы, этого не въ состояніи были понять. Клерикаловъ они ненавидѣли изъ одного уже либерализма, но считали папу безсильнымъ и презрѣннымъ, а римскую идею совсѣмъ отжившею. Они не догадались даже ужиться съ страшною клерикальною партіею, хотя бы только политически, чтобъ придать себѣ больше крѣпости. По крайней мѣрѣ, они могли бы не раздражать пока клерикаловъ, не затрогивать ихъ, съ такимъ нарочнымъ задоромъ, и даже могли бы пообѣщать нѣкоторое содѣйствіе въ ближайшемъ будущемъ при выборѣ новаго папы. Но они именно сдѣлали все противоположное — или отъ идеальной честности своихъ убѣжденій, или просто по легкомыслию. Послѣднее время они особенно стали гнать клерикаловъ, и какъ разъ въ ту минуту, когда папству лишь только и оставалась, что одна Франція какъ поддержка, иначе выходилъ страшный шансъ умереть папству вмѣстѣ съ Піемъ IX-мъ. Ибо кто, въ случаѣ нужды, могъ бы въ Европѣ обнажить мечъ за „свободу“ избранія папы и за свободу избраннаго папы? Да и мечъ этотъ долженъ быть сильный и могучій. Другого выбора не оставалось, кромѣ Франціи и ея миллионной арміи. И вотъ Франція-то и во главѣ враговъ! Правда, маршалъ Макъ-Магонъ послушенъ, но онъ въ тискахъ и выпутаться самъ не умѣетъ: большинство палаты республиканское и либеральное, и ни одна изъ партій не въ силахъ замѣстить его. Однимъ словомъ, скovyрнуть республиканское большинство невозможно, и вотъ вдругъ клерикалы, — эти презираемые и безсильные клерикалы, вручаютъ маршала Макъ-Магона и проявляютъ на весь міръ такое могущество, какого никто отъ нихъ не ожидалъ болѣе. Они даютъ знать партіямъ, что имъ можно соединиться лишь подъ клерикальнымъ знаменемъ, и тѣ, пораженные очевидностью, разомъ съ ними соглашаются. Въ самомъ дѣлѣ: и у легитимистовъ, и у бонапартистовъ

самый главный и ближайший враг ихъ—все это же республиканское большинство. Если каждая изъ этихъ партій будетъ работать для себя порознь, то ничего не достигнетъ, а соединившись вмѣстѣ, эти партіи могутъ составить силу и все побороть и республиканцевъ разогнать. А тамъ уже, когда раздавать республику, можно будетъ каждой партіи позаботиться о себѣ, и ужъ, разумѣется, каждая изъ нихъ тѣмъ больше будетъ имѣть шансовъ на успѣхъ, чѣмъ больше она угодитъ клерикаламъ. Клерикалы все это рассчитали математически, соединеніе произошло и клерикальное большинство сената разрѣшило Макъ-Магону разогнать республиканцевъ.

IV.

Черное войско.—Мнѣніе легионовъ какъ новый элементъ цивилизаціи.

Проявивъ такую внезапную силу и ловкость, клерикалы несомнѣнно пойдутъ далѣе. Они объявятъ въ рѣшительную для себя минуту войну Германіи—и вотъ что немедленно понялъ князь Бисмаркъ! Главное они уже сдѣлали: Макъ-Магонъ уже согласился бросить Францію въ политику приключеній. Имъ ли остановиться передъ дальнѣйшимъ? Не жалѣтъ же имъ Францію; Франція, какъ и все на свѣтѣ, имъ нужна пока лишь можетъ приносить имъ пользу. О, они бы могли ее пожалѣтъ: это страна—единственная ихъ надежда и служила имъ столько вѣковъ! Но теперь именно пришла для нихъ самая роковая минута въ цѣлое тысячелѣтіе, и коль подвернулась Франція,—то отчего же не высосать и ея соки, хоть бы до убіенія ея, и не рискнуть самымъ ея существованіемъ? Надо взять у нея все, что она можетъ дать, а, главное, нельзя мѣшкать ни минуту: немного позже и для нихъ будетъ несомнѣнно поздно. Такъ что именно теперь надобно попробовать отбить Бисмарка, ибо если кто будетъ вредить при избраніи папы, то ужъ, конечно, онъ. А вдобавокъ, Бисмаркъ именно въ эту минуту какъ нарочно одинъ, безъ союзниковъ: Россія (вся надежда его)—занята теперь на Востокѣ. Наконецъ, если удастся смирить Бисмарка, хотя бы даже на время, то надо какъ можно скорѣй и заранѣе положить основаніе *будущему*: надо воспользоваться удавшимся моментомъ и, разъ навсегда, создать изъ Франціи уже прочную для себя союзницу, на все готовую и послушную, а для того произве-

сти въ ней переворотъ уже *серьезный*, радикальный и вѣрковой. Безъ сомнѣнія, во всемъ этомъ много риску, но колебаться могутъ другіе, а не отцы іезуиты. Главное въ томъ, что имъ и нѣтъ другого выбора въ данный моментъ, какъ рисковать и рисковать... Ограничиться однимъ совершившимся во Франціи клерикальнымъ переворотомъ, безъ войны съ Германіей и безъ *серьезной* революціи во Франціи, имъ положительно невозможно. Дѣла ихъ именно дошли до такого положенія. Имъ надо все или ничего, если же взять мало, ограничиться какимъ-нибудь тамъ вліяніемъ въ правительствѣ, то все равно это не принесло бы имъ ни малѣйшей пользы, ибо нужды-то ихъ теперь большія! А потому они и должны рѣшиться на самый открытый и наглый рискъ, ибо имъ надо взять *va-banque*. Если, на случай, рискъ не удастся и Францію, напримѣръ, нѣмцы побѣдятъ и раздавятъ опять, то вѣдь все равно,—имъ, клерикаламъ, хуже того, какъ теперь (т.-е. если бъ они сидѣли смирно и не начинали переворота) не будетъ: они останутся при томъ же, при чемъ были до начала „приключенія“, т.-е. въ состояніи свернѣйшемъ, но которое ухудшиться уже не можетъ. Франція другое дѣло: если побѣждена будетъ опять, то несомнѣнно погибнетъ. Но таковъ ли іезуиты народъ, чтобъ предъ этимъ остановиться: они знаютъ, что если побѣдитъ Франція, то они получаютъ *все*, и ужъ до того укрѣплятся во Франціи, что ихъ и не выведешь. А для этого у нихъ есть свои особые средства, во Франціи еще *неслыханныя*.

Всякіе другіе революціонеры, даже изъ самыхъ ярыхъ или красныхъ, производя переворотъ, все же сообразуются, хоть отчасти, съ чѣмъ-то общимъ, прежде даннымъ и даже законнымъ. Революціонеры же іезуиты не могутъ дѣйствовать законно, а именно *необычайно*. Эта черная армія стоитъ внѣ человѣчества, внѣ гражданства, внѣ цивилизаціи и исходитъ вся изъ одной себя. Это *status in statu*, это армія папы, ей надо лишь торжества *одной своей* идеи, — а затѣмъ пусть гибнетъ все, что на пути ей мѣшаетъ, пусть гибнуть и вянуть всѣ остальные силы, пусть умираетъ все несогласное съ ними — цивилизація, общество, наука! Имъ несомнѣнно необходимо обработать Францію въ новомъ и уже окончательномъ видѣ, если случай будетъ на ихъ сторонѣ, и вынести изъ нея весь *соръ* ужъ такимъ помеломъ, о какомъ

до сихъ поръ никто и не слыхиваль, съ тѣмъ, чтобъ и не пахло больше никакимъ сопротивленіемъ, и дать странѣ новый организмъ, подъ строжайшей опекой іезуитовъ, на вѣки вѣчныя.

Все это съ перваго взгляда можетъ показаться весьма нелѣпымъ. Во французскихъ газетахъ (и въ нашихъ) всѣ благонамѣренные люди сильно увѣрены, что клерикалы непремѣнно сломаютъ себѣ ногу на слѣдующихъ выборахъ во французскую палату. Французскіе республиканцы, въ невинности душевной, совершенно тоже убѣждены, что вся *activité devorante* новоразосланныхъ префектовъ и мэровъ ровно ничего не добьется, а будутъ выбраны все прежніе республиканцы, которые и составятъ прежнее большинство и немедленно скажутъ *veto* всѣмъ замысламъ Макъ-Магона; затѣмъ клерикалы будутъ выгнаны, а, можетъ-быть, и самъ Макъ-Магонъ вмѣстѣ съ ними. Но увѣренность эта весьма неосновательна и навѣрно клерикалы на этотъ счетъ не слишкомъ-то озабочены. Дѣло именно въ томъ, что наивные и чистые сердцемъ старички все еще, несмотря на долгій опытъ, не понимаютъ, кажется, въ полной силѣ, съ какимъ народомъ они имѣютъ дѣло. Ибо чуть-чуть выборы окажутся для клерикаловъ невыгодными, то они разгонятъ и новую палату, несмотря на всѣ конституціонныя и законныя права ея. Возразятъ мнѣ, что это будетъ не законно, а потому невозможно. Это такъ, но вѣдь что имъ законы, этой черной арміи? Они навѣрно (и есть уже факты о томъ свидѣтельствующіе) внушатъ столь послушному маршалу Макъ-Магону отчаянную рѣшимость употребить въ дѣло одно средство такое, которое и во Франціи еще ни разу не было употреблено, именно: *военный деспотизмъ*. Воскликнуть, что это старое средство, что его уже нѣсколько разъ употребляли, напримѣръ, Наполеоны! И однако я осмѣлюсь замѣтить, что все это было не то: это средство, во *всей его откровенности, дѣйствительно* не употреблялось во Франціи еще ни разу. Маршалъ Макъ-Магонъ, заручившись преданностью арміи, можетъ разогнать новое грядущее собраніе представителей Франціи, *если оно пойдетъ противъ него, просто штыками, а затѣмъ прямо объявить всей странѣ, что такъ захотѣла армія*. Какъ римскій императоръ упадка имперіи, онъ можетъ затѣмъ объявить, что отнынѣ „будетъ сообразоваться лишь съ мнѣніемъ легіоновъ“. Тогда настанетъ всеобщее осадное положеніе и военный

деспотизмъ, — и вотъ увидите, увидите, что это ужасно многимъ во Франціи понравится! И повѣрьте, что если будетъ надобность, то явятся и плебисциты, которые *большинствомъ голосовъ всей Франціи* дозволить войну и дадутъ потребныя деньги. Въ недавней рѣчи своей къ войскамъ маршалъ Макъ-Магонъ говорилъ именно въ этомъ смыслѣ, и войска приняли его весьма сочувственно. Сомнѣній нѣтъ, что армія больше на его сторонѣ. Къ тому же теперь онъ уже такъ далеко зашелъ, что ему и нельзя остановиться, иначе онъ никакъ не останется на своемъ мѣстѣ, тогда какъ вся его политика и весь онъ выражаются въ одномъ словѣ: „J'y suis et j'y reste“, то-есть: „Сѣлъ и не сойду“. Дальше этой фразы онъ, какъ извѣстно, не пошелъ и, ужъ конечно, для торжества этого тезиса рискнетъ, пожалуй, даже существованіемъ Франціи. Готовность къ подобному риску онъ уже разъ доказалъ въ франко-прусскую войну, когда, подъ вліяніемъ бонапартистовъ, рѣшился сознательно лишить Францію ея арміи изъ преданности къ династіи Наполеона. Клерикалы же навѣрно обезпечили ему его: „J'y suis et j'y reste“. Разъ соединивъ партіи подъ своимъ знаменемъ, т.-е. бонапартистовъ и легитимистовъ, они навѣрно уже сумѣли ловко *указать* Макъ-Магону, что вѣдь въ случаѣ нужды можно и совсѣмъ обойтись безъ Шамбора и безъ Бонапарта, и вовсе не надо будетъ ихъ призывать, ни въ какомъ даже случаѣ, а просто бы самому ему, маршалу Макъ-Магону, остаться диктаторомъ и безсмѣннымъ правителемъ, то-есть ужъ не на семь лѣтъ, а навсегда. Вотъ такимъ образомъ и осуществится тезисъ: „J'y suis et j'y reste“, — было бы только согласіе арміи; согласіе же Франціи вполнѣдствіи неминуемо, ибо твердая диктаторская рука, во главѣ власти, очень и очень многимъ придется по вкусу“. Подобныя льстивыя *указанія* навѣрно уже были произнесены. Можетъ-быть, усомнятся въ томъ, что такой человекъ, какъ Макъ-Магонъ, можетъ все это предпринять и исполнить. Но, во-первыхъ, онъ первую половину дѣла предпринялъ и исполнилъ, и половину, нисколько не легчайшую относительно проявленія рѣшимости, чѣмъ вторая будущая. А во-вторыхъ, — вотъ такіе-то именно люди, сами по себѣ вовсе не предприимчивые, если вдругъ подпадутъ подъ чье-нибудь верховное и рѣшительное вліяніе, то могутъ обнаружить огромную и роковую рѣшимость, — и не то чтобы отъ большого генія,

а именно отъ противоположной причины. Главное, тутъ не соображеніе, а просто толчокъ, и если ужъ ихъ разъ хорошенько толкнуть, то они и прутъ въ одну точку до тѣхъ поръ, пока или пробьютъ лбомъ стѣну или сломаютъ себѣ рога.

V.

Довольно непріятный секретъ.

Все это совершенно понимаютъ въ Германіи. По крайней мѣрѣ, всѣ офиціозные органы печати, находящіеся подъ вліяніемъ князя Бисмарка, прямо увѣрены въ неминующей войнѣ. Кто на кого бросится первый, и когда именно,—неизвѣстно, но война очень и очень можетъ загорѣться. Конечно, гроза можетъ еще пройти мимо. Вся надежда, если маршалъ Макъ-Магонъ вдругъ испугается всего, что взялъ на себя, и остановится, какъ нѣкогда Аяксъ, въ недоумѣніи среди дороги. Но тогда онъ самъ рискуетъ погибнуть, и невѣроятно, чтобъ онъ не понималъ этого. А шансъ недоумѣнія среди дороги хоть и возможенъ, но врядъ ли на него можно твердо понадеваться. Пока князь Бисмаркъ слѣдитъ за всѣмъ, что происходитъ во Франціи, съ лихорадочнымъ вниманіемъ; онъ наблюдаетъ и ждетъ. Для него гроза именно въ томъ, что не въ тотъ моментъ началось это дѣло, какъ онъ ожидалъ. Теперь же связаны руки. Всего же хлопотливѣе то, что открылись болячки, которыя до сихъ поръ тщательно прятались. Про главную болячку всѣхъ нѣмцевъ я уже говорилъ, — это боязнь, что Россія вдругъ догадается о томъ, какъ она могущественна и какую силу можетъ имѣть теперь, именно въ настоящій моментъ, ея рѣшающее слово, а главное—что *„зависимость отъ союза съ Россіей есть, повидимому, роковое назначеніе Германіи, особенно съ франко-прусской войны“*. Этотъ нѣмецкій секретъ можетъ вдругъ теперь обнаружиться—и для нѣмцевъ будетъ это конфузно. Какъ ни искренно признанна къ намъ была политика Германіи за послѣдніе годы, но секретъ-то все-таки соблюдался всѣми нѣмцами. Особенно печать дѣйствовала въ этомъ смыслѣ. До сихъ поръ нѣмцы всегда имѣли спокойный и гордый видъ, прямо свойственный могуществу, не нуждающемуся ни въ чьей помощи. Но теперь, конечно, слабое мѣсто должно выйти наружу. Ибо если влериальная Франція рѣшится на роковую

борьбу, то Францію мало уже просто побѣдить, или лишь отбить ея нападеніе; если она первая бросится, а надо ужъ навѣки ее обезсилить, такъ-таки придавить, пользуясь случаемъ—вотъ задача! А такъ какъ у Франціи къ тому же миллионъ слишкомъ войска, то чтобъ дѣло это покончить навѣрно, надо несомнѣнно *обезпечить* его, иначе нечего и приниматься. А обезпеченія другого нѣтъ, какъ заручиться рѣшающимъ словомъ Россіи. Однимъ словомъ, непріятнѣ всего, что все это выходитъ такъ внезапно. Всѣ прежніе расчеты спутались и теперь уже событія командуютъ расчетами, а не расчеты властвуютъ надъ событіями. Франція можетъ начать сегодня-завтра, лишь чуть-чуть управится у себя внутри. Она бросилась въ политику приключеній, что для всѣхъ очевидно, а если такъ, то гдѣ приключенія остановятся, гдѣ ихъ стѣна и граница? Это очень непріятно; такъ еще недавно нѣмцы имѣли такой независимый видъ, и особенно въ послѣдній годъ. Вспомнимъ, что въ этотъ годъ и Россія старалась разсмотрѣть въ Европѣ друзей своихъ, и нѣмцы знали про заботы Россіи и имѣли самый приличный случаю торжественный видъ. Конечно, всякое славянское движеніе всегда нѣсколько Германію безпокоило, но можно даже прямо сказать, что въ объявленіи Россіей войны два мѣсяца назадъ, даже, можетъ-быть, заключалось для Германіи нѣчто почти пріятное: „Нѣтъ ужъ теперь-то они никакъ не догадаются—думали въ Германіи два мѣсяца назадъ—что это мы въ нихъ нуждаемся, теперь они, напротивъ, стоя передъ Дунаемъ—„нѣмецкой рѣкой“, вполне убѣждены, что сами они ужасно въ насъ нуждаются, и что въ концѣ войны не обойдется безъ нашего вѣскаго слова. И это хорошо, что русскіе такъ думаютъ, это намъ въ будущемъ пригодится“. Сомнѣній нѣтъ, что навѣрно объ насъ такъ думали весьма многіе тонкіе нѣмцы; вся печать ея такъ думала и писала и — вдругъ теперь это клерикальное настроеніе все переверотило на другую сторону: „О, теперь они догадаются, теперь обо всемъ догадуются! А кромѣ того надо, чтобъ Россія какъ можно скорѣе кончила на Востокѣ и освободилась. Но оказать на нее давленіе весьма невыгодно. Развѣ сама испугается Англій и Австріи, но врядъ ли. Соединиться же съ Англійей и Австріей для давленія на Россію—нечего и думать: они потомъ не помогутъ, а Россія рассердится. Странное положеніе! Ужъ не помочь ли Россіи, чтобъ она кончила

поскорѣе? Это можно сдѣлать и не обнажая меча, а лишь давленіемъ политическимъ, на Австрію, напримѣръ...“ — вотъ какъ раздумываютъ теперь тѣ же политики, и очень, очень можетъ случиться, что все это такъ именно и есть въ самомъ дѣлѣ.

Однимъ словомъ, мнѣ хотѣлось высказать лишь мое убѣжденіе, мою вѣру, что Россія не только сильна и могущественна, какъ всегда была, но теперь, особенно теперь, она самая сильная изъ всѣхъ странъ Европы, и что никогда ея рѣшающее слово не могло цѣниться въ Европѣ такъ вѣско, какъ въ данный моментъ. Пусть Россія сама занята на Востокѣ, но одно лишь рѣшающее слово ея на вѣсахъ европейской политики можетъ покачнуть теперь вѣсы по ея волѣ и желанію. Конечно, и сама Англія теперь понимаетъ, что, въ виду *возможности* весьма хлопотливыхъ новыхъ событій въ крайне-западной Европѣ,— и она, пожалуй, потеряетъ въ глазахъ русскихъ двѣ трети своего престижа, и что поймутъ же, наконецъ, даже самые мнительные изъ русскихъ, что она отнюдь не рискнетъ на войну въ случаѣ сильной рѣшимости Россіи продолжать свое дѣло, и скорѣе станетъ разсчитывать на дѣлежъ наслѣдства послѣ „больного человѣка“, чѣмъ рѣшится начать открытую войну за него въ такую и безъ того хлопотливую минуту въ Европѣ. Въ самомъ дѣлѣ, случись такъ, что и впрямь разыграется въ Западной Европѣ неожиданное и роковое, то никогда Англія не рѣшится слишкомъ всецѣло ввязаться въ такое хлопотливое дѣло, столь несходное съ обычнымъ характеромъ ея интересовъ, и ужъ навѣрно приметъ лишь зорко наблюдательное положеніе, выжидая, по обычаю своему, удобный моментъ, когда можно будетъ пронюхать гдѣ-нибудь какой-нибудь дѣлежъ добычи, чтобы немедленно къ нему примазаться. Затѣвать же теперь (т.-е. до окончанія разъясненій крайне-западныхъ событій) съ Россією что-нибудь слишкомъ серьезное, будетъ ужъ слишкомъ для нея нерасчетливо. Съ другой стороны, Австрія, оставшись *одна*—что можетъ сдѣлать? Да и невѣроятно, чтобы клерикальное усложненіе дѣла въ крайне-западной Европѣ не смутило и ее хоть отчасти. И она, конечно, ждетъ, какъ и всѣ, дальнѣйшей развязки событій, такъ что и у ней, какъ у всѣхъ, отчасти связаны руки. У всѣхъ связаны, а у одной Россіи только распутаны. Вотъ ужъ и разыгралось, значить, нѣчто *непредвидѣнное* въ нашу

пользу. Ну, какъ не разсчитывать на *непредвидѣнное* въ рѣшеніи судебъ человѣческихъ?

Міромъ управляетъ Богъ и законы его, и если и впрямь разразится надъ Европой что-либо новое и усложненное, то, значить, рано ли, поздно ли, а тому непременно надо было совершиться. Но дай Богъ, чтобы я ошибся, дай Богъ, чтобы новая грядущая туча разсѣялась и всѣ предчувствія мои оказались лишь „пылкими“ моими же фантазіями—фантазіями ничего не понимающаго въ политикѣ человѣка. Все дѣло въ томъ: правы ли всѣ офиціозные органы печати въ Германіи, ожидающіе и пророчащіе войну? Съ другой стороны, министры Макъ-Магона изъ всѣхъ силъ, прежде всякихъ обвиненій, увѣряютъ французовъ и весь свѣтъ, что Франція не начнетъ войны. Согласитесь, что все это, по крайней мѣрѣ, подозрительно и что разрѣшеніе сомнѣній можетъ послѣдовать, уже по самому ходу дѣла, весьма и весьма въ непродолжительномъ времени. Но чтò если такъ много теперь зависитъ отъ „мнѣнія легионовъ“? Худо, если до того дойдетъ; тогда конецъ Франціи. Впрочемъ, съ ней только съ одной это и можетъ случиться, и ни съ кѣмъ больше въ цѣломъ мірѣ. Но дай Богъ, чтобы и съ ней не случилось: начинъ нехорошъ, примѣръ будетъ очень ужъ нехорошъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

I.

Любители турокъ.

А вѣдь у насъ теперь объявилось довольно много любителей турокъ, — конечно, по поводу войны съ ними. Прежде я не помню ни разу во всю мою жизнь, чтобы кто-нибудь начиналъ разговоръ съ тѣмъ, чтобы восхищаться турками. Теперь же очень часто слышу про ихъ защитниковъ и даже самъ встрѣчался съ такими, и очень даже горячатыся. Тутъ, разумѣется, потребность отличиться оригинальностью. Но вотъ, однакоже, любители ученые, учителя, профессора.

— Мусульманскій міръ внесъ въ христіанскій науку. Христіанскій міръ потопалъ во мракъ невѣжества, когда у арабовъ уже сіяла наука.

Тутъ, видите ли, причиною невѣжества христіанство. Тутъ Бокль, тутъ даже Дреперъ. Выходить, стало-быть, обратно, что мусульманство есть свѣтъ, а христіанство

начало тьмы. Какая уединенная логика! Оттого-то, вѣроятно, магометанство такъ и просвѣщено въ настоящее время сравнительно съ христіанствомъ. Что жъ они свой свѣточъ-то потушили такъ рано!

— Да, но у нихъ, однако, монотеизмъ, а у христіанъ...

Это превознесеніе мусульманъ за монотеизмъ, т.-е. за чистоту ученія о единствѣ Божіемъ, будто бы высшую сравнительно съ ученіемъ христіанскимъ, — это конекъ очень многихъ любителей турокъ. Но тутъ главное въ томъ, что эти любители порвали съ народомъ и не понимаютъ его. Разорвавъ съ народомъ, они успѣли уже составить себѣ инныя удивительныя понятія о томъ, что у русскаго простолюдина происходитъ въ головѣ. Между тѣмъ у русскаго простолюдина „ничего не смыслящаго въ дѣлѣ вѣры и не знающаго молитвъ“ — какъ привыкли говорить о немъ, — весьма часто, если не всегда, составляетя, однако, въ умѣ и въ душѣ весьма своеобразное, но *тѣрное* и строгое и вполнѣ удовлетворяющее его убѣжденіе о томъ, во что онъ вѣруетъ, хотя въ то же время, конечно, рѣдкій изъ простолюдиновъ сумѣетъ изложить свои вѣрованія словами отчетливо и въ послѣдовательности. Этому, порвавшему съ народомъ „интеллигентному“ русскому удивительно было бы услышать, что этотъ безграмотный мужикъ вполнѣ и неизбежно вѣруетъ въ Божіе единство, въ то, что Богъ единъ и нѣтъ другого Бога, такого какъ Онъ. Въ то же время русскій мужикъ знаетъ и благоговѣнно вѣруетъ (всякій русскій мужикъ это знаетъ), что Христось, истинный Богъ его, родился отъ Бога Отца и воплотился отъ Дѣвы Маріи. Прежде всего интеллигентный русскій, порвавшій съ народомъ, не захочетъ допустить даже возможности того, чтобъ русскій мужикъ, ничему не учившійся, могъ имѣть такія знанія: „Онъ такъ необразованъ, такъ темень, его ничему не учать, гдѣ его учитель?“ Онъ не пойметъ никогда, что учитель мужика, „въ дѣлѣ вѣры его“ — это сама почва, это вся земля русская, что вѣрованія эти какъ бы рождаются вмѣстѣ съ нимъ и укрѣпляются въ сердцѣ его вмѣстѣ съ жизнію. Но всего невѣроятнѣе иному русскому мыслителю то, какъ можетъ русскій простолюдинъ не сбиться въ своихъ понятіяхъ! Самъ давно уже утративъ всякое понятіе о томъ, что такое непосредственная великая теплая вѣра народа, онъ уже не можетъ допустить, чтобъ благоговѣнно вѣруя въ великую христіанскую тайну

воплощенія Сына Божія, престолюдинъ могъ въ то же время оставаться при самомъ строжайшемъ монотеизмѣ. Скорѣе же онъ припишетъ эту твердость столь *непосредственныхъ* убѣжденій русскаго престолюдина—непривычкѣ размышлять, привычкѣ къ путаницѣ понятій отъ лѣности и огупнѣнія мысли, отъ отсутствія всякой критики въ умѣ его; „плачевное“ же состояніе ума его припишетъ забитости, нуждѣ, разврату, крѣпостному состоянію и проч. На томъ и стоитъ русскій ученый, *изучающій* русскій народъ. Совершенно тѣмъ же процессомъ могло произойти и осужденіе православныхъ русскихъ за поклоненіе, на примѣръ, иконамъ. Иной лютеранскій пасторъ ни за что не можетъ понять, какъ можно, вѣруя въ истиннаго Бога, поклоняться въ то же время „доскѣ“, изображенію святаго, и допустить, чтобъ изъ этого не вышло идолопоклонства. Русскій интеллигентный человѣкъ всего чаще согласенъ въ этомъ сужденіи съ пасторомъ. Между тѣмъ нѣтъ *ни одного* русскаго мужика, или бабы, которые, поклоняясь иконѣ, въ то же время *хоть сколько-нибудь* смѣшивали „доску“ съ самимъ Богомъ, несмотря на то, что православный народъ въ то же время вѣруетъ въ чудотворность иныхъ иконъ. Но нѣтъ *ни одного русскаго*, который чудотворную силу иконы приписалъ бы самой иконѣ, а не соизволенію Божію. А это уже совсѣмъ другое. Вотъ этого-то воззрѣнія русскаго престолюдина ни пасторъ, ни разорвавшій съ народомъ русскій ни за что не допустить, да и не повѣрять, что такъ оно есть.

Вспомнили бы, однако, Магометовъ рай, чтобы уже совсѣмъ восполнить свое убѣжденіе о чистотѣ турецкихъ понятій о единствѣ Божіемъ. Все это я, разумѣется, говорю не затѣмъ, чтобъ затѣять съ почитателями турецкаго монотеизма богословскій споръ, и ужь, конечно, не затѣваль его. Вѣдь почитатели эти хлопочутъ больше о *здравыхъ* понятіяхъ народа, а самимъ-то имъ, пожалуй, и все равно, кто бы какъ ни вѣрилъ. Вотъ потому-то я и свелъ этотъ вопросъ лишь на народное о немъ понятіе.

II.

Золотые франки. Прямолинейные.

Кромѣ любителей турокъ объявилось очень много людей съ потребностью *особливаго мнѣнія*: „Все вздоръ, нѣтъ никакого движенія; адреса вздоръ, это не по-русски; санитарные отряды вздоръ, это не по-русски. Сентимен-

тальянчаніе славянъ выдумали, болгаръ выдумали, турки лучше болгаръ, все вздоръ. Я люблю турокъ“...

Это не то, чтобъ изъ какихъ-нибудь злокачественно-тонкихъ видовъ высшей политики. „Высшая политика“ у насъ есть, это безспорно, но эти — эти просто самолюбіе. Самолюбіе въ двухъ видахъ: или до крайности придавленное, а вслѣдствіе того и непремѣнная потребность по-оригинальничать, чтобъ отличиться и чѣмъ-нибудь заявить себя, или 2) самолюбіе отъ необыкновеннаго величія. Русскій „великій человекъ“ всего чаще не выноситъ своего величія. Право, если бъ можно было надѣть золотой фракъ, изъ парчи, напимѣръ, чтобъ ужъ не походить на всѣхъ прочихъ и низшихъ, то онъ бы откровенно надѣлъ его и не постыдился. Я увѣренъ въ томъ, и если до сихъ поръ еще не видалъ ни одного изъ нашихъ „великихъ“ въ золотомъ фракѣ, то, вѣроятно, потому, что портные шить не согласны. „Я всѣхъ умнѣе, я великъ. Всѣ они объ войнѣ такъ думаютъ, такъ я не хочу такъ, какъ они, думать. Докажу, что великъ“...

Объ золотомъ фракѣ, объ характерно-русскихъ социальныхъ и психологическихъ основаніяхъ происхожденія его, о наглядныхъ примѣрахъ и проч., и проч., мнѣ хочется особо поговорить, тема милая и я, можетъ быть, о ней не забуду. Теперь же, оставивъ пока золотой фракъ въ покоѣ, скажу словечко о „прямолинейныхъ“. Прямолинейные бываютъ всякіе, — люди добрые и злые, умные и глупые, честные и нечестные и т. д. Ихъ у насъ очень много. Эти бьютъ въ одну точку и ихъ ни за что не собьешь съ этой точки: „J'y suis et j'y reste“. Это наши Макъ-Магоны.

Изъ арміи доносятся извѣстія о геройствѣ, о самоотверженности русскихъ, какъ солдатъ, такъ и офицеровъ. Тутъ молодежь. Еще недавно было такое безвѣріе въ молодежь — въ надежду нашу: многіе видѣли въ ней лишь цинизмъ, обвиняли ее въ тупомъ отрицаніи, въ холодности, въ равнодушіи, въ тупомъ самоубійствѣ, а теперь вдругъ какъ бы прочистился воздухъ: та же молодежь проявляетъ великодушіе, жажду геройскаго порыва, долга, чести, жертвы. Они идутъ впереди сражаться, они бросаются первые въ опасность...

— Да, но этакъ сознательно бросаться на вѣрную смерть можетъ только пьяный или сумасшедшій. Другого объясненія нельзя найти.

— Какъ? Неужели вы не предполагаете въ немъ великодушнаго сознанія, что онъ жертвуетъ собою для Россіи, служить ей...

— Кулакомъ.

— То-есть какъ же? Въ войнѣ надо драться. Чѣмъ же бы онъ могъ принести пользу?

— Гм! Напримѣръ, школы.

— Школы въ свое время. Въ школы онъ принесетъ потомъ сознаніе исполненнаго долга, великодушное воспоминаніе, сближеніе съ народомъ.

— Какое сближеніе съ народомъ?

— Въ общей солидарности для общаго дѣла. Солдаты и его офицеръ живутъ теперь *тамъ* единымъ духомъ и единымъ чувствомъ. Интеллигенція роднится съ народомъ, возвращается къ нему опять, и уже дѣломъ, а не теоріей, научается уважать народъ, изъ котораго вышелъ этотъ солдатъ, и научаетъ народъ уважать себя и уже не какъ начальника или господина, а какъ человѣка, душевно. Недавній разсказъ о простолудинѣ, обнявшемъ въ слезахъ въ Успенскомъ соборѣ Черняева, имѣетъ значеніе. Вы хотите образовать народъ, но вы скорѣе его образуете, заставивъ его уважать ваши идеи, ваши дѣла и привлекая къ себѣ народъ сердцемъ. Чѣмъ больше народъ будетъ уважать людей образованныхъ *лично*, тѣмъ вѣрнѣе пойдетъ и образованіе народное. Такимъ образомъ, заслуживая уваженіе народа, вы служите уже дѣлу образованія народнаго, тѣмъ же школамъ, о которыхъ вы такъ хлопочете.

— Заслужить уваженіе черезъ кулакъ; заставить народъ уважать кулакъ?

— Тутъ не одинъ кулакъ, тутъ прежде всего великодушіе, тутъ жертва собственной жизни на виду. На виду и смерть красна. Вы вотъ спрашиваете, что можетъ заставить человѣка, въ цвѣтѣ жизни, жертвовать почти навѣрно жизнью, и недоумѣваете,—иначе вѣдь нельзя объяснить вашихъ словъ о пьяномъ и сумасшедшемъ: они только аллегорія, способъ выраженія. Но что можетъ заставить? Жажда славы, честнаго дѣла, жажда заслужить добрую извѣстность, похвалу всѣхъ согражданъ, которые всѣ теперь слѣдятъ за ихъ дѣлами, проявить личность, прославить имя.

— Ага, сдѣлать карьеру!

— Но всѣ эти чувства и побужденія великодушны. Ихъ

тысячи и все вмѣстѣ. Человѣкъ не изъ одного какого-нибудь побужденія состоитъ, человѣкъ—цѣлый міръ, было бы только основное побужденіе въ немъ благородно. Пролитая же собственная кровь и готовность пролить ее благородятъ даже и неблагороднаго до тѣхъ поръ чело-вѣка, налагають на него обязанность чести на всю по-томъ жизнь. У насъ уже появились въ печати опасенія, что эти люди потомъ возьмутъ верхъ, явится самоудовле-твореніе, гордость, будутъ презирать образованіе, штафи-рокъ, будутъ буйствовать и что въ общество проникнуть эти идеи. Но напрасные страхи. Улита ѣдетъ, когда-то будетъ. Какъ не появиться Кофѣйкинымъ, „такъ сказать, кровь проливавшимъ“, это правда, но вѣдь они только людей насмѣшать и себѣ повредить. Выгода же нравствен-ная будетъ неисчислима. Развѣется тоска цинизма, явится уваженіе къ честному подвигу...

— И къ кулаку.

— Тутъ не одни кулачные бойцы, тутъ есть почти еще дѣти, чистыя сердцемъ дѣти. Онъ только что произве-денъ, онъ бросается впередъ на подвигъ, съ мыслию о томъ, что скажетъ о немъ тамъ, далеко, его мать, сестра, съ которыми онъ только что простился... Неужели это только смѣшно и сентиментально? Наконецъ, почему не допустить въ этихъ герояхъ высшаго сознанія. Онъ по-нимаетъ, что Россія взяла задачу трудную, что задача эта можетъ и еще усложниться. Они всѣ видятъ теперь, что Россія не съ одной ужъ Турціей ведетъ войну, что турец-кими арміями руководятъ англійскіе генералы, что ан-глійскіе офицеры воздвигаютъ многочисленнѣйшія укрѣ-пленія на англійскія деньги, что флотъ англійскій ободр-яетъ Турцію продолжать войну, что, наконецъ, чуть ли не явились (въ Азіатской Турціи) уже англійскія войска... Они знаютъ все это и бросаются почти на смерть, пони-мая, что пришло время сослужить Россіи вѣрную службу. Я уже не говорю про болгаръ, про угнетенныхъ „братьевъ славянъ“, мучимыхъ, обижаемыхъ. Къ стыду нашему, эта тема уже устарѣла... но не въ ихъ сердцахъ. Неужели вы не предполагаете во многихъ изъ нихъ высшаго сознанія, что они идутъ служить человѣчеству, угнетеннымъ, оскор-бленнымъ...

— Служить человѣчеству кулакомъ!

— Позвольте, кстати, вамъ рассказать одинъ анекдотъ. Я уже передавалъ однажды, что въ Москвѣ, въ одномъ

изъ пріютовъ, гдѣ наблюдаютъ маленькихъ болгарскихъ дѣтей сиротокъ, привезенныхъ къ намъ въ Россію послѣ тамошняго разгрома, есть одна больная дѣвочка; лѣтъ 10, которая видѣла (и не можетъ забыть), какъ турки, при ней, содрали кожу съ ея живого отца. Ну, такъ въ этомъ же пріютѣ есть и другая больная болгарка, тоже лѣтъ десяти, и мнѣ объ пей недавно рассказали. У ней странная болѣзнь: постепенный, все болѣй и болѣй упадокъ силъ и непрерывный позывъ ко сну. Она все спитъ, но сонъ нисколько ее не укрѣпляетъ, а даже напротивъ. Болѣзнь очень серьезная. Теперь эта дѣвочка, можетъ быть, уже умерла. У ней тоже одно воспоминаніе, котораго она не можетъ выносить. Турки взяли ея маленькаго брата, ребенка двухъ-трехъ лѣтъ, сначала выкололи ему иглою глаза, а потомъ посадили на колъ. Ребеночекъ страшно и долго кричалъ, пока умеръ,—фактъ этотъ совершенно вѣрный. Ну, вотъ этого и не можетъ забыть дѣвочка, все это они сдѣлали при ней, на ея глазахъ. Природа, можетъ быть, и посылаетъ такимъ, пораженнымъ сердечно, сонъ, потому что они не могли бы долго оставаться на-яву съ такимъ непрерывнымъ воспоминаніемъ предъ собою.—Теперь представьте себѣ, что вы бы тамъ были сами въ ту минуту, какъ они прокалывали ребенку глаза. Скажите, неужели вы бы не бросились остановить ихъ, даже и кулакомъ?

— Да, но все же кулакъ.

— Да вы не бейте ихъ, если хотите, вы только ятаганы-то у нихъ отнимите! Неужели и этого нельзя сдѣлать силой?

А кстати, неужели есть у насъ даже такіе любители турокъ, которые и ятагановъ-то у нихъ не желали бы отобрать? Не думаю и не вѣрю, чтобъ были.



ЮЛЬ — АВГУСТЪ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

I.

Разговоръ мой съ однимъ московскимъ знакомымъ.—Замѣтка по поводу новой книжки.

Выдавъ въ Петербургѣ мой запоздавшій май-юньскій выпускъ „Дневника“ и возвращаясь затѣмъ въ Курскую губернію, я, проѣздомъ черезъ Москву, поговорилъ кой о чемъ съ однимъ изъ моихъ давнихъ московскихъ знакомыхъ, съ которымъ вижу рѣдко, но мнѣніе котораго глубоко цѣню. Разговора я въ цѣломъ не привожу, хотя я узналъ при этомъ кое-что весьма любопытное изъ текущаго, чего и не подозрѣвалъ. Но разставаясь съ моимъ собесѣдникомъ, я, между прочимъ, упомянулъ, что хочу сдѣлать, пользуясь случаемъ, маленький крюкъ по дорогѣ, изъ Москвы полтораста верстъ въ сторону, чтобы посѣтить мѣста перваго моего дѣтства и отрочества,—деревню, принадлежавшую когда-то моимъ родителямъ, но давно уже передшую во владѣніе одной изъ нашихъ родственницъ. Сорокъ лѣтъ я тамъ не былъ и столько разъ хотѣлъ туда съѣздить, но все никакъ не могъ, несмотря на то, что это маленькое и незамѣчательное мѣсто оставило во мнѣ самое глубокое и сильное впечатлѣніе на всю потомъ жизнь и гдѣ все полно для меня самыми дорогими воспоминаніями.

— Вотъ у васъ есть такія воспоминанія и такія мѣста, и у всѣхъ насъ были. Любопытно: что у нынѣшней молодежи, у нынѣшнихъ дѣтей и подростковъ будетъ дра-

гоцѣннаго въ ихъ воспоминаніяхъ и будетъ ли? Главное, что именно? Какого рода?

Что святія воспоминанія будутъ и у нынѣшнихъ дѣтей, сомнѣнія, конечно, быть не можетъ, иначе прекратилась бы живая жизнь. Безъ святого и драгоценнаго, унесеннаго въ жизнь изъ воспоминаній дѣтства, не можетъ и жить человѣкъ. Иной, повидимому, о томъ и не думаетъ, а все-таки эти воспоминанія безсознательно да сохраняетъ. Воспоминанія эти могутъ быть даже тяжелыя, горькія, но вѣдь и прожитое страданіе можетъ обратиться впоследствии въ святую для души. Человѣкъ и вообще такъ созданъ, что любить свое прожитое страданіе. Человѣкъ, кромѣ того, уже по самой необходимости склоненъ отмѣчать какъ бы точки въ своемъ прошедшемъ, чтобы по нимъ потомъ ориентироваться въ дальнѣйшемъ и выводить по нимъ хотя бы нѣчто цѣлое, для порядка и собственнаго назиданія. При этомъ самыя сильнѣйшія и вліяющія воспоминанія почти всегда тѣ, которыя остаются изъ дѣтства. А потому и сомнѣнія нѣтъ, что воспоминанія и впечатлѣнія, и, можетъ быть, самыя сильныя и святія, унесутся и нынѣшними дѣтьми въ жизнь. Но что именно будетъ въ этихъ воспоминаніяхъ, что именно унесутъ они съ собою въ жизнь, какъ именно оформируется для нихъ этотъ дорогой запасъ — все это, конечно, и любопытный и серьезный вопросъ. Если бы можно было хоть сколько-нибудь предугадать на него отвѣтъ, то можно бы было утолить много современныхъ тревожныхъ сомнѣній, и, можетъ быть, многіе бы радостно увѣровали въ русскую молодежь; главное же — можно бы было хоть сколько-нибудь почувствовать наше будущее, наше русское столь загадочное будущее. Но бѣда въ томъ, что никогда еще не было эпохи въ нашей русской жизни, которая столь менѣ представляла бы данныхъ для предчувствованія и предузнанія всегда загадочнаго нашего будущаго, какъ теперешняя эпоха. Да и никогда семейство русское не было болѣе расшатано, разложено, болѣе неразсортировано и неоформлено, какъ теперь. Гдѣ вы найдете теперь такія „Дѣтства и Отрочества“, которыя бы могли быть воссозданы въ такомъ стройномъ и отчетливомъ изложеніи, въ какомъ представилъ, на примѣръ, намъ *свою* эпоху и свое семейство графъ Левъ Толстой, или какъ въ „Войнѣ и Мирѣ“ его же? Всѣ эти поэмы теперь *не болѣе мифъ, какъ историческія картины давно прошедшаго*. О, я вовсе

не желаю сказать, что это были такія прекрасныя картины, отнюдь я не желаю ихъ повторенія въ наше время, и совѣтъ не про то говорю. Я говорю лишь объ ихъ *характерѣ*, о законченности, точности и опредѣленности ихъ характера, — качества, благодаря которымъ и могло появиться такое ясное и отчетливое изображеніе эпохи, какъ въ обѣихъ поэмахъ графа Толстого. Нынѣ этого нѣтъ, нѣтъ опредѣленности, нѣтъ ясности. Современное русское семейство становится все болѣе и болѣе *случайнымъ* семействомъ. Именно *случайное семейство* — вотъ опредѣленіе современной русской семьи. Старый обликъ свой она какъ-то вдругъ потеряла, какъ-то внезапно даже, а новый... въ силахъ ли она будетъ создать себѣ новый, желанный и удовлетворяющій русское сердце обликъ? Иные, и столь серьезные даже люди, говорятъ прямо, что русскаго семейства теперь „вовсе нѣтъ“. Разумѣется, все это говорится лишь о русскомъ интеллигентномъ семействѣ, т. е., высшихъ сословій, не народномъ. Но, однако, народное-то семейство, — развѣ теперь оно не вопросъ тоже?

— Вотъ чтоъ безспорно, — сказалъ мнѣ мой собесѣдникъ, — безспорно то, что въ весьма непродолжительномъ времени въ народѣ явятся новые вопросы, да и явились — уже куча вопросовъ, страшная масса все новыхъ, никогда не бывавшихъ, до сихъ поръ въ народѣ неслыханныхъ, и все это естественно. Но кто отвѣтитъ на эти вопросы народу? Кто готовъ у насъ отвѣчать на нихъ, и кто первый выищется, кто ждетъ уже и готовится? Вотъ вопросъ, нашъ вопросъ, да еще самой первой важности.

И ужъ, конечно, первой важности. Столь крутой переломъ жизни, какъ реформа 19-го февраля, какъ всѣ потомъ реформы, а, главное, грамотность (хотя бы даже самое малое соприкосновеніе съ нею), все это безспорно родить и родило уже вопросы, потомъ, пожалуй, сформируетъ ихъ, объединитъ, дастъ имъ устойчивость и — въ самомъ дѣлѣ, кто отвѣтитъ на эти вопросы? Ну, кто всего ближе стоитъ къ народу? Духовенство? Но духовенство наше не отвѣчаетъ на вопросы народа давно уже. Кромѣ иныхъ, еще горящихъ огнемъ ревности о Христѣ священниковъ, часто незамѣтныхъ, никому неизвѣстныхъ, именно потому, что ничего не ищутъ для себя, а живутъ лишь для паствы, — кромѣ этихъ, и увь, весьма, кажется, немногихъ, остальные, если ужъ очень потребуются отъ

нихъ отвѣты—отвѣтять на вопросы, пожалуй, еще доносомъ на нихъ. Другіе до того отдаляютъ отъ себя паству несоразмѣрными ни съ чѣмъ поборами, что къ нимъ и не придетъ никто спрашивать. На эту тему можно бы и много прибавить, но прибавимъ потомъ. Затѣмъ, одни изъ ближайшихъ къ народу—это сельскіе учителя. Но къ чему годятся и къ чему готовы наши сельскіе учителя? Что представила до сихъ поръ эта, лишь начинающаяся, впрочемъ, но столь важная по значенію въ будущемъ, новая корпорація, и на что она въ состояніи отвѣтить? На это лучше не отвѣчать. Остаются, стало быть, отвѣты случайные,—по городамъ, на станціяхъ, на дорогахъ, на улицахъ, на рынкахъ, отъ прохожихъ, отъ бродягъ и, наконецъ, отъ прежнихъ помѣщиковъ (объ начальствѣ само собою не упоминаю). О, отвѣтовъ, конечно, будетъ множество, пожалуй, еще больше чѣмъ вопросовъ,—отвѣтовъ добрыхъ и злыхъ, глупыхъ и премудрыхъ, но главный характеръ ихъ, кажется, будетъ тотъ, что каждый отвѣтъ родитъ еще по три новыхъ вопроса, и пойдетъ это все crescendo. Въ результатѣ хаосъ, но хаосъ бы еще хорошо: скороспѣлыя разрѣшенія задачъ хуже хаоса.

— А главное,—нечего и говорить объ этомъ. Вынесутъ.

Конечно, вынесутъ, и безъ насъ вынесутъ, и безъ отвѣтчиковъ и при отвѣтчикахъ. Могуча Русь и не то еще выносила. Да и не таково назначеніе и цѣль ея, чтобъ зря повернулась она съ вѣковой своей дороги, да и размѣры ея не тѣ. Кто вѣритъ въ Русь, тотъ знаетъ, что вынесетъ она *все* рѣшительно, даже и вопросы, и останется въ сути своей такою же прежнею, святою нашей Русью, какъ и была до сихъ поръ, и, сколь ни измѣнился бы, пожалуй, обликъ ея, но измѣненія облика бояться нечего, и задерживать, отдалять вопросы вовсе не надо: кто вѣритъ въ Русь, тому даже стыдно это. Ея назначеніе столь высоко, и ея внутреннее предчувствіе этого назначенія столь ясно (особенно теперь, въ нашу эпоху, въ теперешнюю минуту главное), что тотъ, кто вѣруетъ въ это назначеніе, долженъ стоять выше всѣхъ сомнѣній и опасеній. „Здѣсь терпѣніе и вѣра святыхъ“, какъ говорится въ священной книгѣ.

Въ то утро я только что увидалъ, въ первый разъ, объявленіе въ газетахъ о выходѣ отдѣльно восьмой и послѣдней части Анны Карениной, отвергнутой редакціей

Русскаго Вѣстника, въ которомъ печатался весь романъ, съ самой первой части. Всѣмъ извѣстно было тоже, что отвергнута эта послѣдняя, восьмая часть за разногласіе ея съ направлениемъ журнала и убѣждениями редакторовъ, и именно по поводу взгляда автора на восточный вопросъ и прошлогоднюю войну. Книгу я немедленно положилъ купить и, прощаясь съ моимъ собесѣдникомъ, спросилъ его о ней, зная, что ему давно уже извѣстно ея содержаніе. Онъ засмѣялся.

— Самая невиннѣйшая вещь, какая только можетъ быть! отвѣчалъ онъ.—Вовсе не понимаю, зачѣмъ *Русскій Вѣстникъ* не помѣстилъ ее. Притомъ же авторъ представлялъ имъ право на какія угодно оговорки и выноски, если они съ нимъ не согласны... А потому прямо и сдѣлали бы выноску, что вотъ, дескать, авторъ...

Я, впрочемъ, не впишу сюда содержанія этой выноски, предлагавшейся моимъ собесѣдникомъ, тѣмъ болѣе, что и высказалъ онъ ее, все еще продолжая смѣяться. Но въ концѣ онъ прибавилъ уже серьезно:

— Авторъ Анны Карениной, несмотря на свой огромный художественный талантъ, есть одинъ изъ тѣхъ русскихъ умовъ, которые видятъ ясно лишь то, что стоитъ прямо передъ ихъ глазами, а потому и прутъ въ эту точку. Повернуть же шею направо или налево, чтобы разглядѣть и то, что стоитъ въ сторонѣ, они, очевидно, не имѣютъ способности: имъ нужно для того повернуться всѣмъ тѣломъ, всѣмъ корпусомъ. Вотъ тогда они, пожалуй, заговорятъ совершенно противоположное, такъ какъ во всякомъ случаѣ они всегда строго искренни. Этотъ перевертъ можетъ и совсѣмъ не совершиться, но можетъ совершиться и черезъ мѣсяць, и тогда почтенный авторъ съ такимъ же задоромъ закричитъ, что и добровольцевъ надо посылать и корній щипать, и будетъ говорить все, что мы говоримъ...

Книжку эту я купилъ и потомъ прочелъ, и нашелъ ее вовсе не столь „невинною“. И такъ какъ я, несмотря на все мое отвращеніе пускаться въ критику современныхъ мнѣ литераторовъ и ихъ произведеній — рѣшилъ непременно поговорить объ ней въ „Дневникѣ“ (даже, можетъ быть, въ этомъ же выпускѣ) — то и счелъ не лишнимъ вписать сюда и мой разговоръ о ней съ моимъ собесѣдникомъ, у котораго и прошу потому извиненія за мою нескромность.

II.

Жажда слуховъ и того, что «скрываютъ».—Слово: скрываютъ. можетъ имѣть будущность, а потому и надобно принять мѣры заранѣе.—Опять о случайномъ семействѣ.

Эти „мѣста моего дѣтства“, куда я собирался съѣздить,—отъ Москвы всего полтора ста верстъ, изъ коихъ сто сорокъ по желѣзной дорогѣ; но употребить на эти полтора ста верстъ пришлось почти десять часовъ. Множество остановокъ, пересаживаній, а на одной станціи приходится ждать этого пересаживанія три часа. И все это при всѣхъ неприятностяхъ русской желѣзной дороги, при небрежнѣйшемъ и почти высокомѣрномъ отношеніи къ вамъ и къ нуждамъ вашимъ кондукторовъ и „начальства“. Веѣмъ давно извѣстна формула русской желѣзной дороги: „не дорога создана для публики, а публика для дороги“. Нѣтъ такого желѣзнодорожника, съ кондуктора до директора всключительно, который бы сомнѣвался въ этой аксіомѣ, и не посмотрѣлъ бы на васъ съ насмѣшливымъ удивленіемъ, если бѣ вы стали утверждать передъ нимъ, что дорога создана для публики. А главное и слушать не будутъ.

Кстати въ это лѣто я изѣздилъ до четырехъ тысячъ верстъ, по крайней мѣрѣ, и вездѣ по дорогѣ меня особенно поражалъ этотъ разъ народъ; вездѣ народъ говорилъ про войну. Ничто не могло сравниться съ тѣмъ интересомъ и съ тѣмъ жаднымъ любопытствомъ, съ которымъ простонародье выслушивало и разспрашивало про войну. Въ вагонахъ я замѣтилъ даже нѣсколькихъ мужиковъ, читавшихъ газеты, большею частью вслухъ. Случалось садиться рядомъ съ ними: какой-нибудь мѣщанинъ оглядитъ васъ осторожно сначала, и особенно козь увидить у васъ, или подлѣ васъ газету,—немедленно, и чрезвычайно вѣжливо освѣдомится: откуда вы? И козь отвѣтите, что изъ Москвы, или изъ Петербурга (а еще интереснѣе для него, если съ юга, изъ Одессы, напримѣръ), то непременно спроситъ: „Что слышно про войну?“ Затѣмъ чуть-чуть вы вселите въ него довѣрчивость вашимъ отвѣтомъ и готовностью отвѣчать ему, онъ тотчасъ, впрочемъ, опять-таки съ осторожностью, мѣняетъ любопытный видъ на таинственный, приближается къ вамъ и спрашиваетъ, уже понижая голосъ: „А нѣтъ-ли, дескать, чего особеннаго?“ то-есть поособеннѣе чѣмъ въ газетахъ, того,

дескать, что скрываютъ? При этомъ прибавлю, что недобольныхъ на правительство за объявленіе войны въ народѣ нѣтъ никого, даже въ самыхъ злорадныхъ типахъ, а злорадные есть, но тутъ особеннаго рода злорадство: Проходишь, напริมѣръ, во время остановки по платформѣ станціи и вдругъ услышишь: „семнадцать тысячъ нашихъ легло, только что сейчасъ была телеграмма!“ Смотришь, ораторствуетъ какой-нибудь паренекъ, лицо у него выражаетъ какое-то зловѣщее упоеніе, и вовсе не то, чтобъ онъ былъ радъ, что нашихъ легло семнадцать тысячъ, нѣтъ, тутъ другое, тутъ въ родѣ того, какъ если бъ вдругъ погорѣлъ человекъ, все сгорѣло — изба, деньги, скотъ: „смотрите, дескать, на меня, православные христіане, все пропало, въ лохмотьяхъ, одинъ какъ перстъ!“ Въ эти минуты тоже бываетъ у этого какаго-то сладость злораднаго самоупоенія въ лицѣ. Но насчетъ „семнадцати тысячъ“ было и другое: „телеграмма, дескать, такая есть, только ее задерживаютъ, скрываютъ, еще не пускаютъ... видѣли, сами читали...“—вотъ смыслъ. Я не утерпѣлъ, вдругъ подошелъ къ кучкѣ и сказалъ, что все вздоръ, слухи глупые, не могли побить семнадцати тысячъ нашихъ, все благополучно. Паренекъ (какъ будто изъ мѣщанства, а то и мужикъ, пожалуй) нѣсколько хотя и сконфузился, но не очень: „мы, дескать, люди темные, не свои слова говоримъ, такъ слышали“; толпа быстро разошлась, къ тому же зазвенѣлъ и звонокъ. Любопытно мнѣ теперь потому, что происходило это девятнадцатаго іюля, часовъ въ пять пополудни. Наканунѣ же, восемнадцатаго, было Плевненское дѣло. Какая тутъ могла быть еще телеграмма, даже кому бы то ни было, а не то что среди поѣзда желѣзной дороги? Конечно, случайное совпаденіе. Не думаю, впрочемъ, чтобъ парень былъ самъ распускатель и выдумщикъ ложныхъ слуховъ, вѣрнѣе всего, что онъ въ самомъ дѣлѣ отъ кого-нибудь слышалъ. Надо думать, что фабрикантовъ ложныхъ слуховъ, и уже, конечно, злыхъ слуховъ, объ неудачахъ и несчатьяхъ, развелось по Россіи въ это лѣто чрезвычайное множество и ужъ, конечно, съ цѣлями, а не то что изъ одного простого вранья.

Въ виду горячаго патріотическаго настроенія народа въ эту войну, въ виду той *сознательности* о значеніи и задачахъ этой войны, которая обнаружилась въ народѣ нашемъ еще съ прошлаго года, въ виду пламенной и бла-

оговѣнной вѣры народа въ своего царя, — всѣ эти задержки и секреты въ извѣстіяхъ съ театра войны не только не полезны, но положительно вредны. Никто не можетъ, конечно, ни требовать, ни желать, чтобъ сообщались стратегическіе планы, цифры войскъ раньше дѣла, военные секреты и проч., но, по крайней мѣрѣ, то, что узнаютъ вѣнскія газеты раньше нашихъ, можно бы знать и намъ раньше ихъ *).

Сидя на станціи, на которой приходилось ждать три часа для пересадки на другой поѣздъ, я былъ въ предурномъ расположеніи духа и на все досадовалъ. Отъ нечего дѣлать мнѣ пришло вдругъ на мысль изслѣдовать: почему я досадою, и не было ли тутъ, кромѣ общихъ причинъ, какой-нибудь случайной, ближайшей? Я не долго искалъ и вдругъ засмѣялся, найдя эту причину. Дѣло заключалось въ одной недавней встрѣчѣ моей, въ вагонѣ, за двѣ станціи передъ этой. Въ вагонъ вдругъ вошелъ одинъ джентльменъ, совершенный джентльменъ, очень похожій на типъ русскихъ джентльменовъ, скитающихся за границей. Онъ вошелъ ведя съ собой маленькаго своего сына, мальчика лѣтъ восьми, никакъ не болѣе, даже, можетъ быть, менѣе. Мальчикъ былъ премило одѣтъ въ самый модный европейскій дѣтскій костюмчикъ, въ прелестную курточку, изящно обуть, бѣлье батистовое. Отецъ видимо о немъ заботился. Вдругъ мальчикъ, только что сѣли, говорить отцу: „папа, дай папироску?“ Папа тотчасъ же идетъ въ карманъ, вынимаетъ перламутровую папиросочницу, вынимаетъ двѣ папироски, одну для себя, другую для мальчика, и оба, съ самымъ обыкновеннымъ видомъ, прямо свидѣтельствующимъ, что между ними ужъ и давно такъ, закуриваютъ. Джентльменъ погружается въ какую-то думу, а мальчикъ смотритъ въ окошко вагона, курить и затагивается. Онъ выкурилъ свою папироску очень скоро, затѣмъ, не прошло и четверти часа, вдругъ опять: „папа, дай папироску?“ — и опять оба вновь закуриваютъ и, въ продолженіе двухъ станцій, которыя они просидѣли со мною въ одномъ вагонѣ, мальчикъ выкурилъ, по крайней мѣрѣ, четыре папироски. Никогда я еще не видалъ ничего подобнаго и былъ очень удивленъ. Слабая, нѣжненькая, совсѣмъ не сформировавшаяся грудка

*) Теперь все это, въ самомъ важномъ, поправлено: почти ни одного дня не остается публика безъ депешъ главнокомандующаго.

такого маленькаго ребенка приучена уже къ такому ужасу. И откуда могла явиться такая неестественно-ранняя привычка? Разумѣется, глядя на отца: дѣти такъ переимчивы; но развѣ отецъ можетъ допустить своего младенца къ такой отравѣ? Чахотка, катарръ дыхательныхъ путей, каверны въ легкихъ — вотъ что неотразимо ожидаетъ несчастнаго мальчика — тутъ девять изъ десяти шансовъ, это ясно, это всѣмъ извѣстно, и именно отецъ-то и развиваетъ въ своемъ младенцѣ неестественно-преждевременную привычку! Чтò хотѣлъ доказать этимъ этотъ джентльменъ, — я не могу себѣ и представить: пренебреженіе ли къ предразсудкамъ, новую ли идею провести, что все, чтò прежде запрещалось — вздоръ, а, напротивъ, все дозволено? — Понять не могу. Случай этотъ такъ и остался для меня неразъясненнымъ, почти чудеснымъ. Никогда въ жизни я не встрѣчалъ такого отца и, вѣроятно, не встрѣчу. Удивительные въ наше время попадаютъ отцы! Я, впрочемъ, тотчасъ пересталъ смѣяться. Разсмѣялся я тому только, что такъ скоро отыскалъ причину моего сквернаго расположенія духа. Тутъ, хоть, впрочемъ, безъ прямой связи съ событіемъ, припомнился мнѣ вчерашній мой разговоръ съ моимъ собесѣдникомъ о томъ, чтò унесутъ дорогаго и святаго изъ своего дѣтства въ жизнь современныхъ дѣти, потомъ напомнилась моя мысль о *случайности* современнаго семейства... и вотъ я вновь погрузился въ весьма неприятныя соображенія.

Спросятъ: чтò такое эта *случайность* и чтò я подъ этимъ словомъ подразумѣваю? Отвѣчаю: случайность современнаго русскаго семейства, по-моему, состоитъ въ утратѣ современными отцами всякой общей идеи, въ отношеніи къ своимъ семействамъ, общей для всѣхъ отцовъ, связующей ихъ между собою, въ которую бы они сами вѣрили и научили бы такъ вѣрить дѣтей своихъ, передали бы имъ эту вѣру въ жизнь. Замѣьте еще: эта идея, эта вѣра — можетъ-быть, даже, пожалуй, ошибочная, такъ что лучшія изъ дѣтей впоследствии сами бы отъ нея отказались, по крайней мѣрѣ, исправили бы ее для своихъ уже дѣтей, но все же самое присутствіе этой общей, связующей общество и семейство идеи, — есть уже начало порядка, т.-е. нравственнаго порядка, конечно, подверженнаго измѣненію, прогрессу, поправкѣ, положимъ такъ — но порядка. Тогда какъ въ наше время этого-то порядка и нѣтъ, ибо нѣтъ ничего общаго и связующаго во чтò бы

всѣ отцы вѣрили, а есть на мѣсто того или: во-1-хъ, поголовное и сплошное отрицаніе прежняго (но зато лишь отрицаніе и ничего положительнаго); во-2-хъ, попытки сказать положительное, но не общее и связующее, а сколько головъ, столько умовъ,—попытки, раздробившіяся на единицы и лица, безъ опыта, безъ практики, даже безъ полной вѣры въ нихъ ихъ изобрѣтателей. Попытки эти иногда даже и съ прекраснымъ началомъ, но невыдержанныя, незаконченныя, а иногда такъ и совсѣмъ безобразныя, въ родѣ огульнаго допущенія всего того, что прежде запрещалось, на основаніи принципа, что все старое глупо, и это даже до самыхъ глупѣйшихъ выходовъ, до позволенія, напимѣръ, курить табакъ семилѣтнимъ дѣтямъ. Наконецъ, въ-3-хъ, лѣнливое отношеніе къ дѣлу, вялые и лѣнливые отцы, эгоисты: „э, пусть будетъ что будетъ, чего намъ заботиться, пойдутъ дѣти, какъ и всѣ, во что-нибудь выровняются, надоѣдаютъ только они очень, хоть бы ихъ вовсе и не было!“ Такимъ образомъ въ результатѣ — беспорядокъ, раздробленность и *случайность* русскаго семейства, — а надежда — почти что на одного Бога: „авось, дескать, пошлетъ намъ какую-нибудь общую идею и мы вновь соединимся!“

Такой порядокъ, конечно, родитъ безотрадность, а безотрадность еще пуще родитъ лѣнность, а у горячихъ—циническую, озлобленную лѣнность. Но есть и теперь много совсѣмъ не лѣнливыхъ, а, напротивъ, очень даже прилежныхъ отцовъ. Большею частью эти отцы съ идеями. Одинъ, наслушавшись, положимъ, весьма даже не глупыхъ вещей и прочтя двѣ-три умныя книги, вдругъ сводитъ все воспитаніе и всѣ обязанности свои къ семейству на одинъ бифштексъ: „Бифштексъ съ кровью и кончено, Либихъ, дескать“ и т. д. Другой, пречестнѣйшій человекъ самъ по себѣ, въ свое время даже блиставшій остроуміемъ, уже согналъ три няньки отъ своихъ младенцевъ: „невозможно съ этими шельмами, запретилъ настрою, вдругъ захожу вчера въ дѣтскую и что же, представьте себѣ, слышу: Лизочку укладываетъ въ люльку, а сама ее Богородицѣ учить и крестить: помилуй, дескать, Господи, папу, маму... вѣдь настрою запретилъ! Рѣшаюсь на англичанку, да выйдетъ ли лучше-то?“ Третій, едва пятнадцатилѣтнему своему мальчишкѣ, самъ подыскиваетъ уже любовницу: „а то, знаете, эти дѣтскія ужасныя привычки разовьются, али поидетъ какъ-нибудь на улицу, да бо-

лѣзнь скверную схватить... нѣтъ, ужъ лучше обезпечить ему этотъ пунктъ заранѣ...“ Четвертый доводитъ своего семнадцатилѣтняго мальчика до самыхъ передовыхъ „идей“, а тотъ самымъ естественнымъ образомъ (ибо что можетъ выйти изъ иныхъ познаній раньше жизни и опыта?) сводить эти передовыя мысли (нерѣдко очень хорошія) на то, что „если нѣтъ ничего святаго, то, стало-быть, можно дѣлать всякую пакость“. Положимъ, въ этомъ случаѣ отцы горячи, но вѣдь у многихъ ли изъ нихъ эта горячка оправдывается чѣмъ-нибудь серьезнымъ, мыслию, страданіемъ? Много ль у насъ такихъ-то? Большею вѣдь частью одно либеральное подхихикиваніе съ чужого голоса, и вотъ, ребенокъ уноситъ въ жизнь, сверхъ всего, и комическое воспоминаніе объ отцѣ, комическій образъ его.

Но это „прилежные“ и ихъ не такъ много; несравненно больше лѣнливыхъ. Всякое переходное и разлагающееся состояніе общества порождаетъ лѣнность и апатію, потому что лишь очень немногіе, въ такія эпохи, могутъ ясно видѣть передъ собою и не сбиваться съ дороги. Большинство же путается, теряетъ нитку, и, наконецъ, махаетъ рукой: „э, чтобъ васъ! Какія тамъ еще обязанности, когда и сами-то никто ничего толкомъ не умѣемъ сказать! Прожить бы только какъ-нибудь самому-то, а то что тутъ еще обязанности“. И вотъ эти лѣнливые, если только богаты, исполняютъ даже все *какъ слѣдуетъ*: одѣваютъ дѣтей хорошо, кормятъ хорошо, нанимаютъ гувернантокъ, потомъ учителей; дѣти ихъ, наконецъ, вступаютъ, пожалуй, въ университеты, но... отца тутъ не было, семейства не было, юноша вступаетъ въ жизнь одинъ какъ перстъ, сердцемъ онъ не жилъ, сердце его ничѣмъ не связано съ его прошедшимъ, съ семействомъ, съ дѣтствомъ. И еще вотъ что: вѣдь это только богатенькіе, у нихъ былъ достатокъ, а много ли достаточныхъ-то? Большинство, страшное большинство—вѣдь все бѣдныя, а потому, при лѣнности отцовъ къ семейству, дѣтки уже въ высшей степени оставлены на случайность! Нужда, забота отцовъ отражаются въ ихъ сердцахъ съ дѣтства мрачными картинами, воспоминаніями иногда самаго отравляющаго свойства. Дѣтки вспоминаютъ до глубокой старости малодушіе отцовъ, ссоры въ семействахъ, споры, обвиненія, горькіе попреки и даже проклятія на нихъ, на лишніе рты, и, что хуже всего, вспоминаютъ иногда подлость

отцовъ, низкіе поступки изъ-за достиженія мѣсть, денегъ, гадкія интриги и гнусное раболѣпство. И долго потомъ въ жизни, можетъ, всю жизнь, человѣкъ склоненъ слѣпо обвинять этихъ прежнихъ людей, ничего не вынеся изъ своего дѣтства, чѣмъ бы могъ онъ смягчить эту грязь воспоминаній и правдиво, реально, а, стало-быть, и *оправдательно* взглянуть на тѣхъ прошлыхъ, старыхъ людей, оеоло которыхъ такъ уныло протянулись его первые годы. Но это еще лучшія изъ дѣтей, а вѣдь большинство-то ихъ уноситъ съ собою въ жизнь не одну лишь грязь *воспоминаній*, а и самую грязь, запасется ею даже нарочно, карманы полные набьетъ себѣ этой грязью въ дорогу, чтобъ употребить ее потомъ въ дѣло и уже не со скрежетомъ страданія, какъ его родители, а съ легкимъ сердцемъ: „Всѣ, дескать, ходятъ въ грязи, объ идеалахъ бредятъ только одни фантазеры, а съ грязнотдой-то и лучше“...

„Но что же вы хотите? Какія это такія воспоминанія должны были они унести изъ дѣтства для очистки грязи своихъ семействъ и для *оправдательнаго*, какъ вы говорите, взгляда на отцовъ своихъ?“ Отвѣчаю: Что же я могу сказать одинъ, если въ цѣломъ обществѣ нѣтъ на это отвѣта? Общаго нѣтъ ничего у современныхъ отцовъ, сказалъ я, связующаго ихъ самихъ нѣтъ ничего. Великой мысли нѣтъ (утратилась она), великой вѣры нѣтъ въ ихъ сердцахъ въ такую мысль. А только подобная великая вѣра и въ состояніи породить *прекрасное* въ воспоминаніяхъ дѣтей,—и даже какъ: несмотря даже на самую лютую обстановку ихъ дѣтства, бѣдность и даже самую нравственную грязь, окружавшую ихъ колыбели! О, есть такіе случаи, что даже самый падшій изъ отцовъ, но еще сохранившій въ душѣ своей хотя бы только отдаленный прежній образъ великой мысли и великой вѣры въ нее, могъ и успѣвалъ пересаживать въ воспримчивыя и жаждущія души своихъ жалкихъ дѣтей это сѣмя великой мысли и великаго чувства, и былъ прощенъ потомъ своими дѣтьми всѣмъ сердцемъ за одно это благодѣяніе, несмотря ни на что остальное. Безъ зачатковъ положительнаго и прекраснаго нельзя выходить человѣку въ жизнь изъ дѣтства; безъ зачатковъ положительнаго и прекраснаго нельзя пускать поколѣніе въ путь. Посмотрите, развѣ современные отцы, изъ горячихъ и прилежныхъ, не вѣрятъ въ это? О, они вполне вѣрятъ, что безъ связующей, общей, нравственной и гражданской идеи нельзя

взрастить поколѣніе и пустить его въ жизнь! Но сами-то они всѣ вмѣстѣ утратили цѣлое, потеряли общее, разбились по частямъ; соединились лишь въ отрицательномъ, да и то кое-какъ, и раздѣлились всѣ въ положительномъ, а въ сущности и сами даже не вѣрятъ себѣ ни въ чемъ, ибо говорятъ съ чужого голоса, применили къ чуждой жизни и къ чуждой идеѣ и потеряли всякую связь съ родной русской жизнью.

Впрочемъ, повторяю, этихъ горячихъ немного, лѣнивыхъ безконечно больше. Кстати, помните ли вы процессъ Джунковскихъ? Этотъ процессъ очень недавній и рассматривался въ Калужскомъ окружномъ судѣ всего лишь 10-го іюня текущаго года. На него, среди грома текущихъ событій, весьма можетъ быть немногіе и обратили вниманіе. Я прочелъ его въ газетѣ *Новое Время* и не знаю, былъ ли онъ перепечатанъ еще гдѣ-нибудь. Это — дѣло о перемышльскихъ землевладѣльцахъ маіорѣ Александрѣ Аванасьевѣ Джунковскомъ, 50 лѣтъ, и женѣ его Екатеринѣ Петровой Джунковской, 40 лѣтъ, обвиняемыхъ въ жестокомъ обращеніи съ малолѣтними дѣтьми ихъ Николаемъ, Александромъ и Ольгою... Здѣсь своевременно будетъ замѣтить, что дѣти, о которыхъ идетъ рѣчь, были въ слѣдующемъ возрастѣ: Николай—тринадцати лѣтъ, Ольга—двѣнадцати лѣтъ и Александръ—11 лѣтъ. Прибавлю еще, забѣгая впередъ, что судъ оправдалъ подсудимыхъ.

Въ этомъ процессѣ весьма, по-моему, рѣзко выступаетъ многое типичное изъ нашей дѣйствительности, а между тѣмъ, что всего болѣе въ немъ поразительно—это чрезвычайная обыкновенность, обыденность его. Чувствуешь, что именно такихъ русскихъ семействъ необыкновенное теперь множество,—конечно, не въ этомъ самомъ видѣ, конечно, не вездѣ такая случайности, какъ *чесаніе пятокъ* (о чемъ будетъ ниже), но суть-то дѣла, основная-то черта множества подобныхъ семействъ одна и та же. Это именно типъ „лѣниваго семейства“, о которомъ я сейчасъ только говорилъ. Если не цѣлый, не правильный очень типъ (особенно судя по инымъ весьма исключительнымъ и характернымъ подробностямъ), то все-таки замѣчательная особь этого типа. Но пусть читатели судятъ сами. Подсудимые были преданы суду по опредѣленію московской судебной палаты; припомнимъ же это обвиненіе. Перепечатаваю изъ *Новаго Времени* такъ, какъ оно тамъ было изложено, т.-е. въ сжатомъ видѣ.

III.

Дѣло родителей Джунковскихъ съ родными дѣтьми.

Обвиняемые Джунковскіе, обладая извѣстнымъ достаткомъ и имѣя надлежащее число прислуги, поставили дѣтей своихъ: Николая, Александра и Ольгу, въ совершенно иныя отношенія къ себѣ, чѣмъ другихъ дѣтей. Они не только не держали себя съ ними и не ласкали ихъ какъ родители, но, оставивъ безъ присмотра, давали имъ плохое содержаніе, помѣщеніе, одежду, постели и столъ, принуждали къ занятіямъ въ родѣ чесанія пятокъ и т. п., возбуждая и поддерживая такимъ образомъ въ нихъ неудовольствіе и раздраженіе, доведшее ихъ до поступка съ умершею сестрою, о чемъ будетъ сказано ниже. Все это не могло не имѣть дурного вліянія на здоровье дѣтей. Такъ, напримѣръ, изъ дѣла видно, что Ольга страдаетъ падухою болѣзнію, кромѣ того, не способствуя ни надзоромъ, ни попеченіями своими нравственному развитію дѣтей, подсудимые прибѣгали къ мѣрамъ, которыя нельзя признать кроткими мѣрами исправленія родителями своихъ малолѣтнихъ дѣтей. Такъ, обвиняемые запирали дѣтей на продолжительное время въ сортиръ, оставляли дома въ холодной комнатѣ и почти безъ пищи, или посылали обѣдать и спать въ комнатѣ прислуги, ставя ихъ такимъ образомъ въ общество лицъ, мало способныхъ содѣйствовать ихъ исправленію, наконецъ, часто били чѣмъ попало, даже кулаками, сѣкли розгами, хворостиною, плетью, назначенной для лошадей, и съ такою жестокостію, что страшно было смотрѣть и что (по показанію мальчика Александра) спина ребенка болѣла пять дней отъ одной изъ такихъ экзекуцій. Подобныя побои были послѣдствіемъ не всегда какой-нибудь, хотя бы маловажной шалости, но и просто такъ себѣ—по желанію. Служившая прачкою у Джунковскихъ солдатка Сергѣева, между прочимъ, объяснила, что обвиняемые не любили дѣтей Николая, Александра и Ольгу, которые спали отдѣльно отъ другихъ дѣтей, внизу, въ одной комнатѣ, на полу, на войлокѣ, одѣвались чѣмъ попало (было одно рваное одѣяло); ѣли людское кушанье, такъ что всегда были голодны. Одѣвали ихъ плохо: лѣткомъ въ разныя рубашки, а зимою въ полушубки. Джунковская была для этихъ дѣтей хуже мачихи; она била ихъ, особенно Александра, чѣмъ попало, а то такъ просто кулаками. Когда сѣкла Николая, то страшно было глядѣть. Дѣти хотя и были шаловливы, но какъ дѣти. Имъ доставалось больше всего по вечерамъ, когда они чесали матери пятки, что продолжалось по часу и болѣе—пока мать не уснетъ. Это дѣлала раньше прислуга, въ томъ числѣ и Сергѣева, которая, наконецъ, отказалась, потому что рука отекала! Изъ показанія Усачковой оказывается, что Александръ и Ольга валялись на полу, на грязныхъ подушкахъ, «вообще ихъ держали грязно—въ свиномъ логовищѣ чище, чѣмъ у нихъ». Жившій у Джунковскихъ, въ качествѣ учителя, по августу 1875 года, дворянинъ Любимовъ утверждалъ, что Николая, Ольгу и Александра содержали плохо и имъ иногда приходилось ходить босикомъ. Въ показаніи дѣвицы Шишовой (кандидатка Николаевского института), бывшей у дѣтей подсудимыхъ гувернанткою, по августу 1874 года, которое было прочитано на судѣ вслѣдствіе неявки свидѣтельницы,—значится, что Джунковская—женщина эгоистичная, не ласкавшая никогда, равно какъ и мужъ ея, дѣтей Александра и Николая. Отсутствіе вообще порядка въ домѣ подсудимыхъ и равнодушное отно-

шеніе къ дѣтямъ Шишова объясняетъ какою-то небрежностью обвиняемыхъ ко всему и даже въ отношеніи себя; дѣла ихъ были постоянно запутаны и они жили постоянно въ хлопотахъ и не умѣли хозяйничать. Джунковская, старавшаяся, чтобы ее ничто не беспокоило, поручала мужу наказывать дѣтей, что имъ и было исполняемо, и хотя при эзекучіяхъ свидѣтельница не присутствовала, но тѣмъ не менѣе удостовѣряетъ, что «никакой жестокости въ наказаніяхъ не было». «Случалось, продолжаетъ педагогичка Шишова,—что Джунковская или я даже, за шалости запирали дѣтей въ комнату, гдѣ стоялъ ватерклозетъ, но эта комната не холоднѣе другихъ въ квартирѣ и отапливалась». Шишова и сама наказывала дѣтей ременною плеткою, «но только она была маленькая». При свидѣтелиницѣ никогда не случалось, чтобы дѣтямъ не давали ѣсть по нѣсколько дней.

Затѣмъ мальчики Николай и Александръ дали слѣдователю сдержанныя показанія, изъ которыхъ, однако, видно, что ихъ сѣкли розгами, ременною плетью, которую гоняютъ лошадь, а также и хворостиною, употреблявшеюся въ дѣло и учителемъ Любимовымъ. Однажды у Александра пять дней болѣла спина послѣ того, какъ мать высѣкла его за то, что онъ изъ кухни принесъ сестрѣ Ольгѣ картофелю для завтрака.

Джунковскій въ оправданіе свое ссылаясь на полнѣйшую испорченность своихъ дѣтей, въ подтвержденіе чего привелъ слѣдующій случай: когда умерла его старшая дочь Екатерина, мальчики Николай и Александръ въ то время, когда сестра ихъ лежала на столѣ,—нарѣзавъ въ саду прутевъ, били мертвую по лицу, приговаривая: теперь-то натѣшимся надъ тобою за то, что ты на насъ жаловалась.

На судѣ обвиняемые не признали себя виновными.

Подсудимый увѣрялъ, что тратитъ на воспитаніе своихъ дѣтей болѣе, чѣмъ позволяютъ его средства, но что онъ такъ несчастливъ, что не достигъ своей цѣли и что дѣти дѣлаются все хуже и хуже.

Старшій сынъ (Николай) до отдачи въ гимназію былъ хорошимъ мальчикомъ, но, побывъ въ гимназіи, выучился тамъ воровать; до поступленія въ гимназію онъ зналъ молитвы, но потомъ забылъ ихъ по той причинѣ, что объявилъ себя католикомъ и вслѣдствіе этого не учился совсѣмъ Закону Божію, между тѣмъ было представлено метрическое свидѣтельство, въ которомъ сказано, что Николай—православнаго вѣроисповѣданія.

Въ послѣднемъ своемъ словѣ Джунковская высказала, что она нанимала къ дѣтямъ нѣсколько гувернантокъ, но, къ несчастію, все ошибалась въ нихъ, такъ же какъ и въ учителей, но что въ настоящее время отецъ самъ занимается съ дѣтьми, и она надѣется, что дѣти совершенно поправятся.

Вотъ этотъ процессъ. Подсудимые, какъ сказано выше, были оправданы. Еще бы нѣтъ? И замѣчательно не то, что ихъ оправдали, а то, что ихъ предали подъ судъ и судили. Кто и какой судъ можетъ обвинить ихъ и за что? О, конечно, есть такой судъ, который можетъ ихъ обвинить и ясно указать за что, но не уголовный же судъ съ присяжными засѣдателями, судящій по написанному закону. А въ написанныхъ законахъ нигдѣ нѣтъ статьи, ставящей преступленіемъ лѣнивое, неумѣлое и

безсердечное отношеніе отцовъ къ дѣтямъ. Иначе пришлось бы осудить пол-Россіи,—куда, гораздо больше. Да и что такое безсердечное отношеніе? Вотъ если бы жестокія истязанія, какія-нибудь ужасныя, безчеловѣчныя. Но мнѣ помнится, какъ адвокатъ въ процессѣ Кроненберга, обвинявшагося въ безчеловѣчномъ обращеніи съ своимъ младенцемъ, раскрылъ сводъ законовъ и прочелъ статью о жестокомъ обращеніи, жестокихъ истязаніяхъ и проч., имѣя въ виду доказать, что кліентъ его не подходитъ ни подъ одну изъ этихъ статей, въ которыхъ ясно и точно опредѣлено, что надо считать жестокими и безчеловѣчными истязаніями. И, помню, эти опредѣленія жестокихъ истязаній были до того жестоки, что рѣшительно похожи были на истязанія болгаръ баши-бузукками, и если не сажаніе на колъ и ремни изъ спины, то разломанныя ребра, руки, ноги и не знаю еще что, такъ что какаѣ-нибудь ременная плетка, да еще маленькая, по показанію дѣвицы Шишовой—рѣшительно не можетъ подойти къ статьѣ свода законовъ и составить пунктъ обвиненія. „Сѣкли, дескать, розгой“. Да кто-жъ не сѣчетъ дѣтей розгой? девять десятыхъ Россіи сѣчетъ. Подъ уголовный-то законъ уже никакъ нельзя подвести. „Сѣкли, дескать, ни за что, ни про что, за картофель“. Нѣтъ-съ, не за картофель, отвѣтилъ бы г. Джунковскій, а тутъ ужъ все вмѣстѣ сошлось, за развратъ, за то, что они, изверги, сѣкли умершую дочь Екатерину по лицу.— „Въ сортиръ, дескать, запирали“. Да вѣдь сортиръ топлennyй, такъ чего же вамъ больше, карцеръ—всегда карцеръ. „За то, дескать, что людской пищей кормили и посылали спать чуть не въ свиной хлѣвъ, на какой-то подстилеѣ, съ однимъ рванымъ одѣяломъ“? „А это тоже за наказаніе-съ, и притомъ, рваное—не рваное, а я и безъ того трачу на обученіе дѣтей свыше моихъ средствъ и надѣюсь, что закону нечего считать въ моемъ карманѣ средства мои“. „За то, дескать, что вы не ласкали дѣтей“? Но позвольте, покажите мнѣ такую статью свода законовъ, которая повелѣвала бы мнѣ, подъ страхомъ уголовного наказанія, ласкать дѣтей, да еще шалуновъ, безсердечныхъ, дрянныхъ воришекъ и изверговъ... „За то, наконецъ, что вы избрали не ту систему воспитанія вашихъ дѣтей“? А какую систему воспитанія предписываетъ уголовный законъ подъ страхомъ уголовного наказанія? Да и вовсе это не дѣло закона...

Однимъ словомъ, я хочу сказать, что тащить это дѣло Джунковскихъ въ уголовный судъ было невозможно. Да такъ и случилось: они были оправданы, изъ обвиненія ихъ ничего не вышло. А между тѣмъ, читатель чувствуетъ, что изъ этого дѣла можетъ выйти, а, можетъ-быть, ужь и вышла цѣлая трагедія. О, тутъ дѣло дру-го суда, но какого же?

Какого? Да вотъ хотъ бы, напримѣръ, дѣвица Шишова, педагогичка,—она даетъ свое показаніе и уже произносить въ немъ приговоръ. Замѣтимъ, что эта г-жа Шишова хотъ и сѣкла сама дѣтей ременной плеткой („только она была маленькая“), но кажется весьма умная женщина. Невозможно опредѣлить точнѣе и умнѣе характеръ Джунковскихъ, какъ она его опредѣляетъ. Г-жа Джунковская—*женщина эгоистичная*, говоритъ она. Домъ Джунковскихъ *въ безпорядкѣ... по небрежности обвиняемыхъ ко всему и даже въ отношеніи себя*. Дѣла ихъ постоянно запутаны, живутъ они постоянно въ хлопотахъ; не умѣютъ хозяйничать, мучаются, а между тѣмъ всего болѣе ищутъ покоя: Джунковская, непрерывно *старавшаяся, чтобы ее ничто не беспокоило*, даже дѣтей поручала на-казывать мужу... Однимъ словомъ, г-жа Шишова унесла съ собой изъ дома Джунковскихъ то мнѣніе, что эти люди—безсердечные эгоисты, а главное—лѣнливые эгоисты. Все отъ лѣни, и сердца у нихъ лѣнливыя. Отъ лѣни, конечно, и вѣчный безпорядокъ въ домѣ, безпорядокъ и въ дѣлахъ, а между тѣмъ ничего они такъ не ищутъ, какъ покоя: „Э, чтобъ васъ, только бы прожить!“ Отчего же ихъ лѣнь, отчего ихъ апатія—Богъ знаетъ! Тяжело ли имъ среди современнаго хаоса жизни, въ которомъ такъ трудно что-нибудь понять? Или такъ мало отвѣтила современная жизнь на ихъ духовныя стремленія, на ихъ желанія, вопросы? Или, наконецъ, отъ непониманія кругомъ происходящаго разложились и ихъ понятія и уже больше не собрались, и наступило разочарованіе? Не знаю, не знаю; но, повидимому, это люди, имѣющіе образованіе, можетъ-быть, нѣкогда, да и теперь, пожалуй, любившіе прекрасное и высокое. Чесаніе пятокъ тутъ ничему не могло бы противорѣчить. Чесаніе пятокъ—это именно что-то въ родѣ какъ бы лѣниваго, апатичнаго разочарованія, лѣнливое дорлотерство, жажда уединенія, покоя, теплоты. Тутъ первы, — и именно не столько лѣнь, сколько та жажда покоя и уединенія, т.-е. скорѣе отъединенія отъ

всѣхъ долговъ и обязанностей. Да, тутъ, конечно, эгоизмъ, а эгоисты капризны и трусливы передъ долгомъ: въ нихъ вѣчно, трусливое отвращеніе связать себя какимъ-нибудь долгомъ. замѣйте, что вѣчное и страстное желаніе этого освобожденія себя отъ всякаго долга почти всегда рождаетъ и развиваетъ въ эгоистѣ, наоборотъ, убѣжденіе, что всѣ, кто бы ни сталкивался съ нимъ, ему должны что-то, какъ бы обложены относительно его какимъ-то долгомъ, данью, податью. Какъ ни бессмысленно это мечтаніе, но оно, наконецъ, укореняется и переходитъ въ раздражительное недовольство всѣмъ міромъ и въ горькое, нерѣдко озлобленное чувство ко всему и всѣмъ. Неисполненіе этихъ фантастическихъ долговъ принимается, наконецъ, сердцемъ какъ обида — такъ что вы иногда во всю жизнь не вообразите, за чтѣ иной такой эгоистъ постоянно на васъ сердится и злится. Это озлобленное чувство рождается даже и къ собственнымъ дѣтямъ, — о, къ дѣтямъ даже по преимуществу. Дѣти — это именно предназначенныя жертвы этого капризнаго эгоизма, къ тому же они всѣхъ ближе подъ рукою, а всего пуще то, что никакого контроля: „мои, дескать, дѣти, собственные!“ Не удивляйтесь же, что это ненавистное чувство, вѣчно раздражаемое напоминаніемъ неисполненнаго относительно дѣтей долга, раздражаемое вѣчнымъ торчаніемъ передъ вами этихъ маленькихъ, новыхъ личностей, требующихъ отъ васъ всего и дерзко (увы, не дерзко, а по-дѣтски!) не понимающихъ, что вамъ такъ нуженъ вашъ покой и считающихъ этотъ покой ни во чтѣ, — не удивляйтесь, говорю я, что это ненавистное чувство даже къ собственнымъ дѣтямъ можетъ переродиться, наконецъ, въ настоящую месть, а подъ поощреніемъ и подстреканіемъ безнаказанности — даже въ звѣрство. Да, лѣнь и всегда порождаетъ звѣрство, заканчивается звѣрствомъ. И звѣрство это не отъ жестокости, а именно отъ лѣни. Сердца эти не жестоки, а именно лѣнныя сердца. И вотъ эта, столь любящая покой дама, даже до чесанія пятокъ возлюбившая его, озлобившаяся, наконецъ, на то, что лишь у ней, *у ней лишь одной нѣтъ* никогда покоя, потому что все кругомъ нея въ беспорядкѣ и требуетъ ея непрерывнаго присутствія и вниманія, — эта дама вскакиваетъ, наконецъ, съ постели, хватаетъ хворостину и сѣчетъ, сѣчетъ собственного ребенка, неутолимо, ненасытно, злорадно, такъ что „страшно было глядѣть“, какъ показываетъ прислуга,

и за что, изъ-за чего: за то, что мальчикъ принесъ голодной маленькой сестрѣ (страдающей падучей болѣзнію) изъ кухни немного картофелю, — т.-е. сѣчетъ его за хорошее чувство, за то, что не развратилось и не очерствѣло еще сердце ребенка. „Все равно, дескать, я запретила, а ты принесъ, такъ вотъ же, не дѣлай свое хорошее, а дѣлай мое дурное“. Нѣтъ-съ, вѣдь это истерика. Дѣти спать въ грязи, „въ свиномъ логовищѣ чище“, съ однимъ прорванымъ одѣяломъ на троихъ: „пустъ, такъ имъ и надо, думаетъ родная мать, не даютъ они мнѣ покоя!“ И не потому думаетъ она такъ, что сердце у ней жестокое, нѣтъ, сердце у ней, можетъ-быть, весьма доброе и хорошее отъ природы, да вотъ покоя-то ей никакъ не даютъ, достигнуть-то его она всю жизнь не можетъ, и чѣмъ дальше, тѣмъ хуже, а тутъ эти дѣти („зачѣмъ они! зачѣмъ они появились!“) растутъ, шалать и требуютъ ежедневно все больше и больше труда и вниманія! Нѣтъ, если уже тутъ и истерика, то цѣлыми годами накопленная. Рядомъ съ этою болѣзненною (доведенною до болѣзненности) матерью семейства стоитъ предъ судомъ отецъ, г. Джунковскій. Что жъ, можетъ-быть, онъ и очень хороший человѣкъ, кажется, человѣкъ образованный, вовсе не циникъ, напротивъ, сознающій отцовскій долгъ свой, до огорченія сердца его сознающій. Вотъ онъ чуть не со слезами жалуется въ судѣ на малолѣтнихъ дѣтей, онъ простираетъ руки: „я сдѣлалъ для нихъ все, все, я нанималъ учителей, гувернантокъ, я тратилъ на нихъ болѣе чѣмъ позволяли мнѣ средства, но они изверги, они стали воровать, они сѣкли мертвую сестру по лицу!“ Однимъ словомъ, онъ считаетъ себя вполне правымъ. Дѣти стоятъ тутъ же, подлѣ; замѣчательно, что они дали „показанія сдержанныя, осторожныя“, т.-е. мало жаловались и чуть-чуть лишь защищались, и не думаю, чтобъ это отъ одного лишь страха родителей, къ которымъ все-таки придется воротиться. Напротивъ, казалось бы, тотъ фактъ, что ихъ отца уже судятъ за жестокое обращеніе съ ними, долженъ бы ихъ былъ ободрить. Просто имъ неловко было судиться съ отцомъ, стоять подлѣ него и свидѣтельствовать противъ него, тогда какъ онъ, не думая о будущемъ и о томъ, какія чувства останутся въ сердцахъ этихъ дѣтей отъ этого дня, не подозрѣвая даже о томъ, что они унесутъ въ свое будущее изъ этого дня, — онъ обвиняетъ ихъ и разоблачаетъ все ихъ дурное, всѣ

постыдные поступки ихъ, жалуется суду, публикѣ, обществу. Но онъ вѣрить, что онъ правъ, а г-жа Джунковская вѣрить даже и въ будущность, и вполне, вполне! Она объявляетъ суду, что *все* отъ дурныхъ учителей и гувернантокъ, что она разочаровалась въ нихъ, а что теперь, когда вотъ мужъ ея самъ примется за обученіе и воспитаніе дѣтей, то дѣти „совершенно исправятся“ (такъ! такъ!). Дай имъ Богъ, однако.

Кстати, замѣтимъ кое-что объ этихъ шалостяхъ маленькихъ Джунковскихъ.

То, что они сѣкли розгами по лицу мертвую сестру за то, что она когда-то на нихъ жаловалась, конечно, возмутительно и омерзительно. Но постараемся быть безпристрастнѣе, и, клянусь вамъ, увидимъ, что даже и это лишь дѣтская шалость, именно,—это дѣтская „фантастичность“. Тутъ что-нибудь отъ воображенія дѣтей, а не отъ развращеннаго сердца. Дѣтское воображеніе даже по природѣ своей, и особенно въ извѣстномъ возрастѣ, чрезвычайно воспріимчиво и склонно къ фантастическому. И особенно въ тѣхъ семействахъ, въ которыхъ хоть и тѣсно живутъ люди, такъ что каждый торчитъ у другого на виду, но дѣти все-таки отъединены въ особую кучу—заботами, вѣчнымъ недосугомъ отцовъ: „учиться, за книгу, не шалить!“ только и слышать они и сидятъ за своими книжонками, по опредѣленнымъ угламъ, не смѣя даже болтнуть ногой. Въ свиномъ своемъ хлѣвѣ, по ночамъ, засыпая, или сидя за скучными уроками, или запертые въ сортиръ, маленькіе Джунковскіе могли приучить себя къ страннымъ мечтаніямъ—и къ добрымъ и сердечнымъ, и къ озлобленнымъ, или просто, по-дѣтски, къ сказочнымъ, фантастическимъ: „вотъ, дескать, былъ бы я побольше, пошелъ бы на войну, а тамъ бы приѣхалъ сюда; учительшка спросилъ бы, гдѣ вы были? какъ смѣли уѣхать изъ класса? А я бы вынулъ изъ кармана Георгій и повѣсилъ въ петлицу, тутъ бы онъ испугался и бросился на колѣни!“ Когда умерла сестра, кто-нибудь изъ нихъ троицхъ, грѣясь подъ уголкомъ своего рваного одѣяла, могъ, засыпая, придумать: „а знаешь, Николая, Богъ-то ее нарочно наказалъ за то, что она злая была, жаловалась. Она теперь видитъ сверху, хотѣла бы пожаловаться, да нельзя уже. Давайте ее завтра розгами сѣчь, пусть она смотритъ сверху, видитъ и злится, что нельзя пожаловаться!“ Клянусь вамъ, что ребяташки, можетъ-быть, черезъ нѣсколько

дней раскаялись въ сердцахъ своихъ въ томъ, что они сдѣлали такую гнусную глупость. Дѣтскія сердца мягки. На этотъ счетъ я знаю вотъ какой маленькій случай: умерла одна мать у семерыхъ дѣтей. Одинъ ребенокъ, дѣвочка лѣтъ семи или восьми, увидя мертвую маму, стала ужасно рыдать. Она такъ плакала, что ее унесли въ дѣтскую почти въ истерикѣ, и не знали чѣмъ утѣшить. Дура-приживалка, случившаяся тутъ, вдругъ сказала ей, утѣшая: „не плачь, что ты ужъ такъ плачешь-то, вѣдь она тебя не любила, она тебя, помнишь, наказала, въ углу-то ты стояла, помнишь!“ Дурѣ думалось сдѣлать лучше: вотъ, дескать, перестанетъ и успокоится ребенокъ — и достигла вѣдь цѣли: дѣвочка вдругъ перестала плакать. Мало того, и на другой день, и на похоронахъ имѣла какой-то холодный, подобранный, обиженный видъ: „она, дескать, меня не любила“. Ей понравилась мысль, что она была обиженная, загнанная, не любимая. Ей-Богу, это случилось съ ребенкомъ по восьмому году. Но дѣтская „фантастичность“ не продержалась долго: черезъ нѣсколько дней ребенокъ такъ опять затосковалъ о матери, что сдѣлался боленъ, и никогда потомъ, во всю жизнь, эта дочь не могла вспомнить о своей матери безъ благоговѣйнаго чувства. За проступокъ маленькихъ Джунковскихъ съ мертвою сестрою, ихъ, безъ сомнѣнія, слѣдовало наказать, и строго, но поступокъ этотъ—дѣтскій, глупый, фантастическій, именно дѣтскій и вовсе не означаетъ развращенія сердець. Шалость же мальчица Николая въ гимназiи, объявившаго себя католикомъ, чтобы не учиться Закону Божію, есть въ высшей степени лишь дѣтская шалость: это классный вывертъ передъ товарищами: „вотъ, дескать, вы учитесь Закону, а я избавился, надулъ ихъ всѣхъ, благо фамилія моя похожа на польскую“. Тутъ рѣшительно одно только *школьничество* — глупое, скверное, за которое слѣдуетъ строжайше наказывать, но не слѣдуетъ отчаиваться за мальчику, не слѣдуетъ вѣрить, что онъ уже до того развращенъ, что сталъ мошенникомъ. Но Джунковскій-отецъ, кажется, вѣрить тому: не жаловался бы онъ такъ плачевно на судѣ, если бы не вѣрилъ.

У насъ въ судахъ случается, что когда подсудимые бываютъ оправданы (и особенно, когда они, очевидно, виновны, но отпущены лишь милосердіемъ суда), то предсѣдатель суда, объявляя подсудимому свободу, говоритъ

ему иногда при этомъ назиданіе на тему: какъ именно ему слѣдуетъ принять это оправданіе, что вынести изъ всего этого въ жизнь, какъ избѣжать въ дальнѣйшемъ повторенія бѣды. Предсѣдатель суда говоритъ въ такомъ случаѣ отъ лица какъ бы всего общества, государства; слова эти важныя, назиданіе верховное. Можетъ быть, подсудимымъ Джунковскимъ объявлено было ихъ оправданіе безъ всякаго особаго, въ такомъ родѣ, внушенія, — этого я не знаю, но я просто самъ воображаю себѣ: что могъ бы имъ сказать предсѣдатель суда отпуская ихъ. И вотъ что, мнѣ кажется, онъ бы могъ имъ сказать:

IV.

Фантастическая рѣчь предсѣдателя суда.

Подсудимые, вы оправданы, но вспомните, что кромѣ этого суда есть другой судъ, — судъ собственной вашей совѣсти. Сдѣлайте же такъ, чтобъ и этотъ судъ оправдалъ васъ, хотя бы впослѣдствіи. Вы объявили, что намѣрены теперь сами заняться воспитаніемъ и обученіемъ дѣтей вашихъ: если бъ вы раньше взялись за это, то не было бы, вѣроятно, и сегодняшняго суда вашего здѣсь съ дѣтьми вашими. Но боюсь: имѣете ли вы достаточно силъ въ себѣ для исполненія добраго намѣренія вашего? Не достаточно лишь рѣшиться на такое дѣло, надо спросить себя: достанетъ ли ревности и терпѣнія на исполненіе его? Не хочу и не смѣю сказать про васъ, что вы родители безсердечныя, ненавистники дѣтей вашихъ. Да и ненавидѣть дѣтей своихъ вещь, въ сущности, почти неестественная, а потому невозможная. Ненавидѣть же столь малыхъ еще дѣтей, — вещь безразсудная и даже смѣшная. Но лѣнь, но равнодушіе, но лѣнливая отвычка отъ исполненія такой первѣйшей естественной и высшей гражданской обязанности, какъ воспитаніе собственныхъ дѣтей, дѣйствительно могутъ породить даже нелюбовь къ нимъ, почти ненависть, почти чувство личной какой-то мести къ нимъ, особенно по мѣрѣ ихъ возрастанія, по мѣрѣ все возрастающихъ природныхъ требованій ихъ, по мѣрѣ вашего сознанія о томъ, что для нихъ много надо сдѣлать, много потрутиться, а, стало быть, много имъ пожертвовать изъ собственнаго вседовольнаго отъединенія и покоя. Къ тому же все возрастающія шалости оставленныхъ въ пренебреженіи дѣтей и укорененіе въ нихъ дурныхъ привычекъ, видимое извращеніе умовъ и сердецъ

ихъ могутъ вселить наконецъ прямое отвращеніе къ нимъ даже и въ родительскихъ сердцахъ. Въ горячихъ, слезныхъ жалобахъ вашихъ на пороки вашихъ дѣтей мы всё слышали здѣсь и увидѣли глубокую неподдѣльную горестъ вашу, горестъ несчастнаго и оскорбленнаго своими дѣтьми отца. Но подумайте, однако, немного и разсудите: изъ чего имъ было и сдѣлаться лучше? Выяснилось, на примѣръ, на судѣ, что за лѣность ихъ и за шалости вы ихъ запирали на нѣсколько иногда часовъ въ сортиръ. Конечно, карцеръ есть карцеръ, да и сортиръ вашъ *отпывался*, стало быть, не было тутъ жестокаго истязанія, но вѣдь такъ ли однако? Сидя тамъ, чувствуя унижительное и срамное положеніе свое, ребенокъ могъ ожесточаться, въ головѣ его могли проходить самыя фантастическія извращенныя и циническія мечты; онъ могъ окончательно потерять любовь, любовь къ родному гнѣзду и къ вамъ даже, родителямъ его, ибо ему могло казаться, что вы уже совершенно не дорожите ни чувствами его къ вамъ, ни человѣческимъ его достоинствомъ, а у ребенка, даже у самого малаго, есть тоже и уже сформированное человѣческое достоинство, замѣтте это себѣ. О томъ, что эти мысли, а главное—сильныя, хотя и дѣтскія впечатлѣнія эти онъ унесетъ потомъ въ жизнь и проносить ихъ въ сердцѣ своемъ, можетъ быть, до самой могилы, вы, кажется, совсѣмъ не подумали. Да и сдѣлали ли вы сами-то хоть что-нибудь предварительно, чтобъ избѣжать этой, обижающей ребенка необходимости сажать его въ такое мѣсто, и тѣмъ позорить его и издѣваться надъ нимъ? Вѣдь въ послѣдствіи, въ жизни, онъ этотъ вопросъ непременно подыметъ и поставитъ передъ собой. Вы утверждаете, что вы сдѣлали для дѣтей своихъ *все*, и какъ будто сами убѣждены въ этомъ, но я не вѣрю тому, что вы сдѣлали все, и когда вы съ такимъ огорченнымъ чувствомъ произносили это, я убѣжденъ былъ, что въ васъ самихъ было уже большое сомнѣніе насчетъ этого самого пункта. Вы увѣряете, что нанимали учителей и тратили свыше средствъ вашихъ. Безъ сомнѣнія, учитель необходимъ для дѣтей и, пригласивъ учителя, вы поступили, конечно, какъ ревностный отецъ; но нанять учителя для преподаванія дѣтямъ наукъ не значитъ, конечно, *сдать* ему дѣтей, такъ сказать, съ плечъ долой, чтобъ отвязаться отъ нихъ и чтобъ они больше ужъ васъ не беспокоили. А вы, кажется, именно это-то и сдѣлали, и думали, что, заплативъ

деньги, уже совершенно все сдѣлали, и даже болѣе чѣмъ все — „свыше средствъ“. Между тѣмъ, увѣряю васъ, что вы сдѣлали лишь наименьшее изъ того, что могли бы сдѣлать для нихъ; вы лишь откупились отъ долга и отъ обязанности родительской деньгами, а думали, что уже все совершили. Вы забыли, что ихъ маленькія, дѣтскія души требуютъ непрерывнаго и неустаннаго соприкосновенія съ вашими родительскими душами, требуютъ, чтобы вы были для нихъ, такъ сказать, всегда духовно на горѣ, какъ предметъ любви, великаго нелицемѣрнаго уваженія и прекраснаго подражанія. Наука наукой, а отецъ передъ дѣтьми всегда долженъ быть какъ бы добрымъ, нагляднымъ примѣромъ всего того нравственнаго вывода, который умы и сердца ихъ могутъ почерпнуть изъ науки. Сердечная, всегда наглядная для нихъ забота ваша о нихъ, любовь ваша къ нимъ согрѣли бы какъ теплымъ лучомъ все посѣянное въ ихъ душахъ и плодъ вышелъ бы, конечно, обильный и добрый. Но, кажется, ничего не посѣявъ сами, и сдавъ ихъ чуждому семейству вашей сѣятелю, — вы потребовали уже жатвы и, непривычные къ этому дѣлу, потребовали этой жатвы слишкомъ рано; не получивъ же ее, озлобились и ожесточились... на малютокъ, на собственныхъ дѣтей вашихъ, и тоже рано, слишкомъ рано!

Все оттого, что воспитаніе дѣтей есть трудъ и долгъ, — для иныхъ родителей сладкій, несмотря на гнетущія даже заботы, на слабость средствъ, на бѣдность даже, для другихъ же, и даже для очень многихъ достаточныхъ родителей, — это самый гнетущій трудъ и самый тяжелый долгъ. Вотъ потому и стремятся они откупиться отъ него деньгами, если есть деньги. Если же и деньги не помогаютъ, или, какъ у многихъ, ихъ и вовсе нѣтъ, то прибѣгаютъ обыкновенно къ строгости, къ жестокости, къ истязанію, къ розгѣ. Я вамъ скажу, что такое розга. Розга въ семействѣ есть продуктъ лѣни родительской, неизбѣжный результатъ этой лѣни. Все, что можно бы сдѣлать трудомъ и любовью, неустанной работой надъ дѣтьми и съ дѣтьми, все, чего можно бы было достигнуть разсудкомъ, разъясненіемъ, внушеніемъ, терпѣніемъ, воспитаніемъ и примѣромъ, — всего того слабые, лѣнивые, но нетерпѣливые отцы полагаютъ всего чаще достигнуть розгой: „не разъясню, а прикажу, не внушу, а заставлю“. Каковъ же результатъ выходить? Ребенокъ хитрый, скрыт-

ный, непременно покорится и обманетъ васъ и розга ваша не исправитъ, а только развратитъ его. Ребенка слабого, трусливаго и сердцемъ нѣжнаго — вы забьете. Наконецъ, ребенка добраго, простодушнаго, съ сердцемъ прямымъ и открытымъ — вы сначала измучаете, а потомъ ожесточите и потеряете его сердце. Трудно, часто очень трудно дѣтскому сердцу отрываться отъ тѣхъ, кого оно любитъ; но если оно уже оторвется, то въ немъ зарождается страшный, неестественно-ранній цинизмъ, ожесточеніе и извращается чувство справедливости. Все это, конечно, въ томъ только случаѣ, если жестокость происходитъ отъ эгоизма родителей, и если хозяинъ нивы, не посѣявъ самъ, потребуеетъ съ нея доброй жатвы. Въ такихъ случаяхъ, жестокость и несправедливость идутъ со стороны отцовъ усиливаясь, безъ удержу, и это всего чаще. „Не дѣлай свое хорошее, а дѣлай мое дурное!“ — вотъ, наконецъ, что становится девизомъ, и ребенка наказываютъ даже за доброе дѣло, за картофель, который онъ принесъ сестрѣ изъ кухни: какъ же не ожесточиться сердцу и какъ не извратиться понятіямъ? Не будучи жестокими и даже любя ихъ, вы наказывали ихъ вашимъ пренебреженіемъ къ нимъ, униженіемъ ихъ: они спали въ нечистой комнатѣ, на какой-то подстилкѣ, ѣли пищу не съ вашего стола, а со слугами. И, конечно, вы думали, что они, наконецъ, почувствуютъ вину свою и исправятся. Въ противномъ случаѣ, надо бы было предположить, что вы дѣлали такъ отъ ненависти къ нимъ, отъ мести къ нимъ, чтобы имъ сдѣлать зло? Но судъ не захотѣлъ такъ заключить и приписалъ поступки ваши ошибочному расчету воспитателя. Но вотъ теперь вы сами собираетесь воспитывать и учить ихъ: трудное это дѣло, несмотря на то, что супругъ вашей кажется оно легкимъ.

Дѣтей вашихъ нѣтъ въ залѣ, я приказалъ ихъ вывести, а потому я могу коснуться до самаго главнаго въ этомъ предстоящемъ вамъ трудномъ дѣлѣ. Самое главное въ немъ то, что предстоитъ многое простить съ обѣихъ сторонъ. Они должны простить вамъ горькія, тяжелыя впечатлѣнія ихъ дѣтскихъ сердецъ, ожесточеніе свое, пороки свои. Вы же должны простить имъ вашъ эгоизмъ, ваше пренебреженіе къ нимъ, извращеніе чувствъ вашихъ къ нимъ, жестокость вашу и то, наконецъ, что вы сидѣли здѣсь и судились за нихъ. Говорю такъ потому, что не себя обвините вы во всемъ этомъ, выйдя изъ залы суда, а непре-

мѣнно ихъ, я увѣренъ въ этомъ! И такъ, начиная ваше трудное дѣло воспитанія дѣтей вашихъ, спросите сами себя: можете ли вы обвинить за всѣ эти проступки и преступленія ваши, не ихъ, а именно себя? Если можете, о, тогда вы успѣете въ трудѣ вашемъ? Значить, Богъ очистилъ взглядъ вашъ и просвѣтилъ вашу совѣсть. Если же не можете, то лучше и не принимайтесь за ваше намѣреніе.

Второе, что предстоитъ вамъ тяжелаго въ вашемъ трудѣ, это побороть, истребить въ ихъ сердцахъ и измѣнить въ нихъ слишкомъ многія и прежнія впечатлѣнія и воспоминанія. Но тутъ надо столь много заставить забыть и столь многое вновь создать, что недоумѣваю: какимъ путемъ этого достигнете? О, если научитесь любить ихъ, то, конечно, всего достигнете. Но вѣдь даже и любовь есть трудъ, даже и любви надобно учиться, вѣрите ли вы тому? Вѣрите ли вы, наконецъ, убѣждены ли вы, что васъ не остановятъ и не побѣдятъ, въ прекрасномъ предпріятіи вашемъ, инныя самыя мелкія, самыя первоначальныя, самыя пошлыя обыденныя заботы, о которыхъ вы, можете быть, теперь и не думаете, но которыя, однако, могутъ составить наиважнѣйшее препятствіе добрымъ начинаніямъ вашимъ. Всякій ревностный и разумный отецъ знаетъ, напримѣръ, сколь важно воздерживаться передъ дѣтьми своими въ обыденной семейной жизни отъ извѣстной, такъ сказать, халатности семейныхъ отношеній, отъ извѣстной распущенности ихъ и разнузданности, воздерживать себя отъ дурныхъ и безобразныхъ привычекъ, а главное—отъ невниманія и пренебреженія къ дѣтскому ихъ мнѣнію о васъ самихъ, къ неприятному, безобразному и комическому впечатлѣнію, которое можетъ зародиться въ нихъ столь часто при созерцаніи нашей безшабашности въ семейномъ быту. Вѣрите ли вы, что ревностный отецъ даже долженъ иногда совсѣмъ перевоспитать себя для дѣтей своихъ. О, если родители добры, если любовь ихъ къ дѣтямъ ревностна и горяча, то дѣти многое простятъ имъ и многое забудутъ потомъ не только изъ комическаго и безобразнаго, но даже не осудятъ ихъ безапелляціонно за инныя совсѣмъ уже дурныя дѣла ихъ; напротивъ, сердца ихъ непременно найдутъ смягчающія обстоятельства. Но совсѣмъ другое можетъ случиться въ семействахъ несогласныхъ и ожесточенныхъ. Ваша супруга, какъ оказалось на судѣ, имѣетъ болѣзненную привычку

заставлять чесать себѣ передъ сномъ ноги. Служанка за-свидѣтельствовала, что эта обязанность была для нея даже мучительна, что „затекали руки“. Представьте же себѣ этого мальчика, вашего сына, котораго вмѣсто служанки заставляютъ чесать? О, если бѣ мать любила его искренно и сердечно, и онъ бы увѣренъ былъ въ томъ, то онъ бы и теперь, да и всегда потомъ, вспоминалъ объ этой немощи дорогого ему человѣка съ добродушною улыбкою, хотя, можетъ быть, злился бы и досадовалъ въ тѣ минуты, когда его заставляли чесать. Но воображаю, какъ онъ смотрѣлъ и что онъ чувствовалъ, что заходило ему въ голову, когда онъ сидѣлъ, по часу и болѣе, надъ смѣшнымъ занятіемъ, передъ существомъ, не любившимъ его, которое вотъ-вотъ вскочитъ и начнетъ сѣчь его ни за что, ни про что. Тогда требованіе отъ него этой услуги несомнѣнно должно было казаться ему унижающимъ его, пренебрежительнымъ къ нему и презрительнымъ. Не могъ не сознавать онъ, или, лучше сказать, не почувствовать, что матери своей онъ не нуженъ какъ сынъ, что какъ сына она его презираетъ, забываетъ, посылаетъ спать на какую-то подстилку, а если вспоминаетъ о немъ, то для того лишь, чтобъ бить его, но что онъ нуженъ, стало быть, ей, не какъ сынъ, а всего только какъ какая-то чесалка! И вы же жалуетесь послѣ того, что они развратились, что они безсердечные изверги, „что научились воровать!“ Напрягите немного ваше воображеніе, вообразите сына вашего въ будущемъ уже тридцати, положимъ, лѣтъ и подумайте, съ какимъ отвращеніемъ, съ какимъ озлобленнымъ чувствомъ и презрѣніемъ припомнитъ онъ этотъ эпизодъ своего дѣтства... Что онъ будетъ помнить о немъ до могилы, въ томъ нѣтъ сомнѣнія. Онъ не проститъ, онъ возненавидитъ свои воспоминанія, свое дѣтство, проклянетъ свое бывшее родное гнѣздо и тѣхъ, кто былъ съ нимъ въ этомъ гнѣздѣ! Эти воспоминанія предстоитъ вамъ теперь непременно искоренить, непременно пересоздать, надо заглушить ихъ иными новыми сильными и святыми впечатлѣніями,—какой огромный трудъ! Страшно подумать! Нѣтъ: дѣло, предпринимаемое вами, гораздо, гораздо труднѣе, чѣмъ кажется вашей супругѣ!

Не сердитесь, не обижайтесь словами моими. Говоря вамъ, я исполняю непремѣнную обязанность. Я говорю отъ лица общества, государства, отечества. Вы отцы, они ваши дѣти, вы современная Россія, они будущая: что же

будетъ съ Россіей, если русскіе отцы будутъ уклоняться отъ своего гражданскаго долга и станутъ искать уединенія, или, лучше сказать, отъединенія, лѣниваго и циническаго, отъ общества, народа своего и самыхъ первѣйшихъ къ нимъ обязанностей. Всего ужаснѣе то, что это такъ распространено: вы не одни такіе, хотя другіе впадаютъ въ тѣ же ошибки, какъ вы, можетъ быть, и подъ другими формулами. Но внушительнѣе всего то, что вы, не только еще не худшіе, но даже многихъ лучше изъ современныхъ отцовъ, ибо все же въ сердцахъ вашихъ не умерло сознаніе вашего долга, хотя вы и не исполняли его. Абсолютнаго отрицанія долга въ васъ нѣтъ. Вы не холодные эгоисты, а, напротивъ, раздраженные—на себя ли, на дѣтей ли вашихъ, не стану опредѣлять того,—но вы оказались способными принять къ сердцу вашъ неуспѣхъ и глубоко огорчиться имъ! И такъ, да поможетъ вамъ Богъ въ рѣшеніи вашемъ исправить вашъ неуспѣхъ. Ищите же любви и копите любовь въ сердцахъ вашихъ. Любовь столь всесильна, что перерождаетъ и насъ самихъ. Любовью лишь купимъ сердца дѣтей нашихъ, а не однимъ лишь естественнымъ правомъ надъ ними. Да и самая природа изъ всѣхъ обязанностей нашихъ наиболѣе помогаетъ намъ въ обязанностяхъ передъ дѣтьми, сдѣлавъ такъ, что дѣтей нельзя не любить. Да и какъ не любить ихъ? Если уже перестанемъ дѣтей любить, то кого же послѣ того мы сможемъ полюбить, и что станетъ тогда съ нами самими? Вспомните тоже, что лишь для дѣтей и для ихъ золотыхъ головокъ Спаситель нашъ обѣщаль намъ „сократить времена и сроки“. Ради нихъ сократится мученіе перерожденія человѣческаго общества въ совершеннѣйшее. Да совершится же это совершенство и да закончатся, наконецъ, страданія и недоумѣнія цивилизаціи нашей!

А теперь ступайте, вы оправданы...

ГЛАВА ВТОРАЯ.

I.

Опять обособленіе. Восьмая часть Анны Карениной.

У насъ очень многіе теперь изъ интеллигентныхъ русскихъ повадились говорить: „какой народъ? я самъ народъ“. Въ восьмой части Анны Карениной, Левинъ, излюбленный герой автора романа, говоритъ про себя, что

онъ *самъ народъ*. Этого Левина я какъ-то прежде, говоря объ Аннѣ Карениной, назвалъ „чистый сердцемъ Левинъ“. Продолжая вѣрить въ чистоту его сердца попрежнему, я не вѣрю, что онъ — народъ; напротивъ, вижу теперь, что и онъ съ любовью норовитъ въ обособленіе. Убѣдился я въ этомъ, прочитавъ вотъ ту самую восьмую часть Анны Карениной, о которой я заговорилъ въ началѣ этого іюль-августовскаго дневника моего. Левинъ, какъ фактъ, есть, конечно, не дѣйствительно существующее лицо, а лишь вымыселъ романиста. Тѣмъ не менѣе, этотъ романистъ — огромный талантъ, значительный умъ и весьма уважаемый интеллигентною Россіею человекъ, — этотъ романистъ изображаетъ въ этомъ идеальномъ, т. е. придуманномъ лицѣ, частью и собственный взглядъ свой на современную нашу русскую дѣйствительность, что ясно каждому, прочитавшему его замѣчательное произведеніе. Такимъ образомъ, судя объ несуществующемъ Левинѣ, мы будемъ судить и о дѣйствительномъ уже взглядѣ одного изъ самыхъ значительныхъ современныхъ русскихъ людей на текущую русскую дѣятельность. А это уже предметъ для сужденія серьезный даже и въ наше столь гремучее время, столь полное огромныхъ, потрясающихъ и быстро смѣняющихся дѣйствительныхъ фактовъ. Взглядъ этотъ столь значительнаго русскаго писателя, и именно на столь интересное для всѣхъ русскихъ дѣло, какъ всеобщее національное движеніе всѣхъ русскихъ людей за послѣдніе два года по „восточному вопросу“, выразился точно и окончательно именно въ этой восьмой и послѣдней части его произведенія, отвергнутой редакціей *Русскаго Вѣстника* по несходству убѣжденій автора съ ея собственными и появившейся весьма недавно отдѣльной книжкой. Сущность этого взгляда, насколько я его понялъ, заключается главное въ томъ, что, во-первыхъ, все это такъ-называемое національное движеніе нашимъ народомъ отнюдь не раздѣляется, и народъ вовсе даже не понимаетъ его; во-вторыхъ, что все это нарочно поддѣлано, сперва извѣстными лицами, а потомъ поддержано журналистами изъ выгодъ, чтобъ заставить болѣе читать ихъ изданія; въ-третьихъ, что всѣ добровольцы были или потерянные и пьяные люди или просто глупцы; въ-четвертыхъ, что весь этотъ такъ-называемый подъемъ русскаго національнаго духа за славянъ, былъ не только поддѣланъ извѣстными лицами и поддержанъ продажными журналистами, но и

поддѣланъ вопреки, такъ сказать, самыхъ основъ... И, наконецъ, въ-пятыхъ, что всѣ варварства и неслыханныя истязанія, совершенныя надъ славянами, не могутъ возбуждать въ насъ, русскихъ, непосредственнаго чувства жалости и что „такого непосредственнаго чувства къ угнетенію славянъ *нѣтъ и не можетъ быть*“. Послѣднее выражено окончательно и категорически.

Такимъ образомъ, „чистый сердцемъ Левинъ“ ударился въ обособленіе и разошелся съ огромнымъ большинствомъ русскихъ людей. Взглядъ его, впрочемъ, вовсе не новъ и не оригиналенъ. Онъ слишкомъ бы пригодился и пришелся по вкусу многимъ, почти такъ же думавшимъ людямъ прошлою зимою у насъ въ Петербургѣ и людямъ далеко не послѣднимъ по общественному положенію, а потому и жалъ, что книжка нѣсколько запоздала. Отчего произошло столь мрачное обособленіе Левина и столь угрюмое отъединеніе въ сторону — не могу опредѣлить. Правда, это человѣкъ горячій, „безпокойный“, всеанализирующій, и, если строго судить, ни въ чемъ себѣ не вѣрующій. Но все-таки человѣкъ этотъ „сердцемъ чистый“ и я стою на томъ, хотя трудно и представить себѣ какими таинственными, а подчасъ и смѣшными путями можетъ проникнуть иной разъ самое неестественное, самое выдѣланное, и самое безобразное чувство въ иное въ высшей степени искреннее и чистое сердце. Впрочемъ, замѣчу еще, что хотя и утверждаютъ многіе, и даже и самъ ясно вижу (какъ и сообщилъ выше), что въ лицѣ Левина авторъ во многомъ выражаетъ свои собственные убѣжденія и взгляды, влагая ихъ въ уста Левина чуть не насильно и даже явно жертвуя иногда притомъ художественностью, но лицо самого Левина, такъ, какъ изобразилъ его авторъ, я все же съ лицомъ самого автора отнюдь не смѣшиваю. Говорю это, находясь въ нѣкоторомъ горькомъ недоумѣніи, потому что хотя очень многое изъ выраженаго авторомъ, въ лицѣ Левина, очевидно, касается собственно одного Левина, какъ художественно изображеннаго типа, но все же не того ожидалъ я отъ такого автора!

II.

Признанія славянофила.

Да, не того. Здѣсь я принужденъ выразить нѣкоторыя чувства мои, хотя и положилъ было, начиная прошлаго

года издавать мой „Дневник“, что литературной критики у меня не будет. Но чувства не критика, хотя бы и высказалъ я ихъ по поводу литературнаго произведенія. Въ самомъ дѣлѣ, я пишу мой „Дневник“, т.-е. записываю мои впечатлѣнія по поводу всего, что наиболѣе поражаетъ меня въ текущихъ событіяхъ,—и вотъ я, почему-то, намѣренно предписываю самъ себѣ придуманную обязанность непремѣнно скрывать и, можетъ-быть, самыя сильнѣйшія изъ переживаемыхъ мною впечатлѣній, лишь потому только, что они касаются русской литературы. Конечно, въ основѣ этого рѣшенія была и вѣрная мысль, но буквенное исполненіе этого рѣшенія не вѣрно, я вижу это, уже потому только, что тутъ буква. Да и литературное-то произведеніе, о которомъ я умолчалъ до сихъ поръ, для меня уже не просто литературное произведеніе, а цѣлый *фактъ* уже иного значенія. Я, можетъ-быть, выражусь слишкомъ наивно, но однакоже рѣшаюсь сказать вотъ что: этотъ *фактъ* впечатлѣнія отъ романа, отъ выдумки, отъ поэмы совпалъ въ душѣ моей, нынѣшней весной, съ огромнымъ фактомъ объявленія теперь идущей войны, и оба факта, оба впечатлѣнія, нашли въ умѣ моемъ дѣйствительную связь между собою и поразительную для меня точку обоюднаго соприкосновенія. Вмѣсто того, чтобъ смѣяться надо мною, послушайте меня лучше.

Я во многомъ убѣжденъ чисто славянофильскихъ, хотя, можетъ-быть, и не вполне славянофилъ. Славянофилы до сихъ поръ понимаются различно. Для иныхъ, даже и теперь, славянофильство, какъ въ старину, напримѣръ, для Бѣлинскаго, означаетъ лишь квасъ и рѣдку. Бѣлинскій *дѣйствительно* дальше не заходилъ въ пониманіи славянофильства. Для другихъ (и, замѣтимъ, для весьма многихъ, чуть не для большинства даже самихъ славянофиловъ) славянофильство означаетъ стремленіе къ освобожденію и объединенію всѣхъ славянъ подъ верховнымъ началомъ Россіи — началомъ, которое можетъ быть даже и не строго-политическимъ. И, наконецъ, для третьихъ, славянофильство, кромѣ этого объединенія славянъ подъ началомъ Россіи, означаетъ и заключаетъ въ себѣ духовный союзъ всѣхъ вѣрующихъ въ то, что великая наша Россія, во главѣ объединенныхъ славянъ, скажетъ всему міру, всему европейскому человѣчеству и цивилизаціи его свое новое здоровое и еще неслыханное міромъ слово. Слово это будетъ сказано во благо и воистину уже въ

соединеніе всего человѣчества новымъ, братскимъ, всемирнымъ союзомъ, начала котораго лежатъ въ гени славянъ, а преимущественно въ духѣ великаго народа русскаго, столь долго страдавшаго, столь много вѣковъ обреченнаго на молчаніе, но всегда заключавшаго въ себѣ великія силы для будущаго разъясненія и разрѣшенія многихъ горькихъ и самыхъ роковыхъ недоразумѣній западно-европейской цивилизаціи. Вотъ къ этому-то отдѣлу убѣжденныхъ и вѣрующихъ принадлежу и я.

Тутъ трунить и смѣяться опять-таки нечего: слова эти старыя, вѣра эта давнишняя, и уже одно то, что не умираетъ эта вѣра и не умолкаютъ эти слова, а, напротивъ, все больше и больше крѣпнютъ, расширяютъ кругъ свой и приобрѣтаютъ себѣ новыхъ адептовъ, новыхъ убѣжденныхъ дѣятелей—ужь одно это могло бы заставить, наконецъ, противниковъ и пересмѣшниковъ этого *ученія* взглянуть на него хоть немного серьезнѣе, и выйти изъ пустой, закаменѣвшей въ себѣ, враждебности къ нему. Но объ этомъ пока довольно. Дѣло въ томъ, что весной поднялась наша великая война для великаго подвига, который, рано ли, поздно ли, несмотря на всѣ временныя неудачи, отдаляющія разрѣшеніе дѣла, а будетъ-таки доведенъ до конца, хотя бы даже и не удалось его довести до полного и вождельннаго конца именно въ теперешнюю войну. Подвигъ этотъ столь великъ, цѣль войны столь невѣроятна для Европы, что Европа, конечно, должна быть возмущена противъ нашего *коварства*, должна не вѣрить тому, о чемъ объявили мы ей начиная войну, и всячески, всѣми силами должна вредить намъ, и соединившись съ врагомъ нашимъ, хотя и не явнымъ, не формальнымъ политическимъ союзомъ,—враждовать съ нами и воевать съ нами, хотя бы тайно, въ ожиданіи явной войны. И все, конечно, отъ объявленныхъ намѣреній и цѣлей нашихъ! „Великій восточный орелъ взлетѣлъ надъ міромъ, сверкая двумя крылами на вершинахъ христіанства“; не покорять, не приобрѣтать, не расширять границы онъ хочетъ, а освободить, возстановить угнетенныхъ и забитыхъ, дать имъ новую жизнь для блага ихъ и человѣчества. Вѣдь какъ ни считай, какимъ скептическимъ взглядомъ ни смотри на это дѣло, а въ сущности цѣль вѣдь эта, эта самая, и вотъ этому-то и не хочетъ повѣрить Европа! И повѣрьте, что не столько пугаетъ ее предполагаемое усиленіе Россіи, какъ именно то, что

Россія способна предпринимать такія задачи и цѣли. За-мѣтьте это особенно. Предпринимать что-нибудь не для прямой своей выгоды кажется Европѣ столь непривычнымъ, столь вышедшимъ изъ международныхъ обычаевъ, что поступокъ Россіи естественно принимается Европой не только какъ за варварство „отставшей, звѣрской и не просвѣщенной“ націи, способной *на низость и глупость* затѣять въ нашъ вѣкъ что-то въ родѣ прежде бывшихъ въ темные вѣка крестовыхъ походовъ, но даже и за безнравственный фактъ, опасный Европѣ и угрожающій будто бы ея великой цивилизаціи. Взгляните, кто насъ любитъ въ Европѣ теперь особенно? Даже *друзья* наши, отъявленные, форменные, такъ сказать, друзья, и тѣ откровенно объявляютъ, что *рады нашимъ неудачамъ*. Пораженіе русскихъ милѣе имъ собственныхъ ихнихъ побѣдъ, веселитъ ихъ, льститъ имъ. Въ случаѣ же удачъ нашихъ эти друзья давно уже согласились между собою употребить всѣ силы, чтобъ изъ удачъ Россіи извлечь себѣ выгодъ еще больше. чѣмъ извлечетъ ихъ для себя сама Россія...

Но и объ этомъ послѣ. Заговорилъ я, главное, о впечатлѣніи, которое должны были ощутить въ себѣ всѣ вѣрующіе въ будущее великое, общечеловѣческое значеніе Россіи, нынѣшнею весною, послѣ объявленія этой войны. Эта неслыханная война, за слабыхъ и угнетенныхъ, для того чтобъ дать жизнь и свободу, а не отнять ихъ,—эта давно уже теперь неслыханная въ мірѣ цѣль войны, для всѣхъ нашихъ вѣрующихъ явилась вдругъ, какъ фактъ, торжественно и знаменательно подтверждавшій вѣру ихъ. Это была уже не мечта, не гаданіе, а дѣйствительность, *начавшая совершаться*. „Если уже начало совершаться, то дойдетъ и до конца, до того великаго новаго слова, которое Россія, во главѣ союза славянъ, скажетъ Европѣ. И даже самое слово это уже начало сказываться, хотя Европа еще далеко не понимаетъ его и долго будетъ не вѣрить ему“. Вотъ какъ думали „вѣрующіе“. Да, впечатлѣніе было торжественное и знаменательное и, разумѣется, вѣра вѣрующихъ должна была еще больше закалиться и окрѣпнуть. Но однакоже начиналось дѣло столь важное, что и для нихъ настали тревожные вопросы: „Россія и Европа! Россія обнажаетъ мечъ противъ турокъ, но кто знаетъ, можетъ-быть, столкнется и съ Европой—не рано ли это? Столкновеніе съ Европой—не

то что съ турками и должно совершиться не однимъ мечомъ, такъ всегда понимали вѣрующіе. Но готовы ли мы къ другому-то столкновенію? Правда, слово уже начало сказываться, но не то что Европа, а и у насъ-то понимаютъ ли всѣ его? Вотъ мы, вѣрующіе, пророчествуемъ, напимѣръ, что лишь Россія заключаетъ въ себѣ начала разрѣшить всеевропейскій роковой вопросъ низшей братии, безъ боя и безъ крови, безъ ненависти и зла, но что скажетъ она это слово, когда уже Европа будетъ залита своею кровью, такъ какъ раньше никто не услышалъ бы въ Европѣ наше слово, а и услышалъ бы, то не понялъ бы его вовсе. Да, мы вѣрующіе въ это вѣримъ, но однако что пока отвѣчаютъ намъ у насъ же, наши же русскіе? Намъ отвѣчаютъ они, что все это лишь изступленные гаданія, конвульсьонерство, бѣшенныя мечты, припадки, и спрашиваютъ отъ насъ доказательствъ, твердыхъ указаній и совершившихся уже фактовъ. Что же укажемъ мы имъ, пока, для подтвержденія нашихъ *пророчествъ*? Освобожденіе ли крестьянъ,—фактъ, который еще столь мало понятъ у насъ въ смыслѣ степени проявленія русской духовной силы? Прирожденность ли и естественность братства нашего, все яснѣе и яснѣе выходящаго въ наше время наружу изъ-подъ всего, что давило его вѣками и несмотря на соръ и грязь, которая встрѣчаетъ его теперь, грязнить и искажаетъ черты его до неузнаваемости? Но пусть мы укажемъ это; намъ опять отвѣтять, что всѣ эти факты опять-таки наше конвульсьонерство, бѣшенная мечта, а не факты; и что толкуются они многообразно и сбивчиво и доказательствомъ ничему, покажѣсть, служить не въ силахъ. Вотъ что отвѣтять намъ чуть не всѣ, а между тѣмъ мы, столь непонимающіе самихъ себя и столь мало вѣрующіе въ себя, мы—сталкиваемся съ Европой! Европа—но вѣдь это страшная и святая вещь, Европа! О, знаете ли вы, господа, какъ дорога намъ, мечтателямъ-славянофиламъ, по вашему ненавистникамъ Европы—эта самая Европа, эта „страна святыхъ чудесъ!“ Знаете ли вы, какъ дороги намъ эти „чудеса“ и какъ любимъ и чтимъ, болѣе чѣмъ братски любимъ и чтимъ мы великія племена, населяющія ее и все великое и прекрасное совершенное ими. Знаете ли, до какихъ слезъ и сжатій сердца мучаютъ и волнуютъ насъ судьбы этой дорогой и *родной* намъ страны, какъ пугаютъ насъ эти мрачныя тучи, все болѣе и болѣе заволакивающія ея небосклонъ?

Никогда вы, господа, наши европейцы и западники, столь не любили Европу, сколько мы, мечтатели-славянофилы, по-вашему, исконные враги ея! Нѣтъ, намъ дорога эта страна—будущая мирная побѣда великаго христіанскаго духа, сохранившася на Востокаѣ... И въ опасеніи столкнуться съ нею въ текущей войнѣ, мы всего болѣе боимся, что Европа не пойметъ насъ, и попрежнему, по-всегдашнему встрѣтитъ насъ высокомеріемъ, презрѣніемъ и мечомъ своимъ, все еще какъ дикихъ варваровъ, недостойныхъ говорить передъ нею. Да, спрашивали мы сами себя, что же мы скажемъ или покажемъ ей, чтобъ она насъ поняла? У насъ, повидимому, еще такъ мало чего-нибудь, что могло бы быть ей *понятно* и за что бы она насъ уважала? Основной, главной идеи нашей, нашего зачинающася „новаго слова“ она долго, слишкомъ долго еще не пойметъ. Ей надо фактовъ *теперь* понятныхъ, понятныхъ на ея *теперешній* взглядъ. Она спроситъ насъ: „гдѣ ваша цивилизація? Усматривается ли строй экономическихъ силъ вашихъ въ томъ хаосѣ, который видимъ мы всѣ у васъ. Гдѣ *ваша* наука, *ваше* искусство, *ваша* литература?“

III.

Анна Каренина, какъ фактъ особаго значенія.

И вотъ тогда же, т.-е. нынѣшней же весною, разъ вечеромъ, мнѣ случилось встрѣтиться на улицѣ съ однимъ изъ любимѣйшихъ мною нашихъ писателей. Встрѣчаемся мы съ нимъ очень рѣдко, въ нѣсколько мѣсяцевъ разъ, и всегда случайно, все какъ-нибудь на улицѣ. Это одинъ изъ виднѣйшихъ членовъ тѣхъ пяти или шести нашихъ беллетристовъ, которыхъ принято, всѣхъ вмѣстѣ, называть, почему-то, „плеядою“. По крайней мѣрѣ, критика, вслѣдъ за публикой, отдѣлила ихъ особо, передъ всѣми остальными беллетристами, и такъ это пребываетъ уже довольно давно,—все тотъ же пятокъ, „плеяда“, не расширяется. Я люблю встрѣчаться съ этимъ милымъ и любимымъ моимъ романистомъ, и люблю ему доказывать, между прочимъ, что не вѣрю и не хочу ни за что повѣрить, что онъ устарѣлъ, какъ онъ говоритъ, и болѣе уже ничего не напишетъ. Изъ краткаго разговора съ нимъ я всегда уношу какое-нибудь тонкое и дальновидное его слово. Въ этотъ разъ было о чемъ говорить, война уже начиналась. Но онъ тотчасъ же и прямо заговорилъ объ Аннѣ Карени-

ной. Я тоже только что успѣлъ прочитать седьмую часть, которою закончился романъ въ *Русскомъ Вѣстникѣ*. Собесѣдникъ мой на видѣ человѣкъ не восторженный. На этотъ разъ, однако, онъ поразилъ меня твердостью и горячею настойчивостью своего мнѣнія объ Аннѣ Карениной.

— Это вещь неслыханная, это вещь первая. Кто у насъ, изъ писателей, можетъ поравняться съ этимъ? А въ Европѣ—кто представить хоть что-нибудь подобное? Было ли у нихъ, во всѣхъ ихъ литературахъ, за всѣ послѣдніе годы, и далеко раньше того, произведеніе, которое бы могло стать рядомъ?

Меня поразило главное то въ этомъ приговорѣ, который я и самъ вполне раздѣлялъ, что это указаніе на Европу какъ разъ пришлось къ тѣмъ вопросамъ и недоумѣніямъ, которые столь многимъ представлялись тогда сами собой. Книга эта прямо приняла въ глазахъ моихъ размѣръ факта, который бы могъ отвѣчать за насъ Европѣ, того искомаго факта, на который мы могли бы указать Европѣ. Разумѣется, возопятъ смѣясь, что это—всего лишь только литература, какой-то романъ, что смѣшно такъ преувеличивать и съ романомъ являться въ Европу. Я знаю, что возопятъ и засмѣются, но не безпокойтесь, я не преувеличиваю и трезво смотрю: я самъ знаю, что это пока всего лишь только романъ, что это одна только капля того, чего нужно, но главное тутъ дѣло для меня въ томъ, что эта капля уже есть, дана, дѣйствительно существуетъ, взаправду, а, стало-быть, если она уже есть, если геній русскій могъ родить этотъ *фактъ*, то, стало-быть, онъ не обреченъ на безсиліе, можетъ творить, можетъ давать *свое*, можетъ начать *свое* собственное слово и договорить его, когда придутъ времена и сроки. Притомъ это далеко не капля только. О, я и тутъ не преувеличиваю: я очень знаю, что не только въ одномъ какомъ-нибудь членѣ этой плеяды, но и во всей-то плеядѣ не найдете того, строго говоря, что называется геніальною, творящею силою. Безспорныхъ геніевъ, съ безспорнымъ „новымъ словомъ“ во всей литературѣ нашей было всего только три: Ломоносовъ, Пушкинъ и частью Гоголь. Вся же плеяда эта (и авторъ Анны Карениной въ томъ числѣ) вышла прямо изъ Пушкина, одного изъ величайшихъ русскихъ людей, но далеко еще не понятаго и не растолкованнаго. Въ Пушкинѣ двѣ главныя мысли—и объ

заклучаютъ въ себѣ прообразъ всего будущаго назначенія и всей будущей цѣли Россіи, а, стало-быть, и всей будущей судьбы нашей. Первая мысль—*всемірность* Россіи, ея отзывчивость и дѣйствительное, безспорное и глубочайшее родство ея генія съ геніями всѣхъ временъ и народовъ міра. Мысль эта выражена Пушкинымъ не какъ одно только указаніе, ученіе, или теорія, не какъ мечтаніе или пророчество, но исполнена *имъ на дѣлѣ*, заключена вѣковѣчно въ геніальныхъ созданіяхъ его и доказана ими. Онъ человѣкъ древняго міра, онъ и германецъ, онъ и англичанинъ глубоко сознающій геній свой, тоску своего стремленія (Пиръ во время чумы), онъ и поэтъ Востока. Всѣмъ этимъ народамъ онъ сказалъ и заявилъ, что русскій геній знаетъ ихъ, понялъ ихъ, соприкоснулся имъ какъ родной, что онъ можетъ *перевоплощаться* въ нихъ во всей полнотѣ, что лишь одному только русскому духу дана *всемірность*, дано назначеніе въ будущемъ постигнуть и объединить все многообразіе національностей и снять всѣ противорѣчія ихъ. Другая мысль Пушкина, это поворотъ его къ народу и упованіе, единственно, на силу его, завѣтъ того, что лишь въ народѣ и въ одномъ только народѣ обрѣтемъ мы всецѣло весь нашъ русскій геній и сознаніе назначенія его. И это, опять-таки, Пушкинъ не только указалъ, но и совершилъ первый, на дѣлѣ. Съ него только начался у насъ настоящій сознательный поворотъ къ народу, немислимый еще до него съ самой реформы Петра. Вся теперешняя *пляда* наша работала лишь по его указаніямъ, *новаго* послѣ Пушкина ничего не сказала. Всѣ зачатки ея были въ немъ, указаны имъ. Да къ тому же она разработала лишь самую малую часть имъ указаннаго. Но зато, то что они сдѣлали, разработано ими съ такимъ богатствомъ силъ, съ такою глубиною и отчетливостью, что Пушкинъ, конечно, призналъ бы ихъ. Анна Карелина — вещь, конечно, не новая по идеѣ своей, не неслыханная у насъ доселѣ. Вмѣсто нея мы, конечно, могли бы указать Европѣ прямо на источникъ, т.-е. на самого Пушкина, какъ на самое яркое, твердое и неоспоримое доказательство самостоятельности русскаго генія и права его на величайшее міровое, общечеловѣческое и всеединящее значеніе въ будущемъ (увы, сколько бы мы ни указывали, а нашихъ долго еще не будутъ читать въ Европѣ, а и станутъ читать, то долго еще не поймутъ и не оцѣнятъ. Да и оцѣнить

еще они совсѣмъ не въ силахъ, не по скудости способностей, а потому, что мы для нихъ еовсѣмъ другой мѣръ, точно съ луны сошли, такъ что имъ даже самое существованіе наше допустить трудно. Все это я знаю, и объ „указаніи Европѣ“ говорю лишь въ смыслѣ нашего собственнаго убѣжденія въ нашемъ правѣ передъ Европой на самостоятельность нашу). Тѣмъ не менѣе, Анна Каренина есть совершенство какъ художественное произведеніе, подвернувшееся какъ разъ кстати, и такое, съ которымъ ничто подобное изъ европейскихъ литературъ въ настоящую эпоху не можетъ сравниться, а во-вторыхъ и по идеѣ своей это уже нѣчто наше, наше *свое* родное, и именно то самое, что составляетъ нашу особенность передъ европейскимъ міромъ, что составляетъ уже наше національное „новое слово“ или, по крайней мѣрѣ, начало его,—такое слово, котораго именно не слышать въ Европѣ и которое, однако, столь необходимо ей, несмотря на всю ея гордость. Я не могу пуститься здѣсь въ литературную критику и скажу лишь небольшое слово. Въ Аннѣ Карениной проведенъ взглядъ на виновность и преступность человѣческую. Взятъ люди въ ненормальныхъ условіяхъ. Зло существуетъ прежде нихъ. Захваченные въ круговоротъ лжи, люди совершаютъ преступленіе и гибнутъ неотразимо: какъ видно, мысль на любимѣйшую и стариннѣйшую изъ европейскихъ темъ. Но какъ, однакоже, рѣшается такой вопросъ въ Европѣ? Рѣшается онъ тамъ повсемѣстно двоякимъ образомъ. Первое рѣшеніе: законъ данъ, написанъ, формулированъ, составлялся тысячеклѣтiami. Зло и добро опредѣлено, взвѣшено, размѣры и степени опредѣлялись исторически мудрецами человѣчества, неустанной работой надъ душой человѣка и высшей научной разработкой надъ степенью единительной силы человѣчества въ обществѣ. Этому выработанному кодексу повелѣвается слѣдовать слѣпо. Кто не послѣдуетъ, кто преступитъ его, — тотъ платитъ свободой, имуществомъ, жизнью, платитъ буквально и безчеловѣчно. „Я знаю“, говоритъ сама ихъ цивилизація, „что это и слѣпо, и безчеловѣчно, и невозможно, такъ какъ нельзя выработать окончательную формулу человѣчества въ серединѣ пути его, но такъ какъ другого исхода нѣтъ, то и слѣдуетъ держаться того что написано, и держаться буквально и безчеловѣчно; не будь этого—будетъ хуже. Съ тѣмъ вмѣстѣ, несмотря на всю ненормальность и нелѣпость устройства

того, что называемъ мы нашей великой европейской цивилизаціей, тѣмъ не менѣе пусть силы человѣческаго духа пребываютъ здравы и невредимы, пусть общество не колеблется въ вѣрѣ, что оно идетъ, къ совершенству, пусть не смѣетъ думать, что затемнился идеаль прекраснаго и высокаго, что извращается и коверкается понятіе о добрѣ и злѣ, что нормальность непрерывно смѣняется условностью, что простота и естественность гибнуть, подавляемая непрерывно накапливающеюся ложью! Другое рѣшеніе обратное: такъ какъ общество устроено нормально, то и нельзя спрашивать отвѣта съ единицъ людскихъ за послѣдствія. Стало быть, преступникъ безотвѣтственъ, и преступленія пока не существуетъ. Чтобы покончить съ преступленіями и людскою виновностью, надо покончить съ ненормальностью общества и склада его. Такъ какъ лѣчить существующій порядокъ вещей долго и безнадежно, да и лѣкарствъ не оказалось, то слѣдуетъ разрушить все общество и смести старый порядокъ какъ бы метлой. Затѣмъ начать все новое, на иныхъ началахъ, еще неизвѣстныхъ, но которыя все же не могутъ быть хуже теперешняго порядка, напротивъ, заключаютъ въ себѣ много шансовъ успѣха. Главная надежда на науку". И такъ вотъ это второе рѣшеніе: ждуть будущаго муравейника, а пока зальютъ міръ кровью. Другихъ рѣшеній о виновности и преступности людской западно-европейскій міръ не представляетъ.

Во взглядѣ же русскаго автора на виновность и преступность людей ясно усматривается, что никакой муравейникъ, никакое торжество „четвертаго сословія“, никакое уничтоженіе бѣдности, никакая организація труда не спасутъ человѣчество отъ ненормальности, а слѣдственно и отъ виновности и преступности. Выражено это въ огромной психологической разработкѣ души человѣческой, съ страшной глубиною и силою, съ небывалымъ доселѣ у насъ реализмомъ художественнаго изображенія. Ясно и понятно до очевидности, что зло таится въ чловѣчествѣ глубже, чѣмъ предполагаютъ лѣкаря-соціалисты, что ни въ какомъ устройствѣ общества не избѣгнете зла, что душа человѣческая останется та же, что ненормальность и грѣхъ исходятъ изъ нея самой, и что, наконецъ, законы духа человѣческаго столь еще неизвѣстны, столь невѣдомы наукаѣ, столь неопредѣленны и столь таинственны, что нѣтъ и не можетъ быть еще пи лѣкарей,

ни даже судей *окончательныхъ*, а есть Тотъ, который говоритъ: „Мнѣ отмщеніе и Азъ воздамъ“. Ему одному лишь извѣстна *вся* тайна міра сего и окончательная судьба человѣка. Человѣкъ же пока не можетъ браться рѣшать ничего съ гордостью своей непогрѣшимости, не пришли еще времена и сроки. Самъ судья человѣческой долженъ знать о себѣ, что онъ не судья окончательный, что онъ грѣшникъ самъ, что вѣсы и мѣра въ рукахъ его будутъ нелѣпностью, *если* самъ онъ, держа въ рукахъ мѣру и вѣсы, не преклонится передъ закономъ неразрѣшимой еще тайны и не прибѣгнетъ къ единственному выходу— къ милосердію и любви. А чтобъ не погибнуть въ отчаяніи отъ непониманія путей и судьбъ своихъ, отъ убѣжденія въ таинственной и роковой неизбѣжности зла, человѣку именно указанъ исходъ. Онъ гениально намѣченъ позтомъ въ гениальной сценѣ романа еще въ предпоследней части его, въ сценѣ смертельной болѣзни героини романа, когда преступники и враги вдругъ преображаются въ существа высшія, въ братьевъ все простившихъ другъ другу, въ существа, которыя сами, взаимнымъ всепрощеніемъ сняли съ себя ложь, вину и преступность, и тѣмъ разомъ сами оправдали себя съ полнымъ сознаниемъ, что получили право на то. Но потомъ, въ концѣ романа, въ мрачной и страшной картинѣ паденія человѣческаго духа, прослѣженнаго шагъ за шагомъ, въ изображеніи того неотразимаго состоянія, когда зло, овладѣвъ существомъ человѣка, связываетъ каждое движеніе его, парализируетъ всякую силу сопротивленія, всякую мысль, всякую охоту борьбы съ мракомъ, падающимъ на душу и сознательно, излюбленно, со страстью отмщенія принимаемымъ душой вмѣсто свѣта,—въ этой картинѣ—столько назиданія для судьбы человѣческаго, для держащаго мѣру и вѣсы, что, конечно, онъ воскликнетъ, въ страхѣ и недоумѣніи: „нѣтъ, не всегда мнѣ отмщеніе и не всегда азъ воздамъ“, и не поставитъ безчеловѣчно въ вину мрачно павшему преступнику того, что онъ пренебрегъ указаннымъ вѣковѣчно свѣтомъ исхода и уже *сознательно* отвергъ его. Къ буквѣ, по крайней мѣрѣ, не прибѣгнетъ...

Если у насъ есть литературныя произведенія такой силы мысли и исполненія, то почему у насъ не можетъ быть *впослѣдствіи* и *своей* науки, и своихъ рѣшеній экономическихъ, соціальныхъ, почему намъ отказываетъ Европа въ самостоятельности, въ нашемъ *своёмъ собствен-*

номъ словѣ, — вотъ вопросъ, который рождается самъ собою. Нельзя же предположить смѣшную мысль, что природа одарила насъ лишь однѣми литературными способностями. Все остальное есть вопросъ исторіи, обстоятельствъ, условій времени. Такъ могли бы разсудить наши, по крайней мѣрѣ, европейцы, въ ожиданіи пока разсудятъ европейскіе европейцы...

IV.

Помѣщикъ добывающій вѣру въ Бога отъ мужика.

Теперь, когда я выразилъ мои чувства, можетъ быть, поймутъ, какъ подѣйствовало на меня отпаденіе такого автора, отъединеніе его отъ русскаго всеобщаго и великаго дѣла, и парадоксальная неправда, возведенная имъ на народъ въ его несчастной восьмой части, изданной имъ отдѣльно. Онъ просто отнимаетъ у народа все его драгоцѣннѣйшее, лишаетъ его главнаго смысла его жизни. Ему бы несравненно пріятнѣе было, если бъ народъ нашъ не подымался повсемѣстно сердцемъ своимъ за терпящихъ за вѣру братій своихъ. Въ этомъ только смыслѣ онъ и отрицаетъ явленіе, несмотря на очевидность его. Конечно, все это выражено лишь въ фиктивныхъ лицахъ героевъ романа, но, повторяю это, слишкомъ видно рядомъ съ ними и самого автора. Правда, книжка эта искренняя, говоритъ авторъ отъ души. Даже самыя щекотливыя вещи (а тамъ есть *щекотливыя* вещи) улеглись въ ней совсѣмъ какъ бы невзначай, такъ что, несмотря на всю ихъ щекотливость, вы ихъ принимаете лишь за прямое слово и не допускаете ни малѣйшей кривизны. Тѣмъ не менѣе книжку эту я все-таки считаю вовсе не столь невинною. Теперь она, разумѣется, не имѣетъ и не можетъ имѣть никакого вліянія, кромѣ какъ развѣ поддакнетъ еще разъ нѣкоторой отмежеванной кучкѣ. Но такой фактъ, что такой авторъ такъ пишетъ, очень грустенъ. Это для будущаго грустно. А, впрочемъ, примусь лучше за дѣло: мнѣ хочется возразить, укажу на то, что меня особенно поразило.

Прежде, впрочемъ, расскажу про Левина, — очевидно, главнаго героя романа; въ немъ выражено положительное, какъ бы въ противоположность тѣхъ ненормальностей, отъ которыхъ погибли или пострадали другія лица романа, и онъ, видимо, къ тому и предназначался авторомъ, чтобы все это въ немъ выразить. И однакоже Левинъ все еще

не совершенень, все еще чего-то недостает ему и этимъ надо было заняться и разрѣшить, чтобъ ужъ никакихъ сомнѣній и вопросовъ Левинъ болѣе собою не представлялъ. Читатель впослѣдствіи пойметъ причину, почему я на этомъ останавливаюсь, не переходя прямо къ главному дѣлу.

Левинъ счастливъ, романъ кончился къ пущей славы его, но ему недостаетъ еще внутренняго духовнаго мира. Онъ мучается вѣковѣчными вопросами человѣчества: о Богѣ, о вѣчной жизни, о добрѣ и злѣ и проч. Онъ мучается тѣмъ, что онъ не вѣрующій и что не можетъ успокоиться на томъ, на чемъ всѣ успокоиваются, т. е. на интересѣ, на обожаніи собственной личности или собственныхъ идоловъ, на самолюбіи и проч. Признакъ великодушія, не правда ли? Но отъ Левина и ожидать нельзя было меньше. Оказывается встать, что Левинъ много прочиталъ. Ему знакомы и философы, и позитивисты, и просто естественники. Но ничто не удовлетворяетъ его, а, напротивъ, еще больше запутываетъ, такъ что онъ, въ свободное по хозяйству время, убѣгаетъ въ лѣса и рощи, сердится, даже не столь цѣнить свою Киту, сколько бы надо цѣнить. И вотъ вдругъ онъ встрѣчаетъ мужика, который, передавая ему о двухъ, различныхъ нравственною стороною своею мужикахъ, Митюхѣ и Өоканычѣ, выражается такъ:

«Митюхѣ какъ не выручить! Этотъ нажметъ да свое выберетъ. Онъ хрестыянина не пожалѣетъ, а дядя Өоканычъ развѣ станетъ драть шкуру съ человѣка? Гдѣ въ долгъ, гдѣ и спустить. Анъ и не доберетъ, тоже человѣкомъ.

— Да зачѣмъ же онъ будетъ спускать?

— Да такъ, значитъ — люди разные, одинъ человѣкъ только для нужды своей живетъ, хотъ бы Митюха, только брюхо набиваетъ, — а Өоканычъ — правдивый старикъ. Онъ для души живетъ, Бога помнить.

— Какъ Бога помнить? Какъ для души живетъ? почти вскрикнулъ Левинъ.

— Извѣстно какъ, по правдѣ, по Божью. Вѣдь люди разные. Вотъ хотъ васъ взять, тоже не обидите человѣка.

— Да, да, прощай! проговорилъ Левинъ, задыхаясь отъ волненія, и, повернувшись, взявъ свою палку и быстро пошелъ прочь къ дому.»

Онъ, впрочемъ, побѣжалъ опять въ лѣсъ, легъ подъ осинами и началъ думать почти въ какомъ-то восторгѣ. Слово было найдено, всѣ вѣковѣчныя загадки разрѣшены и это однимъ простымъ словомъ мужика: „Жить для

души, Бога помнить⁶. Мужикъ, разумѣется, не сказалъ ему ничего новаго, все это онъ давно уже самъ зналъ; но мужикъ все же навелъ его на мысль и подсказалъ ему рѣшеніе въ самый щекотливый моментъ. Засимъ наступаетъ рядъ разсужденій Левина, весьма вѣрныхъ и мѣтко выраженныхъ. Мысль Левина та: къ чему искать умомъ того, что уже дано самою жизнью, съ чѣмъ родится каждый человѣкъ и чему (поневоля даже) долженъ слѣдовать и слѣдуетъ каждый человѣкъ. Съ совѣстью, съ понятіемъ о добрѣ и злѣ каждый человѣкъ рождается, стало-быть, рождается прямо и съ цѣлью жизни: жить для добра и не любить зла. Рождается съ этимъ и мужикъ и баринъ, и французъ и русскій и турокъ — всѣ чтуть добро (NB. хоть многіе ужасно по-своему). Я же, говоритъ Левинъ, хотѣлъ это все познать математикой, наукой, разумомъ, или ждалъ чуда, между тѣмъ это дано мнѣ даромъ, рождено со мною. А что оно дано даромъ, то этому есть прямая доказательства: всѣ на свѣтѣ понимаютъ, или могутъ понять, что надо *любить ближняго какъ самого себя*. Въ этомъ знаніи въ сущности и заключается весь законъ человѣческой, какъ и объявлено намъ самимъ Христомъ. Между тѣмъ это знаніе прирожденно, стало-быть, послано даромъ, ибо разумъ ни за что не могъ бы дать такое знаніе, — почему? Да потому, что „любить ближняго“, если судить по разуму, выйдетъ неразумно.

— Откуда взялъ я это? (спрашиваетъ Левинъ). Разумомъ, что ли, дошелъ я до того, что надо любить ближняго и не душилъ его? Мнѣ сказали это въ дѣтствѣ, *и я радостно поверилъ*, потому что мнѣ сказали то, что было у меня въ душѣ. А кто открылъ это? Не разумъ. Разумъ открылъ борьбу за существованіе и законъ, требующій того, чтобы душилъ всѣхъ, мѣшающихъ удовлетворенію моихъ желаній. Это выводъ разума. А любить другого не могъ открыть разумъ, потому что это неразумно.

Далѣе представилась Левину недавняя сцена съ дѣтьми. Дѣти стали жарить малину въ чашкахъ на свѣчкахъ и лить себѣ молоко фонтаномъ въ ротъ. Мать, заставъ ихъ на дѣлѣ, стала имъ внушать, что если они испортятъ посуду и разольютъ молоко, то не будетъ у нихъ ни посуды, ни молока. Но дѣти, очевидно, не повѣрили, потому что не могли себѣ и представить „всего объема того, чѣмъ они пользуются, а потому не могли представить себѣ, что то, что они разрушаютъ, есть то самое, чѣмъ они живутъ“.

«Это все само собой», думали они, «интереснаго и важнаго въ

этомъ ничего нѣтъ, потому что это всегда было и будетъ. И всегда все одно и то же. Объ этомъ намъ думать нечего, это готово; а намъ хочется выдумать что-нибудь свое и новенькое. Вотъ мы выдумали въ чашку положить малину и жарить ее на свѣчкѣ, а молоко лить фонтаномъ прямо въ ротъ другъ другу. Это весело и ново, и ничѣмъ не хуже, чѣмъ пить изъ чашекъ.»

«Развѣ не то же самое дѣлаемъ мы, дѣлалъ я, разумомъ отыскивая значеніе силъ природы и смыслъ жизни человѣка?» продолжалъ Левинъ.

«И развѣ не то же дѣлаютъ всѣ теоріи философскія, путемъ мысли страннымъ, несвойственнымъ человѣку, приводя его къ знанію того, что онъ давно знаетъ, и такъ вѣрно знаетъ, что безъ того и жить бы не могъ. Развѣ не видно ясно въ развитіи теоріи каждаго философа, что онъ впередъ знаетъ такъ же несомнѣнно, какъ и мужикъ Θεодоръ, и ничуть не яснѣе его, главный смыслъ жизни, и только сомнительнымъ умственнымъ путемъ хочеть вернуться къ тому, что всѣмъ извѣстно.

«Ну-ка, пустить однихъ дѣтей, чтобъ они сами приобрѣли, сдѣлали посуду, подогрели молоко и т. д. Стали бы они шалить? Они бы съ голоду померли. Ну-ка, пустите насъ съ нашими страстями, мыслями, безъ понятія о единомъ Богѣ и Творцѣ! Или безъ понятія того, что есть добро, безъ объясненія зла нравственнаго.

«Ну-ка, безъ этихъ понятій постройте что-нибудь!

«Мы только разрушаемъ, потому что духовно сыты. Именно дѣти!»

Однимъ словомъ, сомнѣнія кончились и Левинъ увѣровалъ,—во что? Онъ еще этого строго не опредѣлилъ, но онъ уже вѣруеть. Но вѣра ли это? Онъ самъ себя радостно задаетъ этотъ вопросъ: „Неужели эта вѣра?“ Надобно полагать, что еще нѣтъ. Мало того: врядъ ли у такихъ, какъ Левинъ, и можетъ быть окончательная вѣра. Левинъ любитъ себя называть народомъ, но это баричъ, московскій баричъ средне-высшаго круга, историкомъ котораго и былъ по преимуществу графъ Л. Толстой. Хоть мужикъ и не сказалъ Левину ничего новаго, но все же онъ его натолкнулъ на идею, а съ этой идеи и началась вѣра. Ужъ въ этомъ-то одномъ Левинъ могъ бы увидать, что онъ не совсѣмъ народъ и что нельзя ему говорить про себя: я самъ народъ. Но объ этомъ послѣ. Я хочу только сказать, что вотъ эти, какъ Левинъ, сколько бы ни прожили съ народомъ или подлѣ народа, но народомъ вполнѣ не сдѣлаются, мало того — во многихъ пунктахъ такъ и не поймутъ его никогда вовсе. Мало одного самонѣнія, или акта воли, да еще столь причудливой, чтобъ захотѣть и стать народомъ. Пусть онъ помѣщикъ, и работающій помѣщикъ, и работы мужицкія знаетъ, и самъ косить и телѣгу запрячь умѣеть, и знаетъ, что къ сотовому меду огурцы свѣжіе подаются. Все-таки въ душѣ

его, какъ онъ ни старайся, останется оттънокъ чего-то, что можно, я думаю, назвать *праздношатайствомъ*—тѣмъ самымъ праздношатайствомъ, физическимъ и духовнымъ, которое, какъ онъ ни крѣпись, а все же досталось ему по наслѣдству и которое ужь, конечно, видить во всякомъ баринѣ народъ, благо не нашими глазами смотреть. Но и объ этомъ потомъ. А вѣру свою онъ разрушить опять, разрушить самъ, долго не продержится: выйдетъ какой-нибудь новый сучокъ и разомъ все рухнетъ. Кити пошла и спотенулась, такъ вотъ зачѣмъ она споткнулась? Если спотенулась, значить и не могла не споткнуться; слишкомъ ясно видно, что она спотенулась потому-то и потому-то. Ясно, что все тутъ зависѣло отъ законовъ, которые могутъ быть строжайше опредѣлены. А если такъ, то значить всюду наука. Гдѣ же Промысль? Гдѣ же роль его? Гдѣ же отвѣтственность человѣческая? А если нѣтъ Промысла, то какъ же я могу вѣрить въ Бога и т. д., и т. д.“. Берите прямую линію и пустите въ безконечность. Однимъ словомъ, эта честная душа есть самая праздно-хаотическая душа, иначе онъ не былъ бы современнымъ русскимъ интеллигентнымъ бариномъ, да еще средне-высшаго дворянскаго круга.

Онъ доказываетъ это блистательно всего какой-нибудь часъ снутя по приобрѣтеніи вѣры; онъ доказываетъ, что русскій народъ вовсе не чувствуетъ того, что могутъ чувствовать вообще люди, онъ разрушаетъ душу народа самымъ всевластнымъ образомъ, мало того,—объявляетъ, что самъ не чувствуетъ никакой жалости къ человѣческому страданію. Онъ объявляетъ, что „непосредственнаго чувства къ угнетенію славянъ нѣтъ и не можетъ быть“ — т.-е. не только у него, но и у всѣхъ русскихъ не можетъ быть: я, дескать, самъ народъ. Слишкомъ уже они дешево цѣнятъ русскій народъ. Старые, впрочемъ, оцѣнщики. Не прошло и часу по приобрѣтеніи вѣры, какъ пошла опять жариться малина на свѣчѣѣ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

I.

Раздражительность самолюбія.

Прибѣжали дѣти и объявляютъ Левину, что пріѣхали гости;—„одинъ вотъ такъ размахиваетъ руками“. Оказывается, что гости изъ Москвы. Левинъ сажаетъ ихъ подъ

деревьями, приносить имъ сотоваго меду съ свѣжими огурцами и гости тотчасъ же принимаются за медъ и за восточный вопросъ. Все происходитъ, видите ли, пропалаго года,—помните: Черняевъ, добровольцы, пожертвованiя. Разговоръ быстро разгорается, потому что всѣ неудержимо стремятся къ главному. Собесѣдники, кромѣ дамъ, во-первыхъ одинъ изъ Москвы профессорчикъ, человекъ милый, но глуповатый. Затѣмъ слѣдуетъ человекъ (съ тѣмъ онъ и выставленъ) огромнаго ума и познанiй, Сергѣй Ивановичъ Кознышевъ, единоутробный братъ Левина. Характеръ этотъ проведенъ въ романѣ искусно, и подъ конецъ понятенъ (сороковыхъ годовъ человекъ). Сергѣй Ивановичъ только что бросился, всецѣло и съ азартомъ, въ славянскую дѣятельность и комитетомъ на него много возложено, такъ что трудно и представить себѣ, вспоминая прошлое лѣто, какъ онъ могъ бросить дѣло и прiѣхать на цѣлыя двѣ недѣли въ деревню. Правда, въ такомъ случаѣ не было бы и разговора на пчельникѣ о народномъ движенiи, а, стало-быть, и всей восьмой части романа, которая для одного этого разговора и написана. Видите ли, этотъ Сергѣй Ивановичъ, мѣсяца два или три передъ тѣмъ, издалъ въ Москвѣ какую-то ученую книгу о Россiи, которую давно готовилъ и на которую возлагалъ большiя надежды, но книга вдругъ лопнула, и лопнула со срамомъ, никто-то объ ней ничего не сказалъ, прошла не замѣченная. И вотъ тутъ-то Сергѣй Ивановичъ и бросился въ славянскую дѣятельность, и съ такимъ жаромъ, какого отъ него ожидать нельзя было. Выходить, стало-быть, что бросился не естественно; весь его жаръ къ славянамъ—ambition rentrée, не болѣе, и вы ясно предчувствуете, что Левинъ уже и не можетъ не остаться надъ такимъ побѣдителемъ. Сергѣй Ивановичъ и въ прежнихъ частяхъ проведенъ былъ въ комическомъ видѣ весьма искусно; въ восьмой же части становится уже окончательно яснымъ, что онъ и задуманъ-то былъ единственно для того, чтобы въ концѣ романа послужить пьедесталомъ для величiя Левина. Но лицо очень удачное.

Зато изъ неудачнѣйшихъ лицъ—это старый князь. Онъ тутъ же сидитъ и толкуетъ о восточномъ вопросѣ. Неудачный и во всемъ романѣ, а не то что въ одномъ восточномъ вопросѣ. Это одно изъ положительныхъ лицъ романа, предназначенныхъ выразить собою положительную

красоту, — ну, разумѣется, не грѣша противъ реализма: онъ и съ слабостями, и чуть ли не съ смѣшными сторонами, но зато почтенный, почтенный. Онъ и добросердъ романа, онъ и здравомысль, но не фонвизинскій какой-нибудь здравомысль, который какъ уже заладить, такъ точно осель ученый: одно здравомысліе и ничего болѣе. Нѣтъ, тутъ и юморъ, и вообще человѣческія стороны. Забавное же въ томъ, что этотъ старый человѣкъ предназначенъ выражать собою остроуміе. Пройдя школу жизни, отецъ многочисленныхъ, хотя уже и пристроенныхъ дѣтей, онъ, подъ старость, взираетъ на все кругомъ него съ тихою улыбкою мудреца, но съ улыбкою, далеко, однако, не столь кроткою и безобидною. Онъ дастъ совѣтъ, но берегитесь игры ума его: отбреетъ. И вотъ, вдругъ, тутъ случилось одно несчастье: предназначенный къ остроумію здравомысль Богъ знаетъ отчего вышелъ вовсе не остроумень, а напротивъ, даже и пошловатъ. Правда, онъ все порывается, равно какъ и во весь романъ, сказать что-нибудь остроумное, но такъ и остается при одномъ желаніи, ровнешенько ничего не выходитъ. Читатель изъ деликатности готовъ, наконецъ, зачестъ ему эти попытки и, такъ сказать, потуги остроумія за самое остроуміе, но гораздо хуже то, что это же самое лицо, въ восьмой, отдѣльно вышедшей, части романа, предназначено выразить вещи, положимъ, опять-таки неостроумныя (въ этомъ старый князь твердо выдерживаетъ свой характеръ), но зато вещи циническія и хульныя на часть нашего общества и на народъ нашъ. Въмѣсто добросерда является какой-то клубный отрицатель какъ русскаго народа, такъ и всего, что въ немъ есть хорошаго. Слышится клубное раздраженіе, стариковская желчь. Впрочемъ, политическая теорія стараго князя нисколько не нова. Это стотысячное повтореніе того, что мы и безъ него поминутно слышимъ:

— Вотъ и я, сказалъ князь. Я жилъ за границей, читалъ газеты и, признаюсь, еще до болгарскихъ ужасовъ никакъ не понималъ, почему всѣ русскіе такъ вдругъ полюбили братьевъ славянъ, а я никакой къ нимъ любви не чувствую? Я очень огорчаться, думать, что я уродъ (это, видите ли, онъ остритъ: вообразить только, что онъ думаетъ про себя, что онъ уродъ!), или что такъ Карлсбадъ на меня дѣйствуетъ (сугубая острота). Но, пріѣхавъ сюда, я успокоился (еще бы!), я вижу, что и кромѣ меня есть люди, интересующіеся только Россіей, а не братьями славянами...

Вотъ она гдѣ глубина-то! Надо интересоваться *только* Россіей. Такъ что вспоможеніе славянамъ прямо признается

не русскимъ дѣломъ; признавалъ бы онъ его русскимъ дѣломъ—не говорилъ бы онъ, что надо интересоваться *только* Россіей, такъ какъ интересоваться славянами само собою означало бы тогда интересоваться самой Россіей и назначеніемъ ея. Характеръ возрѣнія князя состоитъ, стало быть, въ узости пониманія русскихъ интересовъ. Этого какъ не слышать, это тысячу разъ услышишь, а въ иныхъ сферахъ такъ только это и слышишь. Но вотъ, однакоже, нѣчто, гораздо злокачественнѣе: это разговоръ, который былъ за нѣсколько минутъ прежде. Старый князь спрашиваетъ Сергѣя Ивановича:

... ради Христа, объясните мнѣ, Сергѣй Ивановичъ, куда ѣдутъ всѣ эти добровольцы, съ кѣмъ они воюютъ?..

— Съ турками, спокойно улыбаясь отвѣчалъ Сергѣй Ивановичъ...

— Да кто же объявилъ войну туркамъ? Иванъ Ивановичъ Рагозовъ и графиня Лидія Ивановна съ мадамъ Шталь?

Вотъ и проговорился. Вы понимаете, что онъ къ тому и вель, и для этого, можетъ быть, и пріѣхалъ поскорѣе изъ Карлсбада. Но это вопросъ уже другого сорта, и то, что князь объ этомъ говорилъ, какъ будто даже и не хорошо. Конечно, и это идея не новая, но зачѣмъ же она опять повторяется? Прошлой зимой и очень даже многіе, кому надо было, утверждали, что кто-то въ Россіи объявилъ войну туркамъ. Это выставляли; но идея походила, погуляла и назадъ воротилась къ изобрѣтателямъ. Потому что ровно никто въ Россіи прошлаго года не объявлялъ войны туркамъ и утверждать это — по меньшей мѣрѣ *преувеличеніе*. Правда, Сергѣй Ивановичъ далѣе отшучивается, но наивный и честный Левинъ, какъ настоящій *enfant terrible*, прямо высказываетъ то, что у князя на умѣ.

— Никто не объявлялъ войны, а люди сочувствуютъ страданіямъ ближнихъ и желаютъ помочь имъ, сказалъ Сергѣй Ивановичъ.

— Но князь говорить не о помощи, сказалъ Левинъ, заступаясь за тещу,—а объ войнѣ. Князь говорить, что частные люди не могутъ принимать участія въ войнѣ безъ разрѣшенія правительства.

Видите ли теперь, о чемъ заботится Левинъ? Дѣло становится уже совсѣмъ прямо, разъяснено сверхъ того глупой выходкой Катавасова. Вотъ что говоритъ Левинъ далѣе:

— Да моя теорія та: война, съ одной стороны, есть такое животное, жестокое и ужасное дѣло, что ни одинъ человѣкъ, не говоря уже христіанинъ, не можетъ лично взять на свою отвѣтственность начало войны, а можетъ только правительство, которое призвано къ этому и приводится къ войнѣ неизбежно. Съ другой стороны, и по наукѣ, и по здравому смыслу, въ государственныхъ дѣлахъ, въ осо-

бенности въ дѣлѣ войны, граждане отрекаются отъ своей личной воли. Сергій Ивановичъ и Катавасовъ съ готовыми возраженіями заговорили въ одно время.

— Въ томъ-то и штука, батюшка, что могутъ быть случаи, когда правительство не исполняетъ воли гражданъ, и тогда общество заявляетъ свою волю, сказалъ Катавасовъ.

Но Сергій Ивановичъ, очевидно, не одобрялъ этого возраженія...

Однимъ словомъ, указывается и поддерживается, что дѣйствительно вѣмъ-то была въ Россіи объявлена война туркамъ прошлаго года, мимо правительства. Съ его умомъ Левинъ могъ бы догадаться, что Катавасовъ дурачокъ, что Катавасовыхъ вездѣ найдешь, что прошлогоднее движеніе было, именно, противоположно идеямъ Катавасовыхъ, потому что было русское, національное, настоящее наше, а не игра въ какую-то оппозицію. Но Левинъ стоитъ на своемъ, онъ ведетъ свое обвиненіе до конца; дорогà ему не истина, а то, что онъ придумалъ. Вотъ какими разсужденіями заканчиваетъ онъ свои мысли на этотъ счетъ:

...Онъ (Левинъ) говорилъ вмѣстѣ съ Михайлычемъ и народомъ, выразившимъ свою мысль въ преданіи о призваніи варяговъ: «Княжите и владѣйте нами. Мы радостно общаемъ полную покорность. Весь трудъ, всѣ униженія, всѣ жертвы мы беремъ на себя; но не мы судимъ и рѣшаемъ». А теперь народъ, по словамъ Сергій Ивановичей, *отрекался отъ этого, купленного такой дорогой цѣной, права.*

Ему хотѣлось еще сказать, что если общественное мнѣніе есть непогрѣшимый судья, то почему революція, коммуна не такъ же законны, какъ и движеніе въ пользу славянъ?..

Слышите? И никакія соображенія не сбиваютъ этихъ господъ съ толку, никакіе самые очевидные факты. Я сказалъ уже, что лучше если бѣ князь и Левинъ такихъ обвиненій совсѣмъ не дѣлали; но кто же не видитъ, что одинъ—оскорбленное самолюбіе, а другой парадоксалистъ. Впрочемъ, можетъ-быть, и Левинъ оскорбленное самолюбіе, потому что неизвѣстно чѣмъ можетъ вдругъ оскорбляться самолюбіе людей! А между тѣмъ дѣло ясное, обвиненіе вздорное, да и не можетъ быть такого обвиненія, потому что оно вовсе не можетъ существовать. Не тѣ были вовсе факты.

II.

Tout ce qui n'est pas expressement permis est défendu!

Война была объявлена Турціи, въ прошломъ году, не Россіей, и не въ Россіи, а въ славянскихъ земляхъ, славянскими владѣтельными князьями, т.-е. государями, княземъ Миланомъ сербскимъ и княземъ Николаемъ черно-

горскимъ, ополчившимся на Турцію за неслыханныя притѣсненія, звѣрства, грабежи и избіенія подвластныхъ ей славянъ, въ томъ числѣ герцеговинцевъ, вынужденныхъ, наконецъ, этими самыми звѣрствами возстать противъ притѣснителей. Неслыханныя истязанія и избіенія, которымъ подверглись герцеговинцы, стали извѣстны всей Европѣ. Извѣстія объ этихъ ужасахъ проникли и къ намъ въ Россію, въ интеллигентную публику и, наконецъ, въ народъ. По неслыханности своей они проникли всюду. Получались свѣдѣнія, что сотни тысячъ людей, старики, беременныя женщины, оставленныя на произволь дѣти, бросили свои жилища и устремились вонъ изъ Турціи, въ сосѣднія земли, куда попало, безъ хлѣба, безъ крова, безъ одежды, въ послѣднемъ животномъ страхѣ самосохраненія. Князья, Церковь, представители Церкви, возвысили за несчастныхъ голосъ и стали собирать для нихъ подаваніе. Началь подавать имъ и нашъ народъ, жертвы стекались въ опредѣленные мѣста, въ редакціи журналовъ, въ отдѣлы бывшихъ славянскихъ комитетовъ—и въ этомъ вовсе ничего не было незаконнаго, противъ-правительственнаго или безнравственнаго. Напротивъ, смѣло можно сказать, что было лишь одно хорошее. Чтò же до славянскихъ князей, затѣявшихъ войну съ Турціею, то ни Россія и никто въ Россіи въ этомъ не были виноваты. Правда, одинъ изъ этихъ владѣтелей, именно, князь Миланъ сербскій, былъ владѣтелемъ не вполне независимымъ; напротивъ, обязанъ былъ султану нѣкоторой вассальной подчиненностью, такъ что въ одной изъ русскихъ газетъ его горько упрекали за то, что онъ, такъ сказать, бунтовщикъ, и чтобъ ужъ совершенно сконфузить и пристыдить его, написали, что онъ возсталъ противъ своего „сюзерена“. Но все это опять-таки было собственнымъ дѣломъ князя Милана, за которое ему одному и слѣдуетъ отвѣчать. Россія же и никто въ Россіи войны прошлаго года не объявлялъ, а, стало быть, ровно ничѣмъ передъ султаномъ не согрѣшили. А пожертванія между тѣмъ все стекались, да стекались, но это уже совсѣмъ другое. Но вотъ вдругъ одинъ изъ русскихъ генераловъ, на то время безъ занятій, человѣкъ еще не старый, всего только генераль-маіоръ, но уже нѣсколько извѣстный по прежнимъ, довольно успѣшнымъ дѣйствіямъ своимъ въ Средней Азіи, отправился, по своей собственной охотѣ, въ Сербію и предложилъ князю Милану свои услуги. На службу онъ былъ

принять и зачислѣнъ, но вовсе не главнокомандующимъ сербскою арміею, какъ пронесся было у насъ о томъ слухъ въ Россіи, долго державшійся. Вотъ тутъ-то и начались русскіе добровольцы, которые, впрочемъ, несомнѣнно и прежде были, т. е. до Черняева; вмѣстѣ съ тѣмъ усилились сборы пожертвованій, на которыя поднялась вся Россія. Всѣхъ добровольцевъ за весь прошлый годъ было не Богъ знаетъ сколько, очень не много тысячъ, но проводила ихъ въ Сербію рѣшительно вся Россія, и особенно народъ, настоящій народъ, а не стрюцкіе, какъ особенно настаиваетъ на томъ озлобленный Левинъ; стрюцкими онъ считаетъ и добровольцевъ. Но это было не такъ, дѣло это не въ углу происходило, дѣло это всѣмъ извѣстно, всѣ могли видѣть и убѣдиться и всѣ, т. е. вся Россія, рѣшили, что дѣло это—хорошее дѣло. Со стороны народа объявилось столько благороднаго, умилительнаго и сознательнаго, что все прошлогоднее движеніе это, русскаго народа въ пользу славянъ, несомнѣнно останется одною изъ лучшихъ страницъ въ его исторіи. Впрочемъ, защищать народъ противъ Левиныхъ, доказывать Левинымъ, что это были не стрюцкіе и не воздыхатели, а, напротивъ, сознающіе свое дѣло люди—доказывать все это, по-моему, совершенно лишнее и не нужное, мало того — даже для народа и унижительное. Главное же въ томъ, что все это происходило открыто, у всѣхъ на виду: объявлялись факты поражающіе, характерные, которые записались, запомнились и не забудутся, и оспорены быть уже не могутъ. Но о народѣ потомъ, что же до добровольцевъ, то какъ не случиться въ ихъ числѣ, рядомъ съ высочайшимъ самоотверженіемъ въ пользу ближняго (НВ. Кирѣевъ), и просто удальству, прыти, гульбѣ и пр., и пр. Все произошло, какъ всегда и вездѣ происходитъ. Правда, не сочтено еще, сколько и изъ этихъ гулякъ-пьяницъ, заболтавшихся людей, если только такіе были въ числѣ добровольцевъ, положили тамъ далеко животъ свой за великодушное дѣло, а потому и на нихъ нечего бы было столь порицательно и даже ругательно возставать. Но утверждать, что прошлогодніе добровольцы были сплошь гуляки, пьяницы и люди потерянные—по меньшей мѣрѣ не имѣетъ смысла, ибо, опять-таки повторяю, дѣло это не въ углу происходило и всѣ могли видѣть. Но во всякомъ случаѣ объявленія войны, въ прошломъ году, сосѣдней державѣ, кѣмъ-нибудь изъ русскихъ, помимо правитель-

ства, положительно не было. Иванъ Ивановичъ Рагозовъ и графиня Лидія Ивановна и не могли бы объявить войну туркамъ, если бъ даже и хотѣли. Мало того, они даже добровольцевъ не подымали, никого не заманивали, не нанимали, а всякій шелъ *добровольно исполнитъ*, что рѣшительно всѣмъ извѣстно. Но что помогали они добровольцамъ и сверхъ того посылали въ славянскія земли деньги для помощи несчастнымъ, измученнымъ и изувѣченнымъ, и сверхъ того помогали деньгами же возставшимъ ихъ защищать,—это было, о, это было, и даже вмѣстѣ съ самымъ ревностнымъ пожеланіемъ, чтобъ кровопійцы турки сломали себѣ шею,—да, это въ высшей степени было! Но весь вопросъ въ томъ: объявленіе ли это войны? Если же нѣтъ, то запрещено все это или нѣтъ правительствомъ, т. е. запрещено ли помогать сражающимся за христіанъ деньгами и желать, чтобъ турки сломали себѣ шею? Опять-таки никакъ не думаю, чтобъ было запрещено, ибо дѣло это было открытое, всѣ видѣли, всѣ участвовали, а добровольцы получали свои заграничные паспорта отъ правительства же. Я не знаю, впрочемъ, можетъ быть, и есть такой законъ, „что частные люди не могутъ *принимать участія* въ войнѣ безъ разрѣшенія правительства“, т. е. не могутъ вступать безъ особаго разрѣшенія своего правительства въ службу къ иноземнымъ государямъ. Можетъ быть, дѣйствительно существуетъ какой-нибудь такой законъ, очень старый, но еще не отмѣненный; но правительство всегда могло бы и само воспользоваться этимъ закономъ, чего же тутъ Левину-то? Ему-то что во всемъ этомъ? Между тѣмъ онъ именно этимъ-то и волнуется...

— Pardon, monsieur, mais il me semble, que tout ce qui n'est pas expressement défendu est permis.

— Au contraire, m-r: tout ce qui n'est pas expressement permis est défendu.

То-есть по-русски:

— Да, но мнѣ кажется, что все, что не особенно настойчиво запрещено, то можно бы считать дозволеннымъ.

— Совсѣмъ напротивъ-съ: все то, что не особенно настойчиво дозволено, надо несомнѣнно считать уже запрещеннымъ.

Это краткій комическій разговоръ человѣка порядка съ человѣкомъ безпорядка, происходившій во Франціи. Но въдъ этотъ толковникъ порядка и поставленъ у порядка, онъ объяснитель и защитникъ его, онъ уже такое лицо.

А Левину-то что? Что онъ-то за специалистъ въ этомъ родѣ? Онъ все боится, чтобъ не потерялось какое-то право. А между тѣмъ весь народъ, сочувствуя угнетеннымъ христіанамъ, совершенно зналъ, что онъ правъ, что онъ ничего не дѣлаетъ противъ воли Царя своего, и сердцемъ своимъ былъ заодно съ Царемъ своимъ. Да, онъ зналъ это. Такъ точно думали и тѣ, которые снаряжали добровольцевъ. Ни одинъ не утѣшалъ себя, хотя бы втайнѣ, смѣшною мыслью, что онъ ведетъ дѣло противъ воли правительства. Царскаго слова ждали съ нетерпѣніемъ и съ великою надеждою и всѣ предчувствовали его впередъ и въ немъ не ошиблись. Обвиненіе въ объявленіи войны есть, однимъ словомъ, обвиненіе фантастическое, которое пало само собою и которое нельзя поддерживать.

Но Левинъ и князь отъ этого обвиненія сами выгораживаютъ народъ. Они прямо отрицаютъ участіе народа въ прошлогоднемъ движеніи, но зато прямо утверждаютъ, что народъ не понималъ ничего, да и не могъ понимать, что все было искусственно возбуждено журналистами для приобрѣтенія подписчиковъ и нарочно поддѣлано Рагозовыми и проч., и проч.

— Личныя мнѣнія тутъ ничего не значатъ, сказалъ Сергѣй Ивановичъ. — Нѣтъ дѣла до личныхъ мнѣній, когда вся Россія—народъ выразилъ свою волю.

— Да, извините меня. Я этого не вижу. Народъ *и знает не знаетъ*, сказалъ князь.

— Нѣтъ, папа... Какъ же нѣтъ? А въ воскресенье въ церкви? сказала Долли, прислушавшаяся къ разговору...

— Да что же въ воскресенье въ церкви? Священнику *велми* прочесть. Онъ прочелъ. Они *ничего не поняли*, вздыхали, *какъ при всякой проповѣди*, продолжалъ князь. — Потомъ имъ сказали, что вотъ собираютъ на душеспасительное дѣло въ церкви, ну, они *вынули по койкѣ* и дали. А на что, *они сами не знаютъ*.

Это мнѣніе нелѣпое, идущее прямо противъ факта и въ устахъ князя оно легко объясняется: оно исходитъ отъ одного изъ прежнихъ опекуновъ народа, отъ прежняго крѣпостника, который не могъ, какъ бы ни былъ онъ добръ, не презирать своихъ рабовъ и не считать себя безмѣрно выше ихъ пониманіемъ; „вздыхали, дескать, и ничего не поняли“. Но вотъ мнѣніе Левина, онъ, по крайней мѣрѣ, выставленъ не прежнимъ крѣпостникомъ.

— Мнѣ не нужно спрашивать, сказалъ Сергѣй Ивановичъ, — мы видѣли и видимъ сотни и сотни людей, которые бросаютъ все, чтобы послужить правому дѣлу, приходятъ со всѣхъ концовъ Россіи, и прямо и ясно выражаютъ свою мысль и цѣль. Они приносятъ свои

гроши, или сами идутъ, и прямо говорятъ зачѣмъ. Что же это значитъ?

— Значить, по-моему, сказалъ начинавшій горячиться Левинъ, — что въ восьмидесятимиллионномъ народѣ всегда найдутся не сотни, какъ теперь, а десятки тысячъ людей, *потерявшихъ общественное положеніе, безшабашныхъ людей, которые всегда готовы—въ шайку Пугачева, въ Хиву, въ Сербію...*

— Я тебѣ говорю, что не сотни и не люди безшабашные, а лучшіе представители народа! сказалъ Сергій Ивановичъ съ такимъ раздраженіемъ, какъ будто онъ защищалъ послѣднее свое достоинство. — А пожертванія? Тутъ ужъ прямо весь народъ выражаетъ свою волю.

— Это слово «народъ» такъ неопредѣленно, сказалъ Левинъ. — Писаря волостные, учителя, и изъ мужиковъ одинъ на тысячу, можетъ быть, знаютъ о чемъ идетъ дѣло. Остальные же 80 миллионъ, какъ Михайлычъ, не только не выражаютъ своей воли, но не имѣютъ ни малѣйшаго понятія о чемъ надо бы выражать свою волю. Какое же мы имѣемъ право говорить, что это воля народа?

Да и вообще надо бы здѣсь замѣтить, разъ навсегда, что слово: „воля народа“ въ прошлогоднемъ движеніи его, вовсе неумѣстно, да и ровно ни къ чему не служить, потому что ничего точно не обозначаетъ. Прошлаго года не воля народа обозначилась, а великое состраданіе его, во-первыхъ; во-вторыхъ, ревность о Христѣ, а въ-третьихъ, собственное какъ бы покаяніе его въ родѣ какъ бы говѣнія—право этакъ можно бы выразиться. Я это поясню ниже, но теперь прибавлю, что весьма радъ, въ устахъ Левина, такимъ выраженіемъ про прошлогоднихъ добровольцевъ, какъ *пойти въ шайку Пугачева* и проч. По крайней мѣрѣ, эти мысли я уже никакъ теперь не могу приписать автору, чему и радъ ужасно, ибо ясно понимаю, что авторъ вступилъ въ свои права художника; онъ слишкомъ почувствовалъ, что разгорячившійся ипохондрикъ Левинъ, какъ имъ же созданное художественное лицо, и не могъ въ данный моментъ спора не выдержать свой характеръ, т. е. не закончить оскорбительнѣйшимъ ругательствомъ свой отзывъ какъ о добровольцахъ, такъ и объ русскомъ народѣ, ихъ провожавшемъ. Тѣмъ не менѣе, такъ какъ обвиненіе народа, за прошлогоднее движеніе его, въ глупости и въ тупости дѣйствительно существовало и ходило, а намекъ насчетъ шаекъ Пугачева дѣйствительно тоже наклеивался, то я здѣсь, встать, и рѣшаюсь, по возможности въ самыхъ краткихъ словахъ, попробовать разъяснить: какимъ образомъ надобно понимать загадку *сознательности* прошлогодняго всенароднаго движенія нашего на помощь

славянамъ? Ибо изъ этого дѣйствительно составили цѣлую загадку въ извѣстныхъ кружкахъ: „Какъ, дескать, народъ только вчера услыхалъ о славянахъ, ничего-то онъ не знаетъ, ни географіи, ни исторіи, и на-вотъ—вдругъ полѣзъ на стѣну за славянъ, полюбились они ему такъ вдругъ очень!“ За эту тему, кромѣ извѣстныхъ кружковъ, ухватились и сѣдые старички, какъ старый князь, въ клубахъ, и вотъ обрадовался ей, какъ видно, и Левинъ, такъ какъ ею очень можно поддержать и предлагаемое имъ объясненіе объ искусственной поддѣлкѣ движенія извѣстными людьми для извѣстныхъ цѣлей. Правда, выставляется Сергѣй Ивановичъ какъ бы защитникомъ противъ Левина сознательности народнаго движенія, но защищаетъ онъ дѣло свое плохо, тоже горячится, и вообще, какъ я уже и сказалъ, выставленъ въ комическомъ видѣ. Между тѣмъ, дѣло это о сознательности и толковости народнаго чувства въ пользу угнетенныхъ христіанъ до того ясно, до того точно можетъ быть опредѣлено, что я не могъ не соблазниться, чтобъ не выставить на видъ: какъ надо, по-моему, понимать это дѣло для избѣжанія путаницы и, въ особенности, *заподозъ*?

III.

О безошибочномъ знаніи необразованнымъ и безграмотнымъ русскимъ народомъ главнѣйшей сущности восточнаго вопроса.

Съ самаго начала народа русскаго и его государства, съ самаго крещенія земли русской, начали устремляться изъ нея паломники во святія земли, ко Гробу Господню, на Аeonъ и проч. Еще во время крестовыхъ походовъ ходилъ въ Иерусалимъ одинъ игумень русскій и былъ ласково принятъ королемъ Иерусалимскимъ „Балдвиномъ“, что прекрасно описалъ въ хожденіи своемъ. Затѣмъ паломничество на Востокъ, ко святымъ мѣстамъ, не прекращалось и до нашихъ дней. Изъ русскихъ же монаховъ есть и теперь въ Россіи весьма многіе, живавшіе на Аeonѣ. Такимъ образомъ, темный и совершенно необразованный русскій народъ, т.-е. самые даже простые деревенскіе мужики, совершенно не зная исторіи и географіи, знаютъ, однакоже, отлично, и уже очень давно, что святыми мѣстами и всѣми тамошними восточными христіанами овладѣли нечестивые агаряне, магометане, турки, и что жить христіанамъ по всему Востоку чрезвычайно трудно и тяжело. Знаетъ объ этомъ русскій на-

родъ съ сокрушеніемъ сердца; а такова уже русская народная черта, историческая, что покаянные подвиги хожденія ко святымъ мѣстамъ онъ издревле еще высоко цѣнилъ. Сердцемъ его всегда влекло туда,—черта историческая. Люди безъ гроша, старики, отставные солдаты, старыя бабы, совершенно не зная географіи, уходили изъ селеній своихъ съ нищенскими котомками своими за плечами, и дѣйствительно, иногда, послѣ безчисленныхъ бѣдствій, достигали святыхъ земель. Когда же возвращались на родину, то рассказы ихъ объ ихъ странствованіяхъ благоговѣнно выслушивались. Да и вообще рассказы про „божественное“ очень любить русскій народъ. Мужики, дѣти ихъ, въ городахъ мѣщане, купцы даже, этихъ рассказовъ заслушиваютъ, съ умиленіемъ и воздыханіемъ. Напримѣръ, вопросъ: кто читалъ Четы-Миней? Въ монастырѣ кто-нибудь, изъ свѣтскихъ профессоровъ какой-нибудь по обязанности, или какой-нибудь старикашка-чудакъ, который постится и ходитъ во всеошной. Да и достать ихъ трудно: надо купить, а попробуйте, попросите почитать на время въ приходѣ—не дадутъ. И вотъ, вѣрите ли вы тому, что по всей землѣ русской чрезвычайно распространено знаніе Четы-Миней—о, не всей, конечно, книги,—но распространенъ духъ ея, по крайней мѣрѣ,—почему же такъ? А потому, что есть чрезвычайно много рассказчиковъ и рассказчицъ о Житіяхъ Святыхъ. Рассказываютъ они изъ Четы-Миней прекрасно, точно, не вставляя ни единого лишняго слова отъ себя, и ихъ заслушиваютъ. Я самъ въ дѣтствѣ слышалъ такіе рассказы прежде еще, чѣмъ научился читать. Слышалъ я потомъ эти рассказы даже въ острогахъ у разбойниковъ, и разбойники слушали и воздыхали. Эти рассказы передаются не по книгамъ, а заучились изустно. Въ этихъ рассказахъ, и въ рассказахъ про святыхъ мѣста, заключается для русскаго народа, такъ сказать, нѣчто покаянное и очистительное. Даже худые, дрянные люди, барышники и притѣснители, получали нерѣдко странное и неудержимое желаніе идти странствовать, очиститься трудомъ, подвигомъ, исполнить давно данное обѣщаніе. Если не на Востокъ, не въ Іерусалимъ, то устремлялись ко святымъ мѣстамъ русскимъ, въ Кіевъ, въ Соловецкимъ чудотворцамъ. Некрасовъ, создавая своего великаго „Власа“, какъ великій художникъ, не могъ и вообразить его себѣ иначе, какъ въ веригахъ, въ покаянномъ скиталь-

чествѣ. Черта эта въ жизни народа нашего—историческая, на которую невозможно не обратить вниманія, даже и потому только, что ея нѣтъ болѣе ни въ одномъ европейскомъ народѣ. Чтò изъ нея выйдетъ—сказать трудно, тѣмъ болѣе, что и къ нашему народу надвигаются, черезъ школы и грамотность, просвѣщеніе и несомнѣнно новые вопросы, которые могутъ многое измѣнить. Но пока ея, и только ея одною, то-есть этою только чертою и возможно объяснить всю *загадку сознательности* прошлогодняго движенія народа нашего въ пользу „братевъ-славянъ“, какъ выражались прошлаго года официально, а теперь какъ выражаются почти въ насмѣшку. Про славянъ дѣйствительно народъ нашъ почти ничего не зналъ, и не только одинъ на тысячу, какъ выражается Левинъ, но на много тысячъ одинъ какой-нибудь, можетъ быть, слышалъ, какъ-нибудь мелькомъ, что есть тамъ какіе-то сербы, черногорцы, болгары, единовѣрцы наши. Но зато народъ нашъ, почти весь, или *въ чрезвычайномъ большинствѣ*, слышалъ и знаетъ, что есть православные христіане подъ игомъ Магометовымъ, страдаютъ, мучаются, и что даже самыя святыя мѣста, Іерусалимъ, Аѳонъ, принадлежатъ иновѣрцамъ. Онъ даже двадцать слишкомъ лѣтъ тому назадъ могъ слышать объ истязуемыхъ восточныхъ христіанахъ и о порабощенныхъ святыхъ мѣстахъ, когда покойный государь начиналъ свою войну съ Турціей, а потомъ съ Европой, кончившуюся Севастополемъ. Тогда тоже, въ началѣ войны, пронеслось сверху слово о святыхъ мѣстахъ, которое народъ могъ тоже съ тѣхъ поръ запомнить. Кромѣ того, еще задолго до прошлогодняго подъема нашего въ пользу славянъ, начались истязанія этихъ славянъ, и почти годъ какъ объ этомъ уже говорили и писали въ Россіи, и я самъ слышалъ, какъ въ народѣ уже спрашивали даже тогда еще: „правда ли, что турокъ опять подымается?“ Кромѣ того (хотя это и отдаленное соображеніе), но мнѣ кажется, что и время какъ бы всему этому способствовало, т.-е. прошлогоднему движенію. Довольно давно уже, относительно говоря, какъ послѣдовало у насъ освобожденіе крестьянъ, и вотъ прошли эти годы—и чтò же увидѣлъ въ средѣ своей народъ? Увидѣлъ онъ, между прочимъ, увеличившееся пьянство, умножившихся и усилившихся кулаковъ, кругомъ себя нищету, на себѣ нерѣдко звѣриный образъ,—многихъ, о, многихъ, можетъ быть, брала уже за сердце

какая-то скорбь, покаянная скорбь, скорбь самообвинения, исканія лучшаго, святого... И вотъ вдругъ раздается голосъ объ угнетеніи христіанъ, объ мученіяхъ за Церковь, за вѣру, • христіанахъ, полагающихъ голову за Христа и идущихъ на крестъ—(такъ какъ если бы они согласились отречься отъ Креста и принять магометанство, то были бы всѣ пощажены и награждены,—это-то уже, конечно, народу было извѣстно). Поднялись воззванія къ жертвованіямъ, затѣмъ пронесся слухъ про русскаго генерала, побѣдившаго помогать христіанамъ, затѣмъ начались добровольцы,—все это потрясло народъ. Именно потрясло, какъ я выразился выше, какъ бы *призывомъ къ покаянію, къ говнню*. Кто не могъ идти самъ, принесъ свои гроши, но добровольцевъ всѣ провожали, всѣ, вся Россія. Старый князь, сидя въ Карлсбадѣ, не могъ понять этого движенія и воротился въ самый разгаръ его съ юморомъ на устахъ. Но вѣдь что же могъ понять въ Россіи и въ русскомъ человѣкѣ этотъ клубный старичокъ? Умный Левинъ могъ бы понять гораздо болѣе его, но его сбило съ толку соображеніе, что народъ не знаетъ исторіи и географіи, а главное досада на то, что какіе-то Рагозовы объявляютъ войну даже не спрося его. Но объявленія войны не было, а со стороны народа было какъ бы всеобщее умиленное покаяніе, жажда принять участіе въ чемъ-то святомъ, въ дѣлѣ Христовомъ, за ревнующихъ о крестѣ его,—вотъ все, что было. Такъ что движеніе-то было и покаянное, и въ то же время историческое. Замѣьте себѣ, что, говоря про эту историческую черту русскаго народа, т.-е. про ревность его къ „дѣлу Божію“, ко святымъ мѣстамъ, къ угнетенному христіанству и вообще ко всему *покаянному, божественному*, я вѣдь вовсе не думаю хвалить за это русскій народъ: я не хвалю и не хую, я только констатирую фактъ, *которымъ многое объяснить можно*. Что же дѣлать, что у насъ есть такая *историческая* черта? Я не знаю, что изъ нея выйдетъ, но очень можетъ быть что-нибудь и выйдетъ. Въ жизни народовъ все важнѣйшее слагается всегда сообразно съ ихъ важнѣйшими и характернѣйшими національными особенностями. Пока, на примѣръ, у насъ, изъ вышеуказанной исторической черты народа нашего, выходитъ, можетъ-быть, *каждый разъ*, въ войну Россіи съ султаномъ,—сознательно-национальное отношеніе народа нашего ко всякой такой войнѣ,

такъ что нечего дивиться горячему участию народа въ такой войнѣ собственно потому только, что онъ не знаетъ исторіи и географіи. Чтò надо знать ему—онъ знаетъ. О, нашъ народъ безграмотный невѣжда, что безспорно, и ему даже въ нравственномъ отношеніи можно бы насказать множество превосходныхъ и просвѣщеннѣйшихъ вещей насчетъ столь застарѣлой въ немъ древней исторической черты его. Этими русскимъ людямъ можно бы было разъяснить, что всѣ ихъ странствованія, паломничества—суть только узкое пониманіе ихъ долга и обязанностей; что нечего ходить за хорошимъ такъ далеко, что лучше было бы, если бь онъ бросилъ пьянство, обратилъ вниманіе на умноженіе своего благосостоянія, на приклоненіе экономическихъ силъ, не билъ жену, обратилъ вниманіе на школы, на шоссеиыя дороги и проч., однимъ словомъ, хоть чѣмъ бы нибудь способствовалъ, чтобъ Россія, его отечество, стала, наконецъ, походить на другія „просвѣщенные европейскія государства“. Можно бы внушить, наконецъ, паломнику, что хожденія его по святымъ мѣстамъ Богу вовсе ненадобны, потому главное, что ни ему самому, ни семейству его и никому пользы никакой не приносятъ, а что, напротивъ, приносятъ даже вредъ, ибо странствующій, уходя надолго, оставляетъ свой домъ, родину, въ сущности для цѣли эгоистической, для спасенія души своей, тогда какъ Богу несравненно было бы пріятнѣе, если бь онъ употребилъ свой праздный досугъ на какую-нибудь пользу ближнему: посидѣлъ бы на огородѣ, присмотрѣлъ бы за телятами и проч., и проч. Однимъ словомъ, можно бы наговорить много прекраснаго; но чтò же, однако, дѣлать, если такъ именно сложилась эта историческая черта и исканіе добраго приняло въ народѣ нашемъ почти что одну эту форму, то-есть форму *покаянную* въ паломническомъ или жертвенномъ видѣ? По крайней мѣрѣ, въ ожиданіи „просвѣщенія“, умный Левинъ могъ бы зачестъ народу эту историческую черту его. Онъ могъ бы понять, по крайней мѣрѣ, что многіе добровольцы и народъ, провожавшій ихъ, дѣйствовали изъ побужденія хорошаго, думали дѣло сдѣлать доброе (въ этомъ нельзя же не согласиться!), а, стало-быть, во всякомъ случаѣ, это были хорошіе представители народа, конечно, не „блиставшіе просвѣщеніемъ“, но и не потерянные же люди, не безшабашные, не стрюцкіе, не заболтавшіеся, а, напротивъ, даже, можетъ-быть, лучшіе

люди изъ народа. Дѣло это было ведено прямо, какъ Христово дѣло, а у многихъ, у очень многихъ въ тайникахъ души ихъ — именно какъ очистительное и покаянное дѣло. И не одинъ-то изъ всего этого народа не чувствовалъ себя, за это дѣло, виноватымъ передъ Царемъ своимъ! Напротивъ, зная, что милосерднымъ сердцемъ своимъ Царь-Освободитель заодно съ народомъ своимъ. Воли Царевой, слова его, всѣ ждали въ умилени и надеждѣ, а мы, мы, сидя по угламъ нашимъ, радовались еще про себя, что великій народъ русскій оправдалъ великую и вѣчную надежду нашу на него. А потому могло ли быть, хоть съ какой-нибудь стороны, примѣнено къ нему и къ его благородному и вроткому движенію — сравненіе съ шайкой Пугачева, съ коммуной и проч.! Именно только раздраженный до сотрясенія ипохондрикъ Левинъ могъ провозгласить это. Вотъ что значитъ обидчивость!

IV.

Сотрясеніе Левина. Вопросъ: Имѣетъ ли разстояніе вліяніе на человѣколюбіе? Можно ли согласиться съ мнѣніемъ одного плѣннаго турка о гуманности нѣкоторыхъ нашихъ дамъ? Чему же, наконецъ, насъ учать наши учителя?

Но сотрясеніе идетъ еще далѣе: Левинъ прямо и назойливо провозглашаетъ, что состраданія къ мученіямъ славянъ, что „*непосредственнаго чувства къ угнетенію славянъ нѣтъ, и не можетъ быть*“. Сергій Ивановичъ говоритъ:

...Тутъ нѣтъ объявленія войны, а просто выраженіе человѣческаго, христіанскаго чувства. Убиваютъ братьевъ, единокровныхъ и единовѣрцевъ. Ну, положимъ, даже не братьевъ, не единовѣрцевъ, а просто дѣтей, женщинъ, стариковъ: чувство возмущается и русскіе люди бѣгутъ, чтобъ помочь прекратить эти ужасы. Представь себѣ, что ты бы шелъ по улицѣ и увидѣлъ бы, что пьяные бьютъ женщину или ребенка: я думаю, ты не сталъ бы спрашивать, объявлена или не объявлена война этому человѣку, а ты бы бросился на него и защитилъ бы обижаемаго.

— Но не убилъ бы, сказалъ Левинъ.

— Нѣтъ, ты бы убилъ.

— Я не знаю. Если бы я увидалъ это, я бы отдался своему чувству непосредственному; *но впередъ сказать я не могу*. И такого непосредственнаго чувства къ угнетенію славянъ нѣтъ, и не можетъ быть.

— Можетъ-быть, для тебя нѣтъ. Но для другихъ оно есть, недовольно хмурясь, сказалъ Сергій Ивановичъ. — Въ народѣ живы преданія о православныхъ людяхъ, страдающихъ подъ игомъ «нечестивыхъ Агарянъ». Народъ услышалъ о страданіяхъ своихъ братій и заговорилъ.

— Можетъ быть, уклончиво сказалъ Левинъ, — но я не вижу; я *самъ народъ*, и я не чувствую этого.

И опять: „я самъ народъ“. Повторяю еще разъ: всего только два часа тому, какъ этотъ Левинъ и вѣру-то свою получилъ отъ мужика, по крайней мѣрѣ, тотъ надоумилъ его какъ вѣрить. Я не восхваляю мужика и не унижаю Левина, да и судить не берусь теперь, кто изъ нихъ лучше вѣрилъ и чье состояніе души было выше и развитѣе, ну, и проч., и проч. Но вѣдь согласитесь сами, повторяю это, что ужъ изъ одного этого факта Левинъ могъ бы догадаться, что есть же нѣкоторая *существенная* разница между нимъ и народомъ. И вотъ онъ говоритъ: „Я самъ народъ“. А почему онъ такъ увѣренъ въ томъ, что онъ самъ народъ? А потому, что запрячь телѣгу умѣетъ и знаетъ, что огурцы съ медомъ ѣсть хорошо. Вотъ вѣдь люди! И какое самомнѣніе, какая гордость, какая заносчивость!

Но все же не въ томъ главное. Левинъ увѣряетъ, что непосредственнаго чувства къ угнетенію славянъ *нѣтъ и не можетъ быть*. Ему возражаютъ, что „народъ услыхалъ о страданіяхъ своихъ братій и заговорилъ, а онъ отвѣчаетъ: Можетъ-быть, но я не вижу; я самъ народъ, *и я не чувствую этого*“!

То-есть состраданія? Замѣтите, что споръ Левина съ Сергѣемъ Ивановичемъ о состраданіи и о непосредственномъ чувствѣ къ угнетенію славянъ ведется уклончиво и какъ бы съ намѣреніемъ, чтобъ кончить побѣдою Левина. Сергѣй Ивановичъ спорить, напимѣръ, изо всѣхъ силъ, что если бъ Левинъ шелъ и увидѣлъ, что пьяные бьютъ женщину, то онъ бы бросился освободить ее! „Но не убилъ бы!“ возражаетъ Левинъ.—Нѣтъ, ты бы убилъ, настаиваетъ Сергѣй Ивановичъ, и ужъ, конечно, говоритъ вздоръ, потому что кто жъ, помогая женщинѣ, которую бьютъ пьяные, убьетъ пьяныхъ? Можно освободить и не убивая. А главное, дѣло вовсе идетъ не о дракѣ на улицѣ, сравненіе невѣрно и не однородно. Говорятъ о славянахъ, объ истязаніяхъ, пыткахъ и убійствахъ, которыми они подвергаются, и Левинъ слишкомъ знаетъ, что онъ говоритъ о славянахъ. Стало-быть, когда онъ говоритъ, что онъ не знаетъ, помогъ ли бы онъ, что онъ не видитъ и *ничего не чувствуетъ* и проч., и проч., то именно заявляетъ, что не чувствуетъ состраданія къ мученіямъ славянъ (а не къ мученіямъ прибитой пьяными женщины)

и настаиваетъ, что непосредственнаго чувства къ угнетенію славянъ нѣтъ и не можетъ быть, а не къ угнетенію пьяной женщины. Да такъ онъ буквально и выражается.

Здѣсь довольно любопытный психологическій фактъ. Книга вышла всего 2¹/₂ мѣсяца назадъ, а 2¹/₂ мѣсяца назадъ уже совершенно извѣстно было, что всѣ безчисленные рассказы о безчисленныхъ мученіяхъ и истязаніяхъ славянъ—совершенная истина,—истина, засвидѣтельствованная теперь тысячью свидѣтелей и очевидцевъ всѣхъ націй. То, что мы узнали въ эти полтора года объ истязаніяхъ славянъ, пересиливаетъ фантазію всякаго, самаго болѣзненнаго и изстуженнаго воображенія. Извѣстно, во-первыхъ, что убійства эти не случайныя, а систематическія, нарочно возбуждаемыя и всячески поощряемыя. Истребленія людей производятся тысячами и десятками тысячъ. Утонченности въ мученіяхъ таковы, что мы не читали и не слыхивали ни о чемъ еще подобномъ прежде. Съ живыхъ людей сдирается кожа въ глазахъ ихъ дѣтей; въ глазахъ матерей подбрасываютъ и ловятъ на штыкъ ихъ младенцевъ, производится насильничанье женщинъ и въ моментъ насилія онъ прокалываетъ ее кинжаломъ, а главное мучатъ въ пыткахъ младенцевъ и ругаются надъ ними. Левинъ говоритъ, что онъ не чувствуетъ *ничего* (!), и азартно утверждаетъ, что непосредственнаго чувства къ угнетенію славянъ нѣтъ и не можетъ быть. Но смѣю увѣрить г. Левина, что оно можетъ быть и что я самъ былъ тому уже неоднократно свидѣтелемъ. Я видѣлъ, напри- мѣръ, одного господина, который о своихъ чувствахъ говоритъ не любитъ, но который, услышавъ какъ одному двухлѣтнему мальчику, въ глазахъ его сестры, прокололи иглой глаза и потомъ посадили на колъ, такъ что ребенокъ все-таки не скоро умеръ и еще долго кричалъ,— услышавъ про это, этотъ господинъ чуть не сдѣлался боленъ, всю ту ночь не спалъ и два дня послѣ того находился въ тяжеломъ и разбитомъ состояніи духа, мѣшавшемъ его занятіямъ. Смѣю увѣрить при этомъ г. Левина, что господинъ этотъ человекъ честный и безспорно-порядочный, далеко не стрюцкій и ужъ отнюдь не членъ шайки Пугачева. Я хотѣлъ только заявить, что непосредственное чувство къ истязаніямъ славянъ существовать можетъ, и даже самое сильное, и даже во всѣхъ классахъ общества. Но Левинъ настаиваетъ, что его *не можетъ и быть* и что самъ онъ *ничего* не чувствуетъ. Это

для меня загадка. Конечно, есть просто безчувственные люди, грубые, съ развитіемъ извращеннымъ. Но вѣдь Левинъ, кажется, не таковъ, онъ выставленъ человѣкомъ вполне чувствительнымъ. Не дѣйствуетъ ли здѣсь просто разстояніе? Въ самомъ дѣлѣ, нѣтъ ли въ иныхъ натурахъ этой *психологической* особенности: „Самъ, дескать, не вижу, происходитъ далеко, ну, вотъ ничего и не чувствую“. Кромѣ шутокъ, представьте, что на планетѣ Марсъ есть люди, и что тамъ выкалываютъ глаза младенцамъ. Вѣдь, можетъ-быть, и не было бы намъ на землѣ жалко, по крайней мѣрѣ, такъ ужъ очень жалко? То же самое, пожалуй, можетъ быть и на землѣ при очень большихъ разстояніяхъ: „Э, дескать, въ другомъ полушаріи, не у насъ!“ То-есть, хоть онъ и не выговариваетъ это прямо, но такъ чувствуетъ, т.-е. *ничего* не чувствуетъ. Въ такомъ случаѣ, если разстояніе дѣйствительно такъ вліяетъ на гуманность, то рождается самъ собою новый вопросъ: на какомъ разстояніи кончается человѣколюбіе? А Левинъ дѣйствительно представляетъ большую загадку въ человѣколюбіи. Онъ прямо утверждаетъ, что онъ *не знаетъ*, убилъ ли бы онъ.

— Если бы я увидалъ это, я бы отдался своему чувству непосредственному, но вперёдъ сказать я не могу.

Значить, не знаетъ что бы онъ сдѣлалъ. А между тѣмъ это человѣкъ чувствительный, и вотъ, какъ чувствительный-то человѣкъ, онъ и боится убить... турку. Представимъ себѣ такую сцену: стоитъ Левинъ уже на мѣстѣ, тамъ, съ ружьемъ и со штыкомъ, а въ двухъ шагахъ отъ него турокъ сладострастно готовится выколоть иголкой глазки ребенку, который уже у него въ рукахъ. Семилѣтняя сестренка мальчика кричитъ и какъ безумная бросается вырвать его у турка. И вотъ, Левинъ стоитъ въ раздумьи и колеблется:

— Не знаю, что сдѣлать. Я ничего не чувствую. Я самъ народъ. Непосредственнаго чувства къ угнетенію славянъ нѣтъ, и не можетъ быть.

Нѣтъ серьезно, что бы онъ сдѣлалъ, послѣ всего того, что намъ высказалъ? Ну, какъ бы не освободить ребенка? Неужели дать замучить его, неужели не вырвать, сейчасъ же, изъ рукъ злодѣя турка?

— Да, вырвать, но, вѣдь, пожалуй, придется больно толкнуть турка?

— Ну и толкни!

— Толкни! А какъ онъ не захочетъ отдать ребенка и выхватить саблю? Вѣдь придется, можетъ-быть, убить турку?

— Ну и убей!

— Нѣтъ, какъ можно убить! Нѣтъ, нельзя убить турку. Нѣтъ, ужъ пусть онъ лучше выколетъ глазки ребенку и замукаетъ его, а я уйду къ Кити.

Вотъ какъ долженъ поступить Левинъ, это прямо выходитъ изъ его убѣжденій и изъ всего того, что онъ говорить. Онъ прямо говорить, что *не знаетъ*, помогъ ли бы онъ женщинѣ или ребенку, если бы приходилось убить при этомъ турку. А турокъ ему жаль ужасно.

— Двадцать лѣтъ тому назадъ мы бы молчали (говорить Сергѣй Ивановичъ), а теперь слышенъ голосъ русскаго народа, который готовъ встать, какъ одинъ человекъ, и готовъ жертвовать собой для угнетенныхъ братьевъ; это великій шагъ и задатокъ силы.

— Но, вѣдь, не жертвовать только, а убивать турокъ, робко сказалъ Левинъ.— Народъ жертвуетъ и готовъ жертвовать для своей души, а не для убійства...

То — есть, другими словами: „возьми дѣвочка деньги, жертву для души нашей, а ужъ братишкѣ пусть выколетъ глазки. Нельзя же турку убивать...“

И потомъ дальше уже говорить самъ авторъ про Левина:

... Онъ не могъ согласиться съ тѣмъ, чтобы десятки людей, въ числѣ которыхъ и братъ его, имѣли право, на основаніи того, что имъ рассказали сотни приходившихъ изъ столицы краснобаевъ-добровольцевъ, говорить, что они съ газетами выражаютъ волю и мысль народа, и такую мысль, *которая выражается въ мщеніи и убійствѣ*.

Это несправедливо: *мщенія нѣтъ* никакого. У насъ и теперь ведется война съ этими кровопійцами и мы слышимъ только о самыхъ гуманнѣйшихъ фактахъ со стороны русскихъ. Смѣло можно сказать, что немногія изъ европейскихъ армій поступили бы съ такимъ непріателемъ такъ, какъ поступаетъ теперь наша. Недавно только, въ двухъ или трехъ изъ нашихъ газетъ, была проведена мысль, что не полезнѣе ли бы было, и именно для уменьшенія звѣрствъ, ввести репрессалии съ отъявленно-уличенными въ звѣрствахъ и мучительствахъ турками? Они убиваютъ плѣнныхъ и раненныхъ послѣ неслыханныхъ истязаній, въ родѣ отрѣзыванія носовъ и другихъ членовъ. У нихъ объявились специалисты истребленія грудныхъ младенцевъ, мастера, которые, схвативъ грудного ребенка за обѣ ножки, разрываютъ его сразу пополамъ, на потѣху и хохотъ своихъ товарищей башибузуковъ. Эта изолгавшаяся и изподлившаяся нація отпирается отъ

звѣрствъ, совершенныхъ ею. Министры султана увѣряютъ, что не можетъ быть умерщвленія плѣнныхъ, ибо „коранъ запрещаетъ это“. Еще недавно человѣколюбивый императоръ германскій съ негодованіемъ отвергъ официальную и лживую, повсемѣстную жалобу турокъ на русскія, будто бы, жестокости и объявилъ, что не вѣрится имъ. Съ этой подлой націей нельзя бы, кажется, поступать по-человѣчески, но мы поступаемъ по-человѣчески. Осмѣлюсь выразить даже мое личное мнѣніе, что къ репрессаліямъ противъ турокъ, уличенныхъ въ убійствѣ плѣнныхъ и раненыхъ, лучше бы не прибѣгать. Врядъ ли это уменьшило бы ихъ жестокости. Говорятъ, они и теперь, когда ихъ берутъ въ плѣнъ, смотрятъ испуганно и недовѣрчиво, *твердо убѣжденные*, что имъ сейчасъ стануть отрѣзывать головы. Пусть уже лучше великодушное и человѣколюбивое веденіе этой войны русскими не омрачится репрессаліями. Но выкалывать глаза младенцамъ нельзя допускать, а для того, чтобы пресѣчь навсегда злодѣйство, надо освободить угнетенныхъ накрѣпко, а у тирановъ вырвать оружіе разъ навсегда. Не безпокойтесь, когда ихъ обезоружать, они будутъ дѣлать и продавать халаты и мыло, какъ наши казанскіе татары, объ чемъ уже я и говорилъ, но чтобы вырвать изъ рукъ ихъ оружіе, надо вырвать его въ бою. Но бой не мщеніе, Левинъ можетъ быть за турка спокоенъ.

Левинъ могъ бы быть и прошлаго года за турку спокоенъ. Развѣ онъ не знаетъ русскаго человѣка, русскаго солдата? Вотъ пишутъ, что солдатъ хоть и колетъ изверга турку въ бою, но что видѣли, какъ съ плѣннымъ туркой онъ уже не разъ дѣлился своимъ солдатскимъ раціономъ, кормилъ его, жалѣлъ его. И повѣрьте, что солдатикъ зналъ все про турка, зналъ, что попался бы онъ самъ къ нему въ плѣнъ, то этотъ же самый плѣнный турокъ отрѣзалъ бы ему голову и вмѣстѣ съ другими головами сложилъ бы изъ нихъ полумѣсяцъ, а въ срединѣ полумѣсяца сложилъ бы срамную звѣзду изъ другихъ частей тѣла. Все это знаетъ солдатикъ и все-таки кормить измученнаго въ бою и захваченнаго въ плѣнъ турку: „человѣкъ тоже, хоть и не хрестьянинъ“. Корреспондентъ англійской газеты, видя подобные случаи, выразился: „это армія джентльменовъ“. И Левинъ лучше многихъ другихъ могъ бы знать, что это дѣйствительно армія джентльменовъ. Когда болгары въ иныхъ городахъ спрашивали Его Вы-

сочество главнокомандующаго, какъ имъ поступать съ имуществомъ бѣжавшихъ турокъ, то онъ отвѣчалъ имъ: „имущество собрать и сохранить до ихъ возвращенія, поля ихъ убрать и хлѣбъ сохранить, взявъ треть въ вознагражденіе за трудъ“. Это тоже слова джентльмена, и, повторяю, Левинъ могъ бы быть спокоенъ за турокъ: гдѣ тутъ мщеніе, гдѣ репрессалии? Сверхъ того, Левинъ, столь тонко знающій русское общество, могъ бы тоже сообразить, что турокъ спасетъ еще нашъ ложный европеизмъ и наше нелѣпое, выдѣланное и прямолинейное сентиментальничанье, столь нерѣдкое въ нашемъ образованномъ обществѣ. Слыхаль ли Левинъ про нашихъ дамъ, которыя провозимымъ въ вагонахъ плѣннымъ туркамъ бросаютъ цвѣты, выносятъ дорогого табаку и конфетъ? Писали, что одинъ турокъ, когда тронулся опять поѣздъ, громко харкнулъ и энергически плюнулъ въ самую группу гуманнѣхъ русскихъ дамъ, махавшихъ отходящему поѣзду вслѣдъ платочками. Конечно, трудно согласиться вполне съ мнѣніемъ этого безчувственнаго турка, и Левинъ можетъ разсудить, что тутъ со стороны ласкавшихъ турокъ дамъ нашихъ—лишь истерическое сентиментальничаніе и ложный либеральный европеизмъ: „вотъ, дескать, какъ мы гуманны и какъ мы европейски развиты, и какъ мы умѣемъ это выказать!“ Но, однако, самъ-то Левинъ: развѣ не ту же прямолинейность, не то же сентиментальное европейничанье онъ самъ проповѣдуетъ и высказываетъ? Убиваютъ турокъ въ войнѣ, въ честномъ бою, не *мстя* имъ, а единственно *потому*, что иначе никакъ нельзя вырвать у нихъ изъ рукъ ихъ безчестное оружіе. Такъ было и прошлаго года. А если не вырвать у нихъ оружіе и—чтобъ не убивать ихъ—уйти, то они вѣдъ тотчасъ же опять станутъ вырѣзывать груди у женщинъ и прокалывать младенцамъ глаза. Какъ же быть? Дать лучше прокалывать глаза, чтобъ только не убить какъ-нибудь турку? Но вѣдъ это извращеніе понятій, это тупѣйшее и грубѣйшее сентиментальничаніе, это изступленная прямолинейность; это самое полное извращеніе природы. Къ тому же, принужденный убивать турку солдатъ, самъ несетъ жизнь свою въ жертву, да еще терпитъ мученія и истязанія. Для мщенія ли, для убійства ли одного только поднялся русскій народъ? И когда бывало это, чтобъ помощь убиваемымъ, истребляемымъ цѣлыми областями, насилуемымъ женщинамъ и дѣтямъ и за которыхъ уже въ

цѣломъ свѣтѣ совершенно некому заступиться—считалась бы дѣломъ грубымъ, смѣшнымъ, почти безнравственнымъ, жаждой мщенія и кровопійства! И что за безчувственность рядомъ съ сентиментальностью! Вѣдь у Левина у самого есть ребенокъ, мальчикъ, вѣдь онъ же любить его, вѣдь когда моютъ въ ваннѣ этого ребенка такъ вѣдь это въ домѣ въ родѣ событія; какъ же не искривить ему сердце свое, слушая и читая объ избіеніяхъ массаами, объ дѣтяхъ съ проломанными головами, ползающихъ около изнасилованныхъ своихъ матерей, убитыхъ, съ вырѣзанными грудями. Такъ было въ одной болгарской церкви, гдѣ нашли двѣсти такихъ труповъ, послѣ разграбленія города. Левинъ читаетъ все это, и стоитъ въ задумчивости:

— Кити весела и съ аппетитомъ сегодня кушала; мальчика вымыли въ ваннѣ и онъ сталъ меня узнавать: какое мнѣ дѣло, что тамъ въ другомъ полушаріи происходитъ; *непосредственнаго чувства къ умнѣнію славянъ нѣтъ и не можетъ быть*,—потому что я *ничего* не чувствую.

Этимъ ли закончилъ Левинъ свою эпопею? Его ли хочеть выставить намъ авторъ, какъ примѣръ правдиваго и честнаго человѣка? Такіе люди, какъ авторъ Анны Карениной—суть учителя общества, наши учителя, а мы лишь ученики ихъ. Чему жъ они насъ учать?



ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ

СОЧИНЕНИЙ

Ф. М. Достоевскаго.

ТОМЪ ОДИННАДЦАТЫЙ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Дневникъ писателя

за 1877 г.

Безплатное приложёне къ журналу „НИВА“ на 1895 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1895.

Доволено цензурою. СПБ. 23 іюля 1895 г.

Типографія А. Ф. МАРКСА, Средняя Подъячская, д. № 1.

СЕНТЯБРЬ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

I.

Несчастливцы и неудачники.

Трудно представить себѣ болѣе несчастныхъ людей, какъ французскіе республиканцы и ихъ французская республика. Вотъ уже скоро сто лѣтъ тому, какъ въ первый разъ появилось на свѣтъ это учрежденіе, и съ тѣхъ поръ каждый разъ (теперь уже въ третій), когда ловкіе узурпаторы конфисковали республику въ свою пользу, никто не вставалъ серьезно ее защищать, кромѣ какой-нибудь кучки. Всенародной сильной поддержки ни въ одинъ разъ не было. Да и въ тѣ сроки, когда приходилось ей существовать, рѣдко кто ее считалъ за дѣло окончательное, а не переходное. Тѣмъ не менѣе, нѣтъ людей болѣе убѣжденныхъ въ сочувствіи къ нимъ страны, какъ французскіе республиканцы.

Впрочемъ, въ первыя двѣ попытки создать во Франціи республику, въ прошломъ столѣтіи и въ 1848 году, все же могли быть, особенно въ началѣ попытокъ, нѣкоторыя основанія у тогдашнихъ республиканцевъ рассчитывать на сочувствіе къ нимъ страны. Но у нынѣшнихъ, у теперешнихъ республиканцевъ,—вотъ тѣхъ самыхъ, которыхъ въ самомъ скоромъ времени предназначено конфисковать, вмѣстѣ съ ихъ республикой, кому-то въ свою пользу, казалось бы, не могло быть никакихъ уже надеждъ на твердую будущность, даже и въ случаѣ нѣкотораго сочувствія къ нимъ страны (очень, впрочемъ, нетвердаго, такъ какъ

и существуютъ-то они теперь лишь отрицательно, по по-
 словицѣ: на безрыбьи и ракъ рыба). А между тѣмъ, на-
 канунѣ почти вѣрнаго своего паденья, они убѣждены въ
 полной побѣдѣ. И, однако, что это за несчастные были
 люди и что за несчастная была эта послѣдняя третья
 республика, которую хоть и признавалъ покойникъ Тьеръ,
 но именно какъ рака на безрыбьи! Вспомнимъ только,
 какъ явилась эта третья республика на свѣтъ. Почти
 двадцать лѣтъ эти республиканцы ждали „славной“ ми-
 нуты, когда рухнетъ узурпаторъ и когда ихъ опять „по-
 зоветъ страна“. И что же случилось: захвативъ власть
 послѣ Седана, эти неудачники принуждены были взвалить
 себѣ на плечи страшную войну, которой не хотѣли, но
 которую наградила ихъ тотъ же узурпаторъ, уѣзжая ку-
 рить свои папироски въ прелестный замокъ Вильгельмс-
 геге. И если злился на нихъ этотъ коварный узурпаторъ,
 гуляя по аллеямъ садовъ нѣмецкаго замка, за то, что
 они захватили опять его власть, то навѣрно и усмѣхался
 про себя, минутами, ежидной усмѣшкою, при мысли о
 томъ, какъ отмстить онъ имъ, сваливъ на ихъ слабыя
 плечи свою вину. Потому что, какъ бы тамъ ни было, а
 все-таки Франція обвиняла потомъ скорѣе ихъ, чѣмъ
 его, — по крайней мѣрѣ, болѣе ихъ, чѣмъ его, — въ томъ,
 что они продолжали безнадежную войну, не сумѣли за-
 мирить тотчасъ же, какъ приняли власть, отдали двѣ
 большія провинціи, три миллиарда, разорили страну, сра-
 жались неумѣло, распорядились на авось, беспорядочно
 и безъ контроля, въ чемъ до сихъ поръ обвиняютъ быв-
 шаго тогдашняго диктатора Гамбетту, ни въ чемъ однако
 не виноватаго, а, напротивъ, сдѣлавшаго все, что только
 можно было сдѣлать при страшныхъ тогдашнихъ обстоя-
 тельствахъ. Однимъ словомъ, это обвиненіе въ неумѣлости
 республиканцевъ и въ загубленіи ими страны держалось
 и держится даже теперь очень серьезно и твердо. Пусть
 всѣ понимаютъ, что первая причина бѣды былъ импера-
 торъ Наполеонъ, „но они-то, дескать, зачѣмъ не сумѣли
 поправить дѣла, если взялись за него? Мало того—испор-
 тили его какъ нельзя вообразить хуже“—вотъ обвиненіе!
 Мало того: рядомъ съ обвиненіемъ пало на нихъ даже
 что-то презрительное и смѣшное при мысли, въ какой
 просакъ попались они въ самомъ началѣ, какъ захватили
 власть, и однако, что другое они могли тогда сдѣлать?
 Не принять этой войны, замирить съ самаго начала по

принятіи ими власти послѣ Седана, было совсѣмъ невозможно: нѣмцы и тогда потребовали бы уступки территоріи и денегъ, и что же бы случилось съ республиканцами, если бъ они замирили на такихъ условіяхъ? Ихъ прямо обвинили бы въ малодушіи, въ безславіи страны, въ томъ, что они, „имѣя еще армію“, не сопротивлялись, а позорно сдались. Хорошо было бы вклеимо на ихъ новой республикѣ! А такъ какъ для нихъ республика и ея восстановление во Франціи были гораздо дороже спасенія страны, составляло все, то они и принуждены были воевать, почти явно предчувствуя, что придуть еще къ большому позору въ концѣ войны. Значить и спереди былъ позоръ, и сзади стоялъ позоръ—положеніе не только несчастное, не только трагическое, но въ нѣкоторомъ отношеніи даже и комическое, ибо не въ такомъ совсѣмъ видѣ воображали они воцариться послѣ тирана!

Этотъ комизмъ усугубился еще болѣе тѣмъ, что воцарились они все-таки съ самымъ легкимъ сердцемъ, несмотря ни на что, то-есть не то чтобъ они не горевали о Франціи — о, между ними есть превосходные люди по чувствамъ и даже истинные слуги отечества, въ томъ случаѣ, если оно будетъ называться республикой. Даже, можетъ-быть, есть и такихъ, одинъ или другой, которые даже республику готовы поставить на второй планъ, была бы лишь счастлива Франція (хотя врядъ ли, впрочемъ, такіе есть, именно развѣ одинъ или другой, а не больше). Но дѣло въ томъ, что все-таки они, чуть лишь замирили съ нѣмцами и расположились править страной уже на повоѣ, какъ тотчасъ же вообразили себѣ, что страна въ нихъ влюбилась безповоротно и что это по крайней мѣрѣ. Вотъ что было комично! Рѣшительно у всякаго французскаго республиканца есть роковое и губящее его убѣжденіе, что достаточно только одного слова „республика“, достаточно лишь только назвать страну республикой, какъ тотчасъ же она станетъ навѣки счастливою. Всѣ неудачи республики они всегда приписываютъ лишь внѣшнимъ, мѣшающимъ обстоятельствамъ, существованію узурпаторовъ, злыхъ людей, и ни разу не подумали о невѣроятной слабости тѣхъ корней, которыми скрѣпляется республика съ почвой Франціи и которые въ цѣлыя сто лѣтъ не могли окрѣпнуть и проникнуть въ нее глубже. Сверхъ того, республиканцы ни разу еще въ эти шесть лѣтъ не подумали, что комическое положеніе

ихъ, унаслѣдованное ими послѣ Наполеона III-го, все еще продолжается и теперь, и что если прошла старая бѣда, то близится новая, подобная старой, которая непременно поставитъ ихъ уже въ *самое* комическое положеніе, въ такое, при которомъ они уже и держаться во Франціи будутъ не въ состояніи, и это въ самомъ ближайшемъ, можетъ-быть, будущемъ. Этотъ грядущій комизмъ состоитъ въ томъ, что эта будущая бѣда, все такъ же, какъ и прежняя, заключается въ исполненіи ими высокаго долга службы отечеству *сознательно* ему на пагубу, кромѣ того, все такъ же, какъ и прежняя, совершенно неотразима и составляетъ почти точь-въ-точь такой же просакъ, въ какой они попались и въ 1871 году, и, наконецъ, къ довершенію досады, — все такъ же, какъ и прежняя бѣда, досталась имъ по наслѣдству все отъ того же Наполеона III-го, котораго они такъ ненавидятъ и котораго память такъ проклинали. Въ самомъ дѣлѣ: кто теперь самый ревностный послѣдователь французской республики и самый сочувствующій учрежденію ея челоѣкъ въ цѣломъ мірѣ? Безспорно, князь Бисмаркъ. До тѣхъ поръ, пока существуетъ во Франціи республика, не возможна война „возмездія“. Вообразить только, что республиканцы могли бы рѣшиться вновь объявить войну нѣмцамъ! Князь Бисмаркъ это понимаетъ. А между тѣмъ, ясно какъ день, что огромный, сорокамилліонный организмъ Франціи не можетъ оставаться вѣчно въ постыдной опеѣ Германіи. Язвы залѣчатся, потрясеніе забудется, придутъ новыя силы, нарастетъ здоровье, создадутся средства, войска, — и можетъ ли страна, которая столь долго первенствовала между націями политически, — не захотѣть опять прежней роли, прежняго положенія въ Европѣ? Эта минута, можетъ-быть, теперь уже вовсе не далека; избытокъ внутреннихъ силъ долженъ непременно стремить ихъ вырваться изъ опеки Бисмарка и возвратитъ себѣ всю прежнюю *независимость* (теперь еще Францію никакъ нельзя назвать независимой). И вотъ вся Франція, съ перваго новаго шагу своего, натолкнулась бы лбомъ на свою республику. Опять-таки повторю: вообразить только, что теперешніе республиканцы могли бы захотѣть въ чемъ-нибудь сгрубить князю Бисмарку, и до того, чтобъ даже рискнуть на войну съ нимъ? Во-первыхъ, кто за ними и пойдетъ-то, если бъ даже сама Франція хотѣла войны, а во-вторыхъ, неизбѣжно представляющееся соображеніе: ну

что если немцы ихъ опять разобьютъ? Вѣдь тогда уже конецъ республики во Франціи окончательный, потому что ихъ же и обвинить Франція за неуспѣхъ и навѣки уже прогнать, забывъ, что сама же захотѣла „возмездія“ и первенствующаго прежняго положенія... А сѣрѣпись республиканцы, не слушай новыхъ голосовъ и криковъ, не объявляй войну—это значило бы идти противъ стремленія страны, и тогда страна опять-таки смѣстила бы ихъ и отдалась бы первому явившемуся ловкому предводителю. Однимъ словомъ, и сзади Седанъ и впереди Седанъ! Между тѣмъ они навѣрно объ этомъ совсѣмъ еще не начинали думать, несмотря на то, что новый порывъ страны, можетъ-быть, очень близокъ. Никогда не думали и о томъ, что въ сущности они не болѣе какъ „протезе“ князя Бисмарка, и что Франція съ каждымъ годомъ вѣдь должна понимать это все болѣе и болѣе, и именно по мѣрѣ восстановления и нарастанія силъ своихъ, а стало-быть и презирала бы ихъ все болѣе и болѣе, сначала про себя и не столь отчетливо, а потомъ гораздо отчетливѣе и, наконецъ, уже вслухъ, а не про себя только.

Но комическаго вида республиканцы не признаютъ. Это люди патетическіе. Напротивъ, именно теперь они ободрились послѣ того какъ Макъ-Магонъ, президентъ „республики“, прогналъ ихъ съ мѣста и заперъ до новыхъ октябрьскихъ выборовъ палату. Теперь они „угнетенные“, а потому и чувствуютъ себя въ ореолѣ; они ждуть, что вся Франція вдругъ запоетъ марсельезу и закричитъ: „on assassine nos frères!“ — (убиваютъ братьевъ нашихъ!) извѣстный крикъ всѣхъ прежде бывшихъ парижскихъ уличныхъ революцій, послѣ котораго толпы бросались обыкновенно строить баррикады. Во всякомъ случаѣ, они ждуть „законности“, т. е. что страна, въ негодованіи на маршала Макъ-Магона, наклевывающагося будущаго узурпатора, выберетъ вновь въ палату все прежнее республиканское большинство, да еще сверхъ того прибавитъ новыхъ республиканскихъ депутатовъ, и тогда вновь собравшаяся палата скажетъ строгое veto маршалу, и тотъ, испугавшись законности, подожметъ хвостъ и ступуется. Въ силѣ этой „законности“ они непоколебимо увѣрены, — и не по скудости способностей, а потому, что эти добрые люди слишкомъ ужъ люди своей партіи, слишкомъ долго тянули все одну и ту же канитель и слишкомъ долго

присидѣли въ одномъ углу. Они слишкомъ долго страдали за возлюбленную свою республику, а потому и увѣрены въ возмездіи. Къ удивленію, и у насъ въ Россіи многія наши газеты вѣрятъ въ ихъ близкое торжество и въ неминуемую побѣду ихъ „законности“. Но чѣмъ обезпечена эта законность, если Магъ-Магонъ не удостоитъ ей подчиниться, о чемъ и объявилъ уже странѣ въ удивительномъ своемъ манифестѣ. Негодованіемъ, гнѣвомъ страны? Но маршалъ тотчасъ же найдетъ многочислѣннѣйшихъ послѣдователей въ этой же самой странѣ, какъ и всегда это бывало въ подобныхъ случаяхъ во Франціи. Чтѣ же тогда дѣлать? Баррикады строить? Но при нынѣшнемъ ружьѣ и при нынѣшней артиллеріи прежнія баррикады невозможны. Да Франція и не захочетъ ихъ строить, если бѣ даже и дѣйствительно она хотѣла республики. Утомленная и измученная столѣтней политической неурядицей, она самымъ прозаическимъ образомъ разсчитываетъ гдѣ сила и силѣ покорится. Сила теперь въ *легионахъ*, и страна предчувствуетъ это. Весь вопросъ, стало быть, въ томъ: за кого легионы?

II.

Любопытный характеръ.

Объ *легионахъ*, какъ объ новой силѣ, грядущей занять свое мѣсто въ европейской цивилизаціи, я уже писалъ въ май-іюньскомъ дневникѣ моемъ, то-есть задолго до манифеста маршала-президента,—и вотъ все такъ и случилось, какъ мнѣ тогда показалось. Въ этомъ, удивившемъ всѣхъ манифестѣ, маршалъ хотѣ и общаетъ слѣдовать законности, общаетъ миръ и проч., но тутъ же, сейчасъ же, прямо говоритъ, что если страна не согласится съ его мнѣніемъ и пришлетъ ему съ предстоящихъ выборовъ прежнее республиканское большинство, то и онъ въ свою очередь принужденъ будетъ не согласиться съ мнѣніемъ страны и не подчиниться ея выборамъ. Таковой удивительный поступокъ маршала долженъ же чѣмъ-нибудь мотивироваться. Не могъ бы онъ говорить такимъ языкомъ и тономъ съ страной (Франція не деревня кака-нибудь), если бѣ не былъ твердо увѣренъ въ силѣ и въ успѣхѣ. А потому ясно уже теперь, что вся его надежда на армію, въ которой онъ совершенно увѣренъ. И дѣйствительно, во время лѣтнихъ путешествій по Франціи маршала, его во многихъ, слишкомъ, кажется, во многихъ

городахъ и провинціяхъ встрѣчали довольно двусмысленно, но армія и флотъ обнаружили вездѣ совершенную преданность и привѣтствовали маршала сочувственными криками. Сомнѣнія нѣтъ, что въ добрыхъ и даже, такъ сказать, неповинныхъ чувствахъ маршала нельзя сомнѣваться. Если онъ и поступилъ такъ не по обычаю, прямо объявивъ впередъ, что не послушается законнаго мнѣнія страны, если та сама его не послушается, то, конечно, лишь потому, что онъ желаетъ, по-своему, принести странѣ благоденствіе и увѣренъ въ томъ, что принесетъ его. И такъ, не въ нравственныхъ качествахъ маршала надобно сомнѣваться, а въ нѣкоторыхъ развѣ другихъ... И дѣйствительно, маршалъ, кажется, одинъ изъ такихъ характеровъ, которые не могутъ не быть въ чьей-нибудь опека, и съ этой стороны характеръ этотъ представляетъ собою нѣкоторыя замѣчательныя особенности. Вопросъ, напиримѣръ: для кого онъ теперь работаетъ? Для кого такъ старается и для кого такъ рискуетъ? Сомнѣнія нѣтъ, что онъ кругомъ въ опека, а между тѣмъ, я увѣренъ въ томъ (впрочемъ, это все-таки личное мое мнѣніе), что лишь одинъ онъ, во всей Европѣ, даже до сихъ поръ совершенно убѣжденъ, что онъ ровно ни въ чьей опека не состоитъ, а дѣйствуетъ самъ по себѣ. Ловкіе люди, овладѣвшіе имъ, вѣроятно, и поддерживаютъ въ немъ сами это убѣжденіе до времени и подакиваютъ ему изо всѣхъ силъ, между тѣмъ направляя его безповоротнo куда имъ угодно. Все это, конечно, потому, что они отлично знаютъ свойства подобныхъ характеровъ и ихъ самолюбій. Но такихъ ловкихъ людей можно найти только въ одной партіи, правда, въ огромнѣйшей и въ сильнѣйшей — въ клерикальной. Остальныя всѣ политическія партіи во Франціи не отличаются ловкостью. Въ самомъ дѣлѣ, вопросъ: если маршалъ въ опека, то въ чьей? Вотъ теперь совершенно извѣстно, что бонапартисты ужасно заволновались, что кандидатовъ они выставили множество, что самъ маршалъ покровительствуетъ ихъ кандидатамъ, что въ побѣдѣ на выборахъ они увѣрены, увѣрены и въ арміи, что императорскій принцъ уже переѣхалъ на континентъ, говорили даже, что побѣдетъ въ Парижѣ. Но неужели однакоже повѣрять, что маршалъ Макъ-Магонъ, столь увѣренный въ себѣ президентъ „республики“, беретъ на себя такую обузу хлопотъ и опасностей единственно, чтобъ воцарить императорскаго принца? Мнѣ кажется (и опять-

таки это совершенно личное мое мнѣніе), мнѣ кажется, что нѣтъ. Развѣ, впрочемъ, есть тамъ совершенно особыя какія-нибудь комбинаціи, — на примѣръ, какой-то слухъ, пронесшійся по газетамъ, съ мѣсяць назадъ, что императорскій принцъ будто бы помолвленъ съ дочерью маршала и проч. Но если нѣтъ такихъ особенныхъ секретныхъ комбинацій, если особенныхъ соглашеній и договоровъ еще не существуетъ, то мнѣ кажется, что маршалъ наклоненъ скорѣе осчастливить страну въ *свою* пользу, чѣмъ въ чью-нибудь, и если поддерживаетъ бонапартистскихъ кандидатовъ, то увѣренный, что они все-таки всѣхъ надежнѣе, а что всѣхъ ихъ потомъ онъ направитъ какъ ему угодно. Богъ знаетъ какія у подобнаго ума могли зародиться мысли. Не даромъ же одинъ епископъ, въ привѣтственной рѣчи маршалу, уже вывелъ ему, что онъ происходитъ по женской линіи отъ Карла Великаго. Однимъ словомъ, нѣсколько лѣтъ президентства, можетъ быть, дѣйствительно заронили въ душу его нѣкоторыя раздражающія и фантастическія впечатлѣнія. Къ тому же это и военный человекъ. Впрочемъ, всѣ эти разсужденія лишь мечтательныя попытки разяснить загадочный характеръ. Истина же пока въ томъ, что маршалъ въ рукахъ клерикаловъ и что они его направляютъ, хотя онъ и, безъ сомнѣнія, думаетъ, что это онъ ихъ направляетъ, и что они въ рукахъ его, а не онъ въ ихъ рукахъ. Но они, конечно, ужъ не въ его рукахъ и судьба Франціи, въ настоящій моментъ, рѣшительно, кажется, зависитъ отъ нихъ и *отъ нихъ однихъ*. Сомнѣнія нѣтъ, что все еще продолжается страшная подземная интрига, и хотя вся Европа давно уже, и съ самаго начала знала, что клерикалы въ настоящемъ западно-европейскомъ движеніи играютъ большую роль, но, кажется, тѣ все-таки до сихъ поръ скрываютъ и успѣли скрыть *какого объема и какой силы эта ихъ роль*, лавируютъ и прячутся за другихъ до времени, за маршала, на примѣръ, за бонапартистовъ, и такъ продолжится дѣло до тѣхъ поръ, пока они не достигнутъ задуманной цѣли. Въ сущности, имъ все равно: маршалъ ли успѣетъ, или императорскій принцъ. Симпатій личныхъ у нихъ нѣтъ и не должно быть. Для нихъ лишь задача одна: чтобъ Франція какъ можно скорѣе обнажила свой мечъ и ринулась на Германію. И вотъ для этой-то цѣли они и раздавили республиканцевъ, неспособныхъ стать за папу. Теперь же тихо и ловко выжидаютъ: за

кѣмъ будетъ больше шансовъ? Если дѣйствительно императорскій принцъ представить имъ больше шансовъ въ способности объявить войну, то, можетъ быть, они и за него уцѣлятся и проведутъ его въ Парижъ, уже не думая о Макъ-Магонѣ. Но пока они, кажется, все еще держатся маршала. Кстати, недавно еще, говорятъ, маршалъ, въ разговорѣ, вслухъ упомянулъ: „Про меня распространяютъ, что я хочу уничтожить республиканскія учрежденія и забываютъ, конечно, что я, принимая президентство республики, далъ слово ихъ сохранить“. Слова эти могутъ подтвердить вполнѣ догадку о нравственной невинности маршала, несмотря на всѣ обвиненія республиканцевъ. Какъ честному и военному человѣку ему, стало быть, дорого его честное слово и ужъ, конечно, онъ ему не измѣнить. Но если онъ сохранитъ республику и въ то же время прогонитъ республиканцевъ, то значить имѣеть въ виду продолжать республику безъ республиканцевъ. Надо думать, что такова дѣйствительно политическая программа его и что его увѣрили, что она совершенно возможна. Эта программа, вмѣстѣ съ тезисомъ: *J'у suis et j'у reste* (сѣлъ и не сойду) составляетъ, очевидно, цѣль всѣхъ его политическихъ убѣжденій вплоть до 1880 года, когда кончается срокъ его президентству, а, стало быть, и честному слову его. Но тогда уже начнется мечта: „Благодарная страна, видя, что онъ оставляетъ президентство, предложитъ ему, за спасеніе ея отъ демагоговъ, другую новую должность, ну, хоть Карла Великаго, и тогда все пойдетъ опять какъ по маслу“. Само собою при этомъ, что движущіе его хитрые люди, въ томъ случаѣ, если онъ въ самомъ дѣлѣ пожелаетъ исполнить свое честное слово и сохранить республиканскія учрежденія, промѣняютъ его тотчасъ же на Бонапарта, если сохраненная республика, хотя бы и безъ республиканцевъ, помѣшала ихъ дальнѣйшимъ планамъ. Въ виду того они, кажется, и склонили его, на всякій случай, поддерживать бонапартскія кандидатуры, увѣривъ его, что это для него хорошо. Во всякомъ случаѣ, онъ продолжаетъ быть въ такой твердой опекѣ, что уже изъ нея не выскочить. Однимъ словомъ, міръ ожидаютъ какія-то большія и совершенно новыя событія, предчувствуется появленіе легионовъ, огромное движеніе католичества. Здоровье папы, пишутъ, „удовлетворительно“. Но бѣда, если смерть папы совпадетъ съ выборами во Франціи, или произойдетъ вскорѣ послѣ

нихъ. Тогда восточный вопросъ можетъ разомъ переродиться во всеевропейскій...

III.

То да не то. Ссылка на то, о чемъ я писалъ еще три мѣсяца назадъ.

Я изложилъ эту мысль мою довольно подробно въ лѣтнемъ май-юньскомъ „Дневникѣ“ моемъ, но на главное мѣсто этой статьи моей, т.-е. что весь ключъ теперешнихъ и грядущихъ событій всей Европы *лежитъ въ католическомъ заговорѣ* и въ предстоящемъ, несомнѣнномъ огромномъ движеніи католичества, совпадающемъ съ чрезвычайно близкою, по всей вѣроятности, смертью папы и выборомъ папы новаго,—на это главное мѣсто статьи моей, кажется, никто не обратилъ вниманія и статья пошла (въ печати) безслѣдно.

Между тѣмъ, теперь я еще сильнѣе и увѣреннѣе держусь того же мнѣнія, чѣмъ два мѣсяца назадъ. Съ тѣхъ поръ было столько событій, подтвердившихъ мнѣ мою загадку, что я уже не могу сомнѣваться въ ея справедливости. Съ тѣхъ поръ и газеты, наши и иностранныя, стали поговаривать какъ будто на эту же тему, но все еще какъ бы не рѣшаясь проговорить окончательный выводъ. Вотъ что говорили недавно *Московскія Вѣдомости* въ превосходной передовой статьѣ своей (*Московскія Вѣдомости* № 235). Онѣ цитуютъ, между прочимъ, мнѣніе корреспондентовъ англійскихъ газетъ.

Корреспонденты англійскихъ газетъ пускаются въ весьма откровенныя объясненія. Ключъ европейской политики, по ихъ толкованію, въ рукахъ Германіи, и Германія именно расположена еще тверже держаться Россіи, чѣмъ прежде, по расчетамъ весьма понятнымъ. Во-первыхъ, въ Берлинѣ увидѣли, что неудачи русской стратегіи оживили и ободрили Австрію, которая, какъ полагаютъ, все еще питаетъ нѣкоторую досаду противъ Пруссіи. Затѣмъ, главные враги Германіи—Франція и католицизмъ, и обѣ эти силы все свое сочувствіе отдаютъ на сторону Турціи. Въ началѣ восточныхъ замѣшательствъ Франція, правда, нѣсколько кокетничала съ Россіей, но если тогда и было въ странѣ нѣкоторое сочувствіе къ намъ, то оно теперь не только охладѣло, но совершенно повернулось на сторону турокъ. Что касается воинствующаго католицизма, то онъ не только теперь, но и съ самаго начала рѣшительно и со страстью, какъ во всемъ извѣстно, взялъ подъ свою защиту правовѣрную Турцію противъ схизматической Россіи. Неприличіе рьяныхъ клерикаловъ дошло до того, что одинъ изъ нихъ отзывался съ нѣкоторою нѣжностью о коранѣ, такъ что даже ультрамонтанская *Germania* нашла нужнымъ умѣрить подобныя выходы замѣчаніемъ, что хотя и должно радоваться побѣдамъ турокъ надъ ненавистными русскими, но не-

ловко выражать прямо сочувствіе исламу. Такъ какъ *mot d'ordre* католицизма замѣчательно совпадаетъ съ перемѣной общественнаго мнѣнія Франціи въ пользу турокъ, и такъ какъ Австрія, тоже католическая, имѣетъ интересы противныя Россіи, то въ Берлинѣ естественно опасаются возможности такой католической и антирусской лиги, въ которую могли бы потомъ быть привлечены ультрамонтанскіе и сепаратистскіе интересы южной Германіи и «даже Англія». Такъ толкуютъ англійскіе корреспонденты, но несомнѣнно, что Англіи принадлежитъ главная роль въ интригахъ.

И такъ, мы попрежнему остаемся наединѣ съ Турціей.

Все это превосходно и, однако, все еще это не то, не настоящее объясняющее и послѣднее слово, которое, къ удивленію, никто какъ будто не хочетъ высказать, даже какъ будто еще и не предчувствуетъ въ надлежащей полнотѣ. Въ этой статьѣ заговорили, однако, и о *воинствующемъ католицизмѣ*, и о значеніи католицизма въ глазахъ Бисмарка, и о теперешнемъ вліяніи его на Францію, и, наконецъ, даже о *миѣ*, о томъ, что въ Берлинѣ естественно опасаются возможности такой католической и антирусской лиги, въ которую могли бы потомъ быть привлечены ультрамонтанскіе и сепаратистскіе интересы южной Германіи и „даже Англія“. Но вотъ объ лигѣ-то, объ заговорѣ-то католическомъ я и говорилъ еще два мѣсяца слишкомъ передъ тѣмъ, какъ теперь заговорили, но я сказалъ тогда и послѣднее заключительное слово мое, то-есть, что въ заговорѣ-то этомъ все дѣло и заключается, что отъ него теперь все въ Европѣ и зависитъ, и что даже самая восточная война можетъ въ самомъ скоромъ времени обратиться въ всеевропейскую, единственно вслѣдствіе этого огромнаго заговора умирающаго католичества. Между тѣмъ, въ этихъ „мнѣніяхъ корреспондентовъ“ и во всей превосходной статьѣ *Московскихъ Вѣдомостей* все еще какъ будто не хотятъ допустить эту мысль, и даже вмѣсто того утверждаютъ, что „Англіи, несомнѣнно, принадлежитъ главная роль въ интригахъ“ и что мы „попрежнему остаемся наединѣ съ Турціей“. Но такъ ли это? Наединѣ ли? Не предстоитъ ли, напротивъ, въ самомъ ближайшемъ будущемъ, что мы вдругъ очутимся не наединѣ съ Турціей, а наединѣ со всей Европой.

Въ самомъ дѣлѣ, что же такое этотъ „воинствующій католицизмъ“, который начали уже замѣчать и признавать всѣ въ настоящихъ событіяхъ, откуда такая ответственность, и даже „до страсти“, съ которою католицизмъ взялъ подъ „защиту“ правовѣрную Турцію про-

тивъ схизматической Россіи? Неужто все изъ-за того только, „что Россія страна схизматическая“? Католичеству въ настоящее время столько хлопотъ и насущныхъ заботъ, что обо всѣхъ этихъ древнихъ церковныхъ препираніяхъ ему некогда бы и думать. А главное, откуда эта „лига католическая“, которой такъ боятся въ Берлинѣ? Вотъ объ этомъ-то обо всемъ я и распространился два слишкомъ мѣсяца назадъ, желая объяснить это. И выводъ мой былъ тотъ, что эта лига, которую теперь уже признаютъ и другіе, есть твердый и строго организованный католическій *заговоръ* въ видахъ обновленія римскаго свѣтскаго владычества, существующій въ настоящую минуту во всей Европѣ, что заговоръ этотъ будетъ имѣть громадное вліяніе на всѣ текуція событія Европы, и что, стало-быть, ключъ ко всѣмъ современнымъ *интригамъ* лежитъ не тамъ и не здѣсь, и не въ одной только Англии, а именно въ этомъ несомнѣнномъ всемірномъ католическомъ заговорѣ!

Воинствующій католицизмъ беретъ яростно „и со страстью“ противъ насъ сторону турокъ. И даже въ Англии, даже въ Венгріи нѣтъ столь яростныхъ ненавистниковъ Россіи въ настоящую минуту, какъ эти воинствующие клерикалы. Не то, что какой-нибудь прелать, а самъ папа, громко, въ собраніяхъ ватиканскихъ, съ радостью говорилъ о „побѣдахъ турокъ“ и предрекалъ Россіи „страшную будущность“. Этотъ умирающій старикъ, да еще „глава христіанства“, не постыдился высказать всенародно, что каждый разъ съ веселіемъ выслушиваетъ о пораженіи русскихъ. Эта страшная ненависть станетъ совершенно понятною, если признать, что римское католичество дѣйствительно теперь „воинствуетъ“ и дѣйствительно на дѣлѣ, *т.-е. мечамъ*, ведетъ теперь въ Европѣ войну противъ страшныхъ и роковыхъ враговъ своихъ. Но кто теперь въ Европѣ самый страшный врагъ римскаго католичества, т.-е. свѣтской монархіи папы? Безспорно, князь Бисмаркъ. Самый Римъ былъ отнятъ у папы въ ту самую минуту величія Германіи и Бисмарка, въ которую Германія раздавила главнаго тогдашняго защитника папства, Францію, и тѣмъ тотчасъ же развязала руки королю Итальянскому, немедленно и занявшему Римъ. Съ тѣхъ поръ вся забота католичества состояла въ томъ, чтобъ отыскать врага и соперника Германіи и князю Бисмарку. Самъ же князь Бисмаркъ, съ своей сто-

роны, отлично понимаетъ, во всей широтѣ, и давно уже, что римское папское католичество, кромѣ того, что есть вѣчный врагъ протестантской Германіи, столько вѣковъ протестовавшей противъ Рима и идеи его во всѣхъ ея видахъ, и противъ всѣхъ союзниковъ, ея покровителей и послѣдователей, но и понимаетъ сверхъ того, что католичество есть именно *теперь*, т.-е. въ самую важную минуту для объединенной Германіи—самый вреднѣйшій элементъ изъ всѣхъ мѣшающихъ этому объединенію ея, т.-е. завершенію зданія, надъ которымъ во всю жизнь такъ много потрудился князь Бисмаркъ. И, кромѣ того, что въ Берлинѣ опасаются „возможности“ такой католической и антипрусской лиги, въ которую могли бы потомъ быть привлечены ультрамонтанскіе и сепаратистскіе интересы южной Германіи,—въ Берлинѣ, кромѣ того, опасаются, и давно уже предвидѣли, что католичество, рано ли, поздно ли, а непременно послужитъ поводомъ къ будущему подъему Франціи на унизившую, побѣдившую и разорившую ее Германію, и что поводъ этотъ римское католичество подастъ первѣе и скорѣе всѣхъ другихъ, и что, стало-быть, самая важнѣйшая опасность объединенной Германіи кроется именно въ римскомъ католичествѣ, а не въ чемъ другомъ. И берлинское предвидѣніе это выходило изъ естественно представляющагося и естественно необходимаго соображенія, что, во-первыхъ, во всемъ мірѣ у папства нѣтъ теперь другого защитника, кромѣ все той же Франціи, что на ея мечъ она единственно можетъ рассчитывать, *если только этотъ мечъ она устѣетъ опять твердо захватить въ свою руку*, и во-вторыхъ, что римское католичество есть еще далеко не раздавленный врагъ, что врагъ этотъ тысячелѣтній, что жить этому врагу хочется страстно, что живучесть его феноменальна, что силъ у него множество, и что столь огромная историческая идея, какъ свѣтская папская власть, не можетъ угаснуть въ одну минуту. Однимъ словомъ, въ Берлинѣ не только сознали врага, но и силу его. Въ Берлинѣ не презираютъ враговъ своихъ прежде боя.

Но если католичеству такъ хочется жить, и надобно жить, и если мечъ, который могъ бы его защитить, лишь въ рукахъ одной Франціи, то выходитъ ясно, что Римъ и не упуститъ изъ рукъ Францію, особенно если дождется удобной минуты. Эта удобная минута наступила весной,—

это русская война съ турками, восточный вопрос. Въ самомъ дѣлѣ: кто главнѣйшій союзникъ Германіи? Разу-мѣется, Россія. Это отлично понимаютъ въ Римѣ. Вотъ почему такъ и обрадовался папа русскимъ „неудачамъ“: значить, главнѣйшій союзникъ самаго страшнаго врага папской власти отвлеченъ теперь отъ своего исконнаго союзника, Германіи, войной, а, стало быть, Германія те-перь одна, — стало быть, и наступила именно та минута, которую такъ давно ожидало католичество: когда же, какъ не теперь, всего удобнѣе разжечь застарѣлую не-нависть и бросить Францію въ войну возмездія на Гер-манію?

Къ тому же какъ разъ подходятъ и другіе роковые сроки для католичества, такъ что медлить уже нельзя ему ни минуты. Приближается неизбежно скорая смерть папы и избраніе новаго, и въ Римѣ слишкомъ хорошо знаютъ, что князь Бисмаркъ употребитъ весь свой умъ и всѣ свои силы, чтобы нанести послѣдній и самый страш-ный ударъ папской власти, повліявъ изъ всѣхъ силъ на избраніе новаго папы, но такъ, чтобы обратить его изъ свѣтскаго владыки и государя не болѣе какъ въ простого патріарха, и если можно, то съ его же и согласія, и та-кимъ образомъ, раздѣливъ католичество на двѣ враждеб-ныя части—добиться его распадения и разрушенія всѣхъ замысловъ, претензій и надеждъ его уже навѣки. А по-тому какъ же ему не слѣзнуть противъ Бисмарка всѣми мѣрами? И вотъ, опять-таки, какъ разъ тутъ подверты-вается восточный вопросъ! О, теперь уже можно прискаты для Франціи и союзниковъ, которыхъ она нигдѣ столько лѣтъ не могла найти, теперь можно сплотить даже цѣ-лую коалицію. Пусть вся Европа оболетъ кровью, но зато восторжествуетъ папа, а для римскихъ исповѣдни-ковъ Христа это все.

Вотъ они и начали работать. Прежде всего, разумѣется, надо было добиться, чтобы Франція стала за нихъ. Какъ это сдѣлать? Они уже сдѣлали. Теперь уже всѣ политики Европы и вся европейская печать признаютъ, что май-скій переворотъ во Франціи произведенъ клерикалами, но, опять-таки повторю, всѣ какъ будто еще не при-знаютъ за этимъ фактомъ того основного значенія, кото-рое онъ заключаетъ въ себѣ. Всѣ какъ будто рѣшили мѣ-сяца четыре назадъ, что клерикалы произвели переворотъ во Франціи для того только, чтобы получить себѣ въ ней

болѣ простору, извѣстныя выгоды, льготы, расширеніе правъ. Тогда какъ невозможно и представить себѣ, чтобы переворотъ былъ затѣянъ не съ самыми радикальными цѣлями, т. е. чтобы добиться (въ видахъ близкихъ смуть, по смерти папы, въ римской церкви) скорѣйшей и неотложной войны Франціи съ Германіей, именно войны! И увидите, чѣмъ бы ни кончилось дѣло, а они добьются своего, добьются войны, въ которой, если восторжествуетъ Франція, то, можетъ быть, и папа добьется вновь свѣтской власти.

Они сдѣлали удивительно ловкое дѣло и, главное, выбрали такую минуту, когда все какъ будто сошлось для ихъ успѣха. Начать имъ надо было съ того, чтобы прогнать республиканцевъ, которые ни за что бы не поддерживали папу и никогда бы не рѣшились на войну съ Германіей. Они ихъ прогнали. Надо было сверхъ того заставить маршала Макъ-Магона сдѣлать непоправимую ошибку (именно непоправимую), чтобы направить его уже на безповоротный путь; онъ и сдѣлалъ эту ошибку: онъ прогналъ республиканцевъ и объявилъ на всю Францію, что они уже не воротятся. И такъ, начало уже положено твердое, и клерикалы пока спокойны; они знаютъ, что если Франція пришлетъ опять въ палату республиканское большинство, то маршалъ отошлетъ его назадъ. Гамбетта объявилъ, что маршалу придется или покориться рѣшенію страны, или оставить мѣсто. Такъ рѣшили за нимъ и всѣ республиканцы, но они забыли, что девизъ маршала: *J'y suis et j'y reste* (сѣлъ и не сойду), и онъ не сойдетъ съ мѣста. Ясно, что вся надежда маршала на преданность легионровъ. Преданностью же легионровъ, маршалу или кому бы тамъ ни было, хотять воспользоваться и клерикалы. Былъ бы только окончательно завершёнъ для нихъ государственный переворотъ, а они уже направятъ по-своему. Вѣроятно же всего, что такъ и сбудется: они будутъ подлѣ узурпатора, они будутъ направлять его. А если бы даже и не были, то дѣло даже и безъ нихъ пошло бы теперь ужъ само собою, благо на настоящую точку ими поставлено, совершился бы только государственный переворотъ: они знаютъ, какое колоссальное впечатлѣніе произведетъ на князя Бисмарка *всякая государственная перемена во Франціи*. Онъ еще въ 1875 году стремился объявить войну Франціи, боясь ея ежегоднаго усиленія. Республиканцы, которыхъ онъ протежиро-

валь, не посмѣли бы начать съ нимъ войну сами ни подь какимъ бы даже предлогомъ, и отчасти онъ былъ спокоенъ доселѣ, видя ихъ во главѣ враждебнаго государства, несмотря даже на ежегодное усиленіе его. Но зато всякій новый переворотъ во Франціи естественно заставитъ его до крайности взволноваться. И въ какую минуту: когда Германія оставлена безъ естественнаго своего союзника, Россіи, когда Австрія (тоже старый соперникъ Германіи), въ которой такъ много враждебныхъ Германіи католическихъ элементовъ, такъ вдругъ сознала себѣ всю цѣну, и когда Англія, съ самаго начала восточной войны, съ такимъ раздражительнымъ нетерпѣніемъ ждетъ и ищетъ себѣ въ Европѣ союзника! Ну что, если Франція, должны разсуждать въ Берлинѣ, съ своимъ будущимъ новымъ правительствомъ во главѣ и около котораго снуютъ клерикалы, направляютъ его и владѣютъ имъ — что если Франція вдругъ догадается, что если уже быть войнѣ возмездія, то никогда она не найдетъ болѣе удобной минуты, какъ теперь, чтобы начать ее, и такихъ значительныхъ союзниковъ, какъ теперь, чтобы поддержать ее! А что если какъ разъ къ тому случаю умретъ папа (что такъ возможно)? Что если клерикалы заставятъ новое французское правительство заявить князю Бисмарку, что взгляды его на избраніе новаго папы съ мнѣніемъ Франціи не согласны (а это уже непременно случится, если будутъ прогнаны республиканцы)? Что если новое французское правительство при томъ догадается, что если ему удастся (въ видахъ возможности найти въ Европѣ могучихъ союзниковъ) отвоевать хоть одну изъ отнятыхъ у Франціи въ 1871 году провинцій, то этимъ оно упрочитъ свою власть и вліяніе въ странѣ, по крайней мѣрѣ, лѣтъ на двадцать? Нѣтъ, какъ тутъ не волноваться!

А главное, тутъ и еще одно маленькое обстоятельство: нѣмецъ заносчивъ и гордъ, нѣмецъ не потерпитъ непокорности. До сихъ поръ Франція была въ полной и послушной оцѣкѣ Германіи, давала отчетъ на запросы ея чуть не въ каждомъ движеніи своемъ, должна была объясняться и извиняться за каждую прибавленную дивизію въ войскѣ, за каждую батарею, и вдругъ теперь эта Франція осмѣлится поднять голову! Такъ что клерикалы, пожалуй, смѣло могутъ разсчитывать, что чуть ли не самъ князь Бисмаркъ первый и начнетъ войну. Хотѣлъ же онъ ее начать въ 1875 году. Не начать войну значитъ упустить

изъ рукъ Францію уже навѣки. Правда, въ 1875 году было не то, что теперь, но если Австрія будетъ на сторонѣ Германіи, то... Однимъ словомъ, въ недавнемъ свиданіи верховныхъ министровъ Германіи и Австріи, вѣроятно, говорили не объ одномъ лишь восточномъ вопросѣ. И если есть теперь въ мірѣ государство въ самомъ выгодномъ внѣшне-политическомъ положеніи, то это именно Австрія!

IV.

О томъ, что думаетъ теперь Австрія.

Но, скажутъ: въ Австріи волненія, половина Австріи не хочетъ того, чего хочетъ ея правительство. Въ Венгріи манифестаціи, Венгрія такъ и рвется противъ русскихъ за турокъ. Открыть какой-то даже заговоръ, англо-мадьяро-польскій. Съ другой стороны, славянскіе элементы ея территории хоть и за правительство въ настоящую минуту, но и на нихъ правительство Австріи посматриваетъ косо и подозрительно, даже, можетъ быть, косѣе, чѣмъ на венгерцевъ. А если такъ, то можно ли сказать, что Австрія, въ данную минуту, въ самомъ выгодномъ политическомъ положеніи, въ какомъ только можетъ находиться европейское государство?

Да, это правда. Правда, что католическая работа идетъ несомнѣнно и въ Австріи. Клерикалы дальновидны, имъ ли не понять теперешняго значенія этой страны, имъ ли упустить случай. И уже, разумѣется, они не упускаютъ случая разжечь въ этой католической и „христіаннѣйшей“ землѣ всевозможныя волненія, подъ всевозможными до неузнаваемости предлогами, видами и формами. Только вотъ что: кто знаетъ, можетъ быть, въ Австріи, хотя и дѣлаютъ, конечно, видъ, что очень сердятся на эти волненія, но въ сущности, пожалуй, и не очень на нихъ сердятся, можетъ даже совсѣмъ напротивъ: берегутъ эти волненія *на всякій случай* въ видахъ того, что они могутъ пригодиться въ ближайшемъ будущемъ... Всего очевиднѣе, впрочемъ, то, что Австрія, хотя и чувствуетъ себя въ самомъ счастливомъ политическомъ положеніи, но въ видахъ текущихъ событій, на *дальнюю* и очень опредѣленную политику еще, можетъ быть, не рѣшилась, а только еще присматривается и ждетъ: что повелитъ ей сдѣлать *благоразуміе*? Если же и рѣшилась на что-нибудь, то развѣ на политику *бли-*

жизню, да и то условно. Вообще она въ самомъ блаженномъ состоянїи духа, рѣшается не спѣша, ждетъ, зная, что ее всѣ ждутъ и что всѣ въ ней нуждаются, припѣливается на добычу, которую выбираетъ сама, и сладостно облизывается въ видахъ близкихъ и уже неминуемыхъ благъ.

На недавнихъ свиданїяхъ канцлеровъ обоихъ нѣмецкихъ государствъ, можетъ быть, очень много было затронуто „условнаго“. По крайней мѣрѣ, австрійскимъ правительствомъ было уже объявлено у себя во всеуслышанїе, что ничто на Востокѣ не произойдетъ и не разрѣшится внѣ интересовъ Австріи — мысль чрезвычайно обширная. Такимъ образомъ, даже и не дотронувшись до меча, Австрія уже увѣрена, что будетъ имѣть знатное участіе въ русскихъ успѣхахъ, если таковые окажутся, и, можетъ быть, еще знатнѣйшее, если таковые совсѣмъ не окажутся. И это еще слѣдуя только ближайшей политикѣ! А въ дальнѣйшей?—Всѣ уже и теперь такъ въ ней нуждаются, ищутъ ея мнѣнїя, ея нейтралитета, общаются, дарятъ уже ее, можетъ быть, и это только за то, что она сидитъ и говоритъ: „Гм.“ Но не можетъ же эта держава, столь сознающая, конечно, теперь себѣ цѣну, не рассчитывать и на шансы дальнѣйшей своей политики, которая никому еще неизвѣстна, несмотря даже на дружескія свиданїя канцлеровъ, я увѣренъ въ томъ. Увѣренъ даже, что до самаго послѣдняго и самаго рокового момента эта политика никому не будетъ извѣстна—что будетъ совершенно по преданїямъ и традиціямъ исконной политики Австріи. И жадно, жадно, можетъ быть, теперь присматривается она къ Франціи, ждетъ судьбы ея, ждетъ новыхъ интереснѣйшихъ фактовъ и, главное, въ самомъ самодовольнѣйшемъ расположенїи духа. Но нельзя ей однако и не волноваться; можетъ быть, очень скоро придется ей рѣшиться даже на самую дальнѣйшую политику и уже безповоротно: волненїе, конечно, въ ея положенїи прїятное, но сильное. Вѣдь понимаетъ же она, и, можетъ быть, очень тонко, что при всякомъ теперешнемъ переворотѣ во Франціи (столь близкомъ и столь возможномъ), при всякомъ даже новомъ правительствѣ во Франціи (только бы не опять республиканскомъ), шансы столкновенїя Германїи съ Франціей *рѣшительно неизбѣжны*, и даже въ томъ случаѣ, если бъ новые правители Франціи и сами не *чуждали* войны, а, напротивъ, стремились бы изо

всѣхъ силъ сохранить прежній міръ. О, Австрія, можетъ быть, лучше всѣхъ способна постигнуть, что есть такіе моменты въ жизни націй, когда уже не воля и не расчетъ ихъ влекутъ къ извѣстному дѣйствию, а сама судьба.

Я позволю себѣ теперь вдаться въ одну фантастическую мечту (и, конечно, только мечту). Я позволю представить себѣ, какъ думаетъ Австрія въ настоящую горячую минуту и неопредѣленную минуту объ этой самой своей *дальнѣйшей* политикѣ, на которую она, конечно, еще не рѣшилась, такъ какъ и факты не всѣ еще ясно обозначились, но однако кто-то уже стучится въ дверь, она видитъ это, кто-то непремѣнно хочетъ войти, даже и ручку замка уже повернулъ, но дверь еще не отворилась и кто войдетъ—еще никому неизвѣстно. Во Франціи загадка, тамъ она и разрѣшится, а пока Австрія сидитъ и *думаетъ*, да и какъ ей не думать; если обнажатся мечи, если Германія и Франція бросятся другъ на друга уже окончательно, то за кого она тогда станетъ, съ кѣмъ она тогда будетъ? Вотъ самый *дальнѣйшій* вопросъ, а между тѣмъ, такъ скоро, можетъ быть, придется ей дать на него отвѣтъ!

Такъ какъ же ей не знать теперь себѣ цѣну: вѣдь за кого она вынетъ мечъ, тотъ и восторжествуетъ. Что говорено на свиданіи канцлеровъ обѣихъ нѣмецкихъ имперій—никому неизвѣстно, но намеки-то между ними ужъ навѣрно были. Какъ не быть намекамъ? Можетъ быть, и яснѣе что-нибудь было сказано и *предложено*, чѣмъ только намеки. Однимъ словомъ, подарковъ и гостинцевъ обѣщано ей множество и это несомнѣнно, такъ что она совершенно увѣрена, что, останься она въ союзѣ съ Германіей, въ случаѣ войны ея съ Франціей, то получится за это... *много*. И всего только за какой-нибудь *нейтралитетъ*, за то только, что посидитъ какіе-нибудь полгода смирно на мѣстѣ, въ ожиданіи награды за доброе свое поведеніе—вотъ что вѣдь всего пріятнѣе! Потому что дѣятельнаго участія ея противъ Франціи, я думаю, никакому канцлеру отъ нея не добиться, ужъ Австрія-то такой ошибки не сдѣлаетъ: не пойдетъ она добивать на смерть Францію, напротивъ, можетъ быть, защититъ ее въ самую послѣднюю роковую минуту дипломатическимъ предстательствомъ, и тѣмъ обезпечитъ себѣ и еще награду. Нельзя же ей остаться *совстѣмъ безъ Франціи* въ друже-

скихъ объятіяхъ у такого гиганта, въ какого вырастетъ, послѣ второй побѣды надъ Франціей, Германія. Пожалуй, вдругъ обниметъ ее потомъ гигантъ, да такъ сожметъ, невзначай, разумѣется, что раздавить какъ муху. А тутъ еще и другой восточный гигантъ, направо у ней, встанетъ, наконецъ, совсѣмъ съ своего вѣкового ложа...

„Хорошее поведеніе, хорошая вещь“, можетъ быть, думаетъ теперь про себя Австрія, „но...“ Однимъ словомъ, въ воображеніи ея не можетъ не мелькнуть и другая мечта, самая, впрочемъ, фантастическая:

„Переворотъ во Франціи можетъ начаться даже нынѣшней осенью, и, можетъ быть, скоро, очень скоро кончится. Если пропадетъ республика, или останется въ какомъ-нибудь номинально-нелѣпомъ видѣ, то, можетъ быть, зимою же успѣютъ произойти съ Германіей несогласія. Клерикалы объ этомъ ужъ постараются, тѣмъ болѣе, что папа навѣрно умретъ къ тому времени и тогда избраніе его тотчасъ же подастъ предлогъ къ недоразумѣніямъ и столкновеніямъ. Но и не умри папа, возможность недоразумѣній и столкновеній останется во всей силѣ. И если только Германія твердо рѣшится, то къ веснѣ же и начнется война. На другомъ концѣ Европы зимняя кампанія противъ Турціи, кажется, тоже неизбежна, такъ что союзникъ Германіи къ веснѣ все еще будетъ занятъ. И такъ, если загорится война возмездія, то Франція тотчасъ же найдетъ двухъ союзниковъ: Англію и Турцію.

Германія, стало быть, будетъ одна... съ Италією, т. е. почти все равно что одна. О, конечно, Германія заносчива и могуча. Но вѣдь и Франція успѣла оправиться: у ней войска миліонъ, и все же Англія хоть какая-нибудь да помощь: надо будетъ охранять отъ ея флота нѣмецкіе приморскіе города, стало быть, все же оставить войско, артиллерію, оружіе, припасы. Все же это хоть чѣмъ-нибудь да ослабитъ Германію. „Однимъ словомъ, шансовъ, чтобъ сразиться съ успѣхомъ, у Франціи и безъ меня довольно“, думаетъ Австрія, — „по крайней мѣрѣ, вдвое больше, чѣмъ было въ семидесятомъ году, такъ какъ Франція навѣрно не сдѣлаетъ теперь тогдашнихъ ошибокъ. Затѣмъ, разбита ли будетъ Франція, или нѣтъ, а я все-таки мое получу на Востокъ: ничто на Востокъ не разрѣшится въ противность интересамъ Австріи. Это уже рѣшено и подписано. Но... что если я, въ самую-то рѣшительную минуту, благоразумно сохранивъ за собой всю

свободу рѣшенія, возьму да и стану за Францію, да и мечъ еще выну!“

Въ самомъ дѣлѣ, что тогда выйдетъ?

Австрія очутится разомъ между тремя врагами: Италіей, Германіей и Россіей. Но Россія будетъ страшно занята своей войной и ей будетъ не до нападеній. Италіи можно во всякомъ случаѣ не очень ужъ бояться. Остается одна Германія; но если она и вышлетъ на Австрію силу, то, хоть и ослабитъ тѣмъ себя, но ужъ, конечно, не очень большую силу, потому что ей понадобятся всѣ силы ея на Францію. Въ самомъ дѣлѣ, рѣшится только Австрія на союзъ съ Франціей, и Франція бросится на Германію, можетъ быть, ужъ сама первая, если бь даже Германія и не захотѣла драться. Франція, Австрія, Англія и Турція противъ Германіи съ Италіей — это страшная коалиція! Успѣхъ очень и очень можетъ быть возможенъ. А при успѣхѣ Австрія можетъ вдругъ воротить все утраченное при Садовой, даже ужъ какъ болѣе того. Затѣмъ на Востокѣ выгодъ своихъ и всего уже ей обѣщаннаго она тоже никакъ не потеряетъ. А главное, несомнѣнно выиграетъ въ своемъ вліяніи въ католической Германіи. Будь побѣждена Германія, даже и не побѣждена, а только воротись она не совсѣмъ удачно съ войны — и единство Германіи сильно и вдругъ покачнется. Въ южной католической Германіи явится сепаратизмъ, о которомъ сверхъ того постараются изо всѣхъ силъ клерикалы и которымъ Австрія уже, конечно, воспользуется... даже до того, что, можетъ быть, явятся тогда двѣ Германіи, двѣ объединенныя Германскія Имперіи, католическая и протестантская. А за симъ, усилившись тогда нѣмецкимъ элементомъ, Австрія могла бы посягнуть и на свой „дуализмъ“, поставить Венгрію въ прежнія, древнія и почтительныя къ себѣ отношенія, а затѣмъ, разумѣется, распорядиться ужъ и съ своими славянами, и этакъ какъ-нибудь уже навѣки. Однимъ словомъ, выгоды могли бы быть неисчислимы! Даже и въ томъ, наконецъ, случаѣ, если Германія останется побѣдительницей, можетъ быть, не будетъ еще такой бѣды, такъ какъ не можетъ же она побѣдить такую сильную коалицію, такъ *окончательно*, какъ въ 1871 году, а, напротивъ, навѣрно сама натретъ себѣ бока. Стало быть, миръ можетъ быть заключенъ безъ особенно страшныхъ послѣдствій. „И такъ, за кого же стать? Гдѣ лучше, съ кѣмъ выгоднѣе?“

Въ виду настоящаго хода дѣлъ въ Европѣ, такіе радикальные вопросы про себя—въ Австріи несомнѣнны...

V.

Кто стучится въ дверь? Кто войдетъ? Неизбѣжная судьба.

Когда я начиналъ эту главу, еще не было тѣхъ фактовъ и сообщеній, которые теперь вдругъ наполнили всю европейскую прессу, такъ что все, что я написалъ въ этой главѣ еще гадательно, подтвердилось теперь почти точнѣйшимъ образомъ. „Дневникъ“ мой явится въ свѣтъ еще въ будущемъ мѣсяцѣ, 7-го октября, а теперь всего 29 сентября, и мои, такъ сказать, „прорицанія“, на которыя я рѣшился въ этой главѣ, какъ бы рискуя, окажутся отчасти уже устарѣлыми и совершившимися фактами, съ которыхъ я скопировалъ мои „прорицанія“. Но осмѣлюсь напомнить читателямъ „Дневника“ мой лѣтній май-юньскій выпускъ. Почти все, что я написалъ въ немъ о ближайшемъ будущемъ Европы, теперь уже подтвердилось или *начинаетъ подтверждаться*. И, однако, я слышалъ тогда еще мнѣніе о той статьѣ: ее назвали (правда, частные люди) „изступленнымъ бѣснованіемъ“, фантастическимъ преувеличеніемъ. Надъ силою и значеніемъ клерикальнаго заговора просто смѣялись, да и заговора совсѣмъ не признавали. Я, впрочемъ, еще недѣли двѣ всего тому назадъ слышалъ мнѣніе отъ „компетентнаго“ лица, что фактъ смерти и избранія новаго папы совершенно ничтоженъ и пройдетъ въ Европѣ безслѣдно. Но даже теперь уже извѣстно, какую важность придаетъ ему Бисмаркъ и объ чемъ было говорено въ Берлинѣ съ Криспи. Я написалъ въ май-юньскомъ „Дневникѣ“ моемъ, что геній князя Бисмарка постигъ еще съ самой франко-прусской войны, что самый страшный врагъ новообъединенной Германіи есть римскій католицизмъ, который прежде всего послужитъ предлогомъ къ великой войнѣ „возмездія“, которая и охватитъ всю Европу. Это нашли нелѣпнымъ, и проч., и проч. И это все потому, что я написалъ объ этомъ тогда, когда еще никто, ни у насъ, ни въ европейской прессѣ, и не думалъ объ этихъ вещахъ заботиться, несмотря на восточную войну, уже гремѣвшую въ мірѣ и заботившую всѣхъ. Всѣмъ тогда представлялось, что такъ однимъ Востокомъ и кончится. Впрочемъ, и теперь, можетъ-быть, еще никто не вѣритъ почти въ *неминуемость* европейской войны въ ближайшемъ буду-

щемъ. Напротивъ, недавно еще серьезно обращали вниманіе на мнѣніе компетентныхъ англичанъ (рѣчь Нордскота), что можно еще до зимы замирить. Такъ что, пожалуй, я напрасно считаю мою настоящую главу заранѣе устарѣлою: хотя факты уже обозначились, хотя огромное ихъ значеніе уже выходитъ наружу, хотя надъ всей Европой уже несомнѣнно носится что-то роковое, страшное и, главное, близкое, но, несмотря на эти обозначившіеся факты, я увѣренъ, очень многіе найдутъ и теперь мои объясненія этихъ фактовъ опять-таки ложными и смѣшными, фантастическими и преувеличенными, потому что всѣ принимаютъ происходящее теперь за несравненно меньшее и мельчайшее, чѣмъ оно есть въ самомъ дѣлѣ. Тутъ, какъ разъ, на примѣръ, подойдутъ во Франціи выборы и Франція вдругъ пришлетъ въ палату презнее республиканское большинство, что очень можетъ случиться, и вотъ, я почти въ томъ увѣренъ, всѣ закричатъ, что все кончилось благополучно, что небо расчистилось, столбеновій никакихъ, что Макъ-Магонъ повинился, *безсильные* клерикалы позорно ступевались и въ Европѣ опять миръ и „законность“. Всѣ *измышленія* мои въ этой главѣ покажутся опять лишь продуктомъ досужаго воображенія. Опять скажутъ, что я фактамъ, положимъ, и совершившимся, придалъ значеніе не точное, а главное, такое, какого *нидѣ имъ не придаютъ*. Но подождемъ опять событий и увидимъ тогда, гдѣ была болѣе точная и вѣрная дорога. А для памяти, попробую, въ заключеніе, еще разъ обозначить точки и вѣхи этой, уже открывающейся передъ всѣми дороги, и на которую, волей-неволей, а, кажется, предназначено всѣмъ вступить. Дѣлаю это для памяти, чтобъ потомъ можно было провѣрить. Впрочемъ, это только простая и заключительная перечень этой же главы.

1) Дорога начинается и идетъ изъ Рима, изъ Ватикана, гдѣ умирающій старикъ, глава толпы окружающихъ его іезуитовъ, намѣтилъ ее уже давно. Когда же загорѣлся восточный вопросъ, іезуиты поняли, что наступило самое удобное время. По намѣченной дорогѣ своей они ворвались во Францію, произвели въ ней государственный переворотъ, и поставили ее въ такое положеніе, что близкая война ея съ Германіей почти неминуема, даже если бы она и не желала начать ее. Все это задолго раньше того понималъ и предвидѣлъ князь Бисмаркъ. По крайней

мѣрѣ, кажется только онъ одинъ, и еще, можетъ-быть, за нѣсколько лѣтъ до настоящей минуты, разглядѣль и постигъ своего важнѣйшаго врага и всю ту огромную для всего міра важность той послѣдней битвы за существованіе свое, которую несомнѣнно задастъ всему свѣту *умирающее навѣки папское католичество* въ самомъ ближайшемъ будущемъ.

2) Эта роковая борьба въ настоящую минуту уже завершается, а послѣдняя битва близится съ страшною быстротою. Франція была выбрана и предназначена для страшнаго боя и бой будетъ. Бой неминуемъ, это вѣрно. Впрочемъ, есть еще малый шансъ, что будетъ отложенъ, но лишь на самое короткое время. Но во всякомъ случаѣ *неминуемъ и близокъ*.

3) Только что бой начнется, какъ тотчасъ же и обратится во всеевропейскій. Восточный вопросъ и восточный бой, силою судебъ, сольется тоже съ всеевропейскимъ боемъ. Однимъ изъ замѣчательнѣйшихъ эпизодовъ этого боя будетъ окончательное рѣшеніе Австріи: которой сторонѣ отдать ей свой мечъ? Но самая существенная и важная часть этой послѣдней и роковой борьбы будетъ состоять, съ одной стороны, въ томъ, что ею разрѣшится тысячелѣтній вопросъ римскаго католичества, и что, волею Провидѣнія, на его мѣсто станетъ возрожденное восточное христіанство. Такимъ образомъ нашъ русскій восточный вопросъ раздвинется въ міровой и вселенскій, съ чрезвычайнымъ предназначеннымъ значеніемъ, хотя бы и совершилось это предназначеніе и передъ слѣпными глазами, непризнающими его, до послѣдней минуты способными не видѣть явнаго и не разумѣть смысла предназначеннаго. Наконецъ —

4) (И пусть это назовутъ самымъ гадательнымъ и фантастическимъ изъ всѣхъ предреканій моихъ, согласенъ заранѣ): Я увѣренъ, что бой кончится въ пользу Востока, въ пользу восточнаго союза, что Россіи бояться нечего, если восточная война сольется съ всеевропейскою, и что даже и лучше будетъ, если такъ разрѣшится дѣло. О, безспорно, страшное будетъ дѣло, если прольется столько драгоценной человѣческой крови! Но утѣшеніе въ томъ, по крайней мѣрѣ, соображеніи, что эта проліянная кровь несомнѣнно спасетъ Европу отъ десятикратнаго большаго изліянія крови, если бѣ дѣло отдалилось и еще разъ затянулось. Тѣмъ болѣе, что великая борьба эта несомнѣнно

окончится быстро. Но зато разрѣшится окончательно столько вопросовъ (римско-католическій вмѣстѣ съ судьбою Франціи, германскій, восточный, магометанскій), столько уладится дѣлъ совершенно неразрѣшимыхъ въ прежнемъ ходѣ событій, до того измѣнится ликъ Европы, столько начнется новаго и прогрессивнаго въ отношеніяхъ людей, что, можетъ-быть, нечего страдать духомъ и слишкомъ пугаться этого послѣдняго судорожнаго движенія старой Европы наканунѣ несомнѣннаго и великаго обновленія ея...

Наконецъ, прибавлю еще соображеніе: если взять за правило, что обо всѣхъ мировыхъ событіяхъ, даже самой огромной важности на самый поверхностный взглядъ, надо непременно судить по принципу: „нынче какъ вчера, а завтра какъ сегодня“, то не явно ли будетъ, что правило это рѣшительно ляжетъ въ разрѣзъ съ исторіей націй и человѣчества. Между тѣмъ, это именно предписывается такъ - называемымъ реальнымъ и трезвымъ здравомысліемъ, такъ что осмѣливается и освистывается чуть не всякій, который осмѣлился бы помыслить, что завтра дѣло явится для всѣхъ глазъ, можетъ-быть, совсемъ въ иной формѣ, чѣмъ въ какой тянулось все наканунѣ. Даже теперь, напримѣръ, когда уже пришли факты, не кажется ли даже очень многимъ, что клерикальное движеніе есть самая мелкая мелочь, что Гамбетта скажетъ рѣчь и все возстановится по-вчерашнему, что война наша съ Турціей очень и очень можетъ быть кончиться къ зимѣ и тогда опять попрежнему начнется биржевая игра, желѣзнодорожное дѣло, возвысится рубль, покатаимъ за границу и проч., и прочее. Немыслимость продолженія стараго порядка дѣлъ—была явною въ Европѣ истиною, для передовыхъ умовъ ея, наканунѣ первой европейской революціи, начавшейся въ концѣ прошлаго столѣтія съ Франціи. Между тѣмъ, кто въ цѣломъ мірѣ, даже наканунѣ созванія генеральныхъ штатовъ, могъ бы предвидѣть и предсказать ту форму, въ которую воплотится это дѣло почти на другой же день какъ началось оно... А уже когда воплотилось оно, кто могъ, напримѣръ, предсказать Наполеона I, въ сущности бывшаго какъ бы предназначеннымъ завершителемъ перваго историческаго фазиса того же самаго дѣла, которое началось въ 1789 году? Мало того, во время Наполеона I-го, можетъ-быть, всякому въ Европѣ казалось, что появленіе его есть рѣ-

нительная и совершенно внѣшняя случайность, нимаго не связанная съ тѣмъ самымъ міровымъ закономъ, по которому предназначено было измѣниться, съ конца прошлаго столѣтія, всему прежнему лику міра сего...

Да, и теперь кто-то стучится, кто-то, новый человѣкъ, съ новымъ словомъ — хочетъ отворить дверь и войти... Но кто войдетъ—вотъ вопросъ: совсѣмъ новый человѣкъ, или опять похожій на всѣхъ насъ, старыхъ человѣчковъ!

ГЛАВА ВТОРАЯ.

I.

Ложь ложью спасается.

Однажды Донъ-Кихоть, столь извѣстный рыцарь печальнаго образа, самый великодушный изъ всѣхъ рыцарей бывшихъ въ мірѣ, самый простой душою и одинъ изъ самыхъ великихъ сердцемъ людей, скитаясь съ своимъ вѣрнымъ оруженосцемъ, Санхой, въ погоню за приключеніями, вдругъ былъ объятъ нѣкоторымъ недоумѣніемъ, которое заставило его долго думать. Дѣло въ томъ, что часто великіе древніе рыцари, начиная съ Амадиса Гальскаго, истори которыхъ уцѣлѣли въ правдивѣйшихъ книгахъ, именуемыхъ рыцарскими романами (для приобрѣтенія коихъ Донъ-Кихоть не пожалѣлъ продать нѣсколько лучшихъ акровъ своего маленькаго помѣстья),—часто эти рыцари, во время полезныхъ всему міру и славныхъ странствованій своихъ, встрѣчали вдругъ и неожиданно цѣлыя арміи, во сто даже тысячъ воиновъ, насылаемыхъ на нихъ злою силою, злыми волшебниками, имъ завидовавшими, и мѣшавшими имъ всячески достигнуть великой цѣли ихъ и соединиться наконецъ съ ихъ прекрасными дамами. Обыкновенно происходило такъ, что рыцарь, встрѣчая такую чудовищную и злою армию, обнажалъ свой мечъ, призывалъ въ духовную помощь себя имя своей дамы и затѣмъ врубался одинъ въ самую средину враговъ, которыхъ и уничтожалъ всѣхъ, до единаго человѣка. Кажется бы, дѣло ясное, но Донъ-Кихоть вдругъ задумался, и надъ чѣмъ же: ему показалось вдругъ невозможнымъ, чтобы одинъ рыцарь, какой бы онъ силы ни былъ и даже если бы махалъ своимъ побѣдоноснымъ мечемъ цѣлыя сутки безъ всякой усталости, могъ варазъ уложить сто тысячъ враговъ, и это въ одномъ сраженіи. Чтобы убить каждаго человѣка нужно все-таки время,

чтобы убить сто тысячъ людей нужно огромное время, и какъ ни махай мечемъ, а въ нѣсколько какихъ-нибудь часовъ, и за разъ, одному этого не сдѣлать. Между тѣмъ въ этихъ правдивыхъ книгахъ повѣствуется, что дѣло кончалось именно въ одно сраженіе. Какъ же это могло происходить?

— Я разрѣшилъ это недоумѣніе, другъ мой Санхо, сказалъ, наконецъ,—Донъ-Кихоть. Такъ какъ всѣ эти великаны, всѣ эти злые волшебники, были нечистая сила, то и арміи ихъ носили такой же волшебный и нечистый характеръ. Я полагаю, что эти арміи состояли не совсѣмъ изъ такихъ же людей, какъ мы, напримѣръ. Люди эти были лишь навожденіе, созданіе волшебства и, по всей вѣроятности, тѣла ихъ не походили на наши, а были болѣе похожи на тѣла, какъ, напримѣръ, у слизняковъ, червей, пауковъ. Такимъ образомъ, крѣпкій и острый мечъ рыцаря, въ могучей его рукѣ, упавая на эти тѣла, проходилъ по нимъ мгновенно, почти безъ всякаго сопротивленія, какъ по воздуху. А если такъ, то дѣйствительно онъ могъ однимъ взмахомъ пройти по тремъ или по четыремъ тѣламъ, и даже по десяти, если тѣ стояли въ тѣсной кучѣ. Понятно послѣ того, что дѣло чрезвычайно ускорялось и рыцарь дѣйствительно могъ истреблять, въ нѣсколько часовъ, цѣлыя арміи этихъ злыхъ араповъ и другихъ чудищ...

Здѣсь подмѣчена великимъ поэтомъ и сердцевѣдцемъ одна изъ глубочайшихъ и таинственнѣйшихъ сторонъ человѣческаго духа. О, эта книга великая, не такая, какія теперь пишутъ; такія книги посылаются человѣчеству по одной въ нѣсколько сотъ лѣтъ. И такихъ подмѣченныхъ глубочайшихъ сторонъ человѣческой природы найдете въ этой книгѣ на каждой страницѣ. Взять уже то, что этотъ Санхо, олицетвореніе здраваго смысла, благоразумія, хитрости, золотой середины, попалъ въ друзья и спутники къ самому сумасшедшему человѣку въ мірѣ; именно онъ, а никто другой! Все время онъ обманываетъ его, надуваетъ какъ ребенка и въ то же время вполне вѣрить въ его великій умъ, до нѣжности очарованъ великостью сердца его, вполне вѣрить во всѣ фантастическіе сны великаго рыцаря и ни разу, во все время, не сомнѣвается, что тотъ завоюетъ ему, наконецъ, островъ! Какъ бы желалось, чтобъ съ этими великими произведеніями всемірной литературы основательно знакомились

наше юношество. Чему учать теперь въ классахъ литературы—не знаю, но знакомство съ этой величайшей и самой грустной книгой изъ всѣхъ, созданныхъ гениемъ человѣка, несомнѣнно возвысило бы душу юноши великою мыслію, заронило бы въ сердце его великіе вопросы, и способствовало бы отвлечь его умъ отъ поклоненія вѣчному и глупому идолу середины, вседозволенному самомнѣнію и пошлomu благоразумію. Эту самую *грустную* изъ книгъ не забудеть взять съ собою человѣкъ на послѣдній судъ Божій. Онъ укажетъ на собственную въ ней глубочайшую и роковую тайну человѣка и человѣчества. Укажетъ на то, что величайшая красота человѣка, величайшая чистота его, цѣломудріе, простодушіе, незлобивость, мужество и наконецъ величайшій умъ,—все это нерѣдко (увы, такъ часто даже) обращается ни во что, проходитъ безъ пользы для человѣчества и даже обращается въ посмѣяніе человѣчествомъ единственно потому, что всѣмъ этимъ благороднѣйшимъ и богатѣйшимъ дарамъ, которыми даже часто бываетъ награжденъ человѣкъ, недоставало одного только послѣдняго дара — именно: *генія*, чтобъ управлять всѣмъ богатствомъ этихъ даровъ и всѣмъ могуществомъ ихъ,—управить и направить все это могущество на правдивый, а не фантастическій и сумасшедшій путь дѣятельности, во благо человѣчества! Но генія, увы, отпускается на племена и народы такъ мало, такъ рѣдко, что зрѣлище той злой ироніи судьбы, которая столь часто обрекаетъ дѣятельность иныхъ благороднѣйшихъ людей и пламенныхъ друзей человѣчества,—на свистъ и смѣхъ и на побіеніе камнями, единственно за то, что тѣ, въ роковую минуту, не сумѣли прозрѣть въ истинный смыслъ вещей и отыскать ихъ *новое слово*, это зрѣлище напрасной гибели столь великихъ и благороднѣйшихъ силъ—можетъ довести дѣйствительно до отчаянія иного друга человѣчества, возбудить въ немъ уже не смѣхъ, а горькія слезы и навсегда озлобить сомнѣніемъ дотолѣ чистое и вѣрующее сердце его...

Впрочемъ, я хотѣлъ только указать на ту любопытнѣйшую черту, которую, вмѣстѣ съ сотней другихъ такихъ же глубокихъ наблюдений, подмѣтилъ и указалъ Сервантесъ въ сердцѣ человѣческомъ. Самый фантастическій изъ людей, до помѣшательства увѣровавшій въ самую фантастическую мечту, какую лишь можно вообразить, вдругъ впадаетъ въ сомнѣніе и недоумѣніе, почти

поколебавшее всю его вѣру. И любопытно, что могло поколебать: не нелѣпость его основного помѣшательства, не нелѣпость существованія скитающихся для блага человѣчества рыцарей, не нелѣпость тѣхъ волшебныхъ чудесъ, которыя объ нихъ разсказаны въ „правдивѣйшихъ книгахъ“, нѣтъ, а самое, напротивъ, постороннее и второстепенное, совершенно частное обстоятельство. Фантастическій человѣкъ вдругъ *затосковалъ о реализмъ!* Не актъ появленія волшебныхъ армій смущаетъ его: о, это не подвержено сомнѣнью, и какъ же бы могли эти великіе и прекрасные рыцари проявить всю свою доблесть, если бъ не посылались на нихъ всѣ эти испытанія, если бъ не было завистливыхъ великановъ и злыхъ волшебниковъ? Идеаль странствующаго рыцаря столь великъ, столь прекрасенъ и полезенъ и такъ очаровалъ сердце благороднаго Донъ-Кихота, что отказаться вѣрить въ него совсѣмъ уже стало для него невозможностью, стало равносильно измѣнѣ идеалу, долгу, любви къ Дульцинеѣ и къ человѣчеству. (Когда онъ отказался, когда онъ излѣчился отъ своего помѣшательства и *поумнѣлъ*, возвратясь послѣ второго своего похода, въ которомъ онъ былъ побѣжденъ умнымъ и здравомыслящимъ цырюльникомъ Караско, отрицателемъ и сатирикомъ, онъ тотчасъ же умеръ, тихо, съ грустною улыбкою, утѣшая плачущаго Санхо, любя весь міръ всею великою силой любви, заключенной въ святомъ сердцѣ его, и понимая, однако, что ему уже нечего болѣе въ этомъ мірѣ дѣлать). Нѣтъ, но смутило его лишь то, самое вѣрное однако и математическое соображеніе, что какъ бы ни махалъ рыцарь мечемъ, и сколь бы ни былъ онъ силенъ, все же нельзя побѣдить армію во сто тысячъ въ нѣсколько часовъ, даже въ день, избивъ всѣхъ до послѣдняго человѣка. Между тѣмъ, въ правдивыхъ книгахъ это написано. Стало-быть, написана ложь. А если ужъ разъ ложь, то и все ложь. Какъ же спасти *истину*? И вотъ онъ придумываетъ для спасенія истины другую мечту, но уже вдвое, втрое фантастичнѣе первой, грубѣе и нелѣпѣе, придумываетъ сотни тысячъ навожденныхъ людей съ тѣлами слизняковъ, но зато по которымъ острый мечъ рыцаря можетъ вдесятеро удобнѣе и скорѣе ходить, чѣмъ по обыкновеннымъ человѣческимъ. *Реализмъ*, стало быть, удовлетворенъ, *правда спасена*, и вѣрить въ первую, въ главную мечту, можно уже безъ сомнѣній—и все, опять-таки, единственно благодаря второй уже гораздо нелѣ-

пѣйшей мечтѣ, придуманной лишь для спасенія *реализма* первой.

Спросите самихъ себя: не случилось ли съ вами сто разъ, можетъ быть, такого же обстоятельства въ жизни? Вотъ вы возлюбили какую-нибудь свою мечту, идею, свой выводъ, убѣжденіе или внѣшній какой-нибудь фактъ, поразившій васъ, женщину, наконецъ, околдовавшую васъ. Вы устремляетесь за предметомъ любви вашей всѣми силами вашей души. Правда, какъ ни ослѣплены вы, какъ ни подкуплены сердцемъ, но если есть въ этомъ предметѣ любви вашей ложь, *навожденіе*, что-нибудь такое, что вы сами преувеличили и исказили въ немъ вашей страстностью, вашимъ первоначальнымъ порывомъ—единственно, чтобъ сдѣлать изъ него вашего идола и поклониться ему—то уже, разумѣется, вы втайнѣ это чувствуете про себя, сомнѣніе тяготитъ васъ, дразнитъ умъ, ходите по душѣ вашей и мѣшаетъ жить вамъ покойно съ излюбленной вашей мечтой. И что жъ, не помните ли вы, не сознаетесь ли сами, хоть про себя: чѣмъ вы тогда вдругъ утѣшились? Не придумали ли вы новой мечты, новой жи, даже страшно, можетъ быть, грубой, но которой вы съ любовью поспѣшили повѣрить, потому только, что она разрѣшала первое сомнѣніе ваше?

II.

Слизняки принимаемые за людей. Что намъ выгоднѣе: когда знаютъ о насъ правду, или когда говорятъ о насъ вздоръ?

Въ наше время чуть не вся Европа влюбилась въ турокъ, болѣе или менѣе. Прежде, на примѣръ, ну хоть годъ назадъ, хоть и старались въ Европѣ отыскать въ туркахъ какія-то національныя великія силы, но въ то же время почти всѣ про себя понимали, что дѣлаютъ они это единственно изъ ненависти къ Россіи. Не могли-же они въ самомъ дѣлѣ не понимать, что въ Турціи нѣтъ и не можетъ быть силъ правильнаго и здороваго національнаго организма, мало того—что и организма-то, можетъ быть, ужъ не осталось никакого,—до того онъ распатанъ, зараженъ и сгнилъ; что турки азіятская орда, а не правильное государство. Но теперь, съ тѣхъ поръ какъ Турція въ войнѣ съ Россією, мало-по-малу укрѣпилось и установилось, въ иныхъ мѣстахъ въ Европѣ, даже уже дѣйствительное и серьезное убѣжденіе, что нація эта не только организмъ, но и имѣющій большую силу, которая въ свою очередь

обладаетъ свойствомъ развитія и дальнѣйшаго прогресса. Эта мечта плѣняетъ многіе европейскіе умы все болѣе и болѣе, а наконецъ даже и къ намъ перешла: и у насъ въ Россіи заговорили иные о какихъ-то неожиданныхъ національныхъ силахъ, которыя вдругъ проявила Турція. Но въ Европѣ укрѣпилась эта мечта опять-таки изъ ненависти къ Россіи, у насъ же—изъ малодушія и страшной поспѣшности пессимистскихъ заключеній, которыя всегда были свойствомъ интеллигентныхъ классовъ нашего общества, чуть только лишь начинались гдѣ-нибудь и въ чемъ-нибудь наши „неудачи“! Въ Европѣ случилось то же самое, что произошло въ поврежденномъ умѣ Донъ-Кихота, но лишь въ формѣ обратной, хотя сущность факта совершенно та же: тотъ, чтобы спасти *истину*, выдумалъ людей съ тѣлами слизняковъ, эти-же, чтобы спасти свою основную мечту, столь ихъ утѣшающую, о ничтожности и бессилии Россіи,—сдѣлали изъ настоящаго уже слизняка организмъ человѣческой, одаривъ его плотью и кровью, силою и здоровьемъ. Объ Россіи-же самыя образованныя европейскія государства со страстью распространяютъ теперь совершенныя нелѣпости. Въ Европѣ и прежде насъ мало знали, даже до того, что всегда надо было удивляться, что столь просвѣщенные народы такъ мало интересуются изучить тотъ народъ, который они же такъ ненавидятъ и котораго постоянно боятся. Эта скудость европейскихъ о насъ познаній и даже нѣкоторая невозможность Европы понять насъ во многихъ пунктахъ, все это въ нѣкоторомъ отношеніи было для насъ до сихъ поръ отчасти и выгодно. А потому вреда не будетъ и теперь. Пусть они кричатъ у себя о „позорной слабости Россіи, какъ военной державы“ вопреки свидѣтельству десятковъ ихъ-же корреспондентовъ съ самаго поля войны, удивляющихся боевой способности, рыцарской стойкости и высочайшей дисциплинѣ русскаго солдата и офицера; пусть самыя возможныя, хотя-бы и значительныя ошибки русскаго штаба въ началѣ войны, они считаютъ не только непоправимыми, но и органическими всегдашними недостатками нашего войска и націи (забывъ, какъ часто мы ихъ бивали въ битвахъ за всѣ послѣднія два столѣтія). Пусть, наконецъ, *самыя серьезнѣйшія* изъ ихъ политическихъ изданій общаютъ Европѣ за точную истину, объ огромномъ бунтѣ народа, предводимаго ниглистами, на Выборгской сторонѣ въ Петербургѣ, и о вытребованныхъ русскимъ началь-

ствомъ двухъ полкахъ по желѣзной дорогѣ изъ Динабурга для спасенія Петербурга,—пусть это все говорятъ они въ слѣпой своей злобѣ. Повторяю, намъ это даже выгодно, такъ какъ сами они не вѣдаютъ, что творять. Вѣдь ужъ, конечно, имъ-бы хотѣлось возбудить у себя повсемѣстно къ намъ ненависть, „какъ къ опаснымъ противникамъ ихъ цивилизаціи“,—и вотъ они-же представляютъ насъ въ упадшемъ видѣ, въ смѣшномъ до позора слабосиліи какъ военной державы и какъ государственнаго организма. Но вѣдь кто такъ слабъ и ничтоженъ, тотъ можетъ ли возбуждать опасенія и противъ себя коалиціи? А имъ именно нужно настроить противъ насъ свое общество. Стало быть, во вредъ же себѣ говорятъ, а коли такъ, то приносятъ намъ не вредъ, а пользу. Мы же подождемъ конца.

Но вообразить только, что къ нимъ дошло-бы самое полное, точное и истинное свѣдѣніе о всей силѣ духа, чувства и непоколебимой вѣры народа русскаго въ справедливость великаго дѣла, за которое обнажилъ мечъ Государь его, и въ несомнѣнное торжество этого дѣла, рано или поздно? Вообразить, что въ Европѣ поняли, наконецъ, что война эта для Россіи есть національная война въ высшей степени и что народъ нашъ вовсе не мертвая и бездушная масса, какъ они всегда представляютъ его себѣ, а могущественный и сознающій свое могущество организмъ, сплоченный весь какъ одинъ человѣкъ и нераздѣльный сердцемъ и волею со своею арміею,—о, какой-бы страхъ и какое повсемѣстное волненіе возбудило-бы у нихъ это свѣдѣніе! И, ужъ конечно, это скорѣе способствовало бы къ дѣйствительной и явной уже коалиціи противъ насъ Европы, чѣмъ столь любезныя имъ клеветы на наше слабосиліе и паденіе. Нѣтъ, ужъ пусть они лучше вѣрятъ бунту на Выборгской. Насъ-же только ободрить, что они тому вѣрятъ.

Но въ Европѣ все это понятно, и понятно отъ чего это происходитъ. Но какъ у насъ-то могутъ колебаться, волноваться и даже вѣрить въ какія-то новыя, вдругъ открывшіяся, жизненныя силы турецкой націи? Чѣмъ проявила она эту силу? Фанатизмомъ? Но фанатизмъ мертвечина, а не сила, у насъ сто разъ проповѣдовали это самое же эти люди, которые вѣрятъ теперь въ турецкія силы. Говорятъ про турецкія побѣды. Но турки отразили, разъ и другой, лишь наши атаки, а это побѣды, такъ сказать, отрицательныя, а не положительныя. Мы, сидя въ Сева-

стополѣ, отразили разъ приступъ французовъ и англичанъ съ страшною для нихъ потерею людей, но Европа однако же не кричала тогда объ нашей побѣдѣ. Мы цѣлые два послѣдніе мѣсяца были гораздо слабѣе силами, чѣмъ турки, и что жъ они не воспользовались этимъ; что жъ не вытѣснили насъ за Балканы, не прогнали за Дунай? Напротивъ, мы вездѣ удержали наши главные позиціи и вездѣ отразили турокъ. Бывало, что семь или восемь нашихъ батальоновъ разбиваютъ ихнихъ двадцать, какъ недавно случилось подъ Церковной. Убѣжденные въ силѣ турокъ, указываютъ однако на ихъ ружья, которыя лучше нашихъ, и даже на ихъ артиллерію, которая какъ будто-бы лучше нашей. Но они не хотятъ припомнить, что мы въ сущности воюемъ не съ одними турками, а и съ европейскими державами, что множество англичанъ служатъ офицерами въ турецкомъ войскѣ, что вооружены турки на европейскія деньги, что европейская дипломатія во многомъ стала поперекъ нашей дороги съ самаго начала войны, лишивъ насъ помощи естественныхъ союзниковъ нашихъ, лишивъ насъ даже настоящихъ дорогъ нашихъ въ Турцію. Кромѣ того Европа, ненавистью къ намъ, несомнѣнно ободрила и фанатизмъ турокъ. Въ Европѣ открылся наконецъ заговоръ цѣлыхъ шаекъ, уже организованныхъ, съ оружіемъ, съ деньгами, чтобъ броситься внезапно въ тылъ нашей арміи. Въ довершеніе тамъ сострапали недавно и заемъ для турокъ, въ огромный ущербъ своему карману, и невозможный заемъ этотъ состоялся единственно потому, что въ Европѣ такъ полюбили мечту о томъ, что Турція не государство слизняковъ, а дѣйствительно съ такою же плотью и кровью, какъ и европейскіе государственные организмы. И это когда-же, когда кровь цѣлыхъ провинцій Турціи лилась рѣкою, когда открытъ даже правильный заговоръ между самими правителями Турціи съ цѣлью истребить болгаръ всѣхъ до единого? Турки воюютъ съ нами, кормя и поддерживая свое войско такими реквизиціями припасовъ, лошадей и скота съ болгаръ, которыя не могутъ не разорить до тла эту богатѣйшую провинцію Турціи. И этимъ-то разорителямъ и умертвителямъ собственной страны, просвѣщенные англичане дали займы денегъ, повѣрили ихъ экономической состоятельности! Но пусть, пусть все это тамъ, тамъ все-таки это понятно. Но у насъ-то какъ-же признаютъ турокъ силой? Разореніе до тла собственной земли и истребленіе въ корень всего

христіанскаго населенія страны—развѣ это сила? Да силы такой и до конца войны имъ не хватитъ. Первый оборотъ дѣла въ нашу пользу—и все это фантастическое зданіе ихъ военной и національной силы рухнетъ мгновенно и за разъ, и разсѣется какъ истинный призракъ, вмѣстѣ даже съ ихъ фанатизмомъ, который вылетитъ какъ изъ отвореннаго клапана паръ.

Нѣкоторые умные люди проклинаютъ теперь у насъ славянскій вопросъ, и на словахъ и печатно. „Дались, дескать, намъ эти славяне и всѣ эти фантазіи объ объединеніи славянъ! И кто намъ навалилъ этихъ славянъ на шею, и для чего: на вѣчную распрю съ Европой; на вѣчную ея подозрительность къ намъ, ненависть и теперь и въ будущемъ! Да будутъ же прокляты славянофилы!“ и т. д., и т. д. Но эти восклицающіе умные люди, кажется, имѣютъ совершенно ложныя свѣдѣнія и о славянахъ и о восточномъ вопросѣ, а многіе такъ совсѣмъ даже и не интересовались имъ до самой послѣдней минуты.

А потому спорить съ ними нельзя. И вѣдь дѣйствительно имъ неизвѣстно, что восточный вопросъ (т.-е. и славянскій вмѣстѣ) вовсе не славянофилами выдуманъ, да и никѣмъ не выдуманъ, а самъ родился и уже очень давно—родился раньше славянофиловъ, раньше насъ, раньше васъ, раньше даже Петра Великаго и Русской имперіи. Родился онъ при первомъ сплоченіи великорусскаго племени въ единое русское государство, т. е. вмѣстѣ съ царствомъ Московскимъ. Восточный вопросъ есть исконная идея Московскаго царства, которую Петръ Великій призналъ въ высшей степени и, оставляя Москву, перенесъ съ собой въ Петѣрбургъ. Петръ въ высшей степени понималъ ея органическую связь съ русскимъ государствомъ и съ русской душой. Вотъ почему идея не только не умерла въ Петѣрбургѣ, но прямо признана была какъ бы *русскимъ назначеніемъ* всѣми преемниками Петра. Вотъ почему ее нельзя оставить и нельзя ей измѣнить. Оставить славянскую идею и отбросить безъ разрѣшенія задачу о судьбахъ восточнаго христіанства (NB. сущность восточнаго вопроса)—значитъ все равно, что сломать и вдребезги разбить всю Россію, а на мѣсто ея выдумать что-нибудь новое, но только уже совсѣмъ не Россію. Это было бы даже и не революціей, а просто уничтоженіемъ, а потому и немыслимо даже, потому что нельзя же уничтожить такое цѣлое и вновь переродить его совсѣмъ въ

другой организмъ. Идею эту не видятъ и не признаютъ теперь развѣ ужъ самые слѣпые изъ русскихъ европейцевъ, да вмѣстѣ съ ними, и къ стыду ихъ, биржевики. Биржевиками я называю здѣсь условно всѣхъ вообще теперешнихъ русскихъ, которымъ, кромѣ своего кармана, нѣтъ никакой въ Россіи заботы, а потому взирающихъ и на Россію единственно съ точки зрѣнія интересовъ своего кармана. Они кричатъ теперь хоромъ о торговомъ застоѣ, о биржевомъ кризисѣ, о паденіи рубля. Но если бѣ эти биржевики наши были настолько дальновидны, чтобъ понимать кое-что внѣ своей сферы, то они бы и сами догадались, что если бѣ Россія не начала теперешнюю войну, то было бы имъ же хуже. Чтобъ были „дѣла“, даже биржевыя, надо чтобъ нація жила въ самомъ дѣлѣ, т.-е. настоящею живою жизнію и исполняя свое естественное назначеніе, а не была бы гальванизированнымъ трупомъ въ рукахъ жидовъ и биржевиковъ.—Если бѣ мы не начали теперешней войны послѣ всѣхъ циническихъ и обидныхъ намъ вызововъ враговъ нашихъ, и если бѣ мы не помогали истязуемымъ мученикамъ, то сами же себя стали бы презирать. А самопрезрѣніе, нравственное паденіе, и за нимъ цинизмъ,—мѣшаютъ даже „дѣламъ“. Нація живетъ великимъ чувствомъ и великою, всѣхъ единящею и все освѣщающею мыслью, соединеніемъ съ народомъ наконецъ, когда народъ неволью признаетъ верхнихъ людей съ ними заодно, изъ чего рождается національная сила—вотъ чѣмъ живутъ націи, а не одной лишь биржевой спекуляціей и заботой о цѣнѣ рубля. Чѣмъ богаче духовно нація, тѣмъ она и матеріально богаче... А впрочемъ, что жъ я какія старыя слова говорю!

III.

Легкій намекъ на будущаго интеллигентнаго русскаго человѣка.
Несомнѣнный удѣлъ будущей русской женщины.

Есть теперь странныя заботы. Положительно есть русскіе люди, боящіеся даже русскихъ успѣховъ и русскихъ побѣдъ. Не потому боятся они, что желаютъ зла русскимъ, напротивъ, они скорбятъ обо всякой русской неудачѣ сердечно, они хорошіе русскіе, но они боятся и удачъ, и побѣдъ русскихъ,—„потому-де, что явится послѣ побѣдоносной войны самоувѣренность, самовосхваленіе, шовинизмъ, застой“. Но вся ошибка этихъ добрыхъ людей въ томъ, что они всегда видѣли русскій прогрессъ единственно

въ самооплеваніи. Да самонадѣянность-то намъ, можетъ быть, и всего нужнѣе теперь! Самоуваженіе намъ нужно, наконецъ, а не самооплеваніе. Не безпокойтесь: застоя не будетъ. Война освѣтитъ столько новаго и заставитъ столько измѣнить стараго, что вы бы никогда не добились того самооплеваніемъ и поддразниваніемъ, которыя обратились въ послѣднее время лишь въ простую забаву. Зато обнаружится и многое такое, что прежде считалось даже умниками-обличителями нашими лишь мелочью, смѣшными пустяками и даже послѣднимъ дѣломъ, но что, однакоже, составляетъ главнѣйшую нашу сущность дѣла во всемъ. Да и не намъ, не намъ предаваться повинизму и самоупоенію! Гдѣ и когда это случалось въ русскомъ обществѣ! Утверждающіе это просто не знаютъ русской исторіи. Объ нашемъ самоупоеніи много говорили послѣ Севастополя: самоувѣренность-де насъ тогда погубила. Но никогда интеллигентное общество не было у насъ менѣе самоувѣренно и даже болѣе въ разложеніи, какъ въ эпоху передъ Севастополемъ.

Кстати замѣчу: изъ писавшихъ о нашемъ самоупоеніи и дразнившихъ насъ имъ послѣ Севастополя было нѣсколько новыхъ молодыхъ писателей, обратившихъ тогда на себя большое вниманіе общества и возбудившихъ въ немъ горячее сочувствіе къ ихъ обличеніямъ. И однако къ этимъ истинно желавшимъ добра обличителямъ присоединилось тогда тотчасъ же столько нахальнаго и грязнаго народу, явилось столько свистопляски, столько людей совсѣмъ не понимавшихъ въ чемъ сущность дѣла, а между тѣмъ воображавшихъ себя спасителями Россіи, мало того — явилось въ ихъ числѣ столько даже откровенныхъ враговъ Россіи, что они подъ конецъ сами повредили тому дѣлу, къ которому примкнули и которое повелось было талантливыми людьми. Но сначала и они имѣли успѣхъ, единственно потому, что чистые сердцемъ русскіе люди, дѣйствительно жаждавшіе тогда повсемѣстно обновленія и новаго слова—не разобрали въ нихъ негодяевъ, людей бездарныхъ и безъ убѣжденій, и даже продажныхъ. Напротивъ, думали, что они-то и за Россію, за ея интересы, за обновленіе, за народъ и общество. Кончилось тѣмъ, что огромное большинство русскихъ людей, наконецъ, разочаровалось и отвернулось отъ нихъ,—а затѣмъ ужъ пришли биржевики и желѣзнодорожники... Теперь этой ошибки, кажется, не повторится, потому что

несомнѣнно явятся новые люди, уже съ новою мыслью и съ новою силою.

Эти новые люди не побоятся самоуваженія, но и не побоятся не плыть за старымъ. Не побоятся и умниковъ: они будутъ скромны, но будутъ уже многое знать, по опыту и уже на дѣлѣ, изъ того, что и не снилось мудрецамъ нашимъ. По опыту и на дѣлѣ они научатся уважать русскаго человѣка и русскій народъ. Это-то познаніе они ужъ навѣрно принесутъ съ собою, и въ немъ-то и будетъ состоять ихъ главная точка опоры. Они не станутъ сваливать всѣхъ нашихъ бѣдъ и всѣхъ *неумныхъ* нашихъ единственно лишь на свойства русскаго человѣка и русской природы, что обратилось уже въ казенный пріемъ у нашихъ умниковъ, потому что это и покойно, и ума не требуетъ. Они первые засвидѣтельствуютъ собою, что русскій духъ и русскій человѣкъ, въ этихъ ста тысячахъ взваленныхъ на нихъ обвиненій, невиноваты нисколько, что тамъ, гдѣ только есть возможность прямого доступа русскому человѣку, тамъ русскій человѣкъ сдѣлаетъ свое дѣло не хуже другого. О, эти новые люди поймутъ, наконецъ, несмотря на всю свою скромность, какъ часто наши умники, даже и чистѣйшіе сердцемъ и желающіе истинной пользы,—садились между двухъ стульевъ, желая отыскать корень зла. Къ этимъ-то новымъ людямъ, которые несомнѣнно явятся послѣ войны, примкнетъ много живыхъ силъ изъ народа и русской молодежи. Они и до войны уже объявлялись, но мы все еще ихъ не могли тогда замѣтить, и когда мы всѣ здѣсь ожидали увидѣть лишь зрѣлища цинизма и растлѣнія, они тамъ явили зрѣлище такого сознательнаго самоотверженія, такого искренняго чувства, такой полной вѣры въ то, за что пошли отдавать свои головы, что мы здѣсь лишь дивились: откуда взялось все это? Нѣкоторые иностранные корреспонденты иностранныхъ газетъ упрекали нѣкоторыхъ русскихъ офицеровъ за то, что они самолюбивы, карьеристы, рвутся къ отличіямъ, забывая главную цѣль: любовь къ родинѣ и къ тому дѣлу, которому взялись служить. Но если и есть у насъ такіе офицеры, то все же этимъ корреспондентамъ не дурно было бы узнать и о той молодежи, или о тѣхъ, незамѣтныхъ даже по чину своему офицерахъ, скромныхъ слугахъ отечества и праваго дѣла, которые умирали вмѣстѣ съ своими солдатами доблестно, съ полнымъ самоотверженіемъ, вовсе уже не для награды, не для

красы и не для карьеры, а потому только, что были великія сердца, великіе христіане и *незамѣтные* великіе русскіе люди, которыхъ такъ много, чуть не до послѣдняго солдата въ нашемъ войскѣ. Забѣйте же, что, говоря о грядущемъ новомъ человѣкѣ, я вовсе не указываю лишь на однихъ нашихъ воиновъ, въ ожиданіи того, когда они воротятся. Явятся и безчисленные другіе—*всѣ* *тѣ, которые прежде такъ жаждали вѣрнуть въ русскаго* *человѣка*, но не могли проявиться и идти противъ всеобщаго царившаго наружу отрицанія и пессимизма. Но теперь, созерцая съ какой *вѣрой* въ свои силы проявился русскій человѣкъ *тамъ*, они поневолѣ ободрятся и повѣрятъ, что есть настоящія русскія силы и здѣсь: откуда тамошнія-то взялись, какъ не отсюда же? А ободрившись, сплотятся и скромно, но твердо примутся уже за настоящее дѣло, не боясь ничьихъ громкихъ и звонкихъ словъ. И все такихъ старыхъ, старыхъ словъ! А умные старички наши все еще до сихъ поръ увѣрены, что они-то и есть самые новые и *молодые* люди и что говорятъ самыя новыя слова!

Но главное и самое спасительное обновленіе русскаго общества выпадетъ безспорно на долю русской женщины. Послѣ нынѣшней войны, въ которую такъ высоко, такъ свѣтло, такъ свято проявила себя наша русская женщина, нельзя уже сомнѣваться въ томъ высокомъ удѣлѣ, который несомнѣнно ожидаетъ ее между нами. Наконецъ-то падутъ вѣковые предрасудки и „варварская“ Россія покажетъ, какое мѣсто отведетъ она у себя „матушкѣ“ и „сестрицѣ“ русскаго солдата, самоотверженницѣ и мученицѣ за русскаго человѣка. Ей ли, этой ли женщинѣ, столь явно проявившей доблесть свою, продолжать отказывать въ полномъ равенствѣ правъ съ мужчиной по образованію, по занятіямъ, по должностямъ, тогда какъ на нее-то мы и возлагаемъ всѣ надежды наши теперь, послѣ подвига ея, въ духовномъ обновленіи и въ нравственномъ возвышеніи нашего общества! Это уже будетъ стыдно и неразумно, тѣмъ болѣе, что не совсѣмъ отъ насъ это и зависть будетъ теперь, потому что русская женщина сама стала на подобающее ей мѣсто, сама перешагнула тѣ ступени, гдѣ доселѣ ей полагался предѣлъ. Она доказала, какой высоты она можетъ достигнуть и что можетъ совершить. Впрочемъ, говоря такъ, я говорю про *русскую* *женщину*, а не про тѣхъ чувствительныхъ дамъ, которыя

кормили турокъ конфетами. Въ добротѣ къ туркамъ, конечно, нѣтъ худа, но все же вѣдь это не то, что совершили тамъ *тѣ женщины*, а потому *эти* всего только русскія *старыя* барыни, а *тѣ*—*новыя* русскія женщины. Но и не про тѣхъ однѣхъ женщинъ говорю я, которыя тамъ подвизаются въ дѣлѣ Божіемъ и въ служеніи человечеству; тѣ своимъ появленіемъ только доказали намъ, что въ Русской землѣ много великихъ сердцемъ женщинъ, готовыхъ на общественный трудъ и на самоотверженіе,—потому что, опять-таки, откуда же тѣ-то взялись, какъ не отсюда же? Но о русской женщинѣ и о несомнѣнномъ ближайшемъ жребіи ея въ нашемъ обществѣ я хотѣлъ бы поговорить побольше и особо, а потому и возвращусь еще къ этой темѣ въ слѣдующемъ октябрьскомъ „Дневникѣ“ моемъ.



ОКТАБРЬ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

I.

Къ читателю.

По недостатку здоровья, особенно мѣшающему мнѣ издавать „Дневникъ“ въ точные опредѣленные сроки, я рѣшаюсь, на годъ или на два, прекратить мое изданіе. Дѣлаю это съ чрезвычайнымъ сожалѣніемъ, потому что и не ожидалъ, начиная прошлаго года „Дневникъ“, что буду встрѣченъ читателями съ такимъ сочувствіемъ. Сочувствіе это продолжалось все время, до послѣдняго дня. Благодарю за него искренно. Благодарю особенно всѣхъ обращавшихся ко мнѣ письмами: изъ писемъ этихъ я узналъ много новаго. И вообще, изданіе „Дневника“, въ продолженіе этихъ двухъ лѣтъ, многому меня самого научило, и во многомъ еще тверже укрѣпило. Но, къ сожалѣнію, я рѣшительно принужденъ остановиться. Съ декабрьскимъ выпускомъ изданіе окончится. Авось ни я, ни читатели не забудемъ другъ друга до времени.

II.

Старое всегдашнее военное правило.

Объ нашихъ военныхъ ошибкахъ въ нынѣшнюю кампанію говорили и писали въ Европѣ и въ Россіи. Про-

должаютъ разсуждать и теперь. Вѣрная и полная оцѣнка нашихъ военныхъ дѣйствій, конечно, принадлежитъ лишь будущему, т. е., по крайней мѣрѣ, можетъ состояться лишь по окончаніи войны; но нѣкоторые факты выступаютъ уже и теперь съ достаточною полнотою, чтобъ произнести о нихъ болѣе или менѣе точное сужденіе. Не о военныхъ ошибкахъ нашихъ возьмусь судить я, малокомпетентный въ этомъ дѣлѣ человекъ (хотя малокомпетентные-то, кажется, всѣхъ болѣе у насъ теперь и горячатся). Я лишь хочу указать на одинъ современный фактъ (а не на ошибку), который доселѣ былъ военной наукой мало разъясненъ, мало наблюдаемъ, не успѣлъ быть оцѣненъ въ своей *современной* сущности, который можно было угадывать лишь въ теоріи, но который практически почти никогда не былъ подтвержденъ, вплоть до нынѣшней войны. Этому роковому, до нынѣшней войны практически не подтвержденному въ военномъ дѣлѣ факту, суждено было, какъ нарочно, проявиться въ самой полной своей силѣ и въ самой окончательной своей точности, неминуемо въ нынѣшнюю кампанію, потому что этотъ, чисто военный фактъ, какъ разъ подошелъ къ національному военному характеру турокъ, или лучше сказать: къ главному отличительному свойству ихъ военнаго характера. Мало того, можно даже такъ заключить, что фактъ этотъ и не разъяснился бы, пожалуй, безъ турокъ,—по крайней мѣрѣ, въ Европѣ, несмотря на недавнія войны (и такіа огромныя войны какъ франко-прусская война), онъ еще не былъ разъясненъ, не успѣлъ опредѣлиться. Теперь, послѣ рокового опыта текущей войны, онъ, разумѣется, войдетъ въ военное искусство и будетъ оцѣненъ по своему значенію. Но въ текущую войну *роковое* для насъ заключалось въ томъ, что русская армія, такъ сказать, наткнулась на этотъ неразъясненный во всемъ практическомъ своемъ значеніи военный фактъ, и что предназначено было разъяснить его намъ, русскимъ, съ огромнымъ ущербомъ для насъ, по крайней мѣрѣ, до тѣхъ поръ, пока смыслъ его не выяснился для насъ вполне. Между тѣмъ, очень многіе, и у насъ, и въ Европѣ, склонны до сихъ поръ считать этотъ огромный ущербъ, который мы понесли отъ этого неразъясненнаго факта, — единственно лишь нашей военной ошибкой, тогда какъ тутъ было нѣчто роковое и неминуемое, а не ошибка, и будь на нашемъ мѣстѣ, на примѣръ, хоть германское войско, то и

оно бы ссадило себѣ на этомъ фактѣ бока... хотя, можетъ быть, скорѣе оцѣнило бы его и поспѣшнѣе приняло мѣры. Я хочу только сказать, что не всѣ наши ошибки теперешней кампаніи — суть въ самомъ дѣлѣ ошибки и что важнѣйшая изъ этихъ ошибокъ постигла бы и любую европейскую армію на нашемъ мѣстѣ. Повторяю, мы наткнулись на неразъясненный военный фактъ и до разъясненія его понесли ущербъ, — а это нельзя считать безусловной ошибкой. Но чтѣ же это за фактъ?

Когда я, въ моей юности, слушалъ курсъ высшихъ военныхъ и инженерныхъ наукъ въ Главномъ Инженерномъ Училищѣ, тогда существовало у насъ одно убѣжденіе, считавшееся непреложнымъ, одна инженерная аксіома. (Впрочемъ, поспѣшу оговориться въ скобкахъ: я такъ давно оставилъ инженерное и военное дѣло, что не претендую ни на малѣйшую въ этомъ смыслѣ компетентность. Я поступилъ въ Главное Инженерное Училище и слушалъ въ немъ шестилѣтній курсъ въ концѣ тридцатыхъ и въ началѣ сороковыхъ годовъ; затѣмъ, кончивъ курсъ и оставивъ училище, прослужилъ инженеромъ лишь годъ, вышелъ въ отставку и занялся литературой. Тотлебенъ вышелъ тремя или четырьмя годами прежде меня. Кауфмана я помню въ офицерскихъ классахъ. Съ младшимъ Кауфманомъ я былъ въ одно время еще въ кондукторскихъ. Радецкій, Петрушевскій и Юлшинъ были всего лишь однимъ классомъ старше меня. Изъ моихъ же одноклассныхъ товарищей удалились съ прямого пути на путь шаткій и неопредѣленный всего только трое: я, писатель Григоровичъ и живописецъ Трутовскій. Однимъ словомъ, все это было очень давно). Эта инженерная аксіома состояла въ томъ, что нѣтъ и не можетъ быть крѣпости неприступной, т. е. какъ бы ни было искусно укрѣплена и оборонена крѣпость, но въ концѣ концовъ она должна быть взята и что, стало быть, военное искусство атаки крѣпости всегда превышаетъ средства и искусство ея обороны. Разумѣется, все это лишь вообще и теоретически: отвлеченно разсматривается лишь существенное свойство обоихъ инженерныхъ искусствъ, атаки и обороны крѣпостей. Разумѣется тоже, что нѣтъ правила безъ исключеній; и у насъ указывалось тогда на нѣкоторыя существующія крѣпости, которыя будто бы были неприступны. Гибралтаръ, напримѣръ, о которомъ, впрочемъ, мы знали лишь по слухамъ. Но въ научномъ смыслѣ

все-таки никакой Гибралтаръ не могъ и не долженъ былъ считаться неприступнымъ и аксіома, что искусство атаки крѣпости всегда превышаетъ средства и искусство ея обороны—оставалась непоколебимою.

О, другое дѣло на практикѣ. Иная крѣпость, напримеръ, можетъ получить характеръ неприступной твердыни (не будучи таковою), потому только, что она, по тѣмъ или другимъ обстоятельствамъ, можетъ слишкомъ долго задержать передъ собою главныя силы непріятеля, истощить эти силы и такимъ образомъ сослужить службу больше которой и нельзя требовать. Тотлебенъ, напримеръ, навѣрно зналъ, что Севастополь все-таки возьмутъ наконецъ и не могутъ не взять, какъ бы онъ ни защищалъ его. Но союзники уже навѣрно не знали и не предполагали, начиная осаду, что Севастополь потребуетъ отъ нихъ такихъ напряженій силы. Напротивъ, вѣроятно, полагали, что Севастополь займетъ ихъ мѣсяца на два и войдетъ лишь какъ мимоходный эпизодъ въ обширный планъ тѣхъ безчисленныхъ ударовъ, которые они готовились нанести Россіи и кромѣ взятія Севастополя. И вотъ именно Севастополь-то и сослужилъ службу неприступной твердыни, хотя и былъ взятъ подъ конецъ. Долгой, неожиданной для нихъ геніальной защитой Тотлебена, силы союзниковъ, военныя и финансовыя, были истощены и потрясены до того, что по взятіи Севастополя о дальнѣйшихъ ударахъ нечего было и думать, и враги наши желали мира, по крайней мѣрѣ, не менѣе нашего! А такія ли условія мира предложили бы они намъ, если бы удалось имъ взять Севастополь черезъ два мѣсяца! Такимъ образомъ и *не надо* абсолютно неприступныхъ крѣпостей;—при искусной защитѣ и при доблестной стойкости защитниковъ и далеко не неприступная крѣпость можетъ сломить силы враговъ. Тѣмъ не менѣе, какъ ни геніальна была защита Севастополя, но, повторю это, онъ все-таки, рано ли, поздно ли, долженъ былъ пасть, потому что, при извѣстномъ равенствѣ силъ обоихъ противниковъ, сила атаки всегда превышаетъ силу обороны (т. е. опять-таки въ научномъ смыслѣ говоря, а не въ практическомъ, ибо отъ иныхъ твердынь дѣйствительно уходили иногда атакующіе послѣ даже долгой осады ихъ и по неприступности ихъ, а рассчитывая лишь сдѣлать другой ударъ, въ другомъ мѣстѣ и съ меньшимъ ущербомъ силъ, если только такой исходъ могъ представиться).

III.

То же правило, только въ новомъ видѣ.

И вотъ этотъ военный фактъ, эта, такъ сказать, военная аксіома, въ нынѣшнюю нашу войну съ турками вдругъ какъ бы поколебались и чѣмъ же,—не „долговременнымъ“ фортификаціоннымъ укрѣпленіемъ, не неприступною твердынею грозной крѣпости, а летучимъ полевымъ, много что „временнымъ“ фортификаціоннымъ укрѣпленіемъ. Прежде полевые укрѣпленія и въ счетъ не шли, это была лишь полевая фортификація. Полевая фортификація лишь укрѣпляла мѣстность боя, но неприступною никогда ее не могла сдѣлать. У насъ подъ Бородинымъ были воздвигнуты редуты и оказали свою пользу, т. е. укрѣпили мѣстность, но все-таки были взяты и хоть съ ущербомъ для непріятеля, но все-таки въ тотъ же день были взяты, въ день битвы.

И вотъ подъ Плевной произошло что-то совсѣмъ уже новое. Рядъ простыхъ полевыхъ, много что *временныхъ* (не очень тоже важная вещь въ прежнее время) укрѣпленій придаетъ мѣстности значеніе неприступной твердыни, которую прежними средствами и взять нельзя, которая уже потребовала отъ насъ двойныхъ, тройныхъ усилій, чѣмъ предполагалось вначалѣ, и которая до сихъ поръ еще не взята. Будь весь этотъ грозный рядъ укрѣпленій съ прежними средствами защиты—устоялъ ли бы онъ противъ энергическаго, блистательнаго, безпримѣрнаго натиска русскихъ? Конечно, нѣтъ: сослужилъ бы свое дѣло, затруднилъ бы атаку, но 50,000 русскихъ, конечно, при такомъ безавѣтномъ натискѣ, какъ 30-го августа, овладѣли бы редутами и разбили бы пятидесяти-тысячную армію Османа-паши, т. е. дѣло завершилось бы при равномъ числѣ войскъ и не потребовалось бы никакихъ подкрѣпленій. Теперь же, послѣ двухъ неудавшихся штурмовъ, оказалось необходимымъ увеличить нашу армію вдвое, и это по крайней мѣрѣ, и это только первый шагъ къ достиженію цѣли.

Въ чемъ же дѣло? Уже, конечно, въ теперешнемъ ружьѣ. Турокъ, закрывшись наскоро набросанною насыпью, можетъ выпустить въ атакующихъ такую массу пуль, что не невѣроятно, если и вся штурмующая колонна, не дойдя еще и до гласиса, будетъ истреблена, до послѣдняго челоука. О, конечно, можно взять всю Плевну совершенно

прежними средствами, т. е. прежней фронтальной атакой безъ фортификаціонныхъ работъ, вотъ точно такъ же, какъ были взяты редуты подъ Бородинымъ. *И наши русскіе это бы сдѣлали!* Можетъ быть, ни одна армія въ Европѣ не рѣшилась бы сдѣлать это, а они бы сдѣлали. Только вотъ бѣда: оказалось изъ опыта, что для этого навѣрно надо положить русскихъ десятками тысячъ, такъ что, овладѣвъ редутами фронтальной атакой, мы, при равномъ вначалѣ числѣ войскъ съ Османомъ, оказались бы, подъ самый конецъ, столь обезсиленными численно, что уже не могли бы сдержать Османа, который бы потерялъ въ десять разъ меньше нашего за своими насыпями. И такъ, послѣ двухъ страшныхъ неудавшихся приступовъ выяснилась, наконецъ, необходимость: во-первыхъ, увеличить вдвое нашу силу, затѣмъ, съ помощію Тотлебена, приступить къ инженернымъ работамъ, къ чему-то даже похожему на атаку сильнѣйшихъ, долговременныхъ крѣпостей, затѣмъ къ обложенію Плевны, къ занятію дорогъ, къ пресѣченію сообщеній, подвозовъ къ непріятелю. Однимъ словомъ, рядъ весьма обыкновенныхъ полевыхъ и временныхъ укрѣпленій сослужилъ врагу нашему роль первоклассной крѣпости. И хоть и возьмутъ Плевну (что навѣрно), т. е., вѣрнѣе сказать, хоть и возьмутъ Османа, когда онъ пройдетъ па проломъ, чтобы выйти изъ собственной западни и не умереть въ ней съ голоду, — (а бросившись на проломъ *откроется*, и изъ защищающагося *перейдетъ самъ въ роль атакующаго*, въ этомъ-то и все для насъ дѣло), чѣмъ разомъ потеряетъ всѣ выгоды смертоноснаго и непреоборимаго огня за закрытыми укрѣпленіями, — тѣмъ не менѣе, въ результатѣ все-таки выйдетъ то, что Плевна уже сослужила свое дѣло врагу нашему, остановила первоначальное побѣдоносное шествіе русскихъ, принудила на двойныя, тройныя усилія и растраты (къ чему даже и въ Европѣ уже считали Россію неспособной) и—кто знаетъ, можетъ-быть, и безъ такого страшнаго для себя результата въ концѣ. Османъ все же вѣдь надѣется хоть половину-то своей арміи урвать у русскихъ и уѣзжать вмѣстѣ съ нею, а тамъ опять гдѣ-нибудь окончатся и опять воздвигнуть новую Плевну (если только ему дадутъ все это устроить; но вѣдь всякому позволительно надѣяться, а Османъ человекъ энергичный и гордый).

Даже такъ можно сказать: если у обороняющагося есть

шанцевый инструментъ и хоть десятка два тысячъ солдатъ, съ теперешнимъ ружьемъ, то рядъ этихъ простыхъ прежнихъ полевыхъ укрѣпленій, которыхъ можно въ одну ночь разбросать по избранной мѣстности сколько угодно—на завтра усилить эти теперешніе два десятка тысячъ войска до силы пятидесяти, или шестидесяти-тысячной арміи, съ которою, если обстоятельства неблагоприятствуютъ притомъ маневрированію, вы уже и не знаете, что дѣлать. Такимъ образомъ—этотъ рядъ легкихъ укрѣпленій оказывается иной разъ даже лучше для защищающагося, чѣмъ самая грозная и неприступная крѣпость, потому что эту крѣпость обороняющійся, отступая, какъ бы переноситъ съ собою въ другое любое мѣсто, былъ бы шанцевый инструментъ. Вы у него возьмете ее, наконецъ, положивъ при штурмѣ тысячи солдатъ, а на завтра васъ встрѣчаетъ такая же крѣпость на вашемъ пути, если только успѣеть уйти отъ васъ врагъ. Не одна Плевна теперь въ Турціи, а всякая турецкая армія, всякій даже отрядъ окапывается и выставляетъ на утро русскому изъ-за окоповъ свои смертоносныя ружья: „Подходи-ка, дескать, въ двойныхъ силахъ, да теряя войска вдесятеро, чѣмъ ты рассчитывалъ въ началѣ войны“. Атакующему остается, чтобъ поровняться силами съ атакованнымъ, стать напротивъ него и тоже окопаться. Но этого нельзя, онъ атакующій, онъ пришелъ, чтобъ атаковать и идти впередъ. Онъ не можетъ сидѣть за укрѣпленіями, онъ пришелъ штурмовать укрѣпленія... Знающіе люди поймутъ, что я говорю лишь теоретически, говорю объ атакѣ и оборонѣ вообще, отбрасывая всѣ другія случайности войны, измѣняющія поминутно ходъ дѣла, колеблющія его въ ту или другую сторону. Я хочу только выразить формулу, что *при нынѣшнемъ ружьи, съ помощію полевыхъ укрѣпленій, всякій обороняющійся, въ какой бы то ни было странѣ Европы, получилъ вдругъ страшный перевѣсъ силъ передъ атакующимъ. Сила обороны пересиливаетъ* теперь силу атаки и обороняющемуся несомнѣнно выгоднѣе воевать чѣмъ атакующему. Вотъ тотъ фактъ, до сихъ поръ въ военномъ дѣлѣ неразъясненный, въ достаточной полнотѣ, и даже совсѣмъ *неожиданный*, на который намъ, русскимъ, суждено было натенуться и его разъяснить къ огромному нашему ущербу. И это вовсе не наша *ошибка*, а лишь новый военный фактъ, вдругъ вышедшій наружу и вдругъ разъяснившійся...

IV.

Самыя огромныя военныя ошибки иногда могутъ быть совѣмъ не ошибками.

Ну, вотъ, скажутъ мнѣ, какой вы тутъ новый фактъ открыли? Развѣ не знали мы до начала кампаніи, что такое новое ружье и его смертоносная сила? Да и не новое оно, а давно уже старое, такъ что мы не только могли, но и должны были еще въ Петербургѣ рассчитать и приготовиться къ его страшному дѣйствию, особенно за закрытымъ укрѣпленіемъ. То-то и есть, что *на ономъ* не такъ выходитъ, какъ кажется въ теоріи, и что мы дѣйствительно *не могли* рассчитать и приготовиться. Легко это кажется лишь тѣмъ штатскимъ людямъ, которые, сидя въ своихъ кабинетахъ, критикуютъ теперь наши военныя дѣйствія. Я вѣдь не отрицаю ошибокъ, замѣйте себѣ, я вѣдь признаю, что онѣ есть и быть должны, я только этотъ одинъ фактъ не хочу считать безусловно нашей ошибкой и объявляю, что до нынѣшней войны онъ былъ фактомъ неразъясненнымъ и даже неизвѣстнымъ *во всей своей подавляющей силѣ*. О, безъ сомнѣнія, можно было рассчитать и заранѣе знать, что при нынѣшнемъ ружьѣ обороняющійся, закрывшись самымъ легкимъ укрѣпленіемъ, можетъ принести вреда атакующему даже *вдвое* болѣе, чѣмъ прежде; узнать и рассчитать — это дѣло легкое и даже никакой военной науки не требуетъ. Но вотъ что было уже несравненно труднѣе рассчитать и предугнать — именно: что при нынѣшнемъ ружьѣ обороняющійся, закрывшись укрѣпленіемъ, нанесетъ вреда не *вдвое* противъ прежняго, а, по крайней мѣрѣ, *вдвѣтеро*, а при такой энергической оборонѣ, которую мы встрѣтили у турокъ (и на которую намъ слишкомъ извинительно было не рассчитывать), такъ и *вдвѣтеро*. Фактъ-то былъ, положимъ, извѣстенъ, но сила его, размѣры его были неизвѣстны. Неизвѣстно было, что нынѣшнее ружье хотъ и усилило нападающаго, но защищающагося усилило *несравненно больше*. Эта *чрезмѣрность*-то усиленія не была намъ извѣстна, и вотъ *чрезмѣрность*-то эта и составляетъ новый, неожиданный фактъ, на который мы наткнулись.

Не была извѣстна и не могла быть извѣстна, потому что нигдѣ, до теперешней войны съ турками, она не открывалась въ такой полнотѣ. Повѣрьте, что будь на нашемъ мѣстѣ германская армія, то и она бы *наткнулась* на этотъ

фактъ и натерла бы себѣ бока порядочно. Повторяю, можетъ-быть, ранѣе нашего оцѣнила бы и усвоила все значеніе факта, и мѣры бы приняла. Но тутъ ужъ свойства народнаго духа: нѣмецъ осторожнѣе и осмотрительнѣе, въ иныхъ случаяхъ, русскаго, но русскій солдатъ обладаетъ зато такой самоотверженной дисциплиной, такимъ полнымъ самопожертвованіемъ, такой силой энергіи, стойкости и напора, что, право, трудно рѣшить: что еще лучше-то въ военномъ дѣлѣ, то или другое? Естественно, что наши компетентные люди, зная русскаго солдата, могли не очень задумываться вначалѣ, прежде опыта надѣ силой новаго ружья, даже за укрѣпленіями, и хотя бы оно *не только вдвое, но и втрое* было страшнѣе прежняго ружья — могли не столь бояться его. А оказалось, что новое ружье за укрѣпленіями *впятеро* и даже *вдесятеро* сильнѣе прежняго ружья, но въ этомъ можно было убѣдиться *единственно лишь* изъ практики... А практики въ этомъ случаѣ до сихъ поръ еще въ европейскихъ войнахъ не было. Да съ появленіемъ новаго ружья еще много фактовъ не разъяснилось и даже самыхъ казалось бы простѣйшихъ. Мы, напримѣръ, только и ожили теперь, когда прибыли къ нашему войску берданки, а пустили войско вначалѣ съ другимъ ружьемъ, медленнымъ и недалнобойнымъ. Это уже была безспорная ошибка. Но тотъ фактъ, на который я указываю, не былъ ошибкой: предвидѣть его нельзя было во всей полнотѣ, разсчитать тоже нельзя было въ точности прежде практики.

Франко-прусская война, между двумя народами столь высокими по образованію, столь равными по силѣ открытій, изобрѣтеній, столь равными по вооруженію (у французовъ было еще лучше ружье, чѣмъ у нѣмцевъ, и нѣмцы принуждены были его принять, не откладывая дѣла, въ самый моментъ войны) — эта франко-прусская война, принесшая столь много новаго въ военное искусство и почти произведшая въ немъ переворотъ, не разъяснила, однакоже, *нашего факта нимало*. А могла бы разъяснить. Но случились особыя обстоятельства, тому помѣшавшія, и побѣдитель Франціи до сихъ поръ, до самой нашей турецкой войны, оставался въ невѣдѣніи, что побѣжденный имъ французъ имѣлъ колоссальное средство въ своихъ рукахъ, чтобъ остановить напоръ нѣмцевъ въ 1871 году, но прибѣгнувъ къ этому средству лишь по особымъ обстоятельствамъ, сдѣлавшимъ то, что средство это и не могло

тогда войти французу въ голову. Нѣмецъ побѣдилъ вовсе не французовъ, а лишь французскіе тогдашніе порядки, сначала наполеоновскаго режима, а потомъ республиканскаго хаоса. Въ началѣ войны французская армія, національный характеръ которой—фронтальная атака грудью, была страшно изумлена и подавлена нравственно тѣмъ, что вмѣсто перехода черезъ Рейнъ и вторженія въ Германію, она принуждена защищать свою территорію у себя дома. Произошло нѣсколько сраженій, въ которыхъ побѣдили нѣмцы. Но мысль о томъ, что съ ихъ великолѣпнымъ шаспо можно бы сразу выдвинуть, чтобъ остановить страшный натискъ врага, нѣсколько страшнѣйшихъ Плевнъ — не приходила французу вовсе въ голову. Онъ все рвался грудью впередъ, и до самаго Седана не хотѣлъ вѣрить, что онъ побѣжденъ. Послѣдовалъ Седанъ, а затѣмъ регулярныя арміи, въ большинствѣ своемъ, по соображеніямъ вовсе не военнымъ, были устранены отъ дѣла. Осталась защита Парижа съ сумасшедшимъ Трошию. Гамбетта вылетѣлъ изъ Парижа на воздушномъ шарѣ, *descendit du Ciel* (сошелъ съ неба) въ одномъ департаментѣ (какъ пишетъ объ немъ одинъ историкъ), объявилъ диктатуру и началъ набирать новыя арміи. Эти новыя арміи мало похожи были на настоящее войско и составлены изъ всякаго сброду не по винѣ одного Гамбетты. Сами они писали тогда же, что большинство ихъ солдатъ не умѣло даже зарядить ружья и прицѣлиться, и не заботилось о томъ, не хотѣло воевать, а хотѣло покоя. Пошла зима, стужа, голодь. Гдѣ имъ было догадаться, что можно вдругъ стать втрое, вчетверо сильнѣе врага, съ ружьемъ Шаспо и съ шанцевымъ инструментомъ? Да и былъ ли у нихъ шанцевый инструментъ? Помѣшала тоже осада Парижа, имѣвшая смыслъ скорѣе рѣшающе-политическій, чѣмъ военный. Однимъ словомъ, французы *новымъ* страшнымъ военнымъ фактомъ не воспользовались, да и сами не узнали его силы. Съ теперешней нашей турецкой войной фактъ выяснился *во всей полнотѣ*, и ужъ, конечно, политическіе и военные люди Германіи съ безпокойствомъ намотали его себѣ на усъ. Въ самомъ дѣлѣ, если фактъ этотъ войдетъ въ науку, въ тактику всѣхъ армій, то, можетъ-быть, и французы имъ воспользуются, когда Германія опять на нихъ бросится. И если французы, отбросивъ свои военные предрасудки (что очень трудно дѣлается), — вполнѣ усвоятъ убѣжденіе, выведен-

ное изъ турецкой нашей войны: что защита, съ новымъ ружьемъ и шанцевымъ инструментомъ, несравненно сильнѣе теперь атаки и требуютъ отъ атакующаго удвоенныхъ силъ, то выйдетъ слѣдующее соображеніе: у французовъ войска миллионъ, но есть общее военное правило, что атакующему несравненно легче совокупить свои силы, если онъ воюетъ у себя дома, даже если бъ государство было и при такихъ невыгодныхъ военныхъ границахъ какъ Россія, но что атакующій если бъ имѣлъ (чего никогда не бываетъ) даже хоть два миллиона войска, то никакъ онъ не можетъ войти въ атакующую землю болѣе чѣмъ съ шестью или семьюстами тысячами войска. Вообразите же теперь, что этотъ весь миллионъ защищающихся прибѣгнетъ притомъ къ шанцевому инструменту съ такою же энергіей и широкостью приѣма, какъ теперь турки, вообразите притомъ талантливаго полководца и превосходныхъ инженеровъ, — тогда вѣдь Германіи пришлось бы послать во Францію даже и не миллионъ, а *minimum* полтора! Объ этомъ навѣрно кто-нибудь теперь въ Германіи думаетъ.

V.

Мы лишь наткнулись на новый фактъ, а ошибки не было. Двѣ арміи — двѣ противоположности. Настоящее положеніе дѣль.

И именно туркамъ суждено было открыть новый фактъ во всей полнотѣ! Другіе народы, другія арміи долго бы не открыли его *практически* въ такой полнотѣ. Турки слишкомъ давно уже не нападаютъ на Европу сами и привыкли именно къ защитѣ. Это и есть главная національная черта турецкой арміи. За укрѣпленіями турокъ выносивъ, энергиченъ, въ нынѣшнюю же войну Европа какъ нарочно ободрила его, помогла ему оружіемъ, инженерами, въ огромномъ размѣрѣ деньгами, и, наконецъ, подстреканіями и натравливаніями на насъ возбудила въ немъ фанатизмъ. Было кому надоумить его, если бъ даже онъ и не зналъ факта, но фактъ какъ разъ сошелся съ его національнымъ духомъ. Сразу понялъ онъ, что такое шанцевый инструментъ при скорострѣльномъ ружьи и какой чрезмѣрный перевѣсъ силы приобретаетъ теперь защита, съ помощію его, надъ атаккой. И какъ нарочно суждено было нарваться на это русскимъ, — т.-е. той именно арміи, которая, по старинной вѣковой привычѣ, усвоила себѣ атаку рыанымъ напоромъ грудью, всѣмъ вмѣстѣ, то-

вариществомъ, обращаясь изъ тысячъ вдругъ какъ бы въ одно существо... Вотъ изъ двухъ-то этихъ обратныхъ другъ другу противоположностей и выяснилась новая аксіома во всей полнотѣ. Повторяю еще разъ: еще можно было предвидѣть и рассчитать, что сила новаго ружья за закрытымъ шанцемъ превышаетъ вдвое и даже втрое усиліе атакующаго. Надѣясь на стойкость и неслышанную энергію русскаго солдата, мы могли смотрѣть на это *вдвое и втрое* — съ презрѣніемъ (и долго смотрѣли такъ), но оказалось не вдвое и втрое, а вдесятеро. Этого нельзя было предвидѣть и даже, несмотря уже на практику, усвоить скоро.

Штатскимъ военнымъ, разумѣется, все это будетъ смѣшно. Да и факта, опять-таки, никакого они не признаютъ вовсе: „должны-де были предугадать и кончено. Всѣмъ извѣстно, что ружье Пибоди даетъ десять, двѣнадцать выстрѣловъ въ минуту, ну, и должны были понять, что съ такимъ ружьемъ, сидя за укрѣпленіемъ, турокъ побьетъ атакующую колонну до послѣдняго человѣка“. Но въ теоріи, прежде опыта, повторяю опять, нельзя было узнать это во всей полнотѣ. Есть удивительно простыя вещи, которыхъ самые гениальные полководцы не могли заранѣе предугадать. Одинъ французскій военный историкъ горько упрекаетъ Наполеона I-го за то, что тотъ, имѣя у себя, въ пятнадцатомъ году, 170-ти-тысячную армію (всего на все) и зная отлично, что уже ни солдата болѣе не доставитъ отъ Франціи—до того она была истощена двадцатилѣтними войнами, рѣшился, однакоже, самъ напасть на враговъ, т.-е. на внѣшнюю войну, а не на внутреннюю. Этотъ историкъ силится доказать, что если бѣ онъ и побѣдилъ при Ватерлоо, то это бы нисколько не спасло его отъ окончательнаго разгрома въ ту же кампанію, въ виду подавляющаго численнаго превосходства силъ коалиціи. Вся ошибка Наполеона состояла, говоритъ этотъ историкъ, въ томъ, что онъ, попрежнему еще, считалъ французскаго солдата стоящимъ двухъ нѣмецкихъ; и если бѣ это было дѣйствительно правдой, то, конечно, онъ бы тѣмъ восполнилъ недостатокъ силъ, съ которыми выходилъ на бой со всею Европой. Но въ пятнадцатомъ году это было уже не такъ, критикуетъ историкъ: нѣмцы въ двадцать лѣтъ научились сражаться и выровняли своихъ солдатъ до того, что нѣмецкій солдатъ совершенно равнялся французскому. И такъ и гениальный Наполеонъ сдѣлалъ такую

простую бы, кажется, ошибку, не догадался о томъ, что уже долженъ былъ давно знать и что такъ ясно броса-лось въ глаза его критику. Но критиковать легко, и легко быть великимъ полководцемъ сидя на диванѣ. Замѣча-тельно то, что и Наполеонъ, и мы *ошиблись* на весьма сходномъ пунктѣ, т.-е. ошибочно придали чрезмѣрное зна-ченіе нѣкоторымъ національнымъ особенностямъ нашихъ войскъ.

Въ заключеніе, повторяю еще и еще разъ, что все ска-занное имѣетъ смыслъ лишь вообще, имѣетъ смыслъ лишь научный, — (вѣрный или невѣрный — объ этомъ пусть всякій судить какъ хочетъ). Но на практикѣ результаты могутъ чрезвычайно измѣняться. Такъ, напримѣръ, турки дали же намъ въ началѣ войны перейти за Дунай и явиться за Балканами, сдавали же они свои крѣпости и города и бѣжали же передъ нами, вовсе не думая о шанцевомъ инструментѣ и о значеніи своего ружья Пибоди. И фана-тизму въ нихъ тогда еще, кажется, не было. Въ *чемъ дѣло*, они сами-то, по-настоящему, узнали вполне лишь подъ Плевной. Тутъ-то они въ первый разъ догадались о всѣхъ современныхъ выгодахъ атакуемаго въ тактическомъ отно-шеніи. Но можетъ случиться, что Плевна будетъ взята черезъ недѣлю, а съ нею и *весь* Османъ, т.-е. ни одного солдата, можетъ-быть, не удастся ему съ собой увести, если онъ пойдетъ на пробой. Затѣмъ вдругъ, напримѣръ, можетъ явиться у турокъ прежній упадокъ духа, забудутъ и объ Адрианополѣ и о Софін, шанцевый инстру-ментъ побросаютъ, убѣгая передъ русскимъ натискомъ безъ оглядки, однимъ словомъ, многое можетъ случиться — но все это вовсе не измѣнить значенія новой аксіомы, въ ея общемъ смыслѣ, т.-е., что при теперешнихъ сред-ствахъ, сила обороны превышаетъ силу атаки не попреж-нему, а *чрезмѣрно*. Возьмемъ еще примѣръ: гдѣ-нибудь ведется война и генераль затворился со своимъ отря-домъ въ сильной крѣпости. Разсчитавъ всѣ данныя, т.-е. средства провіанта, помѣщенія и силу крѣпостныхъ верковъ, инженерная наука можетъ (миѣ кажется) опре-дѣлить почти до точности: сколько времени крѣпость могла бы сопротивляться и тѣмъ принести несомнѣнную пользу своему государству, задержавъ въ самое горячее время подъ стѣнами своими вдвое, напримѣръ, сильнѣй-шаго атакующаго непріателя? Положимъ, этотъ срокъ шесть или семь мѣсяцевъ, и вотъ вдругъ генераль, за-

творившійся въ этой крѣпости, сдаетъ ее на капитуляцію по своимъ особеннымъ соображеніямъ, не черезъ семь мѣсяцевъ, а черезъ два! Но вѣдь это нисколько не нарушаетъ первоначальнаго научнаго расчета о возможности защищаться семь мѣсяцевъ. Однимъ словомъ, практика можетъ измѣнять дѣло съ безконечными вариантами. Тѣмъ не менѣе аксіома о *чрезмѣрности* перевѣса (даже и не снившейся никому и нигдѣ прежде до теперешней нашей войны съ турками) силы обороны передъ силой атаки при теперешнихъ средствахъ вооруженія — остается во всей силѣ. (Подчеркну еще разъ: не перевѣса силы нельзя было намъ предвидѣть, а такую *чрезмѣрность* его).

Но теперь практика уже на нашей сторонѣ и мы больше *такой* ошибки не сдѣлаемъ. Теперь тамъ Тотлебенъ; чтò онъ дѣлаетъ, намъ въ точности неизвѣстно, но гениальный инженеръ найдетъ, можетъ-быть, средство (не только въ частномъ случаѣ, но и вообще) потрясти *аксіому*, уничтожить *чрезмѣрность* и уравнивить двѣ силы (атаки и обороны) какимъ-нибудь новымъ гениальнымъ открытіемъ. На его дѣйствія внимательно и жадно смотритъ Европа и ждетъ не однихъ политическихъ выводовъ, но и научныхъ. Однимъ словомъ, нашъ военный горизонтъ просіялъ и надеждъ опять много. Въ Азіи кончилось большой побѣдой. Балканская же армія наша многочисленна и великолѣпна, духъ ея вполне на высотѣ своей цѣли. Русскій народъ (т.-е. народъ) весь, какъ одинъ человекъ, хочетъ, чтобъ великая цѣль войны за христіанство была достигнута. Нельзя матерямъ не плакать надъ своими дѣтьми, идущими на войну: это природа; но убѣжденіе въ святости дѣла остается во всей своей силѣ. Отцы и матери знаютъ, на чтò отпускаютъ дѣтей: война народная. Это отрицаютъ иные, не вѣрятъ, набираютъ факты противурѣчущіе, а вотъ такія, напримѣръ, извѣстія, мелкимъ шрифтомъ, въ газетахъ и остаются почти непримѣченными.

„Со станціи Бирзулы пишутъ въ *Одесскій Вѣстникъ*, что 3-го октября черезъ эту станцію провезено въ дѣйствующую армію 2,800 выздоровѣвшихъ солдатъ. Съ ними было 6 выздоровѣвшихъ раненыхъ офицеровъ. Замѣчательно, что изъ числа раненыхъ *ни одинъ* не пожелалъ воспользоваться своимъ правомъ и остаться въ запасныхъ войскахъ. Всѣ спѣшили и спѣшатъ на мѣсто войны“.

Моск. Вѣд., № 251.

Какъ вамъ нравится такое свѣдѣніе? Вѣдь ужъ, кажется, такіе факты свидѣтельствуя о характерѣ дѣла! Какъ же утверждать послѣ нихъ, что нынѣшняя война не имѣетъ народнаго характера и что народъ въ сторонѣ? Но такихъ фактовъ не одинъ, а множество. Всѣ они собираются и просіяютъ и войдутъ въ исторію. Къ счастью, большинство этихъ фактовъ засвидѣтельствовано многочислѣннѣйшими европейскими очевидцами, и теперь уже ихъ нельзя измѣнить, подтасовать и представить въ биржевомъ или въ *римско-клерикальномъ видѣ*...

ГЛАВА ВТОРАЯ.

I.

Самоубійство Гартунга и всегдашній вопросъ нашъ: кто виновать?

Всѣ русскія газеты толковали недавно (и до сихъ поръ толкуютъ) о самоубійствѣ генерала Гартунга, въ Москвѣ, во время засѣданія окружнаго суда, четверть часа спустя послѣ прослушанія имъ обвинительнаго надъ нимъ приговора присяжныхъ. А потому я думаю, что всѣ читатели „Дневника“ уже знаютъ болѣе или менѣе объ этомъ чрезвычайномъ и трагическомъ происшествіи, и подробно объяснять его мнѣ уже нечего. Общій смыслъ въ томъ, что человѣкъ, въ значительномъ чинѣ и круга высшаго, сходится съ бывшимъ портнымъ, а потомъ процентщикомъ и дисконтеромъ Занфтлебенемъ, и не потому только, что принужденъ былъ занимать у него деньги, а даже какъ бы и дружественно, принимаетъ, на примѣръ, на себя обязанность его душеприказчика и, повидимому, очень охотно. Затѣмъ, по смерти Занфтлебена, происходитъ нѣсколько вопіющихъ вещей: пропадаетъ вексельная книга неизвѣстно куда; векселя, бумаги и документы, съ совершеннымъ нарушеніемъ порядка, предписаннаго закономъ, отвозятся Гартунгомъ къ себѣ на квартиру. Гартунгъ, какъ оказывается, вступаетъ въ соглашеніе съ одной частью наслѣдниковъ въ ущербъ другой (хотя, можетъ-быть, и не подозреваетъ того самъ). Затѣмъ къ нему врывается одинъ изъ наслѣдниковъ и бѣдному душеприказчику уже на дѣлѣ приходится узнать, что онъ попалъ въ такое общество, въ какое и не ожидалъ. Затѣмъ начинаются обвиненія уже прямо — въ кражѣ векселей, вексельной книги, въ перепискѣ векселей, въ исчезновеніи докумен-

товъ слишкомъ на сто или даже на двѣсти тысячъ рублей имущества... Затѣмъ начинается судъ. Прокуроръ даже радъ суду и тому, что генераль сидитъ рядомъ съ простымъ единономъ и тѣмъ даетъ поводъ русской Ѳемидѣ произнести торжество равенства передъ закономъ сильныхъ и высшихъ съ малыми и ничтожными.

Судъ, однакоже, идетъ нораль имъ порядкомъ (что бы ни говорили объ этомъ), и въ концѣ концовъ присяжные выносятъ почти неминуемое обвиненіе, въ томъ числѣ и о Гартунгѣ, смыслъ котораго: „виновенъ и похитилъ“. Судъ удаляется составить приговоръ, но генераль Гартунгъ дожидаться его не захотѣлъ: выйдя въ другую комнату, онъ, говорятъ, сѣлъ къ столу и схватилъ обѣими руками свою бѣдную голову; затѣмъ вдругъ раздался выстрѣлъ: онъ умертвилъ себя принесеннымъ съ собою и заряженнымъ заранѣе револьверомъ, ударомъ въ сердце. На немъ нашли тоже заранѣе заготовленную записку, въ которой онъ „клянется всемогущимъ Богомъ“, что ничего въ этомъ дѣлѣ не похитилъ и враговъ своихъ прощаетъ. Такимъ образомъ, онъ умеръ въ сознаніи своей невинности, и въ сознаніи своего джентльменства.

И вотъ эта-то смерть и взволновала всѣхъ въ Москвѣ и всѣ газеты во всей Россіи. Говорятъ, и судьи и прокуроръ вышли изъ своихъ комнатъ совсѣмъ блѣдныя. Присяжные, говорятъ, будто бы тоже были сконфужены. Газеты завопили даже объ „очевидно несправедливомъ рѣшеніи“ и одинъ изъ нихъ замѣчали, что наши суды нельзя уже теперь обвинять за мягкіе потворствующіе приговоры: „вотъ, дескать, примѣръ, палъ невинный“. Другіе справедливо замѣтили, что такимъ торжественнымъ и послѣднимъ словамъ человѣка на землѣ почти невозможно не вѣрить, а, стало-быть, почти несомнѣнно можно заключить, что произошла плачевная судебная ошибка. И многое, многое говорили и писали газеты. Надо признаться, нѣкоторые изъ отзывовъ газетъ были странны: слышалась какая-то фальшь, можетъ-быть, горячая и искренняя, но фальшь. Гартунга жалко, но тутъ скорѣе трагедія (преглубокая), фатумъ русской жизни, чѣмъ съ которой-нибудь стороны ошибка. Или, лучше сказать, тутъ всѣ виноваты: и нравы, и обычаи нашего интеллигентнаго общества, и характеры въ этомъ обществѣ выровнявшіеся и создавшіеся, наконецъ, нравы и обычаи нашихъ заимствованныхъ и недостаточно обрусѣвшихъ молодыхъ судовъ.

Но вѣдь когда всѣ огуломъ виноваты, значить, порознь нѣтъ никого виновнаго. Изъ всѣхъ газетныхъ отзывовъ мнѣ всего болѣе понравился отзывъ *Новаго Времени*. Я наканунѣ какъ разъ говорилъ съ однимъ изъ нашихъ тонкихъ юристовъ и знатоковъ русской жизни, и оказалось, что насчетъ этого дѣла у насъ одинъ и тотъ же выводъ, при чемъ мой собесѣдникъ весьма мѣтко указалъ на „трагизмъ“ этого дѣла и на причины трагизма. На другой день, въ фельетонѣ Незнакомца, я прочелъ очень многое, весьма похожее на то, объ чемъ мы только что говорили наканунѣ. А потому, если и скажу теперь нѣсколько словъ, то лишь въ частности и „по поводу“.

II.

Русскій джентльменъ. Джентльмену нельзя не остаться до конца джентльменомъ.

Дѣло въ томъ, что старые характеры еще не перевелись и, кажется, еще долго не переведутся, потому что на все надобенъ срокъ и вездѣ природа. Я говорю о характерахъ нашего интеллигентнаго общества. Здѣсь, впрочемъ, настойчиво и съ упорствомъ замѣчу: что и не хорошо было бы, если бъ мы вдругъ какъ флюгера измѣнились, потому что самая противная вещь въ нашихъ интеллигентныхъ характерахъ именно это свойство легковѣсности и безсодержательности. Она напоминаетъ что-то лакейское, лакея, рядящагося въ барское платье. Одно изъ свойствъ, напимѣръ, нашего джентльменничанья, если мы почему-нибудь разъ прикоснулись къ богатымъ и знатымъ, и особенно если къ нимъ пронишли—это *представительность*, потребность обставить себя широко. Замѣтите, я лично о Гартунгѣ не говорю теперь ни слова, я совершенно не знаю его біографіи; я только хочу отмѣтить нѣсколько штриховъ всѣмъ извѣстнаго характера нашего интеллигентнаго человѣка, говоря вообще, и съ которымъ, при извѣстныхъ обстоятельствахъ, могло бы случиться точь-въ-точь то же самое, что и съ генераломъ Гартунгомъ. Человѣкъ, напимѣръ, ничтожный, въ маломъ чинѣ, безъ гроша въ карманѣ, вдругъ попадаетъ въ высшее общество, или хоть почему-либо соприкасается съ нимъ. И вотъ, у бѣдняка, ничего не имѣвшаго, кромѣ способности профильтроваться въ высшее общество, вдругъ является своя карета, квартира, въ которой „возможно“ жить, лакеи, костюмы, перчатки. Можетъ-быть, онъ хо-

четь сдѣлать карьеру, выбиться въ люди, но чаще всего бываетъ такъ, что просто подражать хочеть: всё, дескать, такъ живутъ, какъ же я-то? Тутъ какой-то въ немъ стыдъ, котораго никакъ нельзя пересилить, однимъ словомъ: честь и порядочность понимаются какъ-то странно, собственнаго же достоинства не оказывается никакого. Въ параллель этому непониманію такой первѣйшей вещи, какъ чувство собственнаго достоинства, можно поставить, мнѣ кажется, лишь непониманіе, чуть не всѣмъ интеллигентнымъ европейскимъ вѣкомъ нашимъ, свободы, въ чемъ состоитъ она, — но объ этомъ потомъ. Вторая, и опять-таки почти трагическая черта нашего русскаго интеллигентнаго человѣка—это его податливость, его готовность на соглашеніе. О, есть множество кулаковъ, биржевиковъ, противныхъ, но стойкихъ мерзавцевъ: есть даже и хорошіе, стойкіе люди, но ихъ мало ужасно, въ большинствѣ же порядочныхъ русскихъ людей царить именно эта скорая уступчивость, потребность уступить, согласиться. И вовсе это даже не отъ добродушія, равно какъ далеко не отъ трусости, а такъ, деликатность какая-то, или неизвѣстно ужъ что тутъ. Сколько разъ вамъ, напримѣръ, приходилось въ разговорѣ съ упорнымъ, напримѣръ, человѣкомъ, налегавшимъ на васъ и требовавшимъ вашего отзыва — согласиться и уступить ваше мнѣніе, или вашу даже голосъ въ какомъ-нибудь засѣданіи, хотя вы, можетъ-быть, внутри себя и вовсе бы того не желали. Увлекаетъ тоже очень русскаго человѣка слово *вотъ*: „я какъ и всё“ — „я съ общимъ мнѣніемъ согласенъ“, — „всѣ идемъ, ура!“ Но есть тутъ и еще странность: русскій человѣкъ самъ себя обольстить, прельстить, увлечь и уговорить очень любитъ. И не хочется ему сдѣлать то и то, пойти, напримѣръ, въ душеприказчики къ Занфтлебену, но уговорить себя: „что жъ, дескать, такое, пойду“...

Бываютъ въ этомъ слоѣ интеллигентныхъ русскихъ людей типы, съ нѣкоторой стороны даже чрезвычайно привлекательные, но именно съ этими несчастными свойствами русскаго джентльменства, на которыя я сейчасъ намекалъ. Иные изъ нихъ почти невинны, почти Шиллеры; ихъ незнаніе „дѣлъ“ придаетъ имъ почти нѣчто трогательное, но чувство чести въ нихъ сильное: онъ застрѣлится какъ Гартунгъ, если, по своему мнѣнію, потеряетъ честь. Можетъ-быть, ихъ даже довольно и числомъ. Но врядъ ли эти люди знаютъ, напримѣръ, когда-нибудь

сумму своихъ долговъ. И не то чтобъ всё они были кутилы, иные, напротивъ, прекрасные мужья и отцы, но деньги можно мотать и кутилѣ, и прекрасному отцу. Весьма многіе изъ нихъ входятъ въ жизнь съ слабыми остатками прежнихъ родовыхъ имѣній, которыя быстро улетучиваются въ первые же дни юности. Затѣмъ бракъ, затѣмъ чинъ, и хорошее казенное мѣстечко, которое такъ себѣ, а все же даетъ какой-нибудь доходъ и основаніе въ жизни, нѣчто уже солидное, въ противоположность великосвѣтскому бродяжеству въ прежнюю жизнь. Но долги идутъ непрерывно, онъ, конечно, платитъ ихъ, потому что онъ джентльменъ, но платитъ новыми долгами. Положительно можно сказать, что многіе изъ нихъ, обдумывая въ иную минуту свое положеніе про себя, наединѣ, могли бы смѣло и съ великимъ благородствомъ произнести: „мы ничего не похищали и ничего не хотимъ похитить“. Между тѣмъ, вотъ какая тутъ мелкая черточка можетъ даже произойти: при случаѣ (ну, очень понадобилось) онъ способенъ взять займы даже у няньки дѣтей своихъ какіе-нибудь накопленные ею 10 рублей. Да что же такое, помилуйте, почему же нѣтъ? Притомъ старушка нянька весьма часто есть обжившійся близкій и интимный въ домѣ человѣкъ. Она почти членъ семьи, ее ласкаютъ, ей даже самые важные ключи на храненіе передаютъ. Добрый генераль, ея баринъ, давно уже общалъ ей мѣсто въ богадѣльнѣ на старость, да вотъ только дѣла - то эти все мѣшаютъ ему позаботиться, давно бы надо тамъ объ ней словечко замолвить. А нянька такъ и напомнить страшится, напоминаетъ развѣ одинъ разикъ въ годъ о богадѣльнѣ, все трепещетъ досадить такому нервному и обезпокоенному всегда человѣку, какъ ея генераль. „Добрые вѣдь они, сами вспомнятъ“, думаетъ она подчасъ, укладывая въ постель свои старыя кости; о 10-ти же рубляхъ и напомнить такъ даже стыдится, у ней своя совѣсть есть, у старушки. И вотъ вдругъ умираетъ генераль, и—ни мѣста у старушки, ни десяти рублей. Все это, разумѣется, пустяки и мелочь страшная, но если бы вдругъ на томъ свѣтѣ напомнили генералу, что нянька-то вѣдь 10-ти рублей не получила, то онъ бы страшно покраснѣлъ: „какіе десять рублей? Неужто! Ахъ, да вѣдь въ самомъ дѣлѣ, года четыре назадъ! Mais comment, comment, и какъ это могло случиться!“ И этотъ долгъ мучилъ бы его сильнѣе, чѣмъ иной даже десятитысячный оставленный имъ на землѣ!

Ему было бы ужасно какъ стыдно: „о, повѣрьте, я не хотѣлъ того, повѣрьте, что я даже не думалъ о томъ, забылъ думать!“ Но бѣднаго генерала слушали бы тамъ только ангелы (такъ какъ онъ навѣрно попалъ бы въ рай), а нянька все-таки осталась бы безъ десяти рублей на землѣ, и жалко ей ихъ иногда старушкѣ: „ну, да Богъ съ ними, грѣхъ поминать этимъ, а человѣкъ были самый драгоцѣнный, самый какъ ни на есть праведный баринъ“.

И вотъ что еще: если бы этотъ прелестный человѣкъ какъ-нибудь опять очутился на землѣ и воплотился въ прежняго генерала — отдалъ бы онъ 10 рублей нянькѣ или нѣтъ?

Но не все вѣдь они занимаютъ. Вотъ пріятель, благодарнѣйшій Иванъ Петровичъ просить его выдать ему вексель тысячъ на шесть: заложу, дескать, въ банкъ, гдѣ я состою, и дисконтирую, а вотъ тебѣ, дражайшій другъ, встрѣчные на шесть тысячъ. Чего же думать? Векселя выдаются, Ивана Петровича онъ часто встрѣчаетъ потому въ клубѣ, оба забыли, разумѣется, и думать о выданныхъ векселяхъ, потому что оба суть самый цвѣтъ, такъ сказать, порядочныхъ людей въ нашемъ обществѣ, и вдругъ, черезъ шесть мѣсяцевъ, всѣ шесть тысячъ падаютъ на плечи генералу: „Извольте, дескать, платить, ваше превосходительство“. Ну, вотъ тутъ и бросаются къ людямъ какъ Занфтлебенъ и пишутъ документы въ сто на сто.

Повѣрьте опять-таки, что я, въ изображеніи моемъ, ни одной чертой не претендую обличать покойнаго генерала Гартунга: я его совсѣмъ не зналъ и ничего не слыхалъ о немъ лично. Я только имѣлъ претензію чуть-чуть начертить характеръ одного изъ членовъ этого общества, но который однако если бъ попался въ такую же передрягу, какъ генералъ Гартунгъ къ Занфтлебену, то съ нимъ могло бы произойти совершенно то же самое, какъ и съ Гартунгомъ, до самоубійства включительно. А потому, мнѣ кажется, въ дѣлѣ Гартунга, нечего ни стыдить судъ, ни стыдиться суду. Тутъ вѣдь фатумъ, трагедія: генералъ Гартунгъ до самой послѣдней минуты своей считалъ себя невиновнымъ и оставилъ записку...

— Да, но вѣдь вотъ однакожъ эта записка, скажутъ другіе.—Вѣдь не возможно же, чтобы въ такую минуту человѣкъ, да еще вѣрующій, какъ оказывается, могъ солгать. Значить, онъ ничего не похитилъ, коли такъ тор-

жественно заявилъ, что не похитилъ. Да и сдѣлки тутъ никакой не могло быть у него даже съ совѣстью: какъ бы ни былъ шатокъ и затемненъ смыслъ человѣка рсей этой путаницей, но ужъ коли онъ говоритъ: „я не похитилъ“, то онъ не можетъ не знать: „похитилъ онъ или не похитилъ?“ Это вѣдь просто дѣло рукъ человѣческихъ. Тутъ просто вопросъ: клалъ въ карманъ или не клалъ? Какъ же онъ могъ не знать, если бъ положилъ?

Это совершенно справедливо, но вотъ вѣдь чтò можетъ тутъ быть, и даже навѣрно: Вѣдь онъ написалъ только про одного себя: „я, дескать, ничего не похитилъ, и не думалъ о похищеніи“ — но вѣдь могли похитить другіе.

— Совершенно невозможно, возражать мнѣ: Если онъ далъ похитить другимъ, и зная о томъ какъ опекунъ— смолчалъ, то, стало-быть, и онъ похитилъ съ другими! Генераль Гартунгъ не могъ не понимать, что тутъ нѣтъ разницы.

Отвѣчу: во-первыхъ, можно еще оспорить аргументъ, что „если зналъ, и далъ похитить, то, стало-быть, и онъ похитилъ“, а во-вторыхъ, тутъ несомнѣнно есть разница. А въ-третьихъ, генераль Гартунгъ могъ именно написать въ этомъ лишь буквальномъ смыслѣ, о которомъ мы говоримъ: „т.-е. я, дескать, лично не бралъ и не хотѣлъ брать ровно ничего, сдѣлали другіе и противъ моей воли. Я виновенъ лишь въ слабости, но не въ мошенничествѣ, потому что самъ ничего не хотѣлъ брать ни у кого и даже сопротивлялся. Сдѣлали другіе“... Онъ именно могъ написать въ этомъ смыслѣ свои роковыя слова, но въ то же время, будучи столь честенъ и благороденъ, ни за что не могъ бы согласиться, что „коли попустилъ украсть, значитъ самъ укралъ“. Онъ къ Богу шелъ и онъ не зналъ, что не хотѣлъ ни украсть, ни попустить, а такъ само укралось. Да къ тому же замѣтите, онъ никакъ бы и не могъ разъяснить въ этой запискѣ свои слова пошире: т.-е. что виновенъ въ послабленіи, а не въ похищеніи и проч. Не могъ же онъ, джентльменъ, допустить на другихъ,—особенно въ такую торжественную минуту, въ которую онъ „простилъ врагамъ своимъ“.

А наконецъ, и это всего вѣроятнѣе, онъ, можетъ-быть, не могъ на своемъ сердцѣ сознаться даже и въ послабленіи, въ слабости, въ добродушномъ поущеніи. Тутъ, можетъ-быть, была такая сѣть обстоятельствъ, которую онъ

до самой послѣдней минуты, включительно, осмыслить не могъ, съ тѣмъ и ушелъ на тотъ свѣтъ. „Похищена-де вексельная книга“—и вотъ толковые люди, которымъ онъ вполне довѣряется, убѣждаютъ его въ самомъ началѣ, что вѣдь это просто пустяки, пропала сама какъ-нибудь, потому что вѣдь никому она и не нужна. Они выводятъ ему цифрами, математически, что вексельная книга была бы во вредъ, а не къ пользѣ самимъ даже наслѣдникамъ. (Вѣдь этотъ самый аргументъ представляла же на судѣ потомъ защита, и, кажется, онъ былъ справедливъ). Въ этомъ смыслѣ могло быть и все остальное выставлено и растолковано Гартунгу. Вѣдь онъ дѣлъ не зналъ и его можно было убѣдить во всемъ. „Повѣрьте, дескать, мы тоже благородные люди, мы, какъ и вы, не хотимъ похитить *ничего* у наслѣдниковъ, но дѣла - то у Занфтлебена остались въ такомъ щекотливомъ видѣ, что если тамъ они (наслѣдники) узнаютъ теперь про вексельную книгу и все это, то могутъ прямо насъ обвинить въ мошенничествѣ, а потому надо скрыть отъ нихъ“. Эти „безпорядки Занфтлебена“, разумѣется, открывались не вдругъ, а постепенно, такъ что Гартунгъ узнавалъ истину, или, лучше сказать, терялъ истину и втягивался въ ложъ каждый день постепенно. И вотъ вдругъ къ нему прямо врывается одинъ изъ наслѣдниковъ, и если не кричить, что генераль Гартунгъ воръ, то вѣдь все равно что кричить. Онъ вѣдь вошелъ съ торжествомъ, съ побѣдоносной и злой улыбкой и ужъ вполне увѣренный, что теперь смѣетъ сдѣлать въ квартирѣ генерала всякую пакость. И тутъ только генераль вполне узналъ, въ какую труппу забился. Потомъ онъ совсѣмъ потерялся, онъ сталъ предлагать компромиссы, сдѣлки и запуталъ, конечно, себя еще болѣе, а обвиняющая сторона жадно вцѣпилась въ новые компрометирующие его факты насчетъ компромиссовъ и сдѣлокъ. Все пошло въ дѣло. Однимъ словомъ, Гартунгъ умеръ въ сознаниі совершенной своей личной невинности, но и ошибки... судебной ошибки, въ строгомъ смыслѣ, никакой не было. Былъ фатумъ, случилась трагедія: Слѣпая сила почему-то выбрала одного Гартунга, чтобъ наказать его за пороки, столь распространенные въ его обществѣ. Такихъ, какъ онъ, можетъ-быть, 10,000, но погибъ одинъ Гартунгъ. Невинный и высоко честный этотъ человѣкъ, съ своей трагической развязкой, конечно, могъ возбудить наибольшую симпатію, изъ всѣхъ этихъ

десяти тысячъ, а судъ надъ нимъ приобрести наибольшую огласку по Россіи для предупрежденія „порочныхъ“; но врядь ли судьба, слѣпая богиня, на это именно рассчитывала, поражая его.

III.

Ложь необходима для истины. Ложь на ложь даетъ правду. Правда ли это?

И, однако, во мнѣ все-таки воскресло одно, еще прежде впечатлѣніе, которымъ хочется подѣлиться, хотя, можетъ быть, очень наивно. Это уже вообще объ нашемъ судѣ. Гласный судъ съ присяжными засѣдателями принято считать во всемъ мѣрѣ чуть не за достигнутое совершенство: „это, такъ сказать, побѣда, высшій плодъ ума“. Я вѣрю со всѣми, потому что вамъ скажутъ, на примѣръ: „ну, выдумайте лучше“—и вѣдь вы не выдумаете. Слѣдственно необходимо согласиться уже потому одному, что нельзя лучше выдумать. А между тѣмъ вотъ всходить на сцену... то бишь на эстраду г. прокуроръ. Представимъ, что это человѣкъ превосходный, умный, совѣстливый, образованный, съ христіанскими убѣжденіями и знающій Россію и русскаго человѣка какъ мало въ Россіи знаютъ. Ну-съ, а вотъ этотъ совѣстливый человѣкъ прямо начинаетъ съ того, что онъ „даже радъ, что случилось это преступленіе, потому только, что пришла, наконецъ, кара этому злодѣю, вотъ этому подсудимому, потому что если бъ вы только знали, господа присяжные, какая это каналья!“ Т.-е. онъ, разумѣется, „каналью“ не употребить, но вѣдь это все равно: онъ самымъ вѣжливымъ, самымъ мягкимъ и самымъ гуманнымъ образомъ выставить его подъ конецъ даже хуже канальи, хуже даже всякой канальи. Скорбя сердцемъ, онъ деликатнѣйшимъ образомъ передаетъ, что вѣдь и мать его была такова, что онъ, наконецъ, не могъ не украсть, потому что самый низкій развратъ увлекалъ его все болѣе и болѣе въ бездну. Сдѣлалъ же онъ все сознательно и преднамѣреннѣйшимъ образомъ. Вспомните, какъ хорошо послужилъ ему пожаръ въ сосѣдней улицѣ въ минуту совершенія имъ преступленія, потому что пожаръ, произведя тревогу, отвлекъ къ себѣ вниманіе и дворниковъ, и всего околотка. „О, я, разумѣется, далекъ отъ всякаго прямого обвиненія въ поджогѣ, но, господа присяжные, согласитесь, что тутъ странное совпаденіе двухъ обстоятельствъ, неизбѣжно наводя-

щихъ на извѣстную мысль, но я молчу, молчу, — но, конечно, вы этого вора, убійцу (потому что онъ непременно бы убилъ, если бы встрѣтилъ кого въ квартирѣ) и, наконецъ, поджигателя, отъявленнаго, доказаннаго поджигателя, — конечно, ужъ вы его ушлете куда-нибудь подальше, и тѣмъ дадите возможность вздохнуть добрымъ людямъ, хозяйкамъ спокойно удалаться изъ квартиры за покупкой провизіи, а владѣльцамъ домовъ не трепетать за свое имущество, хотя бы таковое и было застраховано въ томъ или другомъ страховомъ обществѣ. А, главное, напрасно я это все вывожу: взгляните на него! вотъ онъ сидитъ, не смѣя взглянуть въ глаза честнымъ людямъ, и развѣ мало одного простого взгляда, чтобъ убѣдиться, что это и воръ, и убійца, и поджигатель. Объ одномъ лишь торжественно сожалею, что ему не удалось сдѣлать десять такихъ же покражъ бѣлыя, зарѣзать десять такихъ же хозяекъ и поджечь десять такихъ же домовъ, потому что тогда самая уже колоссальность преступленія потрясла бы граждански-сонливое общество наше и заставила бы его прибѣгнуть, наконецъ, къ самозащитѣ и выйти изъ преступнаго своего гражданского усыпленія“...

О, мы знаемъ, что г. прокуроръ будетъ говорить гораздо благороднѣе. Слова наши карикатура, и годятся лишь для юмористической воскресной газетки съ куплетами и карикатурами, положимъ. Положимъ, это будетъ даже одно изъ такихъ дѣлъ, которыя возбуждаютъ глубокіе социальныя и гражданскіе вопросы, а, главное, въ немъ будутъ психологическія мѣста, а въ психологій, какъ извѣстно, чрезвычайно бойки прокуроры даже во всей Европѣ. Ну и что же, все-таки выйдетъ въ заключеніе то же самое, т.-е. что жаль, дескать, что не было вмѣсто одного, — десяти, тридцати, пятисотъ отравленій, потому что тогда бы содрогнулись ваши сердца и вы бы встали какъ одинъ человекъ и т. д., и т. д.

Но, возражать мнѣ, что жъ тутъ такого? Положимъ, ужасно много прокуроровъ совсѣмъ не ораторы, но прокуроръ, во-первыхъ, чиновникъ, и долженъ дѣйствовать сообразно службѣ своей, и во-вторыхъ, что прокуроры всегда преувеличиваютъ обвиненіе — въ томъ нѣтъ же только ничего предосудительнаго, но, напротивъ, все полезное. Ибо такъ именно и надо. Зато въ противоположность ему есть защитникъ подсудимаго, которому позволено вполне опровергать прокурора. Кромѣ того, даже

во всей Европѣ позволяется доказывать, конечно, съ полнѣйшей вѣжливостью, что прокуроръ глупъ, нелѣпъ, подловать и что если кто зажегъ третьяго дня въ 3-й линіи на Васильевскомъ домъ, такъ это именно этотъ самый человекъ, потому что онъ какъ разъ въ это самое время былъ на Васильевскомъ островѣ на именинахъ генерала Михайлова, превосходнѣйшаго и благо-о-р-роднѣйшаго существа, а что онъ зажегъ домъ, то въ этомъ нѣтъ сомнѣнія потому одному даже (опять психологія), что не подожги онъ этотъ домъ, по враждѣ съ домовладѣльцемъ купцомъ Иваномъ Бородатымъ, то ему бы никогда не могло прійти въ голову такое глупое, такое ни на что не похожее и пошлое обвиненіе подсудимаго въ поджигательствѣ для отвода глазъ всей улицы во время совершения этого мнимаго и несообразнаго ни съ чѣмъ преступленія. Собственно поджогъ его именно и навелъ на мысль“. Наконецъ, возьмите и то, что защитнику позволяется дѣлать жесты, проливать слезы, скрежетать зубами, рвать свои волосы, стучать стульями (но не замахиваться ими) и, наконецъ, падать въ обморокъ, если онъ уже очень благороденъ и не можетъ вынести несправедливости, что, впрочемъ, кажется, не позволено прокурору, какъ бы ни былъ онъ благороденъ, потому что какъ-то странно было бы вдругъ упасть навзничь чиновнику въ мундирѣ. Не употребляется это вовсе.

Опять-таки все, что я говорю — карикатура, одна карикатура и ничего этого не бываетъ, а обходится все на самой благородной ногѣ, я согласенъ (хотя стульями-то и стучали, и въ обморокъ-то падали!) Но вѣдь я только хлопочу о сущности дѣла, потому что въ самыхъ благороднѣйшихъ выраженіяхъ доходятъ до того же самаго, какъ и въ неблагороднѣйшихъ.

— Какъ, что вы, уважутъ мнѣ, да это-то и надо, именно преувеличеніе-то и надо съ обѣихъ сторонъ! Присяжный иногда человекъ не столь образованный, и къ тому же занятой, у него тамъ своя лавка, дѣла, онъ подчасъ разсѣянъ, а подчасъ такъ и просто не въ силахъ самъ углубиться. А потому именно его надо углубить, показать ему всѣ фазисы дѣла, даже самые невозможные, чтобы онъ уже вполнѣ былъ увѣренъ, что обвиненіемъ все что только можетъ прійти въ голову уже исчерпано, и что думать надъ этимъ уже больше нечего, равно какъ защитой подведено все, что только возможно и невозможно

предположить къ убѣленію подсудимаго, паче горняго свѣга. А потому, тамъ, въ особой комнатѣ, сводя итоги, они уже знаютъ, такъ сказать, механически, что должно выскочить, плюсъ или минусъ, такъ что совѣстью, по крайней мѣрѣ, они могутъ быть совершенно спокойны. Въ результатѣ ясно, что все это совершенно необходимо для истины, т.-е. и ожесточенное нападеніе и ожесточенная защита, и даже такъ, что ожесточенное-то нападеніе обвинителя, если только взять въ самомъ строгомъ смыслѣ, даже полезнѣе подсудимому, чѣмъ самому обвинителю, такъ что опять-таки ничего нельзя выдумать лучше.

Однимъ словомъ, современный судъ не только побѣда, или высшій плодъ ума, но и самая мудреная вещь. Съ этимъ нельзя не согласиться. Судъ притомъ гласный; стекается публива даже сотнями человѣкъ—и неужели предположить, что они стекаются изъ праздности, для спектакля только? Нѣтъ, конечно: изъ какого бы побужденія ни собирались они, а надо чтобы уходили съ впечатлѣніемъ высшимъ, сильнымъ, назидательнымъ и цѣлебнымъ. Между тѣмъ всѣ сидятъ и видятъ, что тутъ въ основѣ какая-то ложь,—о, не въ судѣ, конечно, не въ значеніи приговора, а просто, напримѣръ, въ иныхъ привычкахъ, съ такою счастливою легкостью воспринятыхъ у Европы и укоренившихся въ нашихъ представителяхъ защиты и обвиненія. Я вотъ ухожу домой и дома про себя думаю: вѣдь Ивана Христофорыча, прокурора, я лично знаю; умнѣйшій и добрѣйшій человѣкъ, а между тѣмъ вѣдь онъ лгалъ, и зналъ, что лгалъ. Дѣло какого-нибудь выговора или двумѣсячнаго заключенія онъ натянулъ на двадцатилѣтнюю ссылку въ отдаленнѣйшія мѣста. Пусть это даже надо для самой ясности дѣла, но все же онъ лгалъ, лгалъ сознательно, а вѣдь дѣло-то объ шеѣ человѣка идетъ. Какъ же это такъ согласить, особенно если онъ человѣкъ съ талантомъ: вѣдь *il en reste toujours quelque chose*, особенно если защита плоховата и только стульями умѣетъ стучать. Положимъ, тутъ даже самолюбіе Ивана Христофоровича разыгралось, чисто человѣческая черта, но извинительная ли въ такомъ важномъ дѣлѣ? Куда же тутъ человѣкъ-то дѣвался, высшій-то человѣкъ, гуманный, цивилизованный?

Пусть, пусть, наконецъ, изъ этого-то изъ всего и выходитъ истина, и выходитъ, такъ сказать, механически даже, самымъ хитрѣйшимъ путемъ, но вѣдь собирающаяся

на судъ публики, пожалуй, и впрямь будетъ собираться тогда на зрѣлище, на созерцаніе механическаго и хитрѣйшаго пути, и слушая съ восторгомъ, какъ, напимѣръ, талантливый защитникъ такъ отлично лжетъ противъ совѣсти, она чуть не аплодируетъ ему съ своихъ стульевъ: „какъ, дескать, лжетъ хорошо человекъ!“ Вѣдь отъ этого зарождается въ массѣ этой публики цинизмъ и фальшь, и укореняются незамѣтно. Жаждаютъ уже не истины, а таланта, лишь бы повеселилъ и развлекъ. Тупѣетъ гуманное чувство, которое уже не возстановите кувырканьями въ обморокъ. Ну, а представьте, опять-таки, если лжецъ дѣйствительно съ огромнымъ талантомъ?

Я знаю, что все это лишь праздное съ моей стороны нытье. Но, послушайте, учрежденіе гласнаго присяжнаго суда все же вѣдь не русское, а скопированное съ иностраннаго. Неужели нельзя надѣяться, что русская національность, русскій духъ, когда-нибудь сгладятъ шероховатости, уничтожатъ фальшь... дурныхъ привычекъ, и дѣло пойдетъ уже во всемъ по правдѣ и по истинѣ. Правда, теперь это невозможно: теперь, именно, защита и обвиненіе блистаютъ этими дурными привычками, ибо одни ищутъ денегъ, а другіе карьеры. Но вѣдь когда-нибудь можно же будетъ прокурору даже защищать подсудимаго, вмѣсто того, чтобъ обвинять его, такъ что защитники, если бы захотѣли возразить, что даже и той малой доли обвиненія, которую прокуроръ все же оставилъ на подсудимомъ, нельзя примѣнить къ нему, то присяжные засѣдатели имъ просто бы не повѣрили.

Я даже такъ думаю, что такой приѣмъ скорѣе бы и вѣрнѣе гораздо способствовалъ къ отысканію истины, чѣмъ прежній механическій способъ преувеличенія, состоящій въ крайности обвиненія и въ звѣрствѣ защиты? Отвѣтять, конечно, что это рѣшительно невозможно, а такъ какъ то же самое и въ Европѣ, то и быть не должно, и что „*тѣмъ механичнѣе, тѣмъ даже и лучше*“.

Вотъ этотъ механизмъ-то, этотъ механическій способъ вытаскивать наружу правду, можетъ-быть, у насъ и замѣнится... просто правдой. Искусственное преувеличеніе исчезнетъ съ обѣихъ сторонъ. Все явится искреннимъ и правдивымъ, а не игрой въ отысканіе истины. На сценѣ будетъ не зрѣлище, не игра, а урокъ, примѣръ, назиданіе. Правда, адвокатамъ будутъ платитъ гораздо меньше. Но всѣ эти утопіи возможны будутъ развѣ когда у насъ

вырастутъ крылья и всѣ обратятся въ ангеловъ. Но вѣдь и судовъ тогда не будетъ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

I.

Римскіе клерикалы у насъ въ Россіи.

Недавно *Московскія Вѣдомости*, № 262-й, сдѣлали въ своей передовой статьѣ слѣдующее замѣчаніе:

Третьяго дня мы обратили вниманіе на какую-то партію, внутри Россіи дѣйствующую въ согласіи съ ея врагами и готовую помогать туркамъ въ ихъ борьбѣ съ нею, — партію русскихъ англо-мадьяръ, которой ненавистно всякое проявленіе нашего народнаго духа, всякое дѣйствіе нашего правительства въ этомъ духѣ и которую русскій патриотизмъ ставитъ на одну линію съ нигилизмомъ и революціей, — партія, которая питаетъ гнуснѣйшими корреспонденціями враждебную намъ заграничную печать. Едва была сдана наша статья въ печать, какъ телеграмма нашего петербургскаго корреспондента передала намъ сущность обнародованнаго *Правительственнымъ Вѣстникомъ* сообщенія, изобличающаго новыя продѣлки этой партіи. Въ то самое время, когда между Плевной и Орханіе наша армія имѣла блестящія успѣхи, въ Петербургѣ интрига распускаетъ слухи о пораженіи, будто бы повесенномъ этими самыми побѣдоносными войсками, стараясь распространить въ публикѣ уныніе, и старается такъ усердно, что правительство сочло необходимымъ предостеречь публику отъ подобныхъ злоумышленныхъ слуховъ.

Новое Время замѣтило по этому поводу на другой же день, вскользь, впрочемъ, что *Московскія Вѣдомости* хватили немножко далеко, и что *Правительственный Вѣстникъ* разумѣль, можетъ-быть, просто какую-нибудь болтовню въ публикѣ, вовсе не имѣющую такого значенія. (Излагаю мысль *Новаго Времени* своими словами на память).

Весьма можетъ быть, что и такъ, и что *Правительственный Вѣстникъ* и впрямь говорилъ лишь о какой-нибудь „болтовнѣ“. Тѣмъ не менѣе предположеніе *Московскихъ Вѣдомостей* имѣетъ несомнѣнное основаніе. Только какіе же тутъ англо-мадьяры, о которыхъ упоминаютъ *Московскія Вѣдомости*? У насъ, на нашихъ окраинахъ, да и внутри, свои римскіе клерикалы найдутся. Теперь уже не май мѣсяць; теперь уже всѣ знаютъ и пишутъ о клерикальномъ всемірномъ заговорѣ, и даже самыя либеральныя изъ нашихъ газетъ согласились, что заговоръ этотъ имѣетъ свою силу. Но странно было бы, если бы ватиканскій заговоръ миновалъ нашихъ римскихъ клери-

каловъ и не употребилъ ихъ въ дѣло. Смута, въ тылу русскихъ армій, чрезвычайно была бы выгодна Ватикану, особенно въ настоящую минуту. Вотъ еще выписка, но уже изъ *Новаго Времени* № 587. *Новое Время*, въ отдѣлѣ своемъ: „Среди газетъ и журналовъ“, цитируетъ мнѣніе *Голоса*, выраженное по поводу нѣкоторыхъ статей въ англійскомъ *Morning Post* и въ нѣкоторыхъ заграничныхъ польскихъ журналахъ. Вотъ эта выписка:

Въ *Morning Post*, отъ 22-го октября, напечатана любопытная, по своей неожиданности, статья, гдѣ туркофильская газета сообщаетъ о переговорахъ, будто бы начатыхъ уже между Россіей и Германіей, по поводу уступки Германіи Привислянскаго края по Вислу! Само собою разумѣется, что въ глазахъ *Morning Post* это составляетъ результатъ сдѣлки, по которой Германія обязуется помочь «приобрѣтеніямъ Россіи на Балканскомъ полуостровѣ». Лондонская газета настойчиво толкуетъ далѣе, что поляки Привислянскаго края вовсе не думаютъ теперь о возстаніи, «не желая попасть еще въ горячайшее рабство», т.-е. во власть пруссакамъ, и что если въ «русской Польшѣ» произойдутъ какіе-нибудь безпорядки, то они будутъ простымъ послѣдствіемъ «русско-прусскихъ интригъ»... Замѣчательно, что, за нѣсколько дней передъ тѣмъ, какъ появилась эта статья въ *Morning Post*, о томъ же самомъ предметѣ, хотя и въ нѣсколько другомъ тонѣ, говорилъ *Dziennik Polski*, сообщивъ, будто бы русское правительство, выводя свои войска изъ Привислянскаго края, распространило тамъ воззваніе къ крестьянамъ, приглашая ихъ образовывать изъ себя сельскую стражу для наблюденія за панами и для подавленія всякихъ попытокъ къ мятежу. Передавая содержаніе этихъ статей, *Голосъ* удивляется, съ чего вдругъ стали такъ усердствовать *Dziennik Polski* и *Morning Post*? Для чего понадобилась имъ нелѣпная басня о русскомъ воззваніи къ привислянскимъ крестьянамъ и о русско-прусскихъ agents provocateurs, будто бы старающихся возбудить «искусственное возстаніе въ конгрессувкѣ»?

Эти неожиданныя выходы должны же имѣть какую-нибудь цѣль. Газеты, ихъ напечатавшія, вѣроятно, имѣютъ свѣдѣнія, заставляющія ихъ опасаться возникновенія безпорядковъ въ Привислянскомъ краѣ, и стараются заранѣе исказить смыслъ движенія, послѣдствій котораго онѣ, повидимому, опасаются. Приѣмъ этотъ не новъ. Онъ уже употреблялся поляками и ихъ западными друзьями въ 1863 году. Одно это воспоминаніе заставляетъ уже признать, что статьи *Dziennik Polski* и *Morning Post* не лишены значенія и имѣютъ какую-то таинственную связь съ прежними толками мадьярской печати о сочувствіи поляковъ къ туркамъ и о ихъ тайномъ желаніи усложнить положеніе Россіи революціонною агитаціей на нашей западной границѣ. Любопытно, что эти статьи совпадаютъ съ извѣстіемъ о кандидатурѣ кардинала Ледоховскаго на папскій престолъ. Мы не принадлежимъ, заявляетъ *Голосъ*, къ числу охотниковъ придавать превеличенное значеніе всѣмъ фантастическимъ комбинаціямъ, за которыя хватаются недоброжелатели Россіи, въ надеждѣ помѣшать благопріятной для нея развязки нынѣшней войны. Въ данномъ же случаѣ, дѣло кажется намъ настолько серьезнымъ, что нельзя уже оставить безъ указанія такой фактъ, какимъ является неожиданное

и ничѣмъ, повидимому, не вызванное появленіе статей *Dziennik Polski* и *Morning Post*.

Стало-быть, есть же нѣчто похожее на вѣтви клерикальнаго заговора, можетъ-быть, и у насъ? Уже одно извѣстіе о кандидатурѣ Ледоховскаго несомнѣнно польскаго происхожденія, ибо только одна легкомысленная голова польскаго заграничнаго агитатора можетъ серьезно повѣрить, что римскій конклавъ, наполненный такими тонкими умами, въ состояніи бы былъ такъ шлелнуться избраніемъ Ледоховскаго, при чемъ новый папа только бы и дѣлалъ, что занимался возстановленіемъ ойчизны, а не римскаго и всемірнаго владычества папъ. Но это въ сторону, а вѣтви клерикальнаго заговора въ Россіи все-таки ясны. *Новое Время* прибавляетъ къ тому же, что—

«Настойчивая въ настоящее время полемика *Journal de St.-Petersbourg* съ итальянскими клерикальными газетами по поводу мнимаго угнетенія католицизма въ Польшѣ, какъ будто показываютъ, что существуютъ признаки какой-то агитаціи на нашей западной окраинѣ».

Ну ужъ вовсе не признаки только. Это, стало-быть, именно и есть та *партія*, про которую говорятъ *Московскія Вѣдомости*, что она „дѣйствуетъ въ согласіи съ врагами Россіи и... что ей ненавистно всякое проявленіе нашего народнаго духа, всякое *дѣйствіе нашего правительства въ этомъ духѣ*, и которая русскій патриотизмъ ставитъ на одну доску съ нигилизмомъ и революціей,—партія, которая питаетъ гнуснѣйшими корреспонденціями враждебную намъ печать...“

Да, именно европейскія корреспонденціи изъ Россіи, очень и очень возможно, что ея дѣло, этой партіи. Эта радость о неудачахъ Россіи и легкомысленное визжаніе отъ восторга, что Россія такъ-де вдругъ оказалась „слаба, безъ финансовъ, съ разстроенымъ войскомъ, съ недовольнымъ и ропщущимъ народомъ, съ нигилизмомъ, подточившимъ общество“, — всѣ эти небылицы несомнѣнно носятъ на себѣ печать столь извѣстнаго происхожденія. О, нельзя чтобъ не нашлись и русскія перья, готовые писать въ униссонъ съ клерикалами, но эти корреспонденціи за границу не могутъ быть, кажется, написаны русскими: слишкомъ ужъ было бы это подло. Тѣмъ не менѣе, клерикалы, можетъ-быть, и не очень стараясь, несомнѣнно направляютъ даже и русскія перья у насъ дома. Они ихъ вовсе, можетъ-быть, и не подговариваютъ, и въ сношенія съ ними, *прямая и надлежащая*, не вступаютъ, потому

что эти бойкія либеральныя перья принадлежать *иногда* честиѣйшимъ людямъ, которые, выслушавъ прямое предложеніе клерикала, можетъ-быть, спустили бы его даже съ лѣтницы. Но зато клерикаль, особенно у насъ обжившійся, отѣнно знаетъ, что ему и ходить къ бойкому перу не нужно, потому что бойкое русское перо ему и даромъ все напишетъ,—единственно воображая (о, милые!), что это и честно, и либерально. Бойкое перо возмущается, напрімѣръ, клерикалами, облѣпившими во Франціи Магъ-Магона, и пишетъ грозныя противъ нихъ статьи. Но въ то же время онъ русскаго римскаго клерикала не только не замѣтитъ, но подчасъ запоетъ ему въ самый полный унисонъ. Есть такіе, есть. И хитрые наши римскіе клерикалы даже, можетъ-быть, дивятся на нихъ: „Вѣдь охота же это имъ такъ шлепаться между двухъ стульевъ“, — киваютъ они главами своими. „И вѣдь какъ безкорыстно! Правда, надобно же быть до конца либеральнымъ. Вѣдь вотъ они кричатъ, что Россія права даже не имѣетъ освобождать славянъ: да вѣдь за это имъ мало сто тысячъ дать! И все-то это между двухъ стульевъ, поминутно, да поминутно. Какъ имъ не больно только? Заживаетъ что ли у нихъ такъ скоро“...

II.

Лѣтняя попытка Старой Польши мириться.

Въ началѣ лѣта эти агитаторы-клерикалы попробовали у насъ сдѣлать демонстрацію даже черезъ русскія изданія. Волки перерядились въ овецъ и заговорили въ тонѣ какъ будто посланниковъ всей польской „эмиграціи“ за границей. Они стали предлагать примиреніе: примите, дескать, насъ, мы видимъ тоже, что братство славянъ несомнѣнно и не хотимъ отстать. Говорили они чрезвычайно нѣжно и выставили резоны:

«У насъ, говорятъ они, есть инженеры, химики, технологи, ремесленники, бухгалтеры, агрономы и т. п.». Всего этого много въ эмиграціи. Пустите ихъ къ себѣ! «Развѣ — говоритъ житель Литвы, написавшій въ 172 № *Спб. Вѣд.* статью, — нѣтъ у васъ дѣла для той среды, которая произвела прежде Тенгоборскаго для Россіи, Воловскаго для Франціи? А въ дѣлѣ искусствъ, столь обмягчающихъ нравы и облагораживающихъ характеръ, какъ представителями въ польскомъ обществѣ, въ настоящее время всесвѣтно извѣстны: Броцкій скульпторъ, Матейко живописецъ. Вамъ эти ли люди не нужны? Что же сказать о сонмѣ литераторовъ, публицистовъ, промышленниковъ, фабрикантовъ и всякаго рода дѣятелей? Вамъ эти люди не нужны тоже?» (*Новое Время*. Изъ статьи Костомарова).

Г. Костомаровъ великолѣпно отвѣтилъ въ *Новомъ Времени* на всѣ эти замѣчанія. Сожалѣю, что не имѣю мѣста сдѣлать выписки изъ этой превосходной статьи. Разсужденіями ясными и точными доказываетъ г. Костомаровъ, что все это лишь намъ западня, что наведутъ они къ намъ Конрадовъ Валенродовъ, предателей; что полякъ Старой Польши инстинктивно, слѣпо ненавидитъ Россію и русскихъ. Г. Костомаровъ допускаетъ, однакоже, что есть прекрасные поляки, которые могутъ жить даже въ дружбѣ съ инымъ русскимъ, спасти его въ бѣдѣ, одолжить его. Это, конечно, правда, но чуть только этотъ русский, хотя бы даже послѣ двадцати лѣтъ дружбы, вдругъ бы выразилъ этому прекрасному поляку свои политическія убѣжденія насчетъ Польши въ русскомъ духѣ, то этотъ полякъ тотчасъ же, тутъ же, сталъ бы явнымъ или тайнымъ врагомъ своего русскаго друга, на всю жизнь до конца, непримиримымъ и безграничнымъ. Объ этомъ забылъ прибавить г. Костомаровъ.

Вся эта лѣтняя попытка „примиренія“, нашедшая русскихъ защитниковъ и такого могучаго оппонента, какъ г. Костомаровъ — есть, безспорно, клерикальная къ намъ подсылка изъ Европы, отрогъ всеевропейскаго клерикальнаго заговора. О, эти поляки Старой Польши увѣряютъ, что они вовсе не клерикилы, не паписты, не римляне и что мы давно должны это знать про нихъ. Но вообразить только, что „Старая Польша“, эта польская эмиграція — не держится папы въ іезуитскомъ смыслѣ, далека отъ клерикальныхъ фантазій, — о, какая смѣшная мысль! Имъ ли, имъ ли не держаться Ватикана, когда они такъ вполне сознаютъ его силу и всегда сознавали? Вѣдь Ватиканъ не измѣнялъ Старой Польшѣ никогда, а, напротивъ, поддерживалъ изъ всѣхъ силъ всѣ ея фантазіи, когда другія-то государства ихъ уже слушать не хотѣли! Нѣтъ, они Ватикану не измѣнять и Ватиканъ не измѣнить имъ. Лѣтняя выходка къ примиренію была сдѣлана именно въ то время, когда вся эмиграція задвигалась противъ русскихъ, когда созидались польскіе легіоны, когда аристократы эмиграціи являлись въ Константинополь съ огромными суммами денегъ (конечно, не своими). Все это примиреніе было одно только коварство, какъ опредѣлилъ его г. Костомаровъ. Кстати: они предлагаютъ намъ своихъ ученыхъ, техниковъ, художниковъ, и говорятъ: „примите ихъ, они ль вамъ не нужны!“ Тутъ бы прибавить, что

они, вѣроятно, считаютъ насъ дикимъ народомъ, и не вѣдаютъ, что у насъ все то, что они предлагаютъ, можетъ-быть, и лучше ихняго есть. Но обижаться нечего, а главное: зачѣмъ же они не ѣдутъ? У насъ было нѣсколько поляковъ, которые проявили свой талантъ, и Россія ихъ почитала, уважала, ставила на высоту, нѣсколько не раздѣляя ихъ отъ русскихъ. Къ чему же уговариваться? Приѣзжайте. Примиритесь и покоритесь сами, но знайте, что никогда не будетъ Старой Польши. Есть Новая Польша, Польша освобожденная Царемъ, Польша возрождающаяся, и которая, несомнѣнно, можетъ ожидать впереди, въ будущемъ, равной судьбы со всякимъ славянскимъ племенемъ, когда славянство освободится и воскреснетъ въ Европѣ. Но Старой Польши никогда не будетъ, потому что ужиться съ Россіей она не можетъ. Ея идеаль стать на мѣстѣ Россіи въ славянскомъ мірѣ. Ея девизъ, обращенный къ Россіи: „Otes-toi de là que je m'y mette“. Любопытно, что польскій передовой застрѣльщикъ говоритъ лишь объ ученыхъ и художникахъ. Ну, а предводители эмиграціи, аристократы? Вообразить только картину, что Россія поддалась льстивымъ словамъ и объявила, что хочетъ мириться, и вотъ они сидятъ и надменно спрашиваютъ: „какія ваши условія?“

Потому что, если вы предлагаете намъ впустить эмигрантовъ въ Россію, а сами они не идутъ, *значитъ они дожидаются условій*. И вотъ представьте себѣ, что Россія ихъ вдругъ признаетъ за нѣчто, за воюющую сторону, и начнетъ эти переговоры! И вотъ они перебираются въ Россію, магнаты съ перваго же раза фрондируютъ, требуютъ знатныхъ мѣстъ и отличій; затѣмъ тотчасъ же кричатъ на всю Европу, что ихъ обманули, затѣмъ начинаютъ польскій бунтъ... И Россія поддается на такую бѣду, сдѣлаетъ такую глупость! Разумѣется, поляки не могли вѣрить сами, чтобы такая грубая выходка ихъ могла обмануть Россію. Но на чистыхъ сердцемъ русскихъ сторонниковъ они рассчитывали. Что это дѣло клерикаловъ, клерикальный шагъ въ Россію—въ этомъ нѣтъ сомнѣнія. Спросить, для чего же этотъ шагъ? А развѣ клерикаламъ не надо зондировать положеніе, путать мысли, скрывать настоящіе свои шаги, приобрѣтать русскія перья, волновать русскую Польшу и проч., и проч.? Да мало ли какіе у нихъ могли быть расчеты!

III.

Выходка „Биржевыхъ Вѣдомостей“. Не бойкія, а злыя перья.

Мы говорили сейчасъ про „бойкія перья“. Но есть у насъ перья вовсе не бойкія, но отвратительныя. И они тоже (да еще какъ) свищутъ съ польскими соловьями въ унисонъ, но поляки ихъ даже и не направляютъ; все дѣлается безкорыстно, не вѣдая что творять. Тутъ просто злоба, обманутыя надежды и потерпѣвшее самолюбіе. Такова статья *Биржевыхъ Вѣдомостей* (№ 257) о господинѣ Иловайскомъ; хотя бы написать-то сумѣли, а то вѣдь такъ противъ себя и валяютъ!

Всѣмъ извѣстно, что нашъ ученый г. Иловайскій былъ арестованъ и оскорбленъ въ Галиціи. Проѣзжая съ ученою цѣлью Галицію, онъ обратился, по ошибкѣ, къ одному польскому ксендзу съ просьбою указать ему мѣстныя древности. Потомъ онъ уже нашелъ русскаго священника, но злобный ксендзъ тотчасъ же донесъ на него, подъ предлогомъ, что это русскій панславистъ, пропагаторъ и агитаторъ. Г. Иловайскаго арестовали безо всякой церемоніи, обыскивали, возили изъ тюрьмы въ тюрьму и, наконецъ-то, заступничествомъ одного мѣстнаго ученаго, его препроводили до русской границы. У насъ это тотчасъ же разгласилось: *Московскія Вѣдомости* помѣстили статью. Заговорили наши газеты, но многія безъ особаго жару, а просто какъ о курьезѣ. Фактъ оскорбленія русскаго ученаго, ни за что ни про что, показался, кажется, всѣмъ обыкновеннымъ фактомъ. Самъ г. Иловайскій напечаталъ въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ* тоже нѣсколько строкъ на статьи враждебныхъ газетъ, краткихъ строкъ, вялыхъ и сонныхъ. Но зато наши биржевики, которымъ вся Россія представляется лишь съ точки зрѣнія своего кармана и которымъ до Россіи ровно никакого нѣтъ дѣла, услужили ей удивительную услугу. Вотъ эта статья *Биржевыхъ Вѣдомостей*:

...«Что такое начудилъ г. Иловайскій въ Галиціи? Какую это онъ затѣялъ тамъ пропаганду?

Неужели несчастія, переживаемыя теперь Россіей, недостаточны еще для того, чтобы выгнать дурь изъ головы нашихъ закорузлыхъ панславистовъ, и неужели послѣ того, что происходитъ теперь у всѣхъ на глазахъ, у нихъ хватаетъ духа продолжать юродство и скomorшество съ этой всеславянской чепухой, приготавливающей для насъ неисчислимыя государственныя бѣдствія и всѣмъ намъ давно уже опротивѣвшей?

Пока наши отупѣвшіе отъ ничего недѣланія панслависты ограни-

чивались пересылкой всеславянских колоколовъ, это ни до кого не касалось, и они могли забавляться этимъ сколько угодно, но когда они вмѣстѣ съ колоколами начинаютъ посылать туда своихъ пономарей для благовѣста, — дѣло получаетъ уже совсѣмъ иное значеніе.

Кто же призвалъ и кто уполномочилъ г. Иловайскаго на его панславистскую пропаганду?

Понимаетъ онъ или не понимаетъ, къ какимъ она можетъ привести послѣдствіямъ, въ особенности теперь, въ настоящую минуту? Вы извергаете, господа, ругательства на Клапку за то, что тотъ подстрекаетъ мадьяръ на пособничество туркамъ, — а что же дѣлаете вы сами, что дѣлаетъ г. Иловаискій подъ видомъ изученія славянскихъ древностей? Что, вамъ мало еще того зла, которое породило ваше прошлогоднее юродство? Чего вы еще хотите? Какую еще новую кашу вы заварить желаете? Чтобы бросить камень въ воду, васъ достанетъ на это, мы это хорошо знаемъ; но вы должны помнить также, что камни, вами бросаемые, приходится иногда вытаскивать всѣми народными силами, добывать ихъ цѣною кровавыхъ жертвъ и народнаго истощенія.

Перестаньте же дурачиться; на все есть свое время. Если до сихъ поръ во всѣхъ благоразумныхъ людяхъ вы возбудили къ себѣ только насмѣшку, то теперь къ вамъ не иначе будутъ относиться, какъ съ негодованіемъ».

Эти люди говорятъ о негодованіи! Послушайте, *какъ смѣли* вы написать, не зная дѣла, такъ утвердительно, на всю Россію и на всю Европу (ибо ваша статья имѣла въ Европѣ *свое* значеніе) — какъ смѣли вы написать про г. Иловайскаго: „кто же призвалъ и кто уполномочилъ г. Иловайскаго на его панславистскую пропаганду?“ и потомъ, послѣ смѣшного сравненія г. Иловайскаго съ Клапкой: „а что же дѣлаете вы сами, что дѣлаетъ г. Иловаискій *подъ видомъ изученія славянскихъ древностей*?“ Какъ смѣли вы написать объ этомъ такъ *утвердительно* послѣ того какъ *совершенно знаете*, что все это неправда? Неужто вы думаете, что вамъ позволять предавать Россію. Вы спрашиваете о г. Иловайскомъ: „Понимаетъ онъ или не понимаетъ“, а я васъ самого спрошу, г. публицистъ: понимаете ли вы, или не понимаете, что вы надѣлали! Вѣдь въ Австріи не спросятъ: какой человекъ это писаль, умный или неумный, образованный или необразованный, знаетъ онъ хоть что-нибудь въ панславизмѣ или ничего не знаетъ и никогда ничего не читалъ объ немъ? Вѣдь въ Австріи прямо скажутъ: „стало-быть, правда, что Россія посылаетъ агитаторовъ? Если бѣ неправда была, какъ могла бы такъ *утвердительно*, съ такимъ жаромъ и такъ укоризненно обращаться къ панславистамъ большая, петербургская, ежедневная, независимая газета, въ высшей степени подтверждающая фактъ разсылки эмиссаровъ

для агитаторства? Вѣдь писавшій это самъ русскій, скажутъ они, его бы остановилъ патриотизмъ, наконецъ, и побудилъ бы скрыть преступленіе. Но онъ не могъ скрыть истину, потому что негодование патриота вылилось наружу на панславистовъ, готовящихъ, стало-быть, дѣйствительно страшныя бѣдствія Россіи своей отчаянной пропагандой и агитаціей въ Австріи и въ славянскихъ земляхъ. Стало-быть, намъ нечего извиняться за арестъ какого-то тамъ Иловайскаго, напротивъ, надо усилить аресты и всѣхъ русскихъ въ Австріи держать впредь подъ полицейскимъ надзоромъ. Не намъ просить извиненія, а русское правительство должно просить у насъ извиненія за то, что такъ открыто позволяетъ у себя дѣятельность зловредныхъ политическихъ, направленныхъ противъ Австріи, обществъ, а къ намъ пропускаетъ поминутно массами пропагаторовъ и агитаторовъ, бунтующихъ австрійскихъ славянъ противъ законнаго правительства“.

Это несомнѣнно скажутъ въ Австріи и статью вашу несомнѣнно примутъ къ свѣдѣнію въ этомъ самомъ смыслѣ, г. публицистъ. Чтò же это, не предательство, какъ вы думаете? Не предаете вы интересы Россіи полякамъ и австрійцамъ? Не поддерживаете вы политическую смуту и не служите ей? Вѣдь вы знаете *навѣрно, вполнѣ, съ точности*, что никакихъ эмиссаровъ не посылалось нигдѣмъ никогда, какъ же вы смѣли написать про г. Иловайскаго, что онъ вѣдиль сѣять смуту *подъ видомъ изученія славянскихъ древностей*? Есть ли кто въ Россіи, кто вамъ въ этомъ повѣритъ? Между тѣмъ вы выражаетесь объ этомъ дѣлѣ такъ утвердительно, какъ будто знаете его какъ свои пять пальцевъ. Кто же сѣетъ смуту?

Теперь о другомъ: утоливъ вашу злобу, написавъ завѣдомую неправду, вы позволяете еще себѣ надѣяться, послѣ вашего-то поступка столь явнаго предательства русскихъ интересовъ старо-полякамъ и австрійцамъ и всякой безконечной и вѣчно агитирующей противъ насъ европейской швали,—на сочувствіе къ вамъ русскихъ читателей? Неужели вы такъ низко объ нихъ думаете?

И чтò за тонъ? Чтò за трепетаніе? чтò за приниженіе передъ Австріей! „Изволить, дескать, она осердиться!“ У Гоголя атаманъ говоритъ казакамъ: „милость чужого короля, да и не короля, а милость польскаго магната, который желтымъ чоботомъ своимъ бьетъ ихъ въ морду, дороже для нихъ всякаго братства“. Это атаманъ гово-

рить про предателей. Неужели вамъ хочется, чтобы и рускіе, въ трепетѣ животнаго страха за свои интересы и деньги, склонялись точно такъ же передъ какимъ-нибудь желтымъ чоботомъ? Напротивъ, не лучшая ли наша политика съ Австріей, именно теперь, именно въ эту минуту,—политика высшаго собственнаго національнаго достоинства, а не та, которую вы желаете. Вѣдь чѣмъ болѣе мы выкажемъ приниженія, котораго вы такъ желаете, тѣмъ болѣе и въ той же степени укрѣпимъ и усилимъ ея домогательства. Да и чего намъ бояться Австріи, она никогда не въ силахъ будетъ извлечь противъ насъ свой мечъ, если бъ и захотѣла того. Напротивъ, именно теперь настала пора для политики прямой и откровенной, для того чтобы не вышло потомъ, при окончаніи войны, печальныхъ недоразумѣній. Намъ нечего давать на себя векселя. Точно такъ же мы должны смотрѣть и на Англію. Они должны понять, по крайней мѣрѣ, что мы ихъ не можемъ бояться и что мы, напротивъ, въ силахъ имъ сдѣлать больше зла, чѣмъ они намъ. Это они должны знать, между тѣмъ они о насъ имѣютъ ложныя свѣдѣнія, укрѣпляемые вотъ именно такими выходками, какъ *Биржевикъ Вѣдомостей*. Не въ Австріи ли поддерживалось лѣтомъ убѣжденіе, что сила Россіи была миражъ, всѣхъ обманувшій, и что впредь нельзя считать уже Россію сильной военной державой. Вотъ тогда-то и возросъ ея тонъ. Не въ Англіи ли были убѣждены, тоже въ высшихъ сферахъ, что 10,000 человекъ англійскаго войска, высаженные въ Трапезундѣ, порѣшили бы навсегда всю нашу задачу на Востокъ и на Кавказѣ. Мы-то ихъ знаемъ, а они-то насъ, стало-быть, не знаютъ. Но плохая услуга Россіи предавать ея интересы недругамъ нашимъ и представлять ее въ трусливомъ и приниженномъ видѣ, тогда какъ этого нѣтъ нисколько и все ложь.

НОЯБРЬ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

I.

Что значить слово: „стриюцкіе“?

Въ два года изданія моего „Дневника“, я раза два-три употребилъ малоизвѣстное слово „стриюцкіе“ и получилъ нѣсколько запросовъ изъ Москвы и изъ губерній: что значить слово „стриюцкіе“? Извиняюсь, что не отвѣтилъ никому до сихъ поръ: все хотѣлъ какъ-нибудь, между строчками, отвѣтить въ „Дневникѣ“. Теперь, заканчивая „Дневникъ“, отведу нѣсколько строкъ и непонятному петербургскому словцу, и если начинаю съ этой мелочи первую страницу ноябрьскаго выпуска, то именно потому, что, откладывая на послѣднюю страницу, какъ прежде дѣлывалъ, почти всегда не находилъ свободнаго мѣста для „стриюцкихъ“ изъ-за другихъ темъ и каждый разъ приходилось откладывать объясненіе опять до слѣдующаго выпуска.

Слово „стриюцкій, стріюцкіе“ есть слово простонародное, употребляющееся единственно въ простомъ народѣ и, кажется, только въ Петербургѣ. Такъ что это слово, кажется, и изобрѣтено въ Петербургѣ. Пишу: *кажется*, потому что сколько ни спрашивалъ людей „компетентныхъ“, не могъ ни отъ кого добиться: откуда оно взялось, почему такъ сложились звуки его, употребляется ли оно хоть гдѣ-нибудь въ Россіи, кромѣ Петербурга и, наконецъ—дѣйствительно ли въ Петербургѣ оно изобрѣтено? Что до меня, то мнѣ опять-таки „кажется“ (утвердительно же не

могу выразиться), что слово это есть слово чисто петербургское и изобрѣтено собственно петербургскимъ просто-народьемъ, но кѣмъ, когда, давно ли? — не знаю. Означаетъ же оно, по неоднократнымъ разспросамъ моимъ у народа, и сколько я понялъ, слѣдующее:

„Стрюцкій“—есть человекъ пустой, дрянной и ничтожный. Въ большинствѣ случаевъ, а, можетъ быть, и всегда—пьяница, пропойца, потерянный человекъ. Кажется, впрочемъ, стрюцкимъ могъ бы быть названъ, въ иныхъ случаяхъ, и не пьяница. Но главные свойства этого пустого и дрянного пьянчужки, заслужившія ему особое наименование, выдумке цѣлаго новаго слова, — это, во-первыхъ, пустоголовость, особаго рода вздорность, безмозглость, неосновательность. Это крикливая ничтожность. Кричатъ вечеромъ въ праздникъ на улицѣ пьяные; слышенъ споръ, изступленный зовъ городского; въ сбившейся въ кучу толпѣ ясно отличается чей-то протестующій, вызывающій, жалующійся и угрожающій голосъ. Много напускнаго гнѣва. Вы подходите, освѣдомляетесь, что такое? Въ отвѣтъ смѣются, махаютъ рукой и отходятъ: „пустяки, стрюцкіе!“ Слово стрюцкіе произносится при этомъ съ пренебреженіемъ, съ презрѣніемъ. Всегда съ презрѣніемъ, и если бѣ дѣйствительно этотъ кричащій человекъ былъ прибитъ или обиженъ, то и тутъ, кажется, не нашелъ бы сочувствія, а только презрѣніе, потому что онъ лишь „стрюцкій“, т.-е. все въ немъ вздоръ: и что кричить онъ — и то все вздоръ, и что прибили его — и то вздоръ, самый „настоящій человекъ“, какой есть. Прибавлю, что стрюцкіе большею частью въ худомъ платьѣ, одѣты не по сезону, въ прорванныхъ сапогахъ. Прибавлю тоже, что „кажется“ стрюцкимъ обзывается только тотъ, кто въ нѣмецкомъ платьѣ. Впрочемъ, не ручаюсь, но, кажется, это такъ.

Второй существенный признакъ пьяницы-пропойцы, называемаго „стрюцкимъ“, кромѣ вздорности и неосновательности его, — есть недостаточно опредѣленное положеніе его въ обществѣ. Мнѣ думается, что человекъ, имѣющій деньги, домъ, или какое-нибудь имѣніе, мало того, имѣющій чуть-чуть твердое и опредѣленное мѣсто, хотя бы и рабочимъ на фабрикѣ, не могъ бы быть названъ „стрюцкимъ“. Но если у него есть и заведеніе, лавка, лавочка или что-нибудь, но ведетъ онъ все это неосновательно, какъ-нибудь, безъ расчета, то онъ можетъ попасть въ

стриюцкіе. И такъ „стриюцкій“ это ничего не стоящій, не могущій нигдѣ ужиться и установиться, неосновательный и себя непонимающій человѣкъ, въ пьяномъ видѣ часто рисующійся фанфаронъ, крикунъ, часто обиженный, и всего чаще потому, что самъ любитъ быть обиженнымъ, призываетъ городского, караула, властей—и все вмѣстѣ пустякъ, вздоръ, мыльный пузырь, возбуждающій презрительный смѣхъ: „Э, пустое, стрюцкій“.

Повторяю, мнѣ кажется, это слово есть исключительно петербургское. Но употребляется ли въ другихъ мѣстахъ Россіи—не знаю. Въ простонародьи въ Петербургѣ оно очень распространено. Въ Петербургѣ очень много наплывного народа изъ губерній, а потому довольно вѣроятно, что словцо можетъ перейти и въ другія губерніи, если еще не перешло. Войдетъ, можетъ быть, и въ литературу: кажется, и другіе писатели, кромѣ меня, его употребляли. Въ этомъ словѣ для литератора привлекательна сила того оттѣнка презрѣнія, съ которымъ народъ обзываетъ этимъ словомъ именно только вздорныхъ, пустоголовыхъ, кричащихъ, неосновательныхъ, рисующихся въ дрянномъ гнѣвѣ своемъ дрянныхъ людишекъ. Такихъ людишекъ много вѣдь и въ интеллигентныхъ кругахъ, и въ высшихъ кругахъ—неправда ли? только не всегда пьяницъ и не въ прорванныхъ сапогахъ, но въ этомъ часто все и различіе. Какъ удержаться и не обзывать иногда и этихъ высшихъ „стриюцкими“, благо слово готово и соблазнительно тѣмъ оттѣнкомъ презрѣнія, съ которымъ выговариваетъ его народъ?

II.

Исторія глагола „стусеваться“.

Кстати, по поводу происхожденія и употребленія новыхъ словъ. Въ литературѣ нашей есть одно слово: „стусеваться“, всѣми употребляемое, хоть и не вчера родившееся, но и довольно недавнее, не болѣе трехъ десятковъ лѣтъ существующее; при Пушкинѣ оно совсѣмъ не было извѣстно и не употреблялось никѣмъ. Теперь же его можно найти не только у литераторовъ, у беллетристовъ, во всѣхъ смыслахъ, съ самого шутливаго и до серьезнѣйшаго, но можно найти и въ научныхъ трактатахъ, въ диссертацияхъ, въ философскихъ книгахъ; мало того, можно найти въ дѣловыхъ департаментскихъ бумагахъ, въ рапортахъ, въ отчетахъ, въ приказахъ даже; всѣмъ оно извѣстно,

всѣ его понимаютъ, всѣ употребляютъ. И, однако, во всей Россіи есть одинъ только человекъ, который знаетъ точное происхожденіе этого слова, время его изобрѣтенія и появленія въ литературѣ. Этотъ человекъ—я, потому что ввелъ и употребилъ это слово въ литературѣ въ первый разъ—я. Появилось это слово въ печати, въ первый разъ, 1-го января 1846 года, въ *Отечественныхъ Запискахъ*, въ повѣсти моей: „Двойникъ, приключенія господина Голядкина“.

Первая повѣсть моя „Бѣдные люди“ была начата мною въ 1844 году, была окончена, стала извѣстна Бѣлинскому и была принята Некрасовымъ для его альманаха „Петербургскій Сборникъ“ въ 1845 году. Вышелъ этотъ альманахъ въ концѣ 45-го года. Но въ этомъ же 1845 году я и началъ, лѣтомъ, уже послѣ знакомства съ Бѣлинскимъ, эту вторую мою повѣсть: „Двойникъ, приключенія господина Голядкина“. Бѣлинскій, съ самаго начала осени 45-го года, очень интересовался этой новой моей работой. Онъ повѣстилъ объ ней, еще не зная ея, Андрея Александровича Краевского, у котораго работалъ въ журналѣ, съ которымъ и познакомилъ меня и съ которымъ я и уговорился, что эту новую повѣсть „Двойникъ“ я, по окончаніи, дамъ ему въ *Отечественныя Записки* для первыхъ мѣсяцевъ наступающаго 46-го года. Повѣсть эта мнѣ положительно не удалась, но идея ея была довольно свѣтлая, и серьезнѣе этой идеи я никогда ничего въ литературѣ не проводилъ. Но форма этой повѣсти мнѣ не удалась совершенно. Я сильно исправилъ ее потомъ, лѣтъ пятнадцать спустя, для тогдашняго „Общаго собранія“ моихъ сочиненій, но и тогда опять убѣдился, что это вещь совсѣмъ неудавшаяся, и если бъ я теперь принялся за эту идею и изложилъ ее вновь, то взялъ бы совсѣмъ другую форму; но въ 46 году этой формы я не нашелъ и повѣсти не осилилъ.

Тѣмъ не менѣе, кажется, въ началѣ декабря 45-го года, Бѣлинскій настоялъ, чтобъ я прочелъ у него хоть двѣтри главы этой повѣсти. Для этого онъ устроилъ даже вечеръ (чего почти никогда не дѣлывалъ) и созвалъ своихъ близкихъ. На вечерѣ, помню, былъ Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ, прослушалъ лишь половину того, что я прочелъ, похвалилъ и уѣхалъ, очень куда-то слѣзниль. Три или четыре главы, которыя я прочелъ, понравились Бѣлинскому чрезвычайно (хотя и не стоили того). Но Бѣ-

линскій не зналъ конца повѣсти и находился подъ обаяніемъ „Бѣдныхъ людей“. Ну вотъ тутъ-то, на этомъ чтеніи, и употреблено было мною, въ первый разъ, слово „стусеваться“, столь потомъ распространившееся. Повѣсть всѣ забыли, она и стѣить того, а новое слово подхватили, усвоили и утвердили въ литературѣ.

Слово „стусеваться“ значитъ исчезнуть, уничтожиться, сойти, такъ сказать, *на нѣтъ*. Но уничтожиться не вдругъ, не провалившись сквозь землю, съ громомъ и трескомъ, а, такъ сказать, деликатно, плавно, непримѣтно погрузившись въ ничтожество. Похоже на то, какъ сбываетъ тѣнь на затусеванной тушью полосѣ въ рисунокѣ, съ чернаго постепенно на болѣе свѣтлое и, наконецъ, совсѣмъ на бѣлое, *на нѣтъ*. Должно быть, въ „Двойникѣ“ это словцо было мною употреблено удачно въ тѣхъ первыхъ же трехъ главахъ, которыя я прочелъ у Бѣлинскаго, при изображеніи того, какъ умѣлъ кстати исчезнуть со сцены одинъ досадный и хитренькій человѣчекъ (или въ родѣ того, я забылъ). Потому такъ говорю, что новое словцо не возбудило никакого недоумѣнія въ слушателяхъ, напротивъ, всѣми было вдругъ понято и отмѣчено. Бѣлинскій прервалъ меня именно съ тѣмъ, чтобъ похвалить выраженіе. Всѣ слушавшіе тогда (всѣ и теперь живы) тоже похвалили. Очень помню, что похвалилъ и Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ (онъ вѣрно теперь позабылъ). Хвалилъ потомъ очень и Андрей Александровичъ Краевскій. Кромѣ этихъ существуютъ и еще лица, которыя, я думаю, могутъ припомнить, что и они капельку поинтересовались тогда новымъ словцомъ. Но принялось оно и вошло въ литературу не сейчасъ, а весьма постепенно и непримѣтно. Помню, что выйдя, въ 1854 году, въ Сибири изъ острога, я началъ перечитывать всю написанную безъ меня за пять лѣтъ литературу („Записки Охотника“, едва при мнѣ начавшіяся, и первыя повѣсти Тургенева я прочелъ тогда разомъ, залпомъ и вынесъ упоительное впечатлѣніе. Правда, тогда надо мной сіяло степное солнце, начиналась весна, а съ ней совсѣмъ новая жизнь, конецъ каторги, свобода!)—и такъ, начавъ перечитывать, я былъ даже удивленъ, какъ часто стало мнѣ встрѣчаться слово „стусеваться“. Потомъ, въ шестидесятыхъ годахъ, оно уже совершенно освоилось въ литературѣ, а теперь, повторяю, я даже въ дѣловыхъ бумагахъ, публикуемыхъ въ газетахъ, его встрѣчаю, и даже въ ученыхъ диссерта-

дѣяхъ. И употребляется оно, именно, въ томъ смыслѣ, въ которомъ я въ первый разъ его употребилъ.

Впрочемъ, если я и употребилъ его въ первый разъ въ литературѣ, то изобрѣлъ его все же не я. Слово это изобрѣлось въ томъ классѣ Главнаго инженернаго училища, въ которомъ былъ и я, именно моими однокурсниками. Можетъ-быть, и я участвовалъ въ изобрѣтеніи, не помню. Оно само какъ-то выдумалось и само ввелось. Во всѣхъ шести классахъ училища мы должны были чертить разные планы, фортификаціонные, строительные, военно-архитектурные. Умѣніе хорошо начертить планъ самому, своими руками, требовалось строго отъ cadaго изъ насъ, такъ что и не имѣвшіе охоты къ рисованію поневолѣ должны были стараться во что бы то ни стало достигнуть извѣстнаго въ этомъ искусства. Баллы, выставаемые за рисунки плановъ, шли въ общій счетъ и вліяли на величину средняго балла. Вы могли выходить изъ верхняго офицерскаго класса на службу превосходнымъ математикомъ, фортификаторомъ, инженеромъ, но если представленныя вами рисунки были плоховаты, то выставаемый за нихъ баллъ, идя въ общій расчетъ, до того могъ уменьшить вамъ средній баллъ, что вы могли лишиться весьма значительныхъ льготъ при выпускѣ, на примѣръ, слѣдующаго чина, а потому всѣ старались научиться рисовать хорошо. Всѣ планы чертились и оттушевывались тушью, и всѣ старались добиться, между прочимъ, умѣнья хорошо стушевывать данную плоскость, съ темнаго на свѣтлое, на бѣлое, и на нѣтъ; хорошая стушевка придавала рисунку щеголеватость. И вдругъ у насъ въ классѣ заговорили: „гдѣ такой-то?—Э, куда-то стушевался!“—Или, на примѣръ, разговариваютъ двое товарищей, одному надо заниматься: „ну, говорить одинъ, садящійся за книги, другому, ты теперь стушуйся“. Или говорить, на примѣръ, верхнеклассникъ новопоступившему изъ низшаго класса: „я васъ давеча звалъ, куда вы изволили стушеваться?“ Стушеваться именно означало тутъ удалиться, исчезнуть, и выраженіе взято было именно съ стушевыванія, т. е. съ уничтоженія, съ перехода съ темнаго на нѣтъ. Очень помню, что слово это употреблялось лишь въ нашемъ классѣ, врядъ ли было усвоено другими классами, и когда нашъ классъ оставилъ училище, то, кажется, съ нимъ оно и исчезло. Года черезъ три я припомнилъ его и вставилъ въ повѣсть.

Написаль я столь серьезно такое пространное изложене исторіи такого неважнаго словца—хотя бы для будущаго ученаго собирателя русскаго словаря, для какаго-нибудь будущаго Даля, и если я читателямъ теперь надоѣль, то зато будущій Даль меня поблагодарить. Ну такъ пусть для него одного и написано. Если же хотите, то для ясности покажусь вполнѣ: мнѣ, въ продолженіе всей моей литературной дѣятельности, *всего болѣе* правилось въ ней то, что и мнѣ удалось ввести совсѣмъ новое словечко въ русскую рѣчь, и когда я встрѣчалъ это словцо въ печати, то всегда ощущалъ самое пріятное впечатлѣніе; ну, теперь, стало-быть, вы поймете, почему я нашелъ возможнымъ описать такіе пустыни даже въ особой статейкѣ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

I.

Ланейство или деликатность?

Извѣстно, что всѣ русскіе интеллигентные люди чрезвычайно деликатны, т.-е. въ тѣхъ случаяхъ, когда они имѣютъ дѣло съ Европой или думаютъ, что на нихъ смотрѣтъ Европа,—хотя бы та, впрочемъ, и не смотрѣла на нихъ вовсе. О, дома, про себя и между собою, мы свое возьмемъ, дома весь европеизмъ по-боку—взять лишь, походя, наши отношенія семейныя, гражданскія, чести, долга, въ самомъ огромномъ большинствѣ случаевъ. Да и кто изъ проповѣдующихъ „европейскія“ идеи серьезно у насъ въ нихъ вѣрять? Конечно, лишь люди честные и при этомъ непременно добрые (такъ что и вѣрять-то лишь по добротѣ души), но вѣдь много-ль у насъ такихъ-то? Если ужъ все говорить, такъ вѣдь у насъ, можетъ быть, нѣтъ ни одного европейца, потому что мы и не способны быть европейцами. Умы же передовые, биржевые и всячески руководящіе берутъ у насъ съ европейскіхъ идей лишь оброкъ, и я думаю, что это у насъ такъ и есть, повсемѣстно. Не говорю, конечно, про людей съ большимъ здравымъ смысломъ: тѣ не вѣрять въ европейскія идеи, потому что и вѣрять-то не во что, ибо никогда и ничто на свѣтѣ не отличалось такою неясностью, туманностью, неопредѣленностью и неопредѣлимостью, какъ тотъ *циклъ идей*, который мы нажили себѣ въ двухсотлѣтній періодъ нашего европейничанія,—а въ сущности

не цикль, а хаосъ обрывковъ чувствъ, чужихъ недопонятыхъ мыслей, чужихъ выводовъ и чужихъ привычекъ, но особенно словъ, словъ и словъ — самыхъ европейскихъ и либеральныхъ, конечно, но для насъ все же словъ, и только словъ.

Объяснить все это прямо попугайствомъ нельзя. Тоже и лакействомъ мѣсли нельзя, русскимъ лакействомъ мысли передъ Европой. Лакейства мысли у насъ много, и очень даже, но высшая причина нашей европейской кабалы все же не лакейство, а скорѣе наша русская, врожденная намъ деликатность передъ Европой. Скажутъ, что вѣдь это, пожалуй, одно и то же, что и лакейство. Во многихъ случаяхъ — да, но нельзя сказать, чтобъ всегда. (Я, разумѣется, о руководящихъ плутахъ, о которыхъ замѣтилъ выше, и не говорю: этимъ европейцамъ до Европы ровно никакого дѣла нѣтъ, и никогда не бывало. Они, какъ умные люди, въ мутной водѣ рыбу ловятъ, всѣ два вѣка ловили).

Вотъ какъ говорить, напимѣрь, англичанинъ Гладстонъ о теперешней русской войнѣ съ Турціей:

„Что бы ни говорили о нѣкоторыхъ другихъ главахъ русской исторіи, освобожденіемъ многихъ миллионѣвъ порабощенныхъ народовъ отъ жестокаго и унижительнаго ига Россіи окажется человѣчеству одну изъ самыхъ блестящихъ услугъ, какія только помнитъ исторія,—услугу, которая никогда не изгладится изъ благодарной памяти народовъ“.

Какъ вы думаете, откровенно спрашивая, могъ ли бы произнестъ такія слова русской европеецъ? Да никогда въ жизни! Онъ проглотилъ бы языкъ свой прежде, чѣмъ это произнести; онъ отъ деликатности, не то что передъ Европой, а передъ самимъ собой, покраснѣетъ, если только услышитъ это, или прочтетъ по-русски и у русскаго. Помилуйте, да какъ мы смѣемъ... въ калашный рядъ!.. И для всего человечества — это мы-то, русскіе! Да мы еще рыломъ не вышли для этого, у насъ еще рожа крива, чтобъ „освобождать человечество“. И при этомъ все не либеральныя такія мысли: „Россія освобождаетъ народы“ — какая не либеральная мысль!

Вотъ искреннее мнѣніе русскаго европейца чистаго типа, и онъ отрубитъ себѣ сначала пальцы, чѣмъ напишетъ то же, что и Гладстонъ. „Гладстону-де можно пожалуй такъ сочинять; онъ или не понимаетъ ничего въ

Россіи, или себѣ на умѣ сочиняетъ, для дальнѣйшихъ цѣлей“—вотъ чтò думаетъ европеецъ. А иные изъ нихъ, подобрѣе и погорячѣе, тутъ же, пожалуй, прибавятъ про себя не безъ гордости: „а вѣдь мы, русскіе европейцы, пожалуй, что и либеральнѣе европейскихъ-то европейцевъ, дальше пошли: кто у насъ изъ трезвыхъ умовъ заикнется теперь о какомъ-то „освобожденіи народовъ“? Вотъ ретроградство-то! И Гладстонъ такіа вещи говорить не стыдѣсь!“

Какъ это все назвать господа? Лакействомъ или деликатностью передъ Европой?

Я все стою на томъ, что въ европейскомъ періодѣ нашей исторіи огромную роль играла деликатность. Вѣдь изъ этихъ европейцевъ нашихъ такъ много людей честнѣйшихъ, смѣлыхъ, людей чести, хотъ и чужой, усвоенной, хотъ и не понимаемой, можетъ быть, самимъ-то рыцаремъ, потому что все же это европейская для него тарбарщина, но все же чести,—людей, которые лично себѣ на ногу наступить не позволяютъ. Ну какъ же прямо такъ-таки и назвать ихъ лакеями? Нѣтъ, деликатность заѣла насъ, а не лакейство. Опять-таки, разумѣется, передъ Европой деликатность: у себя дома мы свое наверстаемъ.

Дамы, восторженно подносившія туркамъ конфеты и сигары, разумѣется, дѣлали это тоже изъ деликатности: „какъ, дескать, мы мило, нѣжно, мягко, гуманно, европейски просвѣщены!“ Теперь этихъ дамъ вразумили отчасти нѣкоторые грубые люди, но прежде, до вразумленія,—ну, положимъ, на другой день послѣ того поѣзда турокъ, въ который бросали букетами и конфетами,—чтò если бъ прибылъ другой поѣздъ съ турками же, а въ немъ тотъ самый баши-бузукъ, о которомъ писали, что особенно отличается умѣніемъ разрывать съ одного маху, схвативъ за обѣ ножки, грудного ребенка на двѣ части, а у матери тутъ же выкроить изъ спины ремень? Да, я думаю, эти дамы встрѣтили бы его визгомъ восторга, готовы были бы отдать ему не только конфеты, но что-нибудь и получше конфетъ, а потомъ, пожалуй, завели бы рѣчь въ дамскомъ своемъ комитетѣ о стипендіи имени его въ мѣстной гимназіи. О, повѣрьте, что деликатность до всего можетъ у насъ дойти, и предположеніе это вовсе не фантастическое. Смотря на себя въ зеркало, эти дамы, я думаю, сами бы влюблялись въ себя: „какіа мы гуманныя, какіа мы либеральныя милочки!“ И неужели вы думаете, что эта

фантастическая картинка не могла бы осуществиться? Тот высокомерный взгляд, который бросает иной европеец теперь на народъ нашъ и на движение его, отрицая во всемъ народѣ нашемъ всякую мысль и движение, „кромя глупо-вликучебныхъ выходокъ изъ тысячей простонародья и какого-нибудь одного дурака“, неужели такой взглядъ, возможность такого взгляда, обратившаяся въ дѣйствительность, не стоитъ изображенной выше фантастической картинки?

Деликатность передъ Европой съ нами повсемѣстно. Турецкіе плѣнные потребовали бѣлаго хлѣба, и имъ явился бѣлый хлѣбъ. Турецкіе плѣнные отказались работать. Князь Мещерскій—очевидецъ, повѣствуетъ въ своемъ „Дневникѣ“ съ Кавказа, что—

Плѣнные паши выѣхали изъ Тифлиса. Ихъ хотѣли везти на перекладныхъ, но они взбунтовались и изволили объявить, что не поѣдутъ, или не привязки къ русскимъ телѣгамъ. Вслѣдствіе этого, имъ поданы были почтовые кареты и рессорные экипажи, съ шестернями лошадей къ каждому экипажу. На это они изволили заявить свое удовольствіе и, вслѣдствіе огромнаго числа забранныхъ подъ нихъ лошадей, бѣдные проѣзжающіе по военно-грузинской дорогѣ будутъ сидѣть трое сутокъ безъ лошадей. А офицеру русской службы, сопровождающему ихъ, назначено 50 коп. суточныхъ, и посадили его не въ карету, а какъ сажаютъ прислугу въ omnibus! Все это гуманность! (*Москов. Вѣдом.* № 273).

То-есть не гуманность, а именно вотъ та самая деликатность передъ европейскимъ мнѣніемъ о насъ, чуткость, чувствительность: „Европа, дескать, на насъ глядитъ, надо, стало быть, въ полномъ мундирѣ быть и пашамъ кареты подать“.

Московскія Вѣдомости далѣе, въ другомъ своемъ, 282 номерѣ, передаютъ о цѣломъ воплѣ голосовъ въ Москвѣ, когда увидѣли москвичи всѣ тѣ неслыханныя удобства, съ которыми перевозятъ у насъ плѣнныхъ турокъ:

«Всѣ плѣнные рядовые были удобно размѣщены въ вагонахъ третьюю, офицеры второго класса, а паша занялъ купе первокласснаго вагона. Зачѣмъ для нихъ такія удобства? слышалось въ публикѣ. Нашихъ-то гренадеръ, небось, вывезли изъ Москвы въ лошадиныхъ вагонахъ, а для нихъ отпускаютъ особый пассажирскій поѣздъ.

— Чтѣ гренадеры, замѣчаетъ въ толпѣ какой-то купчикъ,—вотъ даже раненыхъ солдатиковъ возили въ товарныхъ вагонахъ и солонки подъ нихъ не успѣли подкладывать. А папа-то какой откормленный, что твой боровъ, въ товарный бы его, пусть бы съ него жиру немного побавилось.

— Тамъ-то раненыхъ нашихъ прирѣзывали, жили изъ нихъ тянули, медленнымъ огнемъ жгли, а теперь ихъ холятъ за то...

Такие голоса (замѣчаютъ далѣе *М. Вѣд.*) были не единичными, а ими выражалось общее въ народѣ мнѣніе о томъ, что больно ви-

дѣть, какъ баши-бузукъ и вся эта турецкая рвань, обобранная своими же собственными пашами, пользуется такими большими удобствами сравнительно съ нашими войнами...»

То-есть мы, собственно, ничего тутъ особаго не видимъ: деликатность или, такъ сказать, мундиръ деликатности передъ европейскимъ мнѣніемъ,—вотъ и все тутъ; но вѣдь это, такъ сказать, два вѣка у насъ продолжается, такъ ужъ пора попривыкнуть!

Дошло до анекдотовъ, то вотъ и еще анекдотъ. Отмѣтилъ я его въ *Петербургской Газетѣ*, а та взяла изъ письма господина В. Крестовскаго, писаннаго съ театра военныхъ дѣйствій, но куда не знаю. Откудава заимствовано *Петербургской Газетой*—тоже не вѣдаю. Говорится такъ:

«Въ письмѣ г. Крестовскаго приводится одинъ комическій фактъ: «Около свиты появился какой-то англичанинъ въ пробковомъ шлемѣ и статскомъ пальто гороховаго цвѣта. Говорятъ, что онъ членъ парламента, пользующійся вакаціоннымъ временемъ для составления корреспонденцій «съ мѣста военныхъ дѣйствій» въ одну изъ большихъ лондонскихъ газетъ (*Times*); другіе же увѣряютъ, что онъ просто любитель, а третьи, что онъ другъ Россіи. Пускай все это такъ, но нельзя не замѣтить, что этотъ «другъ Россіи» ведетъ себя нѣсколько эксцентрично: сидитъ, напримѣръ, въ присутствіи Великаго Князя въ то время, когда стоятъ всѣ, не исключая даже Его Высочества; за обѣдомъ встаетъ когда ему вздумается изъ-за стола гдѣ сидитъ Великій Князь и въ этотъ день обратился даже къ одному знакомому офицеру съ предложеніемъ затянуть на него въ рукава гороховое пальто. Офицеръ окинулъ его съ ногъ до головы нѣсколько удивленнымъ взглядомъ, улыбнулся слегка, пожалъ плечами и безпркословно помогъ одѣть пальто. Конечно, болѣе ничего и не оставалось сдѣлать. Англичанинъ въ отвѣтъ слегка приложился рукою къ своему пробковому шлему».

Петербургская Газета назвала этотъ фактъ комическимъ. Къ сожалѣнію, я ровно ничего въ немъ не вижу комическаго, а, напротивъ, очень много досаднаго и портящаго кровь. Къ тому же въ насъ какъ бы укрѣпилась съ дѣтства вѣра (изъ романовъ и изъ французскихъ водевилей, я думаю), что всякій англичанинъ чудакъ и эксцентрикъ. Но что такое: чудакъ? Не всегда же чудакъ или такой ужъ наивный человѣкъ, который и догадаться не можетъ, что на свѣтѣ не все же вѣдь одни и тѣ же порядки, какъ гдѣ-то тамъ у него въ углу. Англичане народъ очень, напротивъ, умный и весьма широкаго взгляда. Какъ мореплаватели, да еще просвѣщенные, они перевидали чрезвычайно много людей и порядковъ во всѣхъ странахъ міра. Наблюдатели они необыкновенные и даро-

витые. У себя они открыли юморъ, обозначили его особымъ словомъ и растолковали его человѣчеству. Такому ли человѣку, да еще члену парламента, не знать, гдѣ вставать, гдѣ сидѣть? Да нѣтъ страны, въ которой этикетъ имѣлъ бы большее приложеніе какъ въ Англіи. Придворный, напимѣръ, англійскій этикетъ, есть самый сложный и утонченный этикетъ въ мірѣ. Если этотъ англичанинъ членъ парламента, то, конечно, слишкомъ могъ научиться этикету изъ одного того уже, какъ одинъ парламентъ—нижній, сносится съ другимъ—вышшимъ. И, именно, въ томъ смыслѣ: кто передъ кѣмъ можетъ сидѣть, а кто передъ кѣмъ обязанъ вставать. Если онъ при этомъ и членъ высшаго общества, то опять-таки нигдѣ нѣтъ такого этикета, какъ на приемахъ, обѣдахъ, балахъ англійской аристократіи во время ихняго лондонскаго сезона. Нѣтъ, тутъ совсѣмъ другое, если судить по тому, какъ изложенъ анекдотъ. Тутъ англійская гордость, но не просто гордость, а съ *заносчивымъ вызовомъ*. Этотъ „другъ Россіи“ не можетъ быть большимъ ея другомъ. Онъ сидитъ, смотритъ на русскихъ офицеровъ и думаетъ: „Господа, я знаю, что вы львы сердцемъ, вы предпринимаете невозможное и исполняете его. Страха передъ врагомъ въ васъ нѣтъ, вы герои, вы баарды всѣ до одинаго и чувство чести вамъ знакомо вполне. Не могу же я не согласиться съ тѣмъ, что своими глазами вижу. Тѣмъ не менѣе я англичанинъ, а вы только русскіе; я европеецъ, а передъ Европой вы обязаны „деликатностью“. Какія бы вы львинья сердца ни носили въ себѣ, а я все-таки высшаго типа человѣкъ, чѣмъ вы. И мнѣ это очень пріятно, особенно пріятно изучать „деликатность“ вашу передо мной, *врожденную и неотразимую*, безъ которой русскій не можетъ смотрѣть на иностранца, тѣмъ болѣе на такого иностранца какъ я. Вы думаете, что это все мелочи; да мелочи-то и утѣшаютъ меня, весьма забавляютъ, я поѣхалъ прогуляться, я слышалъ, что вы герои, и пріѣхалъ посмотрѣть на васъ, но ворочусь все-таки съ убѣжденіемъ, что, какъ сынъ старой Англіи (тутъ у него дрожитъ отъ гордости сердце), я все-таки на свѣтѣ первый человѣкъ, а вы всего лишь второстепенные...“

Всего любопытнѣе въ вышеприведенномъ фактѣ послѣднія строки:

„Офицеръ окинулъ его съ ногъ до головы нѣсколько удивленнымъ взглядомъ, улыбнулся, слегка пожалъ пле-

чами и безпрекословно помочь одѣть пальто. Конечно, *бо-
ме ничего и не оставалось сдѣлать*“.

Какъ такъ: „конечно“? Почему болѣе *ничего* не оставалось сдѣлать? Напротивъ, именно можно было сдѣлать совершенно другое, обратно противоположное: можно было „окинуть его съ ногъ до головы нѣсколько удивленнымъ взглядомъ, улыбнуться слегка, пожать плечами“ и — отойти мимо, такъ-таки и не дотронувшись до пальто, — вотъ что можно было сдѣлать. Неужели нельзя было замѣтить, что просвѣщенный мореплаватель фокусничаетъ, что тончайшій знатокъ этикета ловить минуту удовольшенія мелочной своей гордости? То-то и есть, что нельзя было, можетъ быть, спохватиться въ тотъ мигъ, а помѣшала, именно, наша просвѣщенная „деликатность“ — не передъ англичаниномъ этимъ деликатность, не передъ членомъ этимъ парламента въ какомъ-то пробковомъ шлемѣ (какой такой пробковый шлем?), а передъ Европой деликатность, передъ долгомъ европейскаго просвѣщенія „деликатность“, въ которой мы выросли, погрязли до потери самостоятельной личности и изъ которой долго намъ не выкарабкаться.

Подвозъ патроновъ въ турецкую армію изъ Англіи и Америки колоссальный; достовѣрно теперь вполне, что турецкій солдатъ въ Плевнѣ тратитъ въ день иной разъ 500 патроновъ; ни средствъ, ни денегъ не могло быть у турокъ, чтобы такъ вооружить армію. Присутствіе англичанъ и ихъ денегъ въ теперешней войнѣ несомнѣнно. Ихніе пароходы доставляютъ оружіе и все необходимое. А у насъ инныя газеты наши кричатъ изъ „деликатности“: „Ахъ, не говорите этого; ахъ, не подымайте вы только этого, пусть мы не видимъ, пусть мы не слышимъ, а то просвѣщенные мореплаватели разсердятся и тогда“...

Да что же тогда? Чего вы трусите? Много бы можно еще прибавить на тему о „деликатности“.

Даже если есть какіе-нибудь тамъ вексельки и векселечки, выданные нами Европѣ, въ видѣ разныхъ общаній, еще передъ тѣмъ, какъ перешли мы Барбошский мостъ, то несомнѣнно и это должно было произойти изъ „деликатности“ нашей, изъ деликатности передъ Европой и передъ обаяніемъ ея. Но о „деликатности“ пока оставимъ. Я лишь припомню, что въ началѣ главы, начавъ о деликатности, я прибавилъ: „что вѣдь это всего только передъ Европой, а у себя-то мы всегда свое наворачиваемъ“.

Мнѣ хочется, именно, пользуясь случаемъ, указать, какъ иногда мы у себя наверстать умѣемъ, реваншъ возьмемъ...

II.

Самый лакейскій случай, какой только можетъ быть.

Помните ли, господа, какъ еще лѣтомъ, еще задолго до „Плевны“, мы вдругъ вошли въ Болгарію, явились за Балканами и онѣмѣли отъ негодованія. То-есть не всё, это первымъ дѣломъ надо заявить, даже далеко не половина, а гораздо меньше, — но все же вознегодовавшихъ было значительное число и раздались голоса. Голоса корреспондентовъ изъ арміи и потомъ, тотчасъ же, голоса въ нашей прессѣ, особенно въ петербургской. Это были горячіе голоса, убѣжденные, полные самаго добродѣтельнаго негодованія...

Все дѣло вышло изъ-за того, что обладатели голосовъ этихъ шли, какъ извѣстно всему міру и особенно намъ, спасать угнетенныхъ, униженныхъ, раздавленныхъ и измученныхъ. Еще до объявленія войны, я, помню, читалъ въ самыхъ серьезнѣйшихъ изъ нашихъ газетъ, при расчетѣ о шансахъ войны и необходимо предстоящихъ издержекъ, что, конечно, „вступивъ въ Болгарію, намъ придется кормить не только нашу армію, но и болгарское населеніе, умирающее съ голоду“. Я это самъ читалъ и могу указать гдѣ читалъ, и вотъ, послѣ такого-то понятія о болгаряхъ, объ этихъ угнетенныхъ, измученныхъ, за которыхъ мы пришли съ береговъ Финскаго залива и всѣхъ русскихъ рѣкъ отдавать свою кровь — вдругъ мы увидѣли прелестные болгарскіе домики, кругомъ нихъ садики, цвѣты, плоды, скотъ, обработанную землю, родящую чуть не сторицею, и, въ довершеніе всего, по три православныхъ церкви на одну мечеть, — это за вѣру-то угнетенныхъ! „Да какъ они смѣютъ!“ загорѣлось мгновенно въ обиженныхъ сердцахъ иныхъ освободителей, и кровь обиды залила ихъ щеки. „И къ тому же мы ихъ спасать пришли, стало-быть, они бы должны почти на колѣнкахъ встрѣчать. Но они не стоятъ на колѣнкахъ, они косятся, даже какъ будто и не рады намъ! Это намъ-то! Хлѣбъ-соль выносятъ, это правда, но косятся, косятся!..“

И поднялись голоса. Послушайте, господа, какъ вы думаете: вдругъ вы получаете или фальшивую или ложно понятую вами телеграмму о томъ, что близкій вамъ человѣкъ, другъ или братъ вашъ, лежитъ больной, гдѣ-то

тамъ ограбленъ, или подъ вагонъ попалъ, или что-нибудь въ этомъ родѣ. Вы бросаете всё дѣла ваши и мчитесь къ несчастному брату, — и вдругъ ничего не бывало: вы встрѣчаете человѣка, который здоровѣе васъ, сидитъ за столомъ и обѣдаетъ, съ крикомъ зоветъ васъ за столъ и хохочетъ о фальшивой вашей тревогѣ, о вышедшемъ *qui pro quo*. Любите вы, иль даже не очень любите этого человѣка, но неужели вы разсердитесь на него за то, что его не ограбили и что онъ не попалъ подъ вагонъ? Главное, за то, что у него такія красныя щеки и что онъ такъ исправно ѣстъ обѣдъ и пьетъ вино? Вѣдь неправда ли, что нѣтъ? Напротивъ, вѣдь вы порадоваться еще должны, что онъ живъ и здоровѣе вашего. Ну, конечно, по человѣчеству немножко и разсердитесь, — но вѣдь не за то же, что ему не перерѣзало колесами ноги? Вѣдь не пойдете же вы сейчасъ изъ-за стола писать о немъ корреспонденціи и анекдоты, чернить его характеръ, подмѣчать невыгодныя черты... Ну, а вѣдь про болгаръ это дѣлали. „У насъ, дескать, и зажиточный мужикъ такъ не питается, какъ этотъ угнетенный болгаринъ“. А другіе такъ вывели потомъ, что русскіе-то и причиной всѣхъ несчастій болгарскихъ: что не грозили бы мы прежде, не зная дѣла, за угнетеннаго болгарина туркѣ и не пришли бы потомъ освобождать этихъ „ограбленныхъ“ богачей, такъ жилъ бы болгаринъ до сихъ поръ какъ у Христа за пазухой. Это и теперь еще утверждаютъ.

Я только съ той стороны говорю, что нашу „деликатность“ передъ Европой и нашъ просвѣщенный европеизмъ мы таки умѣемъ иногда наверстать по-своему у себя дома, гдѣ Европа не видитъ уже насъ и не смотритъ, да и по-русски не понимаетъ. А Болгарія—это вѣдь *дома*. Мы ихъ освобождать пришли, значить, все равно, что къ *себѣ* пришли, они *наши*. У него тамъ садъ и имѣніе, такъ вѣдь это имѣніе все равно, что мое; я, конечно, не возьму у него ничего, потому что я благородный человѣкъ, да, правда, и власти не имѣю, но все же онъ долженъ *чувствовать* и навѣки быть благодарнымъ, потому что разъ я къ нему вошелъ, — все чтò у него есть это все равно, что я ему *подарилъ*. Отнял у его угнетателя турка, а ему возвратилъ. Долженъ же онъ понимать это... А тутъ вдругъ его никто и не угнетаетъ — какая обидная неприятность, неправда ли?

А какое лакейство вмѣсто просвѣщенной-то деликатно-

сти, не правда ли? И какой смѣшной случай! Это самое комическое изъ наверетаній *своего* „у себя дома“ за тяготу неловкаго мундира европейской деликатности, въ которомъ мы щеголяемъ передъ Европой. Самый лакейскій случай случился съ этими пылкими господами и засталъ *довольно многихъ* изъ насъ совсѣмъ врасплохъ. Это уже посерьезнѣе, чѣмъ врасплохъ подать пальто англичанину.

Потомъ все обнаружилось и истина открылась многимъ изъ вознегодовавшихъ, хотя не всѣмъ, до сихъ поръ не всѣмъ. Обнаружилось, во-первыхъ, что болгаринъ ничѣмъ не виноватъ въ томъ, что онъ трудолюбивъ и что земля его родить во сто кратъ. Во-вторыхъ, въ томъ, что и „косился“, онъ не виноватъ. Взять ужъ одно то, что онъ четыре столѣтія — рабъ, и, встрѣчая новыхъ господъ, не вѣрить, что они ему братья, а вѣрить только, что они ему новые господа, да сверхъ того еще боится прежнихъ господъ, тяжело про себя думаетъ: „А ну, какъ тѣ опять вернутся да узнаютъ, что я хлѣбъ-соль подносилъ?“ Ну, вотъ отъ этихъ-то внутреннихъ вопросовъ онъ и косился — и вѣдь правъ былъ, вполнѣ угадалъ, бѣдняжка: послѣ того какъ мы, совершивъ нашъ первый, молодецкій натискъ за Балканы, вдругъ отретировались, — пришли вѣдь къ нимъ опять турки, и что только имъ отъ нихъ было — теперь уже достояніе всемірной исторіи! Эти красивые домики, эти посѣвы, сады, скотъ — все это было разграблено, обращено въ пепель и стерто съ лица земли. Не десятками и не сотнями, а тысячами и десятками тысячъ истреблялись болгары огнемъ и мечомъ, дѣти ихъ разрывались на части и умирали въ мукахъ, обезчещенныя жены и дочери были или избиты послѣ позора, или уведены въ плѣнъ на продажу, а мужья, — вотъ тѣ самые, которые встрѣчали русскихъ, да сверхъ того и тѣ самые, которые никогда не встрѣчали русскихъ, но къ которымъ *могли* когда-нибудь придти русскіе, всѣ они заплатились за русскихъ на висѣлицахъ и на кострахъ. Ихъ прибывали мучившіе ихъ скоты на ночь за уши гвоздями къ забору, а на утро вѣшали всѣхъ до одинаго, заставляя одного изъ нихъ вѣшать прочихъ, и онъ, повѣсивъ десятка два виновныхъ, кончалъ тѣмъ, что самъ обязанъ былъ повѣситься въ заключеніе при общемъ смѣхѣ мучившихъ ихъ, сладострастныхъ къ мученіямъ скотовъ, называемыхъ турецкою націей и которыми столь восхищались потомъ инныя изъ деликатнѣйшихъ барынь нашихъ...

НВ. (Кстати, еще недавно, уже въ половинѣ ноября, писали изъ Пиргоса о новыхъ звѣрствахъ этихъ изверговъ. Когда, во время горлчей бывшей тамъ стычки, турки временно отгѣснили нашихъ такъ, что мы не успѣли захватить нашихъ раненыхъ солдатъ и офицеровъ, и когда потомъ, въ тотъ же день къ вечеру, опять наши воротились на прежнее мѣсто, то нашли своихъ раненыхъ солдатъ и офицеровъ обкраденными, голыми, съ отрѣзанными носами, ушами, губами, съ вырѣзанными животами, и, наконецъ, обгорѣлыми въ сожженныхъ турками скирдахъ соломы и хлѣба, куда они предварительно перенесли живыхъ нашихъ раненыхъ. Репрессалии, конечно, жестокая вещь, тѣмъ болѣе, что въ сущности ни къ чему не ведутъ, какъ и сказалъ уже я въ одномъ изъ предыдущихъ выпусковъ „Дневника“, но строгость съ начальствомъ этихъ скотовъ была бы не лишнею. Можно бы прямо объявить, вслухъ и даже на всю Европу — (прусаки навѣрно бы сдѣлали такъ, потому что они даже съ французами такъ точно дѣлали по причинамъ въ десять разъ меньше уважительнымъ, чѣмъ тѣ, которыя имѣемъ мы противъ воюющихъ съ нами скотовъ), — что если усмотрятся совершенныя звѣрства, то ближайшіе начальники тѣхъ турокъ, которые совершили звѣрства, въ случаѣ взятія ихъ въ плѣнъ, будутъ судимы на мѣстѣ военнымъ судомъ и подвержены смертной казни разстрѣляніемъ. Это можетъ быть и имѣло бы нѣкоторое вліяніе на офицеровъ и пашей турецкихъ (НВ. мнѣ кажется, всегда можно бы было узнать, сейчасъ или потомъ, кто изъ турецкихъ начальниковъ командовалъ, напимѣръ, атакой у Пиргоса). Такой сюрпризъ, вмѣсто рессорныхъ экипажей, можетъ-быть, вразумилъ бы многихъ изъ нихъ. Теперь же этотъ самый „начальникъ“, попавшись въ плѣнъ и видя какъ его встрѣчаютъ послѣ звѣрствъ его, прямо воображаетъ, что онъ безмѣрно выше „поганаго русскаго“. Европейской деликатности нашей и страху нашему передъ Европой, повѣрьте, этотъ турокъ никогда не повѣритъ, да и не пойметъ этого вовсе, да и не вообразитъ этой причины вовсе. Деликатный страхъ передъ Европой есть чисто русское дѣло и изобрѣтеніе и не можетъ быть понятъ никогда и никѣмъ. А потому, „если ты такъ кланяешься мнѣ“, рассуждаетъ турецкій начальникъ, „послѣ того, какъ я, можетъ-быть, брату твоему родному вчера еще носъ отрѣзать позволилъ, то, значить, ты самъ чув-

ствуешь себя передо мною низшимъ, а меня высшимъ передъ собой человѣкомъ. Но точно такъ и должно быть, по волѣ Аллаха, и нѣтъ тутъ ничего удивительнаго!“ Вотъ чтò долженъ думать про себя плѣнный турецкій паша, и непременно такъ думаетъ).

Такимъ образомъ, когда вознегодовавшіе на болгаръ за то, что они хорошо живутъ, дожили до печальной съ ними развязки, то поневолѣ поняли, что болгарская жизнь въ сущности всего только одна декорация, что всѣ эти дома и садики, и жены, и дѣти, и несовершеннолѣтніе мальчики и дѣвочки въ этихъ домахъ, все это въ сущности принадлежитъ турку и берется имъ, когда онъ захочетъ. Онъ и беретъ, и въ мирное время беретъ, и во время процвѣтанія беретъ, беретъ и деньгами и скотами, и женами и дѣвочками, и если сверхъ того все продолжало оставаться въ цвѣтущемъ видѣ, то это потому только, что турокъ не хотѣлъ разрушать въ конецъ такую плодородную ниву, имѣя въ виду и впредь почерпать съ нея. Напротивъ, позволялъ временемъ и мѣстами полное процвѣтаніе, именно для того, чтобъ въ свое время почерпать и почерпать...

Теперь, конечно, турки разсвирѣпѣли и истребляютъ Болгарію въ конецъ. Они жалѣютъ, что не истребили вовсе. Если мы возьмемъ Плевно и замедлимъ двинуться далѣе, то турки, видя, что, можетъ-быть, придется проститься навѣки съ Болгаріей, истребятъ все, чтò только можно въ ней истребить, пока есть еще время. Замѣчательны два мнѣнія: у насъ утверждаютъ мудрые до сихъ поръ, что безъ вмѣшательства русскихъ болгаринъ жилъ бы какъ у Христа за пазухой, и что русскіе — причина всѣхъ его несчастій. А вотъ извѣстный своими прекрасными и обстоятельными статьями съ поля битвы, изъ нашего лагеря, англичанинъ Форбесъ, корреспондентъ газеты *Daily News*, кончилъ тѣмъ, что высказалъ наконецъ всю свою англійскую правду откровенно. Онъ искренно признаетъ, что турки имѣли „полное право“ истребить все болгарское населеніе къ сѣверу отъ Балканъ, въ то время, когда русская армія перешла черезъ Дунай. Форбесъ почти жалѣетъ (политически, конечно), что этого не случилось, и выводитъ, что болгаре должны быть обязаны вѣчною благодарностью туркамъ за то, что тѣ ихъ тогда не прирѣзали всѣхъ поголовно, какъ барановъ. Вспомнивъ наше

русское мнѣніе о „болгаринѣ какъ у Христа за пазухой“ и сопоставивъ его съ мнѣніемъ Форбеса, можно прямо обратиться къ болгарину съ такимъ увѣщаніемъ: „какъ же ты послѣ того не у Христа за пазухой, если тебя поголовно всего не прирѣзали?“ Но странно тутъ и еще одно, и въ глаза бросается, и въ исторіи останется: „неужели, въ самомъ дѣлѣ, такое право турковъ можетъ такъ спокойно и безмятежно признавать столь образованный, какъ Форбесъ, членъ столь просвѣщенной и великой націи, какъ Англія? Неужели это послѣдніе пвѣты и плоды англійской цивилизаціи? Но, замѣьте себѣ, онъ конечно бы такъ не выразился, если бъ вмѣсто болгаръ дѣло шло о французахъ или объ итальянцахъ. Онъ потому только выразился такъ, что это были всего только славяне-болгары. Какое же послѣ этого у нихъ у всѣхъ въ Европѣ родовое, кровавое презрѣніе къ славянамъ и славянскому племени! Считаются все равно, что за собакъ! Допускается возможность и разумность прирѣзать всѣхъ до одинаго, все племя, съ женами и дѣтьми. И замѣйте еще (это очень важно), это не графъ Бивонсфильдъ говоритъ: тотъ можетъ выразить такія же разбойничьи и звѣрскія убѣжденія, принужденный къ тому политикой, „англійскими интересами“, а вѣдь Форбесъ—частный человекъ, не государственный, на котораго соблюденіе интересовъ Англіи *во что бы то ни стало и чего бы то ни стоило* не возложено, да еще человекъ-то какой: честный, талантливый, правдивый, гуманный по прежнимъ письмамъ своимъ. Тутъ именно, именно причиною какая-то западно-европейская гадливость ко всему, что носить имя славянства. Этихъ болгаръ можно заваривать кипяткомъ, какъ гнѣзда клоповъ въ старушечьихъ деревянныхъ кроватяхъ! Нѣтъ ли тутъ именно какого-нибудь инстинкта, предчувствія, что всѣ эти славянскія восточныя племена, освободясь, займутъ когда-нибудь огромную роль въ новомъ грядущемъ человечествѣ, вмѣсто сбившейся съ праваго пути старой цивилизаціи, и станутъ на ея мѣсто? Сознательно западные люди, конечно, это не могутъ теперь представить, и допустить даже, точно такъ же какъ нельзя имъ представить гнѣзда клоповъ—за что-то высшее и грядущее смѣнить ихъ. Но тутъ Россія, тутъ, очевидно, поднята идея совершенно новая всѣмъ на соблазнъ, на гнѣвъ и удивленіе, тутъ показалось уже знамя будущаго, а такъ какъ Россія не „гнѣздо клоповъ“, какъ для нихъ болгары, а

гигантъ и сила, не признать которую невозможно, и такъ какъ Россія тоже славянская нація, то какъ, должно-быть, эти западные люди ненавидятъ теперь и Россію въ сердцахъ своихъ даже инстинктивно, безотчетно, радуясь всякому ея неусиѣху и всякой бѣдѣ ея! Именно тутъ инстинктъ, тутъ предчувствіе будущаго...

III.

Одно совѣмъ особое слово о славянахъ, которое мнѣ давно хотѣлось сказать.

Кстати, скажу одно *особое* слово о славянахъ и о славянскомъ вопросѣ. И давно мнѣ хотѣлось сказать его. Теперь же именно заговорили вдругъ у насъ всѣ о скорой возможности мира, т.-е., стало-быть, о скорой возможности хоть сколько-нибудь разрѣшить и славянской вопросъ. Дадимъ же волю нашей фантазіи и представимъ вдругъ, что все дѣло кончено, что настояніями и кровью Россіи славяне уже освобождены, мало того, что турецкой имперіи уже не существуетъ и что Балканскій полуостровъ свободенъ и живетъ новою жизнью. Разумѣется, трудно предречь, въ какой именно формѣ, до послѣднихъ подробностей, явится эта свобода славянъ хоть на первый разъ, — то-есть, будетъ ли это какая-нибудь федерація между освобожденными мелкими племенами (NB. федерація, кажется, еще очень, очень долго не будетъ), или явятся небольшія отдѣльныя владѣнія въ видѣ маленькихъ государствъ, съ призванными изъ разныхъ владѣтельныхъ домовъ государями? Нельзя также представить: расширится ли, наконецъ, въ границахъ своихъ Сербія, или Австрія тому воспрепятствуетъ, въ какомъ объемѣ явится Болгарія, что станется съ Герцеговиной, Босніей, въ какія отношенія станутъ съ новоосвобожденными славянскими народцами, на примѣръ, румыны, или греки даже, — константинопольскіе греки и тѣ, другіе, аеинскіе греки? Будутъ ли, наконецъ, всѣ эти земли и землицы вполнѣ независимы, или будутъ находиться подъ покровительствомъ и надзоромъ „европейскаго концерта державъ“, въ томъ числѣ и Россіи (я думаю, сами эти народики всѣ непременно выпросятъ себѣ европейскій концертъ, хоть вмѣстѣ съ Россіей, но единственно въ видѣ покровительства ихъ отъ властолюбія Россіи) — все это невозможно рѣшить заранѣе въ точности и я не берусь разрѣшать. Но, однако, возможно и теперь — навѣрно знать

двѣ вещи: 1) что скоро или опять не скоро, а всѣ славянскія племена Балканскаго полуострова непремѣнно въ концѣ концовъ освободятся отъ ига турокъ и заживутъ новою, свободною и, можетъ-быть, независимою жизнью и 2) . . . Вотъ это-то второе, что навѣрно, вѣрнѣйшимъ образомъ случится и сбудется, мнѣ и хотѣлось давно высказать.

Именно, это второе состоитъ въ томъ, что, по внутреннему убѣжденію моему, самому полному и непреодолимому, — не будетъ у Россіи, и никогда еще не было, такихъ ненавистниковъ, завистниковъ, клеветниковъ и даже явныхъ враговъ, какъ всѣ эти славянскія племена, чуть только ихъ Россія освободитъ, а Европа согласится признать ихъ освобожденными! И пусть не возражаютъ мнѣ, не оспариваютъ, не кричатъ на меня, что я преувеличиваю и что я ненавистникъ славянъ! Я, напротивъ, очень люблю славянъ, но я и защищаться не буду, потому что знаю, что все точно такъ именно сбудется, какъ я говорю, и не по низкому, неблагодарному, будто бы, характеру славянъ, совсѣмъ нѣтъ, — у нихъ характеръ въ этомъ смыслѣ какъ у всѣхъ, — а потому, что *такія вещи* на свѣтѣ иначе и происходятъ не могутъ. Распространяться не буду, но знаю, что намъ отнюдь не надо требовать съ славянъ благодарности, къ этому намъ надо приготовить впередъ. Начнутъ же они, по освобожденіи, свою новую жизнь, повторяю, именно съ того, что выпросятъ себѣ у Европы, у Англій и Германіи, напримѣръ, ручательство и покровительство ихъ свободѣ, и хоть въ концертѣ европейскихъ державъ будетъ и Россія, но они именно въ защиту отъ *Россіи* это и сдѣлаютъ. Начнутъ они непремѣнно съ того, что внутри себя, если не прямо вслухъ, объявятъ себѣ и убѣдятъ себя въ томъ, что Россіи они не обязаны ни малѣйшею благодарностью, напротивъ, что отъ властолюбія Россіи они едва спаслись при заключеніи мира вмѣшательствомъ европейскаго концерта, а не вмѣшайся Европа, такъ Россія, отнявъ ихъ у турокъ, проглотила бы ихъ тотчасъ же, „имѣя въ виду расширеніе границъ и основаніе великой Всеславянской имперіи на пораженіи славянъ жадному, хитрому и варварскому великорусскому племени“. Долго, о, долго еще они не въ состояніи будутъ признать безкорыстія Россіи и великаго, святаго, неслыханнаго въ мірѣ поднятія ея знамени величайшей идеи, изъ тѣхъ идей, которыми живъ человѣкъ

и безъ которыхъ человѣчество, если эти идеи перестанутъ жить въ немъ—коченѣеть, калѣчится и умираетъ въ язвахъ и въ безсиліи. Нынѣшнюю, напимѣръ, всенародную русскую войну, всего русскаго народа, съ Царемъ во главѣ, подъятую противъ изверговъ за освобожденіе несчастныхъ народностей,—эту войну поняли ли, наконецъ, славяне теперь, какъ вы думаете? Но о теперешнемъ моментѣ я говорить не стану, къ тому же мы еще нужны славянамъ, мы ихъ освобождаемъ, но потомъ, когда освободимъ и они кое-какъ устроятся — признаютъ они эту войну за великій подвигъ, предпринятый для освобожденія ихъ, рѣшите-ка это? Да ни за что на свѣтѣ не признаютъ. Напротивъ, выставляютъ какъ политическую, а потомъ и научную истину, что не будь во всѣ эти сто лѣтъ освободительницы-Россіи, такъ они бы давнымъ-давно сами сумѣли освободиться отъ турокъ, своею доблестью или помощію Европы, которая, опять-таки не будь на свѣтѣ Россіи, не только бы не имѣла ничего противъ ихъ освобожденія, но и сама освободила бы ихъ. Это хитрое ученіе навѣрно существуетъ у нихъ уже и теперь, а впоследствии оно неминуемо разовьется у нихъ въ научную и политическую аксіому. Мало того, даже о туркахъ стануть говорить съ большимъ уваженіемъ, чѣмъ объ Россіи. Можетъ-быть, цѣлое столѣтіе, или еще болѣе они будутъ непрерывно трепетать за свою свободу и бояться властолюбія Россіи; они будутъ заискивать передъ европейскими государствами, будутъ клеветать на Россію, сплетничать на нее и интриговать противъ нея. О, я не говорю про отдѣльныя лица; будутъ такіе, которые поймутъ, что значила, значить и будетъ значить Россія для нихъ всегда. Они поймутъ все величіе и всю святость дѣла Россіи и великой идеи, знамя которой поставитъ она въ человѣчествѣ. Но люди эти, особенно вначалѣ, явятся въ такомъ жалкомъ меньшинствѣ, что будутъ подвергаться насмѣшкамъ, ненависти и даже политическому гоненію. Особенно пріятно будетъ для освобожденныхъ славянъ высказать и трубить на весь свѣтъ, что они племена образованныя, способныя къ самой высшей европейской культурѣ, тогда какъ Россія страна варварская, мрачный сѣверный колоссъ, даже не чистой славянской крови, гонитель и ненавистникъ европейской цивилизаціи. У нихъ, конечно, явится, съ самаго начала, конституціонное управление, парламенты, отвѣтственные министры, ораторы, рѣчи. Ихъ будетъ это

чрезвычайно утѣшать и восхищать. Они будутъ въ упоеніи, читая о себѣ въ парижскихъ и въ лондонскихъ газетахъ телеграммы, извѣщающія весь міръ, что, послѣ долгой парламентской бури, пало наконецъ министерство въ Болгаріи и составилось новое изъ либеральнаго большинства, и что какой-нибудь ихній Иванъ Чифтликъ согласился наконецъ принять портфель президента совѣта министровъ. Россіи надо серьезно приготовиться къ тому, что всѣ эти освобожденные славяне съ упоеніемъ ринутся въ Европу, до потери личности своей заразятся европейскими формами, политическими и социальными, и такимъ образомъ должны будутъ пережить цѣлый и длинный періодъ европеизма, прежде чѣмъ постигнуть хоть что-нибудь въ своемъ славянскомъ значеніи и въ своемъ особомъ славянскомъ призваніи въ средѣ человѣчества. Между собой эти землицы будутъ вѣчно ссориться, вѣчно другъ другу завидовать и другъ противъ друга интриговать. Разумѣется, въ минуту какой-нибудь серьезной бѣды, они всѣ непременно обратятся къ Россіи за помощью. Какъ ни будутъ они ненавистничать, сплетничать и клеветать на насъ Европѣ, заигрывая съ нею и увѣряя ее въ любви, но чувствовать — то они всегда будутъ инстинктивно (конечно, въ минуту бѣды, а не раньше), что Европа естественный врагъ ихъ единству, была имъ и всегда останется, а что если они существуютъ на свѣтѣ, то, конечно, потому, что стоитъ огромный магнитъ — Россія, которая, неодолимо притягивая ихъ всѣхъ къ себѣ, тѣмъ сдерживаетъ ихъ цѣлостъ и единство. Будутъ даже и такія минуты, когда они будутъ въ состояніи почти уже сознательно согласиться, что не будь Россіи, великаго восточнаго центра и великой влекущей силы, то единство ихъ мигомъ бы развалилось, разсѣялось въ клочки и даже такъ, что самая національность ихъ исчезла бы въ европейскомъ океанѣ, какъ исчезаютъ нѣсколько отдѣльных капель воды въ морѣ. Россіи надолго достанется тоска и забота мирить ихъ, вразумлять ихъ и даже, можетъ быть, обнажать за нихъ мечъ при случаѣ. Разумѣется, сейчасъ же представляется вопросъ: въ чемъ же тутъ выгода Россіи, изъ-за чего Россія билась изъ-за нихъ сто лѣтъ, жертвовала кровью своею, силами, деньгами? Неужто изъ-за того, чтобъ позать столько маленькой смѣшной ненависти и неблагодарности? О, конечно, Россія все же всегда будетъ сознавать, что центръ славянскаго един-

ства — это она, что если живутъ славяне свободно національною жизнью, то потому, что этого захотѣла и хочетъ она, что совершила и создала все она. Но какую же выгоду доставить Россіи это сознание, кромѣ трудовъ, досадъ и вѣчной заботы?

Отвѣтъ теперь труденъ и не можетъ быть ясенъ.

Во-первыхъ, у Россіи, какъ намъ всѣмъ извѣстно, и мысли не будетъ, и быть не должно никогда, чтобы расширить на счетъ славянъ свою территорію, присоединить ихъ къ себѣ политически, надѣлать изъ ихъ земель губерній и проч. Всѣ славяне подозрѣваютъ Россію въ этомъ стремленіи даже теперь, равно какъ и вся Европа, и будутъ подозрѣвать еще сто лѣтъ впередъ. Но да сохранить Богъ Россію отъ этихъ стремлений, и чѣмъ болѣе она выкажетъ самага полнаго политическаго безкорыстія относительно славянъ, тѣмъ вѣрнѣе достигнетъ объединенія ихъ около себя впослѣдствіи, въ вѣкахъ, сто лѣтъ спустя. Доставивъ, напротивъ, славянамъ съ самага начала какъ можно болѣе политической свободы и устранивъ себя даже отъ всякаго опекуинства и надзора надъ ними, и объявивъ имъ только, что она всегда обнажить мечъ на тѣхъ, которые посягнуть на ихъ свободу и національность, Россія тѣмъ самымъ избавитъ себя отъ страшныхъ заботъ и хлопотъ поддерживать *силою* это опекуинство и политическое вліяніе свое на славянъ; имъ, конечно, ненавистное, а Европѣ всегда подозрительное. Но выказавъ полнѣйшее безкорыстіе, тѣмъ самымъ Россія и побѣдитъ, и привлечетъ, наконецъ, къ себѣ славянъ; сначала въ бѣдѣ будутъ прибѣгать къ ней, а потомъ, когда-нибудь воротятся къ ней и *примнутъ* къ ней всѣ, уже съ полной, съ дѣтской довѣренностью. Всѣ воротятся въ родное гнѣздо. О, конечно, есть разныя ученныя и политическія даже воззрѣнія и теперь въ средѣ многихъ русскихъ. Эти русскіе ждуть, что новыя, освобожденныя и воскресшія въ новую жизнь славянскія народности съ того и начнутъ, что прильнуть къ Россіи какъ къ родной матери и освободительницѣ и что несомнѣнно и въ самомъ скоромъ времени принесутъ много новыхъ и еще неслыханныхъ элементовъ въ русскую жизнь, расширятъ славянство Россіи, душу Россіи, повліяютъ даже на русскій языкъ, литературу, творчество, обогатятъ Россію духовно и укажутъ ей новые горизонты. Признаюсь, мнѣ всегда казалось это у насъ лишь учеными увлеченіями;

правда же въ томъ, что, конечно, что-нибудь произойдетъ въ этомъ родѣ несомнѣнно, но не ранѣе ста, напримѣръ, лѣтъ, а пока, и можетъ быть, еще цѣлый вѣкъ, Россіи вовсе нечего будетъ брать у славянъ ни изъ идей ихъ, ни изъ литературы, и чтобъ учить насъ всѣ они страшно не доросли. Напротивъ, весь этотъ вѣкъ, можетъ быть, придется Россіи бороться съ ограниченностью и упорствомъ славянъ, съ ихъ дурными привычками, съ ихъ несомнѣнной и близкой измѣной славянству ради европейскихъ формъ политическаго и соціальнаго устройства, на которыя они жадно накинута. Послѣ разрѣшенія славянскаго вопроса, Россіи, очевидно, предстоитъ окончательное разрѣшеніе восточнаго вопроса. Долго еще не поймутъ теперешніе славяне, чтò такое восточный вопросъ! Да и славянскаго единенія въ братствѣ и согласіи они не поймутъ тоже очень долго. Объяснять имъ это непрерывно, дѣломъ и великимъ примѣромъ, будетъ всегдашней задачей Россіи впредь. Опять-таки скажутъ: для чего это все наконецъ, и зачѣмъ брать Россіи на себя такую работу? Для чего: для того, чтобъ жить вышею жизнью, великою жизнью, свѣтить міру великой безкорыстной и чистой идеей, воплотить и создать въ концѣ концовъ великій и мощный организмъ братскаго союза племенъ, создать этотъ организмъ не политическимъ насилиемъ, не мечемъ, а убѣжденіемъ, примѣромъ, любовью, безкорыстіемъ, свѣтомъ; вознести, наконецъ, всѣхъ малыхъ сихъ до себя и до понятія ими материнскаго ея призванія—вотъ цѣль Россіи, вотъ и выгоды ея, если хотите. Если націи не будутъ жить высшими, безкорыстными идеями и высшими цѣлями служенія человѣчеству, а только будутъ служить однимъ своимъ „интересамъ“, то погибнутъ эти націи несомнѣнно, окоченѣютъ, обезсилѣютъ и умрутъ. А выше цѣлей нѣтъ, какъ тѣ, которыя поставитъ передъ собой Россія, служа славянамъ безкорыстно и не требуя отъ нихъ благодарности, служа ихъ нравственному (а не политическому лишь) воссоединенію въ великое цѣлое. Тогда только скажетъ всеславянство свое новое цѣлительное слово человѣчеству... Выше такихъ цѣлей не бываетъ никакихъ на свѣтѣ. Стало быть, и „выгоднѣе“ ничего не можетъ быть для Россіи, какъ имѣть всегда передъ собой эти цѣли, все болѣе и болѣе уяснять ихъ себѣ самой, и все болѣе и болѣе возвышаться духомъ въ этой вѣчной, неустанной и доблестной работѣ своей для человѣчества.

Будь окончаніе нынѣшней войны благополучно—и Россія несомнѣнно войдетъ въ новый и высшій фазисъ своего бытія...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

I.

Толки о мирѣ. „Константинополь долженъ быть нашъ“ — возможно ли это? Разныя мнѣнія.

А про окончаніе войны всѣ вдругъ начали толковать, не только въ Европѣ, но и у насъ. Всѣ пустились дебатировать вѣроятныя условія мира. Приятно то, что даже большинство нашихъ политическихъ газетъ, болѣе или менѣе, но вѣрно цѣнить теперь труды, кровь и усиліе Россіи, и условія мира предполагаетъ по возможности въ размѣрахъ этихъ усилій. Утѣшительно особенно то, что большинство судящихъ начинаетъ признавать и самостоятельность Россіи въ виду грядущихъ несомнѣнныхъ европейскихъ вмѣшательствъ при заключеніи мира, и право ея заключить миръ сепаратный, личный, не призывая Европы и даже не очень внимая ей, если будетъ возможно. Участъ славянъ берется тоже въ расчетъ. Толкуютъ о вознагражденіяхъ, съ большимъ жаромъ требуютъ желѣзныхъ турецкихъ мониторовъ. На присоединеніе Карса, Эрзерума и на право наше присоединить ихъ къ себѣ многіе изъявили полное согласіе.

Есть люди, которые, впрочемъ, до сихъ поръ обижаются даже предположеніемъ, что мы что-нибудь смѣемъ присоединить въ родѣ Карса. Зато есть, наконецъ, и такіе, которые толкуютъ даже о Константинополѣ, не то что о Карсѣ и о томъ, что Константинополь долженъ быть нашъ. Эти толки и разсужденія о мирѣ и объ условіяхъ мира будутъ теперь повторяться неустанно, послѣ каждаго крупнаго нашего военнаго дѣйствія. Мнѣ хочется только замѣтить, что во всѣхъ этихъ теперешнихъ сужденіяхъ нашихъ органовъ (или почти) кроется какъ будто какой-то, не то что промахъ, а недосмотръ. Именно, всѣ считаютъ Европу... Европой, то-есть такой же Европой, какою была она съ разными варіаціями во все столѣтіе,—т.-е. тѣ же почти великія державы принимаютъ, то же политическое равновѣсіе имѣется въ виду и проч. Между тѣмъ какъ Европа съ часу на часъ не та становится теперь, что была даже назадъ тому полгода, и даже до того, что за

три мѣсяца впередъ ручаться теперь невозможно—до того можетъ измѣниться даже къ будущей веснѣ прежній ликъ ея. Колоссальные роковые текущіе факты, которые должны сформироваться и потребовать разрѣшенія очень можетъ быть скоро, берутся въ расчетъ какъ бы все еще не въ тѣхъ размѣрахъ, въ которыхъ они существенно должны предстать передъ міромъ. Даже составъ той Европы, которая можетъ вмѣшаться въ наши дѣла при заключеніи мира, трудно опредѣлить теперь безошибочно. А потому и толковать объ условіяхъ мира лишь на прежнихъ данныхъ, недостаточно оцѣняя того, что всѣ эти прежнія данныя—двинулись сами съ мѣста, текутъ, улечучиваются, ждутъ сами новыхъ опредѣленій—мнѣ кажется, будетъ тоже ошибочно... А впрочемъ объ этомъ потомъ. Теперь же, такъ какъ уже зашла рѣчь о Константинополѣ, мнѣ хочется мимоходомъ отмѣтить одно очень странное и почти неожиданное для меня мнѣніе о ближайшихъ „судьбахъ Константинополя“, выраженное человѣкомъ, отъ котораго можно было ожидать совсѣмъ другого рѣшенія въ виду теперешнихъ совершившихся и несомнѣнно имѣющихъ совершиться событій. Николлай Яковлевичъ Данилевскій, написавшій восемь лѣтъ тому назадъ превосходную книгу „Россія и Европа“, въ которой есть лишь одна неясная и нетвердая глава, именно о будущей судьбѣ Константинополя, напечаталъ недавно въ газетѣ *Русскій Миръ* рядъ статей о томъ же самомъ предметѣ. Окончательный выводъ его о Константинополѣ очень оригиналенъ.

Я, впрочемъ, не буду разбирать во всей подробности.

Послѣ превосходныхъ и вѣрныхъ разсужденій, напримѣръ, о томъ, что Константинополь, по изгнаніи турокъ, отнюдь не можетъ стать вольнымъ городомъ, въ родѣ какъ, напримѣръ, прежде Браговъ, не рискуя сдѣлаться гнѣздомъ всякой гадости, интриги, убѣжищемъ всѣхъ заговорщиковъ всего міра, добычей жидовъ, спекулянтовъ и проч., и проч.,—Н. Я. Данилевскій рѣшаетъ, что Константинополь долженъ когда-нибудь стать общимъ городомъ всѣхъ восточныхъ народностей. Всѣ народы будутъ-де владѣть имъ на равныхъ основаніяхъ, вмѣстѣ съ русскими, которые тоже будутъ допущены ко владѣнію имъ на основаніяхъ равныхъ съ славянами. Такое рѣшеніе, по-моему, удивительно. Какое тутъ можетъ быть сравненіе между русскими славянами? И это это будетъ устанавливать между ними равенство? Какъ можетъ Россія участвовать

во владѣніи Константинополемъ на *равныхъ* основаніяхъ со славянами, если Россія имъ неравна во всѣхъ отношеніяхъ—и каждому народцу порознь, и всѣмъ имъ вмѣстѣ взятымъ? Великанъ Гуливеръ могъ бы, если бъ захотѣлъ, увѣрять дилипутовъ, что онъ имъ во всѣхъ отношеніяхъ равенъ, но вѣдь это было бы, очевидно, нелѣпо. Зачѣмъ же напускать на себя нелѣпость, до того, чтобъ вѣрять ей самому и насильно? Константинополь долженъ быть *нашъ*, завоеванъ *нами*, русскими, у турокъ и остаться нашимъ навѣки. Однимъ намъ онъ долженъ принадлежать, а мы, конечно, владѣя имъ, можемъ допустить въ него и всѣхъ славянъ и кого захотимъ еще сверхъ того, на самыхъ широкихъ основаніяхъ, но это уже будетъ не федеративное владѣніе вмѣстѣ со славянами городомъ. Да взята уже то, что вы федеративнаго соединенія славянъ между собою еще цѣлый вѣкъ не добьетесь. Россія будетъ владѣть лишь Константинополемъ и его необходимымъ округомъ, равно Босфоромъ и проливами, будетъ содержать въ немъ войско, укрѣпленія и флотъ, а такъ должно быть еще долго, долго. О, подхватятъ и закричатъ многие: „стало-быть, служеніе-то Россіи славянскому дѣлу, видно, было не столь безкорыстно!“ На это легко отвѣчать, именно тѣмъ, что служеніе Россіи славянамъ теперь еще не окончится, а будетъ еще продолжаться въ вѣкахъ, что ею только, и великой центральной силой ея, славяне и будутъ на свѣтѣ жить; что за такое служеніе никогда и ничѣмъ нельзя будетъ заплатить, а что если и займетъ теперь Россія Константинополь, то единственно потому, что у ней, въ задачахъ ея и въ назначеніи ея, есть кромѣ славянскаго и другой вопросъ, самый великій для нея и окончательный, а именно восточный вопросъ, и что разрѣшится этотъ вопросъ можетъ только въ Константинополѣ. Федеративное же владѣніе Константинополемъ разными народцами можетъ даже умертвить восточный вопросъ, разрѣшенія котораго, напротивъ того, настоятельно надо желать, когда придутъ къ тому сроки, такъ какъ онъ тѣсно связанъ съ судьбою и съ назначеніемъ самой Россіи и разрѣшенъ можетъ быть только ею. Не говоря уже о томъ, что всѣ эти народцы лишь перессорятся между собою въ Константинополѣ, за вліяніе въ немъ и за обладаніе имъ. Ссорить ихъ будутъ греки. Завидовать тому, что они владѣютъ такой великолѣпной точкой Европы и земного шара будутъ и западные сла-

вяне... однимъ словомъ, Константинополь послужить тогда камнемъ раздора во всемъ славянскомъ и восточномъ мѣрѣ, что помѣшаетъ единенію славянъ и остановитъ ходъ правильный жизни ихъ. Спасеніе въ такомъ случаѣ именно въ томъ, если Россія займетъ Константинополь одна, для себя, за свой счетъ. Россія можетъ сказать тогда восточнымъ народамъ, что она потому беретъ себѣ Константинополь, — „что ни единый изъ васъ, ни всѣ вы вмѣстѣ не доросли до него, а что она, Россія, доросла.“ И доросла. Именно теперь наступаетъ этотъ новый фазисъ жизни Россіи. Константинополь есть центръ восточнаго міра, а духовный центръ восточнаго міра и глава его есть Россія. Россіи именно нужно и даже *полезно* теперь, на нѣкоторое время, забыть хоть немножко Петербургъ и побывать на Востока, въ виду измѣненія судьбы ея и всей Европы, измѣненія близкаго, стоящаго „при дверяхъ“. Впрочемъ, оставимъ до времени разборъ всѣхъ неудобствъ общаго владѣнія Константинополемъ, и даже вреда оттого, особенно для славянъ, — замѣтимъ только, хоть нѣсколько словъ, о судьбѣ въ такомъ случаѣ константинопольскихъ грековъ и православія.

Греки ревниво будутъ смотрѣть на новое славянское начало въ Константинополѣ и будутъ ненавидѣть и бояться славянъ даже болѣе, чѣмъ бывшихъ магометанъ. Еще недавній споръ болгаръ съ патриаршимъ престоломъ можетъ послужить въ такомъ случаѣ примѣромъ будущаго. Предстоятели православія въ Константинополѣ могутъ унизиться до интриги, мелкихъ проклятій, отлученій, неправильныхъ соборовъ и проч., а, можетъ-быть, упадутъ и до ереси—и все это изъ-за національныхъ причинъ, изъ-за національныхъ оскорбленій и раздраженій. „Почему славяне выше насъ, могутъ сказать всѣ греки вмѣстѣ, почему признается ихъ безусловное право на Константинополь, хотя бы и вмѣстѣ съ нами?“ Теперь въ то же время замѣйте, что Россія, владѣя Константинополемъ, имѣя силу и огромный очевидный авторитетъ, почти устранить возможность такихъ вопросовъ. Даже греки не могли бы ей столь завидовать и досадовать на нее за владѣніе Константинополемъ, именно потому, что она столь очевидная сила, и столь явная владычица судьбы Востока. Россія, владѣя Константинополемъ, будетъ стоять именно какъ бы на стражѣ свободы всѣхъ славянъ и *всѣхъ восточныхъ* народностей, не различая ихъ съ славянами. Мусульман-

ское владѣніе было во всѣ эти столѣтія для всѣхъ этихъ народностей не единительной, но подавляющей силой, и онѣ при немъ шевельнуться не смѣли, т.-е. вовсе не жили какъ люди. Съ уничтоженіемъ же мусульманскаго владычества, можетъ наступить въ этихъ народностяхъ, выпрыгнувшихъ вдругъ изъ гнета на свободу, страшный хаосъ. Такъ что, не только правильная федерація между ними, но даже просто согласіе—есть, безъ сомнѣнія, лишь мечта будущаго. А пока новой единительной для нихъ силой и будетъ Россія, именно тѣмъ отчасти, что твердо станетъ въ Константинополь. Она спасетъ ихъ другъ отъ друга и именно будетъ стоять на стражѣ ихъ свободы. Она будетъ стоять на стражѣ всего Востока и грядущаго порядка его. И, наконецъ, она же и лишь она одна способна поднять на Востокъ знамя новой идеи и объяснить всему восточному міру его новое назначеніе. Ибо, чтъ такое восточный вопросъ? Восточный вопросъ есть въ сущности своей разрѣшеніе судебъ православія. Судьбы православія слиты съ назначеніемъ Россіи. Чтъ же это за судьбы православія? Римское католичество, продавшее давно уже Христа за земное владѣніе, заставившее отвернуться отъ себя человѣчество и бывшее такимъ образомъ главнѣйшей причиной матеріализма и атеизма Европы, это католичество естественно породило въ Европѣ и социализмъ. Ибо социализмъ имѣетъ задачей разрѣшеніе судебъ человѣчества уже не по Христу, а внѣ Бога и внѣ Христа, и долженъ былъ зародиться въ Европѣ естественно, взамѣнъ упавшаго христіанскаго въ ней начала, по мѣрѣ извращенія и утраты его въ самой церкви католической. Утраченный образъ Христа сохранился во всемъ свѣтѣ чистоты своей въ православіи. Съ Востока и пронесется новое слово міру навстрѣчу грядущему социализму, которое, можетъ, вновь спасетъ европейское человѣчество. Вотъ назначеніе Востока, вотъ въ чемъ для Россіи заключается восточный вопросъ. Я знаю, очень многіе назовутъ такое сужденіе „эликшествомъ“, но Н. Я. Данилевскій слишкомъ можетъ понять то, чтъ я говорю. Но для такого назначенія Россіи нуженъ Константинополь, такъ какъ онъ центръ восточнаго міра. Россія уже сознаетъ про себя, съ народомъ и царемъ своимъ во главѣ, что она лишь носительница идеи Христовой, что слово православія переходитъ въ ней въ великое дѣло, что уже началось это дѣло съ теперешней войной, а впереди передъ ней еще

вѣка трудовъ самопожертвованія, насажденія братства народовъ и горячаго материнскаго служенія ея имъ, какъ дорогимъ дѣтямъ.

Да, это великое христіанское дѣло, эта новая дѣятельность христіанства и православія уже началась, именно въ теперешнюю войну и фактомъ теперешней войны, а Н. Я. Данилевскій все еще не вѣритъ тому... не вѣритъ, очевидно, потому, что не считаетъ пока никого еще *достойнымъ* овладѣть Константинополемъ и даже Россію. Не досрости, что ли, до Константинополя русскіе—трудно понять. Конечно, трудно устроить согласное и *равное на правахъ* владѣніе Константинополемъ всѣхъ восточныхъ народовъ и народцевъ, но вѣдь допускаетъ же авторъ статьи, что Россія могла бы владѣть Константинополемъ одна, пока, временно, такъ сказать болѣе охраняя его, чѣмъ смѣя владѣть имъ, съ тѣмъ, однако, чтобъ послѣ передать его на общее владѣніе народцамъ (для чего? для чего передать?). Кажется, Н. Я. Данилевскій считаетъ, что для самой Россіи будетъ искусительно и, такъ сказать, развратительно единоличное владѣніе Константинополемъ, возбудить въ ней дурные завоевательные инстинкты и проч., но, кажется, пора бы, наконецъ, увѣрять въ Россію, особенно послѣ подвига теперешней войны. Она досростла-сь: даже до Константинополя досростла...

И вдругъ авторъ даже и *пока* не рѣшается довѣрить Россіи Константинополь. И представьте, чѣмъ кончается: онъ выводитъ, что *пока* надо продлить существованіе Турціи (отнявъ у ней всѣхъ славянъ, Балканы и проч.) и оставить пока Константинополь подъ властью турокъ, и что это даже будто бы самое выгодное для Россіи *теперь* рѣшеніе и въ этомъ почти персть Божій. Но почему же, персть-то Божій почему? Разумѣется, авторъ предполагаетъ при этомъ новомъ существованіи Турціи полнѣйшее вліяніе на нее Россіи и, такъ сказать, зависимость Турціи отъ Россіи. Но для чего такой маскарадъ? Разсудите: владыка Россія, а все-таки на время надо турку поставить. Замѣтимъ, что на такую комбинацію Европа еще скорѣе не согласится, чѣмъ на окончательное завоеваніе Турціи, ибо лучше уже совершившійся фактъ, чѣмъ все еще оспариваемый, продолжаемый, угрожающій новыми войнами въ самомъ близкомъ будущемъ. Такимъ образомъ, авторъ почти сошелся, въ концѣ концовъ, съ политическимъ мнѣ-

ніем лорда Биконсфильда, т.-е., что существованіе Турціи необходимо и уничтожена она быть не можетъ.

„Отъ Турціи останется одна тѣнь, говоритъ Н. Я. Данилевскій,—но тѣнь эта *должна* (?) еще до поры до времени отѣнять берега Босфора и Дарданелль, ибо замѣнить ее *живымъ*, и не только живымъ, но еще здоровымъ организмомъ, пока невозможно (!?)...“

Это Россія-то нездоровый и даже не живой еще организмъ, которымъ нельзя даже смѣть замѣнить въ столицѣ православія гнилье турокъ? Это для меня удивительно (опять-таки послѣ *подвига* теперешней войны!). Чего-нибудь я тутъ вѣрно не понимаю. Не разумѣетъ ли авторъ, просто-напросто, что потому невозможно еще пустить Россію въ Константинополь (для единоличнаго владѣнія или для передачи его потомъ народамъ), что Европа не согласится ее впустить. Можетъ-быть, авторъ не вѣритъ, что Россія въ нынѣшнюю войну въ силахъ достигнуть такого окончательнаго результата. Онъ именно говоритъ въ одномъ мѣстѣ своей статьи, „что *занятіе* Константинополя русскими встрѣтитъ самое рѣшительное сопротивленіе со стороны большинства европейскихъ державъ“. Если такъ, то заключеніе его о необходимости оставить на время турокъ въ Константинополѣ, становится понятнѣе; тѣмъ не менѣе, насчетъ „сопротивленія большинства европейскихъ державъ“ можно замѣтить двѣ вещи: 1) что, какъ сказала я выше, Европа, можетъ-быть, скорѣе найдетъ примирительный исходъ въ занятіи нашемъ Константинополя, чѣмъ въ той формулѣ, которую предлагаетъ г. Данилевскій, т.-е. Турцію обезличенную, подъ полной опекой Россіи, безъ Балканъ, безъ славянъ, со скрытыми крѣпостями, безъ флота, однимъ словомъ, „тѣнь“ прежней Турціи, какъ выражается авторъ. Ужъ, конечно, не этой Турціи желало бы „большинство европейскихъ державъ“ и оставивъ на свѣтѣ лишь „тѣнь Турціи“, ее тѣмъ не надуешь: „все равно, не сегодня, такъ завтра, войдете въ Константинополь“, скажетъ она русскимъ. А потому окончательное рѣшеніе для нея будетъ рѣшительно предпочтительнѣе, чѣмъ Турціи въ видѣ тѣни. Второе, что можно замѣтить, это то, что *можетъ-быть* дѣйствительно никогда еще не было (и не будетъ) такого выгоднаго для насъ момента для занятія Константинополя, какъ теперь, именно въ эту войну, именно въ данный, или весьма близкій къ тому моментъ, въ виду политическаго положенія самой Европы въ этотъ моментъ.

II.

Опять въ послѣдній разъ „прорицанія“.

Вы все говорите: „большинство европейскихъ державъ“ не позволить. Но, что такое теперь „большинство европейскихъ державъ“? Опредѣлимо ли оно даже въ настоящую минуту? Повторяю сказанное выше: Европа съ часу на часъ становится не такой, какъ была прежде, еще недавно, какъ была, можетъ-быть, всего назадъ еще полгода, такъ что теперь даже за три мѣсяца впередъ ругаться и за дальнѣйшую неизмѣняемость ея нельзя. Дѣло въ томъ, что мы именно наканунѣ самыхъ величайшихъ и потрясающихъ событій и переворотовъ въ самой Европѣ, и это *безъ всякаго преувеличенія*. Въ данный же моментъ, теперь, въ ноябрѣ, это „большинство европейскихъ державъ“, которыя могли бы намъ сказать въ чемъ-нибудь свое грозное veto при заключеніи мира — сводится лишь на Англію, и—врядъ ли еще на Австрію, хотя Англія во что бы ни стало вовлекаетъ ее въ союзъ и даже надѣется на союзъ и съ Франціей. Но мы будемъ (теперь уже это очевидно) не одни. Въ Европѣ есть Германія, и та на нашей сторонѣ.

Да, Европу ждутъ огромные перевороты, такіе, что умъ людей отказывается вѣрить въ нихъ, считая осуществленіе ихъ какъ бы чѣмъ-то фантастическимъ. Между тѣмъ, многое, что еще нынѣшнимъ лѣтомъ считалось фантастическимъ, невозможнымъ и преувеличеннымъ—сбылось въ Европѣ къ концу года буквально, и мнѣніе, на примѣръ, о силѣ католическаго всемірнаго заговора,—мнѣніе, надъ которымъ *еще* лѣтомъ склонны были смѣяться, и, по крайней мѣрѣ, пренебрегать имъ, раздѣляется теперь *всѣми* и подтвердилось фактами. Напоминаю объ этомъ единственно для того, чтобъ читатели повѣрили и теперешнимъ „предсказаніямъ“ нашимъ и не сочли бы ихъ фантастическою и преувеличенною картиною, какъ, вѣроятно, сочли многіе наши лѣтнія предсказанія въ маѣ, іюнѣ, іюлѣ и августѣ и которыя, однако, сбылись до буквальной точности.

Единственный политикъ въ Европѣ, проникающій геніальнымъ взглядомъ своимъ въ самую глубь фактовъ — есть, безспорно, князь Бисмаркъ. Самаго страшнаго врага Германіи, ея единства и ея обновленнаго будущаго, онъ прозрѣлъ еще задолго назадъ—въ римскомъ католицизмѣ

и въ порожденномъ католицизмѣ чудовищѣ—соціализмѣ. (Соціализмомъ пройдена Германія). Раздавить католицизмъ въ моментъ избранія новаго папы Бисмарку необходимо. О, онъ понимаетъ, что онъ не раздавить его окончательно, и что онъ только поставитъ его въ извѣстный новый фазисъ борьбы. Но старый фазисъ борьбы для католицизма еще продолжается, пока жива Франція. Пока жива Франція, у католицизма есть сильный мечъ, и есть надежды на европейскую коалицію. Что до Франціи, то эта страна въ глазахъ князя Бисмарка—обречена уже судьбѣ своей. Для него одинъ вопросъ: или ей жить, или Германіи. Ибо падетъ Франція—и католицизмъ, вмѣстѣ съ соціализмомъ, войдутъ въ новый фазисъ. И пока европейскіе политики, слѣдуя за нескончаемой борьбой Макъ-Магона съ республиканцами, желаютъ отъ всего сердца побѣды республиканцамъ, *принимая и отрицая еще*, что республика есть во Франціи правительство народное и способное соединить Францію—князь Бисмаркъ тѣмъ временемъ понимаетъ вполне, что Франція отжила свой вѣкъ, что эта нація раздѣлилась внутренне и окончательно сама на себя навѣки, и что въ ней никогда уже болѣе не будетъ твердаго и единящаго всѣхъ авторитетнаго правленія здороваго національнаго и единящаго центра. И хоть слабость Франціи могла бы такимъ образомъ лишь обнадеживать Германію, но князь Бисмаркъ все же видитъ, что, повторю это, пока живетъ Франція, дотолѣ живъ и римскій католицизмъ политически и имѣетъ въ рукахъ своихъ обнаженный мечъ, мало того, — что католицизмъ-то, можетъ-быть, и могъ бы еще разъ, *на время*, послужить для этой разложившейся страны—единящей идеей, хотя бы внѣшне-политически. Ибо даже и быть не можетъ, чтобъ Франція, хотя бы и съ республиканцами во главѣ, могла не обнажить, *рано ли, поздно ли*, меча за папу и за судьбы католичества. Республиканцы даже сами увидѣли бы, что оставъ они папу и католичество, то и собственное ихъ существованіе во Франціи стало бы невозможнымъ. Правда, сами-то они можетъ будутъ и неспособны понять это даже до самаго конца своего, и такимъ образомъ пребудутъ до конца не только фаворитами (протезе) князя Бисмарка—которыхъ онъ, однакоже, все равно приговорилъ уже про себя къ смерти, вмѣстѣ съ прочими французскими партіями, имѣющими претензію на способность вновь соединить Францію въ одно неразрывное цѣлое,—но и рабами

Германіи, отдающими ей и всю Францію, не только въ политическое, но и во внутреннее, существенное и духовное рабство, именно тѣмъ, что лишаютъ Францію самой самостоятельнѣйшей изъ *политическихъ и историческихъ* идей ея, вырываютъ у ней то знамя, которое она высоко держала столько вѣковъ, какъ представительница романскаго элемента въ европейскомъ человѣчествѣ. Но зато тѣ, которые сгонять за это бездарныхъ и бесполезныхъ республиканцевъ съ мѣста, непременно позаботятся воздвигнуть (Бисмаркъ знаетъ это), въ послѣдній разъ, католическое знамя противъ Германіи, — знамя, въ которое уже, повторяю это, не вѣрится Франція, уже сама *почти вся* отрицаетъ его, но которое можетъ еще послужить ей *политически* послѣдней точкой опоры и единенія противъ рокового (и послѣдняго тоже) натиска протестантской Германіи, вѣчно протестовавшей противъ западно-европейскихъ, унаслѣдованныхъ еще отъ древняго Рима началъ цѣлой половины европейскаго человѣчества.

А потому князь Бисмаркъ вѣроятнѣе всего уже предрѣшилъ судьбу Франціи. Францію ждетъ судьба Польши и политически жить она не будетъ—или не будетъ и Германіи. Достигнувъ этого, онъ принудитъ тогда воюющее римское католичество (которое будетъ воевать до окончанія міра) войти въ новый фазисъ существованія и борьбы за существованіе—въ фазисъ подземной, рептильной, заговорной войны. И онъ ждетъ его въ этомъ новомъ фазисѣ. Чѣмъ скорѣе это совершится, тѣмъ для него лучше, такъ какъ тутъ онъ ждетъ уже соединенія обоихъ враговъ Германіи и человѣчества вмѣстѣ и тѣмъ самымъ раздавить ихъ надѣется легче, за разъ...

III.

Надо ловить минуту.

Соединеніе же обоихъ враговъ произойдетъ несомнѣнно, только лишь падетъ политически Франція. Оба врага эти имѣли съ Франціей всегда органическую связь. Католичество почти до послѣдняго времени было единящей и существенной идеей ея. Соціализмъ же и зародился въ ней. Лишивъ Францію политической жизни, князь Бисмаркъ думаетъ нанести ударъ и соціализму. Соціализмъ, какъ наслѣдіе католицизма и Франціи — ненавистенъ болѣе всѣхъ истинному германцу, и простиительно, что представители Германіи думаютъ съ нимъ такъ легко спра-

вѣться, уничтоживъ лишь политически Францію, какъ источникъ и начало его. Но вотъ что произойдетъ, по всей вѣроятности, если падетъ политически Франція: католичество потеряетъ свой мечъ и въ первый разъ обратится къ народу, котораго оно презирало столько вѣковъ, заискивая у королей и императоровъ земныхъ. Но теперь оно обратится къ народу, ибо некуда идти ему больше, обратится именно къ предводителямъ наиболѣе подвижнаго и подымчатаго элемента въ народѣ, социалистамъ. Народу оно скажетъ, что все, что проповѣдуютъ имъ социалисты, проповѣдывалъ и Христосъ. Оно исказитъ и продастъ имъ Христа еще разъ, какъ продавало прежде столько разъ за земное владѣніе, отстаивая права инквизиціи, мучившей людей за свободу совѣсти во имя любящаго Христа,—Христа, дорожащаго лишь свободно пришедшимъ ученикомъ, а не купленнымъ или напуганнымъ. Оно продавало Христа, благословляя іезуитовъ и одобряя праведность „всякаго средства для Христова дѣла“. Все Христово же дѣло оно искони обратило лишь въ заботу о земномъ владѣніи своемъ и о будущемъ государственномъ обладаніи всѣмъ міромъ. Когда католическое чело-вѣчество отвернулось отъ того чудовищнаго образа, въ которомъ имъ представили наконецъ Христа, то послѣ дѣлаго ряда вѣковъ протестовъ, реформацій и проч. явились наконецъ, съ начала нынѣшняго столѣтія, попытки устроиться внѣ Бога и внѣ Христа. Не имѣя инстинкта пчелы или муравья, безошибочно и точно созидающихъ улей и муравейникъ, люди захотѣли создать вѣчто въ родѣ челоуѣческаго безошибочнаго муравейника. Они отвергли происшедшую отъ Бога и откровеніемъ возвѣщенную челоуѣку единственную формулу спасенія его: „Возлюби ближняго какъ самого себя“ и замѣнили ее практическими выводами въ родѣ: „Chacun pour soi et Dieu pour tous“, или научными аксіомами въ родѣ „борьбы за существованіе“. Не имѣя инстинкта животныхъ, по которому тѣ живутъ и устраиваютъ жизнь свою безошибочно, люди гордо вознадѣялись на науку, забывъ, что для таковаго дѣла, какъ создать общество, наука еще все равно что въ пеленкахъ. Явились мечтанія. Будущая Вавилонская башня стала идеаломъ и, съ другой стороны, страхомъ всего челоуѣчества. Но за мечтателями явились вскорѣ уже другія ученія, простыя и понятныя всѣмъ, въ родѣ: „огрabitъ богатыхъ, залить міръ кровью, а тамъ

как-нибудь само собою все вновь устроится." Наконецъ, пошли дальше и этихъ учителей, явилось ученіе анархіи, за которую, если бъ она могла осуществиться, навѣрно бы начался вновь періодъ антропофагіи и люди принуждены были бы начинать опять все съ начала, какъ тысячъ за десять лѣтъ назадъ. Католичество понимаетъ все это отлично и сумѣетъ соблазнить предводителей подземной войны. Оно скажетъ имъ: „У васъ нѣтъ центра, порядка въ веденіи дѣла, вы раздробленная по всему міру сила, а теперь, съ паденіемъ Франціи, и придавленная. Я буду единеніемъ вашимъ и привлеку къ вамъ и всѣхъ тѣхъ, кто въ меня еще вѣруетъ“. Такъ или этакъ, а соединеніе произойдетъ. Католичество умирать не хочетъ, социальная же революція и новый социальный періодъ въ Европѣ тоже несомнѣненъ: двѣ силы несомнѣнно должны согласиться, два теченія слиться. Разумѣтся, католичество даже выгодно будетъ рѣзня, кровь, грабежъ и хотя бы даже антропофагія. Тутъ-то оно и можетъ надѣяться поймать на крючокъ, въ мутной водѣ, еще разъ свою рыбу, предчувствуя моментъ, когда, наконецъ, измученное хаосомъ и безправицей человѣчество бросится къ нему въ объятія, и оно очутится вновь, но уже всецѣло и наяву, нераздѣльно ни съ кѣмъ и единолично, „земнымъ владыкою и авторитетомъ міра сего“ и тѣмъ окончательно уже достигнетъ цѣли своей. Картина эта, увы—не фантазія. Я положительно удостовѣряю, что ее уже прозираютъ очень и очень многіе на Западѣ. И, вѣроятно, прозираютъ и владыки Германіи. Но предводители германскаго народа въ одномъ ошибаются: въ легкости побѣдить и подавить этихъ двухъ страшныхъ и уже соединенныхъ враговъ. Они надѣются на силу обновленной Германіи, протестантскаго и протестующаго ея духа противъ древняго и новаго Рима, началъ и *послѣдствій* его. Но не они остановятъ чудовище: остановить и побѣдить его воссоединенный Востокъ и новое слово, которое скажетъ онъ человѣчеству...

Во всякомъ случаѣ одно кажется яснымъ, именно: мы *нужны* Германіи даже болѣе, чѣмъ думаемъ. И нужны мы ей не для мипутнаго политическаго союза, а *навѣчно*. Идея воссоединенной Германіи широка, величава и смотритъ въ глубь вѣковъ. Чтò Германіи дѣлать съ нами? Объектъ ея—все западное человѣчество. Она себѣ предназначила западный міръ Европы, провести въ него свои

начала, вмѣсто римскихъ и романскихъ началъ, и впредь стать предводительницею его, а Россіи она оставляетъ Востокъ. Два великіе народа такимъ образомъ предназначены измѣнить ликъ міра сего. Это не затѣи ума или честолюбія: такъ самъ міръ слагается. Есть новыя и странныя факты и появляются каждый день. Когда у насъ, еще на-дняхъ почти, говорить и мечтать о Константинополѣ считалось даже чѣмъ-то фантастическимъ, въ германскихъ газетахъ заговорили многіе о занятіи нами Константинополя какъ о дѣлѣ самомъ обыкновенномъ. Это почти странно сравнительно съ прежними отношеніями къ намъ Германіи. Надо считать, что дружба Россіи съ Германіей нелицемѣрна и тверда и будетъ укрѣпляться чѣмъ дальше, тѣмъ больше, распространяясь и укрѣпляясь постепенно въ народномъ сознаніи обѣихъ націй, а потому, можетъ быть, даже не было и момента для Россіи выгоднѣе для разрѣшенія восточнаго вопроса окончательно, какъ теперь. Въ Германіи, можетъ быть, даже нетерпѣливѣе нашего ждутъ окончанія нашей войны. Между тѣмъ дѣйствительно за три мѣсяца нельзя теперь поручиться. Кончимъ ли мы войну раньше, чѣмъ начнутся послѣднія и роковыя волненія Европы? Все это неизвѣстно. Но поспѣемъ ли мы на помощь Германіи, нѣтъ ли, Германія во всякомъ случаѣ рассчитываетъ на насъ не какъ на *временныхъ* союзниковъ, а какъ на *вѣчныхъ*. Чтò же до текущей минуты — опять-таки весь ключъ дѣла во Франціи и въ избраніи папы. Тутъ можетъ явиться столкновеніе Франціи съ Германіей, теперь уже несомнѣнное, тѣмъ болѣе, что есть разжигатели. Англія объ немъ особенно постарается и тогда, можетъ быть, двинется и Австрія. Но обо этомъ обо всемъ мы говорили еще недавно. Ничего съ тѣхъ поръ не измѣнилось, чтò бы могло опровергнуть прежнія мнѣнія наши, напротивъ, подтвердилось...

Во всякомъ случаѣ Россіи надобно ловить минуту. А долго ли эта благоприятная наша европейская минута можетъ продолжаться? Пока дѣйствуютъ теперешніе великіе предводители Германіи, эта минута *всего впрямь* для насъ обезпечена...

ДЕКАБРЬ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

I.

Заключительное разъясненіе одного прежняго факта.

Заклячая двухлѣтнее изданіе „Дневника“ теперешнимъ послѣднимъ, декабрьскимъ выпускомъ, я нахожу необходимымъ сказать еще разъ одно слово объ одномъ дѣлѣ, о которомъ я уже слишкомъ довольно говорилъ. Положилъ же я объ этомъ сказать еще въ маѣ мѣсяцѣ, но оставилъ тогда по особымъ соображеніямъ, именно до этого послѣдняго выпуска. Это все опять о той мачихѣ, Корниловой, которая въ злобѣ на мужа выбросила свою шестилѣтнюю падчерицу въ окошко, а та, упавъ съ пятисаженной высоты, осталась жива. Какъ извѣстно, преступница была судима, осуждена, потомъ приговоръ былъ кассированъ, и, наконецъ, окончательно была оправдана на вторичномъ судѣ 22 апрѣля сего года. (См. „Дневникъ Писателя“ октябрь 1876 и апрѣль 1877 года).

Въ этомъ дѣлѣ мнѣ случилось принять нѣкоторое участіе. Предсѣдатель суда, а потомъ и прокуроръ, въ самой залѣ суда, объявили публично, что первый обвиняющій Корнилову приговоръ былъ отмѣненъ, именно, вслѣдствіе пущенной мною въ „Дневникѣ“ мысли, что не повліяло ли на поступокъ преступницы ея беременное состояніе? Я эту мысль провелъ и развилъ вслѣдствіе чрезвычайныхъ и странныхъ психическихъ особенностей, которыя сами собою неотразимо бросались въ глаза и останавливали вниманіе при чтеніи подробностей совершеннаго престу-

пленія. Впрочемъ, это все уже извѣстно читателямъ. Извѣстно можетъ быть тоже, что послѣ самаго строгаго слѣдствія и самыхъ упорныхъ и настоятельныхъ доводовъ прокурора, присяжные все-таки оправдали Корнилову, пробывъ въ залѣ совѣщанія не болѣе десяти минутъ, и публика разошлась горячо сочувствуя оправданію. И вотъ, тѣмъ не менѣе, мнѣ тогда же, въ тотъ же день, пришла на умъ мысль, что въ подобномъ важномъ дѣлѣ, гдѣ затронуты самые высшіе мотивы гражданской и духовной жизни, всего бы желательнѣе, чтобъ все могло быть разъяснено до самой послѣдней возможности, чтобъ ужъ не оставалось ни въ обществѣ, ни въ душѣ присяжныхъ, вынесшихъ оправданіе, никакихъ сомнѣній, колебаній и сожалѣній о томъ, что несомнѣнная преступница была отпущена безъ наказанія. Тутъ затронуты дѣти, дѣтская судьба (часто ужасная у насъ на Руси и особенно въ бѣдномъ классѣ), дѣтскій вопросъ — и вотъ оправдывается, при сочувствіи публики, убійца ребенка! И вотъ я этому самъ отчасти способствовалъ (по свидѣтельству самого суда!) Я-то дѣйствовалъ по убѣжденію, но меня, послѣ произнесеннаго приговора, вдругъ начало мучить сомнѣніе: не осталось ли въ обществѣ недовольства, недоумѣнія, невѣрія въ судъ, негодованія даже? Въ прессѣ нашей сказано было объ этомъ оправданіи Корниловой мало, — тогда заняты были не тѣмъ, предчувствовалась война. Но въ *Сѣверномъ Вѣстникѣ*, въ новородившейся тогда газетѣ, какъ-разъ я прочелъ статью, полную негодованія на оправданіе и даже злобы на мое участіе въ этомъ дѣлѣ. Статья эта написана недостойнымъ тономъ, да и не я одинъ подвергся тогда негодованію *Сѣвернаго Вѣстника*; подвергся и Левъ Толстой за „Анну Каренину“, подвергся злымъ и недостойнымъ насмѣшкамъ. Я лично и не отвѣтилъ бы автору, но въ статьѣ этой я именно увидѣлъ то, чего опасался отъ нѣкоторой части нашего общества, то-есть сбивчиваго впечатлѣнія, недоумѣнія, негодованія на приговоръ. И вотъ я рѣшилъ ждать всѣ восемь мѣсяцевъ, чтобъ въ этотъ срокъ убѣдиться самому, по возможности еще болѣе, окончательно, въ томъ, что приговоръ не повліялъ дурно на подсудимую, что, напротивъ, милосердіе суда, какъ доброе сѣмя, пало на хорошую почву, что подсудимая *дѣйствительно была достойна* сожалѣнія и милосердія, что порывы неизъяснимаго, фантастическаго почти буйства, въ припадкѣ котораго она совершила свое зло-

дѣяніе,—не возвращались и не могутъ возвращаться къ ней вовеки и никогда болѣе, что это именно добрая и кроткая душа, а не разрушительница и убійца (въ чемъ я убѣжденъ былъ во время процесса), и что дѣйствительно преступленіе этой несчастной необходимо было объяснить какимъ-нибудь особымъ случайнымъ обстоятельствомъ, болѣзненностью, „аффектомъ“—вотъ именно тѣми болѣзненными припадками, которые бывають довольно часто (при совокупности и другихъ, конечно, неблагоприятныхъ условий и обстоятельствъ) у беременныхъ женщинъ въ известномъ періодѣ беременности,—и что, наконецъ, стало-быть, ни присяжнымъ, ни обществу, ни публикѣ, бывшей въ залѣ суда и съ горячимъ сочувствіемъ выслушавшей приговоръ,—уже нечего болѣе сомнѣваться въ такомъ приговорѣ, въ его цѣлесообразности, и раскаиваться въ своемъ милосердіи.

И вотъ теперь, послѣ этихъ восьми мѣсяцевъ, я именно въ силахъ и могу кое-что сообщить и прибавить по этому, впрочемъ, можетъ быть, слишкомъ уже наскучившему всѣмъ дѣлу. Буду отвѣчать именно какъ бы обществу, т.-е. той части его, которая, по предположенію моему, могла не согласиться съ совершившимся приговоромъ, усомниться въ немъ и вознегодовать на него—если, впрочемъ, такая часть недовольныхъ была въ нашемъ обществѣ. А такъ какъ изъ всѣхъ этихъ недовольныхъ мнѣ извѣстенъ (не лично однакоже) всего лишь тотъ одинъ „Наблюдатель“, написавшій грозную статью въ *Сверномъ Вѣстникѣ*, то и буду отвѣчать этому Наблюдателю. Вѣрнѣе всего то, что я на него нисколько не подѣйствую никакими доводами, но, можетъ быть, буду понятенъ читателямъ.

„Наблюдатель“, коснувшись въ статьѣ своей дѣла Корниловой, придалъ этому *дѣлу* съ первой строки самое высшее значеніе: Онъ въ негодованіи указывалъ на судьбу дѣтей, беззащитныхъ дѣтей, и сожалѣлъ, что не казнили подсудимую строжайшимъ приговоромъ. Дѣло, стало-быть, шло о Сибири, о ссылкѣ двадцатилѣтней женщины, съ рожденнымъ ею уже въ тюрьмѣ ребенкомъ на рукахъ (и который тоже, стало-быть, сослался въ Сибирь вмѣстѣ съ нею), о разрушеніи молодого семейства. Въ такомъ случаѣ, кажется, слѣдовало бы первымъ дѣломъ тщательно, серьезно и безпристрастно отнестись къ обсуждаемымъ совершившимся фактамъ. И вотъ, повѣрять ли: этотъ Наблюдатель не знаетъ дѣла, о которомъ судить, говорить

наобумъ; сочиняетъ самъ изъ головы небывалыя обстоятельства и бросаетъ ихъ прямо на голову бывшей подсудимой, въ залѣ суда, очевидно, не находилъ, преній не слушалъ, при приговорѣ не присутствовалъ,—и при всемъ томъ—ожесточенно и озлобленно требуетъ казни человѣка! Да вѣдь дѣло-то объ участи человѣческой идетъ, нѣсколькихъ даже существъ за разъ, о томъ идетъ, чтобъ разорвать жизнь человѣческую пополамъ, безжалостно, съ кровью. Положимъ, несчастная уже была оправдана, когда „Наблюдатель“ вышелъ съ своей статьей—но вѣдь такія нападенія вліяютъ на общество, на судъ, на общественное мнѣніе, они отзвучатъ на будущемъ подобномъ же подсудимомъ, они, наконецъ, обижаютъ оправданную, благо она изъ темнаго люда, а потому беззащитна. Вотъ, однако, эта статья, т.-е. все мѣсто, относящееся до дѣла Корниловой; дѣлаю самыя существенныя выписки и исключаю весьма немногое.

II.

Выписка.

... Гораздо труднѣе присяжнымъ представить самихъ себя въ положеніи беременной женщины; а еще труднѣе—въ положеніи шестилѣтней дѣвочки, которую эта женщина вышвырнула изъ окна четвертаго этажа. Надо имѣть всю ту силу воображенія, которую, какъ извѣстно, отличается среди всѣхъ насъ г. Достоевскій, чтобы вполне войти въ положеніе женщины и уяснить себѣ всю неотразимость эффектовъ беременности.

Онъ дѣйствительно вошелъ въ это положеніе, ѣздилъ къ одной дамѣ въ тюрьму, былъ пораженъ ея смиреніемъ, и въ нѣсколькихъ номерахъ своего «Дневника» выступилъ горячимъ ея защитникомъ. Но г. Достоевскій слишкомъ впечатлителенъ, и притомъ «болѣзненная проявленія воли» это—прямо по части автора «Бѣсовъ», «Идіота» и т. д., ему извинительно имѣть къ нимъ слабость. Я смотрю на дѣло проще и утверждаю, что послѣ такихъ примѣровъ, какъ оправданія жестокаго обращенія съ дѣтьми, этому обращенію, которое въ Россіи, какъ и въ Англіи, очень нерѣдко, не предстоитъ уже и тѣни утрашенія. Изъ сколькихъ случаевъ жестокости съ дѣтьми одинъ попадаетъ судебному разсмотрѣнію? Есть дѣти, которыхъ вся жизнь, утро, полдень и вечеръ каждаго дня, — не что иное, какъ рядъ страданій. Это—невинныя существа, терпящія такую участь, въ сравненіи съ которой работа отцеубійцъ въ рудникахъ—блаженство, съ отдыхомъ, съ отсутствіемъ вѣчнаго, неумолимаго страха, съ полнымъ душевнымъ спокойствіемъ, насколько оно не нарушается совѣстью. Изъ десяти тысячъ, а, вѣроятно, изъ сотни тысячъ случаевъ жестокости съ дѣтьми, одинъ всплываетъ на судебную поверхность; одинъ, какой-нибудь, почему-либо наиболѣе замѣченный. Напримѣръ, мачиха вѣчно бьетъ (?) несчастное шестилѣтнее существо, и, нако-

мать, выбрасывает его из четвертого этажа; когда узнает, что неизвестное ей дитя не убилося, она восклицает: «ну, живучая. Да внезапности проявленія ненависти къ ребенку, ни раскаянія неслѣдуетъ ожидать. Убийства кѣтъ; все цѣлкомъ, все логично въ проявленіи одной и той же злой воли. И эту женщину оправдываютъ. Если въ такихъ ясныхъ до очевидности случаяхъ жестокости съ дѣтьми у насъ оправдываютъ, то чего же ожидать въ другихъ случаяхъ, менѣе рѣзкихъ, болѣе сложныхъ? Оправданія, конечно, оправданія и оправданія. Въ Англіи, въ грубыхъ классахъ городскихъ rougus нерѣдки, какъ я уже замѣтилъ, случаи жестокости съ дѣтьми. Но желалъ бы я, чтобы мнѣ показали одинъ примѣръ подобнаго оправданія англійскими присяжными. О, когда передъ нашими присяжными является раскольникъ, худо отозвавшійся о куполѣ церкви — тогда другое дѣло. Въ Англіи онъ даже и къ суду не былъ бы призванъ, у насъ онъ не жди оправданія. Но жестокость надъ дѣвочкой—стоитъ ли губить за это молодую женщину. Вѣдь она все-таки матица, то-есть почти мать жертвы; какъ бы тамъ ни было поить, кормить ее и еще больше бить. Но этимъ послѣднимъ русскаго человѣка не удивишь. Присяжный рассказывалъ мнѣ, что ѣхалъ онъ на дняхъ на извозчикѣ, и тотъ все время стегалъ лошадь. На вопросъ о томъ, извозчикъ отвѣчалъ: «Ея должность такая. Ей должно быть вѣчно и нещадно битой».

Твоя судьба, въ продолженіе вѣковъ, русскій человѣкъ! Вѣдь, можетъ быть, и матица били въ дѣтствѣ; и вотъ ты входишь въ это и говоришь—Богъ съ ней! Но ты такъ не дѣлай. Ты пожалѣй маленькихъ; тебя теперь бить не будутъ, и не оправдывай жестокость надъ тѣмъ, кто уже родился не рабомъ.

Мнѣ скажутъ: вы нападаете на институтъ присяжныхъ, когда и безъ того, и такъ далѣе. Не нападаю я на институтъ и въ умѣ не имѣю нападать на него, онъ хорошъ, онъ бесконечно лучше того суда, въ которомъ не участвовала общественная совѣсть. Но я бесѣдую съ этой совѣстью о такомъ-то и такомъ-то ея проявленіи...

...Но бить ребенка какой-нибудь годъ и потомъ выкинуть на вѣрную смерть,—это другое дѣло. «Мужъ оправданной», пишетъ г. Достоевскій, въ вышедшемъ на дняхъ «Дневникѣ», «уезъ ее въ тотъ же вечеръ, уже въ одиннадцатомъ часу, къ себѣ домой и она, счастливая, вошла опять въ свой домъ». Какъ трогательно. Но горе бѣдному ребенку, если онъ остался въ томъ домѣ, куда вошла «счастливая»; горе ему, если онъ когда-нибудь попадетъ въ отцовскій домъ.

«Аффектъ беременности» — ну, выдуманно новое жалкое слово. Какъ бы силенъ этотъ аффектъ ни былъ, однако женщина подъ вліяніемъ его не бросалась ни на мужа, ни на сосѣднихъ жильцовъ. Весь аффектъ ея исключительно предназначался для той беззащитной дѣвочки, которую она тиранила цѣлый годъ безъ всякаго аффекта. На чемъ же остановились присяжные въ оправданіи? На томъ, что одинъ психіатръ призналъ «болѣзненное состояніе души подсудимой во время совершенія преступленія; трое другихъ психіатровъ заявили только, что болѣзненное состояніе беременной женщины могло повліять на совершеніе преступленія; а одинъ акушеръ, профессоръ Флоринскій, которому едва ли не лучше извѣстны всѣ проявленія состоянія беременности, выразилъ прямо несогласіе съ такими мнѣніями. Стало быть, четверо изъ пятерыхъ экспертовъ не признали, что въ данномъ случаѣ преступленіе положительно было совершено въ состояніи «аффекта беременности» и затѣмъ невмѣняемости. Но

присяжные оправдали. Экъ, велико дѣло: вѣдь не убитен же ребенокъ; а что его били, такъ вѣдь «его должность такая».

III.

Искаженія и подтасовки и — намъ это ничего не стоитъ.

Вотъ выписка, вотъ обвиненіе, много негодованія и на меня. Но теперъ я спрошу „Наблюдателя“: какъ могли вы до такой степени исказить факты въ такомъ важномъ обвиненіи, и выставить все въ такомъ ложномъ и необычномъ видѣ? Да когда же было битье, систематическое *мачихино* битье? Вы пишете прямо и точно:

«Мачиха *точно* бьетъ несчастное шестилѣтнее существо и наконецъ выбрасываетъ его изъ четвертаго этажа»...

Потомъ:

«Но бить ребенка *какой-нибудь* годъ и потомъ выкинуть на вѣрную смерть»...

Восклицаете про ребенка:

«Горе ему, если онъ когда-нибудь попадетъ въ отцовскій домъ».

И наконецъ влагаете въ уста присяжныхъ звѣрскую фразу:

«Экъ, велико дѣло: вѣдь не убитен же ребенокъ, а что его били, такъ вѣдь «его должность такая».

Однимъ словомъ, вы всѣ факты подмѣнили, и все дѣло представили такъ, что преступленіе, по-вашему, произошло, будто бы, единственно отъ ненависти мачихи къ ребенку, котораго она мучила и била годъ и кончила тѣмъ, что выбросила его изъ окошка. Вы представили подсудимую нарочно звѣреть, ненасытно злобною мачихой, единственно, чтобъ оправдать свою статью и возбудить негодованіе общества на милосердный приговоръ присяжныхъ. И мы въ правѣ заключить, что сдѣлали вы этотъ подмѣнъ единственно съ этою, указанною мною сейчасъ цѣлью — потому въ правѣ, что не могли же вы и не имѣли права не узнать подробнѣйшимъ образомъ обстоятельствъ такого дѣла, въ которомъ сами берете на себя произнести приговоръ и требуете казни.

Между тѣмъ звѣря, звѣрской мачихи, ненавидящей ребенка и ненасытной къ истязанію его — *никогда* и *совсѣмъ* не было. И это положительно подтвердилось слѣдствіемъ. Первоначально дѣйствительно выдвинута была мысль, что мачиха мучила ребенка и изъ ненависти къ нему рѣшилась убить его. Но впослѣдствіи обвиненіе совсѣмъ оставило эту мысль: слишкомъ ясно стало, что преступленіе совершилось совсѣмъ изъ другихъ мотивовъ,

чѣмъ ненависть къ ребенку, изъ причинъ совершенно объявившихся на судѣ и при которыхъ ребенокъ былъ ни при чемъ. Кромѣ того, на судѣ не оказалось и свидѣтелей, которые бы могли подтвердить жестокость мачихи,— *мачихино* битье. Было только одно свидѣтельство одной только женщины, жившей тутъ же въ коридорѣ рядомъ (гдѣ живетъ много людей), что сѣкла дескать очень больно ребенка, но и это свидѣтельство выяснилось потомъ защитой, какъ „коридорная сплетня“—не болѣе. Было же то, что обыкновенно бываетъ въ такого рода семействахъ, при ихъ степени образованія и развитія, то-есть, что ребенка за шалости дѣйствительно наказывали оба, и отецъ и мачиха, но иногда лишь, т. е. очень рѣдко, и не безчеловѣчно, а „отечески“, какъ они выражаются сами, т. е. до сихъ поръ, къ несчастью, во всѣхъ такихъ русскихъ семействахъ, по всей Руси, и при этомъ, однако, любя крѣпко дѣтей, и заботясь объ нихъ (и весьма даже часто) гораздо сильнѣе и больше, чѣмъ бываетъ это въ иныхъ интеллигентныхъ и богатыхъ, европейски-развитыхъ русскихъ семействахъ. Тутъ только неумѣнье, а не жестокость. Корнилова же была даже весьма хорошей мачихой, ходила и наблюдала за ребенкомъ. Наказаніе же ребенка было лишь одинъ разъ *жестокое*: мачиха высѣкла его разъ утромъ при пробужденіи *за то, что не умѣть проситься ночью*. Никакой тутъ ненависти къ нему не было. Когда я ей замѣтилъ, что за это нельзя наказывать, что сложеніе дѣтей и природа ихъ различны, что шестилѣтній ребенокъ еще слишкомъ малъ, чтобъ всегда умѣть проситься, то она отвѣтила: „а мнѣ сказали, что такъ надо сдѣлать, чтобъ отучить, и что его иначе не отучишь“. Въ этотъ разъ она ударила ребенка бичевкой „шесть“ разъ, но такъ, что вышли рубцы и — вотъ эти-то рубцы и видѣла та женщина въ коридорѣ, единственная свидѣтельница единственного случая жестокости, и объ нихъ-то и показывала въ судѣ. За эти же рубцы мужъ, воротаясь съ работы, немедленно наказалъ жену, т.-е. побилъ ее. Это человекъ строгій, прямой, честный и неуклонный прежде всего, хотя, какъ видите, отчасти и съ обычаями прежнихъ временъ. Бивалъ онъ жену рѣдко и не безчеловѣчно (такъ сама она говоритъ), а единственно изъ принципа мужней власти—такъ выходитъ по его характеру. Ребенка своего онъ любитъ (хотя чаще еще мачихи наказывалъ и самъ дѣвочку за шалости), но не такой

онъ человекъ, чтобъ дать ребенка напрасно въ обиду, хотя бы и женѣ своей. И такъ единственный случай строгаго наказанія (до рубцовъ), обнаружившійся на судѣ, обращенъ обвинителемъ *Свернаго Вѣстника* въ систематическое, звѣрское, мачихино битье цѣлый годъ, въ мачихину ненависть, которая, возрастая все болѣе и болѣе, кончилась швыркомъ ребенка за окошко. А она объ ребенкѣ и не думала даже за пять минутъ до совершенія своего ужаснаго преступленія.

Вы, Наблюдатель, засмѣетесь и скажете: да развѣ наказаніе розгами до рубцовъ не жестокость, не *мачихино* битье? Да, наказаніе до рубцовъ есть звѣрство, это такъ, но вѣдь этотъ случай (единичность его была подтверждена на судѣ, для меня же подтверждена теперь положительно), повторяю это, вѣдь не есть же систематическое, постоянное, звѣрское мачихино битье цѣлый годъ, это только *случай* и вышедшій изъ неумѣнія воспитывать, изъ ложнаго пониманія какъ нужно научить ребенка, а вовсе не изъ ненависти къ нему, или потому, что „его должность такая“. Такимъ образомъ, ваше изображеніе этой женщины, какъ злой мачихи, и то лицо, которое опредѣлилось на судѣ изъ дѣйствительныхъ фактовъ,—совершенная разница. Да, она вышвырнула ребенка, преступленіе страшное и звѣрское, но вѣдь не какъ злобная же мачиха она это совершила,—вотъ объ чемъ прежде всего вопросъ въ отвѣтъ на ваше голословное обвиненіе. Для чего же вы поддерживаете такое лютое обвиненіе, если сами знаете, что его доказать нельзя, что на судѣ оно было оставлено и что совѣмъ не было свидѣтелей его подтверждающихъ. Неужели для одного лишь литературнаго эффекта? Вѣдь выставя на видъ и доказывая, что это сдѣлала *мачиха*, заключившая этимъ убійствомъ цѣлый годъ истязаній ребенка (небывалыхъ вовсе)—вы тѣмъ самымъ извращаете впечатлѣніе малосвѣдущаго въ этомъ дѣлѣ читателя, исторгаете изъ его души сожалѣніе и милосердіе, которыхъ онъ поневолѣ не можетъ ощущать, прочтя статью вашу, къ извергу мачихъ; тогда какъ, не будь въ глазахъ его эта мачиха выставлена вами какъ мучительница ребенка, она бы, можетъ быть, и заслужила въ его сердцѣ хотя малое снисхожденіе, какъ больная, какъ болѣзненно-потрясенная, раздраженная беременная женщина, что ясно изъ фантастическихъ, дикихъ и загадочныхъ подробностей событія. Справедливо ли такъ поступать общественному дѣятелю, человекю ли?

Но вы еще и не то говорите. Вы написали, и опять-таки твердо и точно, какъ изучившій все дѣло до мельчайшей подробности наблюдатель:

«Аффектъ беременности»—ну, выдуманно новое жалкое слово. Какъ бы силенъ этотъ аффектъ ни былъ, однако, женщина подъ влияніемъ его *не бросалась на мужа*, ни на сосѣднихъ жильцовъ. Весь аффектъ ея исключительно предназначался для беззащитной дѣвочки, которую она тиранила цѣлый годъ безъ всякаго аффекта. На чемъ же основались присяжные въ оправданіи?

Но на чемъ же вы-то основались, Наблюдатель, чтобъ соорудить такое совершенное искаженіе дѣла? „Не бросалась на мужа!“ Но объ этомъ только и говорилось на судѣ, что ссоры съ мужемъ дошли у ней наконецъ (и только въ нѣсколько послѣднихъ дней, впрочемъ) до бѣшенства, до изступленія, которое и привело къ преступленію. Ссоры же были вовсе не изъ-за ребенка, потому что ребенокъ былъ тутъ буквально ни при чемъ, *не думала она въ эти дни даже о немъ вовсе*. „Вовсе мнѣ его и не надо было тогда“, какъ выразилась она сама.

Не для васъ, а для читателей моихъ, постараюсь обозначить оба эти характера, ссорившихся мужа и жены, такъ, какъ я ихъ и прежде еще, до приговора, понималъ и какъ они еще болѣе уже послѣ приговора, при самомъ пристальномъ наблюденіи моемъ, разъяснились мнѣ. Нескромности относительно этихъ двухъ лицъ не можетъ быть тутъ очень большой съ моей стороны: ужъ много и безъ того было оглашено на судѣ. Да и дѣлаю я это собственно къ ихъ оправданію. Итакъ, вотъ въ чемъ дѣло. Мужъ прежде всего человѣкъ твердый, прямой, честнѣйшій и добрѣйшій (т.-е. даже великодушный, какъ доказалъ онъ впоследствии), но нѣсколько слишкомъ пуританинъ, слишкомъ наивно и даже сурово слѣдующій разъ навсегда принятому взгляду и убѣжденію. Тутъ и нѣкоторая разница въ лѣтахъ съ женой, онъ много старше, тутъ и то еще, что онъ вдовецъ. Человѣкъ онъ работающій цѣлый день, и хотя ходитъ въ нѣмецкомъ платьѣ и смотритъ какъ бы „образованнымъ“ человѣкомъ, но человѣкъ никакого особеннаго образованія не получившій. Замѣчу еще, что въ наружности его несомнѣнный видъ собственнаго достоинства. Прибавлю, что онъ не очень разговорчивъ, не очень веселъ или смѣшливъ, можетъ быть, даже обращеніе его нѣсколько и тяжело. Она взята имъ за себя еще очень молодая. Это была честная дѣ-

вушка, по ремеслу швея, добывавшая мастерствомъ порядочныя деньги.

Какъ они сошлись, не знаю. Вышла она за него по охотѣ, „по любви“. Но очень скоро началась разладица и хотя долго не доходило до крайностей, но недоумѣніе, разьединеніе и даже, наконецъ, озлобленіе нарастали съ обѣихъ сторонъ, хотя и медленно, но твердо и неуклонно. Дѣло въ томъ, а, можетъ-быть, въ томъ вся и причина, что оба, несмотря на возрастающее озлобленіе, любили другъ друга даже слишкомъ горячо и такъ до самаго конца. Любовь-то и ожесточала требованія съ обѣихъ сторонъ, усиливала ихъ, прибавляла къ нимъ раздраженіе. А тутъ какъ разъ и ея характеръ. Это характеръ довольно замкнутый и какъ бы нѣсколько гордый. Бываютъ такіе и межъ женщинъ и межъ мужчинъ, которые хоть и питаютъ въ сердцѣ даже самыя горячія чувства, но при этомъ всегда какъ-то стыдливы на ихъ обнаруженіе; въ нихъ мало ласки, мало у нихъ ласкающихъ словъ, обниманій, прыганія на шею. Если за это ихъ назовутъ безсердечными, безчувственными, то они тогда еще болѣе замыкаются въ себя. При обвиненіяхъ они рѣдко стараются разъяснить дѣло сами, напротивъ, оставляютъ эту заботу на обвинителя: „самъ, дескать, угадай; коли любишь, долженъ узнать, что я права“. И если онъ не узнаетъ и озлобляется болѣе и болѣе, то и она озлобляется болѣе и болѣе. И вотъ этотъ мужъ съ самаго начала сталъ круто (хоть и вовсе не жестоко) упрекать ее, читать ей наставленія, учить ее, попрекать прежней женой своей, что было ей особенно тяжело. Все, однако, шло не особенно дурно, но такъ, однако, всегда стало выходить, что при упрекахъ и обвиненіяхъ съ его стороны, начались съ ея стороны ссоры и злобныя рѣчи, а не желаніе объясниться, покончить недоумѣніе какъ-нибудь окончательнымъ разъясненіемъ, указаніемъ причинъ. Объ этомъ даже и забыли наконецъ. Кончилось тѣмъ, что въ ея сердцѣ (у ней первой, а не у мужа) начались угрюмыя чувства, разочарованіе вмѣсто любви. И все это возвратило притомъ довольно бессознательно,—тутъ жизнь рабочая, тяжелая, объ чувствахъ-то и некогда слишкомъ думать. Онъ уходитъ на работу, она занимается хозяйствомъ, стряпаетъ, полы даже моетъ. У нихъ по длинному коридору въ казенномъ зданіи маленькія комнаты, по одной на каждое семейство служащихъ въ этомъ ка-

зенномъ заведеніи женатыхъ работниковъ. Случилось такъ, что она, съ позволенія мужа, ушла на именины, въ семейный домъ, къ тому мастеру, у котораго все свое дѣтство и отрочество училась своему мастерству и съ которыми и она и мужъ продолжали быть знакомыми. Мужъ, занятый работою, остается на этотъ разъ дома. На именинахъ оказалось очень весело, было много приглашенныхъ, угощеніе, начались танцы. Пропировали до утра. Молодая женщина, привыкшая у мужа къ довольно скучному житію въ одной тѣсной комнатѣ и къ вѣчной работѣ — видно вспомнила свое дѣвичье житіе и повеселилась *на балу* такъ долго, что и забыла о срокѣ, на который была отпущена. Кончилось тѣмъ, что уговорили ее заночевать въ гостяхъ, къ тому же возвращаться домой было очень далеко. Вотъ тутъ-то и разсердился мужъ, первый разъ почевавшій безъ жены. Разсердился очень: на другой день, бросивъ работу, пустился за ней къ гостямъ, разыскалъ ее и—тутъ же, при гостяхъ, *наказалъ*. Возвратились они домой уже молча и два дня и двѣ ночи потомъ не говорили другъ съ другомъ вовсе и не ѣли вмѣстѣ. Узналъ я все это отрывками, она же сама мало разъяснила мнѣ, несмотря на мои вопросы, тогдашнее свое состояніе духа. „Не помню я, объ чемъ тогда и думала, всѣ эти два дня, а все думалось. На нее (на дѣвочку) я тогда *и не смотрѣла вовсе*. Я все помню, какъ это сдѣлалось, но какъ я это сдѣлала, ужъ и не знаю, какъ сказать“. И вотъ, на третій день утромъ, мужъ рано ушелъ на работу, дѣвочка еще спитъ. Мачиха возится съ печкой. Дѣвочка, наконецъ, просыпается; мачиха машинально, по обыкновенію, ее умываетъ, обуваетъ, одѣваетъ и сажаетъ за кофей... — „и не думаю я о ней *во все*“. Ребенокъ сидитъ, пьетъ свою чашку, кушаетъ,—и вотъ вдругъ я на нее тогда поглядѣла“...

IV:

Злые психологи. Акушеры психіатры.

Послушайте, Наблюдатель, вы утверждаете твердо и точно, что все дѣло произошло безъ колебаній, обдуманно, спокойно, била, дескать, цѣлый годъ, наконецъ обдумала, спокойно взяла рѣшеніе и выбросила за окно младенца: „*ни внезапности* проявленія ненависти къ ребенку“—пишете вы въ негодованіи,—„ни раскаянія послѣ совершенія убійства нѣтъ, все цѣльно, все логично въ проявленіи

одной и той же злой воли. И эту женщину оправдывают. Вотъ собственные слова ваши. Но, вѣдь, отъ обвиненія въ предумышленности преступленія отказался самъ прокуроръ, извѣстно ли вамъ это, Наблюдатель, — отказался публично, гласно, торжественно, въ самый роковой моментъ суда. А прокуроръ, однако, обвинялъ преступницу съ жестокою настойчивостью. Какъ же вы-то, Наблюдатель, утверждаете уже послѣ прокурорскаго отступленія, что не было внезапности, а, напротивъ, все было цѣльно и логично въ проявленіи одной и той же злой воли? Цѣльно и логично! Стало-быть, обдуманно, стало-быть, преднамѣренно. Припомню все еще разъ быстрыми штрихами: она велитъ дѣвочкѣ встать на подоконникъ и выглянуть за окошко, и когда дѣвочка посмотрѣла за окно, она приподняла ее за ножки и выбросила съ высоты 5¹/₂ сажень. Затѣмъ заперла окно, одѣлась и пошла въ участокъ доносить на себя. Скажите, неужели это цѣльно и логично, а не фантастично? И, во-первыхъ, для чего поить-кормить ребенка, если ужъ дѣло было замышлено давно въ умѣ ея, для чего ждать, пока та выпьетъ кофе и съѣстъ свой хлѣбъ? Какъ можно (и естественно ли) даже не заглянуть за окно, уже выбросивъ дѣвочку. И позвольте, къ чему доносить на себя? Вѣдь, если все вышло изъ злобы, изъ ненависти къ дѣвочкѣ, „которую она была цѣлый годъ“, то для чего, убивъ эту дѣвочку, придумавъ и исполнивъ, наконецъ, это давно и спокойно замышленное убійство, идти тотчасъ же доносить на себя? Ненавистной дѣвочкѣ пусть смерть, а ей-то для чего себя губить? Кромѣ того, если сверхъ ненависти къ ребенку былъ и еще мотивъ, чтобъ убить его, то-есть ненависть къ мужу, желаніе отомстить мужу смертью его ребенка, то вѣдь она прямо могла сказать мужу, что шалунья дѣвочка сама влѣзла на окошко, и сама вывалилась, вѣдь все равно цѣль была бы достигнута, отецъ былъ бы пораженъ и потрясенъ, а обвинить ее въ умышенномъ убійствѣ никто бы въ мірѣ тогда не могъ, хотя бы и могло быть подозрѣніе? Гдѣ доказательства? Если бы даже дѣвочка и осталась жива, то кто бы могъ повѣрить ея лепету? Напротивъ, убійца тѣмъ вѣрнѣе и полнѣе достигла бы всего, къ чему стремилась, то-есть отомстила бы гораздо злѣе и больнѣе мужу, который, если бы даже и подозрѣвалъ ее въ убійствѣ, то именно тѣмъ пуще бы мучился ея безнаказанностью, видя,

что наказать ее, то-есть предать правосудію, невозможно. Наказавъ же себя сама тутъ же, погубивъ всю свою участь въ острогѣ, въ Сибири, въ каторгѣ, она тѣмъ самымъ давала мужу удовлетвореніе. Для чего же все это? И кто одѣвается, наряжается въ этомъ случаѣ, чтобъ идти губить себя? О, скажутъ мнѣ, она не просто хотѣла лишь отмстить ребенку и мужу, она хотѣла и бракъ разорвать съ мужемъ: сошлютъ на каторгу, бракъ разорванъ! Но ужъ не говоря о томъ, что объ разрывѣ брака можно бы было распорядиться и придумать иначе, чѣмъ губя, девятнадцати лѣтъ, всю жизнь и свободу свою,—не говоря уже объ этомъ, согласитесь, что человѣкъ, рѣшающійся погубить себя сознательно, броситься въ разверзшуюся подъ ногами бездну безо всякой оглядки, безъ малѣйшаго колебанія,—согласитесь, что въ этой человѣческой душѣ должно быть страшное чувство въ ту минуту, мрачное отчаяніе, позывъ къ гибели неустойчивый, позывъ броситься и истребить себя,—а если такъ, то можно ли, можно ли сказать, сохраняя здравый смыслъ, что „ни *внезапности*, ни раскаянія въ душѣ не было!“ Не было если раскаянія, то были мракъ, проклятіе, сумасшествіе. Ужъ, по крайней мѣрѣ, нельзя сказать, что было все цѣльно, все логично, все предумышленно, безъ *внезапности*. Нужно быть самому въ „аффектъ“, чтобъ утверждать это. Не иди она доносить на себя, останься дома, солги людямъ и мужу, что ребенокъ убитъ самъ — было бы дѣйствительно все логично и цѣльно, и безъ *внезапности* и въ проявленіи злой воли; но погубленіе и себя тутъ же, не вынужденное, а добровольное, ужъ, конечно, свидѣтельствуешь, по крайней мѣрѣ, объ ужасномъ и возмущенномъ душевномъ состояніи убійцы. Это мрачное душевное состояніе продолжалось долго, нѣсколько дней. Выраженіе: „ну, живуча“ было выставлено защитникомъ экспертомъ же (а не обвиненіемъ), при обрисовкѣ имъ передъ судомъ того мрачнаго, холоднаго, какъ бы омертвѣвшаго духовнаго состоянія подсудимой послѣ совершенія ею преступленія, а не какъ зловбную, холодную, нравственную безчувственность съ ея стороны. Моя вся бѣда была въ томъ, что я, прочитавъ тогда первый приговоръ суда и пораженный именно странностью и фантастичностью всѣхъ подробностей дѣла, и взявъ въ соображеніе сообщенный въ тѣхъ же газетахъ фактъ о ея беременности, на пятомъ мѣсяцѣ, во время совершенія убійства, не могъ, совершенно не-

вольно, не подумать: не повліяла ли тутъ и беременность, т.-е. какъ я писалъ тогда, не случилось ли такъ дѣло: „посмотрѣла она на ребенка и подумала въ злобѣ своей: вотъ бы выбросить за окошко? Но будучи не беременна—подумала бы, можетъ быть, по злобѣ своей, да и не сдѣлала бы, не выбросила, а беременная—взяла, да и сдѣлала?“ Ну, вотъ вся бѣда моя въ томъ, что я тогда такъ подумалъ и такъ написалъ. Но неужели съ однихъ этихъ словъ только кассировали приговоръ и потомъ оправдали убійцу? Вы смѣтаетесь, Наблюдатель, надъ экспертами! Вы утверждаете, что лишь одинъ изъ нихъ пяти сказалъ, что преступница дѣйствительно была въ аффектъ беременности, а что трое другихъ лишь выразились, что могло быть вліяніе беременности, но не сказали положительно, что оно дѣйствительно было. Изъ этого вы выводите, что лишь одинъ экспертъ оправдалъ подсудимую *положительно*, а четверо нѣтъ. Но вѣдь такое разсужденіе ваше невѣрно: вы слишкомъ много требуете отъ совѣсти чело-вѣческой. Довольно и того, что тремъ экспертамъ, очевидно, не хотѣлось оправдать подсудимую *положительно*, т.-е. взять это себѣ на душу, но факты до того были сильны и очевидны, что эти ученые все-таки поколебались и кончилось тѣмъ, что они не могли сказать: *нѣтъ*, прямо и просто, а *принуждены* были сказать, что „дѣйствительно могло быть вліяніе болѣзненное въ моментъ преступленія“. Ну, а для присяжныхъ вѣдь это и приговоръ: коли не могли не сказать, что „могло быть“, значить, пожалуй, и впрямь оно было. Такое сильное сомнѣніе присяжныхъ естественно не могло не повліять и на ихъ рѣшеніе, и это совершенно такъ и слѣдовало по-высшей правдѣ: неужели же убить приговоромъ ту, въ полной виновности которой трое экспертовъ явно сомнѣваются, а четвертый, Дюковъ, экспертъ именно по душевнымъ болѣзнямъ, прямо и твердо приписываетъ все злодѣяніе тогдашнему разстроенному душевному состоянію преступницы? Но Наблюдатель особенно ухватился за г. Флоринскаго, пятаго эксперта, не согласившагося съ мнѣніемъ четырехъ первыхъ экспертовъ: онъ, дескать, акушеръ, онъ больше всѣхъ долженъ знать въ болѣзняхъ женщинъ. Это почему же онъ долженъ знать въ душевныхъ болѣзняхъ больше самихъ экспертовъ психіатровъ? Потому что онъ акушеръ, и занимается не психіатріей, а совсѣмъ другимъ дѣломъ? Не совсѣмъ и это логично.

V.

Одинъ случай, по-моему, довольно много разъясняющій.

Теперь расскажу одинъ случай, который, по-моему, можетъ кое-что разъяснить въ этомъ дѣлѣ окончательно и послужить прямо той цѣли, съ которою предпринялъ я эту статью. На третій день послѣ оправдательнаго приговора надъ подсудимой Корниловой (22 апрѣля 1877 г.), они, мужъ и жена, пріѣхали ко мнѣ утромъ. Еще наканунѣ они оба были въ дѣтскомъ пріютѣ, въ которомъ помѣщена теперь пострадавшая дѣвочка (выброшенная изъ окошка), и теперь на другой день снова туда отправлялись. Кстати, участь ребенка теперь обезпечена и нечего восклицать: „Горе теперь ребенку!..“ и т. д. Отецъ, когда жену взяли въ острогъ, самъ помѣстилъ ребенка въ этотъ дѣтскій пріютъ, не имѣя никакой возможности присматривать за нимъ, уходя съ утра до ночи на работу. А по возвращеніи жены, они рѣшились ее оставить тамъ въ пріютѣ, потому что тамъ ей очень хорошо. Но на праздники они часто берутъ ее къ себѣ домой. Она гостила у нихъ и недавно на Рождествѣ. Несмотря на свою работу, съ утра до ночи, и на грудного еще ребенка (родившагося въ острогѣ) на рукахъ, мачиха находить иногда и теперь время урваться и сбѣгать въ пріютъ къ дѣвочкѣ, снести ей гостинцу и проч. Когда же была еще въ острогѣ, то, вспоминая свой грѣхъ передъ ребенкомъ, она часто мечтала, какъ бы повидаться съ нимъ, сдѣлать хоть что-нибудь такъ, чтобъ ребенокъ забылъ о случившемся. Эти фантазіи были какъ-то странны отъ такой сдержанной, даже мало довѣрчивой женщины, какою была Корнилова во все время подъ судомъ. Но фантазіямъ этимъ суждено было осуществиться. Передъ Рождествомъ, съ мѣсяцъ назадъ, не выдавъ Корниловыхъ мѣсяцевъ шесть, я зашелъ къ нимъ на квартиру, и Корнилова первымъ словомъ мнѣ сообщила, что дѣвочка „прыгаетъ къ ней въ радости на шею и обнимаетъ ее каждый разъ, когда она приходитъ къ ней въ пріютъ“. И когда я уходилъ отъ нихъ, она мнѣ вдругъ сказала: „Она забудетъ...“

И такъ они ко мнѣ заѣхали утромъ на третій день по оправданіи ея... Но я все отступаю, отступлю и еще разъ на минутку. Наблюдатель юмористично и зло острить надо мною въ своей статьѣ за эти посѣщенія мои Корниловой въ острогѣ. „Онъ дѣйствительно вошелъ въ это положе-

кіе" — (т.-е. въ положеніе беременной женщины), — говорить онъ про меня: „ѣздилъ къ одной дамѣ въ тюрьму, былъ пораженъ ея смиреніемъ, и въ нѣсколькихъ нумерахъ „Дневника“ выступилъ горячимъ ея защитникомъ“. Во-первыхъ, къ чему тутъ слово „дама“, къ чему этотъ дурной тонъ? Вѣдь Наблюдателю отлично извѣстно, что это не дама, а простая крестьянка, работница съ утра до ночи; она стряпааетъ, моетъ полы и шьетъ на продажу, если урветъ время. Бывалъ же я у нея въ острогѣ, ровно по разу въ мѣсяцъ, сиживалъ минутъ по 10, много четверть часа, не болѣе, большею частью въ общей камерѣ для подсудимыхъ женщинъ, имѣющихъ грудныхъ младенцевъ. Если я съ любопытствомъ присматривался къ этой женщинѣ и старался уяснить себѣ этотъ характеръ, — то что же въ томъ дурного, подлежащаго насмѣшкамъ и юмору? Но вернемся къ моему анекдоту.

И такъ, пріѣхали они съ визитомъ, сидятъ у меня, оба въ какомъ-то прониженномъ серьезномъ состояніи духа. Мужа я до тѣхъ поръ мало зналъ. И вдругъ онъ говоритъ мнѣ: „третьяго дня, какъ мы воротились домой — (это послѣ оправданія, стало быть, часу въ двѣнадцатомъ ночи, а встаетъ онъ въ пять часовъ утра), — то тотчасъ сѣли за столъ, я вынулъ евангеліе и сталъ ей читать“. Признаюсь, когда онъ сообщилъ это, мнѣ вдругъ подумалось, глядя на него: „да онъ и не могъ иначе сдѣлать, это типъ, цѣльный типъ, это можно бы было угадать“. Однимъ словомъ, это пуританинъ, человѣкъ честиѣйшій, серьезнѣйшій, несомнѣнно добрый и великодушный, но который ничего не уступитъ изъ своего характера и ничего не отдастъ изъ своихъ убѣжденій. Этотъ мужъ смотритъ на бракъ со всею вѣрою, именно какъ на таинство. Это одинъ изъ тѣхъ супруговъ, и теперь еще сохранившихся на Руси, которые, по старому русскому преданію и обычаю, придя отъ вѣнца и уже затворившись съ нововѣнчанною женою въ спальнѣ своей, первымъ дѣломъ бросаются передъ образомъ на колѣни и долго молятся, прося у Бога благословенія на свое будущее. Подобно тому онъ поступилъ и тутъ: вводя вновь свою жену въ домъ и возобновляя съ ней расторгнутый страшнымъ преступленіемъ ея бракъ свой, онъ первымъ дѣломъ развернулъ евангеліе и сталъ ей читать его, нисколько не удерживаясь въ мужественной и серьезной своей рѣшительности хотя бы тѣмъ соображеніемъ, что женщина эта по-

чти падаетъ отъ усталости, что она страшно была потрясена еще готовясь къ суду, а въ этотъ послѣдній роковой для нея день суда вынесла столько подавляющихъ впечатлѣній, нравственныхъ и физическихъ, что уже, конечно, не грѣшно бы было даже и такому строгому пуританину, какъ онъ, дать ей прежде хоть каплю отдохнуть и собраться съ духомъ, что было бы даже и подобающе съ цѣлью, которую онъ имѣлъ, развертывая передъ ней евангеліе. Такъ что мнѣ даже показался этотъ поступокъ его чуть ли не неловкимъ, — слишкомъ уже прямолинейнымъ, въ томъ смыслѣ, что онъ именно могъ не достигнуть цѣли своей. Слишкомъ виновную душу, и особенно если она сама уже слишкомъ чувствуетъ свою виновность и много уже вынесла изъ-за того муки, не надо слишкомъ явно и *постыжно* укорять въ ея виновности, ибо можно достигнуть обратнаго впечатлѣнія, и особенно въ томъ случаѣ, если раскаяніе и безъ того уже въ душѣ ея. Тутъ человѣкъ, отъ котораго она зависитъ, поднявшійся надъ ней въ высшемъ ореолѣ судьи, имѣетъ какъ бы нѣчто въ ея глазахъ безошадное, слишкомъ уже самовластно вторгающееся въ ея душу, и сурово отталкивающее ея раскаяніе и возродившіяся въ ней добрыя чувства: „Не отдыхъ, не ѣда, не питье нужны такой какъ ты, а вотъ садись и слушай какъ надо жить“. Когда они уже уходили, мнѣ удалось замѣтить ему мелькомъ, чтобъ онъ принимался вновь *за это дѣло* не столь строго, или лучше сказать не такъ бы сгнѣшилъ, не такъ бы прямо домилъ и что такъ, можетъ быть, было бы вѣрнѣе. Я выразился кратко и ясно, но все же думалъ, что онъ, можетъ быть, меня не пойметъ. А онъ вдругъ мнѣ и замѣчаетъ на это: „А она мнѣ тогда же, какъ только вошли въ домъ и какъ только мы стали читать, и сказала все, какъ вы ее, въ послѣднее посѣщеніе ваше, учили добру, въ случаѣ если бъ ее въ Сибирь сослали, и усовѣщевали, какъ ей надо въ Сибири жить...“

А это вотъ какъ было: дѣйствительно я, ровно наканунѣ дня суда, заѣхалъ къ ней въ острогъ. Твердыхъ надеждъ на оправданіе не было у насъ ни у кого, ни у меня, ни у адвоката. У ней тоже. Я засталъ ее съ виду довольно твердою, она сидѣла и что-то шила, ребенку ея немного нездоровилось. Но была она не то что грустна, а какъ бы подавлена. У меня же въ головѣ насчетъ ея ходило нѣсколько мрачныхъ мыслей и я именно заѣхалъ

съ дѣлю сказать ей одно слово. Сослать ее, какъ мы твердо надѣялись, могли лишь на поселеніе, и вотъ, едва совершеннолѣтняя женщина, съ ребенкомъ на рукахъ, пустится въ Сибирь. Бракъ расторгнуть; на чужой сторонѣ, одной, беззащитной и еще недурной собою, такой молодой, — гдѣ ей устоять отъ соблазна, думалось мнѣ? Подлинно на развратъ толкаетъ ее судьба, я же знаю Сибирь: соблазнять тамъ страшно много охотниковъ, туда очень много ѣдетъ изъ Россіи неженатыхъ людей, служащихъ и аферистовъ. Упасть легко, но зато сибиряки, простой народъ и мѣщане — это самые безжалостные къ падшей женщинѣ люди. Мѣшать ей не помѣшаютъ, но разъ замаравшая свою репутацію женщина никогда уже не возстановитъ ее: вѣчное ей презрѣніе, слово укора, попреки, насмѣшки, и это до самой старости, до могилы. Прозвище особое дадутъ. А ребеночекъ ея (дѣвочка) какъ разъ *принуждена* будетъ наследовать карьеру матери: изъ дурного дома не найдетъ хорошаго и честнаго жениха. Но другое дѣло, если сосланная мать соблюдетъ себя въ Сибири честно и строго: молодая женщина, соблюдающая себя честно, пользуется огромнымъ уваженіемъ. Всякій-то ее защищаетъ, всякій-то ей пожелаетъ угодить, всякій-то передъ ней шалку сниметъ. Дочку она навѣрно пристроитъ. Даже сама можетъ современемъ, когда разглядятъ ее и увѣрятъ въ ней, вновь въ честный бракъ вступить, въ честную семью. (Въ Сибири о прошломъ, т.-е. за что сосланъ, ни въ острогахъ, ни куда бы ни сослали жить, не спрашиваютъ, рѣдко любопытствуютъ. Можетъ быть, это отъ того даже, что чуть ли не вся-то Сибирь, въ три эти столѣтія, произошла отъ ссыльныхъ, населилась ими). Вотъ все это мнѣ и вздумалось высказать этой молодой, едва совершеннолѣтней женщинѣ. И даже я нарочно выбралъ, чтобъ сказать ей это, именно этотъ послѣдній день передъ судомъ: характернѣе останется въ памяти, строже напечатлѣется въ душѣ, подумалось мнѣ. Выслушавъ меня какъ ей слѣдуетъ жить въ Сибири, если сошлютъ ее, она мрачно и серьезно, не поднимая на меня почти глазъ, поблагодарила меня. И вотъ, усталая, измученная, потрясенная всѣмъ этимъ страшнымъ многочасовымъ впечатлѣніемъ суда, а дома сурово посаженная мужемъ слушать евангеліе, она не подумала тогда про себя: „Хоть бы пожалѣль-то меня, хоть бы до завтрева отложилъ, а теперь накормилъ бы, даль отдохнуть“. Не обидѣлась и тѣмъ,

что такъ надъ ней возвышаются (NB. Обида за то, что слишкомъ уже надъ нами возвышаются, можетъ быть у самаго страшнаго, самаго сознающаго свое преступленіе преступника и даже у самаго раскаивающагося)—а, напротивъ, не нашла что лучше мужу сказать, какъ сообщить ему *поскорнѣй*, что вотъ и въ острогѣ ее учили тоже добру люди, что вотъ какъ учили ее жить на чужой сторонѣ, честно и строго соблюдая себя. И ужъ явно она сдѣлала это потому, что знала, что разсказъ объ этомъ доставитъ удовольствіе ея мужу, впадетъ въ его тонъ, ободритъ его: „значитъ она впрямь раскаивается, впрямь хочетъ жить хорошо“, подумаетъ онъ. Такъ онъ какъ разъ и подумалъ, а на мой совѣтъ: не пугать ее слишкомъ поспѣшной строгостью съ нею, прямо сообщилъ мнѣ, конечно, съ радостью въ душѣ: „нечего бояться за нее и осторожничать, она сама рада быть честной“...

Не знаю, но мнѣ кажется, что все это понятно. Поймутъ читатели, для чего я и сообщаю это. По крайней мѣрѣ, теперь хоть надѣяться можно, что великое милосердіе не испортило преступницу еще болѣе, а напротивъ, даже очень можетъ быть, что пало на хорошую почву. Вѣдь она и прежде, и въ острогѣ, и теперь считаетъ себя несомнѣнной преступницей, а оправданіе свое приписываетъ единственно лишь великому милосердію суда. „Аффекта беременности“ она сама не понимаетъ. И точно, она несомнѣнная преступница, она была въ полной памяти совершая преступленіе, она помнитъ каждое мгновеніе, каждую черточку совершеннаго преступленія, она только не знаетъ и даже себя самой не можетъ никакъ уяснить до сихъ поръ: „*Какъ это она могла тогда это сдѣлать и на это рѣшиться!*“ Да, г. Наблюдатель, судъ помиловалъ дѣйствительную преступницу, дѣйствительную, несмотря на несомнѣнный теперь и роковой „аффектъ беременности“, столь осмѣянный вами, г. Наблюдатель, и въ которомъ я глубоко и уже непоколебимо теперь убѣжденъ. Ну, а теперь рѣшите сами: если бѣ разорвали бракъ, отторгли ее отъ человѣка, котораго она несомнѣнно любила и любить и который для нея составляетъ все ея семейство, и одинокую, двадцатилѣтнюю, съ младенцемъ на рукахъ, беспомощную сослали въ Сибирь—на развратъ, на позоръ (вѣдь это паденіе-то въ Сибири навѣрно же бы случилось)—скажите, что толку въ томъ, что погибла, истлѣла бы жизнь, которая теперь кажется возобновилась

вновь, возвратилась къ истинѣ въ суровомъ очищеніи, въ суровомъ покаяніи, и съ обновившимся сердцемъ. Не лучше ли исправить, найти и возстановить человѣка, чѣмъ прямо снять съ него голову. Рѣзать головы легко по буквѣ закона, но разобрать по правдѣ, по-человѣчески, по-отчески, всегда труднѣе. Наконецъ, вѣдь вы знали же, что вмѣстѣ съ молодою двадцатилѣтнею матерью, т.-е. неопытною и навѣрно впереди жертвою нужды и разврата—ссылается и младенецъ ея... Но позвольте мнѣ вамъ сказать о младенцахъ словечко особо.

VI.

Врагъ ли я дѣтей? О томъ, что значить иногда слово „счастливая“.

Вся ваша статья, г. Наблюдатель, есть протестъ „противъ оправданія жестокаго обращенія съ дѣтьми“. То, что вы заступаетесь за дѣтей, конечно, дѣлаетъ вамъ честь, но со мной-то вы обращаетесь слишкомъ высокомерно.

«Надо имѣть всю ту силу воображенія—(говорите вы обо мнѣ)—которую, какъ извѣстно, отличается среди всѣхъ насъ г. Достоевскій, чтобы вполне войти въ положеніе женщины и уяснить себѣ всю нестрасимую аффектовъ беременность... Но г. Достоевскій слишкомъ впечатлительнъ, и притомъ «болѣзни проявленія воли» это—прямо по части автора «Бѣсовъ», «Идіота» и т. д., ему извинительно имѣть къ нимъ слабость. Я смотрю на дѣло проще и утверждаю, что послѣ такихъ примѣровъ, какъ оправданія жестокаго обращенія съ дѣтьми, этому обращенію, которое въ Россіи, какъ и въ Англіи, очень нерѣдко, не предстоитъ уже и тѣни устрашенія». И т. д., и т. д.

Во-первыхъ, о „слабости моей къ болѣзненнымъ проявленіямъ воли“ я скажу вамъ лишь то, что мнѣ дѣйствительно кажется иногда удавалось, въ моихъ романахъ и повѣстяхъ, *обличать* иныхъ людей, считающихъ себя здоровыми, и доказать имъ, что они больны. Знаете ли, что весьма многіе люди больны именно своимъ здоровьемъ, т.-е. непогрѣшной увѣренностью въ своей нормальности и тѣмъ самымъ зараженнымъ страшнымъ самообманомъ, безсовѣстнымъ самолюбованиемъ, доходящимъ иной разъ чуть ли ни до убѣжденія въ своей непогрѣшимости. Ну, вотъ, на такихъ-то мнѣ и случалось много разъ указывать моимъ читателямъ и даже, можетъ быть, доказать, что эти здоровяки далеко не такъ здоровы, какъ думаютъ, а, напротивъ, очень больны и что имъ надо идти лѣчиться. Что жъ, я не вижу въ этомъ ничего дурного, но г. Наблюдатель слишкомъ жестокъ ко мнѣ, потому что фраза его объ

„оправданіи жестокаго обращенія съ дѣтьми прямо и ко мнѣ относится; онъ только „капельку“ смягчаетъ ее: „ему де извинительно“. Вся статья его написана прямо для доказательства, что во мнѣ, отъ пристрастія моего къ „болѣзненнымъ проявленіямъ воли“, до того извратился здравый смыслъ, что я скорѣе готовъ пожалѣть истязателя ребенка, звѣря-мачиху и убійцу, а не истязуемую жертву, не слабую, жалкую дѣвочку, битую, поруганную и, наконецъ, убитую. Это мнѣ обидно. Въ противоположность моей болѣзненности Наблюдатель прямо, поспѣшно и откровенно указываетъ на себя, выставляетъ свое здоровье: „Я дескать, смотрю на дѣло проще (чѣмъ г. Достоевскій) и утверждаю, что послѣ такихъ примѣровъ, какъ оправданія жестокаго обращенія съ дѣтьми“ и т. д., и т. д. И такъ я оправдываю жестокое обращеніе съ дѣтьми—страшное обвиненіе! Позвольте же и мнѣ, въ такомъ случаѣ, защитить себя. Не стану указывать на прежнюю тридцатилѣтнюю мою литературную дѣятельность, чтобы рѣшить вопросъ: большой ли я врагъ дѣтей и любитель жестокаго обращенія съ ними, но напому лишь о двухъ послѣднихъ годахъ моего авторства, т.-е. объ изданіи „Дневника Писателя“. Когда былъ процессъ Кронеберга, мнѣ случилось—таки, несмотря на все мое пристрастіе къ „болѣзненнымъ проявленіямъ воли“, заступиться за ребенка, за жертву, а не за истязателя. Слѣдственно и я *иногда* беру сторону здраваго смысла, г. Наблюдатель. Теперь я даже сожалѣю, зачѣмъ вы не выступили тогда тоже въ защиту ребенка, г. Наблюдатель; навѣрно бы вы написали самую горячую статью. Но я что-то не помню ни одной горячей тогда статьи за ребенка. Слѣдственно вы тогда не подумали заступиться. Потомъ, еще недавно, прошлымъ лѣтомъ, мнѣ случилось заступиться за малолѣтнихъ дѣтей Джунковскихъ, тоже подвергавшихся истязаніямъ въ родительскомъ домѣ. О Джунковскихъ тоже вы ничего не написали; впрочемъ, и никто не написалъ, дѣло понятное: всѣ были заняты такими важными политическими вопросами. Наконецъ, я бы могъ указать даже не на одинъ, а на нѣсколько случаевъ, когда я, въ эти два года, въ „Дневникѣ“ заговаривалъ о дѣтяхъ, объ ихъ воспитаніи, объ ихъ жалкой судьбѣ въ нашихъ семействахъ, о дѣтяхъ преступникахъ въ нашихъ заведеніяхъ для исправленія ихъ, даже упомянулъ объ одномъ мальчикѣ у Христа на елкѣ, — происшествіе, конечно, живое, но

однако и не свидѣтельствующее прямо объ моей безчувственности и равнодушіи къ дѣтямъ. Я вамъ скажу, г. Наблюдатель, вотъ что: когда я прочелъ въ газетѣ въ первый разъ о преступленіи Корниловой, о неумолимомъ приговорѣ надъ нею и когда я невольно былъ пораженъ соображеніемъ: что, можетъ быть, преступница вовсе не такъ преступна, какъ оно кажется (замѣтите, Наблюдатель, что о „мачихиномъ битвѣ“ и тогда почти ничего не говорилось въ газетныхъ отчетахъ о процессѣ и обвиненіе это даже и тогда уже не поддерживалось),— то я, рѣшившись написать что-нибудь въ пользу Корниловой, слишкомъ понималъ тогда и то, на что я рѣшался. Я въ этомъ прямо теперь вамъ признаюсь. Я вѣдь отлично зналъ, что я пишу статью не симпатичную, что я заступаю за истязателя, и противъ кого же, противъ малаго ребенка. Я предугадывалъ, что меня обвинять *име* въ безчувственности, въ самомнѣннн, въ „болѣзненности“ даже: заступаетъ де за мачиху, убившую ребенка! Я слишкомъ предчувствовалъ эту „прямолинейность“ обвинения отъ нѣкоторыхъ судей,—вотъ какъ отъ васъ, напримѣръ, г. Наблюдатель, такъ что я даже нѣкоторое время и колебался, но кончилось тѣмъ, что наконецъ все же рѣшился: „Если я вѣрю, что тутъ правда, то стоитъ ли служить жи изъ-за исканія популярности?“ — вотъ на чемъ я остановился въ концѣ концовъ. Кромѣ того, меня ободрила и вѣра въ моихъ читателей: „Они разберутъ наконецъ, подумалъ я, что вѣдь нельзя же меня обвинить въ желаніи оправдать истязаніе дѣтей, и если я заступаю за убійцу, выставляя свое подозрѣніе въ ней болѣзненнаго и сумасшедшаго состоянія, во время совершенія ея злодѣйства, то вѣдь не заступаю же я тѣмъ самымъ за самое злодѣйство и не радъ же вѣдь я тому, что били и убили ребенка, а, напротивъ, можетъ быть, очень и очень пожалѣлъ ребенка, не менѣе кого другого“...

Вы зло посмѣялись надо мною, г. Наблюдатель, за одну фразу въ статьѣ моей объ оправданіи подсудимой Корниловой:

«Мужъ оправданной, — пишетъ г. Достоевскій въ вышедшемъ на дняхъ «Дневникѣ» (говорите вы), — увезъ ее въ тотъ же вечеръ уже въ одиннадцатомъ часу, къ себѣ домой, и она, счастливая, вошла опять въ свой домъ». Какъ трогательно (прибавляете вы), но горе бѣдному ребенку и т. д. и т. д.

Мнѣ кажется, что я не могу написать такой глупости.

Правда, вы цитуете мою фразу точно, но вы что сделали: вы перерезали ее пополам и там, где ничего не стояло, поставили точку. Смысл-то и вышел тот, который вам хотѣлось выставить. У меня точки на этомъ мѣстѣ нѣтъ, фраза продолжается, есть и другая половина ея, и, думаю, что вмѣстѣ съ этой другой, вами отброшенной половиной, фраза вовсе не такъ безтолкова и „трогательна“, какъ она представляется. Вотъ эта фраза моя, но вся цѣликомъ, безъ выкидокъ.

«Мужъ оправданной увелъ ее въ тотъ же вечеръ, уже въ одиннадцатомъ часу къ себѣ домой, и она, счастливая, вошла опять въ свой домъ почти послѣ годового отсутствія, съ впечатлѣніемъ огромнаго вынесеннаго ею урока на всю жизнь и явнаго Божьяго перста во всемъ этомъ дѣлѣ, хотя бы только начиная съ чудеснаго спасенія ребенка»...

Видите ли, г. Наблюдатель, я даже готовъ оговориться и извиниться передъ вами въ сейчасъ высказанномъ вамъ упрекѣ за перерезанную на-двое мою фразу. Дѣйствительно, я самъ замѣчаю теперь, что фраза, можетъ быть, вовсе не такъ ясна, какъ я надѣялся, и что можно ошибиться въ смыслѣ ея. Ее нужно нѣсколько пояснить и я сдѣлаю это теперь. Тутъ все дѣло въ томъ, какъ я понимаю слово: „счастливая“. Счастье оправданной я ставилъ не въ томъ только, что ее отпустили на волю, а въ томъ, что она „вошла въ домъ свой съ впечатлѣніемъ огромнаго, вынесеннаго ею урока на всю жизнь и съ предчувствіемъ надъ собою явнаго перста Божія“. Вѣдь нѣтъ выше счастья, какъ увѣриться въ милосердіи людей и въ любви ихъ другъ къ другу. Вѣдь это вѣра, цѣлая вѣра, на всю уже жизнь! А какое же счастье выше вѣры? Развѣ эта бывшая преступница можетъ теперь усомниться въ людяхъ хоть когда-нибудь, въ людяхъ какъ въ чело-вѣчествѣ и въ его цѣломъ, великомъ, цѣлесообразномъ и святомъ назначеніи? Войти къ себѣ въ домъ погибавшему, пропадавшему, съ такимъ могущественнымъ впечатлѣніемъ новой великой вѣры, есть величайшее счастье, какое только можетъ быть. Мы знаемъ, что иные самые благородные и высокіе умы весьма даже часто страдали всю жизнь своимъ невѣріемъ въ цѣлесообразность великаго назначенія людей, въ ихъ доброту, въ ихъ идеалы, въ божеское происхожденіе ихъ и умирали въ грустномъ разочарованіи. Вы, конечно, улыбнетесь надо мной и скажете, можетъ быть, что я и тутъ фантазирую, и что

у темной, грубой Корниловой, вышедшей изъ черни и лишенной образованія, не можетъ быть въ душѣ ни такихъ разочарованій, ни такихъ умиленій. Охъ, неправда! Назвать только они, эти темные люди, не умѣютъ это все по-нашему и объяснить это нашимъ языкомъ, но чувствуютъ они, сплошь и рядомъ, такъ же глубоко, какъ и мы, „образованные люди“, и воспринимаютъ чувства свои съ такимъ же счастьемъ, или съ такою же грустью и болью, какъ и мы же.

Разочарованіе въ людяхъ, невѣріе въ нихъ бываетъ и у нихъ также какъ и у насъ. Если бъ Корнилову сослали въ Сибирь и она бы тамъ упала и погибла, — неужели вы думаете, что она бы не почувствовала въ какую-нибудь горькую минуту жизни весь ужасъ своего паденія и не унесла бы на сердцѣ своемъ, можетъ быть, до гроба озлобленія, тѣмъ болѣе горькаго, что оно было бы для нея безпредметно, ибо кромѣ себя, она не могла бы никого обвинить, потому что, повторяю вамъ это, она вполнѣ увѣрена, и до сихъ поръ, что она *несомнѣнная преступница* и только не знаетъ, какъ это такъ тогда случилось надъ нею. Теперь же, чувствуя, что она преступница, и считая себя таковою, и вдругъ прощенная людьми, облагодѣтельствованная и помилованная, какъ могла бы она не почувствовать обновленія и возрожденія въ новую и уже высшую прежней жизнь? Ее не одинъ кто-нибудь простилъ, но умилились надъ нею *все*, судъ, присяжные, все общество, стало быть. Какъ могла бы она послѣ того не вынести въ душѣ своей чувства огромнаго долга впредь на всю жизнь свою, передъ всѣми ее пожалѣвшими, т.-е. передъ всѣми людьми на свѣтѣ. Всякое *великое* счастье носить въ себѣ и нѣкоторое страданіе, ибо возбуждаетъ въ насъ высшее сознаніе. Горе рѣже возбуждаетъ въ насъ въ такой степени ясность сознанія, какъ великое счастье. Великое, т.-е. высшее счастье *обязываетъ* душу. (Повторю: выше нѣтъ счастья, какъ увѣрять въ доброту людей и въ любовь ихъ другъ къ другу). Когда сказано было великой грѣшницѣ, осужденной на побитіе камнями: „Иди въ свой домъ и не грѣши“, — неужели она воротилась домой, чтобы грѣшить? А потому весь вопросъ и въ дѣлѣ Корниловой заключается лишь въ томъ: на какую почву упало сѣмя. Вотъ почему мнѣ и показалось необходимымъ написать теперь эту статью. Прочитавъ семь мѣсяцевъ назадъ ваше напе-

деніе на меня, г. Наблюдатель, я именно рѣшился подождать отвѣчать вамъ, чтобы дополнить мои свѣдѣнія. И вотъ, мнѣ кажется, что по нѣкоторымъ, собраннымъ мною чертамъ, я уже безошибочно могъ бы сказать теперь, что сѣмя упало на добрую почву, что человѣкъ воскрешень, что никому это не сдѣлало зла, что душа преступницы именно подавлена и раскаяніемъ и вѣчнымъ благотворнымъ впечатлѣніемъ безграничнаго милосердія людей, и что трудно теперь сердцу ея стать злымъ, испытавъ на себѣ столько доброты и любви. Несомнѣннымъ же „аффектомъ беременности“, который такъ смущаетъ васъ, г. Наблюдатель, повторяю вамъ это, она вовсе не думаетъ оправдываться. Однимъ словомъ, мнѣ показалось вовсе не лишнимъ увѣдомить объ этомъ, кромѣ васъ, г. Наблюдатель, и всѣхъ читателей моихъ, и всѣхъ тѣхъ милосердыхъ людей, которые тогда оправдали ее. А объ дѣвочкѣ, г. Наблюдатель, тоже не заботьтесь и не восклицайте о ней: „Горе ребенку!“ Ея судьба тоже теперь довольно хорошо устроилась и — „она забудетъ“, есть серьезная надежда и на это.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

I.

Смерть Некрасова. О томъ, что сказано было на его могилѣ.

Умеръ Некрасовъ. Я видѣлъ его въ послѣдній разъ за мѣсяць до его смерти. Онъ казался тогда почти уже трупомъ, такъ что странно было даже видѣть, что такой трупъ говоритъ, шевелить губами. Но онъ не только говорилъ, но и сохранялъ всю ясность ума. Кажется, онъ все еще не вѣрилъ въ возможность близкой смерти. За недѣлю до смерти съ нимъ былъ параличъ правой стороны тѣла, и вотъ 28 утромъ я узналъ, что Некрасовъ умеръ наканунѣ, 27, въ 8 часовъ вечера. Въ тотъ-же день я пошелъ къ нему. Страшно изможденное страданіемъ и искаженное лицо его какъ-то особенно поражало. Уходя, я слышалъ какъ псалтирщикъ, чѣтко и протяжно прочелъ надъ покойнымъ: „Нѣсть человѣкъ иже не согрѣшитъ“. Воротаясь домой, я не могъ уже сѣсть за работу; взялъ всѣ три тома Некрасова и сталъ читать съ первой страницы. Я просидѣлъ всю ночь до шести часовъ утра, и всѣ эти тридцать лѣтъ какъ будто я прожилъ снова. Эти первыя четыре стихотворенія, которыми начинается первый томъ

его стиховъ, появились въ Петербургскомъ Собрникѣ, въ которомъ явилась и моя первая повѣсть. Затѣмъ, по мѣрѣ чтенія (а я читалъ сподрядъ), передо мной пронеслась какъ-бы вся моя жизнь. Я узналъ и припомнилъ и тѣ изъ стиховъ его, которые первыми прочелъ въ Сибири, когда, выйдя изъ моего четырехлѣтняго заключенія въ острогѣ, добился наконецъ до права взять въ руки книгу. Припомнилъ и впечатлѣніе тогдашнее. Короче, въ эту ночь я перечелъ чуть не двѣ трети всего, что написалъ Некрасовъ, и буквально въ первый разъ далъ себѣ отчетъ: какъ много Некрасовъ, какъ поэтъ, во всѣ эти тридцать лѣтъ, занималъ мѣста въ моей жизни! Какъ поэтъ, конечно. Лично мы сходились мало и рѣдко и лишь однажды вполне съ беззаветнымъ, горячимъ чувствомъ, именно въ самомъ началѣ нашего знакомства, въ сорокъ пятомъ году, въ эпоху „Бѣдныхъ людей“. Но я уже рассказывалъ объ этомъ. Тогда было между нами нѣсколько мгновений, въ которыя, разъ навсегда, обрисовался передо мною этотъ загадочный человекъ самой существенной и самой затаенной стороною своего духа. Это именно, какъ мнѣ разомъ почувствовалось тогда, было раненое въ самомъ началѣ жизни сердце, и эта-то *никогда не заживавшая* рана его и была началомъ и источникомъ всей страстной, страдальческой поэзіи его на всю потомъ жизнь. Онъ говорилъ мнѣ тогда со слезами о своемъ дѣтствѣ, о безобразной жизни, которая измучила его въ родительскомъ домѣ, о своей матери — и то, какъ говорилъ онъ о своей матери, та сила умиленія, съ которою онъ вспоминалъ о ней, рождали уже и тогда предчувствіе, что если будетъ что-нибудь святое въ его жизни, но такое, что могло-бы спасти его и послужить ему маякомъ, путевой звѣздой даже въ самыя темныя и роковыя мгновенія судьбы его, то ужъ, конечно, лишь одно это первоначальное дѣтское впечатлѣніе дѣтскихъ слезъ, дѣтскихъ рыданій вмѣстѣ, обнявшись, гдѣ-нибудь украдкой, чтобъ не выдали (какъ рассказывалъ онъ мнѣ), съ мученицей матерью, съ существомъ столь любившимъ его. Я думаю, что ни одна потомъ привязанность въ жизни его не могла-бы такъ, какъ эта, повліять и властительно подѣйствовать на его волю и на инныя темныя неудержимыя влеченія его духа, преслѣдовавшія его всю жизнь. А темныя порывы духа связывались уже и тогда. Потомъ, помню, мы какъ-то разошлись, и довольно скоро; близость наша другъ съ другомъ про-

должалась не долге нѣсколькихъ мѣсяцевъ. Помогли и недоразумѣнія, и вѣшнія обстоятельства, и добрые люди. Затѣмъ, много лѣтъ спустя, когда я уже воротился изъ Сибири, мы хоть и не сходились часто, но, несмотря даже на разницу въ убѣжденіяхъ, уже тогда начинавшуюся, встрѣчаясь говорили иногда другъ другу даже странныя вещи—точно какъ будто въ самомъ дѣлѣ что-то продолжалось въ нашей жизни, начатое еще въ юности, еще въ сорокъ пятомъ году, и какъ-бы не хотѣло и не могло прерваться, хотя бы мы и по годамъ не встрѣчались другъ съ другомъ. Такъ однажды въ шестьдесятъ третьемъ, кажется, году, отдавая мнѣ томикъ своихъ стиховъ, онъ указалъ мнѣ на одно стихотвореніе, „Несчастные“, и внушительно сказалъ: „Я тутъ объ васъ думалъ, когда писалъ это“ (т.-е. объ моей жизни въ Сибири), „это объ васъ написано“. И наконецъ тоже въ послѣднее время мы стали опять иногда видать другъ друга, когда я печаталъ въ его журналѣ мой романъ „Подростокъ“...

На похороны Некрасова собралось нѣсколько тысячъ его почитателей. Много было учащейся молодежи. Процессія выноса началась въ 9 часовъ утра, а разошлись съ кладбища уже въ сумерки. Много говорилось на его гробѣ рѣчей, изъ литераторовъ говорили мало. Между прочимъ, прочтены были чьи-то прекрасные стихи. Находясь подъ глубокимъ впечатлѣніемъ, я протѣснился къ его раскрытой еще могилѣ, забросанной цвѣтами и вѣнками, и слабымъ моимъ голосомъ произнесъ вслѣдъ за прочими нѣсколько словъ. Я именно началъ съ того, что это было раненое сердце, разъ на всю жизнь, и не закрывавшаяся рана эта и была источникомъ всей его поэзіи, всей страстной до мученія любви этого человѣка ко всему, чтѣ страдаетъ, отъ насилія, отъ жестокости необузданной воли, чтѣ гнететъ нашу русскую женщину, нашего ребенка въ русской семьѣ, нашего простолюдина въ горькой, таеъ часто, долѣ его. Высказалъ тоже мое убѣжденіе, что въ поэзіи нашей Некрасовъ заключилъ собою рядъ тѣхъ поэтовъ, которые приходили со своимъ „новомъ словомъ“. Въ самомъ дѣлѣ (устраняя всякій вопросъ о художнической силѣ его поэзіи и о размѣрахъ ея),—Некрасовъ дѣйствительно былъ въ высшей степени своеобразенъ и дѣйствительно приходилъ съ „новымъ словомъ“. Былъ, наприкладъ, въ свое время поэтъ Тютчевъ, поэтъ обширнѣе его и художественнѣе, и, однако, Тютчевъ никогда не займетъ

такого виднаго и памятнаго мѣста въ литературѣ нашей, какое, безспорно, останется за Некрасовымъ. Въ этомъ смыслѣ онъ, въ ряду поэтовъ (т.-е. приходившихъ съ „новымъ словомъ“), долженъ прямо стоять вслѣдъ за Пушкинымъ и Лермонтовымъ. Когда я вслухъ выразилъ эту мысль, то произошелъ одинъ маленькій эпизодъ: одинъ голосъ изъ толпы крикнулъ, что Некрасовъ былъ *выше* Пушкина и Лермонтова и что тѣ были всего только „байронисты“. Нѣсколько голосовъ подхватили и крикнули: „да, выше!“ Я, впрочемъ, о высотѣ и о сравнительныхъ размѣрахъ трехъ поэтовъ и не думалъ высказываться. Но вотъ что вышло потомъ: въ „Биржевыхъ Вѣдомостяхъ“, г. Скабичевскій, въ посланіи своемъ къ молодежи по поводу значенія Некрасова, рассказывая, что будто-бы когда *кто-то* (т.-е. я), на могилѣ Некрасова, „вздумалъ сравнивать имя его съ именами Пушкина и Лермонтова, вы всѣ (т.-е. вся учащаяся молодежь) *въ одинъ голосъ, хоромъ* прокричали: „онъ былъ выше, выше ихъ“. Смѣю увѣрить г. Скабичевского, что ему не такъ передали и что мнѣ твердо помнится (надѣюсь, я не ошибаюсь), что сначала крикнулъ всего одинъ голосъ: „выше, выше ихъ“ и тутъ-же прибавилъ, что Пушкинъ и Лермонтовъ были „байронисты“ — прибавка, которая гораздо свойственнѣе и естественнѣе одному голосу и мнѣнію, чѣмъ *всѣмъ*, въ одинъ и тотъ-же моментъ, т.-е. тысячному хору — такъ что фактъ этотъ свидѣтельствуеетъ, конечно, скорѣе въ пользу моего показанія о томъ, какъ было это дѣло. И затѣмъ уже, сейчасъ послѣ перваго голоса, крикнуло еще нѣсколько голосовъ, но всего только нѣсколько, тысячнаго-же хора я не слышалъ, повторяю это и надѣюсь, что въ этомъ не ошибаюсь.

Я потому такъ на этомъ настаиваю, что мнѣ все-же было бы чувствительно видѣть, что *вся* наша молодежь впадаетъ въ такую ошибку. Благодарность къ великимъ отшедшимъ именамъ должна быть присуща молодому сердцу. Безъ сомнѣнія, ироническій крикъ о байронистахъ и возгласы: „выше, выше“, — произошли вовсе не отъ желанія затѣять надъ раскрытой могилой дорогаго покойника литературный споръ, что было бы неумѣстно, а что тутъ просто былъ горячій порывъ заявить какъ можно сильнѣе все накопившееся въ сердцѣ чувство умиленія, благодарности и восторга къ великому и столь сильно волновавшему насъ поэту, и который, хотя и въ гробѣ, но все

еще къ намъ такъ близокъ (ну, а тѣ-то великіе прежніе старики уже такъ далеко)! Но весь этотъ эпизодъ тогда же, на мѣстѣ, зажегъ во мнѣ намѣреніе объяснить мою мысль яснѣе въ будущемъ № „Дневника“ и выразить подробнѣе, какъ смотрю я на такое замѣчательное и чрезвычайное явленіе въ нашей жизни и въ нашей поэзіи, какимъ былъ Некрасовъ, и въ чемъ именно заключается, по моему, суть и смыслъ этого явленія.

II.

Пушкинъ, Лермонтовъ и Некрасовъ.

И во-первыхъ, словомъ: „байронистъ“ браниться нельзя. Байронизмъ хоть былъ и моментальнымъ, но великимъ, святымъ и необходимымъ явленіемъ въ жизни европейскаго человѣчества, да чуть-ли не въ жизни и всего человѣчества. Байронизмъ появился въ минуту страшной тоски людей, разочарованія ихъ и почти отчаянія. Послѣ изступленнаго восторговъ новой вѣры въ новые идеалы, провозглашенной въ концѣ прошлаго столѣтія во Франціи, — въ передовой тогда націи европейскаго человѣчества наступилъ исходъ, столь не похожій на то, чего ожидали, столь обманувшій вѣру людей, что никогда, можетъ быть, не было въ исторіи Западной Европы столь грустной минуты. И не отъ однѣхъ только внѣшнихъ (политическихъ) причинъ пали вновь воздвигнутые на мигъ кумиры, но и отъ внутренней несостоятельности ихъ, что ясно увидѣли всѣ прозорливыя сердца и передовые умы. Новый *исходъ* еще не обозначался, новый клапанъ не отворялся и все задышалась подъ страшно понизившимся и сузившимся надъ человѣчествомъ прежнимъ его горизонтомъ. Старые кумиры лежали разбитые. И вотъ въ эту-то минуту и явился великій и могучій геній, страстный поэтъ. Въ его звукахъ зазвучала тогдашняя тоска человѣчества и мрачное разочарованіе его въ своемъ назначеніи и въ обманувшихъ его идеалахъ. Это была новая и неслышанная еще тогда муза мести и печали, проклятія и отчаянія. Духъ байронизма вдругъ пронесся какъ-бы по всему человѣчеству, все оно откликнулось ему. Это именно было какъ-бы отворенный клапанъ; по крайней мѣрѣ, среди всеобщихъ и глухихъ стонувъ, даже большею частью безсознательныхъ, это именно былъ тотъ могучій крикъ, въ которомъ соединились и согласились всѣ крики и стоны человѣчества. Какъ было не откликнуться

ка него и у насъ, да еще такому великому, гениальному и руководящему уму какъ Пушкинъ? Всякій сильный умъ и всякое великодушное сердце не могли и у насъ тогда миновать байронизма. Да и не по одному лишь сочувствію къ Европѣ и къ европейскому человѣчеству издали, а потому, что и у насъ въ Россіи, какъ разъ въ тому времени, обозначилось слишкомъ много новыхъ неразрѣшенныхъ и мучительныхъ тоже вопросовъ, и слишкомъ много старыхъ разочарованій... Но величіе Пушкина, какъ руководящаго гения, состояло именно въ томъ, что онъ такъ скоро, и окруженный почти совсѣмъ не понимавшими его людьми, нашелъ твердую дорогу, *нашелъ великій и возделанный исходъ для насъ русскихъ и указалъ на него*. Этотъ исходъ былъ—народность, *преклоненіе передъ правдой народа русскаго*. „Пушкинъ былъ явленіе великое, чрезвычайное“. Пушкинъ былъ „не только русскій человѣкъ, но и первымъ русскимъ человѣкомъ“. Не понимать русскому Пушкина, значитъ не имѣть права называться русскимъ. Онъ понялъ русскій народъ и постигъ его назначеніе въ такой глубинѣ и въ такой обширности, какъ никогда и никто. Не говорю уже о томъ, что онъ, всечеловѣчностью гения своего и способностью отеликаться на всѣ многоразличныя духовныя стороны европейскаго человѣчества, и почти перевоплощаться въ гении чужихъ народовъ и національностей, засвидѣтельствовалъ о всечеловѣчности и всеобъемлемости русскаго духа и тѣмъ какъ бы провозвѣстилъ и о будущемъ предназначеніи гения Россіи во всемъ человѣчествѣ, какъ всеединящаго, всепримирающаго и все возрождающаго въ немъ начала. Не скажу и о томъ даже, что Пушкинъ первый у насъ, въ тоскѣ своей и въ пророческомъ предвидѣніи своемъ, воскликнулъ:

Увижу-ли народъ освобожденный
И рабство павшее по манію Царя!

Я скажу лишь теперь о любви Пушкина къ народу русскому. Это была любовь всеобъемлющая, такая любовь, какую еще никто не выказывалъ до него. „Не люби ты меня, а полюби ты *мoe*—вотъ что вамъ скажетъ всегда народъ, если захочетъ увѣриться въ искренности вашей любви къ нему.

Полюбить, т. е. пожалѣть народъ за его нужды, бѣдность, страданія, можетъ и всякій баринъ, особенно изъ гуманныхъ и европейски просвѣщенныхъ. Но народу *надо*,

чтобъ его не за одни страданія его любили, а чтобъ полюбили и *его самого*. Что-же значить *полюбить его самого*? „А полюби ты то, что я люблю, почти ты то, что я чту“ — вотъ что это значить и вотъ какъ вамъ отвѣтитъ народъ, а иначе онъ никогда васъ за своего не признаетъ, сколько-бы вы тамъ объ немъ ни печалились. Фальшь тоже всегда разглядить, какими-бы жалкими словами вы ни соблазняли его. Пушкинъ именно такъ полюбилъ народъ какъ народъ того требуетъ, и онъ не угадывалъ какъ надо любить народъ, не приготавлился, не учился: онъ самъ вдругъ оказался народомъ. Онъ преклонился передъ правдой народною, онъ призналъ народную правду какъ свою правду. Несмотря на всѣ пороки народа и многія смердящія привычки его, онъ сумѣлъ различить великую суть его духа тогда, когда никто почти такъ не смотрѣлъ на народъ, и принялъ эту суть народную въ свою душу какъ свой идеалъ. И это тогда, когда самые наиболѣе гуманные и европейски развитые любители народа русскаго сожалеали откровенно, что народъ нашъ столь низокъ, что никакъ не можетъ подняться до парижской уличной толпы. Въ сущности, эти любители всегда презирали народъ. Они вѣрили, главное, что онъ рабъ. Рабствомъ-же извиняли паденіе его, но раба не могли вѣдь любить, рабъ все-таки былъ отвратителенъ. Пушкинъ первый объявилъ, что русскій человѣкъ *не рабъ*, и никогда не былъ имъ, несмотря на многовѣковое рабство. Было рабство, но не было рабовъ (въ цѣломъ, конечно, въ общемъ, не въ частныхъ исключеніяхъ) — вотъ тезисъ Пушкина. Онъ даже по виду, по походкѣ русскаго мужика заключалъ, что это не рабъ и не можетъ быть рабомъ (хотя и состоитъ въ рабствѣ) — черта свидѣтельствующая въ Пушкинѣ о глубокой непосредственной любви къ народу. Онъ призналъ и высокое чувство собственного достоинства въ народѣ нашемъ (опять-таки въ цѣломъ, мимо всегдашнихъ и неотразимыхъ исключеній), онъ предвидѣлъ то спокойное достоинство, съ которымъ народъ нашъ приметъ и освобожденіе свое отъ крѣпостного состоянія — чего не понимали, напримѣръ, замѣчательнѣйшіе образованные русскіе европейцы уже гораздо позднѣе Пушкина и ожидали совсѣмъ другого отъ народа нашего. О, они любили народъ искренно и горячо, но по-своему, т. е. по-европейски. Они кричали о звѣриномъ состояніи народа, о звѣриномъ положеніи его въ крѣпостномъ рабствѣ,

но и вѣрили всѣмъ сердцемъ своимъ, что народъ нашъ дѣйствительно звѣрь. И вдругъ этотъ народъ очутился свободнымъ съ такимъ мужественнымъ достоинствомъ, безъ малѣйшаго позова на оскорбленіе бывшихъ владѣтелей своихъ: „Ты самъ по себѣ, а я самъ по себѣ, если хочешь иди ко мнѣ, за твое хорошее всегда тебѣ отъ меня честь“. Да, для многихъ нашъ крестьянинъ по освобожденіи своемъ явился страннымъ недоумѣніемъ. Многие даже рѣшили, что это въ немъ отъ неразвитости и тупости, остатковъ прежняго рабства. И это теперь, что же было во времена Пушкина? Не я-ли слышалъ самъ, въ юности моей, отъ людей передовыхъ и „компетентныхъ“, что образъ Пушкинскаго Савельича въ „Капитанской дочкѣ“, раба помѣщиковъ Гриневыхъ, упавшаго въ ноги Пугачева и просившаго его пощадить барченка, а „для примѣра и страха ради повѣсить ужъ лучше его, старика“, — что этотъ образъ не только есть образъ раба, но и апоѳеозъ русскаго рабства!

Пушкинъ любилъ народъ не за одни только страданія его. За страданія сожалѣють, а сожалѣніе такъ часто идетъ рядомъ съ презрѣніемъ. Пушкинъ любилъ все, что любилъ этотъ народъ, чтилъ все, что тотъ чтилъ. Онъ любилъ природу русскую до страсти, до умиленія, любилъ деревню русскую. Это былъ не баринъ, милостивый и гуманный, жалѣющій мужика за его горькую участь, это былъ человекъ самъ перевоплощавшійся сердцемъ своимъ въ простолюдина, въ суть его, почти въ образъ его. Умаленіе Пушкина какъ поэта болѣе исторически, болѣе архаически преданнаго народу, чѣмъ на дѣлѣ—ошибочно и не имѣетъ даже смысла. Въ этихъ историческихъ и архаическихъ мотивахъ звучитъ такая любовь и такая *оцѣнка народа*, которая принадлежитъ народу *въковѣчно*, всегда и теперь и въ будущемъ, а не въ одномъ только какомъ-нибудь давно прошедшемъ историческомъ народѣ. Народъ нашъ любить сведъ исторію главное за то, что въ ней встрѣчается незыблемою ту-же самую святыню, въ которую сохранилъ онъ свою вѣру и теперь, несмотря на всѣ страданія и мытарства свои. Начиная съ величавой, огромной фигуры лѣтописца въ Борисѣ Годуновѣ до изображенія спутниковъ Пугачева, — все это у Пушкина — народъ въ его глубочайшихъ проявленіяхъ, и все это понятно народу, какъ собственная суть его. Да это-ли одно? Русскій духъ разлитъ въ твореніяхъ Пушкина, русская жила

бьется вездѣ. Въ великихъ, неподражаемыхъ, несравненныхъ пѣсняхъ будто-бы западныхъ славянъ, но которыя суть явно порожденіе русскаго великаго духа, вылилось все воззрѣніе русскаго на братьевъ славянъ, вылилось все сердце русское, объявилось все мировоззрѣніе народа, сохраняющееся и доселѣ въ его пѣсняхъ, былинахъ, преданіяхъ, сказаніяхъ, высказалось все, что любить и чтить народъ, выразились его идеалы героевъ, царей, народныхъ защитниковъ и печальниковъ, образы мужества, смиренія, любви и жертвы. А такія прелестныя путки Пушкина, какъ, напримѣръ, болтовня двухъ пьяныхъ мужиковъ или Сказаніе о Медвѣдѣ, у котораго убили медвѣдицу — это уже что-то любовное, что-то милое и умиленное въ его созерцаніи народа. Если бъ Пушкинъ прожилъ дольше, то оставилъ-бы намъ такія художественныя сокровища для пониманія народнаго, которыя, вліяніемъ своимъ, навѣрно-бы сократили времена и сроки перехода всей интеллигенціи нашей, столь возвышающейся и до сихъ поръ надъ народомъ въ гордости своего европеизма, — къ народной правдѣ, къ народной силѣ и къ сознанію народнаго назначенія. Вотъ это-то поклоненіе передъ правдой народа, вижу я отчасти (увы, можетъ быть, одинъ я изъ всѣхъ его почитателей) — и въ Некрасовѣ, въ сильнѣйшихъ произведеніяхъ его. Мнѣ дорого, очень дорого, что онъ „печальникъ народнаго горя“ и что онъ такъ много и страстно говорилъ о горѣ народномъ, но еще дороже для меня въ немъ то, что въ великіе мучительные и восторженные моменты своей жизни, онъ, несмотря на всѣ противоположныя вліянія и даже на собственныя убѣжденія свои, преклонялся передъ народной правдой всѣмъ существомъ своимъ, о чемъ засвидѣтельствовалъ въ своихъ лучшихъ созданіяхъ. Вотъ въ этомъ-то смыслѣ я и поставилъ его какъ пришедшаго послѣ Пушкина и Лермонтова съ тѣмъ-же самымъ отчасти новымъ словомъ, какъ и тѣ (потому что „слово“ Пушкина до сихъ поръ еще для насъ новое слово. Да и не только новое, а еще и не узнанное, не разобранное, за самый старшій хламъ считающееся).

Прежде чѣмъ перейду къ Некрасову, скажу два слова и о Лермонтовѣ, чтобъ оправдать то, почему я тоже поставилъ и его какъ увѣровавшаго въ правду народную. Лермонтовъ, конечно, былъ байронистъ, но по великой своеобразной поэтической силѣ своей и байронистъ-то особенный, — какой-то насмѣшливый, капризный и брызгливый,

вѣчно невѣрующій даже въ собственное свое вдохновеніе, въ свой собственный байронизмъ. Но если бъ онъ пересталъ возиться съ большою личностью русскаго интеллигентнаго человѣка, мучимаго своимъ европеизмомъ, то навѣрно бы кончилъ тѣмъ, что отыскалъ исходъ, какъ и Пушкинъ, въ преклоненіи передъ народной правдой; и на то есть большія и точныя указанія. Но смерть, опять и тутъ помѣшала. Въ самомъ дѣлѣ, во всѣхъ стихахъ своихъ онъ мраченъ, капризенъ, хочетъ говорить правду, но чаще лжетъ и самъ знаетъ объ этомъ и мучается тѣмъ, что лжетъ, но чуть лишь онъ коснется народа, тутъ онъ свѣтеть и ясенъ. Онъ любитъ русскаго солдата, казака, онъ чтитъ народъ. И вотъ онъ разъ пишетъ безсмертную пѣсню о томъ, какъ молодой купецъ Калашниковъ, убивъ за безчестье свое государева опричника Кирибѣевича и призванный царемъ Иваномъ предъ грозныя его очи, отвѣчаетъ ему: что убилъ онъ, государева слугу Кирибѣевича „вольной волею, а не нехотя“. Помните-ли вы, господа, „раба Шибанова“? Рабъ Шибановъ былъ рабъ князя Курбскаго, русскаго эмигранта 16-го столѣтія, писавшаго все къ тому же царю Ивану свои оппозиціонныя и почти ругательныя письма изъ-за границы, гдѣ онъ безопасно пріютился. Написавъ одно письмо, онъ призвалъ раба своего Шибанова и велѣлъ ему письмо снести въ Москву и отдать царю лично. Такъ и сдѣлалъ рабъ Шибановъ. На Кремлевской площади онъ остановилъ выходившаго изъ собора царя, окруженнаго своими приспѣшниками, и подалъ ему посланіе своего господина, князя Курбскаго. Царь поднялъ жезлъ свой съ острымъ наконечникомъ, съ размаху вонзилъ его въ ногу Шибанова, оперся на жезлъ и сталъ читать посланіе. Шибановъ съ проколотою ногою не шевельнулся. А царь, когда сталъ потомъ отвѣчать письмомъ князю Курбскому, написалъ, между прочимъ: „Устыдися раба твоего Шибанова“. Это значило, что онъ самъ устыдился раба Шибанова. Этотъ образъ русскаго „раба“, должно быть, поразилъ душу Лермонтова. Его Калашниковъ говорить царю безъ укора, безъ попрека за Кирибѣевича, говорить онъ, зная про вѣрную казнь, его ожидающую, царю „всю правду истинную“, что убилъ его любимца „вольной волею, а не нехотя“. Повторяю, остался-бы Лермонтовъ жить и мы-бы имѣли великаго поэта, тоже признавашаго правду народную, а, можетъ быть, и истиннаго *«печальника горя народнаго»*. Но это имя досталось Некрасову...

Опять-таки, я не равняю Некрасова съ Пушкинымъ, я не мѣряю аршиномъ кто выше, кто ниже, потому что тутъ не можетъ быть ни сравненія, ни даже вопроса о немъ. Пушкинъ, по обширности и глубинѣ своего русскаго генія, до сихъ поръ есть какъ солнце надъ всѣмъ нашимъ русскимъ интеллигентнымъ міровоззрѣніемъ. Онъ великій и непонятый еще предвозвѣститель. Некрасовъ есть лишь малая точка въ сравненіи съ нимъ; малая планета, но вышедшая изъ этого-же великаго солнца. И мимо всѣхъ мѣрокъ: кто выше, кто ниже, за Некрасовымъ остается безсмертіе, вполне имъ заслуженное, и я уже сказалъ почему—за преклоненіе его передъ народной правдой, что происходило въ немъ не изъ подражанія какого-нибудь, не вполне по сознанию даже, а потребностью, неудержимой силой. И это тѣмъ замѣчательнѣе въ Некрасовѣ, что онъ всю жизнь свою былъ подъ вліяніемъ людей, хотя и любившихъ народъ, хотя и печалившихся о немъ, можетъ быть, весьма искренно, но никогда не признававшихъ въ народѣ правды, и всегда ставившихъ европейское просвѣщеніе свое несравненно выше истины духа народнаго. Не вникнувъ въ русскую душу и не зная чего ждетъ и просить она, имъ часто случалось желать нашему народу, со всею любовью къ нему, того, что прямо могло-бы послужить къ его бѣдствію. Не они-ли въ русскомъ народномъ движеніи, за послѣдніе два года, не признали почти вовсе той высоты подъема духа народнаго, которую онъ, можетъ быть, въ первый разъ еще выказываетъ въ такой полнотѣ и силѣ и тѣмъ свидѣтельствуетъ о своемъ здоровомъ, могучемъ и неколебимомъ доселѣ живомъ единеніи въ одной и той-же великой мысли и почти предузнаетъ самъ будущее предназначеніе свое. И мало того, что не признаютъ правды движенія народнаго, но и считаютъ его почти ретроградствомъ, чѣмъ-то свидѣтельствующимъ о непроходимой безсознательности, о заматерѣвшей вѣками неразвитости народа русскаго. Некрасовъ-же, несмотря на замѣчательный, чрезвычайно сильный умъ свой, былъ лишенъ, однако, серьезнаго образованія, по крайней мѣрѣ, образованіе его было небольшое. Изъ извѣстныхъ вліяній онъ не выходилъ во всю жизнь, да и не имѣлъ силъ выйти. Но у него была своя, своеобразная сила въ душѣ, не оставлявшая его никогда,—это истинная, страстная, а, главное, непосредственная любовь къ народу. Онъ болѣлъ о страданіяхъ его всей душою, но видѣлъ въ немъ не одинъ лишь унижен-

ный рабствомъ образъ, звѣрское подобіе, но смогъ силой любви своей постичь почти безсознательно и красоту народную, и силу его, и умъ его, и страдальческую кротость его и даже частію увѣровать и въ будущее предназначеніе его. О, сознательно Некрасовъ могъ во многомъ ошибаться. Онъ могъ воскликнуть въ недавно напечатанномъ въ первый разъ экспромтѣ его, съ тревожнымъ укоромъ созерцаая освобожденный уже отъ крѣпостного состоянія народъ.

...«Но счастливы-ли народъ?»

Великое чутье его сердца подсказало ему скорбь народную, но если бъ его спросили: „чего-же пожелать народу и какъ это сдѣлать?“, то онъ, можетъ быть, даль-бы весьма ошибочный, даже пагубный отвѣтъ. И ужъ, конечно, его нельзя винить: политическаго смысла у насъ еще до рѣдкости мало, а Некрасовъ, повторяю, былъ всю жизнь подъ чужими вліяніями. Но сердцемъ своимъ, но великимъ поэтическимъ вдохновеніемъ своимъ, онъ неудержимо примывалъ, въ иныхъ великихъ стихотвореніяхъ своихъ, къ самой сути народной. Въ этомъ смыслѣ это былъ народный поэтъ. Всякій, выходящій изъ народа, при самомъ маломъ даже образованіи, пойметъ уже много у Некрасова. Но лишь при образованіи. Вопросъ о томъ, пойметъ-ли Некрасова теперь прямо весь народъ русскій—безъ сомнѣнія, вопросъ явно немыслимый. Чтò пойметъ „простой народъ“ въ шедеврахъ его: „Рыцарь на часъ“, „Тишина“, „Русскія женщины“? Даже въ великомъ „Власѣ“ его, который можетъ быть понятенъ народу (но не вдохновитъ нисколько народъ, ибо все это поэзія давно уже вышедшая изъ непосредственной жизни), народъ отличить два-три фальшивые штриха навѣрно. Чтò разберетъ народъ въ одной изъ самыхъ могучихъ и самыхъ зовущихъ поэмъ его: „На Волгѣ“? Это настоящій духъ и тонъ Байрона. Нѣтъ, Некрасовъ пока еще—лишь поэтъ русской интеллигенціи, съ любовью и со страстью говорившій о народѣ и страданіяхъ его той-же русской интеллигенціи. Не говорю въ будущемъ,—въ будущемъ народъ отмѣтитъ Некрасова. Онъ пойметъ тогда, что былъ когда-то такой добрый русскій баринъ, который плакалъ скорбными слезами о его народномъ горѣ и ничего лучше и придумать не могъ, какъ, убѣгая отъ своего богатства и отъ грѣшныхъ соблазновъ барской жизни своей, приходитъ въ очень тяжкія минуты свои къ нему, къ народу, и въ неудержимой любви къ нему очищать

свое измученное сердце,—ибо любовь къ народу у Некрасова была лишь *исходомъ его собственной скорби по себѣ самомъ...*

Но прежде, чѣмъ разъясню: какъ понимаю я эту „собственную скорбь“ дорогого намъ усопшаго поэта по себѣ самомъ—не могу не обратить вниманіе на одно характерное и любопытное обстоятельство, обозначившееся почти во всей нашей газетной прессѣ, сейчасъ послѣ смерти Некрасова, почти во всѣхъ статьяхъ, говорившихъ о немъ.

III.

**Поэтъ и гражданинъ. Общія толки о Некрасовѣ, какъ о чело-
вѣкѣ.**

Всѣ газеты, чуть только заговорили о Некрасовѣ, по поводу смерти и похоронъ его, чуть только начинали опредѣлять его значеніе, какъ тотчасъ-же и прибавляли, всѣ безъ изъятія, нѣкоторыя соображенія о какой-то „практичности“ Некрасова, о какихъ-то недостаткахъ его, порокахъ даже, о какой-то двойственности въ томъ образѣ, который онъ намъ оставилъ о себѣ. Иныя газеты лишь намекали на эту тему чуть-чуть, въ какихъ-нибудь двухъ строкахъ, но важно то, что все-таки намекали, видимо по какой-то даже необходимости, которой избѣжать не могли. Въ другихъ-же изданіяхъ, говорившихъ о Некрасовѣ обширнѣе, выходило и еще страннѣе. Въ самомъ дѣлѣ: не формулируя обвиненій въ подробности и какъ-бы избѣгая того, отъ глубокой и искренней почтительности въ покойному, они все-таки пускались... оправдывать его, такъ что выходило еще непонятнѣе. „Да въ чемъ-же вы оправдываете?“ срывался невольнo вопросъ; „если знаете что, то прятаться нечего, а мы хотимъ знать нуждается-ли еще онъ въ оправданіяхъ нашихъ?“ Вотъ какой зажигался вопросъ. Но формулировать не хотѣли, а съ оправданіями и съ оговорками спѣшили, какъ будто желая поскорѣе предупредить кого-то, и, главное, опять-таки,—какъ будто и не могли никакъ избѣжать этого, хотя-бы, можетъ быть, и хотѣли того. Вообще чрезвычайно любопытный случай, но если вникнуть въ него, то и вы, и всякій, кто-бы вы ни были, несомнѣнно придете къ заключенію, чуть лишь размыслите, что случай этотъ совершенно нормальный, что, заговоривъ о Некрасовѣ, какъ о поэтѣ, дѣйствительно никакъ нельзя миновать говорить

о немъ, какъ и о лицѣ, потому что въ Некрасовѣ поэтѣ и гражданинѣ—до того связаны, до того оба не объяснимы одинъ безъ другого, и до того взятые вмѣстѣ объясняютъ другъ друга, что заговоривъ о немъ какъ о поэтѣ, вы даже невольнo переходите къ гражданину и чувствуете, что какъ-бы принуждены и должны это сдѣлать и избѣжать не можете.

Но что-же мы можемъ сказать, и что именно мы видимъ? Произносится слово „практичность“, т.-е. умѣніе обдѣлывать свои дѣла, но и только, а затѣмъ спѣшатъ съ оправданіями „онъ-де страдалъ, онъ съ дѣтства былъ заѣденъ средой“, онъ вытерпѣлъ еще юношей въ Петербургѣ, безпріютнымъ, брошеннымъ, много горя, а слѣдственно и сдѣлался „практичнымъ“ (т.-е. какъ будто и не могъ ужъ не сдѣлаться). Другіе идутъ даже дальше и намекаютъ, что безъ этой-то вѣдь „практичности“ Некрасовъ, пожалуй, и не совершилъ-бы столь явно полезныхъ дѣлъ на общую пользу, напр., совладаль съ изданіемъ журнала и проч., и проч. Что-же, для хорошихъ цѣлей оправдывать, стало быть, дурныя средства? И это говоря о Некрасовѣ-то, человѣкѣ, который потрясалъ сердца, вызывалъ восторгъ и умиленіе къ доброму и прекрасному стихами своими. Конечно, все это говорится, чтобъ извинить, но, мнѣ кажется, Некрасовъ не нуждается въ такомъ извиненіи. Въ извиненіяхъ на подобную тему всегда заключается какъ-бы нѣчто принизительное, и какъ-бы затемняется и умаляется образъ извиняемаго чуть не до пошлыхъ размѣровъ. Въ самомъ дѣлѣ, чуть я начну извинять „двойственность и практичность“ лица, то тѣмъ какъ-бы и настаиваю, что эта двойственность даже естественна при извѣстныхъ обстоятельствахъ, чуть не необходима. А если такъ, то совершенно приходится примириться съ образомъ человѣка, который сегодня бьется о плиты родного храма, кается, кричитъ: „я упалъ, я упалъ“. И это, въ безсмертной красоты стихахъ, которые онъ въ ту-же ночь запишетъ, а на завтра, чуть пройдетъ ночь и обсохнутъ слезы, и опять примется за „практичность“, потому-де что она, мимо всего другого—и необходима. Да что-же тогда будутъ означать эти стоны и крики, облекшіеся въ стихи? Искусство для искусства не болѣе и даже въ самомъ пошломъ его значеніи, потому что онъ эти стихи самъ похваливаетъ, самъ на нихъ любуется, ими совершенно доволенъ, ихъ печатаетъ, на нихъ рассчитываетъ: придадутъ, дескать, блескъ изда-

нію, взволнують молодія сердца. Нѣтъ, если все это оправдывать, да не разъяснивъ, то мы рискуемъ впасть въ большую ошибку и порожаемъ недоумѣніе, и на вопросъ: „кого вы хороните?“ мы, провожавшіе гробъ его, принуждены-бы были отвѣтить, что хоронимъ „самого яркаго представителя искуссва для искусства, какой только можетъ быть“. Ну, а было-ли это такъ? Нѣтъ, *воистину это не было такъ*, а хоронили мы воистину „печальника народнаго горя“ и вѣчнаго страдальца о себѣ самомъ, вѣчнаго, неустаннаго, который никогда не могъ успокоить себя, и самъ съ отвращеніемъ и самобичеваніемъ отвергалъ дешевое примиреніе.

Нужно выяснитъ дѣло, выяснитъ искренно и безпристрастно, и что выяснится, то принять какъ оно есть, не смотря ни на какое лицо и ни на какія дальнѣйшія соображенія. Тутъ надо именно выяснитъ всю суть по возможности, чтобы какъ можно точнѣе добыть изъ выясненій фигуру покойнаго, лицо его; такъ наши сердца требуютъ, для того, чтобы не оставалось у насъ о немъ ни малѣйшаго такого недоумѣнія, которое невольно чернитъ память, оставляетъ нерѣдко и на высокомъ образѣ недостойную тѣнь.

Самъ я зналъ „практическую жизнь“ покойника мало, а потому приступить къ анекдотической части этого дѣла не могу, но если бъ и могъ, то не хочу, потому что прямо окунусь въ то, что самъ признаю сплетнею. Ибо я твердо увѣренъ (и прежде былъ увѣренъ), что изъ всего, что рассказывали про покойнаго, по крайней мѣрѣ, половина, а, можетъ быть, и всѣ три четверти—чистая ложь. Ложь, вздоръ и сплетни. У такого характернаго и замѣчательнаго человѣка, какъ Некрасовъ,—не могло не быть враговъ. А то, что дѣйствительно было, что въ самомъ дѣлѣ случилось—то не могло тоже не быть подчасъ преувеличено. Но, принявъ это, все-таки увидимъ, что нѣчто все-таки остается. Что-же такое? Нѣчто мрачное, темное и мучительное безспорно, потому что—что-же означаютъ тогда эти стоны, эти крики, эти слезы его, эти признанія, что „онъ упалъ“, эта страстная исповѣдь передъ тѣнью матери? Тутъ самобичеваніе, тутъ казнь? Опять-таки въ анекдотическую сторону дѣла вдаваться не буду, но думаю, что суть той мрачной и мучительной половины жизни нашего поэта какъ-бы предсказана имъ-же самимъ, еще на зарѣ дней его, въ одномъ изъ самыхъ первоначальныхъ его

стихотвореній, набросанныхъ, кажется, еще до знакомства съ Бѣлинскимъ (и потому ужъ позднѣе обдѣланныхъ и получившихъ ту форму, въ которой явились они въ печати). Вотъ эти стихи:

Огни зажигались вечерніе,
 Былъ вѣтеръ и дождикъ мочилъ,
 Когда изъ Полтавской губерніи
 Я въ городъ столичный входилъ.
 Въ рукахъ была палка предлинная
 Котомка пустая на ней,
 На плечахъ шубенка овчинная,
 Въ карманѣ пятнадцать грошей.
 Ни денегъ, ни званья, ни племени,
 Малъ ростомъ и свиду смѣшонъ,
 Да сорокъ лѣтъ минуло времени,—
 Въ карманѣ моемъ миллионъ.

Милліонъ—вотъ демонъ Некрасова! Что-жь, онъ любилъ такъ золото, роскошь, наслажденіе и чтобы имѣть ихъ пускался въ „практичности“? Нѣтъ, скорѣе это былъ другого характера демонъ, это былъ самый мрачный и унижительный бѣсъ. Это былъ демонъ гордости, жажды самообезпеченія, потребности оградиться отъ людей твердой стѣной и независимо, спокойно смотрѣть на ихъ злость, на ихъ угрозы. Я думаю, этотъ демонъ присосался еще къ сердцу ребенка, ребенка пятнадцати лѣтъ, очутившагося на петербургской мостовой, почти бѣжавшаго отъ отца. Робкая и гордая молодая душа была поражена и уязвлена, покровителей искать не хотѣла, войти въ соглашеніе съ этой чуждой толпою людей не желала. Не то чтобы невѣріе въ людей закралось въ сердце его такъ рано, но скорѣе скептическое и слишкомъ раннее (а, стало быть, и ошибочное) чувство къ нимъ. Пусть они не злы, пусть они не такъ страшны, какъ объ нихъ говорятъ (навѣрно думалось ему), но они, всѣ, все-таки слабая и робкая дрянь, а потому и безъ злости погубять чуть лишь дойдетъ до ихъ интереса. Вотъ тогда-то и начались, можетъ быть, мечтанія Некрасова, можетъ быть, и сложились тогда-же на улицѣ стихи: „въ карманѣ моемъ миллионъ“.

Это была жажда мрачнаго, угрюмаго отъединеннаго самообезпеченія, чтобы уже не зависѣть ни отъ кого. Я думаю, что я не ошибаюсь, я припоминаю кое-что изъ самаго перваго моего знакомства съ нимъ. По крайней мѣрѣ, мнѣ такъ казалось всю потомъ жизнь. Но этотъ демонъ все-же былъ низкій демонъ. Такого-ли самообезпеченія могла жаждать душа Некрасова, эта душа, способ-

ная такъ отзываться на все святое и не покидавшая вѣры въ него. Развѣ такимъ самообезпеченіемъ ограждаютъ себя столь одаренныя души? Такіе люди пускаются въ путь босы и съ пустыми руками и на сердцѣ ихъ ясно и свѣтло. Самообезпеченіе ихъ не въ золотѣ. Золото—грубость, насиліе, деспотизмъ! Золото можетъ казаться обезпеченіемъ именно той слабой и робкой толщѣ, которую Некрасовъ самъ презиралъ. Неужели картины насилія и потомъ жажда сластолюбія и разврата могли ужиться въ такомъ сердцѣ, сердцѣ человѣка, который самъ-бы могъ воззвать къ иному: „брось все, возьми посохъ свой и иди за мной“,

Уведи меня въ станъ погибающихъ
За великое дѣло любви.

Но демонъ осилилъ и человѣкъ остался на мѣстѣ и нигуда не пошелъ.

Зато и заплатилъ страданіемъ, страданіемъ всей жизни своей. Въ самомъ дѣлѣ, мы знаемъ лишь стихи, но что мы знаемъ о внутренней борьбѣ его со своимъ демономъ, борьбѣ несомнѣнно мучительной и всю жизнь продолжавшейся? Я и не говорю уже о добрыхъ дѣлахъ Некрасова: онъ объ нихъ не публиковалъ, но они несомнѣнно были, люди уже начинаютъ свидѣтельствовать объ гуманности, нѣжности этой „практичной“ души. Г. Суворинъ уже публиковалъ нѣчто, я увѣренъ, что обнаружится много и еще добрыхъ свидѣтельствъ, не можетъ быть иначе. „О, скажутъ мнѣ, вы тоже вѣдь оправдываете, да еще дешевле нашего“. Нѣтъ, я не оправдываю, я только разъясняю и добился того, что могу поставить вопросъ,—вопросъ окончательный и всеразрѣшающій.

IV.

Свидѣтель въ пользу Некрасова.

Еще Гамлетъ дивился на слезы актера, декламировавшаго свою роль и плакавшаго о какой-то Гекубѣ: „что ему Гекуба?“ спрашивалъ Гамлетъ. Вопросъ предстоитъ прямой: былъ-ли нашъ Некрасовъ такой-же самый актеръ, т.-е. способный искренно заплакать о себѣ и о той святыни духовной, которой самъ лишалъ себя, излить затѣмъ скорбь свою (настоящую скорбь!) въ безсмертной красоты стихахъ и на завтра-же способный дѣйствительно утѣшиться... этой красотой стиховъ. Красотой стиховъ и только. Мало того: взглянуть на эту красоту стиховъ, какъ на „практическую-же“ вещь, способную доставить прибыль,

деньги, славу и употребить эту вещь въ этомъ смыслѣ? Или, напротивъ того, скорбь поэта не проходила и послѣ стиховъ, не удовлетворялась ими; красота ихъ, сила въ нихъ выраженная угнетала и мучила его самого, и если, будучи не въ силахъ совладать съ своимъ вѣчнымъ демономъ, съ страстями, побѣдившими его на всю жизнь, онъ и опять падалъ, то спокойно-ли примирялся съ своимъ паденіемъ, не возобновлялись-ли его стоны и крики еще сильнѣе въ тайныя святыя минуты покаянія,—повторялись-ли, усиливались-ли въ сердцѣ его съ каждымъ разомъ такъ, что самъ онъ наконецъ могъ видѣть ясно, чего стоитъ ему его демонъ и какъ дорого заплатилъ онъ за тѣ блага, которыя получилъ отъ него. Однимъ словомъ, если онъ и могъ *примириться* моментально съ демономъ своимъ, и даже самъ могъ пускаться оправдывать „прагматичность“ свою въ разговорахъ съ людьми, то оставалось-ли такое примиреніе и успокоеніе навѣчно, или, напротивъ, улетало мгновенно изъ сердца, оставляя по себѣ еще жгуче боль, стыдъ и угрызения? Тогда,—если бъ только можно было рѣшить этотъ вопросъ—тогда намъ что-жъ бы оставалось? Оставалось-бы только осудить его за то, что, будучи не въ силахъ совладать съ соблазнами своими, онъ не покончилъ съ собой, напримѣръ, какъ тотъ древній печерскій много-страдалецъ, который, тоже будучи не въ силахъ совладать съ зміемъ страсти его мучившей, закопалъ себя по поясъ въ землю и умеръ, если не изгнавъ своего демона, то ужъ, конечно, побѣдивъ его. Въ такомъ случаѣ мы сами, т.-е. каждый изъ насъ, очутились бы въ унижительномъ и комическомъ положеніи, если бъ осмѣлились брать на себя роль судей произносящихъ такіе приговоры. Тѣмъ не менѣе поэтъ, который самъ писалъ о себѣ:

Поэтомъ можешь ты не быть,
Но гражданиномъ быть обязанъ,

тѣмъ самымъ какъ-бы и призналъ надъ собой судъ людей, какъ „граждана“. Какъ лицамъ намъ бы, конечно, было стыдно судить его. Сами-то мы каковы, каждый-то изъ насъ? Мы только не говоримъ лишь о себѣ вслухъ, и прячемъ нашу мерзость, съ корою вполне миримся, внутри себя. Поэтъ плакалъ, можетъ быть, о такихъ дѣлахъ своихъ, отъ которыхъ мы бы и не поморщились, если бъ совершили ихъ. Вѣдь мы знаемъ о паденіяхъ его, о демонѣ его изъ его же стиховъ. Не было бы этихъ стиховъ, которые онъ въ покаянной искренности своей не убоился

огласить, то и все, что говорилось о немъ какъ о человѣкѣ, о „практичности“ его и о прочемъ—все это умерло бы само собою, и стерлось бы изъ памяти людей, понизилось-бы прямо до сплетни, такъ что всякое оправданіе его оказалось бы вовсе и не нужнымъ ему. Замѣчу кстати, что для практическаго и столь умѣющаго обдѣлывать дѣла свои человѣка, дѣйствительно не практично было оглашать свои покаянные стоны и вопли, а, стало быть, онъ, можетъ быть, вовсе былъ не столь практиченъ, какъ иные утверждаютъ о немъ. Тѣмъ не менѣе, повторяю, на судъ гражданъ онъ долженъ идти, ибо самъ призналъ этотъ судъ. Такимъ образомъ, если бъ тотъ вопросъ, который поставился у насъ выше: удовлетворялся ли поэтъ стихами своими, въ которые облекалъ свои слезы, и примирялся ли съ собою до того спокойствія, которое опять позволяло ему пускаться съ легкимъ сердцемъ въ „практичность“, или-же, напротивъ того—примиренія бывали лишь моментальныя, такъ что онъ самъ презиралъ себя, можетъ быть, за позоръ ихъ, потому мучился еще горче и больше, и такъ во всю жизнь,—если бъ этотъ вопросъ, повторяю, могъ бы быть разрѣшенъ въ пользу второго предположенія, то ужъ, конечно, тогда мы бы тотчасъ могли примириться и съ „гражданиномъ“ Некрасовымъ, ибо собственныя страданія его очистили бы передъ нами вполнѣ нашу память о немъ. Разумѣется, тутъ сейчасъ является возраженіе: если вы не въ силахъ разрѣшить такой вопросъ (а кто можетъ его разрѣшить?), то и ставить его не надо было. Но въ томъ-то и дѣло, что его можно разрѣшить. Есть свидѣтель, который можетъ его разрѣшить. Этотъ свидѣтель—народъ.

То-есть любовь его къ народу! И, во-первыхъ, для чего бы „практическому“ человѣку такъ увлекаться любовью къ народу. Всякій занятъ своимъ дѣломъ: одинъ практичностью, другой печалью по народѣ. Ну, положимъ, прихоть, такъ вѣдь поигралъ и отсталъ. А Некрасовъ не отставалъ во всю жизнь. Скажутъ: народъ для него—это та же „Гекуба“, предметъ слезъ, облеченныхъ въ стихи и дающихъ доходъ. Но я уже не говорю о томъ, что трудно до того поддѣлать такую искренность любви, какая слышится въ стихахъ Некрасова (объ этомъ споръ можетъ быть безконечный), но я о томъ только скажу, что мнѣ ясно, почему Некрасовъ такъ любилъ народъ, почему его такъ тянуло къ нему въ тяжелыя минуты жизни, почему онъ шелъ къ нему и что находилъ у него. Потому,

какъ сказалъ я выше, что любовь къ народу была у Некрасова, какъ-бы *исходомъ его собственной скорби по себѣ самомъ*. Поставьте это, примите это—и вамъ ясенъ весь Некрасовъ, и какъ поэтъ, и какъ гражданинъ. Въ служеніи сердцемъ своимъ и талантомъ своимъ народу онъ находилъ все свое очищеніе передъ самимъ собой. Народъ былъ настоящею внутреннею потребностью его не для однихъ стиховъ. Въ любви къ нему онъ находилъ свое оправданіе. Чувствами своими къ народу онъ возвышалъ духъ свой. Но чтò главное, это то, что онъ не нашелъ предмета любви своей, между людей, окружавшихъ его, или въ томъ, чтò чтутъ эти люди и предъ чѣмъ они преклоняются. Онъ отрывался напротивъ отъ этихъ людей и уходилъ къ оскорбленнымъ, къ терпящимъ, къ простодушнымъ, къ униженнымъ, когда нападало на него отвращеніе къ той жизни, которой онъ минутами слабодушно и порочно отдавался; онъ шелъ и бился о плиты бѣднаго сельскаго родного храма и получалъ исцѣленіе. Не избралъ бы онъ себѣ такой исходъ, *если бы не отрялъ въ него*. Въ любви къ народу онъ находилъ нѣчто незыблемое, какой-то незыблемый и святой исходъ всему, чтò его мучило. А если такъ, то, стало быть, и не находилъ ничего святѣе, незыблемѣе, истиннѣе, передъ чѣмъ преклониться. Не могъ же онъ полагать все самооправданіе лишь въ стихахъ о народѣ. А коли такъ, то, стало быть, и онъ преклонялся передъ *правдой народною*. Если не нашелъ ничего въ своей жизни болѣе достойнаго любви какъ народъ, то, стало быть, призналъ и *истину народную и истину въ народѣ*, и что истина есть и сохраняется лишь въ народѣ. Если не вполне сознательно, не въ убѣжденіяхъ признавалъ онъ это, то сердцемъ признавалъ, неудержимо, неотразимо. Въ этомъ порочномъ мужикѣ, униженный и унижительный образъ котораго такъ его мучилъ, онъ находилъ, стало быть, и что-то истинное и святое, чтò не могъ не почитать, на чтò не могъ не отзываться всѣмъ сердцемъ своимъ. Въ этомъ смыслѣ я и поставилъ его, говоря выше объ его литературномъ значеніи, тоже въ разрядъ тѣхъ, которые признавали правду народную. Вѣчное-же исканіе этой правды, вѣчная жажда, вѣчное стремленіе къ ней свидѣлствуютъ явно, повторяю это, о томъ, что его влекла къ народу внутренняя потребность, потребность высшая всего, и что, стало быть, потребность эта не можетъ не свидѣлствовать и о внутренней, всегдашней, вѣчной тоскѣ его,

тоскѣ не прекращавшейся, не утѣлявшейся никакими хитрыми доводами соблазна, никакими парадоксами, никакими практическими оправданіями. А если такъ, то онъ, стало быть, страдалъ всю свою жизнь... И какіе-же мы судьи его послѣ того? Если и судьи, то не обвинители.

Некрасовъ есть русскій историческій типъ, одинъ изъ крупныхъ примѣровъ того, до какихъ противорѣчій и до какихъ раздвоеній, въ области нравственной и въ области убѣжденій, можетъ доходить русскій человѣкъ въ наше печальное, переходное время. Но этотъ человѣкъ остался въ нашемъ сердцѣ. Порывы любви этого поэта такъ часто были искренни, чисты и простосердечны! Стремленіе же его къ народу столь высоко, что ставить его какъ поэта на высшее мѣсто. Чтѣ-же до человѣка, до гражданина, то опять-таки, любовью къ народу и страданіемъ по немъ, онъ оправдалъ себя самъ, и многое искупилъ, если и дѣйствительно было чтѣ искупить...

V.

Къ читателямъ.

Декабрьскій и послѣдній выпускъ „Дневника“ такъ сильно запоздалъ по двумъ причинамъ: по болѣзненному моему состоянію въ продолженіе всего декабря и вслѣдствіе непредвидѣннаго перехода въ другую типографію изъ прежней, прекратившей свою дѣятельность. На новомъ непревычномъ мѣстѣ неизбѣжно затянулось дѣло. Во всякомъ случаѣ беру вину на себя и испрашиваю всего снисхожденія читателей.

На многочисленные вопросы моихъ подписчиковъ и читателей о томъ: не могу-ли я хотя время отъ времени выпускать ММ „Дневника“ въ будущемъ 1878 году, не стѣсня себя ежемѣсячнымъ срокомъ, спѣшу отвѣчать, что, по многимъ причинамъ, это мнѣ невозможно. Можетъ быть, рѣшусь выдать одинъ выпускъ и еще разъ поговорить съ моими читателями. Я вѣдь издавалъ мой листокъ сколько для другихъ, столько и для себя самого, изъ неудержимой потребности высказаться въ наше любопытное и столь характерное время. Если выдамъ хоть одинъ выпускъ, оповѣщу о томъ въ газетахъ. Не думаю, что буду писать въ другихъ изданіяхъ. Въ другихъ изданіяхъ я могу помѣстить лишь повѣсть или романъ. Въ этотъ годъ отдыха отъ срочнаго изданія я и впрямь займусь одною

художнической работой, сложившейся у меня въ эти два года изданія „Дневника“ непримѣтно и невольно. Но „Дневникъ“ я твердо надѣюсь возобновить черезъ годъ. Отъ всего сердца благодарю всѣхъ, столь горячо заявившихъ мнѣ о своемъ сочувствіи. Тѣмъ, которые писали мнѣ, что я оставляю мое изданіе въ самое горячее время, замѣчу, что черезъ годъ наступитъ время, можетъ быть, еще горячѣе, еще характернѣе, и тогда еще разъ послушимъ вмѣстѣ доброму дѣлу.

Я пишу: *вмѣстѣ*, потому что прямо считаю многочисленныхъ корреспондентовъ моихъ моими сотрудниками. Мнѣ много помогли ихъ сообщенія, замѣчанія, совѣты и та искренность, съ которою всѣ обращались ко мнѣ. Какъ жалѣю, что столь многимъ не могъ отвѣтить, за неимѣніемъ времени и здоровья. Прошу вновь у всѣхъ, которымъ не отвѣтилъ до сихъ поръ, ихъ добраго, благодушнаго снисхожденія. Особенно виноватъ передъ многими изъ писавшихъ ко мнѣ въ послѣдніе три мѣсяца. Той особѣ, которая писала „о тоскѣ бѣдныхъ мальчиковъ и что она не знаетъ, чтѣ имъ сказать“ (писавшая, вѣроятно, узнаетъ себя по этимъ выраженіямъ) — пользуюсь теперь послѣднимъ случаемъ сообщить, что я глубоко и всѣмъ сердцемъ былъ заинтересованъ письмомъ ея. Если бъ только возможно было, то я бы напечаталъ мой отвѣтъ на ея письмо въ „Дневникѣ“, и лишь потому оставилъ мою мысль, что я перепечатать все письмо ея нашель невозможнымъ. А между тѣмъ оно такъ ярко свидѣтельствуетъ о горячемъ, благородномъ настроеніи въ большей части нашей молодежи, о такомъ искреннемъ желаніи ея послужить всякому доброму дѣлу на общее благо. Скажу этой корреспонденткѣ лишь одно: можетъ быть, русская-то женщина и спасетъ насъ всѣхъ, все общество наше, новой возродившейся въ ней энергіей, самой благороднѣйшей каждой *дѣлать дѣло* и это до жертвы, до подвига. Она пристыдитъ бездѣятельность другихъ силъ, и увлечетъ ихъ за собою, а сбившихся съ дороги воротитъ на истинный путь. Но довольно; отвѣчаю многоуважаемой корреспонденткѣ здѣсь въ „Дневникѣ“ на всякій случай, такъ какъ подозреваю, что прежній, сообщенный ею адресъ ея теперь уже не могъ бы служить.

Очень многимъ корреспондентамъ я потому не могъ отвѣтить на ихъ вопросы, что на такія важныя, на такія живыя темы, которыми они столь интересуются, и нельзя

отвѣчать въ письмахъ. Тутъ нужно писать статьи, цѣлыя книги даже, а не письма. Письмо не можетъ не заключать недомолвокъ, недоумѣній. Объ иныхъ темахъ рѣшительно нельзя переписываться.

Той особѣ, которая просила меня заявить въ „Дневникѣ“, что я получилъ письмо о братѣ ея, убитомъ въ теперешнюю войну, спѣшу сообщить, что меня искренно тронули и потрясли и ея скорбь о потерянномъ другѣ и братѣ, и въ то же время и ея восторгъ о томъ, что ея братъ послужилъ прекрасному дѣлу. Съ удовольствіемъ спѣшу сообщить этой особѣ, что я встрѣтилъ здѣсь одного молодого человѣка, знавшаго покойника лично и подтвердившаго все, что она мнѣ писала о немъ.

Корреспонденту написавшему мнѣ длинное письмо (на 5 листахъ) о Красномъ крестѣ, сочувственно жму руку, искренно благодарю его и прошу не оставлять переписки и впредь. Я непременно вышлю ему то, о чемъ онъ просилъ.

Нѣсколькимъ корреспондентамъ, спрашивавшимъ меня недавно *по пунктамъ*, непременно буду отвѣчать каждому эсобо, равно какъ и спрашивавшему о томъ: „кто есть стрюцкій?“ (Надѣюсь, корреспонденты узнаютъ себя по этимъ выраженіямъ). Корреспондентовъ изъ Минска и изъ Витебска особенно прошу извинить меня, что такъ замедлилъ имъ отвѣчать. Отдохнувъ, примусь за отвѣты и отвѣчу всѣмъ по возможности. И такъ пусть не сѣтуютъ и пусть подождутъ на мнѣ.

Мой адресъ остается прежнимъ, прошу лишь означать домъ и улицу, а не адресовать въ редакцію „Дневника Писателя“.

Еще разъ всѣхъ благодарю. Авось до близкаго и счастливаго свиданія. Время теперь славное, но тяжелое и роковое. Какъ много виситъ на волоскѣ именно въ настоящую минуту, и какъ-то заговоримъ обо всемъ этомъ черезъ годъ!

Послѣдняя страничка *).

Во время трехмѣсячнаго перерыва, мы, въ свое время, въ іюль мѣсяцѣ, получили за подписью „Друга Кузьмы Пруtkова“ нижеслѣдующій фельетонъ, настоящей смыслъ

*) Изъ журнала „Гражданинъ“, № 23—25, за 1878 г.

котораго, признаться, для насъ не совсѣмъ ясенъ; притомъ-же мы нѣсколько не вѣримъ рассказанному событію, тѣмъ болѣе, что и пруда на Елагиномъ острову, по отзыву знатоковъ, не оказывается. Во всякомъ случаѣ, мы не совсѣмъ понимаемъ, что сей сонъ значитъ, но однако помѣщаемъ-его.

Ред.

Изъ дачныхъ прогулокъ Кузмы Пруткова и его друга.

Т р и т о н ъ.

Вчера, 27-го іюля, на Елагиномъ островѣ, на закатѣ солнца, въ прелестное тихое время, вся гуляющая великосвѣтская публика была невольною свидѣтельницею забавнаго приключенія. На поверхности пруда вдругъ показался выплывшій Тритонъ, по-русски водяной, съ зелеными влажными волосами на головѣ и бородѣ, и, удерживаясь на волнахъ, началъ играть и выдѣлывать разныя штуки. Онъ нырять, вскрикивалъ, смѣялся, плескался водой, стучалъ своими длинными и крѣпкими зелеными зубами, скрежеща ими на публику. Появленіе его произвело обычное въ такихъ случаяхъ впечатлѣніе. Дамы бросились къ нему со всѣхъ сторонъ кормить его конфетами, протягивая къ нему свои бонбоньерки. Но міеологическое существо, выдерживая древній характеръ водяного сатира, принялось выдѣлывать передъ дамами такія тѣлодвиженія, что всѣ онѣ бросились отъ него съ визгливымъ смѣхомъ, пряча за себя своихъ наиболѣе взрослыхъ дочерей, на что водяной, видя это, крикнулъ имъ вслѣдъ нѣсколько весьма и весьма безцеремонныхъ выраженій, что усугубило веселость. Онъ скоро, впрочемъ, исчезъ, оставивъ по себѣ на поверхности воды лишь нѣсколько водяныхъ круговъ, а въ публикѣ недоумѣніе. Стали сомнѣваться и не вѣрить, хотя видѣли собственными глазами, — конечно, мужчины, дамы-же всѣ стояли за то, что это былъ настоящій Тритонъ, точь въ точь какъ бывають на столовыхъ бронзовыхъ часахъ. Нѣкоторые выразили мысль, что это будто-бы какой-то Пьеръ Бобо, всплывшій для оригинальности. Разумѣется, предположеніе не устояло, потому что Пьеръ Бобо всплылъ-бы непременно во фракѣ—и въ фокляхъ, хотя-бы и мокрыхъ. Тритонъ-же былъ точь въ точь какъ ходили древнія статуи, т.-е. безъ малѣйшей одежды. Но явились скептики, которые начали даже

утверждать, что все происшествіе есть не что иное какъ политическая аллегорія и тѣсно связано въ восточнымъ вопросамъ, только лишь разрѣшившимся въ данную минуту на берлинскомъ конгрессѣ.

Нѣсколько минутъ продолжалась даже идея, что это англійскія штуки и что все это продѣлываетъ все тотъ-же великій жидъ *) для британскихъ интересовъ, съ хитрою цѣлью отвлечь нашу публику, начиная съ дамъ, рядомъ эстетически шаловливыхъ картинъ, отъ воинственнаго задора. Немедленно, впрочемъ, поднялись возраженія, основанныя на томъ, что лордъ Биконсфильдъ теперь за границей, что его теперь встрѣчаютъ въ Лондонѣ, и что слишкомъ много намъ, русскимъ медвѣдямъ, чести, чтобъ самъ онъ залѣзъ въ русскій прудъ для эстетическаго наслажденія нашихъ дамъ съ политическими цѣлями, что у него и безъ того своя дама въ Лондонѣ и проч., и проч. Но слѣпота и азартъ нашихъ дипломатовъ неудержимы: начали кричать, что если не самъ Биконсфильдъ, то почему-же не быть господину Полетику, издателю „Биржевыхъ Вѣдомостей“, жаждущему мира, и что именно его-то могли-бы избрать англичане для представленія Тритона. Но и это все быстро рухнуло въ томъ соображеніи, что хотя господинъ Полетика, можетъ быть, и способенъ на тѣлодвиженія, но все-таки безъ достаточной античной граціи, изъ-за которой все прощается, и которая однако могла-бы прельстить нашихъ дачницъ. Подоспѣлъ потомъ какой-то господинъ, который какъ разъ сообщилъ, что господинъ Полетику видѣли въ томъ-же самомъ часу совсѣмъ на противоположномъ краю Петербурга въ одномъ мѣстѣ. Такимъ образомъ предположеніе объ античномъ Тритонѣ всплыло опять на поверхность, несмотря на то, что самъ Тритонъ давно уже сидѣлъ въ водѣ. Замѣчательнѣе всего, что за античность и миеологичность Тритона особенно стояли дамы. Имъ чрезвычайно этого хотѣлось, конечно для того, чтобъ прикрыть откровенность своего вкуса, такъ сказать, классицизмомъ его содержанія. Такъ мы ставимъ въ наши комнаты и сады раздѣтыя совершенно статуи, именно потому, что миеологическіе, а слѣдовательно и классическіе антики, и однако не подумаемъ вмѣсто статуй поставить напиримѣръ обнаженныхъ слугъ, что еще можно было сдѣлать во времена крѣпостнаго права; даже и теперь мож-

*) Разумѣется, лордъ Биконсфильдъ.

но, и тѣмъ скорѣе, что слуги исполнили бы все это не только не хуже, но даже и лучше статуй, потому что они во всякомъ случаѣ натуральнѣе. Вспомните тезисъ о яблокѣ натуральномъ и яблокѣ нарисованномъ. Но такъ какъ не будетъ миеологичности, то этого и нельзя. Споръ зашелъ на почвѣ чистаго искусства такъ далеко, что, говорятъ, былъ даже причиною нѣсколькихъ семейныхъ ссоръ мужей съ своими прекрасными половинами, стоявшими за чистое искусство, въ противоположность политическому и современному направлению, которое мужья ихъ усматривали въ совершившемся фактѣ. Въ этомъ послѣднемъ смыслѣ имѣло особенный и почти колоссальный успѣхъ мнѣніе извѣстнаго нашего сатирика, г. Щедрина. Бывъ тутъ-же на гуляньи, онъ не повѣрилъ Тритону, и, рассказывали мнѣ, хотеть влючить весь эпизодъ въ слѣдующій-же номеръ „Отечественныхъ Записокъ“ въ отдѣлѣ „Умѣренности и Аккуратности“. Взглядъ нашего юмориста очень тонокъ и чрезвычайно оригиналенъ: онъ полагаетъ, что всплывшій Тритонъ просто-напросто переодѣтый, или, лучше сказать, раздѣтый до нага квартальный, отряженный еще до начала сезона, тотчасъ же послѣ весеннихъ нашихъ петербургскихъ волненій, на все лѣто въ прудъ Елагинскаго острова, на берегахъ котораго столь много гуляетъ дачниковъ, для подслушиванія изъ воды преступныхъ разговоровъ, буде таковыя окажутся. Догадка эта произвела впечатлѣніе потрясающее, такъ что даже дамы перестали спорить и задумались. Къ счастью, извѣстный нашъ историческій романистъ г. Мордовцевъ, случившійся тутъ же, сообщилъ одинъ историческій фактъ изъ исторіи нашей Сѣверной Пальмиры, никому неизвѣстный, всѣми забытый, но изъ котораго оказалось яснымъ, что всплывшее существо—настоящій Тритонъ и сверхъ того совершенно древній. По свѣдѣніямъ г. Мордовцева, добытымъ изъ древнихъ рукописей, этотъ самый Тритонъ доставленъ былъ въ Петербургъ еще во времена Анны Монсъ, единственно чтобъ понравиться которой, Петръ, какъ извѣстно г-ну Мордовцеву, совершилъ свою великую реформу. Античное чудовище привезено было вмѣстѣ съ двумя карликами, бывшими тогда въ чрезвычайной модѣ, и шутомъ Балакиревымъ. Все это привезено было изъ нѣмецкаго городка Карлсруэ, Тритонъ же въ кадкѣ съ карлсруйской водой для того, чтобы, по переходѣ въ Елагинъ прудъ, могъ тотчасъ же найти около себя сопровождавшую его

стихию. Но когда опрокинули въ прудъ карлеруйскую кадку, то злой и насмѣшливый Тритонъ, не взирая на то, что за него такъ дорого заплатили, нырнулъ въ воду и ни разу потомъ не появился на поверхности, такъ что о немъ всѣ забыли до самаго іюля сего года, когда ему вдругъ почему-то вздумалось о себѣ напомнить. Въ прудахъ же они могутъ жить припѣваючи по нѣскольку даже вѣковъ. Никогда ученое сообщеніе не принималось публикою съ такимъ восторгомъ, какъ это. Позже всѣхъ пришли русскіе естественные ученые, иные даже съ другихъ острововъ: гг. Сѣченовъ, Менделѣевъ, Бекетовъ, Бутлеровъ и tutti quanti. Но они застали лишь вышеупомянутые круги на водѣ, да умножившійся скептицизмъ. Конечно, они не знали на что рѣшиться и стояли какъ потерянные, на всякій случай отрицая явленіе. Всѣхъ болѣе заслужилъ симпатіи одинъ очень ученый профессоръ зоологіи: онъ пришелъ позже всѣхъ, но въ совершенномъ отчаяніи. Онъ бросался на всѣхъ и ко всѣмъ, разспрашивалъ о Тритонѣ съ жадностью и почти плакалъ, что его не увидить и что зоологія и свѣтъ потеряли такую тему! Но окружающіе городовые отвѣчали нашему зоологу немогу-знаемъ, военные смѣялись, биржевики смотрѣли свысока, а дамы, какъ трещотки, окруживъ профессора, сообщали ему лишь о тѣлодвиженіяхъ, такъ что нашъ скромный ученый принужденъ былъ, наконецъ, заткнуть себѣ пальцами уши. Горестный профессоръ тыкалъ палочкой въ воду близъ того мѣста, гдѣ скрылся Тритонъ, бросалъ маленькими камешками, выкрикивалъ: „кусь, кусь, сахарцу дамы!“—но все тщетно,—Тритонъ не выплылъ... Впрочемъ, всѣ остались довольны... Прибавьте ко всему прелестный лѣтній вечеръ, заходящее солнце, дамскіе обтянутые туалеты, сладостное ожиданіе мира во всѣхъ сердцахъ, и вы дорисуете сами картину. Замѣчательно, что Тритонъ проговорилъ сказанныя имъ нѣсколько въ высшей степени нецензурныхъ словъ на чистѣйшемъ русскомъ языкѣ, несмотря на то, что онъ по происхожденію нѣмецъ, да сверхъ того еще родился гдѣ-нибудь въ древнихъ Аѳинахъ, вмѣстѣ съ тогдашней Минервой. Кто же научилъ его по-русски—вотъ вопросъ? Да-съ, Россію-таки начинаютъ изучать въ Европѣ! По крайней мѣрѣ, оживилъ собою общество, заснувшее было подъ шумъ войны, всѣхъ усыпившей, и разбудилъ его для внутреннихъ вопросовъ. И за то спасибо! Въ этомъ смыслѣ надо бы же-

латъ не одного, а нѣсколькихъ даже Тритоновъ, и не только въ Невѣ, но и въ Москвѣ-рѣвѣ, и въ Кіевѣ, и въ Одессѣ, и вездѣ, во всякой даже деревнѣ. Въ этомъ смыслѣ, ихъ даже можно бы разводить нарочно: пусть будятъ общество, пусть всплываютъ... Но довольно, довольно! будущее впереди. Мы вдыхаемъ новый воздухъ всею новою, жаждущею вопросовъ грудью, такъ что, можетъ быть, все это устроится само собой вмѣстѣ съ русскими финансами.

(Сообщено):

Другъ Кузьма Пруткова.



ДНЕВНИКЪ ПИСАТЕЛЯ.

ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫПУСКЪ за 1880 г.

АВГУСТЪ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

I.

Объяснительное слово по поводу печатаемой ниже Рѣчи о Пушкинѣ.

Рѣчь моя о Пушкинѣ и о значеніи его, помѣщаемая ниже и составляющая основу содержанія настоящаго выпуска „Дневника Писателя“ (единственнаго выпуска за 1880 годъ *), была произнесена 8-го іюня сего года въ торжественномъ засѣданіи Общества любителей россійской словесности, при многочисленной публикѣ, и произвела значительное впечатлѣніе. Иванъ Сергѣевичъ Аксаковъ, сказавшій тутъ же о себѣ, что его считаютъ всѣ какъ бы предводителемъ славянофиловъ, заявилъ съ кафедры, что моя рѣчь „составляетъ событіе“. Не для похвалы вспоминаю это теперь, а для того, чтобы заявить вотъ что: Если моя рѣчь составляетъ событіе, то только съ одной и единственной точки зрѣнія, которую обозначу ниже. Для сего и пишу это предисловіе. Собственно же въ рѣчи моей я хотѣлъ обозначить лишь слѣдующіе четыре пункта въ значеніи Пушкина для Россіи.

1) То, что Пушкинъ первый, своимъ глубоко прозорли-

*) Изданіе „Дневника Писателя“ надѣюсь возобновить въ будущемъ 1881 году, если позволитъ мое здоровье.

вымъ и геніальнымъ умомъ и чисто русскимъ сердцемъ своимъ отыскалъ и отмѣтилъ главнѣйшее и болѣзненное явленіе нашего интеллигентнаго, исторически оторваннаго отъ почвы общества, возвысившагося надъ народомъ. Онъ отмѣтилъ и выпукло поставилъ передъ нами отрицательный типъ нашъ, человѣка безпокоящагося и не примиряющагося, въ родную почву и въ родныя силы ея не вѣрующаго, Россію и себя самого (то-есть свое же общество, свой же интеллигентный слой, возникшій надъ родной почвой нашей) въ концѣ-концовъ отрицающаго, дѣлать съ другими не желающаго, и искренно страдающаго. Алеко и Онѣгинъ породили потомъ множество подобныхъ себѣ въ нашей художественной литературѣ. За ними выступили Печорины, Чичиковы, Рудины и Лаврецы, Болконскіе (въ „Войнѣ и Мирѣ“ Льва Толстого) и множество другихъ, уже появленіемъ своимъ засвидѣтельствовавшіе о правдѣ первоначально данной мысли Пушкинымъ. Ему честь и слава, его громадному уму и генію, отмѣтившему самую большую язву составившагося у насъ послѣ великой Петровской реформы общества. Его искусному диагнозу мы обязаны обозначеніемъ и распознаеніемъ болѣзни нашей, и онъ же, онъ первый, далъ и утѣшеніе: ибо онъ же далъ и великую надежду, что болѣзнь эта не смертельна и что русское общество можетъ быть излѣчено, можетъ вновь обновиться и воскреснуть, если присоединится къ правдѣ народной, ибо

2) Онъ первый (именно первый, а до него никто) далъ намъ художественные типы красоты русской, вышедшей прямо изъ духа русскаго, обрѣтавшейся въ народной правдѣ, въ почвѣ нашей, и имъ въ ней отысканные. Свидѣтельствуютъ о томъ типы Татьяны, женщины совершенно русской, уберегшей себя отъ наносной лжи, типы историческіе, какъ, на примѣръ, Инокъ и другіе въ „Борисѣ Годуновѣ“, типы бытовые, какъ въ „Капитанской Дочкѣ“, и во множествѣ другихъ образовъ, мельбающихъ въ его стихотвореніяхъ, въ разсказахъ, въ запискахъ, даже въ исторіи Пугачевского бунта. Главное же, что надо особенно подчеркнуть, это то, что всѣ эти типы положительной красоты человѣка русскаго и души его взяты всецѣло изъ народнаго духа. Тутъ уже надобно говорить всю правду: не въ нынѣшней нашей цивилизаціи, не въ „европейскомъ“ такъ-называемомъ образованіи (котораго у насъ, къ слову сказать, никогда и не было), не

въ уродливостяхъ вѣшне усвоенныхъ европейскихъ идей и формъ указаль Пушкинъ эту красоту, а единственно въ народномъ духѣ нашель ее и *только въ немъ*. Такимъ образомъ, повторяю, обозначивъ болѣзнь, даль и великую надежду: „Увѣруйте въ духъ народный и отъ него единого ждите спасенія и будете спасены“. Внигнувъ въ Пушкина, не сдѣлать такого вывода невозможно.

Третій пунктъ, который я хотѣлъ отмѣтить въ значеніи Пушкина, есть та особая, характернѣйшая и не встрѣчаемая кромѣ него нигдѣ и ни у кого черта художественнаго генія—способность всемірной отзывчивости и полнѣйшаго перевоплощенія въ геніи чужихъ націй, перевоплощенія почти совершеннаго. Я сказаль въ моей рѣчи, что въ Европѣ были величайшіе художественные міровые геніи: Шекспиры, Сервантесы, Шиллеры, но что ни у кого изъ нихъ не видимъ этой способности, а видимъ ее только у Пушкина. Не въ отзывчивости одной тутъ дѣло, а именно въ изумляющей полнотѣ перевоплощенія. Эту способность, понятно, я не могъ не отмѣтить въ оцѣнкѣ Пушкина, именно какъ характернѣйшую особенность его генія, принадлежащую изъ всѣхъ всемірныхъ художниковъ ему только одному, чѣмъ и отличается онъ отъ нихъ отъ всѣхъ. Но не для умаленія такой величины европейскихъ геніевъ, какъ Шекспиръ и Шиллеръ, сказаль я это; такой глупенькій выводъ изъ моихъ словъ могъ бы сдѣлать только дуракъ. Всемірность, *всепомнятность* и неизслѣдимая глубина міровыхъ типовъ чловѣка арійскаго племени, данныхъ Шекспиромъ на вѣки вѣковъ, не подвергается мною ни малѣйшему сомнѣнію. И если бъ Шекспиръ создалъ Отелло дѣйствительно *венеціанскимъ* мавромъ, а не англичаниномъ, то только придалъ бы ему ореолъ мѣстной національной характерности, міровое же значеніе этого типа осталось бы попрежнему то же самое, ибо и въ итальянцѣ онъ выразилъ бы то же самое, чтó хотѣлъ сказать, съ такою же силою. Повторяю, не на міровое значеніе Шекспировъ и Шиллеровъ хотѣлъ я посягнуть, обозначая гениальную способность Пушкина перевоплощаться въ геніи чужихъ націй, а желая лишь въ самой этой способности и въ полнотѣ ея отмѣтить великое и пророческое для насъ указаніе, ибо

4) Способность эта есть всецѣло. способность русская, національная, и Пушкинъ только дѣлитель ее со всѣмъ народомъ нашимъ и, какъ совершеннѣйшій художникъ, онъ

есть и совершеннѣйшій выразитель этой способности, по крайней мѣрѣ, въ своей дѣятельности, въ дѣятельности художника. Народъ же нашъ именно заключаетъ въ душѣ своей эту склонность къ всемирной отзывчивости и къ всепримиренію, и уже проявилъ ее во все двухсотлѣтіе съ Петровской реформы не разъ. Обозначая эту способность народа нашего, я не могъ не выставить въ то же время, въ фактѣ этомъ, и великаго утѣшенія для насъ въ нашемъ будущемъ, великой и, можетъ быть, величайшей надежды нашей, свѣтащей намъ впереди. Главное, я обозначилъ то, что стремленіе наше въ Европу, даже со всѣми увлеченіями и крайностями его, было не только законно и разумно, *въ основаніи своемъ*, но и народно, совпадало вполне съ стремленіями самого духа народнаго, а въ концѣ концовъ безспорно имѣетъ и высшую цѣль. Въ краткой, слишкомъ краткой рѣчи моей, я, конечно, не могъ развить мою мысль во всей полнотѣ, но, по крайней мѣрѣ, то, что высказано, кажется ясно. И не надо, не надо возмущаться сказаннымъ мною: „что нищая земля наша, можетъ быть, въ концѣ концовъ сваяетъ новое слово міру“. Смѣшно тоже и увѣрять, что прежде чѣмъ сказать новое слово міру, „надобно намъ самимъ развиваться экономически, научно и гражданственно, и тогда только мечтать о „новыхъ словахъ“ такимъ совершеннымъ (будто бы) организмамъ, какъ народы Европы“. Я именно напираю въ моей рѣчи, что и не пытаюсь равнять русскій народъ съ народами западными въ сферахъ ихъ экономической славы, или научной. Я просто только говорю, что русская душа, что геній народа русскаго, можетъ быть, наиболѣе способны, изъ всѣхъ народовъ, вмѣстить въ себѣ идею всечеловѣческаго единенія, братской любви, трезваго взгляда, прощающаго враждебное, различающаго и извиняющаго несходное, снимающаго противорѣчія. Это не экономическая черта и не какая другая, это лишь *нравственная* черта, и можетъ ли кто отрицать и оспорить, что ея нѣтъ въ народѣ русскомъ? Можетъ ли кто сказать, что русскій народъ есть только косная масса, осужденная лишь служить *экономически* преуспѣянію и развитію европейской интеллигенціи нашей, возвысившейся надъ народомъ нашимъ, сама же въ себѣ заключаетъ лишь мертвую косность, отъ которой ничего и не слѣдуетъ ожидать и на которую совсѣмъ нечего возлагать никакихъ надеждъ? Увы, такъ многіе утверждаютъ, но я рискнулъ

объявить иное. Повторяю, я, конечно, не могъ доказать „этой фантазіи моей“, какъ я самъ выразился, обстоятельно и со всею полнотою, но я не могъ и не указать на нее. Утверждать же, что нищая и неурядная земля наша не можетъ заключать въ себѣ столь высокія стремленія, пока не сдѣлается экономически и гражданственно подобною Западу,—есть уже просто нелѣпость. Основныя нравственныя сокровища духа, въ основной сущности своей, по крайней мѣрѣ, не зависятъ отъ экономической силы. Наша нищая неурядная земля, кромѣ высшаго слоя своего, вся сплошь, какъ одинъ человѣкъ. Всѣ восемьдесятъ милліоновъ ея населенія представляютъ собою такое духовное единеніе, какого, конечно, въ Европѣ нѣтъ нигдѣ и не можетъ быть, а, стало быть, уже по сему одному нельзя сказать, что наша земля неурядна, даже въ строгомъ смыслѣ нельзя сказать, что и нищая. Напротивъ, въ Европѣ, въ этой Европѣ, гдѣ накоплено столько богатствъ, все гражданское основаніе всѣхъ европейскихъ націй—все подкопано и, можетъ быть, завтра же рухнетъ безслѣдно на вѣки вѣковъ, а взамѣнъ наступитъ нѣчто неслыханно-новое, ни на что прежнее не похожее. И всѣ богатства, накопленныя Европой, не спасутъ ее отъ паденія, ибо „въ одинъ мигъ исчезнетъ и богатство“. Между тѣмъ на этотъ, именно на этотъ подкопанный и зараженный ихъ гражданскій строй и указываютъ народу нашему какъ на идеалъ, къ которому онъ долженъ стремиться, и лишь по достиженіи имъ этого идеала осмѣлятся пролепетать свое какое-либо слово Европѣ. Мы же утверждаемъ, что вмѣщать и носить въ себѣ силу любящаго и всеединящаго духа можно и при теперешней экономической нищетѣ нашей, да и не при такой еще нищетѣ, какъ теперь: ее можно сохранять и вмѣщать въ себѣ даже и при такой нищетѣ, какая была послѣ нашествія Батыева или послѣ погрома Смутнаго времени, когда единственно всеединящимъ духомъ народнымъ была спасена Россія. И, наконецъ, если ужъ въ самомъ дѣлѣ такъ необходимо надо, для того, чтобъ имѣть право любить человѣчество и носить въ себѣ всеединящую душу, для того чтобъ заключать въ себѣ способность не ненавидѣть чужіе народы за то, что они не похожи на насъ; для того чтобъ имѣть желаніе не укрѣпляться отъ всѣхъ въ своей національности, чтобъ ей только одной все досталось, а другія національности считать только за лимонъ, который

можно выжать (а народы такого духа вѣдь есть въ Европѣ!)—если и въ самомъ дѣлѣ для достиженія всего этого надо, повторяю я, предварительно стать народомъ богатымъ и перетащить къ себѣ европейское гражданское устройство, то неужели все-таки мы и тутъ должны рабски скопировать это европейское устройство (которое завтра же въ Европѣ рухнетъ)? Неужели и тутъ не дадутъ и не позволяютъ русскому организму развиваться национально, своей органической силой, а непременно обезличено, лакейски подражая Европѣ? Да куда же дѣвать тогда русскій-то организмъ? Понимаютъ ли эти господа, что такое организмъ? А еще толкуютъ о естественныхъ наукахъ! „Этого народъ не позволитъ“, сказалъ по одному поводу, года два назадъ, одинъ собесѣдникъ одному ярому западнику. — „Такъ уничтожить народъ!“ отвѣтилъ западникъ спокойно и величаво. И былъ онъ не кто-нибудь, а одинъ изъ представителей нашей интеллигенціи. Анекдотъ этотъ вѣренъ.

Четырьмя этими пунктами я обозначилъ значеніе для насъ Пушкина, и рѣчь моя, повторяю, произвела впечатлѣніе. Не заслугами своими произвела она это впечатлѣніе (я напираю на это), не талантливостью изложенія (соглашаюсь въ этомъ со всѣми моими противниками и не хвалюсь), а искренностью ея, и, осмѣлюсь сказать это, — нѣкоторою неотразимостью выставленныхъ мною фактовъ, несмотря на всю краткость и неполноту моей рѣчи. Но въ чемъ же, однако, заключалось „событіе“—то, какъ выразился Иванъ Сергѣевичъ Аксаковъ? А вотъ именно въ томъ, что славянофилами, или такъ-называемой русской партией (Боже, у насъ есть „русская партія“!) сдѣланъ былъ огромный и окончательный, можетъ быть, шагъ къ примиренію съ западниками; ибо славянофилы заявили всю законность стремленія западниковъ въ Европу, всю законность даже самыхъ крайнихъ увлеченій и выводовъ ихъ, и объяснили эту законность чисто русскимъ народнымъ стремленіемъ нашимъ, совпадаемымъ съ самимъ духомъ народнымъ. Увлеченія же оправдали— историческою необходимостью, историческимъ фатумомъ, такъ что въ концѣ концовъ и въ итогѣ, если когда-нибудь будетъ онъ подведенъ, обозначится, что западники ровно столько же послужили русской землѣ и стремленіямъ духа ея, какъ и всѣ тѣ чисто русскіе люди, которые искренно любили родную землю и слишкомъ, мо-

жетъ быть, ревниво оберегали ее доселѣ отъ всѣхъ увлеченій „русскихъ иноземцевъ“. Объявлено было, наконецъ, что всѣ недоумѣнія между обѣими партіями и всѣ злыя препиранія между ними были доселѣ лишь однимъ великимъ недоразумѣніемъ. Вотъ это-то и могло бы стать, пожалуй, „событіемъ“, ибо представители славянофильства тутъ же, сейчасъ же послѣ рѣчи моей, вполне согласились со всѣми ея выводами. Я же заявляю теперь — да и заявилъ это въ самой рѣчи моей,—что честь этого новаго шага (если только искреннѣйшее желаніе примиренія составляетъ честь), что заслуга этого новаго, если хотите, слова, вовсе не мнѣ одному принадлежить, а всему славянофильству, всему духу и направленію „партіи“ нашей, что это всегда было ясно для тѣхъ, которые безпристрастно вникали въ славянофильство, что идея, которую я высказалъ, была уже не разъ если не высказываема, то указываема ими. Я же сумѣлъ лишь вовремя уловить минуту. Теперь вотъ заключеніе: если западники примутъ нашъ выводъ и согласятся съ нимъ, то и впрямь, конечно, уничтожатся всѣ недоразумѣнія между обѣими партіями, такъ что „западникамъ и славянофиламъ“ не объ чемъ будетъ и спорить, какъ выразился Иванъ Сергѣевичъ Аксаковъ, „такъ какъ все отнынѣ разъяснено“. Съ этой точки зрѣнія, конечно, рѣчь моя была бы „событіемъ“. Но увы, слово „событіе“ произнесено было лишь въ искреннемъ увлеченіи съ одной стороны, но примется ли другою стороною и не останется лишь въ идеалѣ, это уже совсѣмъ другой вопросъ. Рядомъ съ славянофилами, обнимавшими меня и жавшими мнѣ руку, тутъ же на эстрадѣ, едва лишь я сошелъ съ кафедръ, подошли ко мнѣ позвать мою руку и западники, и не какіе-нибудь изъ нихъ, а передовые представители западничества, занимающіе въ немъ первую роль, особенно теперь. Они жали мнѣ руку съ такимъ же горячимъ и искреннимъ увлеченіемъ какъ славянофилы, и называли мою рѣчь геніальною, и нѣсколько разъ, напирая на слово это, произнесли, что она геніальна. Но боюсь, боюсь искренно: не въ первыхъ ли „попыхахъ“ увлеченія произнесено было это! О, не того боюсь я, что они откажутся отъ мнѣнія своего, что моя рѣчь геніальна, а вѣдь и самъ знаю, что она не геніальна и нисколько не былъ обольщенъ похвалами, такъ что отъ всего сердца прощу имъ ихъ разочарованіе въ моей геніальности, — но вотъ что,

однакоже, может случиться, вот что могут сказать западники чуть-чуть подумавъ (Nota bene, я не объ тѣхъ пишу, которые жали мнѣ руку, я лишь вообще о западникахъ теперь скажу, на это я напираю): „А, скажутъ, можетъ быть, западники (слишите: только „можетъ быть“, не болѣе)—а, вы согласились-таки наконецъ, послѣ долгихъ споровъ и препираний, что стремленіе наше въ Европу было законно и нормально; вы признали, что на нашей сторонѣ тоже была правда, и склонили ваши знамена,—что жъ, мы принимаемъ ваше признаніе радушно и спѣшимъ заявить вамъ, что съ вашей стороны это даже довольно не дурно: обозначаетъ, по крайней мѣрѣ, въ васъ нѣкоторый умъ, въ которомъ, впрочемъ, мы вамъ никогда не отказывали, за исключеніемъ развѣ самыхъ тупѣйшихъ изъ нашихъ, за которыхъ мы отвѣчать не хотимъ и не можемъ,—но... тутъ, видите ли, является опять нѣкоторая новая запятая, и это надобно какъ можно скорѣе разъяснить. Дѣло въ томъ, что ваше-то положеніе, вашъ-то выводъ о томъ, что мы, въ увлеченіяхъ нашихъ, совпадали будто бы съ народнымъ духомъ и таинственно направлялись имъ, ваше-то это положеніе—все-таки остается для насъ болѣе чѣмъ сомнительнымъ, а потому и соглашеніе между нами опять-таки становится невозможнымъ. Знайте, что мы направлялись Европой, наукой ея и реформой Петра, но ужъ отнюдь не духомъ народа нашего, ибо духа этого мы не встрѣчали и не обоняли на нашемъ пути, напротивъ, оставили его назади и поскорѣе отъ него убѣжали. Мы съ самого начала пошли самостоятельно, а вовсе не слѣдуя какому-то будто-бы влекущему инстинкту народа русскаго ко всемірной отзывчивости и къ соединенію человѣчества,—ну, однимъ словомъ, ко всему тому, о чемъ вы теперь столько наговорили. Въ народѣ русскомъ, такъ какъ ужъ пришло время высказаться вполне откровенно, мы попрежнему видимъ лишь косную массу, у которой намъ нечему учиться, тормозящую напротивъ развитіе Россіи къ прогрессивному лучшему, и которую всю надо пересоздать и передѣлать,—если ужъ невозможно и нельзя органически, то, по крайней мѣрѣ, механически, то-есть попросту заставивъ ее разъ навсегда насъ слушаться, во вѣки вѣковъ. А чтобы достигнуть сего послушанія, вотъ и необходимо усвоить себѣ гражданское устройство точь въ точь какъ въ европейскихъ земляхъ, о которыхъ именно теперь пошла рѣчь.

Собственно же народъ нашъ ницъ и смердъ, какимъ онъ былъ всегда, и не можетъ имѣть ни лица, ни идеи. Вся исторія народа нашего есть абсурдъ, изъ котораго вы до сихъ поръ чортъ знаетъ что выводили, а смотрѣли только мы трезво. Надобно, чтобъ такой народъ какъ нашъ—не имѣлъ исторіи, а то, что имѣлъ подъ видомъ исторіи, должно быть съ отвращеніемъ забыто имъ, все цѣликомъ. Надобно, чтобъ имѣло исторію лишь одно наше интеллигентное общество, которому народъ долженъ служить лишь своимъ трудомъ и своими силами.

Позвольте, не беспокойтесь и не кричите: не закабалить народъ нашъ мы хотимъ, говоря о послушаніи его, о, конечно, нѣтъ! не выводите, пожалуйста, этого: мы гуманны, мы европейцы, вы слишкомъ знаете это. Напротивъ, мы намѣрены образовать нашъ народъ помаленьку, въ порядкѣ, и увѣнчать наше зданіе, вознеся народъ до себя и передѣлавъ его національность уже въ иную, какая тамъ сама наступитъ послѣ образованія его. Образованіе же его мы оснуемъ и начнемъ съ чего сами начали, т.-е. на отрицаніи имъ всего его прошлаго, и на проклятіи, которому онъ самъ долженъ предать свое прошлое. Чуть мы выучимъ челоуѣка изъ народа грамотѣ, тотчасъ же и заставимъ его нюхнуть Европы, тотчасъ же начнемъ обольщать его Европой, ну хотя бы утонченностью быта, приличій, костюма, напитковъ, танцевъ,—словомъ, заставимъ его устыдиться своего прежняго лаптя и квасу, устыдиться своихъ древнихъ пѣсень, и хотя изъ нихъ есть нѣсколько прекрасныхъ и музыкальныхъ, но мы все-таки заставимъ его пѣть риемованный водевиль, сколько бы вы тамъ ни сердились на это. Однимъ словомъ, для доброй цѣли мы, многочисленнѣйшими и всякими средствами, подѣйствуемъ прежде всего на слабыя струны характера какъ и съ нами было, и тогда народъ—нашъ. Онъ застыдится своего прежняго и проклянетъ его. Кто проклянетъ свое прежнее, тотъ уже нашъ,—вотъ наша формула! Мы ее всецѣло приложимъ, когда примемся возносить народъ до себя. Если же народъ окажется неспособнымъ къ образованію, то—„устранить народъ“. Ибо тогда выставится уже ясно, что народъ нашъ есть только недостойная, варварская масса, которую надо заставить лишь слушаться. Ибо что же тутъ дѣлать: въ интеллигенціи и въ Европѣ лишь правда, а потому хоть у насъ и восемьдесятъ милліоновъ народу (чѣмъ вы, кажется, хва-

стаетесь), но всё эти миллионы должны прежде всего послужить этой европейской правдѣ, такъ какъ другой нѣтъ и не можетъ быть. Количествомъ же миллионѡвъ насъ не испугаете. Вотъ всегдашній нашъ выводъ, только теперь ужъ во всей наготѣ, и мы остаемся при немъ. Не можемъ же мы, принявъ вашъ выводъ, толковать вмѣстѣ съ вами, напримѣръ, о такихъ странныхъ вещахъ какъ *le Pravoslavié* и какое-то будто бы особое значеніе его. Надѣмся, что вы отъ насъ хотя этого-то не потребуете, особенно теперь, когда послѣднее слово Европы и европейской науки въ общемъ выводѣ есть атеизмъ, просвѣщенный и гуманный, а мы не можемъ же не идти за Европой.

А потому ту половину произнесенной рѣчи, въ которой вы высказываете намъ похвалы, мы, пожалуй, согласимся принять съ извѣстными ограниченіями, такъ и быть, сдѣлаемъ вамъ эту любезность. Ну, а ту половину, которая относится къ вамъ и ко всѣмъ этимъ вашимъ „началамъ“ — ужъ извините, мы не можемъ принять... Вотъ какой можетъ быть грустный выводъ. Повторяю: я не только не осмѣлюсь вложить этотъ выводъ въ уста тѣхъ западниковъ, которые жали мнѣ руку, но и въ уста многихъ, очень многихъ, просвѣщеннѣйшихъ изъ нихъ, русскихъ дѣятелей и вполнѣ русскихъ людей, несмотря на ихъ теоріи, почтенныхъ и уважаемыхъ русскихъ гражданъ. Но зато масса-то, масса-то оторвавшихся и отщепенцевъ, масса-то вашего западничества, середина-то, улица-то, по которой влачится идея,—всѣ эти смерды-то „направленія“ (а ихъ какъ песку морского), о, тамъ непременно наскажутъ въ этомъ родѣ, и, можетъ-быть, даже ужъ и насказали. (*Nota bene.* Насчетъ вѣры, напримѣръ, уже было заявлено въ одномъ изданіи со всѣмъ свойственнымъ ему остроуміемъ, что цѣль славянофиловъ—это перекрестить всю Европу въ православіе). Но отбросимъ мрачныя мысли и будемъ надѣяться на передовыхъ представителей нашего европеизма. И если они примутъ хоть только половину нашего вывода и нашихъ надеждъ на нихъ, то честь имъ и слава и за это, и мы встрѣтимъ ихъ въ восторгѣ нашего сердца. Если даже одну половину примутъ они, т.-е. признаютъ хоть самостоятельность и личность русскаго духа, законность его бытія и чело-вѣколюбивое, всеединящее его стремленіе, то и тогда уже будетъ почти не о чемъ спорить, по крайней мѣрѣ, изъ

основного, изъ главнаго. Тогда дѣйствительно моя рѣчь послужила бы къ основанію новаго событія. Не она сама, повторяю въ послѣдній разъ, была бы событіемъ (она недостойна такого наименованія), а великое Пушкинское торжество, послужившее событіемъ нашего единенія, — единенія уже всѣхъ образованныхъ и искреннихъ русскихъ людей для будущей прекраснѣйшей цѣли.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Пушкинъ.

(Очеркъ).

Произнесено 8 іюня въ засѣданіи Общества Любителей Россійской Словесности.

Пушкинъ есть явленіе чрезвычайное и, можетъ быть, единственное явленіе русскаго духа, сказалъ Гоголь. Прибавлю отъ себя: и пророческое. Да, въ появленіи его заключается для всѣхъ насъ, русскихъ, нѣчто безспорно пророческое. Пушкинъ какъ разъ приходитъ въ самомъ началѣ правильнаго самосознанія нашего, едва лишь начавшагося и зародившагося въ обществѣ нашемъ послѣ цѣлаго столѣтія съ Петровской реформы, и появленіе его сильно способствуетъ освѣщенію темной дороги нашей новымъ направляющимъ свѣтомъ. Въ этомъ-то смыслѣ Пушкинъ есть пророчество и указаніе. Я дѣлю дѣятельность нашего великаго поэта на три періода. Говорю теперь не какъ литературный критикъ: касаясь творческой дѣятельности Пушкина, я хочу лишь разъяснить мою мысль о пророческомъ для насъ значеніи его, и что я въ этомъ словѣ разумѣю. Замѣчу, однакоже, мимоходомъ, что періоды дѣятельности Пушкина не имѣютъ, кажется мнѣ, твердыхъ между собою границъ. Начало *Онегина*, на примѣръ, принадлежитъ, по-моему, еще къ первому періоду дѣятельности поэта, а кончается *Онегинъ* во второмъ періодѣ, когда Пушкинъ нашелъ уже свои идеалы въ родной землѣ, воспріялъ и возлюбилъ ихъ всецѣло своею любящею и прозорливой душой. Принято тоже говорить, что въ первомъ періодѣ своей дѣятельности Пушкинъ подражалъ европейскимъ поэтамъ: Парни, Андре Шенье и другимъ, особенно Байрону. Да, безъ сомнѣнія, поэты Европы имѣли великое вліяніе на развитіе его гения, да и сохраняли вліяніе это во всю его жизнь. Тѣмъ не ме-

нѣе, даже самыя первыя поэмы Пушкина были не однимъ лишь подражаніемъ, такъ что и въ нихъ уже выразилась чрезвычайная самостоятельность его генія. Въ подражаніяхъ никогда не появляется такой самостоятельности страданія и такой глубины самосознанія, которыя явилъ Пушкинъ, на примѣръ, въ *Цыганахъ* — поэмѣ, которую я всецѣло отношу еще къ первому періоду его творческой дѣятельности. Не говорю уже о творческой силѣ и о стремительности, которой не явилось бы столько, если бъ онъ только лишь подражалъ. Въ типѣ Алеко, героѣ поэмы *Цыганы*, сказывается уже сильная и глубокая, совершенно русская мысль, выраженная потомъ въ такой гармонической полнотѣ въ *Онгинѣ*, гдѣ почти тотъ же Алеко является уже не въ фантастическомъ свѣтѣ, а въ осязаемо-реальномъ и понятномъ видѣ. Въ Алеко Пушкинъ уже отыскалъ и гениально отмѣтилъ того несчастнаго скитальца въ родной землѣ, того историческаго русскаго страдальца, столь исторически необходимо явившагося въ оторванномъ отъ народа обществѣ нашемъ. Отыскалъ же онъ его, конечно, не у Байрона только. Типъ этотъ вѣрный и схваченъ безошибочно, типъ постоянный и надолго у насъ, въ нашей Русской землѣ поселившійся. Эти русскіе бездомные скитальцы продолжаютъ и до сихъ поръ свое скитальчество, и еще долго, кажется, не исчезнуть. И если они не ходятъ уже въ наше время въ цыганскіе таборы искать у цыганъ въ ихъ дикомъ своеобразномъ бытѣ своихъ міровыхъ идеаловъ и успокоенія на лонѣ природы отъ сбивчивой и нелѣпой жизни нашего русскаго — интеллигентнаго общества, то все равно ударяются въ социализмъ, котораго еще не было при Алеко, ходятъ съ новою вѣрой на другую ниву и работаютъ на ней ревностно, вѣруя, какъ и Алеко, что достигнуть въ своемъ фантастическомъ дѣланіи цѣлей своихъ и счастья не только для себя самого, но и всемірнаго. Ибо русскому скитальцу необходимо именно всемірное счастье, чтобъ успокоиться: дешевле онъ не примирится, — конечно, пока дѣло только въ теоріи. Это все тотъ же русскій человѣкъ, только въ разное время явившійся. Человѣкъ этотъ, повторяю, зародился какъ разъ въ началѣ второго столѣтія послѣ великой Петровской реформы, въ нашемъ интеллигентномъ обществѣ, оторванномъ отъ народа, отъ народной силы. О, огромное большинство интеллигентныхъ русскихъ, и тогда при Пушкинѣ, какъ и теперь, въ наше

время, служили и служат мирно въ чиновникахъ, въ казнѣ или на желѣзныхъ дорогахъ и въ банкахъ, или просто наживаютъ разными средствами деньги, или даже и науками занимаются, читаютъ лекціи—и все это регулярно, лѣниво и мирно, съ полученіемъ жалованья, съ игрой въ преферансъ, безо-всякаго поползновенія бѣжать въ цыганскіе таборы или куда-нибудь въ мѣста болѣе соотвѣтствующія нашему времени. Много, много что либеральничаютъ „съ отбѣнкомъ европейскаго социализма“, но которому приданъ нѣкоторый благодушный русскій характеръ, — но вѣдь все это вопросъ только времени. Чтò въ томъ, что одинъ еще и не начиналъ беспокоиться, а другой уже успѣлъ дойти до запертой двери и объ нее крѣпко стукнулся лбомъ. Всѣхъ въ свое время то же самое ожидаетъ, если не выйдутъ на спасительную дорогу смиреннаго общенія съ народомъ. Да пусть и не всѣхъ ожидаетъ это: довольно лишь „избранныхъ“, довольно лишь десятой доли забеспокоившихся, чтобъ и остальному огромному большинству не видать чрезъ нихъ покоя. Алеко, конечно, еще не умѣетъ правильно высказать тоски своей: у него все это какъ-то еще отвлеченно, у него лишь тоска по природѣ, жалоба на свѣтское общество, міровыя стремленія, плачь о потерянной гдѣ-то и кѣмъ-то правдѣ, которую онъ никакъ отыскать не можетъ. Тутъ есть немножко Жанъ-Жака Руссо. Въ чемъ эта правда, гдѣ и въ чемъ она могла бы явиться и когда именно она потеряна, конечно, онъ и самъ не скажетъ, но страдаетъ онъ искренно. Фантастическій и нетерпѣливый человѣкъ жаждетъ спасенія пока лишь преимущественно отъ явленій внѣшнихъ; да такъ и быть должно: „правда, дескать, гдѣ-то внѣ его, можетъ быть, гдѣ-то въ другихъ земляхъ, европейскихъ, напимѣръ, съ ихъ твердымъ историческимъ строемъ, съ ихъ установившеюся общественною и гражданскою жизнью“. И никогда-то онъ не пойметъ, что правда прежде всего внутри его самого, да и какъ понять ему это: онъ вѣдь въ своей землѣ самъ не свой, онъ уже цѣлымъ вѣкомъ отученъ отъ труда, не имѣетъ культуры, росъ какъ институтка въ закрытыхъ стѣнахъ, обязанности исполнялъ странныя и безотчетныя по мѣрѣ принадлежности къ тому или другому изъ четырнадцати классовъ, на которые раздѣлено образованное русское общество. Онъ пока всего только оторванная носящаяся по воздуху былинка. И онъ это чувствуетъ и

этимъ страдаетъ, и часто такъ мучительно! Ну и что же въ томъ, что, принадлежа; можетъ быть, къ родовому дворянству и даже весьма вѣроятно обладая крѣпостными людьми, онъ позволилъ себѣ, по вольности своего дворянства, маленькую фантазію прельститься людьми живущими „безъ закона“ и на время сталъ въ цыганскомъ таборѣ водить и показывать Мишку? Понятно, женщина, „дикая женщина“, по выраженію одного поэта, всего скорѣе могла подать ему надежду на исходъ тоски его, и онъ съ легкомысленною, но страстною вѣрой бросается къ Земфирѣ: „Вотъ, дескать, гдѣ исходъ мой, вотъ гдѣ можетъ быть мое счастье, здѣсь, на лонѣ природы, далеко отъ свѣта, здѣсь, у людей, у которыхъ нѣтъ цивилизаціи и законовъ!“ И что же оказывается: при первомъ столкновеніи своемъ съ условіями этой дикой природы онъ не выдерживаетъ и обагрываетъ свои руки кровью. Не только для мировой гармоніи, но даже и для цыганъ не пригодился несчастный мечтатель и они выгоняютъ его— безъ отмщенія, безъ злобы, величаво и простодушно:

Оставь насъ, гордый человѣкъ:
Мы дики, нѣтъ у насъ законовъ,
Мы не терзаемъ, не казимъ.

Все это, конечно, фантастично, но „гордый-то человѣкъ“ реаленъ и мѣтко схваченъ. Въ первый разъ схваченъ онъ у насъ Пушкинымъ, и это надо запомнить. Именно, именно чуть не по немъ, и онъ злобно растерзаетъ и казнить за свою обиду, или, что даже удобнѣе, вспомнивъ о принадлежности своей къ одному изъ четырнадцати классовъ, самъ возопіетъ, можетъ быть (ибо случилось и это), къ закону терзающему и казнящему, и призоветъ его, только бы отмщена была личная обида его. Нѣтъ, эта гениальная поэма не подражаніе! Тутъ уже подсказывается русское рѣшеніе вопроса, „проклятаго вопроса“, по народной вѣрѣ и правдѣ: „Смирись, гордый человѣкъ, и прежде всего слыми свою гордость. Смирись, праздный человѣкъ, и прежде всего потрудись на родной нивѣ“, вотъ это рѣшеніе по народной правдѣ и народному разуму. „Не внѣ тебя правда, а въ тебѣ самомъ, найди себя въ себѣ, подчини себя себѣ, овладѣй собой, и узришь правду. Не въ вещахъ эта правда, не внѣ тебя и не за моремъ гдѣ-нибудь, а прежде всего въ твоёмъ собственномъ трудѣ надъ собою. Побѣдишь себя, усмиришь себя,—и станешь свободенъ какъ никогда и не воображалъ себѣ, и нач-

нешь великое дѣло, и другихъ свободными сдѣлаешь, и узришь счастье, ибо наполнится жизнь твоя, и поймешь, наконецъ, народъ свой и святую правду его. Не у цыганъ и нигдѣ мировая гармонія, если ты первый самъ ея недостойнъ, злобенъ и гордъ, и требуешь жизни даромъ, даже и не предполагая, что за нее надобно заплатить“. Это рѣшеніе вопроса въ поэмѣ Пушкина уже сильно подсказано. Еще яснѣе выражено оно въ *Евгеніи Онегинѣ*, поэмѣ уже не фантастической, но осязательно реальной, въ которой воплощена настоящая русская жизнь съ такою творческою силой и съ такою законченностію, какой и не бывало до Пушкина, да и послѣ его, пожалуй.

Онѣгинъ прїѣзжаетъ изъ Петербурга,—непремѣнно изъ Петербурга, это несомнѣнно было необходимо въ поэмѣ и Пушкинъ не могъ упустить такой крупной реальной черты въ біографіи своего героя. Повторяю опять, это тотъ же Алеко, особенно потому, когда онъ восклицаетъ въ тоскѣ:

Зачѣмъ какъ тульскій засѣдатель
Я не лежу въ параличѣ?

Но теперь, въ началѣ поэмы, онъ пока еще на половину фатъ и свѣтскій человѣкъ, и слишкомъ еще мало жилъ, чтобъ успѣть вполнѣ разочароваться въ жизни. Но и его уже начинаетъ посѣщать и беспокоить

Бѣсъ благородный скуки тайной.

Въ глуши, въ сердцѣ своей родины, онъ, конечно, не у себя, онъ не дома. Онъ не знаетъ, что ему тутъ дѣлать, и чувствуетъ себя, какъ бы у себя-же въ гостяхъ. Впослѣдствіи, когда онъ скитается въ тоскѣ по родной землѣ и по землямъ иностраннымъ, онъ, какъ человѣкъ безспорно умный и безспорно искренній, еще болѣе чувствуетъ себя и у чужихъ себѣ самому чужимъ. Правда, и онъ любитъ родную землю, но ей не довѣряетъ. Конечно, слышалъ и объ родныхъ идеалахъ, но имъ не вѣритъ. Вѣритъ лишь въ полную невозможность какой бы то ни было работы на родной нивѣ, а на вѣрующихъ въ эту возможность,—и тогда, какъ и теперь, немногихъ,—смотреть съ грустною насмѣшкой. Ленскаго онъ убилъ просто отъ хандры, почему знать, можетъ быть, отъ хандры по мировому идеалу,—это слишкомъ по-нашему, это вѣроятно. Не такъова Татьяна: это типъ твердый, стоящій твердо на своей почвѣ. Она глубже Онѣгина и, конечно, умнѣе его. Она уже однимъ благороднымъ инстинктомъ своимъ предчув-

ствуешь, гдѣ и въ чемъ правда, что и выразилось въ финалѣ поэмы. Можетъ быть, Пушкинъ даже лучше бы сдѣлалъ, если бы назвалъ свою поэму именемъ Татьяны, а не Онѣгина, ибо безспорно она главная героиня поэмы. Это положительный типъ, а не отрицательный, это типъ положительной красоты, это апофеоза русской женщины, и ей предназначилъ поэтъ высказать мысль поэмы въ знаменитой сценѣ послѣдней встрѣчи Татьяны съ Онѣгинымъ. Можно даже сказать, что такой красоты положительный типъ русской женщины почти уже и не повторялся въ нашей художественной литературѣ—кромѣ развѣ образа Лизы въ *Дворянскомъ Гнѣздѣ* Тургенева. Но манера глядѣть свысока сдѣлала то, что Онѣгинъ совсѣмъ даже не узналъ Татьяну, когда встрѣтилъ ее въ первый разъ, въ глуши, въ скромномъ образѣ чистой, невинной дѣвушки, такъ оробѣвшей передъ нимъ съ перваго разу. Онъ не сумѣлъ отличить въ бѣдной дѣвочкѣ законченности и совершенства и дѣйствительно, можетъ быть, принималъ ее за „нравственный эмбрионъ“. Это она-то эмбрионъ, это послѣ письма-то ея къ Онѣгину! Если есть кто нравственный эмбрионъ въ поэмѣ, такъ это, конечно, онъ самъ, Онѣгинъ, и это безспорно. Да и совсѣмъ не могъ онъ узнать ее: развѣ онъ знаетъ душу человѣческую? Это отвлеченный человѣкъ, это безпокойный мечтатель во всю его жизнь. Не узналъ онъ ее и потомъ въ Петербургѣ, въ образѣ знатной дамы, когда, по его же словамъ, въ письмѣ къ Татьянѣ, „постигалъ душой всѣ ея совершенства“. Но это только слова: Она прошла въ его жизни мимо него неузнанная и неопѣненная имъ; въ томъ и трагедія ихъ романа. О, если бы тогда, въ деревнѣ, при первой встрѣчѣ съ нею, прибылъ туда-же изъ Англіи Чайльдъ-Гарольдъ или даже, какъ-нибудь, самъ лордъ Байронъ, и, замѣтивъ ея робкую, скромную прелесть, указалъ бы ему на нее,—о, Онѣгинъ тотчасъ-же былъ бы пораженъ и удивленъ, ибо въ этихъ міровыхъ страдальцахъ такъ много подчасъ лакейства духовнаго! Но этого не случилось, и искатель міровой гармоніи, прочтя ей проповѣдь и поступивъ все-таки очень честно, отправился съ міровою тоскою своею и съ пролитой въ глупенькой злости кровью на рукахъ своихъ, скитаться по родинѣ, не примѣчая ея и, кипя здровьемъ и силою, восклицаетъ съ проклятіями:

Я молодъ, жизнь во мнѣ крѣпка,
Чего мнѣ ждать, тоска, тоска!

Это поняла Татьяна. Въ безсмертныхъ строфахъ романа поэтъ изобразилъ ее посѣтившею домъ этого столь чуднаго и загадочнаго еще для нея человѣка. Я уже не говорю о художественности, недосыгаемой красотѣ и глубинѣ этихъ строкъ. Вотъ она въ его кабинетѣ, она разглядываетъ его книги, вещи, предметы, старается угадать по нимъ душу его, разгадать свою загадку, и „нравственный эмбрионъ“ останавливается наконецъ въ раздумьи, со странною улыбкой, съ предчувствіемъ разрѣшенія загадки, и губы ея тихо шепчутъ:

Ужъ не пародія-ли онъ?

Да, она должна была прошептать это, она разгадала. Въ Петербургѣ, потомъ, спустя долго, при новой встрѣчѣ ихъ, она уже совершенно его знаетъ. Кстати, кто сказалъ, что свѣтская придворная жизнь тлетворно коснулась ея души, и что именно санъ свѣтской дамы и новыя свѣтскія понятія были отчасти причиной отказа ея Онѣгину? Нѣтъ, это не такъ было. Нѣтъ, это та-же Таня, та-же прежняя деревенская Таня! Она не испорчена, она, напротивъ, удручена этою пышною петербургскою жизнью, надломлена и страдаетъ; она ненавидитъ свой санъ свѣтской дамы, и кто судить о ней иначе, тотъ совсѣмъ не понимаетъ того, что хотѣлъ сказать Пушкинъ. И вотъ она твердо говоритъ Онѣгину:

Но я другому отдана,
И буду вѣкъ ему вѣрна.

Высказала она это именно какъ русская женщина, въ этомъ ея апопееза. Она высказываетъ правду поэмы. О, я ни слова не скажу про ея религіозныя убѣжденія, про взглядъ на таинство брака—нѣтъ, этого я не коснусь. Но что-же: потому-ли она отказалась идти за нимъ, несмотря на то, что сама-же сказала ему: „я васъ люблю“, потому-ли, что она, „какъ русская женщина“ (а не южная, или не французская какая-нибудь), неспособна на смѣлый шагъ, не въ силахъ порвать свои путы, не въ силахъ пожертвовать обаяніемъ чести, богатства, свѣтскаго своего значенія, условіями добродѣтели? Нѣтъ, русская женщина смѣла. Русская женщина смѣло пойдетъ за тѣмъ, во что повѣрить, и она доказала это. Но она „другому отдана, и будетъ вѣкъ ему вѣрна“. Кому-же, чему-же вѣрна? Какимъ это обязанностямъ? Этому-то старику-генералу, котораго она не можетъ же любить, потому что любить

Онѣгина, и за котораго вышла потому только, что ее, „съ слезами заклинаній молила мать“, а въ обиженной, израненной душѣ ея было тогда лишь отчаяніе и никакой надежды, никакого просвѣта? Да, вѣрна этому генералу, ея мужу, честному человѣку, ее любящему, ее уважающему и ею гордящемуся. Пусть ее „молила мать“, но вѣдь она, а не кто другая, дала согласіе, она вѣдь, она сама поклалась ему быть честною женою его. Пусть она вышла за него съ отчаянія, но теперь онъ ея мужъ и измѣна ея покроетъ его позоромъ, стыдомъ, и убьетъ его. А развѣ можетъ человѣкъ основать свое счастье на несчастіи другого? Счастье не въ однихъ только наслажденіяхъ любви, а и въ высшей гармоніи духа. Чѣмъ успокоить духъ, если назади стоитъ нечистый, безжалостный, безчеловѣчный поступокъ? Ей бѣжать изъ-за того только, что тутъ мое счастье? Но какое-же можетъ быть счастье, если оно основано на чужомъ несчастіи? Позвольте, представьте, что вы сами возводите зданіе судьбы человѣческой съ цѣлью въ финалѣ осчастливить людей, дать имъ, наконецъ, миръ и покой. И вотъ, представте себѣ тоже, что для этого необходимо и неминуемо надо замучить всего только лишь одно человѣческое существо, мало того — пусть даже не столь достойное, смѣшное даже на иной взглядъ существо, не Шекспира какого-нибудь, а просто честнаго старика, мужа молодой жены, въ любовь которой онъ вѣрится слѣпо, хотя сердца ея не знаетъ вовсе, уважаетъ ее, гордится ею, счастливъ ею и покоенъ. И вотъ только его надо опозорить, обезчестить и замучить, и на слезахъ этого обезчещеннаго старика возвести ваше зданіе! Согласитесь ли вы быть архитекторомъ такого зданія на этомъ условіи? Вотъ вопросъ. И можете-ли вы допустить хоть на минуту идею, что люди, для которыхъ выстроили это зданіе, согласились-бы сами принять отъ васъ такое счастье, если въ фундаментѣ его заложено страданіе, положимъ, хоть и ничтожнаго существа, но безжалостно и несправедливо замученнаго и, принявъ это счастье, остаться навѣки счастливыми? Скажите, могла ли рѣшить иначе Татьяна, съ ея высокою душой, съ ея сердцемъ столько пострадавшимъ? Нѣтъ: чистая русская душа рѣшаетъ вотъ какъ: „пусть, пусть я одна лишусь счастья, пусть мое несчастіе безмѣрно сильнѣе, чѣмъ несчастіе этого старика, пусть, наконецъ, никто и никогда, а этотъ старикъ тоже, не узнаютъ моей жертвы и не оцѣнятъ ея, но не хочу быть

счастливою, загубивъ другого!“ Тутъ трагедія, она и совершается, и перейти предѣла нельзя, уже поздно, и вотъ Татьяна отсылаетъ Онѣгина. Скажутъ: да вѣдь несчастнѣе же и Онѣгинъ: одного спасла, а другого погубила! Позвольте, тутъ другой вопросъ, и даже, можетъ быть, самый важный въ поэмѣ. Кстати, вопросъ: почему Татьяна не пошла съ Онѣгинымъ, имѣть у насъ, по крайней мѣрѣ, въ литературѣ нашей, своего рода исторію весьма характерную, а потому я и позволилъ себѣ такъ объ этомъ вопросѣ распространиться. И всего характернѣе, что нравственное разрѣшеніе этого вопроса столь долго подвергалось у насъ сомнѣнію. Я вотъ какъ думаю: если бы Татьяна даже стала свободною, если бы умеръ ея старшій мужъ и она овдовѣла, то и тогда бы она не пошла за Онѣгинымъ. Надобно-же понимать всю суть этого характера? Вѣдь она-же видитъ, кто онъ такой; вѣчный скиталецъ увидалъ вдругъ женщину, которую прежде пренебрегъ, въ новой блестящей недосыгаемой обстановкѣ,— да вѣдь въ этой обстановкѣ-то, пожалуй, и вся суть дѣла. Вѣдь этой дѣвчкѣ, которую онъ чуть не презиралъ, теперь поклоняется свѣтъ,—свѣтъ, этотъ страшный авторитетъ для Онѣгина, несмотря на всѣ его міровыя стремленія, — вотъ вѣдь, вотъ почему онъ бросается къ ней ослѣпленный! Вотъ мой идеаль, восклицаетъ онъ, вотъ мое спасеніе, вотъ исходъ тоски моей, я проглядѣлъ его, а „счастье было такъ возможно, такъ близко!“ И какъ прежде Алеко къ Земфирѣ, такъ и онъ устремляется къ Татьянѣ, ища въ новой причудливой фантазіи всѣхъ своихъ разрѣшеній. Да развѣ этого не видитъ въ немъ Татьяна, да развѣ она не разглядѣла его уже давно? Вѣдь она твердо знаетъ, что онъ въ сущности любитъ только свою новую фантазію, а не ее, смиренную какъ и прежде Татьяну! Она знаетъ, что онъ принимаетъ ее за что-то другое, а не за то, что она есть, что не ее даже онъ и любить, что, можетъ быть, онъ и никого не любитъ, да и не способенъ даже кого-нибудь любить, несмотря на то, что такъ мучительно страдаетъ! Любитъ фантазію, да вѣдь онъ и самъ фантазія. Вѣдь, если она пойдетъ за нимъ, то онъ завтра-же разочаруется и взглянетъ на свое увлеченіе насмѣшливо. У него никакой почвы, это былинка, носимая вѣтромъ. Не такова она вовсе: у ней и въ отчаяніи, и въ страдальческомъ сознаніи, что погибла ея жизнь, все-таки есть нѣчто твердое и неизблемое, на что

опирается ея душа. Это ея воспоминанія дѣтства, воспоминанія родины, деревенской глуши, въ которой началась ея смиренная, чистая жизнь,—это „крестъ и тѣнь вѣтвей надъ могилой ея бѣдной няни“. О, эти воспоминанія и прежніе образы ей теперь всего драгоценнѣе, эти образы одни только и остались ей, но они-то и спасаютъ ея душу отъ окончателнаго отчаянія. И этого не мало, нѣтъ, тутъ уже многое, потому что тутъ цѣлое основаніе, тутъ нѣчто незыблемое и неразрушимое. Тутъ соприкосновеніе съ родиной, съ роднымъ народомъ, съ его святынею. А у него что есть и кто онъ такой? Не идти-же ей за нимъ изъ состраданія, чтобы только потѣшить его, чтобы хоть на время изъ безконечной любовной жалости подарить ему призракъ счастья, твердо зная напередъ, что онъ завтра же посмотритъ на это счастье свое насмѣшливо. Нѣтъ, есть глубокія и твердыя души, которыя не могутъ сознательно отдать святыню свою на позоръ, хотя бы и изъ безконечнаго состраданія. Нѣтъ, Татьяна не могла пойти за Онѣгинимъ.

И такъ, въ *Онѣгинъ*, въ этой безсмертной и недостигаемой поэмѣ своей, Пушкинъ явился великимъ народнымъ писателемъ, какъ до него никогда и никто. Онъ разомъ, самымъ мѣткимъ, самымъ прозорливымъ образомъ отмѣтилъ самую глубь нашей сути, нашего верхняго надъ народомъ стоящаго общества. Отмѣтивъ типъ русскаго скитальца, скитальца до нашихъ дней и въ наши дни, первый угадавъ его гениальнымъ чутьемъ своимъ, съ историческою судьбой его и съ огромнымъ значеніемъ его и въ нашей грядущей судьбѣ, рядомъ съ нимъ поставивъ типъ положительной и безспорной красоты въ лицѣ русской женщины, Пушкинъ, и, конечно, тоже первый изъ писателей русскихъ, провелъ предъ нами въ другихъ произведенияхъ этого періода своей дѣятельности цѣлый рядъ положительно прекрасныхъ русскихъ типовъ, найдя ихъ въ народѣ русскомъ. Главная красота этихъ типовъ въ ихъ правдѣ, правдѣ безспорной и осязательной, такъ что отрицать ихъ уже нельзя, они стоятъ какъ изваянные. Еще разъ напомню: говорю не какъ литературный критикъ, а потому и не стану разъяснять мысль мою особенно подробнымъ литературнымъ обсужденіемъ этихъ гениальныхъ произведеній нашего поэта. О типѣ русскаго инока-лѣтописца, напримѣръ, можно было бы написать цѣлую книгу, чтобы указать всю важность и все значеніе для

насъ этого величаваго русскаго образа, отысканнаго Пушкинымъ въ русской землѣ, имъ выведеннаго, имъ изваяннаго и поставленнаго предъ нами теперь уже навѣки въ безспорной, смиренной и величавой духовной красотѣ своей, какъ свидѣтельство того мощнаго духа народной жизни, который можетъ выдѣлять изъ себя образы такой неоспоримой правды. Типъ этотъ данъ, есть, его нельзя оспорить, сказать, что онъ выдумка, что онъ только фантазія и идеализація поэта. Вы созерцаете сами и соглашаетесь: да, это есть, стало быть, и духъ народа, его создавшій, есть, стало быть, и жизненная сила этого духа есть и она велика и необъятна. Повсюду у Пушкина слышится вѣра въ русскій характеръ, вѣра въ его духовную мощь, а коль вѣра, стало быть, и надежда, великая надежда за русскаго человѣка.

Въ надеждѣ славы и добра
Гляжу впередъ я безъ боязни—

сказалъ самъ поэтъ по другому поводу, но эти слова его можно прямо примѣнить ко всей его національной творческой дѣятельности. И никогда еще ни одинъ русскій писатель, ни прежде, ни послѣ его, не соединился такъ задушевно и родственно съ народомъ своимъ какъ Пушкинъ. О, у насъ есть много знатоковъ народа нашего между писателями, и такъ талантливо, такъ мѣтко и такъ любовно писавшихъ о народѣ, а между тѣмъ, если сравнить ихъ съ Пушкинымъ, то, право-же, до сихъ поръ за однимъ, много что за двумя исключеніями изъ самыхъ позднѣйшихъ послѣдователей его, это лишь „господа“ о народѣ пишущіе. У самыхъ талантливыхъ изъ нихъ, даже вотъ у этихъ двухъ исключеній, о которыхъ я сейчасъ упомянулъ, нѣтъ—нѣтъ, а и промелькнетъ вдругъ нѣчто высокоумѣнное, нѣчто изъ другого быта и міра, нѣчто желающее поднять народъ до себя и осчастливить его этимъ поднятіемъ. Въ Пушкинѣ-же есть именно что-то сроднившееся съ народомъ *взправду*, доходящее въ немъ почти до какого-то простодушнѣйшаго умиленія. Возьмите сказаніе о Медвѣдѣ и о томъ, какъ убилъ мужикъ его боярыню-медвѣдицу, или припомните стихи:

Свать Иванъ, какъ пить мы станемъ,

и вы поймете, что я хочу сказать.

Всѣ эти сокровища искусства и художественнаго прозрѣнія оставлены нашимъ великимъ поэтомъ какъ-бы въ

видѣ указанія для будущихъ грядущихъ за нимъ художниковъ, для будущихъ работниковъ на той-же нивѣ. Положительно можно сказать: не было бы Пушкина, не было бы и послѣдовавшихъ за нимъ талантовъ. По крайней мѣрѣ, не проявились бы они въ такой силѣ и съ такою ясностью, несмотря даже на великія ихъ дарованія, въ какой удалось имъ выразиться впоследствии, уже въ наши дни. Но не въ поэзіи лишь одной дѣло, не въ художественномъ лишь творчествѣ: не было бы Пушкина, не опредѣлились бы можетъ съ такою непоколебимою силой (въ какой это явилось потомъ, хотя все еще не у всѣхъ, а у очень лишь немногихъ) наша вѣра въ нашу русскую самостоятельность, наша сознательная уже теперь надежда на наши народныя силы, а затѣмъ и вѣра въ грядущее самостоятельное назначеніе въ семьѣ европейскихъ народовъ. Этотъ подвигъ Пушкина особенно выясняется, если вникнуть въ то, что я называю третьимъ періодомъ его художественной дѣятельности.

Еще и еще разъ повторяю: эти періоды не имѣютъ такихъ твердыхъ границъ. Нѣкоторыя изъ произведеній даже этого третьяго періода могли, наиримѣръ, явиться въ самомъ началѣ поэтической дѣятельности нашего поэта, ибо Пушкинъ былъ всегда цѣльнымъ, цѣлокупнымъ, такъ сказать, организмомъ, носившимъ въ себѣ всѣ свои зачатки разомъ, внутри себя, не воспринимая ихъ извнѣ. Внѣшность только будила въ немъ то, что было уже заключено во глубинѣ души его. Но организмъ этотъ развивался, и періоды этого развитія дѣйствительно можно обозначить и отмѣтить, въ каждомъ изъ нихъ, его особый характеръ и постепенность вырожденія одного періода изъ другого. Такимъ образомъ къ третьему періоду можно отнести тотъ разрядъ его произведеній, въ которыхъ преимущественно засіяли идеи всемірныя, отразились поэтическіе образы другихъ народовъ и воплотились ихъ геніи. Нѣкоторыя изъ этихъ произведеній явились уже послѣ смерти Пушкина. И въ этотъ-то періодъ своей дѣятельности нашъ поэтъ представляетъ собою нѣчто почти даже чудесное, неслыханное и невиданное до него нигдѣ и ни у кого. Въ самомъ дѣлѣ, въ европейскихъ литературахъ были громадной величины художественныя геніи — Шекспиръ, Сервантесъ, Шиллеръ. Но укажите хоть на одного изъ этихъ великихъ геніевъ, который бы обладалъ такою спо-

способностью всемирной отзывчивости, какъ нашъ Пушкинъ. И эту-то способность, главнѣйшую способность нашей національности, онъ именно раздѣляетъ съ народомъ нашимъ, и тѣмъ, главнѣйше, онъ и народный поэтъ. Самые величайшіе изъ европейскихъ поэтовъ никогда не могли воплотить въ себѣ съ такой силой геній чужого, сосѣдняго, можетъ быть, съ ними народа, духъ его, всю затаенную глубину этого духа и всю тоску его призванія, какъ могъ это проявлять Пушкинъ. Напротивъ, обращаясь къ чужимъ народностямъ, европейскіе поэты чаще всего перевоплощали ихъ въ свою же національность и понимали по-своему. Даже у Шекспира, его итальянцы, напримѣръ, почти сплошь тѣ-же англичане. Пушкинъ лишь одинъ изъ всѣхъ мировыхъ поэтовъ обладаетъ свойствомъ перевоплощаться вполне въ чужую національность. Вотъ сцены изъ *Фауста*, вотъ *Скупой Рыцарь* и баллада *Жиль на свѣтѣ рыцаря бѣднѣй*. Перечтите *Донъ-Жуана*, и если бы не было подписи Пушкина, вы бы никогда не узнали, что это написалъ не испанецъ. Какіе глубокіе, фантастическіе образы въ поэмѣ: *Пиръ во время чумы!* Но въ этихъ фантастическихъ образахъ слышенъ геній Англи; эта чудесная пѣсня о чумѣ героя поэмы, эта пѣсня Мери со стихами:

Нашихъ дѣтокъ въ шумной школѣ
Раздавались голоса,

это англійскія пѣсни, это тоска британскаго генія, его плачь, его страдальческое предчувствіе своего грядущаго. Вспомните странные стихи:

Однажды странствуя среди долины дикой—

Это почти буквальный переложеніе первыхъ трехъ страницъ изъ странной мистической книги, написанной въ прозѣ, одного древняго англійскаго религіознаго сектатора,—но развѣ это только переложеніе? Въ грустной и восторженной музыкѣ этихъ стиховъ чувствуется самая душа сѣвернаго протестантизма, англійскаго ересіарха, безбрежнаго мистика, съ его тупымъ, мрачнымъ и непреодолимымъ стремленіемъ и со всѣмъ безудержемъ мистическаго мечтанія. Читая эти странные стихи, вамъ какъ бы слышится духъ вѣковъ реформации, вамъ понятенъ становится этотъ воинственный огонь начинавшагося протестантизма, понятна становится наконецъ самая исторія, и не мыслью только, а какъ будто вы сами тамъ были, прошли мимо вооруженнаго стана сектантовъ, пѣли съ ними ихъ гимны, плакали съ ними въ ихъ мистическихъ

восторгахъ и вѣровали вмѣстѣ съ ними въ то, во что они повѣрили. Кстатѣ: вотъ рядомъ съ этимъ религіознымъ мистицизмомъ, религіозныя-же строфы изъ Корана или „Подражанія Корану“: развѣ тутъ не мусульманинъ, развѣ это не самый духъ Корана и мечъ его, простодушная величавость вѣры и грозная кровавая сила ея? А вотъ и древній міръ, вотъ *Египетскія Ночи*, вотъ эти земные боги, сѣвшіе надъ народомъ своимъ богами, уже презирающіе геній народный и стремленія его, уже не вѣрящіе въ него болѣе, ставшіе впрямъ уединенными богами и обезумѣвшіе въ отъединеніи своемъ, въ предсмертной скукѣ своей и тоскѣ тѣшащіе себя фанатическими звѣрствами, сладострастіемъ насѣкомыхъ, сладострастіемъ пауковой самки съѣдающей своего самца. Нѣтъ, положительно скажу, не было поэта съ такою всемірною отзывчивостью какъ Пушкинъ, и не въ одной только отзывчивости тутъ дѣло, а въ изумляющей глубинѣ ея, а въ перевоплощеніи своего духа въ духъ чужихъ народовъ, перевоплощеніи почти совершенномъ, а потому и чудесномъ, потому что нигдѣ ни въ какомъ поэтѣ дѣлаго міра такого явленія не повторилось. Это только у Пушкина, и въ этомъ смыслѣ, повторяю, онъ явленіе невиданное и неслышанное, а, по нашему, и пророческое, ибо... ибо тутъ-то и выразилась наиболѣе его національная русская сила, выразилась именно народность его поэзіи, народность въ дальнѣйшемъ своемъ развитіи, народность нашего будущаго, таящагося уже въ настоящемъ, и выразилась пророчески. Ибо что такое сила духа русской народности, какъ не стремленіе ея въ конечныхъ цѣляхъ своихъ ко всемірности и ко всечеловѣчности? Ставъ вполнѣ народнымъ поэтомъ, Пушкинъ тотчасъ-же, какъ только прикоснулся къ силѣ народной, такъ уже и предчувствуетъ великое грядущее назначеніе этой силы. Тутъ онъ угадчикъ, тутъ онъ пророкъ.

Въ самомъ дѣлѣ, что такое для насъ Петровская реформа, и не въ будущемъ только, а даже и въ томъ, что уже было, произошло, что уже явилось во очю? Что означала для насъ эта реформа? Вѣдь не была-же она только для насъ усвоеніемъ европейскихъ костюмовъ, обычаевъ, изобрѣтений и европейской науки. Вникнемъ какъ дѣло было, поглядимъ пристальнѣе. Да, очень можетъ быть, что Петръ первоначально только въ этомъ смыслѣ и началъ производить ее, т.-е. въ смыслѣ ближайше-утилитарномъ, но внослѣдствіи, въ дальнѣйшемъ развитіи имъ своей

идеи, Петръ несомнѣнно повиновался нѣкоторому затаенному чутью, которое влекло его, въ его дѣлѣ, къ цѣлямъ будущимъ, несомнѣнно огромнѣйшимъ, чѣмъ одинъ только ближайшій утилитаризмъ. Такъ точно и русскій народъ не изъ одного только утилитаризма принялъ реформу, а несомнѣнно уже ощутивъ своимъ предчувствіемъ почти тотчасъ-же нѣкоторую дальнѣйшую, несравненно болѣе высшую цѣль, чѣмъ ближайшій утилитаризмъ,—ощутивъ эту цѣль, опять-таки, конечно, повторяю это, безсознательно, но однакоже и непосредственно и вполне жизненно. Вѣдь мы разомъ устремились тогда къ самому жизненному воссоединенію, къ единію всечеловѣческому! Мы не враждебно (какъ казалось должно-бы было случиться), а дружественно, съ полною любовію приняли въ душу нашу геніи чужихъ націй, всѣхъ вмѣстѣ, не дѣлая преимущественныхъ племенныхъ различій, умѣя инстинктомъ, почти съ самага перваго шагу различать, снимать противорѣчія, извинять и примѣрять различія, и тѣмъ уже выказали готовность и наклонность нашу, намъ самимъ только-что объявившуюся и сказавшуюся, ко всеобщему общечеловѣческому воссоединенію со всѣми племенами великаго Арійскаго рода. Да, назначеніе русскаго человѣка есть безспорно всеевропейское и всемірное. Стать настоящимъ русскимъ, стать вполне русскимъ, можетъ быть, и значить только (въ концѣ концовъ, это подчеркните) стать братомъ всѣхъ людей, *всечеловѣкомъ*, если хотите. О, все это славянофильство и западничество наше есть одно только великое у насъ недоразумѣніе, хотя исторически и необходимое. Для настоящаго русскаго Европа и удѣлъ всего великаго Арійскаго племени такъ-же дороги, какъ и сама Россія, какъ и удѣлъ своей родной земли, потому что нашъ удѣлъ и есть всемірность, и не мечомъ пріобрѣтенная, а силой братства и братскаго стремленія нашего къ воссоединенію людей. Если захотите вникнуть въ нашу исторію послѣ Петровской реформы, вы найдете уже слѣды и указанія этой мысли, этого мечтанія моего, если хотите, въ характерѣ общенія нашего съ европейскими племенами, даже въ государственной политикѣ нашей. Ибо что дѣлала Россія во всѣ эти два вѣка въ своей политикѣ, какъ не служила Европѣ, можетъ быть, гораздо болѣе, чѣмъ себѣ самой? Не думаю, чтобъ отъ неумѣнія лишь нашихъ политиковъ это происходило. О, народы Европы и не знаютъ, какъ они намъ дороги! И

впослѣдствіи, я вѣрю въ это, мы, то-есть, конечно, не мы, а будущіе грядущіе русскіе люди, поймутъ уже всѣ до единого, что стать настоящимъ русскимъ и будетъ именно значить: стремиться внести примиреніе въ европейскія противорѣчія уже окончательно, указать исходъ европейской тоскѣ въ своей русской душѣ, всечеловѣчной и все-соединяющей, вмѣстить въ нее съ братскою любовію всѣхъ нашихъ братьевъ, а въ концѣ-концовъ, можетъ быть, и изречь окончательное Слово великой, общей гармоніи, братскаго окончательнаго согласія всѣхъ племень по Христову евангельскому закону! Знаю, слишкомъ знаю, что слова мои могутъ показаться восторженными, преувеличенными и фантастическими. Пусть, но я не раскаиваюсь, что ихъ высказалъ. Этому надлежало быть высказаннымъ, но особенно теперь, въ минуту торжества нашего, въ минуту чествованія нашего великаго генія, эту именно идею въ художественной силѣ своей воплощавшаго. Да и высказывалась уже эта мысль не разъ, я ничуть не новое говорю. Главное, все это покажется самонадѣяннмъ: „это намъ-то, дескать, нашей-то нищей, нашей-то грубой землѣ такой удѣлъ? Это намъ-то предназначено въ человѣчествѣ высказать новое слово?“ Что-же, развѣ я про экономическую славу говорю, про славу меча или науки? Я говорю лишь о братствѣ людей и о томъ, что ко всемірному, ко всечеловѣчески-братскому единенію сердце русское, можетъ быть, изо всѣхъ народовъ наиболѣе предназначено, вижу слѣды сего въ нашей исторіи, въ нашихъ даровитыхъ людяхъ, въ художественномъ геніи Пушкина. Пусть наша земля нищая, но эту нищую землю „въ рабскомъ видѣ исходилъ благословляя Христосъ“. Почему же намъ не вмѣстить послѣдняго слова Его? Да и самъ онъ не въ ясляхъ-ли родился? Повторяю: по крайней мѣрѣ, мы уже можемъ указать на Пушкина, на всемірность и всечеловѣчность его генія. Вѣдь могъ-же онъ вмѣстить чужіе геніи въ душѣ своей, какъ родные. Въ искусствѣ, по крайней мѣрѣ, въ художественномъ творчествѣ, онъ проявилъ эту всемірность стремленія русскаго духа неоспоримо, а въ этомъ уже великое указаніе. Если наша мысль есть фантазія, то съ Пушкинымъ есть, по крайней мѣрѣ, на чемъ этой фантазіи основаться. Если-бы жилъ онъ дольше, можетъ быть, явилъ-бы безсмертные и великіе образы души русской, уже понятные нашимъ европейскимъ братьямъ, привлекъ-бы ихъ къ намъ гораздо болѣе и

ближе, чѣмъ теперь, можетъ быть, успѣль-бы имъ разъяснить всю правду стремленій нашихъ, и они уже болѣе понимали-бы насъ чѣмъ теперь, стали-бы насъ предугадывать, перестали-бы на насъ смотрѣть столь недоувѣрчиво и высокомерно, какъ теперь еще смотреть. Жиль-бы Пушкинъ долѣе, такъ и между нами было-бы, можетъ быть, менѣе недоразумѣній и споровъ, чѣмъ видимъ теперь. Но Богъ судилъ иначе. Пушкинъ умеръ въ полномъ развитіи своихъ силъ и безспорно унесъ съ собою въ гробъ нѣкоторую великую тайну. И вотъ мы теперь безъ него эту тайну разгадываемъ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Придирка къ случаю. Четыре лекціи на разныя темы по поводу одной лекціи, прочитанной мнѣ г. А. Градовскимъ. Съ обращеніемъ къ г. Градовскому.

I.

Объ одномъ самомъ основномъ дѣлѣ.

Я уже было закончилъ мой „Дневникъ“, ограничивъ его моей „Рѣчью“, произнесенною 8-го іюня въ Москвѣ и предисловіемъ къ ней, которое я написалъ, предчувствуя гамъ, дѣйствительно поднявшійся потомъ въ нашей прессѣ послѣ появленія моей „Рѣчи“ въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“. Но прочтя вашу критику, г. Градовскій, я приостановилъ печатаніе „Дневника“, чтобы прибавить къ нему и отвѣтъ на ваши нападки. О, предчувствія мои оправдались, гамъ поднялся страшный: И гордецъ-то я, и трусъ-то я, и Маниловъ, и поэтъ, и полицію надо-бы привести чтобъ сдерживать порывы публики,—полицію моральную, полицію либеральную, конечно. Но почему-же бы и не настоящую? И настоящая полиція вѣдь у насъ теперь либеральна, отнюдь не менѣе возопившихъ на меня либераловъ. Воистину немного недоставало до настоящей! Но оставимъ это пока, перейду прямо къ отвѣту вамъ на ваши пункты. Прямо признаюсь съ самаго начала, что лично нечего-бы мнѣ съ вами ни дѣлать, ни толковать. Мнѣ съ вами столкнуться нельзя; убѣждать или разубѣждать васъ, стало быть, я вовсе не имѣю въ виду. Читая и прежде инныя ваши статьи я, конечно, всегда удивлялся теченію мыслей. Итакъ почему-же я вамъ теперь отвѣчаю? Единственно имѣя въ виду другихъ, которые насъ разсудятъ, т.-е. читателей. Для этихъ другихъ

и пишу. Я слышу, я предчувствую, вижу даже, что возникают и идут новые элементы, жаждущие новаго слова, истосковавшіеся отъ стараго либеральнаго подхихиванія надъ всякимъ словомъ надежды на Россію, отъ стараго прежняго, либерально-беззубаго скептицизма, отъ старыхъ мертвецовъ, которыхъ забыли похоронить и которые все еще считаютъ себя за молодое поколѣніе, отъ стараго либерала-руководителя и спасителя Россіи, который за все двадцатипятилѣтіе своего пребыванія у насъ обозначился, наконецъ, какъ „безъ толку кричащій на базарѣ человекъ“, по выраженію народному. Однимъ словомъ, захотѣлось мнѣ *многое* высказать уже кромѣ отвѣта на замѣчанія ваши, такъ что я, отвѣчая теперь, какъ-бы придрался лишь къ случаю. •

Вы прежде всего задаетесь вопросомъ и даже упрекаете меня, почему я не вывелъ яснѣе: откуда взялись наши „скитальцы“, о которыхъ я говорилъ въ моей „Рѣчи“? Ну, это исторія длинная, нужно начинать слишкомъ издалека. Къ тому же, что бы я вамъ на этотъ счетъ ни отвѣтилъ, вы все-таки не согласитесь, потому что у васъ уже предвзято и подготовлено ваше собственное рѣшеніе о томъ, откуда они завелись и какъ завелись: „Отъ тоски, дескать, жить съ Сквозниками-Дмухановскими и отъ гражданской скорби по неосвобожденнымъ еще тогда крестьянамъ“. Выводъ достойный современнаго либеральнаго человека, вообще говоря, у котораго все, что касается до Россіи, давно уже рѣшено и подписано, съ необычайною, русскому либералу лишь свойственною легкостью. Тѣмъ не менѣе вопросъ этотъ сложнѣе, чѣмъ вы думаете, гораздо, несмотря на столь окончательное рѣшеніе ваше. Объ „Сквозникахъ и объ скорби“ скажу въ своемъ мѣстѣ, но прежде всего позвольте поднять одно прехарактерное ваше слово, высказанное опять-таки съ легкостью, уже доходящею почти до рѣзвости и которое я не могу обойти. Вы говорите:

«Такъ или иначе, но уже два столѣтія мы находимся подъ вліаніемъ европейскаго просвѣщенія, дѣйствующаго на насъ чрезвычайно сильно, благодаря «всемирной отзывчивости» русскаго человека, признанной г. Достоевскимъ за нашу національную черту. Уйти отъ этого просвѣщенія намъ некуда, да и незачѣмъ. Это фактъ, противъ котораго намъ ничего нельзя сдѣлать, по той простой причинѣ, что всякій русскій человекъ, пожелавшій сдѣлаться просвѣщеннымъ, *непре-
зительно* получитъ это просвѣщеніе изъ западно-европейскаго источника, за полнѣйшимъ отсутствіемъ источниковъ русскихъ».

Сказано, конечно, игриво; но вы произнесли и важное слово: „Просвѣщеніе“. Позвольте же спросить, что вы подъ нимъ разумѣете: науки Запада, полезныя знанія, ремесла или просвѣщеніе духовное? Первое, т.-е. науки и ремесла, дѣйствительно не должны насъ миновать и уходить намъ отъ нихъ дѣйствительно некуда, да и незачѣмъ. Согласенъ тоже вполне, что неоткуда и получить ихъ, кромѣ какъ изъ западно-европейскихъ источниковъ, за что хвала Европѣ и благодарность наша ей вѣчная. Но вѣдь подъ просвѣщеніемъ я разумѣю (думаю, что и никто не можетъ разумѣть иначе),—то, что буквально уже выражается въ самомъ словѣ „просвѣщеніе“, т.-е. свѣтъ духовный, озаряющій душу, просвѣщающій сердце, направляющій умъ и указывающій ему дорогу жизни. Если такъ, то позвольте вамъ замѣтить, что такое просвѣщеніе намъ нечего черпать изъ западно-европейскихъ источниковъ за полнѣйшимъ присутствіемъ (а не отсутствіемъ) источниковъ русскихъ. Вы удивляетесь? Видите ли: въ спорахъ я люблю начинать съ самой сути дѣла, съ самаго спорнаго пункта разомъ.

Я утверждаю, что нашъ народъ просвѣтился уже давно, принявъ въ слою суть Христа и ученіе Его. Мнѣ скажутъ: онъ ученія Христова не знаетъ и проповѣдей ему не говорятъ,—но это возраженіе пустое: все знаетъ, все то, что именно нужно знать, хотя и не выдержитъ экзамена изъ катехизиса. Научился же въ храмахъ, гдѣ вѣками слышалъ молитвы и гимны, которые лучше проповѣдей. Повторялъ и самъ пѣлъ эти молитвы еще въ дѣсахъ, спасаясь отъ враговъ своихъ, въ Батыево нашествіе еще, можетъ-быть, пѣлъ: „Господи силъ съ нами буди!“ и тогда-то, можетъ-быть, и заучилъ этотъ гимнъ, потому что кромѣ Христа у него тогда ничего не оставалось, а въ немъ, въ этомъ гимнѣ, уже въ одномъ вся правда Христова. И что въ томъ, что народу мало читаютъ проповѣдей, а дьячки бормочатъ неразборчиво,—самое колоссальное обвиненіе на нашу церковь, придуманное либералами, вмѣстѣ съ неудобствомъ церковно-славянскаго языка, будто бы непонятнаго простолюдину. (А старообрядцы-то, Господи!). Зато выйдетъ попъ и прочтетъ: „Господи Владыко живота моего“ — а въ этой молитвѣ *вся суть христіанства*, весь его катехизисъ, а народъ знаетъ эту молитву наизусть. Знаетъ тоже онъ наизусть многія изъ житій святыхъ, пересказываетъ и слушаетъ ихъ съ уми-

леніемъ. Главная же школа христіанства, которую прошелъ онъ—это вѣка безчисленныхъ и безконечныхъ страданій имъ вынесенныхъ въ свою исторію, когда онъ, оставленный всѣми, попранный всѣми, работающій на всѣхъ и на вся, оставался лишь съ однимъ Христомъ—Утѣшителемъ, Котораго и принялъ тогда въ свою душу навѣки и Который за то спасъ отъ отчаянія его душу! Впрочемъ, что же я вамъ это все говорю? Неужто я васъ убѣдить хочу? Слова мои покажутся вамъ, конечно, младенческими, почти неприличными. Но повторяю въ третій разъ: не для васъ пишу. Да и тема эта важная, о ней надо особо и много еще сказать, и буду говорить, пока держу перо въ рукахъ, а теперь выражу мою мысль лишь въ основномъ положеніи: если нашъ народъ просвѣщенъ уже давно, принявъ въ свою суть Христа и Его ученіе, то вмѣстѣ съ Нимъ, съ Христомъ, ужъ, конечно, принялъ и *истинное* просвѣщеніе. При такомъ основномъ запасѣ просвѣщенія, науки Запада, конечно, обратятся для него лишь въ истинное благодѣяніе. Христосъ не померкнетъ отъ нихъ у насъ, какъ на Западѣ, гдѣ, впрочемъ, не отъ наукъ онъ померкъ, какъ утверждаютъ либералы же, а еще прежде наукъ, когда сама церковь западная искажила образъ Христовъ, преобразившись изъ церкви въ римское государство и воплотивъ его вновь въ видѣ папства. Да, на Западѣ воистину уже нѣтъ христіанства и церкви, хотя и много еще есть христіанъ, да и никогда не исчезнуть. Католичество воистину уже не христіанство и переходитъ въ идолопоклонство, а протестантизмъ исполнскими шагами переходитъ въ атеизмъ и въ зыбкое, текущее, измѣнчивое (а не вѣковѣчное) правоученіе.

О, конечно, вы тотчасъ же возразите мнѣ, что христіанство и поклоненіе Христу вовсе не заключаетъ въ себѣ и собою весь циклъ просвѣщенія, что это только лишь одна ступень, что нужны, напротивъ, науки, гражданскія идеи, развитіе, и проч., и проч. На это мнѣ нечего вамъ отвѣчать, да и неприлично, ибо, хотя вы правы отчасти, насчетъ наукъ, напимѣръ, но зато никогда не согласитесь, что христіанство народа нашего есть, и *должно остаться навсегда*, самою главною и жизненною основой просвѣщенія его! Я вотъ въ моей „Рѣчи“ сказалъ, что Татьяна, отказавшись идти за Онѣгинымъ, поступила по-русски, по русской народной правдѣ, а одинъ изъ критиковъ моихъ, оскорбившись, что у русскаго народа есть

правда, вдругъ возразилъ мнѣ вопросомъ: „А свальный грѣхъ?“ Такимъ критикамъ развѣ можно отвѣчать? Главное, оскорблены тѣмъ, что русскій народъ можетъ имѣть свою правду, а, стало-быть, дѣйствительно просвѣщенъ. Да развѣ свальный грѣхъ существуетъ въ цѣломъ народѣ нашемъ и существуетъ *какъ правда?* Принимаетъ ли его весь народъ за правду? Да, народъ нашъ грубъ, хотя и далеко не весь, о, не весь, въ этомъ я клянусь уже какъ свидѣтель, потому что я видѣлъ народъ нашъ и знаю его, жилъ съ нимъ довольно лѣтъ, ѣлъ съ нимъ, спалъ съ нимъ и самъ къ „злодѣямъ причтенъ былъ“, работалъ съ нимъ настоящей мозольной работой, въ то время, когда другіе, „умывавшіе руки въ крови“, либеральничая и подхихикивая надъ народомъ, рѣшали на лекціяхъ и въ отдѣленіи журнальныхъ фельетоновъ, что народъ нашъ „образа звѣринаго и печати его“. Не говорите же мнѣ, что я не знаю народа! Я его знаю: отъ него я принялъ вновь въ мою душу Христа, Котораго узналъ въ родительскомъ домѣ еще ребенкомъ и Котораго утратилъ было, когда преобразился въ свою очередь въ „европейскаго либерала“. Но пусть, пусть народъ нашъ грѣшенъ и грубъ, пусть звѣринъ еще его образъ: „Сынъ на матери ѣхаль, молода жена на пристяжечкѣ“ — съ чего-нибудь да взялась эта пѣсня? Всѣ русскія пѣсни взяты съ какой-нибудь были — замѣтили вы это? Но будьте же и справедливы хоть разъ, либеральные люди: вспомните, что народъ вытерпѣлъ во столько вѣковъ! Вспомните, кто въ звѣринои образѣ его виноватъ наиболѣе и не осуждайте! Вѣдь смѣшно осуждать мужика за то, что онъ не причесанъ у французскаго парикмахера изъ Большой Морской, а вѣдь почти до этихъ именно обвиненій и доходитъ, когда подымутся на русскій народъ наши европейскіе либералы и примутся *отрицать* его: и личности-то онъ себѣ не выработалъ, и національности-то у него нѣтъ! Боже мой, а на Западѣ, гдѣ хотите и въ какомъ угодно народѣ, — развѣ меньше пьянства и воровства, не такое же развѣ звѣрство, и при этомъ ожесточеніе (чего нѣтъ въ нашемъ народѣ) и уже истинное, заправское невѣжество, настоящее непросвѣщеніе, потому что иной разъ соединено съ такимъ беззаконіемъ, которое уже не считается тамъ грѣхомъ, а именно стало считаться правдой, а не грѣхомъ. Но пусть, все-таки пусть въ нашемъ народѣ звѣрство и грѣхъ, но вотъ чтó въ немъ есть неоспоримо: это именно

то, что онъ, въ своемъ цѣломъ, по крайней мѣрѣ (и не въ идеалѣ только, а въ самой заправской дѣйствительности) никогда не принимаетъ, не приметъ и не захочетъ принять своего грѣха за правду! Онъ согрѣшитъ, но всегда скажетъ, рано ли, поздно ли: я сдѣлалъ неправду. Если согрѣшившій не скажетъ, то другой за него скажетъ, и правда будетъ восполнена. Грѣхъ есть смрадъ и смрадъ пройдетъ, когда возсіяетъ солнце вполне. Грѣхъ есть дѣло преходящее, а Христосъ вѣчное. Народъ грѣшитъ и пакостится ежедневно, но въ лучшія минуты, во Христовы минуты, онъ никогда въ правдѣ не ошибется. То именно и важно, во что народъ вѣритъ, какъ въ свою правду, въ чемъ ее полагаетъ, какъ ее представляетъ себѣ, что ставитъ своимъ лучшимъ желаніемъ, что возлюбилъ, чего просить у Бога, о чемъ молитвенно плачетъ. А идеалъ народа — Христосъ. А съ Христомъ, конечно, и просвѣщеніе, и въ высшія, роковыя минуты свои народъ нашъ всегда рѣшаетъ и рѣшалъ всякое общее, все-народное дѣло свое всегда по-христіански. Вы скажете съ насмѣшкой: „плакать—это мало, воздыхать тоже, надо и дѣлать, надо и быть“. А у васъ-то у самихъ, господа рускіе просвѣщенные европейцы, много праведниковъ? Укажите мнѣ вашихъ праведниковъ, которыхъ вы вмѣсто Христа ставите? Но знайте, что въ народѣ есть и праведники. Есть положительные характеры невообразимой красоты и силы, до которыхъ не коснулось еще наблюденіе ваше. Есть эти праведники и страдальцы за правду,—видимъ мы ихъ или не видимъ. Не знаю, кому дано видѣть, тотъ, конечно, увидитъ ихъ и осмыслить, кто же видитъ лишь образъ звѣринный, тотъ, конечно, ничего не увидитъ. Но народъ, по крайней мѣрѣ, знаетъ, что они есть у него, вѣритъ, что они есть, крѣпокъ этою мыслью и уповаешь, что они всегда въ нужную всеобщую минуту спасутъ его. И сколько разъ нашъ народъ спасалъ отечество? И еще недавно, засмердѣвъ въ грѣхѣхъ, въ пьянствѣ и въ беззавѣи, онъ обрадовался духовно, весь въ своей цѣлокупности, послѣдней войнѣ за Христову вѣру, поправную у славянъ мусульманами. Онъ принялъ ее, онъ схватился за нее какъ за жертву очищенія своего за грѣхъ и беззавѣе, онъ посылалъ сыновей своихъ умирать за святое дѣло, а не кричалъ, что падаетъ рубль, и что цѣна на говядину стала дороже. Онъ жадно слушалъ, жадно разспрашивалъ и самъ читалъ о войнѣ и мы тому

всѣ свидѣтели, много насъ есть тому свидѣтелей. Я знаю: подъемъ духа народа нашего въ послѣднюю войну, а тѣмъ болѣе причины этого подъема, не признаются либералами, смѣются они надъ этой идеей: „У этихъ, дескать, смердовъ собирательная идея, у нихъ гражданское чувство, политическая мысль—развѣ можно это позволить?“ И почему, почему нашъ европейскій либераль такъ часто врагъ народа русскаго? Почему въ Европѣ, называющіе себя демократами, всегда стоятъ за народъ, по крайней мѣрѣ, на него опираются, а нашъ демократъ зачастую аристократъ и въ концѣ концовъ всегда почти служить въ руку всему тому, что подавляетъ народную силу, и кончаетъ господчиной. О, я вѣдь не утверждаю, что они враги народа сознательно, но въ бессознательности-то и трагедія. Вы будете въ негодованіи отъ этихъ вопросовъ? Пусть. Для меня это все аксіомы и ужъ, конечно, я не перестану ихъ разъяснять и доказывать, пока только буду писать и говорить.

И такъ кончимъ: науки это такъ, а „просвѣщенія“ нечего намъ черпать изъ западно-европейскихъ источниковъ. А то, пожалуй, зачерпнемъ такіа общественныя формулы, какъ, напримѣръ: *Chacun pour soi et Dieu pour tous*, или *après moi le déluge*. О, сейчасъ же закричатъ: „А у насъ нѣтъ такихъ поговорокъ, не говорятъ у насъ что ли: „Старая хлѣбъ-соль не помнится“ и сотни другихъ афоризмовъ въ этомъ же родѣ? Да, поговорокъ въ народѣ много всякихъ: умъ народа широкъ, юморъ тоже, развивающееся сознание всегда подсказываетъ отрицаніе — но это все только *поговорки*, въ нравственную правду ихъ народъ нашъ не вѣритъ, надъ ними самъ шутить и смѣется, въ цѣломъ своемъ, по крайней мѣрѣ, ихъ отрицаетъ. А осмѣлитесь ли вы утверждать, что *chacun pour soi et Dieu pour tous*, есть только поговорка, а не общественная уже формула, всѣми принятая на Западѣ и которой *есть* тамъ служить и въ нее вѣрять? По крайней мѣрѣ, всѣ тѣ, которые стоятъ надъ народомъ, которые держатъ его въ уздѣ, которые обладаютъ землей и пролетаріемъ и стоятъ на стражѣ „европейскаго просвѣщенія“. Зачѣмъ же намъ такое просвѣщеніе? Поищемъ у себя иного. Наука дѣло одно, а просвѣщеніе иное. Съ надеждой на народъ и на силы его, можетъ, и разовьемъ когда-нибудь уже въ полнотѣ, въ полномъ сіяніи и блескѣ это Христово просвѣщеніе наше. Вы скажете мнѣ, разумѣется, что все это

длинное разглагольствованіе не отвѣтъ однакоже на вашу критику. Пусть. Я считаю самъ это лишь предисловіемъ, но только необходимымъ. Какъ и вы у меня, т.-е. въ моей „Рѣчи“, отмѣчаете и находите такіе пункты разногласія съ вами, которые сами считаете самыми важными и важнѣйшими, такъ и я прежде всего отмѣтилъ и выставилъ такой пунктъ у васъ, который считаю самымъ основнымъ разногласіемъ нашимъ, наиболѣе препятствующимъ намъ придти къ соглашенію. Но предисловіе кончено, приступимъ къ вашей критикѣ и теперь уже безъ отступленій.

II.

Алеко и Держиморда. Страданія Алеко по крѣпостному мужику. Анекдоты.

Вы пишете, критикуя мою „Рѣчь“:

«Но Пушкинъ, выводя Алеко и Онѣгина съ ихъ отрицаніемъ, не показалъ, что именно «отрицали» они и было бы въ высшей степени рискованно утверждать, что они отрицали именно «народную правду», коренныя начала русскаго міросозерцанія. Этого не видно нигдѣ».

Ну, видно или не видно, рискованно или нѣтъ утверждать,—мы къ этому возвратимся сейчасъ, а прежде вотъ то, что вы говорите о Дмухановскихъ, отъ которыхъ будто бы бѣжалъ Алеко къ цыганамъ:

«Но, дѣйствительно, міръ тогдашнихъ скитальцевъ,—пишете вы,—былъ міромъ, отрицавшимъ другой міръ. Для объясненія этихъ типовъ необходимы другіе типы, которыхъ Пушкинъ не воспроизвелъ, хотя и обращался къ нимъ по временамъ съ агучимъ негодованіемъ. Природа его таланта мѣшала ему спуститься въ этотъ мракъ и возвести въ «перлъ созданія» совѣ, смѣчей и летучихъ мышей, наполнившихъ подвальные этажи русскаго жилища (*не вераніе ли?*). Это сдѣлалъ Гоголь—великая обратная сторона Пушкина. Онъ повѣдалъ міру, отчего бѣжалъ къ цыганамъ Алеко, отчего скучалъ Онѣгинъ, отчего народились на свѣтъ «лишніе люди», увѣковѣченные Тургеневымъ, Коробочка, Собакевичи, Сквозники-Дмухановскіе, Держиморды, Тяпкины-Ляпкины—вотъ тѣневая сторона Алеко, Бельтова, Рудина и многихъ иныхъ. Это фонъ, безъ котораго непонятны фигуры послѣднихъ. А вѣдь эти гоголевскіе герои были русскими — ухъ, какими русскими людьми! У Коробочки не было міровой скорби, Сквозникъ-Дмухановскій превосходно умѣлъ объясняться съ купцами, Собакевичъ насквозь видѣлъ своихъ крестьянъ и они насквозь видѣли его. Конечно, Алеко и Рудины всего этого вполнѣ не видали и не понимали; они просто бѣжали куда кто могъ: Алеко къ цыганамъ, Рудинъ въ Парижъ, умирать за дѣло, для него совершенно посто-роннее».

Они *просто*, видите ли, бѣжали. О, фельетонная легкость рѣшенья! И какъ просто все это у васъ выходитъ, какъ все у васъ готово и предрѣшено! Подлинно готовья

слова говорите. Кстати, къ чему вы завели рѣчь о томъ, что всё эти гоголевскіе герои были русскими, — „ухъ, какими русскими людьми!“ Къ спору нашему это вовсе и не подходитъ. Да и кто не знаетъ, что они были русскіе люди? Да и Алеко и Онѣгинъ были русскіе, да и мы съ вами русскіе люди, да русскимъ же, вполне русскимъ былъ и Рудинъ, убѣжавшій въ Парижъ умирать за дѣло для него совершенно, будто бы, постороннее, какъ вы утверждаете. Да вѣдь именно потому-то онъ и русскій въ высшей степени, что дѣло, за которое онъ умиралъ въ Парижѣ, ему вовсе было не столь постороннимъ, какъ было бы англичанину или нѣмцу, — ибо дѣло европейское, міровое, всечеловѣческое, давно уже не постороннее русскому человѣку. Вѣдь это отличительная черта Рудина. Трагедія Рудина была собственно въ томъ, что онъ на своей нивѣ работы не нашель, и умеръ на другой нивѣ, но вовсе не столь чуждой ему, какъ вы утверждаете. Но вотъ въ чемъ, однакоже, дѣло: всё эти Сквозники и Собакевичи хоть и русскіе люди, но русскіе люди испорченные, отъ почвы оторванные и хоть знающіе народный бытъ съ одной стороны, но ничего не знающіе съ другой, даже не подозрѣвающіе, что она существуетъ, другая-то эта сторона, — въ этомъ все и дѣло. Души народной, того, чего народъ жаждетъ, чего молитвенно просить, они и не подозрѣвали, потому что страшно презирали народъ. Да и душу-то они въ немъ отрицали даже, кромѣ развѣ ревизской. „Собакевичъ насквозь видѣлъ своихъ крестьянъ“, утверждаете вы. Это невозможно. Собакевичъ видѣлъ въ своемъ Прошкѣ только силищу, которую можно продать Чичикову. Вы утверждаете, что Сквозникъ-Дмухановскій превосходно умѣлъ объясняться съ купцами. „Помилосердуйте! Да перечтите сами монологъ городничаго къ купцамъ въ пятомъ актѣ: такъ говорятъ развѣ только съ собаками, а не съ людьми, это ли значить „превосходно“ говорить съ русскимъ человѣкомъ? Неужто вы хвалите? Да лучше бы прямо по зубамъ или за волосы. Въ дѣтствѣ моемъ я видѣлъ разъ на большой дорогѣ фельдъегеря, въ мундирѣ съ фалдочками, въ трехуголкѣ съ перомъ, страшно тузившаго въ загорбокъ ящика кулакомъ на всемъ лету, а тотъ изступленно стегалъ свою запаренную, скачущую во весь опоръ тройку. Этотъ фельдъегерь былъ, разумѣется, по рожденію русскій, но до того ослѣпшій и оторвавшійся отъ народа,

что не могъ иначе и объясняться съ русскимъ человѣкомъ, какъ своимъ огромнымъ кулачищемъ вмѣсто всякаго разговора. А между тѣмъ, вѣдь онъ всю жизнь свою провелъ съ ямщиками и съ разнымъ русскимъ народомъ. Но фалдочки его мундира, шляпа съ перомъ, его офицерскій чинъ, его вычищенные петербургскіе сапоги ему были дороже, душевно и духовно, не только русскаго мужика, но, можетъ быть, и всей Россіи, которую онъ искрестилъ всю взадъ и впередъ и въ которой онъ, по всей вѣроятности, ровно ничего не нашелъ примѣчательнаго и достойнаго чего-нибудь иного кромѣ какъ его кулака или пинка вычищеннымъ его сапогомъ. Ему вся Россія представлялась лишь въ его начальствѣ, а все, что кромѣ начальства, почти недостойно было существовать. Какъ такой можетъ понимать суть народа и душу его! Это былъ хоть и русскій, но уже и „европейскій“ русскій, только начавшій свой европеизмъ не съ просвѣщенія, а съ разврата, какъ и многіе, чрезвычайно многіе начинали. Да-съ, этотъ развратъ не разъ принимался у насъ за самый вѣрный способъ передѣлать русскихъ людей въ европейцевъ. Вѣдь сынъ такого фельдъегера будетъ, можетъ быть, профессоромъ, т.-е. патентованнымъ ужъ европейцемъ. И такъ не говорите о пониманіи имъ сути народной. Нужно было Пушкина, Хомяковыхъ, Самаринныхъ, Аксаковыхъ, чтобъ начать толковать о настоящей сути народной. (До нихъ хоть и толковали объ ней, но какъ-то классически и театрално). И когда они начали толковать о „народной правдѣ“, всѣ смотрѣли на нихъ какъ на эпилептиковъ и идиотовъ, имѣющихъ въ идеалѣ — „ѣсть рѣдку и писать донесенія“. Да, донесенія! Они до того всѣхъ удивили на первыхъ порахъ своимъ появленіемъ и своими мнѣніями, что либералы начали даже сомнѣваться: не хотятъ ли де они писать на нихъ донесенія? Рѣшите сами: далеко или нѣтъ отъ этого глупенькаго взгляда на славянофиловъ ушли многіе современные либералы?

Но къ дѣлу. Вы утверждаете, что Алеко убѣжалъ къ цыганамъ отъ Держиморды. Положимъ, что это правда. Но хуже всего то, что вы-то сами, г. Градовскій, вполне убѣжденно признаете права Алеко на всю такую брезгливость его: „Не могъ, дескать, не убѣжать къ цыганамъ, ибо ужъ слишкомъ гадокъ былъ Держиморда“. А я утверждаю, что Алеко и Онѣгинъ были тоже въ своемъ родѣ Держиморды, и даже въ иномъ отношеніи и похуже.

Только съ тою разницею, что я не обвиняю ихъ за это вовсе, вполне признавая трагичность судьбы ихъ, а вы ихъ хвалите за то, что они убѣждали: „Дескать, такіе великіе и интересные люди могли ли ужиться съ такими уродами?“ Вы ужасно ошибаетесь. Вы вотъ сами выводите, что Алеко и Онѣгинъ вовсе не отрывались отъ почвы и вовсе не отрицали народную правду. Мало того: „вовсе-де они и не горды были“ — вотъ что вы даже утверждаете. Да тутъ гордость прямое, логическое и неминувшее послѣдствіе ихъ отвлеченности и оторванности отъ почвы. Вѣдь не можете же вы отрицать, что они почвы не знали, росли и воспитывались по-институтски, Россію узнавали въ Петербургѣ на службѣ, съ народомъ были въ отношеніяхъ барина къ крѣпостному. Пусть они даже и жили въ деревнѣ съ мужикомъ. Мой фельдъегерь всю жизнь съ ямщиками знался, и ничего другого не призналъ въ нихъ кромѣ достойнаго своего кулачища. Алеко и Онѣгинъ къ Россіи были высокомѣрны и нетерпѣливы, какъ всѣ люди живущіе отъ народа отдѣльной кучкой на всемъ на готовомъ, т.-е. на мужичьемъ трудѣ и на европейскомъ просвѣщеніи, тоже имъ даромъ доставшемся. Именно тѣмъ, что всѣ интеллигентные люди наши, извѣстной исторической подготовкой, чуть не во всѣ два вѣка нашей исторіи, обратились лишь въ праздныхъ бѣлоручекъ, — тѣмъ и объясняется ихъ отвлеченность и оторванность отъ родной почвы. Не Держимордой онъ погибъ, а тѣмъ что не умѣлъ объяснить себѣ Держиморду и происхожденіе его. Слишкомъ для этого гордъ былъ. Не умѣвъ же объяснить, не нашелъ возможности и работать на родной нивѣ. Тѣхъ же, которые вѣрили въ эту возможность, считалъ за глупцовъ или тоже за Держимордъ. И не только передъ Держимордой былъ гордъ нашъ скиталецъ, но и передъ всею Россіей, ибо Россія, по его окончательному выводу, содержала въ себѣ только рабовъ да Держимордъ. Если же заключала что-нибудь въ себѣ поблагороднѣе, то это ихъ, Алеко и Онѣгинныхъ, а болѣе ничего. Послѣ этого гордость приходитъ уже сама собой: пребывая въ отвлеченіи, они естественно начинали удивляться своему благородству и высотѣ своей надъ гадкими Держимордами, въ которыхъ не умѣли ничего объяснить. Если бъ не были они горды, то увидали бы, что и сами они Держиморды, и, прозрѣвъ это, можетъ-быть, нашли бы тогда, именно въ этомъ прозрѣніи,

и исходъ въ примиренію. Къ народу же чувствовали уже не столько гордость, сколько омерзѣніе, и это сплошь. Вы всему этому не повѣрите, вы, напротивъ, говоря, что инны черты Алекъ и Онѣгинныхъ дѣйствительно не приглядны, высококомѣрно начинаете журить меня за узость взгляда, за то, что „лѣчить симптомы и оставлять корень болѣзни едва ли разсудительно“. Вы утверждаете, что я, говоря: „Смирись, гордый человекъ“ — обвиняю Алеко лишь въ личныхъ его качествахъ, упуская корень дѣла, „какъ будто, дескать, вся суть дѣла лишь въ личныхъ качествахъ гордящихся и не желающихъ смириться“. Не рѣшенъ вопросъ, говорите вы, передъ чѣмъ гордились скитальцы; остается безъ отвѣта и другой, передъ чѣмъ слѣдуетъ смириться“. Все это съ вашей стороны очень ужъ высококомѣрно: я, кажется, прямо вѣдь вывелъ, что „скитальцы“ продуктъ историческаго хода нашего общества, стало быть, не сваливаю же всю вину на нихъ только однихъ *лично* и на ихъ *личныя* качества. Вы это у меня читали, это написано, напечатано, стало-быть, зачѣмъ же вы искажаете? Выписывая у меня тираду: „Смирись“ вы пишете:

«Въ этихъ словахъ г. Достоевскій выразилъ «святая святыхъ» своихъ убѣжденій, то что составляетъ одновременно силу и слабость автора «Братьевъ Карамазовыхъ». Въ этихъ словахъ заключенъ великій *религіозный* идеалъ, мощная проповѣдь *личной* нравственности, но нѣтъ и намекъ на идеалы *общественныя*».

А затѣмъ, послѣ сихъ словъ, тотчасъ же начинаете критиковать идею „личнаго совершенствованія въ духѣ христіанской любви“. Къ вашему мнѣнію о „личномъ само-совершенствованіи“ я перейду сейчасъ, но прежде верну передъ вами всю вашу подкладку, которую вы, кажется, хотѣли бы скрыть, именно: вы не за то только, что я обвиняю „скитальца“, на меня ужъ такъ разсердились, а за то что я, напротивъ, не признаю его за идеалъ нравственнаго совершенства, за русскаго здороваго человека, какимъ только онъ можетъ и долженъ быть! Признавая, что въ Алеко и Онѣгинѣ есть „неприглядныя черты“, вы только хитрите. На вашъ внутренній взглядъ, который вы почему-то не хотите обнаружить вполне, „скитальцы“ — нормальны и прекрасны, прекрасны уже тѣмъ, что убѣжали отъ Держиморды. Вы съ негодованіемъ смотрите, если осмѣлятся въ нихъ признать хоть даже какой-нибудь недостатокъ. Вы говорите уже прямо: „Было

бы нелѣпо утверждать, что они погибали отъ своей гордости и не хотѣли смириться передъ народной правдой“. Вы, наконецъ, съ жаромъ утверждаете и настаиваете, что это они освобождали крестьянъ. Вы пишете:

«Скажемъ больше: если въ душѣ лучшихъ изъ этихъ «скитальцевъ» первой половины нашего столѣтія и сохранился какой-нибудь помыселъ, то это именно былъ помыселъ о народѣ, самая жгучая изъ ихъ ненавистей была обращена именно къ рабству, тяготѣвшему надъ народомъ. Пусть они любили народъ и ненавидѣли крѣпостное право по-своему, по-«европейски» что ли. Но кто же какъ не они подготовили общество наше къ упраздненію крѣпостного права? Чѣмъ могли и они послужили «родной нивѣ» сначала въ качествѣ проповѣдниковъ освобожденія, а потомъ въ качествѣ мировыхъ посредниковъ первой очереди».

То-то вотъ и есть, что „скитальцы“ ненавидѣли крѣпостное право по своему, по „европейски“, въ томъ-то и вся сила. То-то вотъ и есть, что ненавидѣли они крѣпостное право не ради русскаго мужика, на нихъ работавшаго, ихъ питавшаго, а, стало быть, ими же въ числѣ другихъ и угнетеннаго. Кто мѣшалъ имъ, если ужъ до того ихъ одолѣвала гражданская скорбь, что къ цыганамъ приходилось бѣжать, али на баррикады въ Парижъ—кто мѣшалъ имъ просто-запросто освободить хоть своихъ крестьянъ съ землей и снять такимъ образомъ гражданскую скорбь, по крайней мѣрѣ, хотя со своей-то личной отвѣтственности? Но о такихъ освобожденіяхъ что-то мало у насъ было слышно, а гражданскихъ воплей раздавалось довольно. „Среда, дескать, заѣдала, и какъ же-де ему своего капиталу лишиться?“ Да почему же не лишиться, когда ужъ до такой степени дѣло доходило отъ скорби по крестьянамъ, что на баррикады бѣжать приходилось? То-то вотъ и есть, что въ „мѣстечкѣ Парижъ-съ“ все-таки надобны деньги, хотя бы и на баррикадахъ участвуя, такъ вотъ крѣпостные-то и присмлали оброкъ. Дѣлали и еще проще: закладывали, продавали, или обмѣнивали (не все ли равно?) крестьянъ и, осуществивъ денежки, уѣзжали въ Парижъ способствовать изданію французскихъ радикальныхъ газетъ и журналовъ для спасенія уже всего человѣчества, не только русскаго мужика: Вы увѣряете, что ихъ всѣхъ заѣдала скорбь о крѣпостномъ мужикѣ? Не то чтобъ о крѣпостномъ мужикѣ, а вообще отвлеченная скорбь о рабствѣ въ человѣчествѣ: „Не надо-де ему быть, это непросвѣщенно, Liberté, дескать, Egalité et Fraternité“. Что же до рус-

скаго мужика лично, то, можетъ-быть, скорбь по немъ даже и вовсе не томила этихъ великихъ сердець такъ ужасно. Я знаю и запомнилъ множество интимныхъ изреченій даже весьма и весьма „просвѣщенныхъ“ людей прежняго добраго стараго времени: „Рабство, безъ сомнѣнія, ужасное зло, соглашались они интимно между собой, но если уже все взять, то нашъ народъ — развѣ это народъ? Ну, похожъ онъ на парижскій народъ девляности третьяго года? Да онъ ужъ свыкъся съ рабствомъ, его лицо, его фигура уже изображаетъ собою раба, и, если хотите, розга, напимѣрь, конечно, ужасная мерзость, говоря вообще, но для русскаго человѣка ей-Богу розочка еще необходима: „Русскаго мужичка надо посѣчь, русскій мужичокъ стоскуется, если его не посѣчь, ужъ такая-де нація“, — вотъ что я слыхивалъ въ свое время, вѣдъ, отъ весьма даже просвѣщенныхъ людей. Это „трезвая правда-съ“. Онѣгинъ, можетъ-быть, и не сѣкъ своихъ дворовыхъ, хотя право трудно это рѣшить, ну, а Алеко, я увѣренъ, что посѣкалъ, — и не отъ жестокости вѣдъ сердца, а почти даже изъ жалости, почти для доброй цѣли: „Вѣдъ это-де для него необходимо, вѣдъ безъ розочки онъ не проживетъ, самъ вѣдъ онъ приходитъ и просить: посѣки меня, баринъ, сдѣлай человѣкомъ, сбалавался совѣмъ! Что жъ дѣлать съ такою природою, скажите пожалуйста, ну, и удовлетворишь его, посѣчешь!“ Повторяю, чувство къ мужику въ нихъ доходило зачастую до гадливости. А сколько презрительныхъ анекдотовъ ходило между нихъ о русскомъ мужикѣ, презрительныхъ и пахабныхъ, объ его рабской душѣ, объ его „идолопоклонствѣ“, объ его пошѣ, объ его бабѣ, и говорили все это съ самымъ легкимъ сердцемъ такіе иногда люди, у которыхъ ихъ семейная жизнь изображала собою нерѣдко почти домъ терпимости, — о, разумѣется, не всегда отъ худого чего-нибудь, а иногда именно лишь отъ излишняго жару къ воспріятію послѣднихъ европейскихъ идей, à la Лукреція Флоріани, напимѣрь, по-нашему понятыхъ и усвоенныхъ со всею русской стремительностью. Русскіе люди были во всемъ-съ! О, русскіе скорбящіе скитальцы бывали иногда большими плутами, г. Градовскій, и вотъ именно эти самыя анекдотики о русскомъ мужикѣ и презрительное мнѣніе о немъ почти всегда утоляли въ сердцахъ ихъ острогу гражданской ихъ скорби по крѣпостному праву, придавая ей такимъ образомъ лишь отвлеченно-міровой характеръ.

А вѣдь съ отвлеченно-міровымъ характеромъ скорби весьма и весьма можно ужиться, питаясь духовно созерцаніемъ своей нравственной красоты и полета своей гражданской мысли, ну, а тѣлесно все-таки питаюсь оброкомъ съ тѣхъ-же крестьянъ, да еще какъ питаюсь-то! Да чего, вотъ недавно еще одинъ старожилъ, наблюдатель того времени, привелъ анекдотъ въ журналѣ объ одной встрѣчѣ самыхъ сильнѣйшихъ русскихъ тогдашнихъ либеральныхъ и міровыхъ умовъ съ русской бабой. Тутъ уже были отъявленные скитальцы, такъ сказать, уже патентованные, заявившіе въ этомъ смыслѣ себя исторически. Лѣтомъ, видите-ли, именно въ сорокъ пятомъ году, на прекрасную подмосковную дачу, гдѣ давались „колоссальные обѣды“, по замѣчанію самого старожилы, съѣхалось разъ множество гостей: гуманнѣйшіе профессора, удивительнѣйшіе любители и знатоки изящныхъ искусствъ и кой-чего прочаго, славнѣйшіе демократы, а въ послѣдствіи знатные политическіе дѣятели уже мірового даже значенія, критики, писатели, прелестнѣйшія по развитію дамы. И вдругъ вся компанія, вѣроятно, послѣ обѣда съ шампанскимъ, съ кувалками и съ птичьимъ молокомъ (съ чего-же нибудь да названы-же обѣды „колоссальными“), направилась погулять въ поле. Въ глуши, во ржи, встрѣчаютъ жницу. Лѣтняя страда извѣстна: встаютъ мужики и бабы въ четыре часа и идутъ хлѣбъ убирать до ночи. Жать очень трудно, всѣ двѣнадцать часовъ нагнувшись, солнце жжетъ. Жница какъ заберется обыкновенно въ рожь, то ее и не видно. И вотъ тутъ-то, во ржи, и находитъ наша компанія жницу,—представьте себѣ въ „примитивномъ костюмѣ“ (въ рубашкѣ?!) Это ужасно! Мировое, гуманное чувство возбуждено, тотчасъ раздался оскорбленный голосъ: „Одна только русская женщина изъ всѣхъ женщинъ ни передъ кѣмъ не стыдится!“ Ну, разумѣется, тотчасъ и выводъ: „Одна русская женщина изъ всѣхъ такая, передъ которой никто и ни за что не стыдится“ (т.-е. такъ и не должно стыдиться, что-ли?). Завязался споръ. Явились и защитники бабы, но какіе защитники, и съ какими возраженіями имъ пришлось бороться! И вотъ такія-то мнѣнія и рѣшенія могли раздаваться въ толпѣ скитальцевъ-помѣщиковъ, упившихся шампанскимъ, наглотавшихся устрицъ,—а на чьи деньги? Да вѣдь на ея-же работу! Вѣдь на васъ-же она, міровые страдальцы, работаетъ, вѣдь на ея-же трудъ вы наѣлись. Что во ржи, гдѣ ее не видно, мучимая солнцемъ и потомъ, сняла па-

неву и осталась въ одной рубашкѣ—такъ она и безстыдна, такъ ужъ и оскорбила ваше стыдливое чувство: „изъ всѣхъ, дескать, женинъ всѣхъ безстыднѣ“,—ахъ вы, цѣломудренники! А „Парижскія-то увеселенія“ ваши, а рѣзвости въ „мѣстечкѣ Парижъ-съ“, а канканчикъ въ Баль-Мабилѣ, отъ котораго русскіе люди таяли, даже когда только рассказывали о немъ, а миленькая пѣсенка:

«Ma commère quand je danse
«Comment va mon cotillon?

съ граціознымъ приподнятіемъ юбочки и съ подергиваніемъ задкомъ,—это нашихъ русскихъ цѣломудренниковъ не возмущаетъ, напротивъ, прельщаетъ? „Помилуйте, да вѣдь это у нихъ такъ граціозно, этотъ канканчикъ, эти подергиванія,—это вѣдь изящнѣйшій *article de Paris* въ своемъ родѣ, а вѣдь тутъ что: тутъ баба, русская баба, обрубокъ, колода!“ Нѣтъ-съ, тутъ ужъ даже не убѣжденіе въ мерзости нашего мужика и народа, тутъ ужъ въ чувство перешло, тутъ ужъ личное чувство гадливости къ мужику сказалось,—о, конечно невольное, почти безсознательное, совсѣмъ даже не замѣченное съ ихъ стороны. Признаюсь, совсѣмъ даже не могу согласиться съ столь капитальнымъ положеніемъ вашимъ, г. Градовскій: „Кто-жъ какъ не они подготовили общество наше къ упраздненію крѣпостного права?“ Отвлеченной болтовней развѣ послужили, источая гражданскую скорбь по всѣмъ правиламъ,—о, конечно, все въ общую экономію пошло и къ дѣлу пригодилось. Но способствовали освобожденію крестьянъ и помогали трудящимся по освобожденію скорѣе такого склада люди, какъ на примѣръ Самаринъ, а не ваши скитальцы. Такого типа людей, какъ Самаринъ, типа уже совершенно не похожаго на скитальцевъ, явилось на великую тогдашнюю работу вѣдь очень не мало, г. Градовскій, а объ нихъ вы, конечно, ни слова. Скитальцамъ-же это дѣло, по всѣмъ признакамъ, очень скоро наскучило и они опять стали брезгливо будировать. Не скитальцы-бы они были, если бы поступили иначе. Получивъ выкупныя, стали остальные земли и лѣса свои продавать купцамъ и кулакамъ на срубъ и на истребленіе, и, выселяясь за границу, завели абсентеизмъ... Вы, конечно, съ моимъ мнѣніемъ не согласитесь, г. профессоръ, но вѣдь что-же и мнѣ-то дѣлать: никакъ не могу вѣдь и я согласиться признать этотъ образъ столь дорогого вамъ русскаго высшаго и либеральнаго человѣка за идеаль насто-

ящаго нормальнаго русскаго человѣка, какимъ будто-бы онъ былъ въ самомъ дѣлѣ, есть теперь и долженъ быть даже въ будущемъ. Немного путнаго сдѣлали эти люди въ послѣднія десятилѣтія на народной нивѣ. Это будетъ повѣрнѣе чѣмъ вашъ диерамбъ на славу этихъ прошлыхъ господъ.

III.

Двѣ половинки.

А теперь перейду къ вашимъ взглядамъ на „личное самосовершенствованіе въ духѣ христіанской любви“ и на совершенную, будто-бы, недостаточность его сравнительно съ „идеалами общественными“ и, главное, съ „общественными учрежденіями“. О, вы сами начинаете съ того, что это самый важный пунктъ въ нашемъ разномыслии. Вы пишете:

«Теперь мы дошли до самаго важнаго пункта въ нашемъ разномыслии съ г. Достоевскимъ. Требуя смиренія предъ народною правдою, предъ народными идеалами, онъ принимаетъ эту «правду» и эти идеалы, какъ нѣчто готовое, незыблемое и вѣковѣчное. Мы позволимъ себѣ сказать ему—нѣтъ. *Общественные* идеалы нашего народа находятся еще въ процессѣ *образованія, развитія*. Ему еще много надо работать надъ собою, чтобъ сдѣлаться достойнымъ имени великаго народа».

Я уже отвѣчалъ вамъ отчасти насчетъ „правды“ и идеаловъ народныхъ въ началѣ статьи, въ первомъ отдѣленіи ея. Эту правду и эти идеалы народные вы находите прямо недостаточными для развитія общественныхъ идеаловъ Россіи. Религія, дескать, одно, а общественное дѣло другое. Живой, цѣлокупный организмъ рѣжете вашимъ ученымъ ножомъ на двѣ отдѣльныя половинки и утверждаете, что эти двѣ половинки должны быть совершенно независимы одна отъ другой. Посмотримъ же ближе, разберемъ эти обѣ половинки отдѣльно каждую, и, можетъ быть, что-нибудь выведемъ. Разберемъ сначала половинку о „самосовершенствованіи въ духѣ христіанской любви“. Вы пишете:

«Г. Достоевскій призываетъ работать надъ собой и смирить себя. Личное самосовершенствованіе въ духѣ христіанской любви есть, конечно, первая предпосылка для всякой дѣятельности, большой или малой! Но изъ этого не слѣдуетъ, чтобъ люди, *лично совершенные въ христіанскомъ смыслѣ*, непременно образовали совершенное общество (!). Позволимъ себѣ привести примѣръ.

«Апостолъ Павелъ поучаетъ рабовъ и господъ въ ихъ взаимныхъ отношеніяхъ. И тѣ и другіе могли послушать и обыкновенно слушали

слово апостола, они *лично* были хорошими христианами, но *рабство* чрезъ то не освящалось и оставалось учрежденіемъ безнравственнымъ. Точно такъ-же г. Достоевскій, а равно и каждый изъ насъ, знаемъ превосходныхъ христианъ — помещиковъ и таковыхъ-же крестьянъ. Но *крѣпостное право* оставалось мерзостью предъ Господомъ, и русский Царь-Освободитель явился выразителемъ требованій не только *лично*, но и *общественной* нравственности, о которой въ старое время не было надлежащихъ понятій, несмотря на то, что «хорошихъ людей» было, можетъ быть, не меньше, чѣмъ теперь.

«Личная и общественная нравственность не одно и то же. Отсюда слѣдуетъ, что никакое *общественное* совершенствованіе не можетъ быть достигнуто *только* чрезъ улучшеніе личныхъ качествъ людей его составляющихъ. Приведемъ опять примѣръ. Предположимъ, что, начиная съ 1800 года, рядъ проповѣдниковъ христіанской любви и смиренія принялся бы улучшать нравственность Коробочекъ и Собакевичей. Можно ли предположить, чтобъ они достигли отъѣмнаго крѣпостного права, чтобъ не нужно было *властнаго* слова для устраненія этого «явленія»? Напротивъ, Коробочка стала-бы доказывать, что она истинная христіанка и настоящая «мать» своихъ крестьянъ, и пребыла-бы въ этомъ убѣжденіи, несмотря на всѣ доводы проповѣдника...

«Улучшеніе людей въ смыслѣ *общественномъ* не можетъ быть произведено только работой «надъ собой» и «смирненіемъ себя». Работать надъ собой и смирять свои страсти можно и въ пустынь и на необитаемомъ островѣ. Но, какъ существа *общественныя*, люди развиваются и улучшаются въ работѣ *другъ подлѣ друга, другъ для друга и другъ съ другомъ*. Вотъ почему въ весьма великой степени общественное совершенство людей зависитъ отъ совершенства *общественныхъ учреждений*, воспитывающихъ въ человѣкѣ если не христіанскія, то гражданскія доблести».

Видите, сколько я изъ васъ выписалъ! Все это ужасно высокомерно и страшно досталось „личному самосовершенствованію въ духѣ христіанской любви“: въ гражданскихъ, дескать, дѣлахъ почти ни къ чему непригодно. Курьезно вы однакоже понимаете христіанство! Представить только, что Коробочка и Собакевичъ стали настоящими христіанами, уже *совершенными* (вы сами говорите о совершенствѣ)—можно-ли де ихъ убѣдить тогда отказаться отъ крѣпостного права? Вотъ коварный вопросъ, который вы задаете и, разумѣется, отвѣчаете на него: „нѣтъ, нельзя убѣдить Коробочку даже и совершенную христіанку“. На это прямо отвѣчу: если бъ только Коробочка стала и могла стать *настоящей*, совершенной уже христіанкой, то крѣпостного права въ ея помѣстьи уже не существовало бы вовсе, такъ что и хлопотать бы не о чемъ было, несмотря на то, что всѣ крѣпостные акты и кучія оставались бы у ней попрежнему въ сундукѣ. Позвольте еще: вѣдь Ко робочка и прежде была христіан-

кой, и родилась таковою? Стало быть, говоря о новыхъ проповѣдникахъ христіанства, вы разумѣете хоть и прежнее по сути своей христіанство, но усиленное, *совершенное*, такъ сказать, уже дошедшее до своего идеала? Ну, какіе-же тогда рабы и какіе-же господа, помилуйте! Надо же понимать хоть сколько-нибудь христіанство! И какое дѣло тогда Коробочкѣ, *совершенной* уже христіанкѣ, крѣпостные или некрѣпостные ея крестьяне? Она имъ „мать“, настоящая уже мать, и „мать“ тотчасъ же бы упразднила прежнюю „барыню“. Это само собою бы случилось. Пренная барыня и пренный рабъ исчезли бы какъ туманъ отъ солнца и явились бы совсѣмъ новые люди, совсѣмъ въ новыхъ между собою отношеніяхъ, прежде неслыханныхъ. Да и дѣло-то совершилось бы неслыханное: явились бы *повсемѣстно* совершенные христіане, которыхъ и въ единицахъ-то прежде было такъ мало, что и разглядѣть трудно было. Вѣдь вы сами же сдѣлали такое фантастическое предположеніе, г. Градовскій, вѣдь вы сами-же вѣхали въ такую удивительную фантазію, а вѣхали такъ и принимайте послѣдствія. Увѣряю васъ, г. Градовскій, что крестьяне Коробочки сами бы тогда не пошли отъ нея, по той простой причинѣ, что всякъ ищетъ гдѣ ему лучше. Въ учрежденіяхъ, что-ли, вашихъ было бы ему лучше, чѣмъ у любящей ихъ, родной уже матери-помѣщицы? Смѣю увѣрить васъ тоже, что если при апостолѣ Павлѣ сохранялось рабство, то это именно потому, что возникавшія тогдашнія церкви еще не были *совершенны* (что видимъ и изъ посланій апостола). Тѣ же члены церквей, которые лично достигали тогда совершенства, уже не имѣли и не могли имѣть рабовъ, потому что таковыя обращались въ братьевъ, а братъ, воистину братъ, не можетъ имѣть своего брата у себя рабомъ. По-вашему-же какъ-бы выходить, что проповѣдь христіанства была безсильна. Вы вотъ, по крайней мѣрѣ, пишете, что проповѣдью апостола рабство не освящалось. А вѣдь другіе ученые, особенно историки европейскіе, во множествѣ укоряли христіанство за то, что оно будто бы освящаетъ рабство. Это значитъ не понимать сути дѣла. Предположить только, что у Маріи Египетской есть крѣпостные крестьяне, и что она не хочетъ ихъ отпустить на волю. Чтѣ за абсурдъ! Въ христіанствѣ, въ настоящемъ христіанствѣ, есть и будутъ господа и слуги, но раба невозможно помыслить. Я говорю про настоящее, совершенное

христіанство. Слуги-же не рабы. Ученикъ Тимоѳеѣ при-служиваль Павлу, когда они ходили вмѣстѣ, но прочтите посланіе Павла въ Тимоѳею: къ рабу-ли онъ пишетъ, даже къ слугѣ-ли, помиуйте! Да это именно „Чадо Тимоѳеѣ“ возлюбленный сынъ его. Вотъ, вотъ именно такіа будутъ отношенія господъ къ своимъ слугамъ, если тѣ и другіе стануть совершенными христіанами! Слуги и господа будутъ, но господа уже будутъ не господами, а слуги не рабами. Представьте, что въ будущемъ обществѣ есть Кеплеръ, Кантъ и Шекспиръ: они работаютъ великую работу для всѣхъ и всѣ сознають и чтутъ ихъ. Но некогда Шекспиру отрываться отъ работы, убирать около себя, вычищать комнату, выносить ненужное. И повѣрьте, непременно придетъ къ нему служить другой гражданинъ, самъ пожелаетъ, своей волей придетъ и будетъ выносить у Шекспира ненужное. Что жъ онъ будетъ униженъ, рабъ? Отнюдь нѣтъ. Онъ знаетъ, что Шекспиръ полезенъ его безконечно: „Честь тебѣ и слава, скажетъ онъ ему, и я радъ послужить тебѣ; хоть каплей и я послужу тѣмъ на общую пользу, ибо сохраню тебѣ часы для великаго твоего дѣла, но я не рабъ. Именно сознавшись въ томъ, что ты, Шекспиръ, выше меня своимъ гениемъ и прийдя къ тебѣ служить, я именно этимъ сознаниемъ моимъ и доказалъ, что по нравственному достоинству человѣческому я не ниже тебя нисколько и, какъ *человѣкъ*, тебѣ равенъ“. Да онъ и не скажетъ этого тогда, уже потому одному, что и вопросовъ такихъ тогда не возникнетъ вовсе, да и немыслимы они будутъ. Ибо всѣ будутъ во истину новые люди, Христовы дѣти, а прежнее животное будетъ побѣждено. Вы скажете, конечно, что это опять-таки фантазія. Но вѣдь не я-же началъ фантазировать первый, а вы сами: вѣдь вы же предположили Коробочку, уже *совершенною* христіанку съ „крѣпостными *дѣтьми*“, которыхъ она не хочетъ отпустить на волю; это почище моей фантазіи.

Умные люди тутъ разсмѣются и скажутъ: „хорошо же, послѣ того, хлопотать о самосовершенствованіи въ духѣ христіанской любви, когда настоящаго христіанства, стало-быть, нѣтъ совсѣмъ на землѣ, или такъ мало, что и разглядѣть трудно, иначе (по моимъ же то-есть словамъ) мигомъ все бы уладилось, всякое рабство уничтожилось, Коробочки переродились бы въ свѣтлыхъ гениевъ и всѣмъ бы оставалось только запѣть Богу гимнь? Да, конечно,

господа насмѣшники, настоящихъ христіанъ еще ужасно мало (хотя они и есть). Но почему вы знаете, сколько именно надо ихъ, чтобъ не умиралъ идеаль христіанства въ народѣ, а съ нимъ и великая надежда его? Примѣните къ свѣтскимъ понятіямъ: Сколько надо настоящихъ гражданъ, чтобъ не умирала въ обществѣ гражданская доблесть? И на это тоже вы не отвѣтите. Тутъ своя политическая экономія, совсѣмъ особаго рода, и намъ неизвѣстная, даже вамъ неизвѣстная, г. Градовскій. Скажутъ опять: если такъ мало исповѣдниковъ великой идеи, то какая въ ней польза? А вы почему знаете, къ какой это пользѣ въ концѣ концовъ приведетъ? До сихъ поръ, повидимому, только того и надо было, чтобъ не умирала великая мысль. Вотъ другое дѣло теперъ, когда что-то новое надвигается въ мірѣ повсемѣстно и надо быть готовымъ... Да и дѣло-то тутъ вовсе не въ пользѣ, а въ истинѣ. Вѣдь если я вѣрю, что истина тутъ, вотъ именно въ томъ, во что я вѣрую, то какое мнѣ дѣло, если бѣ даже весь міръ не повѣрилъ моей истинѣ, насмѣялся надо мной и пошелъ иною дорогой? Да тѣмъ-то и сильна великая нравственная мысль, тѣмъ-то и единить она людей въ крѣпчайшій союзъ, что измѣряется она не немедленной пользой, а стремится ихъ будущее, къ цѣлямъ вѣковѣчнымъ, къ радости абсолютной. Чѣмъ соедините вы людей для достиженія вашихъ гражданскихъ цѣлей, если нѣтъ у васъ основы въ первоначальной великой идеѣ нравственной? А нравственныя идеи только однѣ: всѣ основаны на идеѣ личнаго абсолютнаго самосовершенствованія впереди, въ идеаль, ибо оно несетъ въ себѣ все, всѣ стремленія, всѣ жажды, а стало-быть, изъ него же исходятъ и всѣ ваши гражданскіе идеалы. Попробуйте-ка соединить людей въ гражданское общество съ одной только цѣлью „спасти животишки“? Ничего не получите кромѣ нравственной формулы: „Chacun pour soi et Dieu pour tous“. Съ такой формулой никакое гражданское учрежденіе долго не проживетъ, г. Градовскій.

Но я пойду далѣе, я намѣренъ васъ удивить: Узнайте, ученый профессоръ, что общественныхъ гражданскихъ идеаловъ, какъ такихъ, какъ не связанныхъ органически съ идеалами нравственными, а существующихъ сами по себѣ, въ видѣ отдѣльной половинки, откромсанной отъ цѣлаго вашимъ ученымъ ножомъ; какъ такихъ, наконецъ,

которые могут быть взяты извнѣ и пересажены на какое угодно новое мѣсто съ успѣхомъ, въ видѣ отдѣльнаго „учрежденія“, такихъ идеаловъ, говорю я, — нѣтъ вовсе, не существовало никогда, да и не можетъ существовать! Да и что такое общественный идеалъ, какъ понимать это слово? Конечно, суть его въ стремленіи людей отыскать себѣ формулу общественного устройства, по возможности безошибочную и всѣхъ удовлетворяющую—вѣдь такъ? Но формулы этой люди не знаютъ, люди ищутъ ее всѣ шесть тысячъ лѣтъ своего историческаго періода и не могутъ найти. Муравей знаетъ формулу своего муравейника, пчела тоже своего улья (хоть не знаютъ по-человѣчески, такъ знаютъ по-своему, имъ больше не надо), но человѣкъ не знаетъ своей формулы. Откуда же, коли такъ, взяться идеалу гражданскаго устройства въ обществѣ человѣческомъ? А слѣдите исторически и тотчасъ увидите изъ чего онъ берется. Увидите, что онъ есть единственно только продуктъ нравственнаго самосовершенствованія единицъ, съ него и начинается, и что было такъ съ поколѣнь вѣка и пребудетъ во вѣки вѣковъ. При началѣ всякаго народа, всякой національности, идея нравственная всегда предшествовала зарожденію національности, *ибо она же и создавала ее*. Исходила же эта нравственная идея всегда изъ идей мистическихъ, изъ убѣжденій, что человѣкъ вѣченъ, что онъ не простое земное животное, а связанъ съ другими мірами и съ вѣчностью. Эти убѣжденія формулировались всегда и вездѣ въ религію, въ исповѣданіе новой идеи, и всегда, какъ только начиналась новая религія, такъ тотчасъ же и создавалась гражданская новая національность. Взгляните на евреевъ и мусульманъ: національность у евреевъ сложилась только послѣ закона Моисеева, хотя и началась еще изъ закона Авраамова, а національности мусульманскія явились только послѣ Корана. Чтобъ сохранить полученную духовную драгоценность, тотчасъ же и влекутся другъ къ другу люди и тогда только, ревностно и тревожно, „работою другъ подлѣ друга, другъ для друга и другъ съ другомъ“ (какъ вы краснорѣчиво написали)—тогда только и начинаютъ отыскивать люди: какъ бы имъ такъ устроиться, чтобъ сохранить полученную драгоценность, не потерявъ изъ нея ничего, какъ бы отыскать такую *гражданскую* формулу совмѣстнаго житія, которая именно помогла бы имъ выдвинуть на весь міръ въ самой полной ея славіи ту нравственную

драгоценность, которую они получили. И замѣтите, какъ только послѣ время и вѣковъ (потому что тутъ тоже свой законъ, намъ невѣдомый) начиналъ расплываться и ослабѣвать въ данной національности ея идеаль духовный, такъ тотчасъ же начинала падать и національность, а вмѣстѣ падалъ и весь ея гражданскій уставъ и померкали всѣ тѣ гражданскіе идеалы, которые успѣвали въ ней сложиться. Въ какомъ характерѣ слагалась въ народѣ религія, въ такомъ характерѣ зарождались и формулировались и гражданскія формы этого народа. Стало-быть, гражданскіе идеалы всегда прямо и органически связаны съ идеалами нравственными, а главное то, что несомнѣнно изъ нихъ только однихъ и выходятъ. *Сами же по себѣ* никогда не являются, ибо, являясь, имѣютъ лишь цѣлью утоленіе нравственнаго стремленія данной національности, какъ и поскольку это нравственное стремленіе въ ней сложилось. А, стало-быть, „самосовершенствованіе въ духѣ религіозномъ“ въ жизни народовъ есть основаніе всему, ибо самосовершенствованіе и *есть исповѣданіе полученной религіи*, а „гражданскіе идеалы“ сами, безъ этого стремленія къ самосовершенствованію, никогда не приходятъ, да и зародиться не могутъ. Вы скажете, можетъ быть, что вы и сами говорили, что „личное самосовершенствованіе есть начало всему“ и что вовсе ничего не дѣлили ножомъ. То-то и есть, что дѣлили, что разрѣзывали живой организмъ на двѣ половинки. Не „начало только всему“ есть личное самосовершенствованіе, но и продолженіе всего и исходъ. Оно объемлетъ, зиждетъ и сохраняетъ организмъ національности и только оно одно. Для него и живетъ гражданская формула націи, ибо и создавалась для того только, чтобъ сохранить его какъ первоначально полученную драгоценность. Когда же утрачивается въ національности потребность общаго единичнаго самосовершенствованія *въ томъ духѣ, который зародилъ ее*, тогда постепенно исчезаютъ всѣ „гражданскія учрежденія“, ибо нечего болѣе охранять. Такимъ образомъ, никакъ нельзя сказать то, что вы сказали въ слѣдующей вашей фразѣ:

«Вотъ почему въ весьма великой степени общественное совершенство людей зависитъ отъ совершенства *общественныхъ учреждений* воспитывающихъ въ человѣкѣ если не христіанскія, то гражданскія доблести».

„Если не христіанскія, то гражданскія доблести!“ Развѣ

не виденъ тутъ ученый ножъ, дѣлящій недѣлимое, разрѣзающій цѣлокупный живой организмъ на двѣ отдѣльныя мертвыя половинки, нравственную и гражданскую? Вы скажете: и „въ общественныхъ учрежденіяхъ“, и въ санѣ „гражданина“ можетъ заключаться величайшая нравственная идея, что „гражданская идея“ въ націяхъ уже зрѣлыхъ, развившихся, всегда замѣняетъ первоначальную идею религіозную, которая въ нее и вырождается и которой она по праву наследуетъ. Да, такъ многіе утверждаютъ, но мы такой фантазіи еще не видали въ осуществленіи. Когда изживалась нравственно-религіозная идея въ національности, то всегда наступала панически-трусливая потребность единенія, съ единственною цѣлью „спасти животишки“—другихъ цѣлей гражданскаго единенія тогда не бываетъ. Вотъ теперь французская буржуазія единится именно съ этою цѣлью „спасенія животишекъ“ отъ четвертаго ломящагося въ ея дверь сословія. Но „спасеніе животишекъ“ есть самая безсильная и послѣдняя идея изъ всѣхъ идей единящихъ человѣчество. Это уже начало конца, предчувствіе конца. Единятся, а сами уже наострили глаза, какъ бы при первой опасности поскорѣе рассыпаться врознь. И что тутъ можетъ спасти, „учрежденіе“ какъ таковое, какъ взятое само по себѣ? Были бы братья, будетъ и братство. Если же нѣтъ братьевъ, то никакимъ „учрежденіемъ“ не получите братства. Что толку поставить „учрежденіе“ и написать на немъ: *Liberté, Egalité, Fraternité*? Ровно никакого толку не добьетесь тутъ „учрежденіемъ“, такъ что придется,—необходимо, неминуемо придется—присовокупить къ тремъ „учредительнымъ“ словечкамъ четвертое: „ou la mort“, „*fraternité ou la mort*“—и пойдутъ братья откалывать головы братьямъ, чтобъ получить чрезъ „гражданское учрежденіе“ братство. Это только примѣръ, но хорошій. Вы, г. Градовскій, какъ и Алеко, ищете спасенія въ вещахъ и въ явленіяхъ внѣшнихъ: „Пусть де у насъ въ Россіи поминутно глупцы и мошенники (на иной взглядъ можетъ и такъ), но стоитъ лишь пересадить къ намъ изъ Европы какое-нибудь „учрежденіе“ и повашему все спасено. Механическое перенесеніе къ намъ европейскихъ формъ (которыя тамъ завтра же рухнутъ), народу нашему чуждыхъ и волѣ его непригожихъ, есть, какъ извѣстно, самое важное слово русскаго европеизма. Кстати, вотъ вы, г. Градовскій, осуждая наше неустрой-

ство, стыдя тѣмъ Россію и указывая ей на Европу, изволите говорить:

«А пока что, мы не можемъ справиться даже съ такими несогласіями и противурѣчіями, съ которыми Европа справилась давнымъ-давно»...

Это Европа-то справилась? Да кто только могъ вамъ это сказать? Да она наканунѣ паденія, ваша Европа, повсемѣстнаго, общаго и ужаснаго. Муравейникъ, давно уже созидавшійся въ ней, безъ Церкви и безъ Христа (ибо Церковь, замутивъ идеаль свой, давно уже и повсемѣстно перевоплотилась тамъ въ Государство), съ распатаннымъ до основанія нравственнымъ началомъ, утратившимъ все общее и все абсолютное,—этотъ созидавшійся муравейникъ, говорю я, весь подкопанъ. Грядетъ четвертое словіе, стучится и ломится въ дверь, и если ему не отворять, сломаетъ дверь. Не хочеть оно прежнихъ идеаловъ, отвергаетъ всякъ доселѣ бывшій законъ. На компромиссъ, на уступочки не пойдетъ, подпорочками не спасете зданія. Уступочки только разжигаютъ, а оно хочеть всего. Наступить нѣчто такое, чего нѣтъ и не мыслить. Всѣ эти парламентаризмы, всѣ исповѣдываемыя теперь гражданскія теоріи, всѣ накопленныя богатства, банки, науки, жида, все это рухнетъ въ одинъ мигъ и безслѣдно—кромѣ развѣ жидовъ, которые и тогда найдутся какъ поступить, такъ что имъ даже въ руку будетъ работа. Все это „близко, при дверяхъ“. Вы смѣтаетесь? Блаженны смѣющіеся. Дай Богъ вамъ вѣку, сами увидите. Удивитесь тогда. Вы скажете мнѣ смѣясь: „Хорошо-же вы любите Европу, коли такъ ей пророчите“. А я развѣ радуюсь? Я только предчувствую, что подведенъ итогъ. Окончательный-же расчетъ, уплата по итогу, можетъ произойти даже гораздо скорѣе, чѣмъ самая сильная фантазія могла-бы предположить. Симптомы ужасны. Ужъ одно только стародавнее-неестественное политическое положеніе европейскихъ государствъ можетъ послужить началомъ всему. Да и какъ-бы оно могло быть естественнымъ, когда неестественность заложена въ основаніи ихъ и накоплялась вѣками? Не можетъ одна малая часть человѣчества владѣть всѣмъ остальнымъ человѣчествомъ какъ рабомъ, а вѣдь для этой единственно цѣли и слагались до сихъ поръ *всѣ* гражданскія (уже давно не христіанскія) учрежденія Европы, теперь совершенно языческой. Эта неестественность, и эти „неразрѣшимые“ политическіе вопросы (всѣмъ извѣстные

впрочемъ, непременно должны привести къ огромной, окончательной, раздѣлочной политической войнѣ, въ которой всѣ будутъ замѣшаны и которая разразится въ нынѣшнемъ еще столѣтіи, можетъ даже въ наступающемъ десятилѣтіи. Какъ вы думаете: выдержать тамъ *теперь* длинную политическую войну общество? Фабрикантъ трусливъ и пугливъ, жидъ тоже, фабрики и банки закроются всѣ, чуть-чуть лишь война затянется или погрозитъ затянуться, и миллионы голодныхъ ртовъ, отверженныхъ пролетаріевъ, брошены будутъ на улицу. Ужъ не надѣетесь ли вы на благоразуміе политическихъ мужей и на то, что они не затѣютъ войну? Да когда-же на это благоразуміе можно было надѣяться? Ужъ не надѣетесь-ли вы на палаты, что онѣ не дадутъ денегъ на войну, предвидя послѣдствія? Да когда-же тамъ палаты предвидѣли послѣдствія и отказывали въ деньгахъ чуть-чуть настойчивому руководящему человѣку? И вотъ пролетарій на улицѣ. Какъ вы думаете, будетъ онъ теперь попрежнему терпѣливо ждать, умирая съ голоду? Это послѣ политическаго-то социализма, послѣ интернаціоналки, социальныхъ конгрессовъ и парижской коммуны? Нѣтъ, теперь уже не попрежнему будетъ: они бросятся на Европу и все старое рухнетъ навѣки. Волны разобьются лишь о нашъ берегъ, ибо тогда только, въявь и воочию обнаружится передъ всѣми, до какой степени нашъ національный организмъ особливъ отъ европейскаго. Тогда и вы, гг. доктринеры, можете быть, схватитесь и начнете искать у насъ „народныхъ началъ“, надъ которыми теперь только смѣтаетесь. А теперь-то вы, господа, теперь-то—указываете намъ на Европу и зовете пересаживать къ намъ именно тѣ самыя учрежденія, которыя тамъ завтра же рухнутъ, какъ изжившій свой вѣкъ абсурдъ, и въ которыя и тамъ уже многіе умные люди давно не вѣрятъ, которыя держатся и существуютъ тамъ до сихъ поръ лишь по одной инерціи. Да и кто, кромѣ отвлеченнаго доктринера, могъ принимать комедію буржуазнаго единенія, которую видимъ въ Европѣ, за нормальную формулу человѣческаго единенія на землѣ? Они-де у себя давно справились: Это послѣ двадцати-то конституцій менѣе чѣмъ въ столѣтіе, и безъ малаго послѣ десятка революцій? О, можетъ быть, только тогда, освобожденные на мигъ отъ Европы, мы займемся ужъ сами, безъ европейской опеки, нашими общественными идеалами, и непременно исходящими изъ Христа и

личнаго самосовершенствованія, г. Градовскій. Вы спросите: какіе-же могутъ быть у насъ свои общественные и гражданскіе идеалы мимо Европы? Да, общественные идеалы—лучше вашихъ европейскихъ, крѣпче вашихъ европейскихъ, крѣпче вашихъ и даже—о ужась!—либеральнѣе вашихъ! Да, либеральнѣе, потому что исходятъ прямо изъ организма народа нашего, а не лакейски-безличная пересадка съ Запада. Теперь я, конечно, не могу объ этомъ распространиться, ну хоть потому одному, что и безъ того статья длинна вышла. Кстати, вспомните: что такое и чѣмъ такимъ стремилась быть древняя Христіанская Церковь? Началась она сейчасъ-же послѣ Христа, всего съ нѣсколькихъ человѣкъ, и тотчасъ, чуть не въ первые дни послѣ Христа, устремилась отыскивать свою „гражданскую формулу“, всю основанную на нравственной надеждѣ утоленія духа по началамъ личнаго самосовершенствованія. Началась христіанскія общины — Церкви, затѣмъ быстро начала созидаться новая, неслышанная до-толѣ національность — всебратская, всечеловѣческая, въ формѣ общей вселенской Церкви. Но она была гонима, идеаль созидался подѣ землею, а надѣ нимъ, поверхъ земли тоже созидалось огромное зданіе, громадный муравейникъ — древняя Римская Имперія, тоже являвшаяся какъ-бы идеаломъ и исходомъ нравственныхъ стремленій всего древняго міра: являлся человѣкобогъ, Имперія сама воплощалась какъ религіозная идея, дающая въ себѣ и собою исходъ всѣмъ нравственнымъ стремленіямъ всего древняго міра. Но муравейникъ не заключился, онъ былъ подкопанъ Церковью. Произошло столкновеніе двухъ самыхъ противоположныхъ идей, которыя только могли существовать на землѣ: человѣкобогъ встрѣтилъ Богочеловѣка, Аполлонъ Бельведерскій Христа. Явился компромиссъ: Имперія приняла Христіанство, а Церковь—римское право и государство. Малая часть Церкви ушла въ пустыню и стала продолжать прежнюю работу: явились опять христіанскія общины, потомъ монастыри—все только лишь пробы, даже до нашихъ дней. Оставшаяся же огромная часть Церкви раздѣлилась впоследствии, какъ извѣстно, на двѣ половины. Въ Западной половинѣ Государство одолѣло наконецъ Церковь совершенно. Церковь уничтожилась и перевоплотилась уже окончательно въ Государство. Явилось папство—продолженіе древней Римской Имперіи въ новомъ воплощеніи. Въ Восточной же половинѣ Госу-

дарство было покорено и разрушено мечомъ Магомета и остался лишь Христось, уже отдѣленный отъ Государства. А то Государство, которое приняло и вновь вознесло Христа, претерпѣло такія страшныя вѣковыя страданія отъ враговъ, отъ Татарщины, отъ неустройства, отъ крѣпостного права, отъ Европы и европеизма, и столько ихъ до сихъ поръ выносить, что настоящей общественной формулы, въ смыслѣ духа любви и христіанскаго самосовершенствованія, дѣйствительно еще въ немъ не выработалось. Но не вамъ бы только укорять его за это, г. Градовскій. Пока народъ нашъ хоть только носитель Христа, на него одного и надѣется. Онъ назвалъ себя крестьяниномъ, т.-е. христіаниномъ, и тутъ не одно только слово, тутъ идея на все его будущее. Вы, г. Градовскій, безжалостно укоряете Россію за ея неустройство. А кто мѣшала до сихъ поръ ей устроиться во всѣ эти два послѣдніе вѣка, и особенно въ послѣднее пятидесятилѣтіе? А вотъ все, подобныя вамъ, русскіе европейцы, г. Градовскій, которые у насъ всѣ два вѣка не переводились, а теперь особенно на насъ насѣли. Кто врагъ органическому и самостоятельному развитію Россіи на собственныхъ ея народныхъ началахъ? Кто насмѣшливо не признаетъ даже существованіе этихъ началъ и не хочетъ ихъ замѣчать! Кто хотѣлъ передѣлать народъ нашъ, фантастически „возвышая его до себя“ — попросту надѣлать все такихъ же; какъ сами, либеральныхъ европейскихъ человѣковъ, отрывая, отъ времени до времени, отъ народной массы по человѣчку и развращая его въ европейца даже хоть фалдочками мундира? Этимъ я не говорю, что европеецъ — развратенъ; я говорю только, что передѣлывать русскаго въ европейца такъ, какъ либералы его передѣлываютъ — есть сущій развратъ зачастую. А вѣдь въ этомъ-то и состоитъ весь идеалъ ихней программы дѣятельности: именно въ отлупиваніи по человѣчку отъ общей массы — экой абсурдъ! Это они такъ хотѣли всѣ восемьдесятъ милліоновъ народа нашего отколупать и передѣлать? Да неужели-же вы серьезно думаете, что нашъ народъ весь, всей массой своей, согласится стать такою-же безличностью, какъ эти господа русскіе европейцы?

IV.

Одному смиришь, а другому гордишь. Буря въ стаканчикѣ.

До сихъ поръ я только препирался съ вами, г. Градов-

скій, теперь же хочу васъ и упрекнутьъ за намѣренное искаженіе моей мысли, главнаго пункта въ моей „Рѣчи“.

Вы пишете:

«Еще слишкомъ много неправды, остатковъ вѣкового рабства за-сѣло въ немъ (т. е. въ народѣ нашемъ), чтобъ онъ могъ *требовать себя поклоненія* и; сверхъ того, претендовать еще на обращеніе всей Европы на путь истинный, какъ это предсказываетъ г. Достоевскій».

«Странное дѣло! Человѣкъ казнящій гордость въ лицѣ отдѣльных скитальцевъ, призываетъ къ гордости цѣлый народъ, въ которомъ онъ видитъ какого-то всемірнаго апостола. Однимъ онъ говоритъ: «Смирись!» Другому говоритъ: «Возвышайся!»

И далѣе:

«А тутъ, не сдѣлавшись какъ слѣдуетъ народностью, вдругъ мечтать о всечеловѣческой роли! Не рано-ли? Г. Достоевскій гордится тѣмъ, что мы два вѣка служили Европѣ. Признаемся, это «служеніе» вызываетъ въ насъ не радостное чувство. Время-ли вѣнскаго конгресса и вообще эпохи конгрессовъ можетъ быть предметомъ нашей «гордости»? То ли время, когда мы, служа Меттерниху, подавляли національное движеніе въ Италиі и Германіи и косились даже на единовѣрныхъ грековъ? И какую ненависть нажили мы въ Европѣ именно за это «служеніе!»

Остановлюсь сначала на этой послѣдней, маленькой, почти невинной передержкѣ: Да развѣ я, сказавъ, что „мы въ послѣдніе два вѣка служили Европѣ, можетъ быть, даже болѣе чѣмъ себѣ“ — развѣ я хвалилъ то, *какъ* мы служили? Я только хотѣлъ отмѣтить фактъ служенія, и фактъ этотъ истиненъ. Но фактъ служенія и то: *какъ* мы служили — два дѣла совсѣмъ разные. Мы могли надѣлать очень много политическихъ ошибокъ, да и европейцы ихъ дѣлаютъ во множествѣ поминутно, но не промахи наши я хвалилъ, я только фактъ нашего служенія (почти всегда безкорыстнаго) обозначилъ. Неужели вы не понимаете, что это двѣ вещи разные? „Г. Достоевскій гордится тѣмъ, что мы служили Европѣ“, говорите вы. Да вовсе и не гордясь я это сказалъ, я только обозначилъ черту нашего народнаго духа, черту многознаменующую. Такъ отыскать прекрасную, здоровую черту въ духѣ національномъ значить уже непремѣнно гордиться? А что вы говорите про Меттерниха и про конгрессы? Это вы-то меня будете въ этомъ учить? Да я еще, когда вы были студентомъ, про служеніе Меттерниху говорилъ, да еще усиленнѣе вашего, и именно за слова объ неудачномъ служеніи Меттерниху, — (между другими словами, конечно) — тридцать лѣтъ тому назадъ извѣстнымъ образомъ и отвѣтилъ. Для чего-же вы это исказили? А вотъ, чтобъ показать: „Видите-

ли какой я либераль, а вотъ поэтъ, восторженный-то любитель народа, слышите какія ретроградныя вещи меле-ть, гордясь нашимъ служеніемъ Меттерниху“. Самолюбіе, г. Градовскій.

Но это, конечно, пустяки, а вотъ слѣдующее не пустяки.

И такъ, сказавъ народу: „возвышайся духомъ“ значитъ сказать ему: „гордись“, значитъ склонять его къ гордости, учить его гордости? Вообразите, г. Градовскій, что вы вашимъ роднымъ дѣтямъ говорите: „Дѣти, возвышайте духъ вашъ, дѣти, будьте благородны!“ — неужели-же это значитъ, что вы ихъ гордости учите, или что вы сами, уча ихъ, гордитесь? А я что сказалъ? Я говорилъ о надеждѣ „стать братомъ всѣхъ людей въ концѣ концовъ“, прося подчеркнуть слово: „въ концѣ концовъ“. Неужели-же свѣтлая надежда, что хоть когда-нибудь въ нашемъ страдающемъ мірѣ осуществится братство, и что и намъ, можетъ быть, *позволятъ стать братьями всѣхъ людей* — неужели эта надежда есть уже гордость и призывъ къ гордости? Да вѣдь я прямо, прямо сказалъ въ концѣ „Рѣчи“: „Что-же, развѣ я про экономическую славу говорю, про славу меча иль науки? Я говорю лишь о братствѣ людей и о томъ, что ко всемірному, ко всечеловѣчески-братскому единенію сердце русское, можетъ быть, изъ всѣхъ народовъ наиболѣе предназначено“... Вотъ мои слова. И неужто въ нихъ призывъ къ гордости? Сейчасъ послѣ приведенныхъ словъ моею „Рѣчи“ я прибавилъ: „Пусть наша земля нищая, но эту нищую землю въ рабскомъ видѣ исходилъ благословляя Христось. Почему-же намъ не вмѣстить послѣдняго слова Его?“ Это слово-то Христово значитъ призывъ къ гордости, а надежда вмѣстить это слово есть гордость? Вы въ негодованіи пишете: „что намъ слишкомъ рано требовать себѣ поклоненія“.— Да какое-же тутъ требованіе поклоненія — помилуйте? Это желаніе-то всеслуженія, стать всѣмъ слугами и братьями и служить имъ своею любовью, значитъ требовать отъ всѣхъ поклоненія? Да если тутъ требованіе поклоненія, то святое, безкорыстное желаніе всеслуженія становится тотчасъ абсурдомъ. Слугамъ не кланяются, а братъ не колѣнопреклоненій пожелаетъ отъ брата.

Представьте, г. Градовскій, что вы сдѣлали какое-нибудь доброе дѣло, или идете только сдѣлать его, и вотъ вы, дорогою, въ добромъ умиленіи вашемъ думаете и воображаете: „какъ обрадуется этотъ несчастный неужи-

данной помощи, которую я ему несу, какъ воспрянуть духомъ, какъ воскреснетъ, пойдетъ расскажетъ о своей радости своимъ домашнимъ, своимъ дѣтямъ, заплачетъ съ ними "... думая и воображая это, вы, конечно, сами почувствуете умиленіе, иногда даже слезы (неужели этого съ вами никогда не случилось?) и вотъ подѣ васъ умный голосъ вамъ въ ухо: "Это ты гордишься, воображая все это себѣ! Это ты отъ гордости проливаешь слезы?" Помилуйте: да одна уже надежда на то, что и мы, русскіе, можемъ хоть что-нибудь значить въ человѣчествѣ и хотя бы въ концѣ концовъ удостоимся братски послужить ему, — одна ужъ эта надежда вызвала восторгъ и слезы восторга въ тысячной массѣ слушателей. Я вѣдь не для похвалы, не изъ гордости это припоминаю, я только обозначаю серьезность момента. Дана была только свѣтлая надежда, что и мы можемъ быть чѣмъ-нибудь въ человѣчествѣ, хотя бы только братьями другимъ людямъ, и вотъ одинъ только горячій намекъ соединяетъ всѣхъ въ одну мысль и въ одно чувство. Обнимались незнакомые и клялись другъ другу впредь быть лучшими. Ко мнѣ подошли два старика и сказали мнѣ: "Мы двадцать лѣтъ были врагами другъ другу и вредили другъ другу, а по вашему слову мы помирились". Въ одной газетѣ успѣшили замѣтить, что весь этотъ восторгъ ничего не выражаетъ, что было-де такое ужъ настроеніе „съ цѣлованіемъ рукъ“, и что напрасно ораторы всходили и говорили и доканчивали свои рѣчи... „Что бы они ни сказали, все тотъ-же де былъ бы восторгъ, ибо такое ужъ благодушное настроеніе въ Москвѣ объявилось“. А вотъ поѣхалъ-бы журналистъ самъ туда и сказалъ-бы что-нибудь отъ себя: кинулись-бы къ нему такъ, какъ ко мнѣ, или нѣтъ? Отчего-же три дня передъ тѣмъ говорили рѣчи и были огромныя оваціи говорящимъ, но того, что случилось послѣ моей рѣчи, ни съ кѣмъ тамъ не было? Это былъ единственный моментъ на праздникѣ Пушкина и не повторялся. Видитъ Богъ не для восхваленія своего говорю, но моментъ этотъ былъ слишкомъ серьезенъ и я не могу о немъ умолчать. Серьезность его состояла именно въ томъ, что въ обществѣ ярко и ясно объявились новые элементы, объявились люди, которые жаждутъ подвига, утѣшающей мысли, обѣтованія дѣла. Значитъ не хочетъ уже общество удовлетворяться однимъ только нашимъ либеральнымъ хихиканіемъ надъ Россіей, значитъ мерзитъ уже ученіе о вѣковѣчномъ безиліи Россіи!

Одна только надежда, одинъ намекъ и сердца зажглись святою жаждою всечеловѣческаго дѣла, всебратскаго служенія и подвига. Это отъ гордости они зажглись? Это отъ гордости пролились слезы? Это къ гордости я ихъ призывалъ? Ахъ вы!

Видите-ли, г. Градовскій: серьезность этого момента вдругъ многихъ испугала въ нашемъ либеральномъ стаканчикѣ, тѣмъ болѣе, что это было такъ неожиданно. „Какъ? До сихъ поръ мы такъ приятно и себѣ полезно хихикали и все оплевывали, а тутъ вдругъ... да это вѣдь бунтъ? Полицію!“ Выскочило нѣсколько перепуганныхъ разныхъ господъ: „Какъ-же съ нами-то теперь? Вѣдь и мы тоже писали... куда-же насъ теперь дѣнуть? Затереть, затереть это все поскорѣе и чтобъ не осталось и слѣда, разъяснить скорѣе на всю Россію, что это только такое благодушное настроеніе въ хлѣбосольной Москвѣ случилось, миленькій моментикъ послѣ ряда обѣдовъ, а болѣе ничего, ну, а бунтъ укротить полиціей?“ И принялись: и трусь-то я, и поэтъ-то я, и ничтоженъ-то я, и нулевое-то значеніе имѣетъ моя рѣчь, — однимъ словомъ, сгоряча поступили даже неосторожно: публика могла и не повѣрить. Надо было, напротивъ, это дѣло сдѣлать умѣючи, подойти хладнокровнѣе, даже хоть что-нибудь и похвалить въ моей „Рѣчи“: „дескать, все-таки есть теченіе мыслей“, а затѣмъ, мало-по-малу, мало-по-малу, все и заплевать, и затереть, къ общему удовлетворенію. Однимъ словомъ, поступили не столь искусно. Явился пробѣлъ, его надо было поскорѣе восполнить, и вотъ немедленно отыскался солидный, опытный уже критикъ, соединяющій безотчетность нападений съ надлежащею комилфотностью. Этотъ критикъ были вы, г. Градовскій: вы написали, васъ прочли и всѣ успокоились. Вы послужили общему и прекрасному дѣлу, по крайней мѣрѣ, васъ вездѣ перепечатали: „Не выдерживаетъ, дескать, строгой критики рѣчь поэта; поэты поэтами, а вотъ умные-то люди стоятъ на стражѣ и всегда во-время обкатятъ холодной водой мечтателя“. Въ самомъ концѣ вашей статьи вы просите меня извинить вамъ выраженія, которыя я, въ статьѣ вашей, могъ-бы счесть рѣзкими. Я, кончая мою статью, не прошу у васъ извиненія за рѣзкости, г. Градовскій, буде таковыя въ статьѣ моей есть. Я отвѣчалъ не лично А. Д. Градовскому, а публицисту А. Градовскому. Лично я не имѣю ни малѣйшихъ причинъ не уважать васъ. Если-же не

уважаю ваши мнѣнія и остаюсь при томъ, то чѣмъ смягчу прося извиненій? Но мнѣ тяжело было видѣть, что весьма серьезная и знаменательная минута въ жизни общества нашего представлена извращенно, разъяснена ошибочно. Тяжело было видѣть, что идею, которой служу я, волокутъ по улицѣ. Вотъ вы-то ее и поволокли.

Я знаю, мнѣ скажутъ со всѣхъ сторонъ, что не стоило и смѣшно было писать такой длинный отвѣтъ на вашу довольно короткую, сравнительно съ моею, статью. Но повторяю, ваша статья послужила только предлогомъ: мнѣ хотѣлось кое-что вообще высказать. Я намѣренъ съ будущаго года „Дневникъ Писателя“ возобновить. Такъ вотъ этотъ теперешній номеръ „Дневника“ пусть послужитъ моимъ profession de foi на будущее, „пробнымъ“, такъ сказать, номеромъ.

Скажутъ еще пожалуй, что я моимъ вамъ отвѣтомъ уничтожилъ весь смыслъ моей „Рѣчи“, произнесенной въ Москвѣ, гдѣ самъ призывалъ объ партіи русскія въ единенію и примиренію и признавалъ законность той и другой. Нѣтъ, совсѣмъ нѣтъ, смыслъ „Рѣчи“ не уничтоженъ, а напротивъ еще болѣе закрѣпленъ, ибо именно я обозначаю въ моемъ вамъ отвѣтѣ, что объ партіи, въ отчужденіи одна отъ другой, во враждѣ одна съ другой, сами ставятъ себя и свою дѣятельность въ ненормальное положеніе, тогда какъ въ единеніи и въ соглашеніи другъ съ другомъ могли-бы, можетъ быть, все вознести, все спасти, возбудить безконечныя силы и воззвать Россію къ новой, здоровой, великой жизни, доселѣ еще невиданной!



ДНЕВНИКЪ ПИСАТЕЛЯ.

ЯНВАРЬ 1881 г.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

I.

Финансы. Гражданинъ оскорбленный въ Оерситѣ. Увѣнчаніе снизу и музыканты. Говорильня и говоруны.

Господи, неужели и я, послѣ трехъ лѣтъ молчанія, выступлю въ возобновленномъ „Дневникѣ“ моемъ, съ статей экономической? Неужели и я экономистъ, финансистъ? Никогда таковыми не былъ. Несмотря на теперешнее повѣтріе, не заразился экономизмомъ и вотъ туда-же за всѣми выступаю съ статьей экономической. А что теперь повѣтріе на экономизмъ—въ томъ нѣтъ сомнѣнія. Теперь всѣ экономисты. Всякій начинающійся журналъ смотритъ экономистомъ и въ смыслѣ этомъ рекомендуется. Да и какъ не быть экономистомъ, кто можетъ теперь не быть экономистомъ: паденіе рубля, дефицитъ! Этотъ всеобщій экономическій видъ появился у насъ наиболѣе въ послѣдніе годы, послѣ нашей турецкой кампаніи. О, и прежде у насъ разсуждали много о финансахъ, но во время войны и послѣ войны всѣ бросились въ финансы по преимуществу, — и опять-таки, конечно, все это произошло натурально: рубль упалъ, займы на военные расходы и проч. Но тутъ, кромѣ собственно рубля, была и отместка, да и теперь продолжается, именно за войну отместка: „мы, дескать, говорили, мы предрекали“. Особенно пустились въ экономизмъ тѣ, которые говорили тогда, въ семьдесятъ шестомъ и седьмомъ годахъ, что денежки лучше велико-

душія, что восточный вопрос одно баловство и фикція, что не только подъема духа народнаго нѣтъ, не только война не народна и не національна, но, въ сущности, и народа-то нѣтъ, а есть и пребываетъ попрежнему все та-же косная масса, нѣмая и глухая, устроенная къ платежу податей и къ содержанию интеллигенціи; масса, которая если и даетъ по церквамъ гроши, то потому лишь, что священникъ и начальство велятъ. Всѣ русскіе Ѳерситы (а ихъ много развелось въ интеллигенціи нашей) были тогда страшно оскорблены въ своихъ лучшихъ чувствахъ. Гражданинъ въ Ѳерситѣ былъ оскорбленъ. Вотъ и начали они мстить, попрекая финансами. Мало-по-малу примкнули къ нимъ уже и не Ѳерситы, даже бывшіе „герои“ применили. Всѣ понемногу надулись, нѣкоторые, впрочемъ, очень. Правда и миръ невыгодный поспособствовалъ, берлинская конференція. (NB. Кстати объ этой берлинской конференціи: меня тогда одна баба въ глуши, въ захолустьи, на проселочной дорогѣ, хозяйка постоялаго дворика, вдругъ спрашиваетъ: „Батюшка, скажи ты мнѣ, какъ насъ тамъ за границей-то теперь порѣшили, не слышать-ли чего?“ Подивился я тогда на эту бабу. Но объ этомъ, т.-е. о тогдашнемъ подъемѣ духа народнаго, потомъ). Я только хочу теперь сказать, что объ рублѣ и о дефицитѣ всѣ теперь пишутъ, и ужъ, конечно, тутъ отчасти и стадность: всѣ пишутъ, всѣ тревожатся, такъ какъ же и мнѣ не тревожиться, подумаютъ, что не гражданинъ, не интересуюсь. Впрочемъ, есть кое-гдѣ и настоящая гражданская тревога, есть боль, есть болѣзненные сомнѣнія за будущее, — не хочу душой кривить. Но, однакоже, хотъ и истинныя гражданскія боли, а почти вездѣ все на тему: Зачѣмъ-де у насъ все это не такъ, какъ въ Европѣ? „Въ Европѣ-де вездѣ хорошъ талеръ, а у насъ рубль дуренъ. Такъ какъ же это мы не Европа, такъ зачѣмъ-же мы не Европа?“ Умные люди разрѣшали, наконецъ, вопросъ, почему мы не Европа и почему у насъ не такъ какъ въ Европѣ: „Потому-де, что не увѣнчано зданіе“. Вотъ и начали всѣ кричать объ увѣнчаніи зданія, забывъ, что и зданія-то еще никакого не выведено, что и вѣнчать-то, стало быть, совсѣмъ нечего, что вмѣсто зданія всего только нѣсколько бѣлыхъ жилетовъ, вообразившихъ, что они уже зданіе и что увѣнчаніе, если ужъ и начать его, гораздо пригоднѣе начать прямо снизу, съ армяка и лаптя, а не съ бѣлаго жилета. Тутъ сдѣлаемъ необходимую оговорку:

увѣнчаніе снизу на первый взглядъ, конечно, нелѣпость, хотя-бы лишь въ архитектурномъ смыслѣ, и противорѣчить всему, что было и есть въ этомъ родѣ въ Европѣ. Но такъ какъ у насъ все своеобразно, все не такъ какъ въ Европѣ, а иногда такъ совсѣмъ наоборотъ, то и въ такомъ важномъ дѣлѣ, какъ увѣнчаніе зданія, дѣло это можетъ произойти наоборотъ Европѣ, къ удивленію и негодованію нашихъ русскихъ европейскихъ умовъ. Ибо, къ удивленію Европы, нашъ низъ, нашъ армякъ и лапоть, есть въ самомъ дѣлѣ въ своемъ родѣ уже зданіе, — не фундаментъ только, а именно зданіе, — хотя и не завершенное, но твердое и незыблемое, вѣками выведенное, и дѣйствительно, взаправду всю настоящую истинную идею, хотя еще и не вполне развитую, нашего будущаго уже архитектурно-законченнаго зданія, въ себѣ одномъ предчувствующее. Впрочемъ, всѣ эти возгласы европейцевъ нашихъ объ увѣнчаніи, если ужъ всю правду сказать, имѣютъ характеръ, именно какъ и сказали мы выше, болѣе стадный и механически-успокоительный, чѣмъ разсудочный и дѣйствительно гражданскій, нравственно-гражданскій. И потому такъ набросились всѣ на это новое утѣшеніе, что всѣ эти внѣшнія, именно *механически-успокоительныя* утѣшенія, всегда легки и пріятны и чрезвычайно сподручны: „Нужна-де только европейская формула и все какъ разъ спасено; приложить ее, взять изъ готоваго сундука, и тотчасъ-же Россія станетъ Европой, а рубль талеромъ“. Главное, что пріятно въ этихъ механическихъ успокоеніяхъ, — это то, что думать совсѣмъ не надо, а страдать и смущаться и подавно. Я про стадо говорю, я праведниковъ не трогаю. Праведники вездѣ есть, даже и изъ европейцевъ русскихъ, и я ихъ чту. Но согласитесь, что у насъ, въ большинствѣ случаевъ, все это какъ-то танцуетъ происходить. Чего думать, чего голову ломать, еще заболитъ: взять готовое у чужихъ и тотчасъ начнется музыка, согласный концертъ—

Мы вѣрно ужъ поладимъ,
Коль рядомъ сядемъ.

Ну, а что коль вы въ музыканты-то еще не годитесь, и это въ огромнѣйшемъ, въ колоссальнѣйшемъ большинствѣ, господа? А что коль изъ бѣлыхъ жилетовъ выйдетъ лишь одна говорильня? А что коли колоссальнѣйшее большинство бѣлыхъ-то жилетовъ въ увѣнчанное зданіе и во все-бы пускать не надо (на первый случай, конечно), если

ужь такъ случится когда-нибудь, что оно будетъ увѣнчано? То-есть ихъ-бы и можно пустить и должно, потому что все-жъ они русскіе люди (а многіе такъ и люди хорошіе), если-бъ только они, со всей землей, захотѣли смиренно, въ иномъ общемъ великомъ дѣлѣ, свой совѣтъ сказать. Но вѣдь не захотятъ они свой совѣтъ вмѣстѣ съ землей сказать, возгордятся надъ нею. До сихъ поръ, цѣлыхъ два столѣтія были особо, а тутъ вдругъ и соединятся! Это вѣдь не водевиль, это требуетъ исторіи и культуры, а культуры у насъ нѣтъ и не было. Посмотрите, вникните въ азартъ иного европейскаго русскаго человѣка и притомъ иной разъ самаго невиннѣйшаго и любезнаго по личному своему характеру, посмотрите, вникните, съ какимъ нелѣпымъ, ядовитымъ и преступнымъ, доходящимъ до пѣны у рта, до клеветы азартомъ препирается онъ за свои завѣтныя идеи, и именно за тѣ, которыя въ высшей степени не похожи на складъ русскаго народнаго міросозерцанія, на священнѣйшія чаянія и вѣрованія народныя! Вѣдь такому барину, такому бѣлоручеѣ, чтобъ соединиться съ землею, воняющею зипуномъ и лаптемъ, — чѣмъ надо поступиться, какими святѣйшими для него книжками и европейскими убѣжденіями? Не поступится онъ, ибо безглаголю къ народу и высокомеренъ къ землѣ Русской уже невольно. „Мы, дескать, только одни и можемъ совѣтъ сказать, скажутъ они, а тѣ, остальные (то-есть вся-то земля), пусть и тѣмъ довольны будутъ пока, что мы, образуя ихъ, будемъ ихъ постепенно возносить до себя и „научимъ народъ его правамъ и обязанностямъ“. (Это они-то собираются поучать народъ его правамъ и, главное,—обязанностямъ! Ахъ, шалуны!). „Русское общество не можетъ-де пребывать въ уѣздной кутузкѣ вмѣстѣ съ оборваннымъ народомъ, одѣтымъ въ національные лапти“. Такъ вѣдь, выходя съ такимъ настроеніемъ, можно (и даже неминуемо) дойти опять до закрѣпощенія народнаго, зипуна-то и лаптя, хотя не прежнимъ крѣпостнымъ путемъ, такъ интеллигентной опекой и ея политическими послѣдствіями, —

«А народъ опять скуемъ!»

Ну, и разумѣется кончатъ тѣмъ, что заведутъ для однихъ себя говорильню. Заведутъ, да и сами себя и другъ друга, съ перваго-же шагу, не поймутъ и не узнаютъ, — и это навѣрно случится такъ. Будутъ лишь въ темнотѣ другъ объ друга стукаться лбами. Не обижайтесь, господа:

Это и не съ такимъ обществомъ, цѣлыхъ два вѣка оторваннымъ отъ всякаго дѣла и не имѣющимъ никакой самобытной культуры, какъ ваше, случилось, когда доходила до него очередь въ первый разъ свой совѣтъ сказать, это и съ культурнѣйшими народами случилось. Но такъ какъ тѣ все-таки за собой имѣли вѣковую культуру, и, что прежде всего, всегда болѣе или менѣе на народъ опирались, то и оправлялись скоро, и выступали на дорогу твердую, конечно, тоже не безъ предварительныхъ пишекъ на лбу. Ну, а вы, наши европейцы, на что обопретесь, чѣмъ сладитесь? — тѣмъ только, что рядомъ сядете. А сколько, сколько расплодилось у насъ теперь говоруновъ? Точно и въ самомъ дѣлѣ готовятся. Сядетъ передъ вами иной передовой и поучающій господинъ и начнетъ говорить: ни концовъ, ни началъ, все сбито и сверчено въ клубокъ. Часа полтора говорить и, главное, вѣдь такъ сладко и гладко, точно птица поетъ. Спрашиваешь себя, что онъ: умный или иной какой? — и не можешь рѣшить. Каждое слово, казалось-бы, понятно и ясно, а въ цѣломъ ничего не разберешь. Курицу-ль впредь яйца учать, или курица будетъ попрежнему на яйцахъ сидѣть, — ничего этого не разберешь, видишь только, что краснорѣчивая курица, вмѣсто яицъ, дичь несетъ. Глаза выпучишь подъ конецъ, въ головѣ дурманъ. Это типъ новый, недавно народившійся; художественная литература его еще не затрогивала. Много чего не затронула еще наша художественная литература изъ современнаго и текущаго, много совсѣмъ проглядѣла и страшно отстала. Все больше типами сороковыхъ годовъ пробиваются, много что пятидесятыхъ. Даже и въ историческій-то романъ можетъ потому ударилась, что смыслъ текущаго потеряла.

II.

Возможно-ль у насъ спрашивать европейскихъ финансовъ?

А что-же финансы? Что-жъ финансовая-то статья? — скажутъ мнѣ. Но опять-таки: какой я экономистъ, какой финансистъ? Да и не смѣю я вовсе писать о финансахъ. Почему-же осмѣлился-то и собираюсь писать? А вотъ именно потому, что увѣренъ, что, начавъ о финансахъ, переѣду совсѣмъ на другое, и выйдетъ у меня не финансовая, а совсѣмъ иная какая-нибудь статья. Вотъ этимъ только я и ободренъ. Ибо и недостойнъ я вовсе писать о финансахъ, такъ какъ самъ знаю, что смотрю на наши финансы

совсѣмъ не съ европейской точки и не вѣрую даже, что ее можно къ намъ приложить—и именно потому, что мы вовсе не Европа и что все у насъ до того особливо, что мы, въ сравненіи съ Европой, почти какъ на лунѣ сидимъ. Въ Европѣ, напримѣръ, рабское, феодальное отношеніе низшихъ сословій къ высшимъ уничтожалось вѣками и, наконецъ-то, раздалась революція; все, однимъ словомъ, совершилось культурно и исторически. У насъ же крѣпостное право рушилось въ одинъ мигъ со всѣми послѣдствіями, и, слава Богу, безъ малѣйшей революціи. И вотъ, казалось-бы, откуда-то быть потрясенію, то-есть капитальному, очень большому? Правда и то: все, что вдругъ падаетъ, падаетъ всегда очень опасно, то-есть, съ большимъ потрясеніемъ. Не я, разумѣется, пожалѣю, что вдругъ упало: Страшно хорошо, напротивъ, что весь этотъ мерзостный историческій грѣхъ нашъ упразднился разомъ по великому слову Освободителя. Тѣмъ не менѣе законъ природы нельзя миновать и потрясеніе вышло большое. Пусть бы больше, но почему столь великое? Разумѣется, на все законы исторіи и ужъ, безъ сомнѣнія, есть весьма многіе, которые и теперь ясно различаютъ, почему все такъ вышло. Но, не развивая эту тему дальше—(велика она и огромна, историкъ будущаго вѣка развѣ только по силамъ)—не прибавляя больше ни слова, укажу лишь на инныя частности, что прежде всего бросаются въ глаза и смущаютъ. Вотъ, напримѣръ, посмотрите: рухнуло крѣпостное право, мѣшавшее всему, даже правильному развитію земледѣлія,—и вотъ тутъ-то бы, кажется, и зацвѣсти мужику, тутъ-то бы, кажется, и разбогатѣть ему. Ничуть не бывало: въ земледѣліи мужикъ съѣхалъ прямо на минимумъ того, что можетъ ему дать земля. И главное, въ томъ бѣда, что еще неизвѣстно: найдется-ли даже и впредь такая сила (и въ чемъ именно она заключается), чтобы мужикъ рѣшился возвыситься надъ минимумомъ, который даетъ ему теперь земля, и попросить у ней максимума. Скажутъ умники: вопросъ пустой и уже всѣмъ понятный, но я твердо увѣренъ, что еще далеко не разрѣшенный и несравненно огромнѣйшій, несравненно болѣе захватывающій въ себѣ содержанія, чѣмъ предполагаютъ его. Затѣмъ посмотрите опять: все прежнее барское землевладѣніе упало и понизилось до жалкаго уровня, а вмѣстѣ съ тѣмъ видимо началось перерожденіе всего бывшаго владѣльческаго сословія въ нѣчто иное чѣмъ прежде, въ народъ,

въ интеллигентный народъ—ибо во что же, казалось бы, переродиться ему? Вотъ бы и прекрасно и ужъ лучше, кажется, нельзя-бы и быть, ибо страшно нужна народу интеллигенція предводящая его, самъ онъ жаждетъ и ищетъ ея. Но, къ сожалѣнiю, и это у насъ пока еще въ идеалѣ, и представляется лишь прелестнымъ журавлемъ, летающимъ въ небѣ; въ дѣйствительности же далеко не такъ. Захочетъ-ли сословіе и прежній помѣщикъ стать интеллигентнымъ *народомъ*? Вотъ вопросъ и, знаете-ли: самый важный, самый капиталный, какой только есть у насъ теперь, и отъ котораго зависитъ, можетъ быть, все наше будущее! А между тѣмъ вопросъ этотъ далеко еще не рѣшенъ и даже представить нельзя, какимъ путемъ разрѣшится. Не захочетъ-ли, напротивъ, сословіе опять возгордиться и стать опять надъ народомъ властію силы, ужъ, конечно, не прежнимъ крѣпостнымъ правомъ, но не захочетъ ли, на примѣръ, оно вмѣсто единенiя съ народомъ, изъ самага образованiя своего создать новую властную и разъединительную силу и стать надъ народомъ аристократіей интеллигенціи, его опекающей. Захочетъ ли оно искренно признать народъ своимъ братомъ по крови и духу, впредъ навсегда, почтить ли оно то, что чтитъ народъ нашъ, согласится ли возлюбить то, что возлюбилъ народъ даже болѣе самого себя. А вѣдь безъ этого никогда и никто не сойдется съ нашимъ народомъ, ибо то, что онъ чтитъ и любить, у него крѣпко и онъ не поступится имъ ни для какой интеллигенціи, какъ-бы ни жаждалъ ея самъ. Все это у насъ страшно насущно и страшно не рѣшено. И вообще у насъ все теперь въ вопросахъ. И, что главное, все вѣдь это требуетъ времени, исторiи, культуры, поколѣній, а у насъ, напротивъ того, предстоитъ разрѣшить въ одинъ мигъ. Въ томъ-то и главная наша разница съ Европой, что не историческимъ, не культурнымъ ходомъ дѣла у насъ столь многое происходитъ, а вдругъ и совсѣмъ даже какъ-то внезапно, иной разъ даже никѣмъ до того неожиданнымъ предписаніемъ начальства. Конечно, все произошло и идетъ не по винѣ чьей-нибудь, и ужъ, если хотите, такъ даже и исторически, но согласитесь и съ тѣмъ, что такой исторiи не знала Европа. Какъ-же спрашивать съ насъ Европы, да еще съ европейской системой финансовъ? И, на примѣръ, вѣрю какъ въ экономическую аксіому, что не желѣзнодорожники, не промышленники, не миллионеры, не банки,

не жиды *обладаютъ* землею, а прежде всѣхъ лишь одни земледѣльцы; что кто обрабатываетъ землю, тотъ и ведетъ все за собою, что земледѣльцы и суть государство, ядро его, сердцевина. А такъ ли у насъ, не навыворотъ ли въ настоящую минуту, гдѣ наше ядро и въ комъ? Не желѣзнодорожникъ ли и жидъ владѣютъ экономическими силами нашими? Вотъ у насъ строятся желѣзныя дороги и, опять фактъ, какъ ни у кого: Европа чуть не полвѣка покрывалась своей сѣтью желѣзныхъ дорогъ, да еще при своемъ-то богатствѣ. А у насъ послѣднія пятнадцать-шестнадцать тысячъ верстъ желѣзныхъ дорогъ въ десять лѣтъ выстроились, да еще при нашей-то нищетѣ и въ такое потрясенное экономически время, сейчасъ послѣ уничтоженія крѣпостного права! И уже, конечно, всѣ капиталы перетянули къ себѣ именно тогда, когда земля ихъ жаждала наиболѣе. На разрушенное землевладѣніе и создались желѣзныя дороги. А разрѣшенъ ли у насъ до сихъ поръ вопросъ о единичномъ, частномъ землевладѣніи? Уживется ли впредь оно рядомъ съ мужичьимъ, съ опредѣленной рабочей силой, но здоровой и твердой, а не на пролетаріатѣ и кабакѣ основанной? А вѣдь безъ здраваго разрѣшенія такого вопроса что же здраваго выйдетъ? Намъ именно здравыя рѣшенія необходимы,—до тѣхъ поръ не будетъ спокойствія, а вѣдь только спокойствіе есть источникъ всякой великой силы. Какъ-же спрашивать у насъ теперь европейскихъ бюджетовъ и правильныхъ финансовъ? Тутъ уже не въ томъ вопросъ, почему у насъ нѣтъ европейской экономіи и хорошихъ финансовъ, а вопросъ лишь въ томъ, какъ еще мы устояли? Опять-таки крѣпкой, единительной, всенародной силой устояли.

А спокойствія у насъ мало, спокойствія духовнаго особенно, т.-е. самаго главнаго, ибо безъ духовнаго спокойствія никакого не будетъ. На это особенно не обращаютъ вниманія, а добиваются только временной, матеріальной глади. Спокойствія въ умахъ нѣтъ, и это во всѣхъ слояхъ, спокойствія въ убѣжденіяхъ нашихъ, во взглядахъ нашихъ, въ нервахъ нашихъ, въ аппетитахъ нашихъ. Труда и сознанія, что лишь трудомъ „спасенъ будешь“—нѣтъ даже вовсе. Чувства долга нѣтъ, да и откуда кому завестись: культуры полтора вѣка не было правильной, пожалуй, что и никакой. „Къ чему я стану трудиться, коли я самой культурой моею доведенъ до того, что все, что кру-

гомъ меня, отрицаю? А если и есть колпаки, которые думаютъ спасти зданіе какими-то европейскими измышленіями,—то я и колпаковъ отрицаю, а вѣрю лишь въ то, что чѣмъ хуже, тѣмъ лучше, и вотъ вся моя философія“. Увѣряю васъ, что у насъ теперь это очень многіе говорятъ, про себя, по крайней мѣрѣ, а иные такъ и вслухъ. И однако говорящій такіе афоризмы человекъ самъ-то вѣдь изъ костей и плоти. „Чѣмъ хуже, тѣмъ лучше“, говоритъ онъ, но это вѣдь только для другихъ, для всѣхъ, „а самому-то мнѣ пусть будетъ какъ можно лучше“—вотъ вѣдь какъ онъ разумѣетъ свою философію. Аппетитъ же у него волчій. Мужчина съ медвѣдя, а нервы у него женскіе, разстроенные, избалованные; жестокъ и сластолюбивъ, ничего перенести не можетъ, „да и къ чему-де утруждать себя и переносить?“ Пресѣлись обѣды въ рестораны, пресѣлись кокотки, такъ для чего же и жить,—баць и пулю въ лобъ. Еще хорошо, если себѣ пулю въ лобъ, а то вѣдь пойдетъ да и другого обокрадетъ, законно-юридическимъ образомъ. А ходъ-то дѣла не ждетъ, бѣдность нарастаетъ всеобщая. Вонъ купцы повсемѣстно жалуются, что никто ничего не покупаетъ. Фабрики сокращаютъ производство до минимума. Войдите въ магазинъ и спросите, какъ дѣло идетъ: „прежде, скажутъ вамъ, въ праздникъ человекъ, по крайней мѣрѣ, полдюжины рубахъ себѣ купить, а теперь все по одной берутъ“. Спросите даже въ ресторанахъ модныхъ—такъ какъ это послѣднее мѣсто, гдѣ бѣдность появляется. „Нѣтъ, скажутъ вамъ, ужъ теперь не кутятъ попрежнему, всѣ прижались, много что придетъ и обыкновенный обѣдъ спросить“—и это вѣдь прежній щеголь, бонбансникъ. Выкупныя прожили. Теперь еще все-таки валяютъ послѣдніе лѣса, а повалить—и ничего ужъ не будетъ. А какіе ужъ теперь лѣса? Поѣдете по желѣзной дорогѣ, замѣтите у станціи дрова: прежде все-таки бревна рубили, а теперь совсѣмъ не рѣдкость встрѣтить какія-то тоненькія палочки вмѣсто дровъ,—не дерево, а кусты ужъ рубятъ, подросточки. Вамъ, конечно, наблюденіе это покажется мелочью въ виду прочихъ громадныхъ вопросовъ нашего времени. Но вѣдь про лѣса наши финансисты рѣшительно игнорируютъ, точно и не хотятъ знать, какъ будто даже по какому-то принципу. А безъ лѣсовъ вѣдь и финансы понизятся въ страшномъ размѣрѣ, если все то сообразить и въ самую глубь войти. Но въ лѣсномъ вопросѣ всѣ какъ будто слово дали себѣ

лишь скользнуть по поверхности, пока не пришла бѣда. Она придетъ вдругъ, ибо всё пока успокоены тѣмъ, что цѣна лѣсу на рынкѣ все еще стоитъ подходящая, и знать не хотятъ, что она, такъ сказать, искусственная, отъ усиленнаго предложенія тѣхъ, которые валятъ лѣса и кусты даже, потому что уже все прожили. Повалить и вдругъ ничего не окажется, нечего будетъ предложить. Но объ этомъ потомъ. Я вѣдь началъ рѣчь о повсемѣстной нищетѣ и, обратномъ ей, развитіи appetitовъ.

Я хочу только, между прочимъ, замѣтить, что страшно развелось много Капитановъ Копѣйкиныхъ, въ безчисленныхъ видоизмѣненіяхъ, начиная съ настоящихъ, до великосвѣтскихъ и раздушенныхъ. И всё-то на казну и на общественное достояніе зубы точатъ. Разумѣется, всё они быстро превратятся у насъ если не въ разбойниковъ на большихъ дорогахъ, какъ было съ настоящимъ Копѣйкинымъ, то въ карманныхъ промышленниковъ, иные въ дозволенныхъ, а иные такъ и прикрывать себя юридически не станутъ. Иной даже гордо скажетъ: „Я потому таковъ, что все отрицаю и отрицаю способствую“. О, развѣ нѣтъ Копѣйкиныхъ-либераловъ? Они слишкомъ поняли, что въ модѣ либерализмъ и что на немъ можно выѣхать. Кто ихъ не видывалъ: Либераль всесвѣтный, атеистъ дешевый, надъ народомъ величается своимъ просвѣщеніемъ въ пятакъ цѣны! Онъ самое пошлое изъ всѣхъ пошлыхъ проявленій нашего лжелиберализма, но все-таки у него неутолимо развитъ appetitъ, а потому онъ опасенъ. Вотъ такіе-то первые и примыкаютъ прежде всѣхъ ко всякой идеѣ о пересадкахъ извнѣ для механическаго врачеванія, группируются и составляютъ толпу, которую ведутъ весьма часто весьма честные люди, въ сущности не виноватые въ томъ, что у нихъ такой контингентъ: „Пусть всякая перемѣна, только чтобъ безъ труда и готовая, говорить либеральный Копѣйкинь; все-таки лучше мнѣ будетъ съ внѣшней-то перемѣной, съ какой-бы тамъ ни было, чѣмъ теперь, потому что навѣрное найду, чѣмъ поживиться на первыхъ порахъ“,—такъ вѣдь съ этой стороны онъ очень опасенъ, хотя всего только Копѣйкинь. Но оставимъ Копѣйкина. Все сказанное теперь еще только самый малый краешекъ на тему о томъ, что у насъ нѣтъ спокойствія. Самъ вижу, что предисловіе мое вышло слишкомъ ужъ длинно. Но къ финансамъ, къ финансамъ!

III.

Забуть текущее ради оздоровленія корней. По неумѣнью впадаю въ нѣчто духовное.

По свойству природы моей начну съ конца, а не съ начала, разомъ выставлю всю мою мысль. Никогда-то я не умѣлъ писать постепенно, подходить подходами и выставлять идею лишь тогда, когда уже успѣю ее всю разжевать предварительно и доказать по возможности. Терпѣнія не хватало, характеръ препятствовалъ, чѣмъ я, конечно, вредилъ себѣ, потому что иной окончательный выводъ, высказанный прямо, безъ подготовленій, безъ предварительныхъ доказательствъ, способенъ иногда просто удивить и смутить, а пожалуй такъ вызвать и смѣхъ, а у меня, — я уже предчувствую — именно такой выводъ, что надъ нимъ можно сразу разсмѣяться, если не подготовить къ нему читателя предварительно. Мысль моя, формула моя — слѣдующая: „Для приобрѣтенія хорошихъ государственныхъ финансовъ въ государствѣ, извѣдавшемъ извѣстныя потрясенія, не думай слишкомъ много о текущихъ потребностяхъ, сколь-бы сильно ни вопіяли они, а думай лишь объ оздоровленіи корней — и получишь финансы“.

Ну, разумѣется, тотчасъ-же раздается смѣхъ: „Это-де всѣ знаютъ, скажутъ мнѣ, въ вашей формулѣ нѣтъ ровно ничего неизвѣстнаго; кто-жъ не знаетъ, что не надо истощать корней, что, засушивъ корни, плодовъ не получишь и т. д., и т. д.“. Но однакоже дайте оговориться, я еще не всю мою мысль сказалъ, и увы, въ томъ-то и бѣда моя, что если-бъ я даже цѣлую книгу написалъ, развивая эту мысль мою, то и тогда (о, опять-таки предчувствую это) — не сумѣлъ бы разъяснить ее настолько, чтобъ ее можно было понять *во всей полнотѣ*. Ибо въ этой мысли заключается нѣкій своего рода фатумъ.

Видите-ли: объ оздоровленіи корней, конечно, всѣ знаютъ, и какой-же нашъ министръ финансовъ болѣе или менѣе о нихъ не заботился, а ужъ особенно министръ нынѣшній: онъ прямо приступилъ къ корнямъ, и вотъ уже соляной налогъ уничтоженъ. Ожидаются и еще реформы, и чрезвычайныя, капитальныя, именно „корневыя“. Кромѣ того всегда, и прежде, и десять лѣтъ тому, употреблялись многія средства на оздоровленіе корней: назначались ревизіи, устраивались комиссіи для изслѣдованія благосостоянія русскаго мужика, его промышленности,

его судовъ, его самоуправленія, его болѣзней, его нравовъ и обычаевъ, и пр., и пр. Комиссія выдѣляли изъ себя подкомиссіи на собраніе статистическихъ свѣдѣній, и дѣло шло какъ по маслу, т.-е. самымъ лучшимъ административнымъ путемъ, какой только можетъ быть. Но я вовсе, вовсе не про то говорить теперь началъ. Мало того, не только подкомиссіи, но даже и такія капиталныя реформы, какъ отмѣна соляного налога или ожидаемая великая реформа податной системы,—по-моему, суть лишь одни пальятивы, нѣчто внѣшнее и не съ самаго корня начатое,—вотъ что я хочу выставить. Съ самаго корня будетъ то, когда мы, если не совсѣмъ, то хоть на половину забудемъ о текущемъ, о злобѣ дня сего, о вопіющихъ нуждахъ нашего бюджета, о долгахъ по заграничнымъ займамъ, объ дефицитѣ, объ рублѣ, о банкротствѣ даже, котораго, впрочемъ, никогда у насъ и не будетъ, какъ ни пророчать его намъ злорадно заграничные друзья наши. Однимъ словомъ, когда обо всемъ, обо всемъ текущемъ позабудемъ и обратимъ вниманіе лишь на одно оздоровленіе корней, и это до тѣхъ поръ, пока получимъ дѣйствительно обильный и здоровый плодъ. Ну, тогда можно будетъ и опять вѣхъ въ текущее, или, лучше сказать, уже въ новое текущее, потому что въ этотъ антрактъ, надо думать, что прежнее (т.-е. современное, теперешнее наше текущее) измѣнится все радикально и преобразитъ свой характеръ до того, что мы сами его не узнаемъ. И что-же: я, разумѣется, понимаю, что все, что я сказалъ сейчасъ, покажется дикимъ, что не думать о рублѣ, о платежахъ по займамъ, о банкротствѣ, о войскѣ нельзя, что это надо удовлетворить и удовлетворять и, повидимому, прежде всего. Но увѣряю-же васъ, что и я понимаю это. Видите, я вамъ признаюсь: я нарочно поставилъ мою мысль ребромъ и желанія мои довелъ до идеала почти невозможнаго. Я думалъ, что именно начавъ съ абсурда и стану понятнѣе. Я и сказалъ: „Что если бъ мы хоть *на половину* только смогли заставить себя забыть про текущее и направили наше вниманіе на нѣчто совсѣмъ другое, въ нѣкую глубь, въ которую, по правдѣ, доселѣ никогда и не заглядывали, потому что глубь искали на поверхности? Но я сейчасъ-же готовъ смягчить мою формулу и вотъ что вмѣсто нея предложу: *не на половину* забыть о текущемъ, — отъ половины я отказываюсь — а всего-бы только на одну двадцатую долю, но съ тѣмъ

(непремѣнно съ тѣмъ), чтобы, начавъ съ двадцатой доли забвенія текущаго, въ каждый слѣдующій годъ прибавлять къ прежней долѣ еще по одной двадцатой и дойти— ну, дойти, напримѣръ, такимъ образомъ, до трехъ четвертей забвенія. Важна тутъ не доля, а *важенъ тутъ принципъ*, который взять, поставить передъ собой и затѣмъ уже слѣдовать ему неуклонно. О, на это все тотъ-же вопросъ: куда-жъ дѣвать текущее-то, — не похѣрить-же его, какъ не существующее? Я и не говорю: похѣрить; знаю самъ, что существующее нельзя сдѣлать несуществующимъ,—но знаете, господа, иногда и можно. Вѣдь если только перестать лишь на одну двадцатую долю ежегодно удостоивать его столь болѣзненно-тревожнаго вниманія, какъ теперь, а обратить это болѣзненно тревожное вниманіе, въ размѣрѣ тоже одной двадцатой доли ежегодно, на нѣчто другое, то дѣло-то представится почти что и не фантастическимъ, а совсѣмъ даже возможнымъ къ началію, тѣмъ болѣе, что о текущемъ (повторяю это), пренебрегаемомъ на одну двадцатую долю ежегодно, уже потому одному нечего беспокоиться, что оно все не утратится, вовсе не похѣрится, а, повторяю это, оно само собою преобразится въ нѣчто совсѣмъ иное, чѣмъ теперь, само подчинится новому принципу и войдетъ въ смыслъ и духъ его, преобразится непремѣнно къ лучшему, къ самому даже лучшему. Мнѣ скажутъ, что я говорю загадками и однакоже это ничуть. Для примѣра и на первый случай закину лишь одно только самое маленькое предисловное слово на тему о томъ, какимъ образомъ можно сразу начать переходъ отъ текущаго къ „оздоровленію корней“.

Ну что, еслибъ, напримѣръ, Петербургъ согласился вдругъ, какимъ-нибудь чудомъ, сбавить своего высокомерія во взглядѣ своемъ на Россію,—о, какимъ бы славнымъ и здоровымъ первымъ шагомъ послужило бы это къ „оздоровленію корней!“ Ибо что же Петербургъ,—онъ вѣдь дошелъ до того, что рѣшительно считаетъ себя всей Россіей, и это отъ поколѣнія къ поколѣнію идетъ нарастая. Въ этомъ смыслѣ Петербургъ какъ-бы слѣдуетъ примѣру Парижа, несмотря на то, что на Парижъ совсѣмъ не похожъ! Парижъ ужъ такъ самъ собою устроился исторически, что поглотилъ всю Францію, все значеніе ея политической и социальной жизни, весь смыслъ ея,—и отнимите Парижъ у Франціи—что при ней останется: одно географическое

опредѣленіе ея. И вотъ у насъ воображаютъ иные почти такъ-же, какъ и въ Парижѣ, что въ Петербургѣ слилась вся Россія. Но Петербургъ совсѣмъ не Россія. Для огромнаго большинства русскаго народа Петербургъ имѣетъ значеніе лишь тѣмъ, что въ немъ его Царь живетъ. Между тѣмъ, и это мы знаемъ, петербургская интеллигенція наша, отъ поколѣнія къ поколѣнію, все менѣе и менѣе начинаетъ понимать Россію, именно потому, что, замкнувшись отъ нея въ своемъ чухонскомъ болотѣ, все болѣе и болѣе измѣняетъ свой взглядъ на нее, который у иныхъ сузился, наконецъ, до размѣровъ микроскопическихъ, до размѣровъ какого-нибудь Карлсруэ. Но выгляните изъ Петербурга и вамъ предстанетъ море-океанъ земли Русской, море необъятное и глубочайшее. И вотъ сынъ петербургскихъ отцовъ самымъ спокойнымъ образомъ отрицаетъ море народа русскаго и принимаетъ его за нѣчто косное и бессознательное, въ духовномъ отношеніи ничтожное и въ высшей степени ретроградное. „Велика-де Ѳедора да дура, годится лишь насъ содержать, чтобы мы ее уму-разуму обучили и порядку государственному“. Танцующія и лохотничья паркетныя, создаются въ Петербургѣ будущіе сыны отечества, а „чернорабочія крысы“, какъ называлъ Иванъ Александровичъ Хлестаковъ, изучаютъ отечество въ канцеляріяхъ и, разумѣется, чему-то научаются, но не Россіи, а совсѣмъ иному, подчасъ очень странному. Это что-то инсэ и странное Россіи и навязываютъ. А между тѣмъ море-океанъ живетъ своеобразно, съ каждымъ поколѣніемъ все болѣе и болѣе духовно отдѣляясь отъ Петербурга. И не говорите, что живетъ онъ хотя мощною жизнью, но еще бессознательно, какъ увѣрены до сихъ поръ не только петербуржцы, но даже и понимающіе Россію иные немногіе русскіе люди. О, если бъ знали какъ это невѣрно, и уже сколько сознанія накопилось въ народѣ русскомъ, напримѣръ, хотя-бы только въ теперешнее царствованіе! Да, сознаніе уже растетъ, растетъ и уже столь многое народомъ понято и осмыслено, что петербургскіе люди и не повѣрили-бы. Это видится тѣмъ, которые видѣтъ умѣютъ, это предчувствуется и только еще не обнаруживается въ цѣломъ, хотя сильно обнаруживается по мѣстамъ, по угламъ, по домамъ и по избамъ. Гдѣ-же обнаружится еще въ цѣломъ—вѣдь это океанъ, океанъ! Но если когда обнаружится или только начнетъ обнаруживаться, то въ какое внезапное удивленіе поверг-

нетъ оно петербургскаго интеллигентнаго человѣка! Правда, долго онъ будетъ отрицать и не вѣрить своимъ пяти чувствамъ, долго не сдастся европейскій человѣчекъ,—иные такъ и умрутъ не сдавшись. Но, чтобъ избѣгнуть великихъ и грядущихъ недоразумѣній, о, какъ-бы желательно было, повторю это, чтобы Петербургъ, хотя бы въ лучшихъ-то представителяхъ своихъ, сбавилъ хоть капельку своего высокомерія во взглядѣ своемъ на Россію! Проникновенія бы капельку больше, пониманія, смиренія передъ великой землей Русской, передъ моремъ-океаномъ,—вотъ бы чего надо. И какимъ бы вѣрнымъ первымъ шагомъ послужило это къ „оздоровленію корней“...

— Но позвольте, прервуть меня, все это пока лишь только старья, истрепанныя славянофильскія бредни, со-всѣмъ даже не реальное, какое-то даже духовное; но что такое „оздоровленіе корней“,—вы еще это не разъяснили? И что это за корни? Какіе корни? Что вы подъ этимъ разумѣете?

— Вы правы, господа, правы,—начнемъ объ самихъ „корняхъ“.

IV.

Первый корень. Въмѣсто твердаго финансоваго тона впадаю въ старья слова. Море-океанъ. Жажда правды и необходимость спокойствія, столь полезнаго для финансовъ.

Первый корень, первый самый главный корень, который предстоитъ непремѣнно и какъ можно оздоровить—это, безъ сомнѣнія, все тотъ же русскій народъ, все тотъ же море-океанъ, о которомъ я сейчасъ мою рѣчь завелъ. Я про простой нашъ народъ теперь говорю, про простолюдина и мужика, про платежную силу, про мозольныя рабочія руки, про море-океанъ. О, какъ не знать мнѣ, что сдѣлало и дѣлаетъ для него непрерывно наше правительство въ нынѣшнее царствованіе, начиная съ освобожденія его отъ крѣпостной зависимости? Да, оно заботится о его нуждахъ, о его просвѣщеніи, лѣченіи, прощаетъ ему даже недоимки при случаѣ,—однимъ словомъ, дѣлаетъ и заботится много, кто-жъ про это не знаетъ. Но я не про это хочу начать рѣчь: я разумѣю лишь духовное оздоровленіе этого великаго корня, который есть начало всему. Да, онъ духовно боленъ, о, не смертельно: главная мощная сердцевина его души здорова, но все-таки болѣзнь жестока. Какая-же она, какъ она называется? Трудно это

выразить въ одномъ словѣ. Можно бы вотъ какъ сказать: „Жажда правды, но неутоленная“. Ищетъ народъ правды и выхода къ ней непрерывно и все не находитъ. Хотѣлось бы мнѣ ограничиться тутъ лишь финансовой точкой взгляда на эту болѣзнь, но придется прибавить и нѣсколько старыхъ словъ. Съ самаго освобожденія отъ крѣпостной зависимости, явилась въ народѣ потребность и жажда чего-то новаго, уже не прежняго, жажда правды, но уже полной правды, полного гражданскаго воскресенія своего въ новую жизнь послѣ великаго освобожденія его. Затребовалось новое слово, стали закипать новыя чувства, стало глубоко вѣряться въ новый порядокъ. Послѣ перваго періода посредниковъ перваго призыва наступило вдругъ нѣчто иное, чѣмъ ожидалъ народъ. Наступилъ порядокъ, въ который народъ и радъ былъ увѣрять, но мало чтó въ немъ понималъ. Не понималъ онъ его, терялся, а потому и не могъ увѣрять. Являлось что-то виѣшнее, что-то какъ-бы ему чужое и не его собственное. Пережевывать эту тему, столь давно пережеванную, нечего: другіе расскажутъ про это лучше моего,—прочтите хоть въ журналѣ „Русь“. Явилось затѣмъ безшабашное пьянство, пьяное море какъ-бы разлилось по Россіи, и хоть свирѣпствуетъ оно и теперь, но все-таки жажды новаго, правды новой, правды уже полной народъ не утратилъ, упиваясь даже и виномъ. И никогда, можетъ быть, не былъ онъ болѣе склоненъ къ инымъ вліяніямъ и вѣяніямъ и болѣе незащитенъ отъ нихъ, какъ теперь. Возьмите даже какую-то штунду и посмотрите на ея успѣхъ въ народѣ: чтó свидѣтельствуетъ она? Исканіе правды и безпокойство по ней. Именно безпокойство; народъ теперь именно „обезпокоенъ“ нравственно. Я убѣжденъ даже, что если нигилистическая пропаганда не нашла до сихъ поръ путей „въ народъ“, то единственно по неумѣлости, глупости и неподготовленности пропагаторовъ, неумѣвшихъ даже и подойти къ народу. А то, при самой малой умѣлости, и они бы проникли, какъ проникла и штунда. О, надо беречь народъ. Сказано: „Будутъ времена, скажутъ вамъ: Се здѣсь Христось, или тамъ, не вѣрьте“. Вотъ и теперь какъ будто нѣчто похожее совершается, и не только въ народѣ, но, пожалуй, даже и у насъ на верху. Ну, развѣ не волнуется народъ разными необычными слухами о передѣлѣ, напимѣрѣ, надѣловѣ, о новыхъ золотыхъ грамотахъ? Недавно имъ читали по церквамъ, чтобъ

не вѣрили, что ничего не будетъ, и вотъ, вѣрите-ли: именно послѣ этого чтенія и утвердилась, по мѣстамъ, еще болѣе мысль что „будеть“: „Даромъ бы читать не стали, а коли ужъ зачали читать, значить „будеть“. Вотъ что они заговорили тотчасъ-же послѣ чтенія, по крайней мѣрѣ, по мѣстамъ. Я именно знаю случай: покупали крестьяне у сосѣднего помѣщика землю и сошлись было въ цѣнѣ, а послѣ этого чтенія отступились: „И безъ денегъ возьмемъ“. Посмѣиваются и ждуть. Я только про слухи говорю, про способность внимать имъ, свидѣтельствующую именно о нравственномъ безпокойствѣ народа. И вотъ что главное: народъ у насъ одинъ, т.-е. въ единеніи, весь только на свои лишъ силы оставленъ, духовно его никто не поддерживаетъ. Есть земство, но оно „начальство“. Есть судъ, но и то „начальство“; есть община, наконецъ, мѣръ, но и то какъ будто-бы ужъ теперь тянетъ къ чему-то похожему на начальство. Газеты полны описаніями, какъ народъ выбираетъ своихъ выборныхъ,—въ присутствіи „начальства“, непременно члена какого-нибудь, и что изъ этого происходитъ. Но анекдотовъ этихъ тысячи, пересчитывать не буду. Посмотритъ иной простакъ кругомъ себя и вдругъ выведетъ, что одному-де кулаку и міроѣду житье, что какъ будто для нихъ все и дѣлается, такъ стану-де и я кулакомъ,—и станеть. Другой, помирнѣе, просто сохнетъ, не потому, что бѣдность одолѣла, а потому, что отъ безправия тошно. Что-же тутъ дѣлать? Тутъ фатумъ. Вѣдь ужъ, кажется, дано управленіе, начальство, тутъ-то бы и успокоиться,—анъ вышло почему-то наоборотъ. Вонъ высчитали, что у народа, теперь, въ этотъ мигъ, чуть-ли не два десятка начальственныхъ чиновъ, специально къ нему опредѣленныхъ, надъ нимъ стоящихъ, его оберегающихъ и опекающихъ. И безъ того уже бѣдному человѣку всѣ и всякій начальство, а тутъ еще двадцать штукъ специальныхъ! Свобода-то движенія ровно какъ у мухи, попавшей въ тарелку съ патокой. А вѣдь это не только съ нравственной, но и съ финансовой точки зрѣнія вредно, т.-е. такая свобода движенія. А главное, народъ одинъ, безъ совѣтниковъ. Есть у него только Богъ и Царь—вотъ этими двумя силами и двумя великими надеждами онъ и держится. А другіе совѣтники всѣ проходятъ мимо него, его не коснувшись. Вся прогрессивная интеллигенція, на примѣръ, сплошь проходитъ мимо народа, ибо хотя и много въ интеллигенціи нашей

толковыхъ людей, но зато о народѣ русскомъ мало кто имѣетъ понятія. У насъ только отрицають, да непрерывно жалуются: „Зачѣмъ-де не „оживляется“ общество, и почему-де никакъ нельзя оживить его, и что же это за задача такая?“ А потому нельзя оживить, что вы на народъ не опираетесь и что народъ не съ вами духовно и вамъ чужой. Вы какъ бы составляете верхнюю зону надъ народомъ, обернувшую землю Русскую, и для васъ-то собственно, по крайней мѣрѣ, какъ говорятъ и пишутъ у насъ же, Преобразователь и оставилъ народъ крѣпостнымъ, чтобы онъ, служа вамъ трудомъ своимъ, далъ вамъ средство къ европейскому просвѣщенію применить. Вы и просвѣтились въ два-то столѣтія, а народъ-то отъ васъ отдалился, а вы отъ него. „Да не мы ли, скажете вы, объ народѣ болѣемъ, не мы ли объ немъ столь много пишемъ, не мы ли его и къ нему призываемъ?“ Такъ, вы все это дѣлаете, но русскій народъ убѣжденъ почему-то, что вы не объ немъ болѣете, а объ какомъ-то иномъ народѣ, въ вашу голову засѣвшемъ и на русскій народъ не похожемъ, а его такъ даже и презираете. Это презрительное отношеніе къ народу—въ нѣкоторыхъ изъ насъ даже совсѣмъ бессознательное, положительно можно сказать, невольное. Это остатокъ крѣпостного права. Началось же оно съ тѣхъ поръ, какъ былъ умерщвленъ гражданскій народъ для нашего европейскаго просвѣщенія и пребываетъ въ насъ несомнѣнно доселѣ, когда и воскресъ народъ, и, знаете, намъ даже и невозможно уже теперь сойтись съ народомъ, если только не совершится какого чуда въ землѣ Русской. Тутъ, повторяю, весьма старыя мои же слова: Народъ русскій въ огромномъ большинствѣ своемъ—православенъ и живетъ идеей православія въ полнотѣ, хотя и не разумѣетъ эту идею отвѣтчиво и научно. Въ сущности въ народѣ нашемъ кромѣ этой „идеи“ и нѣтъ никакой, и все изъ нея одной и исходитъ, по крайней мѣрѣ, народъ нашъ такъ хочетъ всѣмъ сердцемъ своимъ и глубокимъ убѣжденіемъ своимъ. Онъ именно хочетъ, чтобы все, что есть у него и что даютъ ему, изъ этой лишь одной идеи и исходило. И это несмотря на то, что многое у самого же народа является и выходитъ до нелѣпости не изъ этой идеи, а смраднаго, гадкаго, преступнаго, варварскаго и грѣховнаго. Но и самые преступники и варвары, хотъ и грѣшатъ, а все-таки молятъ Бога, въ высшія минуты духовной жизни своей, чтобы пресѣлся

грѣхъ ихъ и смрадъ и все бы выходило опять изъ той излюбленной „идеи“ ихъ. Я знаю, надо мною смѣялись наши интеллигентные люди: „той идеи“ даже и признавать они не хотять въ народѣ, указывая на грѣхи его, на смрадъ его (которымъ сами же они виной были, два вѣка угнетая его), указываютъ на предрасудки, на индифферентность будто бы народа къ религии, а иные такъ даже воображаютъ, что русскій народъ просто-напросто атеистъ. Вся глубокая ошибка ихъ въ томъ, что они не признаютъ въ русскомъ народѣ Церкви. Я не про зданія церковныя теперь говорю и не про причты, я про нашъ русскій „соціализмъ“ теперь говорю (и это обратно-противоположное Церкви слово беру именно для разъясненія моей мысли, какъ ни показалось бы это страннымъ)—цѣль и исходъ котораго всенародная и вселенская Церковь, осуществленная на землѣ, поколику земля можетъ вмѣстить ее. Я говорю про неустанную жажду въ народѣ русскомъ, всегда въ немъ присущую, великаго, всеобщаго, всенароднаго, всебратскаго единенія во имя Христово. И если нѣтъ еще этого единенія, если не созиждилась еще Церковь вполне, уже не въ молитвѣ одной, а на дѣлѣ, то все-таки инстинктъ этой церкви и неустанная жажда ея, иной разъ даже почти безсознательная, въ сердцѣ много-милліоннаго народа нашего несомнѣнно присутствуютъ. Не въ коммунизмѣ, не въ механическихъ формахъ заключается социализмъ народа русскаго: онъ вѣритъ, что спасется лишь въ концѣ концовъ *всесвятѣмъ единеніемъ во имя Христово*. Вотъ нашъ русскій социализмъ! Вотъ надъ присутствіемъ въ народѣ русскомъ этой высшей единительно-„церковной“ идеи вы и смѣетесь, господа европейцы наши. О, есть много и другихъ „идей“ въ народѣ, съ которыми вы никогда не сойдетесь и признаете ихъ прямо татарскими въ европейскомъ міросозерцаніи вашемъ. Объ нихъ, объ этихъ остальныхъ идеяхъ я теперь и упоминать не буду, хотя это чрезвычайно важныя идеи, которыхъ правды вы вовсе не понимаете. Но теперь я объ этой лишь главной идеѣ народа нашего говорю, объ чаяніи имъ грядущей зиждущейся въ немъ, судьбами Божиими, его Церкви вселенской. И тутъ прямо можно поставить формулу: кто не понимаетъ въ народѣ нашемъ его православія и окончательныхъ цѣлей его, тотъ никогда не пойметъ и самого народа нашего. Мало того: тотъ не можетъ и любить на-

рода русскаго (а у многихъ вѣдь изъ нихъ, изъ европейцевъ-то нашихъ, сердце чистое, справедливости и любви жаждущее), а будетъ любить его лишь такимъ, какимъ бы желалъ его видѣть и какимъ себѣ напредставить его. А такъ какъ народъ никогда такимъ не сдѣлается, какимъ бы его хотѣли видѣть наши умники, а останется самимъ собою, то и предвидится въ будущемъ неминуемое и опасное столкновение. Ибо вышесказанная формула имѣеть и обратное значеніе, т.-е. никогда народъ не приметъ такого русскаго европейца за своего человѣка: „Полюби сперва святыню мою, почти ты то, что я чту, и тогда ты точно таковъ какъ я, мой братъ, несмотря на то, что одѣтъ не такъ, что ты баринъ, что ты начальство и что даже и по-русскому-то иной разъ сказать хорошо не умѣешь“, — вотъ что вамъ скажетъ народъ, ибо народъ нашъ широкъ и уменъ. Онъ и не вѣрующаго въ его святыню, хорошаго человѣка, иной разъ почитать и полюбить, выслушаетъ его, если тотъ уменъ, за совѣтъ благодарить и совѣтомъ воспользуется. Ужиться народъ русскій со всякимъ можетъ, ибо много видалъ видовъ, многое замѣтилъ и запомнилъ въ долгую, тяжелую жизнь свою двухъ послѣднихъ вѣковъ. (А вотъ вы даже и съ этимъ не соглашаетесь, что онъ много запомнилъ и замѣтилъ, а, стало быть, и созналъ, и что, стало быть, не совсѣмъ же онъ только косная масса и платежная сила, какими вы его опредѣлили). Но ужиться и даже любовно ужиться съ человѣкомъ—дѣло одно, а *своимъ* человѣкомъ признать его—это совсѣмъ уже другое. А безъ этого признанія не будетъ и единенія.

Я лишь то хочу выразить, что силы, разъединяющія насъ съ народомъ, чрезвычайно велики и что народъ остался одинъ, въ великомъ единеніи своемъ, и кромѣ Царя своего, въ котораго вѣруеть нерушимо,—ни въ комъ и нигдѣ опоры теперь уже не чаеть и не видитъ. И радъ бы увидѣть, да трудно ему разглядѣть. А между тѣмъ,—о, какая бы страшная, зиждательная и благословенная сила, новая, совсѣмъ уже новая сила явилась бы на Руси, если бы произошло у насъ единеніе сословій интеллигентныхъ съ народомъ! Единеніе духовное, то-есть. О, господа министры финансовъ, не такіе бы годовые бюджеты составляли вы тогда, какіе составляете нынѣ! Молочныя рѣчки потекли бы въ царствѣ, всѣ идеалы ваши были бы достигнуты разомъ!—„Да, но какъ это сдѣлать, и неужели

же виною тому европейское просвѣщеніе наше? О, всёмъ не просвѣщеніе, да, по правдѣ, его у насъ и нѣтъ вовсе даже доселѣ, а разьединеніе-то все-таки пребываетъ и дѣйствительно вышло какъ бы во имя европейскаго просвѣщенія, котораго нѣтъ у насъ. Но настоящее просвѣщеніе тутъ не виновато. Я даже такъ думаю: будь у насъ настоящее, заправское просвѣщеніе, то и разьединенія бы никакого не произошло у насъ вовсе, потому что и народъ просвѣщенія жаждетъ. Но улетѣли мы отъ народа нашего, просвѣтась, на луну и всякую дорогу къ нему потеряли. Какъ же намъ, такимъ отлетѣвшимъ людемъ, брать на себя заботу оздоровить народъ? Какъ сдѣлать, чтобъ духъ народа, тоскующій и обезпокоенный повсемѣстно, ободрился и успокоился? Вѣдь даже самыя капиталы и движеніе ихъ *нравственнаго* спокойствія ищутъ, а безъ нравственнаго спокойствія или прячутся, или непроизводительны. Какъ сдѣлать, чтобъ духъ народа успокоился въ правдѣ и видя правду? Можетъ-быть, правда-то есть и теперъ, но надо, чтобъ онъ ей повѣрилъ. Какъ вѣдрить въ его душу, что правда есть въ Русской землѣ и что высоко стоитъ ея знамя. Какъ сдѣлать, напримѣръ, чтобъ онъ въ свой судъ увѣровалъ, въ свое представительство и призналъ его за плоть отъ плоти своея и за кость отъ костей своихъ? О, я не пускаюсь въ подробности, гдѣ мнѣ, и если даже начать все разьяснять и описывать, то думаю и „всему міру не вмѣститъ бы книгъ сихъ“. Но если бы только хоть обезпечена была правда народу въ будущемъ, такъ чтобы онъ вполне увѣровалъ, что придетъ она непременно, если бъ только хотя капельку выбралась муха изъ тарелки съ патокой, то и тогда бы совершилось дѣло великое и неисчислимое. Прямо скажу: вся бѣда отъ давняго разьединенія высшаго интеллигентнаго сословія съ низшимъ, съ народомъ нашимъ. Какъ же помирить верхній поясъ съ море-океаномъ и какъ успокоить море-океанъ, чтобы не случилось въ немъ большого волненія?

V.

Пусть первые скажутъ, а мы пока постоимъ въ сторонкѣ единственно чтобъ уму-разуму поучиться.

На это есть одно магическое слово, именно: „Оказать довѣріе“. Да, нашему народу можно оказать довѣріе, ибо онъ достоинъ его. Позовите сѣрые зипуны и спросите ихъ

самихъ объ ихъ нуждахъ, о томъ, чего имъ надо, и они скажутъ вамъ правду, и мы всё, въ первый разъ, можетъ быть, услышимъ настоящую правду. И не нужно никакихъ великихъ подъемовъ и сборовъ; народъ можно спросить по мѣстамъ, по уѣздамъ, по хижинамъ. Ибо народъ нашъ, и по мѣстамъ сидя, скажетъ точь-въ-точь все то же, что сказалъ бы и весь вкупѣ, ибо онъ единъ. И разъединенный единъ, и сообща единъ, ибо духъ его единъ. Каждая мѣстность только лишь свою мѣстную особенность прибавила бы, но въ цѣломъ, въ общемъ, все бы вышло согласно и едино. Надо только соблюсти, чтобы высказался пока именно только мужицъ, одинъ только заправскій мужицъ. Правда, съ мужикомъ проскочить кулакъ и міроѣдъ, но вѣдь и тотъ мужицъ, и въ такомъ великомъ дѣлѣ даже кулакъ и міроѣдъ землѣ не измѣнять и правдивое слово скажутъ, — такова ужъ наша народная особенность. Какъ же это сдѣлать? О, люди власть имѣющіе это могутъ лучше рѣшить, чѣмъ я, — я же только вѣрю въ одно, что формулъ особенныхъ совсѣмъ не потребуется. Народъ нашъ за формами не погонится, особенно за готовыми, чужеземными, которыхъ ему вовсе не надо, ибо вовсе не то у него на умѣ, и не только никогда не бывало, но никогда и не будетъ, потому что у него другой взглядъ на это дѣло, особый, совсѣмъ его собственный. Да, въ семь случаевъ народъ нашъ, — такой народъ, какъ нашъ, — можетъ быть вполне удостоенъ довѣрія. Ибо кто же его не видалъ около Царя, близъ Царя, у Царя? Это дѣти Царевы, дѣти заправскія, настоящія, родныя, а Царь ихъ отецъ. Развѣ это у насъ только слово, только звукъ, только наименованіе, что „Царь имъ отецъ“? Кто думаетъ такъ, тотъ ничего не понимаетъ въ Россіи! Нѣтъ, тутъ идея глубокая и оригинальнѣйшая, тутъ организмъ, живой и могучій, организмъ народа, сліяннаго со своимъ Царемъ воедино. Идея же эта есть сила. Создалась эта сила вѣками, особенно послѣдними, страшными для народа двумя вѣками, которые мы столь восхваляемъ за европейское просвѣщеніе наше, забывъ, что это просвѣщеніе обезпечено было намъ еще два вѣка назадъ крѣпостной кабалой и крестнымъ страданіемъ народа русскаго, намъ служившаго. Вотъ и ждалъ народъ Освободителя своего и дождался, — ну такъ какъ же они не настоящія, не заправскія дѣти его? Царь для народа не вѣшняя сила, не сила какого-нибудь побѣдителя (какъ

было, напริมѣрь, съ династіями прежнихъ королей во Франціи), а всенародная, всеединящая сила, которую самъ народъ восхотѣлъ, которую вырастилъ въ сердцахъ своихъ, которую возлюбилъ, за которую претерпѣлъ, потому что отъ нея только одной ждалъ исхода своего изъ Египта. Для народа Царь есть воплощеніе его самого, всей его идеи, надеждъ и вѣрованій его. Надежды эти еще недавно столь колоссально осуществились, — такъ какъ же народу отречься отъ дальнѣйшихъ надеждъ? Какъ же, напротивъ, не усилиться имъ, не утвердиться, ибо Царь послѣ крестьянской реформы не въ идеѣ только, не въ надеждѣ лишь, а на дѣлѣ ему сталъ отцомъ. Да вѣдь это отношеніе народа къ Царю, какъ къ отцу, и есть у насъ то настоящее, адамантовое основаніе, на которомъ всякая реформа у насъ можетъ зиждиться и соизидется. Если хотите, у насъ въ Россіи и нѣтъ никакой другой силы, зиждущей, сохраняющей и ведущей насъ, какъ эта органическая, живая связь народа съ Царемъ своимъ, и изъ нея у насъ все и исходитъ. Кто же бы и помыслить могъ, напрімѣрь, хотя бы о той же крестьянской реформѣ, если бъ заранѣе не зналъ и не вѣрилъ, что Царь народу отецъ и что именно вѣра народа въ Царя, какъ въ отца своего, все спасетъ, все убережетъ, удалить бѣду? Увы, плохъ тотъ экономистъ-реформаторъ, который обходитъ настоящія и дѣйствительно живыя силы народныя изъ какого-нибудь предубѣжденія и чуждаго вѣрованія. Да: мы уже по тому одному не съ народомъ и не можемъ понять его, что хоть и знаемъ и понимаемъ его отношенія къ Царю, но вмѣстить не можемъ въ себя во всей полнотѣ самаго главнаго и необходимаго пункта въ судьбахъ нашихъ: что отношеніе это русскаго народа къ Царю своему есть самый особый пунктъ, отличающій народъ нашъ отъ всѣхъ другихъ народовъ Европы и всего міра; что это не временное только дѣло у насъ, не переходящее, не признакъ лишь дѣтства народнаго, напрімѣрь, его роста и проч., какъ заключилъ бы иной умникъ, но вѣковое, всегдашнее и никогда, по крайней мѣрѣ, еще долго, очень долго, оно не измѣнится. Такъ какъ же послѣ этого (уже по этому только одному) народъ нашъ не особый ото всѣхъ народовъ и не заключаетъ въ себѣ особой идеи? Не ясно ли, напротивъ, что народъ нашъ носитъ въ себѣ органическій зачатокъ идеи, отъ всего свѣта особенной. Идея же эта заключаетъ въ себѣ такую

великую у насъ силу, что, конечно, повліяеть на всю дальнѣйшую исторію нашу, а такъ какъ она совсѣмъ особливая и какъ ни у кого, то и исторія наша *не можетъ быть похожею на исторію другихъ европейскихъ народовъ*, тѣмъ болѣе ея рабской кошей. Вотъ чего не понимаютъ у насъ умники, вѣрующіе, что все у насъ передѣляется въ Европу безо всякой особености, и ненавидящіе особености, отчего, конечно, дѣло можетъ кончиться даже бѣдой. А что у насъ все основное, какъ нигдѣ въ Европѣ, то вотъ вамъ тому первый примѣръ: у насъ свобода (въ будущемъ нашемъ, когда мы переживемъ періодъ лжеевропеизма нашего, это навѣрно такъ будетъ) — у насъ гражданская свобода можетъ водвориться самая полная, полнѣе, чѣмъ гдѣ-либо въ мірѣ, въ Европѣ или даже въ Сѣверной Америкѣ, и именно на этомъ же адамантовомъ основаніи она и созиждется. Не письменнымъ листомъ утвердится, а созиждется лишь на дѣтской любви народа къ Царю, какъ къ отцу, ибо дѣтямъ можно многое такое позволить, что и немисливо у другихъ, у договорныхъ народовъ, дѣтямъ можно столь многое довѣрить и столь многое разрѣшить, какъ нигдѣ еще не бывало видано, ибо не измѣнять дѣти отцу своему и, какъ дѣти, съ любовью примутъ отъ него всякую поправку всякой ошибки и всякаго заблужденія ихъ.

Итакъ, этакому ли народу отказать въ довѣріи? Пусть скажетъ онъ самъ о нуждахъ своихъ и полную объ нихъ правду. Но, повторяю это, пусть скажетъ сначала одинъ; мы же, „интеллигенція народная“, пусть станемъ пока смиренно въ сторонкѣ и сперва только поглядимъ на него, какъ онъ будетъ говорить, и послушаемъ. О, не изъ какихъ-либо политическихъ цѣлей я предложилъ бы устранить на время нашу интеллигенцію, — не приписывайте мнѣ ихъ пожалуйста, — но предложилъ бы я это (ужъ извините, пожалуйста) — изъ цѣлей лишь чисто педагогическихъ. Да, пускай въ сторонкѣ пока постоимъ и послушаемъ, какъ ясно и толково сумѣетъ народъ свою правду сказать, совсѣмъ безъ нашей помощи, и объ дѣлѣ, именно объ заправскомъ дѣлѣ въ самую точку попадетъ, да и насъ не обидитъ, коли объ насъ рѣчь зайдетъ. Пусть постоимъ и поучимся у народа, какъ надо правду говорить. Пусть тутъ же поучимся и смиренію народному, и дѣловитости его, и реальности ума его, серьезности этого ума. Вы скажете: „Сами же вы говорили, какъ податливъ на-

родъ на нелѣпыя слухи, — какой же мудрости ожидать отъ него? Такъ, но одно дѣло слухи, а другое — единеніе въ общемъ дѣлѣ. Явится дѣлое, а цѣлое повліяетъ само на себя и вызоветъ разумъ. Да, это будетъ воистину школою для всѣхъ насъ и самую плодотворнѣйшую школою. Увидавъ отъ народа столько дѣловитости и серьезности, мы будемъ озадачены и ужъ, конечно, явятся изъ насъ, что не повѣрять глазамъ своимъ, но такихъ будетъ слишкомъ мало, ибо всѣ дѣйствительно искренніе, всѣ воистину жаждущіе правды, а главное дѣло, заправскаго дѣла и общей пользы, — такіе всѣ присоединятся къ премудрому слову народному; всѣ же неискренніе разомъ обнаружатъ все свое содержаніе и обнаружатся сами. А если останутся и искренніе, что и тогда въ народъ не увѣруютъ, — то это какіе-нибудь старовѣры и доктринеры сороковыхъ и пятидесятихъ годовъ, старыя, неисправимыя дѣти, и они будутъ только смѣшны и безвредны. Всѣ же, кромѣ нихъ, въ первый разъ прочистятъ глаза свои и очистятъ пониманіе свое. Дѣйствіе можетъ быть чрезвычайно важное по послѣдствіямъ, ибо... ибо тутъ-то, въ этой-то формѣ можетъ-быть и возможно начало и первый шагъ духовнаго слянія всего интеллигентнаго сословія нашего, столь гордаго предъ народомъ, съ народомъ нашимъ. Я про духовное лишь сляніе говорю, — его только намъ и надо, ибо оно страшно поможетъ всему, все переродитъ вновь, новую идею дастъ. Свѣтлая, свѣжая молодежь наша, думаю я, тотчасъ же и прежде всѣхъ отдастъ свое сердце народу и пойметъ его духовно впервые. Я потому такъ, и прежде всѣхъ, на молодежь надѣюсь, что она у насъ тоже страдаетъ „исканіемъ правды“ и тоской по ней, а, стало-быть, она народу сродни наиболѣе, и сразу пойметъ, что и народъ ищетъ правды. А познакомься столь близко съ душою народа, броситъ тѣ крайнія бредни, которыя увлекли-было столь многихъ изъ нея, вообразившихъ, что они нашли истину въ крайнихъ европейскихъ ученіяхъ. О, я вѣрю, что не фантазирую и не преувеличиваю тѣхъ благихъ послѣдствій, которыя могли бы изъ столь хорошаго дѣла выйти. Пало бы высокоуміе и родилось бы уваженіе къ землѣ. Совсѣмъ новая идея вошла бы вдругъ въ нашу душу и освѣтила бы въ ней все, что пребывало до сихъ поръ во мракѣ, свѣтомъ своимъ обличила бы ложь и прогнала ее. И кто знаетъ, можетъ-быть, это было бы началомъ такой реформы, которая по значенію своему

даже могла бы быть выше крестьянской: тутъ произошло бы тоже „освобожденіе“ — освобожденіе умовъ и сердець нашихъ отъ нѣкоей крѣпостной зависимости, въ которой и мы тоже пробыли цѣлыхъ два вѣка у Европы, подобно какъ крестьянинъ, недавній рабъ нашъ, у насъ. И если бъ только могла начаться и осуществиться эта вторая реформа, то, ужь конечно, была бы лишь послѣдствіемъ великой первой реформы въ началѣ царствованія. Ибо тогда матеріально пала двухвѣковая стѣна, отдѣлявшая народъ отъ интеллигенціи, а нынѣ стѣна эта уже духовно падеть. Что же выше, что же можетъ быть плодотворнѣе для Россіи, какъ не это духовное сляніе сословій? Свои въ первый разъ узнаютъ своихъ. Стыдившіеся доселѣ народа нашего, какъ варварскаго и задерживающаго развитіе, устыдятся прежняго стыда своего и предъ многими смирятся и многое почтутъ, чего прежде не читали и что презирали. И когда отвѣтитъ народъ, когда доложить все о себѣ и замолкнетъ его смиренное слово, — спросите, попробуйте спросить тогда и интеллигенцію нашу, — ну, хоть лишь мнѣнія ея о томъ, что сказалъ народъ, и вы сейчасъ же увидите послѣдствія. О, тогда и ихъ слово плодотворно будетъ, ибо они все же вѣдь интеллигенты и послѣднее слово за ними. Но примѣръ народа, сказавшаго прежде ихъ свое слово, во всякомъ бы случаѣ избавилъ бы насъ отъ многихъ промаховъ и дурачествъ, если бъ намъ самимъ пришлось прежде народа сказать свое слово. И увидите, что ничего не скажетъ тогда наша интеллигенція народу противорѣчиво, а лишь облечетъ его истину въ научное слово и разовѣетъ его во всю ширину своего образованія, ибо все же вѣдь у ней наука или начала ея, а наука народу страшно нужна. Да если бъ и захотѣлъ кто изъ нихъ противорѣчить, если бъ и явились какія-нибудь несогласія съ основными началами народа нашего, то все-таки не осмѣлились бы такъ сильно возстать противъ духа народнаго, то-есть противъ взгляда его на дѣло, — вотъ что важно, и даже очень.

Да, весьма можетъ быть, что духовное спокойствіе началось бы у насъ именно съ этого шага. Явилась бы надежда и уже общая, нераздѣленная, стали бы ярко сознаваться и выясняться передъ нами и пѣли наши. А это очень важно, ибо вся наша сознательная сила, весь нашъ интеллигентъ совѣмъ не знаетъ или весьма не твердо и

сбивчиво знаетъ о томъ, какія суть и могутъ быть впредь наши дѣла, то-есть національныя, государственныя. Въ этомъ у насъ очень слабо, именно теперь, въ данную минуту. А эта сбивчивость, это незнаніе есть, безъ сомнѣнія, источникъ великаго безпокойства и неуройства, и не только теперь, а и несравненно горшаго въ будущемъ. Все это могло бы быть разьяснено, освѣщено, или дало бы хоть первоначальное указаніе къ тому, чѣмъ освѣтить и какъ разьяснить, навело бы на мысль... А, впрочемъ, на эту тему довольно; я сказала, какъ умѣлъ. Пусть не поймутъ всего, если не сумѣлъ высказаться, — беру вину на себя, — но то, что поймутъ, пусть примутъ въ безобидномъ и мирномъ смыслѣ. Я желала бы только, чтобъ поняли безпристрастно, что я лишь за народъ стою прежде всего, въ его душу, въ его великія силы, которыхъ никто еще изъ насъ не знаетъ во всемъ объемѣ и величіи ихъ, — какъ въ святыню вѣрую, главное, въ спасительное ихъ назначеніе, въ великій народный охранительный и зиждительный духъ, и жажду лишь одного: да узрять ихъ всѣ. Только что узрять, тотчасъ же начнутъ понимать и все остальное.

И почему бы все это мечта? Я вѣдь не про всю обширность дѣла говорю. Я вѣдь говорю лишь о мужикѣ, о его собственныхъ первоначальныхъ дѣлахъ, лишь до него относящихся. Развѣ нѣтъ у него такихъ дѣлъ, особливыхъ и единственно ихнихъ, о которыхъ бы надо было узнать, въ видѣ, такъ сказать, почина и предисловія ко всякой дальнѣйшей, хотя бы даже и гораздо обширнѣйшей реформѣ? А между тѣмъ получатся выгоды чрезвычайныя: получатся факты, узнается правда о многомъ, добудется драгоценный матеріалъ, который уберезетъ многихъ изъ насъ отъ фантастическихъ надеждъ, отъ перековерканій на западный ладъ, отъ преувеличеній. А главное, — это еще разъ повторю, — получится тонъ и смыслъ, получится тотъ самый духъ, въ которомъ только и можетъ совершиться все что-нибудь дальнѣйшее и обширнѣйшее. На это дѣло какъ бы печать ляжетъ, печать національная и глубоко-консервативная. И печати этой и впоследствии никто не избѣгнетъ, даже самые фантастическіе умы, и тѣ соблазнятся и добровольно примутъ ее.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

I.

Остроумный бюрократъ. Его мнѣніе о нашихъ либералахъ и европейцахъ.

Но, кончивъ эту первую мою главу, прерву пока и статью о финансахъ, ибо чувствую, что пишу очень скучно. Но прерву лишь на время. Мнѣ еще хотѣлось бы поговорить и о другихъ корняхъ, о другихъ началахъ, которые, представляется мнѣ,—можно бы оздоровить. Потому еще прерываю, что на двухъ листахъ моего „Дневника“ и безъ того не уписалъ бы всей статьи, такъ что и поневолѣ пришлось бы отложить до слѣдующихъ, грядущихъ номеровъ...

— Напрасно, не надо и въ слѣдующихъ номерахъ,—брезгливо прервутъ меня голоса (я ужъ предчувствую эти голоса),— все это не финансы, а... баловство. Все это не реально (хотя не понимаю почему бы такъ?), все это мистическаго какого-то содержанія, а не насущнаго, не текущаго! Въ слѣдующихъ номерахъ дайте повѣсть.

Странные голоса! Да вѣдь я именно и стою на томъ, чтобъ намъ отвернуться отъ многаго въ теперешнемъ нашемъ насущномъ и текущемъ и создать себѣ иное насущное и текущее, и несравненно даже реальнѣйшее, чѣмъ теперешнее, въ которое мы вѣхали и въ которомъ сидимъ,—извините пожалуйста,—тоже какъ муха въ папокѣ,— въ этомъ вся моя мысль. Т.-е. именно въ поворотѣ головъ и взглядовъ нашихъ совсѣмъ въ иную сторону, чѣмъ до сихъ поръ—вотъ моя мысль. Власть имѣющіе могли бы начать такое дѣло, и съ этой стороны мои мечты становятся даже вовсе не столь фантастическими, ибо если начнетъ власть, то многое могло бы даже сейчасъ же осуществиться. Принципы, принципы наши нѣкоторые надо бы совсѣмъ измѣнить, мухъ изъ патоки повытащить и освободить. Не популярна, кажется, эта мысль: безъ движенія мы давно уже привыкли быть, а въ патоку-то даже и сладко стало сидѣть. Правда, я опять увлекся и мнѣ тутъ же сейчасъ же могутъ напомнить, что вѣдь я и доселѣ, столько ужъ написавъ, все еще не собрался разъяснить: какое именно теперешнее текущее я подразумеваю, и какое именно будущее текущее ему предпочитаю. Вотъ это-то именно я хочу разъяснить неустанно въ

будущих моих номерах „Дневника“. Но, чтобъ кончить теперь, приведу одну встрѣчу, которую я имѣлъ съ однимъ довольно остроумнымъ бюрократомъ, и который мнѣ изрекъ одну довольно любопытную вещь, вотъ именно насчетъ нѣкоторыхъ принциповъ, касающихся измѣненія нашего теперешняго „текущаго“. Разговоръ зашелъ въ одномъ обществѣ, какъ разъ о финансахъ и объ экономіи, но спеціально въ смыслѣ бережливости финансовыхъ средствъ нашихъ, приключенія ихъ, употребленія въ дѣло такъ, чтобы ни одна копейка не терялась, не пошла въ расходъ фантастическій. Про экономію въ этомъ смыслѣ у насъ говорятъ теперь поминутно, да и правительство занимается этимъ же неустанно. У насъ контроль, ежегодное сокращеніе въ штатахъ. Заговорили въ послѣднее время даже о сокращеніи арміи, предлагали въ газетахъ и цифру, именно на пятьдесятъ тысячъ солдатъ, а другіе такъ увѣряли, что и на половину сократить можно армію нашу: ничего-де отъ того не будетъ. Все это и прекрасно бы, но вотъ чтò, однако, невольно лѣзетъ въ соображеніе: армію-то мы сократимъ, на первый случай, хоть тысячь на пятьдесятъ, а денежки-то у насъ и промелькнутъ опять между пальцами, туда да сюда, ужъ конечно, на государственныя потребности, но на такія, которыя, можетъ-быть, и не стоятъ такой радикальной жертвы. Сокращенныя же пятьдесятъ тысячъ войска ужъ мы никогда опять не заведемъ, или съ большой натугой, потому что, разъ уничтоживъ, трудно это опять возстановлять, а войско-то намъ ужъ какъ нужно, особенно теперь, когда всѣ-то тамъ держать противъ насъ камень за пазухой. На эту дорогу вступать опасно, но только *теперь*, при теперешнемъ, т.-е. текущемъ, на которое пойдутъ денежки. Только тогда и будемъ увѣрены, что святая эти денежки дѣйствительно на настоящее дѣло пошли, когда вступимъ, на примѣръ, на окончательную, на суровую, на угрюмую экономію, на экономію въ духѣ и силѣ Петра, если бѣ тотъ положилъ экономить. А способны ли мы на это при „вопиющихъ-то“ нуждахъ нашего текущаго, которыми мы столь связали себя? Замѣчу, что если бѣ мы сдѣлали или начали такъ, то это и было бы однимъ изъ первыхъ шаговъ на поворотѣ съ прежняго фантастическаго текущаго на новое, реальное и надлежащее. Мы вотъ довольно часто сокращаемъ штаты, персоналъ чиновниковъ, а между тѣмъ, въ результатахъ выходитъ, что и штаты и персо-

нאלъ какѣ бы все увеличиваются. А способны ли мы вотъ въ такому, на примѣръ, сокращенію: чтобы съ сорока чиновниковъ сразу сѣхъ на четырехъ? Что четыре чиновника сплошь и рядомъ исполнять то, что дѣлаютъ сорокъ — въ этомъ сомнѣніи, конечно, никто не можетъ имѣть, особенно при сокращеніи бумажнаго дѣлопроизводства и вообще при радикальномъ преобразованіи теперешнихъ формулъ веденія дѣлъ? Вотъ на эту-то тему и зашла рѣчь въ нашей компаніи. Замѣтили, что это большая ломка, во всякомъ случаѣ. Другіе возражали, что вѣдь у насъ и гораздо капитальнѣйшія реформы происходили чѣмъ эта. Третьи прибавляли, что новымъ чиновникамъ, то-есть вотъ этимъ четверымъ, замѣстившимъ сорокъ, можно бы жалованье даже утроить — и слишкомъ охотно будутъ работать, вовсе безъ ропота. Но если и утроить, и на четырехъ, стало-быть, пошло бы столько же, чего стоятъ теперешніе двѣнадцать, то и тогда мы сократимъ расходы чуть не на три четверти противъ теперешняго.

Тутъ-то меня и остановилъ мой бюрократъ. Замѣчу прежде всего, что, въ величайшему моему удивленію, даже и онъ нисколько не возразилъ противъ возможности четырьмя замѣнить сорокъ: „И при четырехъ, дескать, дѣло будетъ идти“, стало быть, не счелъ же этого невозможнымъ. Но онъ возразилъ на иное, именно на принципъ, на ошибочность и преступность провозглашаемаго принципа. Привожу возраженія его не дословно, даже слишкомъ въ моей редакціи. Повторяю, привожу именно потому, что мысли его показались мнѣ любопытными въ своемъ родѣ и заключавшими въ себѣ нѣкоторую почти пикантную даже идею. Онъ, конечно, не удостоилъ пускаться со мною въ подробности, такъ какъ я въ такомъ дѣлѣ не специалистъ, „понимаю мало“ (въ чемъ, ужъ конечно, спѣшу и самъ сознаться),—но принципъ-то, онъ надѣлся, я пойму.

— Сокращеніе чиновниковъ, съ сорока на четырехъ, началъ онъ строго и съ проникновеніемъ,—не только не полезно для дѣла, но даже и вредно уже по самому существу своему, несмотря на то, что дѣйствительно государственный расходъ уменьшился бы значительно. Но не только съ сорока на четырехъ нельзя сокращать и вредно, но и съ сорока на тридцать восемь, и вотъ почему: потому что вы зловредно посягнули бы тѣмъ на основной принципъ. Ибо вотъ уже почти двѣсти лѣтъ, съ самого Петра,

мы, бюрократія, составляемъ въ государствѣ *все*; въ сущности мы-то и есть государство и *все* — а прочее лишь привѣсокъ. По крайней мѣрѣ, до недавняго времени, до освобожденія крестьянъ такъ было. Всѣ выборныя прежнія должности, ну тамъ дворянскія, напимѣръ, сами собою, силою тяготѣнія, такъ сказать, принимали нашъ духъ и смыслъ. И мы, созерцая это, вовсе не беспокоились, потому что принципъ, указанный двѣсти лѣтъ тому, нисколько не нарушался. Вотъ послѣ крестьянской реформы дѣйствительно потянуло было чѣмъ-то новымъ: явилось самоуправленіе, ну тамъ и земство и прочее... Оказалось теперь ясно, что и все это новое тотчасъ же начало само собою принимать нашъ же обликъ, нашу же душу и тѣло, въ насъ перевоплощаться. И произошло отнюдь не нашимъ давленіемъ (это ошибочная мысль), — а именно само собою, ибо отъ вѣковыхъ привычекъ отучаться трудно, а если хотите, то и не надо, особенно въ такомъ основномъ и великомъ національномъ дѣлѣ. Вы можете мнѣ не повѣрить, но, если способны вникнуть, то, конечно, поймете. Ибо что мы такое? Мы *все, все* и до сихъ поръ и продолжаемъ быть всѣмъ, — и опять-таки вовсе не очень стараясь о томъ сами, не нутужась, такъ сказать, нимало, а именно невольно, естественнымъ ходомъ дѣла. Кричатъ давно, что у насъ дѣло канцелярское не живое, а мертвое, бумажное, и что Россія изъ этого выросла. Можетъ быть, выросла, но пока все еще мы одни ее держимъ, зиждемъ и сохраняемъ, чтобы не рассыпалась! Ибо то, что вы называете канцелярской мертвечиной, т. е. мы-то сами, какъ установленіе, а затѣмъ и вся наша дѣятельность, — все это составляетъ, если прибѣгнуть къ сравненію, какъ бы, такъ сказать, скелетъ въ живомъ организмѣ. Разсыпьте скелетъ, разсыпьте кости, погибнетъ и живое тѣло. Пусть, пусть дѣло дѣлается по-мертвому, зато по системѣ, по принципу, по великому принципу, позвольте вамъ это сказать. Пусть дѣло канцелярски дѣлается, пусть даже плохо, не полно, но вѣдь какъ-нибудь дѣлается же, и, главное, все стоитъ и не падаетъ, — именно то-то и главное, что пока не падаетъ. Я согласенъ и готовъ уступить вамъ, что мы на самомъ-то дѣлѣ, пожалуй, что и не *все*, — о, мы достаточно умны, чтобы понять, что мы не восполняемъ всего въ Россіи, а особенно теперь; но пусть не все, зато все-таки *нѣчто*, т. е. нѣчто уже реальное, дѣйствительно существующее, хотя, конечно, можетъ быть, отчасти и без-

тѣлесное. Ну, а что тамъ у васъ, чѣмъ вы-то бы насъ замѣстили, такъ чтобъ мы уже могли съ увѣренностью отстраниться, въ виду того, что и у васъ явилось бы тоже *нѣчто*, способное насъ замѣстить такъ, чтобы ничего не упало? Но вѣдь у васъ, всѣ эти самоуправленія и земства, — вѣдь это все еще пока журавль въ небѣ, журавль до сихъ поръ, прекрасный и въ небѣ летающій, но на землю еще не слетавшій. Стало быть, онъ все-таки нуль, хоть и прекрасенъ, а мы хоть и не прекрасны и надоѣли, но зато мы *нѣчто* и уже вовсе не нуль. Вы вотъ насъ всѣ сплошь обвиняете за журавля: зачѣмъ-де онъ до сихъ поръ не слетѣлъ, что въ этомъ-де мы виноваты, что это будто мы стараемся преобразить прекраснаго журавля въ нашъ образъ и духъ. Это, конечно, очень бы хорошо было съ нашей стороны, если бъ дѣйствительно тутъ только наша вина была, ибо мы доказали бы тѣмъ, что стоимъ за вѣковой, основной и благороднѣйшій принципъ и бесполезный нуль обращаемъ въ полезное нѣчто. Но повѣрьте, что мы тутъ вовсе не виноваты, т. е. слишкомъ мало, и что прекрасный журавль самъ въ нерѣшимости, самъ не знаетъ чѣмъ ему стать окончательно, т. е. нами ли или вправду чѣмъ-то самостоятельнымъ, самъ колеблется, самъ не вѣритъ себѣ, даже почти потерялся. Увѣряю васъ, что полѣзь онъ къ намъ своею собственною доброю волею, а а вовсе безъ нашего давленія. Выходить, что мы, такъ сказать, какъ естественный какой-то магнитъ, къ которому все тянется даже доселѣ и долго еще будетъ тянуться. Вы опять не вѣрите, вамъ смѣшно? А я такъ пари готовъ держать въ чемъ угодно: попробуйте, развяжите крылья вашей прекрасной птичкѣ вполне, разрешите ей всѣ возможности, предпишите, наприимѣръ, вашему земству даже формально за номеромъ и со строгостью: „доселѣ-де быть тебѣ самостоятельнымъ, а не бюрократическимъ журавлемъ“, и, повѣрьте, что всѣ они тамъ, всѣ какіе есть журавли, сами собою, еще пуще запросятся къ намъ и кончатъ тѣмъ, что станутъ чиновниками уже вполне, духъ нашъ и образъ примутъ, все у насъ скопируютъ. Даже выборный мужикъ къ намъ запросится, польститъ ему это очень. Недаромъ же два столѣтія развивались вкусы. И вотъ вы хотите, чтобы мы, т. е. нѣчто твердое и на ногахъ стоящее, промѣняли бы самихъ себя на эту загадку, на эту шараду, на вашего прекраснаго журавля? Нѣтъ, ужъ мы лучше свою синицу

въ рукахъ попридержимъ. Мы ужъ лучше сами какъ-нибудь тамъ исправимся, пообчистимся, ну, что-нибудь введемъ новое, болѣе, такъ сказать, прогрессивное, духу вѣка соответствующее, ну, тамъ станемъ какъ-нибудь добродѣтельнѣе или что, — а на призракъ, на внезапно приснившійся сонъ мы не промѣняемъ наше дѣйствительное, реальное *ничто*, ибо не чѣмъ и не гѣмъ насъ замѣстить, это вѣрно! Мы сопротивляемся уничтоженію, такъ сказать, по инерціи. Инерція-то эта въ насъ и дорога, потому что, по правдѣ-то, ея лишь одною все и держится въ наше время. А потому и сокращаться даже на тридцать восемь съ сорока (а не то что съ сорока на четырехъ) было бы дѣломъ глубоковреднымъ, и даже безнравственнымъ. Гроши получите, а разрушите принципъ. Уничтожьте-ка, измѣните-ка теперь нашу формулу, если только у васъ хватитъ совѣсти посягнуть на такое дѣло: Да вѣдь это будетъ измѣной всему нашему русскому европеизму и просвѣщенію, — знаете ли вы это? Это будетъ отрицаніемъ того, что и мы государство, что и мы европейцы, это измѣна Петру! И знаете, ваши либералы (впрочемъ и наше тоже), стоящіе столь рьяно въ газетахъ за земство противъ чиновничества, съ сущности противорѣчатъ сами себѣ. Да вѣдь земство, да вѣдь всѣ эти новости и „народности“ — вѣдь это и есть тѣ самыя „народныя начала“, или начинающаяся формула тѣхъ „началъ“, о которыхъ кричитъ столь ненавистная европейцамъ нашимъ „Русская партія“ (можетъ слышали, ихъ такъ въ Берлинѣ обозвали) — тѣ самыя „начала“, которыя такъ неистово отрицаетъ нашъ русскій либерализмъ и европеизмъ, надъ которыми онъ смѣется и не хочетъ ихъ признавать даже существующими! О, онъ ихъ очень боится: Ну, что-де, коли они въ самомъ дѣлѣ есть и осуществятся, такъ вѣдь тогда въ пѣкоторомъ родѣ сюрпризъ-съ! Значить, всѣ ваши европейцы по-настоящему съ нами, а мы съ ними, и это бы они давно должны бы были понять и себѣ зарубить. Если хотите, то мы не только заодно съ ними, а мы и совсѣмъ одно и то же: въ нихъ, въ нихъ самихъ нашъ духъ заключенъ и даже нашъ образъ, въ европейцахъ-то вашихъ, и это такъ! Да я вамъ вотъ что прибавлю: Европа, т. е. русская Европа, Европа въ Россіи — это мы-то лишь одни и есть. Это мы, мы воплощеніе всей формулы русскаго европеизма и всю ее заключаемъ въ себѣ. Мы одни ея толкователи. И не

понимаю, почему бы не давать имъ за ихъ европеизмъ установленныхъ знаковъ отличія, если ужъ мы съ ними такъ безгрѣшно сливаемся? Съ удовольствіемъ стануть носить и этимъ даже можно бы было привлечь. Но у насъ не умѣютъ. А они-то насъ бранятъ—подлинно своя своихъ не познаша! А чтобъ кончить объ вашихъ земствахъ и всѣхъ этихъ новшествахъ, то я вамъ скажу разъ навсегда: Нѣтъ-съ! Ибо дѣло это длинное, а не столь короткое. На то нужна своя предварительная культура, своя исторія и, можетъ быть, тоже двухвѣковая. Ну вѣковая, ну хоть даже полвѣковая, такъ какъ нынѣ вѣкъ телеграфовъ и желѣзныхъ дорогъ и всѣ отношенія сокращены и облегчены. Такъ вѣдь все же полвѣковая, все же вѣдь не сейчасъ. „Сейчасъ или тотчасъ“ — это все русскія мерзостныя словечки. Сейчасъ ничего не народится, кромѣ намъ же подобныхъ. И долго еще такъ будетъ.

Тутъ мой бюрократъ гордо и осанисто замолчалъ и, знаете, я и не возражалъ ему, потому что въ его словахъ было именно какъ бы „нѣчто“, какая-то грустная правда, дѣйствительно существующая. Разумѣется, я съ нимъ не согласился въ душѣ. И притомъ такимъ тономъ говорятъ лишь люди отходящіе. А все-таки въ его словахъ было „нѣчто“...

II.

Старая басня Крылова объ одной свиньѣ.

А чтобы обо всемъ этомъ, наконецъ, совсѣмъ уже кончить, приведу одну маленькую, очень хорошенькую басенку Крылова, должно быть, всѣми теперь забытую, ибо до Крылова ли въ нашъ теперешній дѣловой и метущійся вѣкъ? Эта басенка невольно припомнилась мнѣ, еще когда я началъ собираться писать мою статью о финансахъ и объ оздоровленіи корней. У Крылова она имѣетъ прекрасное правоученіе, но на другую тему, на тему о другихъ корняхъ. Но это все равно, она и къ намъ подходящая. Вотъ эта басня:

Свинья подъ дубомъ вѣковымъ
Наѣлась жолудей до сыта, до отвала;
Наѣвшись выспалась подъ нимъ,
Потомъ, глаза продравши, встала
И рыломъ подрывать у дуба корни стала.
«Вѣдь это дереву вредить»—
Ей съ дубу Воронъ говоритъ:
«Коль корни обнажишь, оно засохнуть можетъ».

— «Пусть сохнет», говорить Свиныя,
«Ничуть меня то не тревожить;
Въ немъ проку мало вижу я;
Хоть вѣкъ его не будь, ничуть не пожалѣю,
Лишь были бъ жолуди: вѣдь я отъ нихъ жирѣю».
— «Неблагодарная!» промолвила Дубъ ей тутъ:
«Когда бы вверху могла поднять ты рыло,
Тебѣ бы видно было,
Что эти жолуди на мнѣ растутъ».

Хороша басенка? И неужели мы согласимся походить на такой портретъ?

III.

Геокъ-Тепе. Что такое для насъ Азія?

Геокъ-Тепе взять, текинцы разбиты и хотя еще вполнѣ не усмирены, но наша побѣда несомнѣнна. Въ обществѣ и въ печати возликовали. А давно ли еще въ обществѣ, да и въ печати отчасти, къ этому дѣлу относились чрезвычайно равнодушно. Особенно послѣ неудачи генерала Ломакина и въ началѣ приготовленій къ вторичному наступленію. „И зачѣмъ намъ туда, и чего намъ далась эта Азія, сколько денегъ истрачено, тогда какъ у насъ голодъ, дифтеритъ, нѣтъ школь, и проч., и проч.“ Да, эти мнѣнія раздавались и мы ихъ слышали. Не всѣ вообще были этого мнѣнія, — о, нѣтъ, — но все же надо сознаться, что къ нашей наступательной политикѣ въ Азіи въ послѣднее время весьма многіе стали — было относиться неприязненно. Правда, помогла тутъ и неизвѣстность о предпринятой экспедиціи. Въ самое послѣднее только время стали просвакивать у насъ извѣстія изъ иностранныхъ газетъ, и только подъ самый конецъ раздались по всей Россіи телеграммы Скобелева. Тѣмъ не менѣе и во всякомъ случаѣ трудно сказать, чтобы общество наше было проникнуто яснымъ сознаниемъ нашей миссіи въ Азіи и того, что собственно для насъ значить и могла бы значить впредь Азія. Да и вообще вся наша русская Азія, включая и Сибирь, для Россіи все еще какъ будто существуютъ въ видѣ какого-то привѣска, которымъ какъ бы вовсе даже и не хочетъ европейская наша Россія интересоваться. „Мы, дескать, Европа, что намъ дѣлать въ Азіи?“ Бывали даже и очень рѣзкіе голоса: „ужъ эта наша Азія, мы и въ Европѣ-то не можемъ себѣ порядка добыть и устроиться, а тутъ еще суютъ намъ и Азію. Лишняя вовсе намъ эта Азія, хоть бы ее куда-нибудь

дѣтъ!“ Эти сужденія иногда и теперь раздаются у умниковъ нашихъ, отъ очень ихъ большого ума, конечно.

Съ побѣдой Скобелева пронесется гулъ по всей Азiи, до самыхъ отдаленныхъ предѣловъ ея: „Вотъ, дескать, и еще одинъ свирѣпый и гордый правовѣрный народъ Бѣлому Царю поклонился“. И пусть пронесется гулъ. Пусть въ этихъ милліонахъ народовъ, до самой Индiи, даже и въ Индiи, пожалуй, растетъ убѣжденіе въ непобѣдимости Бѣлаго Царя и въ несокрушимости меча его. А вѣдь послѣ неудачи генерала Ломакина непременно должно быть пронеслось по всей Азiи сомнѣніе въ несокрушимости меча нашего и русскій престижъ навѣрно былъ поколебленъ. Вотъ почему мы и не можемъ остановиться на этой дорогѣ. У этихъ народовъ могутъ быть свои ханы и эмиры, въ умѣ и въ воображеніи ихъ можетъ стоять грозой Англія, силѣ которой они удивляются, — но имя Бѣлаго Царя должно стоять выше хановъ и эмировъ, выше Индiйской императрицы, выше даже самаго калифова имени. Пусть калифъ, но Бѣлый Царь есть царь и калифу. Вотъ какое убѣжденіе надо чтобъ утвердилось! И оно утверждается и нарастаетъ ежегодно, и оно намъ необходимо, ибо оно ихъ приучаетъ къ грядущему.

— Для чего и къ какому грядущему? Какая необходимость въ грядущемъ захватѣ Азiи? Что намъ въ ней дѣлать?

Потому необходимость, что Россія не въ одной только Европѣ, но въ Азiи; потому что русскій не только европеецъ, но и азіатецъ. Мало того: въ Азiи, можетъ быть, еще больше нашихъ надеждъ, чѣмъ въ Европѣ. Мало того: въ грядущихъ судьбахъ нашихъ, можетъ быть, Азiя-то и есть нашъ главный исходъ!

Я предчувствую негодованіе, съ которымъ прочтутъ иные это ретроградное предположеніе мое (а оно для меня аксіома). Да, если есть одинъ изъ важнѣйшихъ корней, который надо бы у насъ оздоровить, такъ это именно взглядъ нашъ на Азiю. Надо прогнать лакейскую боязнь, что насъ назовутъ въ Европѣ азіатскими варварами и скажутъ про насъ, что мы азіаты еще болѣе чѣмъ европейцы. Этотъ стыдъ, что насъ Европа сочтетъ азіатами, преслѣдуетъ насъ ужъ чуть не два вѣка. Но особенно этотъ стыдъ усилился въ насъ въ нынѣшнемъ девятнадцатомъ вѣкѣ и дошелъ почти до чего-то паническаго, до-

шелъ до „металла и жупела“ московскихъ купчихъ. Этотъ ошибочный стыдъ нашъ, этотъ ошибочный нашъ взглядъ на себя единственно какъ только на европейцевъ, а не азиатовъ (каковыми мы никогда не переставали пребывать), — этотъ стыдъ и этотъ ошибочный взглядъ дорого, очень дорого стоили намъ въ эти два вѣка и мы заплатились за него утратою духовной самостоятельности нашей, и неудачной европейской политикой нашей, и наконецъ, деньгами, деньгами, которыхъ Богъ знаетъ сколько ушло у насъ на то, чтобы доказать Европѣ, что мы только европейцы, а не азиаты. Но толчокъ Петра, вдвинувшаго насъ въ Европу, необходимый и спасительный вначалѣ, былъ все-таки слишкомъ силенъ и тутъ отчасти уже не мы виноваты. И чего-чего мы не дѣлали, чтобы Европа признала насъ за *своихъ*, за европейцевъ, за однихъ только европейцевъ, а не за татаръ. Мы лѣзли къ Европѣ поминутно и неустанно, сами напрашивались во всѣ ея дѣла и дѣлишки. Мы то пугали ее силой, посылали туда наши арміи „спасать царей“, то склонялись опять передъ нею, какъ не надо бы было, и увѣряли ее, что мы созданы лишь чтобы служить Европѣ и сдѣлать ее счастливою. Въ двѣнадцатомъ году, выгнавъ отъ себя Наполеона, мы не помирились съ нимъ, какъ совѣтовали и желали тогда нѣкоторые немногіе прозорливые русскіе люди, а двинулись всей стѣной осчастливить Европу, освободивъ ее отъ похитителя. Конечно, вышла картина яркая: съ одной стороны шелъ деспотъ и похититель, съ другой — миротворецъ и воскреситель. Но политическое счастье наше состояло тогда вовсе не въ картинѣ, а въ томъ, что этотъ похититель былъ именно тогда въ такомъ положеніи, въ первый разъ во всю свою карьеру, что помирился бы съ нами крѣпко-на-крѣпко и искренно, и надолго, можетъ быть навсегда. За условіе, что мы не будемъ ему мѣшать въ Европѣ, онъ отдалъ бы намъ Востокъ, и теперешній восточный вопросъ нашъ — гроза и бѣда нашего текущаго и нашего будущаго, — былъ бы уже теперь давно разрѣшенъ. Похититель это самъ говорилъ потомъ, и навѣрно не лгалъ, говори, ибо ничего-то бы онъ не могъ лучше сдѣлать, какъ впредь быть съ нами въ союзѣ, съ тѣмъ, чтобы у насъ былъ Востокъ, а у него Западъ. Съ европейскими народами онъ бы навѣрно справился и тогда. Они же были слишкомъ еще слабы тогда, чтобы намъ помѣшать на Востокъ, даже Англія. Наполеонъ, можетъ

быть, и палъ бы потомъ, или послѣ его смерти династія его, а Востокъ остался бы все-таки за нами. (У насъ тогда было бы море и мы могли бы даже и на морѣ Англію встрѣтить). Но мы все отдали за картинку. И что же: всѣ эти освобожденные нами народы тотчасъ же, еще и не добивъ Наполеона, стали смотрѣть на насъ съ самымъ яркимъ недоброжелательствомъ и съ злѣйшими подозрѣніями. На конгрессахъ они тотчасъ противъ насъ соединились вмѣстѣ сплошной стѣной и захватили себѣ все, а намъ не только не оставили ничего, но еще съ насъ же взяли обязательства, правда, добровольныя, но весьма намъ убыточныя, какъ и оказалось впоследствии. Затѣмъ, несмотря на полученный урокъ, — что дѣлали мы во всѣ остальные годы столѣтія и даже донинѣ? Не мы ли способствовали укрѣпленію германскихъ державъ, не мы ли создали ихъ силу до того, что они, можетъ быть, теперь и сильнѣе насъ стали? Да, сказать, что это мы способствовали ихъ росту и силѣ, вовсе не преувеличенно выйдетъ. Не мы ли, по ихъ зову, ходили укрощать ихъ междоусобіе, не мы ли оберегали ихъ тылъ, когда имъ могла угрожать бѣда? И вотъ—не они ли, напротивъ, выходили къ намъ въ тылъ, когда намъ угрожала бѣда, или грозили выйти намъ въ тылъ, когда намъ грозила другая бѣда? Кончилось тѣмъ, что теперь всякій-то въ Европѣ, всякій тамъ образъ и языкъ держитъ у себя за пазухой давно уже припасенный на насъ камень, и ждетъ только перваго столкновенія. Вотъ что мы выиграли въ Европѣ столь ей служа? Одну ея ненависть! Мы сыграли тамъ роль Репетилова, который, гоняясь за фортуной,

«Приданого взялъ шишъ, по службѣ ничего».

Но почему эта ея ненависть къ намъ, почему они всѣ не могутъ никакъ въ насъ увѣриться разъ навсегда, повѣрить въ безвредность нашу, повѣрить, что мы ихъ друзья и слуги, добрые слуги, и что даже все европейское назначеніе наше—это служить Европѣ и ея благоденствію. (Потому что развѣ не такъ, но то же ли самое дѣлали мы во все столѣтіе, развѣ сдѣлали мы что для себя, развѣ добились чего себѣ? Все на Европу пошло!) Нѣтъ, они не могутъ увѣриться въ насъ! Главная причина именно въ томъ состоитъ, что они не могутъ никакъ насъ *своими* признать.

Они ни за что и никогда не повѣрятъ, что мы во-

истину можемъ участвовать вмѣстѣ съ ними и наравнѣ съ ними въ дальнѣйшихъ судьбахъ ихъ цивилизаціи. Они признали насъ чуждыми своей цивилизаціи, пришельцами, самозванцами. Они признаютъ насъ за воровъ, укравшихъ у нихъ ихъ просвѣщеніе, въ ихъ платьяхъ перерядившихся. Турки, семиты имъ ближе по духу, чѣмъ мы, арійцы. Всему этому есть одна чрезвычайная причина: идею мы несемъ вовсе не ту, чѣмъ они, въ человѣчество — вотъ причина! И это несмотря на то, что наши „русскіе европейцы“ изо всѣхъ силъ увѣряютъ Европу, что у насъ нѣтъ никакой идеи, да и впредь быть не можетъ, что Россія и не способна имѣть идею, а способна лишь подражать, что дѣло тѣмъ и кончится, что мы все будемъ подражать, и что мы вовсе не азіаты, не варвары, а совсѣмъ, совсѣмъ какъ они, европейцы. Но Европа нашимъ русскимъ европейцамъ на этотъ разъ, по крайней мѣрѣ, не повѣрила. Напротивъ, въ этомъ случаѣ она, такъ сказать, совпала въ заключеніяхъ своихъ съ славянофилами нашими, хотя ихъ не знаетъ вовсе, и только развѣ слышала объ нихъ кое-что. Совпаденіе же именно въ томъ, что и Европа вѣритъ, какъ и славянофилы, что у насъ есть „идея“, своя, особенная и не европейская, что Россія можетъ и способна имѣть идею. Про сущность этой идеи нашей Европа, конечно, еще ничего не знаетъ, — ибо если бъ знала, такъ тотчасъ же бы успокоилась, даже обрадовалась. Но узнаетъ непременно когда-нибудь, и именно когда наступитъ самая критическая минута въ судьбахъ ея. Но теперь она не вѣритъ; признавая за нами идею, она боится ея. И, наконецъ, мерзимъ мы ей, мерзимъ, даже лично, хотя тамъ и бываютъ иногда съ нами вѣжливы. Они, напримѣръ, охотно сознаются, что русская наука можетъ выставить уже нѣсколько замѣчательныхъ дѣятелей, представить нѣсколько хорошихъ работъ, даже послужившихъ уже ихъ европейской наукѣ въ пользу. Но ни за что, однакоже, не повѣритъ теперь Европа, что у насъ въ Россіи могутъ родиться не одни только работники въ наукѣ (хотя бы и очень талантливые), а и гени, руководители человѣчества, въ родѣ Бэкона, Канта и Аристотеля. Этому они никогда не повѣрятъ, ибо въ цивилизацію нашу не вѣрятъ, а нашей грядущей идеи еще не знаютъ. По-настоящему, они и правы: ибо и впрямь не будетъ у насъ ни Бэкона, ни Ньютона, ни Аристотеля, доколѣ мы не станемъ прямо на дорогу и не будемъ ду-

ховно самостоятельными. Во всемъ остальномъ то же, въ нашихъ искусствахъ, въ промышленности: Европа насъ готова хвалить, по головкѣ гладить, но своими насъ не признаетъ, презираетъ насъ втайнѣ и явно, считаетъ низшими себя какъ людей, какъ породу, а иногда такъ мерзимъ мы имъ, мерзимъ вовсе, особенно, когда имъ на шею бросаемся съ братскими поцѣлуями.

Но отъ окна въ Европу отвернуться трудно, тутъ фатумъ. А между тѣмъ Азія—да вѣдь это и впрямь можетъ быть нашъ исходъ въ нашемъ будущемъ,—опять восклицаю это! И если бъ совершилось у насъ хоть отчасти усвоеніе этой идеи—о, какой бы корень былъ тогда оздоровленъ! Азія, Азиатская наша Россія,—вѣдь это тоже нашъ больной корень, который не то что освѣжить, а совсѣмъ воскресить и пересоздать надо! Принципъ, новый принципъ, новый взглядъ на дѣло—вотъ что необходимо!

IV.

Вопросы и отвѣты.

— Да зачѣмъ, зачѣмъ? послышатся голоса уже раздраженные, — азиатскія наши дѣла и теперь требуютъ отъ насъ непрерывно войска, затратъ непроизводительныхъ. И какая тамъ промышленность? Гдѣ ихъ товары, гдѣ найдете вы тамъ потребителей нашихъ товаровъ? И вотъ вы приглашаете насъ, неизвѣстно зачѣмъ, отвернуться отъ Европы навѣки.

— Не навѣки (продолжаю я стоять на своемъ), — а временно, и опять-таки не совсѣмъ, не совершенно вѣдь оторвемся, какъ бы ни отрывались. Намъ нельзя оставлять Европу совсѣмъ, да и не надо. Это „страна святыхъ чудесъ“, и изрекъ это самый рьяный славянофилъ. Европа намъ тоже мать, какъ и Россія, вторая мать наша; мы много взяли отъ нея, и опять возьмемъ, и не захотимъ быть передъ нею неблагодарными. Я про будущее великое значеніе въ Европѣ народа русскаго (въ которое вѣрю) сказалъ было одно словцо прошлаго года на пушкинскихъ празднествахъ въ Москвѣ,—и меня всѣ потомъ забросали грязью и бранью, даже и изъ тѣхъ, которые меня обнимали тогда за слова мои,—точно я какое мерзкое, подлѣйшее дѣло сдѣлалъ, сказавъ тогда мое слово.

Но, можетъ быть, не забудется это слово мое. Объ этомъ, впрочемъ, теперь довольно. Но все же мы въ

правѣ о перевоспитаніи нашемъ и объ исходѣ нашемъ изъ Египта позаботиться. Ибо мы сами изъ Европы сдѣлали для себя какъ бы какой-то духовный Египетъ.

— Позвольте, прервуть меня, да чѣмъ же намъ Азія придастъ самостоятельности? Заснемъ тамъ по-азиатски, а не станемъ самостоятельными!

— Видите ли, продолжаю я,—съ поворотомъ въ Азію, съ новымъ на нее взглядомъ нашимъ, у насъ можетъ явиться нѣчто въ родѣ чего-то такого, чтò случилось съ Европой, когда открыли Америку. Ибо воистину Азія для насъ та же неоткрытая еще нами тогдашняя Америка. Съ стремленіемъ въ Азію у насъ возродится подъемъ духа и силъ. Чуть лишь станемъ самостоятельными,—тотчасъ найдемъ чтò намъ дѣлать, а съ Европой, въ два вѣка, мы отвыкли отъ всякаго дѣла и стали говорунами и лѣнтями.

— Ну, такъ какъ же вы подымете насъ въ Азію, коль у насъ лѣнтяи? Да и кто у насъ подыметъ первый, если бѣ даже и доказать всѣмъ, какъ дважды два, что тамъ наше счастье?

— Въ Европѣ мы были приживальщики и рабы, а въ Азію явимся господами. Въ Европѣ мы были татарами, а въ Азію и мы европейцы. Миссія, миссія наша цивилизаторская въ Азію подкупить нашъ духъ и увлечетъ насъ туда, только бы началось движеніе. Постройте только двѣ желѣзныя дороги, начните съ того, — одну въ Сибирь, а другую въ Среднюю Азію, и увидите тотчасъ послѣдствія.

— Мало захотѣли! засмѣются мнѣ.—Гдѣ средства и чтò получимъ: себѣ убытокъ и только.

— Во-первыхъ, если бѣ мы, въ послѣдніа двадцать пять лѣтъ, всего только по три милліона въ годъ на эти дороги откладывали (а три-то милліона у насъ просто сквозь пальцы иной разъ мелькнутъ),—то было бы уже теперь выстроено на семьдесятъ пять милліоновъ азиатскихъ дорогъ, т.-е. слишкомъ тысячу верстъ, какъ ни считать. Затѣмъ вы толкуете про убытокъ. О, если бѣ вмѣсто насъ жили въ Россіи англичане или американцы: показали бы они вамъ убытокъ! Вотъ они-то бы открыли нашу Америку. Да знаете ли, что тамъ есть земли, которыя намъ менѣе извѣстны, чѣмъ внутренность Африки? И знаемъ ли мы, какія богатства заключаются въ нѣдрахъ этихъ необъятныхъ земель? О, они бы добрались до всего, до

металловъ и минераловъ, до безчисленныхъ залежей каменнаго угля,—все бы нашли, все бы разыскали, и матеріаль, и какъ его употребить. Они бы призвали науку, заставили бы землю родить самъ-пятьдесятъ, — ту самую землю, про которую мы все еще думаемъ здѣсь, что это лишь голая, какъ ладонь наша, степь. Къ добытому жлѣбу потянулись бы люди, завелась бы промышленность, производство. Не безпокойтесь, нашли бы потребителей и дорогу къ нимъ, изыскали бы ихъ въ нѣдрахъ Азіи, гдѣ они дремлютъ теперь милліонами, и дороги бы новыя къ нимъ провели!

— Ну, такъ какъ же вы восклицаете про науку, а сами склоняете насъ къ измѣнѣ наукѣ и просвѣщенію, приглашая насъ стать азіатами.

— Да науки-то тамъ еще больше потребуется! (восклицаю и я),—ибо чтò мы теперь въ наукѣ: недоучки и диллетанты. А тамъ станемъ дѣятелями, сама необходимость прижметъ и заставитъ, чуть лишь подымется самостоятельный предприимчивый духъ—тотчасъ же и въ наукѣ явимся господами, а не прихвостнями, какъ сплошь и рядомъ нынѣ. А главное—цивилизаторская миссія наша въ Азіи, съ самыхъ первыхъ шаговъ (и это несомнѣнно) поймется и усвоится нами. Она возвыситъ нашъ духъ, она придастъ намъ достоинства и самосознанія, — а этого сплошь у насъ теперь нѣтъ, или очень мало. Стремленіе въ Азію, если бѣ только оно зародилось межъ нами, послужило бы сверхъ того исходомъ многочисленнымъ безпокойнымъ умамъ, всѣмъ стосковавшимся, всѣмъ облѣнившимся, всѣмъ безъ дѣла уставшимъ. Устройте истокъ водѣ—и исчезнетъ плѣсень и вонь. А разъ затаившись въ дѣло—уже не будутъ скучать, всѣ переродятся. Даже иная бездарность, съ израненнымъ, ноющимъ самолюбіемъ, нашла бы тамъ свой исходъ. Ибо часто въ одномъ мѣстѣ бездарность воскресаетъ въ другомъ — чуть не гениемъ. Это часто и въ европейскихъ колоніяхъ происходитъ. Не опустѣетъ Россія, не бойтесь: начнется постепенно, пойдутъ сначала немногіе, но скоро объ нихъ придутъ слухи и увлекутъ другихъ. И все-таки для моря русскаго это будетъ даже и незамѣтно. Освободите муху изъ папки, расправьте ей даже какъ можно крылья, и все-таки потянется туда самый ничтожный процентъ населенія, будетъ даже и непримѣтно. А тамъ,—ухъ какъ тамъ будетъ примѣтно! Гдѣ въ Азіи поселится „Урусъ“, тамъ

сейчасъ становится земля русскою.—Создалась-бы Россія новая, которая и старую бы возродила и воскресила современемъ и ей же пути ея разъяснила. Но для всего этого нуженъ новый принципъ и поворотъ. И всѣхъ менѣе потребовалъ бы онъ ломки и потрясеній. Пусть только хоть немного проникнутся (но проникнутся), что въ будущемъ Азія нашъ исходъ, что тамъ наши богатства, что тамъ у насъ океанъ; что когда въ Европѣ, уже отъ одной тѣсноты только, заведется неизбѣжный и претящій имъ самимъ унижительный коммунизмъ, когда цѣлыми толпами стануть тѣсниться около одного очага и мало-по-малу пойдуть разрушаться отдѣльныя хозяйства, а семейства начнутъ бросать свои углы и заживуть сообща коммунами; когда дѣтей будутъ растить въ воспитательныхъ домахъ— (на три четверти подкидышами), тогда—тогда у насъ все просторъ и ширь, поля и лѣса, и дѣти наши будутъ расти у отцовъ своихъ, не въ каменныхъ мѣшкахъ, а среди садовъ и засѣянныхъ полей, видя надъ собою чистое небо. Да, много тамъ нашихъ надеждъ заключено и много возможностей, о которыхъ мы здѣсь и понятія еще составить не можемъ во всемъ объемѣ! Не одно только золото тамъ въ почвѣ спрятано. Но нуженъ новый принципъ. Новый принципъ и потребныя на дѣло деньги родить. Ибо къ чему намъ, если ужъ все говорить,—къ чему намъ (и особенно въ теперешнюю минуту) содержать тамъ, въ Европѣ, хотя бы столько посольствъ съ такимъ, столь дорого стоящимъ, блескомъ, съ ихъ тонкимъ остроуміемъ и обѣдами, съ ихъ великолѣпнымъ, но убыточнымъ персоналомъ. И что намъ тамъ (и именно теперь) до какихъ-то Гамбетъ, до папы и его дальнѣйшей участи, хотя бы и угнеталъ его Бисмаркъ? Не лучше-ли, напротивъ, на время, въ глазахъ Европы, прибѣдниться, сѣсть на дорожку, шапочку передъ собой положить, грошики собирать: дескать, „la Russie опять se recueille“. А дома бы тѣмъ временемъ собираться, внутри бы тѣмъ временемъ созидаться! Скажутъ: къ чему-жъ унижаться. Да и не унижимся вовсе! Я вѣдь только въ видѣ аллегоріи про шапочку сказала. Не то что не унижимся, а разомъ повысимся, вотъ какъ будетъ! Европа хитра и умна, сейчасъ догадается и, повѣрьте, начнетъ насъ тотчасъ же уважать! О, конечно, самостоятельность наша ее, на первыхъ порахъ, озадачитъ, но отчасти ей и понравится. Коль увидитъ, что мы въ „угрюмую экономію“ вступили и рѣши-

лись по одежкѣ протягивать ножи, увидить, что и мы тоже стали расчетливыми и свой рубль сами первые бережемъ и цѣнимъ, а не дѣлаемъ его изъ бумажки, то и они тоже тотчасъ же нашъ рубль, на своихъ рынкахъ, цѣнить начнутъ. Да чего,—увидать, что мы даже дефицитовъ и банкротствъ не боимся, а прямо къ своей точкѣ ломимъ, то сами-же придутъ къ намъ денегъ предлагать,—и предложить уже какъ серьезнымъ людямъ, уже научившимся дѣлу и тому, какъ надо каждое дѣло дѣлать...

— Пойдите,—слышится голосъ,—вотъ вы, однакоже, про Гамбетту, но намъ нельзя тамъ бросать. Хотя-бы тотъ-же восточный вопросъ на первый случай: вѣдь онъ остается; какъ-же мы уйдемъ отъ него?

Насчетъ восточнаго вопроса я бы вотъ что сказалъ въ эту минуту: Вѣдь въ эту минуту у насъ, въ политическихъ сферахъ, не найдется, можетъ быть, ни единого политическаго ума, который бы признавалъ за здоровое, что Константинополь долженъ быть нашъ,—(кромя развѣ какъ въ отдаленномъ, загадочномъ еще нашемъ грядущемъ). А коли такъ, такъ чего же намъ больше ждать? Вся суть восточнаго вопроса въ эту минуту заключается въ союзѣ Германіи съ Австріей, да еще въ австрийскихъ захватахъ въ Турціи, поощряемыхъ княземъ Бисмаркомъ. Мы можемъ и будемъ, конечно, протестовать, въ крайнихъ уже какихъ-нибудь случаяхъ, но пока эти обѣ націи вкупѣ,—что-же мы можемъ сдѣлать теперь безъ огромныхъ для насъ потрясеній? Замѣйте, что союзникамъ можетъ только того и надо, чтобъ мы, наконецъ, разсердились. Славянскіе же народы мы можемъ попрежнему поощрять и любить, даже помогать имъ чѣмъ можно при случаѣ. Къ тому же очень-то они не погибнуть въ какой-нибудь срокъ. А срокъ можетъ даже очень скоро кончиться. Вѣдь только-бы мы видъ показали, что въ Европу столь вмѣшиваться какъ прежде мы уже не желаемъ, то они тамъ, безъ насъ-то оставшись, можетъ еще скорѣй перессорятся. Вѣдь никогда-то не повѣрять Австрія, что Германія ее столь возлюбила единственно за ея прекрасные глаза. Вѣдь она слишкомъ знаетъ, напротивъ, что Германіи все-таки надо, въ концѣ концовъ, ея австрийскихъ нѣмцевъ къ германскому единству присоединить. А своихъ нѣмцевъ Австрія ни за что не уступитъ, даже если бъ давали Константинополь за нихъ—до того ихъ дорого цѣнить! Матеріаль-то для распрей, стало быть, тамъ

уже есть. А тутъ еще подъ бовомъ у Германіи все тотъ же неразрѣшенный французскій вопросъ, теперь для нея уже вѣчный. А тутъ, сверхъ того, даже самое объединеніе Германіи, вдругъ оказывается, не только не завершено, а даже грозитъ колебаніемъ. А тутъ оказывается и социализмъ европейскій не только не умеръ, а даже очень и очень продолжаетъ грозить. Однимъ словомъ, намъ стоитъ только дожидаться и не вмѣшиваться даже когда звать начнутъ, и чуть только грянетъ тамъ—у нихъ распря, и затрещитъ ихъ „политическое равновѣсіе“,—разомъ покончить и восточный вопросъ, выбравъ мгновеніе какъ и во франко-прусскую бойню, вдругъ заявить, какъ тогда насчетъ Чернаго моря мы заявили: „не желаемъ-де австрійскихъ захватовъ въ Турціи признавать“ и разомъ исчезнуть захваты, можетъ быть, и съ Австріей вмѣстѣ.

Вотъ и наперстаемъ все, что на время какъ будто-бы упустили...

— Ну, а Англія? Вы упускаете Англію. Увидавъ наше стремленіе въ Азію, она тотчасъ взволнуется.

— „Англіи бояться—никуда не ходить“,—возражаю я передѣланною на новый ладъ пословицей. Да и ничѣмъ новымъ она не взволнуется, ибо все тѣмъ же волнуется и теперь. Напротивъ, теперь-то мы и держимъ ее въ смущеніи и невѣдѣніи насчетъ будущаго и она ждетъ отъ насъ всего худшаго. Когда-же пойметъ настоящій характеръ всѣхъ нашихъ движеній въ Азіи, то, можетъ быть, сбавитъ многое изъ своихъ опасеній... Впрочемъ, я соглашусь, что не сбавитъ и что до этого еще ей далеко. Но, повторяю: Англіи бояться—никуда не ходить! А потому и опять-таки: Да здравствуетъ побѣда у Геокъ-Тепе! Да здравствуетъ Скобелевъ и его солдатики и вѣчная память „выбывшимъ изъ списковъ“ богатырямъ! Мы въ наши списки ихъ занесемъ.



ОГЛАВЛЕНИЕ.

ЯНВАРЬ.

СТР.

- Глава первая. I. Три идеи. II. Миражи, штурма и редетокисты. III. Ома Даниловъ, замученный русскій герой . . . 3
- Глава вторая. I. Примирительная мечта въѣ науки. II. Мы въ Европѣ лишь стрюцкіе. III. Русская сатира. „Новь“. „Послѣднія пѣсни“. Старыя воспоминанія. IV. Именинникъ. 18

ФЕВРАЛЬ.

- Глава первая. I. Самозванные пророки и хромые бочары, продолжающіе дѣлать луну въ Гороховой. Одинъ изъ неизвѣстнѣйшихъ русскихъ великихъ людей. II. Доморощенные великаны и приниженный сынъ „кучи“. Анекдотъ о содранной со спины кожѣ. Высшіе интересы цивилизаціи и „да будутъ они прокляты, если ихъ надо покупать такою цѣной!“ III. О сдираніи кожъ вообще, разныя aberrаціи въ частности. Ненависть къ авторитету при лакействѣ мысли. IV. Меттернихъ и Донъ-Кихоты . . . 38
- Глава вторая. I. Одинъ изъ главнѣйшихъ современныхъ вопросовъ. II. „Злоба дня“. III. Злоба дня въ Европѣ. IV. Русское рѣшеніе вопроса . . . 56

МАРТЪ.

- Глава первая. I. Еще разъ о томъ, что Константинополь, равно ли, поздно ли, а долженъ быть нашъ. II. Русскій народъ слишкомъ доросъ до здраваго понятія о восточномъ вопросѣ съ своей точки зрѣнія. III. Самыя подходящія въ настоящее время мысли . . . 73
- Глава вторая. I. „Еврейскій вопросъ“. II. Pro и contra. II. Status in statu. Серокъ въковъ бытія. IV. Но да здравствуетъ братство! 85
- Глава третья. I. Похороны „Общечеловѣка“. II. Единичный случай . . . 102

АПРѢЛЬ.

Глава первая. I. Война. Мы всёхъ сильнѣе. II. Не всегда война бичъ, а иногда и спасеніе. III. Спасаетъ ли пролитая кровь? IV. Миѣніе „Тиншайшаго“ царя о восточномъ вопросѣ 109

Глава вторая. I. Союзъ смѣшаннаго человѣка. Фантастическій разсказъ 122

Освобожденіе подсудимой Корниловой. Къ моимъ читателямъ 141

МАЙ—ІЮНЬ.

Глава первая. I. Изъ книги предсказаній Іоанна Лихтенбергера, 1528 года. II. Объ анонимныхъ ругательныхъ письмахъ. III. Планъ обличительной повѣсти изъ современной жизни 145

Глава вторая. I. Прежніе земледѣльцы—будущіе дипломаты. II. Дипломатія передъ мировыми вопросами. III. Никогда Россія не была столь могущественною, какъ теперь,—рѣшеніе недипломатическое. 163

Глава третья. I. Германскій мировой вопросъ. Германія страна протестующая. II. Одинъ гениально-минутельный человѣкъ. III. И сердиты и сильны. IV. Черное войско. Миѣніе легионовъ, какъ новый элементъ цивилизаціи. V. Довольно неприятный секретъ. 182

Глава четвертая. I. Любители турокъ. II. Золотые фракки. Прямолинейные 203

ІЮЛЬ—АВГУСТЪ.

Глава первая. I. Разговоръ мой съ однимъ московскимъ знакомымъ. Замѣтка по поводу новой книжки. II. Жажда слуховъ и того, что „скрываютъ“. Слово: *скрываютъ* можетъ имѣть будущность, а потому и надобно принять мѣры заранѣе. Опять о случайномъ семействѣ. III. Дѣло родителей Джунковскихъ съ родными дѣтьми. IV. Фантастическая рѣчь председателя суда 210

Глава вторая. I. Опять обособленіе. Восьмая часть Анны Карениной. II. Признанія славянофила. III. Анна Каренина, какъ фактъ особаго значенія. IV. Помѣщикъ добывающій вѣру въ Бога отъ мужика 237

Глава третья. I. Раздражительность самолюбія. II. Tout ce qui n'est pas expresement permis est défendu. III. О безошибочномъ знаніи необразованныхъ и безграмотныхъ русскимъ народомъ главнѣйшей сущности восточнаго вопроса. IV. Сотрисеніе Левина. Вопросъ: Имѣетъ ли разстояніе вліяніе на человѣколюбіе? Можно ли согласиться съ миѣніемъ одного вѣрнаго турка о гуманности нѣкоторыхъ нашихъ дамъ? Чему же, наконецъ, насъ учать наши учителя? 254

СЕНТЯБРЬ.

Глава первая. I. Несчастливицы и неудачники. II. Любопытный характер. III. То да не то. Ссылка на то, о чем я писал еще три мѣсяца назадъ. IV. О томъ, что думаетъ теперь Австрія. V. Кто стучится въ дверь? Кто войдетъ? Необходимая судьба 279

Глава вторая. I. Ложь ложью спасается. II. Сливянки, приписываемые за людей. Что намъ выгудитъ: когда знаютъ о насъ правду, или когда говорить о насъ вздоръ? III. Легкій намекъ на будущаго интеллигентнаго русскаго человѣка. Несомнѣнный удѣлъ будущей русскаго женщины 304

ОКТАБРЬ.

Глава первая. I. Къ читателю. II. Старое всегдашнее военное правило. III. То же правило, только въ новомъ видѣ. IV. Самыя огромныя военныя ошибки иногда могутъ быть совсѣмъ не ошибками. V. Мы лишь наткнулись на новый фактъ, а ошибки не было. Двѣ арміи—двѣ противоположности. Настоящее положеніе дѣлъ 318

Глава вторая. I. Самоубійство Гаргунга и всегдашній вопросъ нашъ: кто виноватъ? II. Русскій джентльменъ. Джентльмену нельзя не остаться до конца джентльменомъ. III. Ложь необходима для истины. Ложь на ложь даетъ правду. Правда ли это? 332

Глава третья. I. Римскіе клерикалы у насъ въ Россіи. II. Лѣтняя попытка Старой Польши мириться. III. Выходка *Биржескихъ Вѣдомостей*. Не бойкія, а злыя перья 345

НОЯБРЬ.

Глава первая. I. Что значить слово: „стриюціе“? II. Исторія глагола „стусеваться“ 355

Глава вторая. I. Лакейство или деликатность? II. Самый лакейскій случай, какой только можетъ быть. III. Одно совсѣмъ особое слово о славинахъ, которое мнѣ давно хотѣлось сказать 361

Глава третья. I. Толки о мирѣ. „Константинополь долженъ быть нашъ“—возможно ли это? Разныя мнѣнія. II. Опять въ послѣдній разъ „пророчица“. III. Надо ловить минуту 380

ДЕКАБРЬ.

Глава первая. I. Заключительное разъясненіе одного предъяго факта. II. Выписка. III. Искаженія и подтасовки намъ это ничего не стоитъ. IV. Злые психологи. Акушеры психіатры. V. Одинъ случай, по-моему, довольно много разъясняющій. VI. Врагъ ли я дѣтей? О томъ, что значить иногда слово „счастливая“ 393

Глава вторая. I. Смерть Некрасова. О томъ, что сказано было на его могилѣ. II. Пушкинъ, Лермонтовъ и Некрасовъ. III. Поэтъ и гражданинъ. Общія толки о Некрасовѣ, какъ о человѣкѣ. IV. Свидѣтель въ пользу Некрасова. V. Къ читателямъ. Последняя страничка. Изъ дачныхъ прогулокъ Кузны Пруtkова и его друга. 417

АВГУСТЪ 1880 г.

Глава первая. I. Объяснительное слово по поводу печатаемой ниже Рѣчи о Пушкинѣ. 445
 Глава вторая. Пушкинъ. (Очеркъ). Произнесено 8-го юни въ засѣданіи Общества Любителей Россійской Словесности
 Глава третья. Придирка къ случаю. Четыре лекціи на разныхъ темы по поводу одной лекціи, прочитанной мнѣ г. А. Градовскимъ. Съ обращеніемъ къ г. Градовскому. I. Объ одномъ самомъ основномъ дѣлѣ. II. Алеко и Держиморда. Страданія Алеко по крѣпостному мужику. Анекдоты. III. Двѣ половинки. IV. Одному смиришь, а другому гордишь. Буря въ ставанчикѣ 471

ЯНВАРЬ 1881 г.

Глава первая. I. Финансы. Гражданинъ оскорбленный въ Орсигѣ. Увѣнчаніе снизу и музыканты. Говорильня и говоруны. II. Возможно-ли у насъ спрашивать европейскихъ финансовъ? III. Забыть текущее ради оздоровленія корней. По неумѣнью впадаю въ нѣчто духовное. IV. Первый корень. Выѣсто твердаго финансоваго тона впадаю въ старыя слова. Море-Океанъ. Жажда правды и необходимость спокойствія, столь полезнаго для финансовъ. V. Пусть первые скажутъ, а мы пока постоимъ въ сторонкѣ единственно чтобъ умудрѣнью поучиться. 504
 Глава вторая. I. Остроумный бюрократъ. Его мнѣніе о нашихъ либералахъ и европейцахъ. II. Старая басня Крылова объ одной свиньѣ. III. Геокъ-Теле. Что такое для насъ Азія? IV. Вопросы и отвѣты 531



MAR 31 1960



